

ТАЙНЫ

Век XVIII—XIX

А. Гальдемар

РОБЕСПЬЕР

Н. Мердер

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XVIII—XIX

**А. Гальдемар
РОБЕСПЬЕР**

**Н. Мердер
В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ**

Исторические романы



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1995

ББК 84.4
Г17

Составитель Г. Кожевников

Г17 Гальдемар А. Робеспьер: Роман / Пер. с англ. Мер-
дер Н. В поисках истины: Роман. — М.: ТЕРРА, 1995. —
560 с. — (Тайны истории в романах, повестях и докумен-
тах).
ISBN 5-300-00059-0

В романе английского писателя А. Гальдемара Робеспьер, один из руководителей Великой французской революции, представлен как человек, имевший, подобно всем людям, хорошие и дурные качества.

Историко-авантюрное повествование русской писательницы XIX в. «В поисках истины» знакомит читателей с жизнью российской провинции, блеском петербургского высшего света, скрывающимися в скитах старообрядцами, с загадочными масонами.

Г 4703010000-093 Без объявл.
А30(03)-95
ISBN 5-300-00059-0

ББК 84.4

©Издательский центр «ТЕРРА», 1995

А. Гальдемар

РОБЕСПЬЕР

I

Дом Жака Бернара Оливье де Понтиви, советника королевского парламента, находился в самом сердце квартала Марэ, который в конце XVIII столетия составлял почти отдельную провинцию в Париже.

Была прекрасная июньская ночь 1775 года. Небо, покрытое блестящими звездами, задумчиво смотрело в темные воды лениво протекавшей Сены. Но дом Понтиви, окруженный высокими каменными стенами, покрытыми плющом, был погружен в безмолвную тишину и как бы не обращал никакого внимания на все красоты чудной ночи. Он казался какой-то монашеской обителью, отдаленной от людей и людского движения. Однако в то время как все вокруг предавалось сну, его хозяин сидел за письменным столом и усердно работал.

Наконец, он поднял глаза и, посмотрев на часы, воскликнул:

— Двадцать минут третьего, не могу же я пойти и разбудить бедного юношу. Может быть, я найду документ и без него.

Он встал из-за большого письменного стола, заваленного книгами, бумагами, который стоял посредине обширной комнаты, освещенной большим, высоким канделябром, установленной по стенам массивными дубовыми шкапами. Подойдя к одному из них, отодвинув тяжелое кресло, покрытое зеленым репсом, и, вынув картонку, начал перебирать в ней старые бумаги.

Более получаса он отыскивал пропавший документ, заглянувший в себе мнение одного известного юриста по вопросу, который должен был решаться на другой день на секретном заседании парламента. Понтиви совершенно забыл спросить об этом документе у своего секретаря, прежде чем тот удалился в свою комнату, и теперь ему самому приходилось исполнять его роль и безуспешно, так как один Максимилиан де Робеспьер, как звали молодого секретаря, знал, где находилась эта бумага.

Этот секретарь с каждым днем становился ему необходимее, и он был очень обязан за его рекомендацию аббату, будущему кардиналу Рогану. Богатый, влиятельный Понтиви пользовался общим уважением при дворе среди аристократии и товарищей по парламенту. При своем недавнем восшествии на престол Людовик XVI принял его и сказал ему: «Господин Понтиви, я знаю, какие вы оказали услуги Франции, и я могу только просить вас оказывать такие же услуги в будущем».

Эти королевские слова быстро распространились по всему Версалю, и все придворные спешили его поздравить с подобной милостью. Между прочим, аббат Роган сказал ему:

— Такой лестный отзыв дороже диплома с королевской печатью.

Понтиви был очень доволен этим лестным комплиментом, но тотчас понял, что такой человек, как Роган, не стал бы любезничать с ним без всякой цели. Действительно, аббат тотчас прибавил:

— Не знаете ли вы какого-нибудь юриста, который нуждался бы в секретаре. Я мог бы порекомендовать ему очень умного, трудолюбивого и нравственного юношу. Он только что вышел из коллегии Людовика Великого и готовится в адвокаты. Он был выбран своей коллегией как лучший ученик для приветствия короля и королевы при их посещении этой коллегии.

— Как его зовут?

— Максимилиан де Робеспьер.

— А смею спросить, почему вы так интересуетесь этим молодым человеком?

— Конечно. Он уроженец Араса, и мне рекомендовали его тамошний епископ и один из патеров моей епархии. Я достал ему стипендию в коллегию Людовика Великого, а так как он вполне оправдал мое покровительство, то я желал бы устроить его будущее. Вы, конечно, понимаете, господин Понтиви, мои чувства, ведь невольно интересуетесь тем, кому оказал услугу.

— Вполне понимаю: я беру вашего юношу.

— Как, к себе?

— Да, и не благодарите меня. Я нуждался в секретаре и очень рад, что могу взять молодого человека, рекомендуемого вами.

Действительно, Понтиви при его многочисленных занятиях не имел помощника и уже давно подыскивал хорошего секретаря. Предложение аббата ему вдвойне улыбалось: сделанное одолжение Рогану могло принести пользу, а с

другой стороны, недурно было принять к себе на службу юношу, которого начальство нашло достойным приветствовать короля и королеву.

На следующий день Робеспьер явился в дом Понтиви. После нескольких предварительных вопросов о его семье и учебных занятиях советник парламента ловко навел разговор на посещение коллегии Людовика Великого королем и королевой. Молодой человек скромно, но с достоинством рассказал все, что произошло при этом случае.

— А что вам сказали король и королева? — спросил Понтиви.

— Их величества со мною не говорили, — отвечал Робеспьер, несколько смущенный.

— А! — произнес Понтиви, видимо, довольный.

— Но король мне улыбнулся, — продолжал Робеспьер, — и был очень со мною милостив.

— А королева?

— Она также была очень милостива.

В продолжение всего этого разговора Понтиви критически осматривал молодого человека. Он был одет очень просто, но вся его фигура и манеры дышали достоинством. Приятный и живой в обращении, но почтительный, он отличался решительным выражением лица и бледно-зеленоватыми пронзительными глазами, которые, однако, несмотря на свою необыкновенную подвижность, имели какой-то мягкий привлекательный оттенок.

«Недурной юноша», — подумал Понтиви и тотчас водворил его в своем доме.

Вскоре оказалось, что Робеспьер исполнял обязанности секретаря быстро, исправно, трудолюбиво и с необыкновенной для его лет аккуратностью. Готовясь в адвокаты, он, естественно, интересовался юридическими, часто очень трудными вопросами, которыми занимался Понтиви, и поражал его по временам глубокими замечаниями, обнаруживавшими в нем глубокий инстинкт, поэтому между советником парламента и его секретарем возникла невольная симпатия, хотя они так далеко стояли друг от друга по своему положению. Действительно, первый гордился своей принадлежностью к так называемой «noblesse de role», или парламентскому дворянству, значительной ролью при дворе и открывавшейся перед ним в новое царствование блестящей будущностью, а последний мечтал лишь сделаться провинциальным адвокатом по примеру своего отца. Как бы то ни было, Понтиви был очень доволен своим секретарем и стал запросто принимать его в своем доме. Мало-помалу он

начал ежедневно обедать у своего патрона, так как Понтиви было скучно сидеть за столом с шестнадцатилетней дочерью Клариссой, мать которой уже давно умерла и которая была наивным прелестным созданием с белокурыми волосами, тонкими чертами бледного лица и голубыми глазами, отражавшими ее непорочное юное сердце.

Молодой Робеспьер сначала вел себя очень скромно и только отвечал на предлагаемые ему вопросы, вскоре он стал смелее и, к большому удовольствию Клариссы, начал придавать общему разговору за обедом литературно-художественный оттенок, открывая ее юному уму новый неведомый привлекательный мир. Еще более ее очаровывали беседы с ним по воскресным вечерам, когда отец играл в вист со своими скучными старыми друзьями, а Робеспьер в уголке гостиной развивал перед нею блестящие мечты, уносившие ее в область идеальной фантазии, казавшейся ей лучезарным небом в сравнении с окружавшей ее мрачной действительностью.

С самого раннего детства, когда она лишилась матери, Кларисса не знала ни одного счастливого дня. Ее брат Жак, бывший на два года моложе ее, находился в Наварской школе и бывал дома только раз в две недели в воскресенье после обедни на несколько часов для представления своих письменных работ на просмотр своему отцу, который обыкновенно их не одобрял, а потому мальчик откровенно сознавался сестре, что он предпочитал воскресенья проводить в школе. Сама же Кларисса была отдана восьми лет в монастырский пансион, и только недавно отец взял ее домой и нанял ей гувернантку. В сущности, она продолжала вести прежнюю монастырскую жизнь, только по воскресеньям ходила с гувернанткой в соседнюю церковь св. Павла к обедне и вечерне, а, кроме того, иногда в прекрасные солнечные дни каталась в экипаже по улицам Парижа с той же гувернанткой. Все остальное время она проводила в старом, мрачном доме, где ничего не улыбалось, даже в заброшенном саду и во дворе, где лишь сорная трава пробивалась между камнями. Конечно, летом проводила она несколько месяцев в замке Понтиви, близ Компьена, куда отец приезжал только по праздникам, и там молодая девушка наслаждалась жизнью. Но лето скоро проходило, и снова начиналось скучное парижское существование, в котором единственными светлыми минутами были для нее последнее время беседы с секретарем отца.

Кларисса была очень привязана к своей гувернантке, доброй и набожной старой девице Жюсом. Она старательно

проповедовала молодой девушке религиозные и нравственные принципы, между прочим, она всегда повторяла ей: «Вы должны любить своего отца».

— Но я люблю его! — отвечала Кларисса.

И, действительно, она была убеждена в своей любви к нему из уважения к родственным узам, его возрасту и высокому положению. Но в сущности между ними зияла бездна, через которую не хотел перекинуть золотого моста родительской любви холодный, сухой, эгоистичный, гордый, суровый и бессердечный советник парламента, полагавший, что он вполне исполнял свои отцовские обязанности, так как рано еще было завершить благодеяния, оказанные дочери, выгодным, приличным замужеством, о чем он еще имел время подумать на досуге после своих более важных служебных занятий. Однако в то время как он откладывал до более удобной минуты заботы о дочери, в его доме разыгрался идиллический роман в духе того времени.

Молодые люди полюбили друг друга. Судьба свела их под одним кровом, и одинокое, скучное существование сделало их жертвами своей юности, взаимной, бессознательной, притягательной силы и мощных влияний, которые влекли их к любви. Он впервые познал, что такое любовь, в пламенных страницах «Новой Элоизы» Руссо, которую начал читать тайком в коллегии, а закончил в своей скромной комнате в доме Понтиви и дошел до такого энтузиазма, что жаждал кому-нибудь повторять заученные им наизусть отрывки, которые он считал вдохновенными. А кому же лучше было их повторять, как не хорошенькому, милому, отзывчивому созданию? Поэтому он и декламировал жгучие фразы Руссо без конца молодой девушке, всегда и везде, как только он находился с нею наедине, что бывало часто. Кроме того, он читал ей тогда модные сентиментальные стихи и мифологические мадригалы. Затем он стал списывать из книг и посылать ей восторженные объяснения в любви и наконец и сам сочинять их, сравнивая свой пыл с вдохновением Руссо. Она же слушала и читала с упоением, уносясь в мир фантазии и чудных иллюзий силой его юношеского энтузиазма. Его присутствие было в ее одинокой, мрачной жизни как бы лучом солнечного света, под блеском которого расцвел бутон ее юной жизни. Это чистое, непорочное существо, начинавшее жить без руководства родительской привязанности, не подозревая зла, всецело отдалось своей первой любви.

Однако вернемся к Понтиви в ту прекрасную июньскую ночь, когда он искал в своих бумагах необходимый ему документ.

Долго не решался он разбудить своего секретаря, но мало-помалу в его голове начинали возникать беспокойные мысли. Не бросил ли молодой человек по ошибке этот документ в камин или, еще хуже, не продал ли он его противной стороне? Никогда ни в ком нельзя быть уверенным!

— Три часа! — воскликнул он, смотря на часы. — По вашей милости, господин секретарь, я не сплю до сих пор. Теперь наступит ваша очередь!

Он встал, взял свечку, зажег ее и вышел в коридор.

Все в доме спало, и в нем царил безмолвная тишина. Он один, казалось, охранял спокойствие всего дома, который всецело принадлежал ему и подчинялся его воле. Эта мысль, что он тут полный хозяин и может распоряжаться всем и всеми, как-то приятно щекотала его самолюбие. В своем длинном халате, с высоко поднятым подсвечником, седой головой и строгим судейским выражением чисто выбритого лица он казался какой-то статуей, сошедшей со своего пьедестала, чтобы осветить окружающий мрак.

Пройдя через длинный коридор и поднявшись по узкой лестнице в верхний этаж, он остановился перед дверью комнаты, занимаемой секретарем, и постучал сначала тихо, а потом громче.

— Ответа нет, — промолвил Понтиви, — как он крепко спит. Впрочем, это неудивительно в его годы.

Советник парламента уже хотел вернуться в свой кабинет и отложить дальнейшие розыски документа до следующего дня. Но в голове его снова проснулись подозрения, и он решил выяснить тотчас это дело. Поэтому он сильно толкнул дверь, и, к его удивлению, она отворилась. Он вошел в комнату и прежде всего был поражен царившим в ней образцовым порядком, но через минуту он заметил, что в комнате никого не было и что постель была даже не смята.

Если секретарь не был дома в такое позднее время, то, значит, привратник был с ним заодно, и Понтиви дал себе слово подвергнуть его тяжелому наказанию, но, размышляя таким образом, он неожиданно увидал шляпу и трость молодого человека. Мало того, на стуле висели его скюртук и жилет с жабо. Значит, Робеспьер находился внутри дома. Но где и у кого? Очевидно, он мог быть только у горничной его дочери, красивой двадцатидвухлетней чернокудрой субретки.

«Мне не следовало брать в дом такую вертушку», — подумал он и вышел из комнаты с твердым намерением прогнать на другой день как горничную, так и лицемерного секретаря. Он совершенно забыл о том, что был доволен

молодым человеком, и о рекомендации аббата Рогана, но ему даже казалось пикантным сказать этому аббату: «Вы знаете, я должен был прогнать из дома рекомендованного вами секретаря. Я поймал его на чердаке с горничной. Признаюсь, даже лакеи в моем доме ведут себя приличнее».

Спустившись с лестницы, Понтиви неожиданно услышал шепот и скрип двери. Он быстро погасил свечку и отскочил в сторону. При мерцании утренних сумерек он увидел, что Робеспьер шел из комнаты его дочери.

В глазах у него помутилось, он задрожал всем телом и едва не бросил подсвечник в обольстителя своей дочери.

— Откуда вы идете? — промолвил он сквозь зубы и, набросившись на него, схватил за горло.

— Мне больно, — застонал юноша, бледный, как полотно.

— Вам больно, — закричал во все горло старик, размахивая подсвечником, — да я убью вас, как низкого негодяя, за бесчестье моей дочери!

Но в эту минуту кто-то схватил его за руку и отвел удар.

Это была Кларисса, которая выбежала на шум, полураздетая, с распущенными волосами.

— Отец, отец! — воскликнула она, рыдая, и бросилась к его ногам, как бы умоляя о пощаде.

Ее отчаяние еще более вывело из себя Понтиви, который был вдвойне оскорблен ее бесчестьем как отец и глава семьи, которую до тех пор не омрачало ни одно черное пятно.

Робеспьер между тем оправился и хотел что-то сказать, но Понтиви грозно перебил его:

— Молчать! Ни одного слова! Слышите! Ни одного слова! Ступайте в свою комнату и дожидайтесь моих приказаний.

Эти слова сопровождались таким повелительным жестом, что юноша молча удалился.

— Что же касается тебя... — продолжал старик, обращаясь к Клариссе, но слова его замерли на устах.

Молодая девушка лежала на полу без чувств. Он поднял ее, отнес в ее комнату и положил на первое попавшееся кресло.

На следующее утро Понтиви позвал Робеспьера и сказал ему повелительным тоном:

— То, что произошло вчера ночью, останется навсегда тайной. За обедом вы под каким-нибудь предлогом скажете

мне что-нибудь оскорбительное, а я попрошу вас оставить мой дом.

— Но я готов загладить свою вину, — промолвил юноша.

— Вы предлагаете жениться на моей дочери! — воскликнул советник парламента, которому слова секретаря показались новым оскорблением. — Вы забываете, кто вы, г-н Робеспьер! Вы — муж моей дочери! Довольно, исполните мою волю.

Эпилог драмы разыгрался так, как желал Понтиви. Секретарь был удален из дома за грубость, и никто не подозревал настоящей причины этого неожиданного события.

Кларисса серьезно занемогла: у нее открылась горячка, и она долго не выходила из своей комнаты.

II

Прошло девятнадцать лет, и эти девятнадцать лет ознаменовались во Франции такими событиями, каких никогда прежде не видывал свет. Злоупотребления неограниченной властью возбудили всеобщее недовольство и привели к революции. Но это общественное возрождение вызвало в свою очередь злоупотребления свободой. Людовик XVI, Мария Антуанетта, значительное число аристократов и даже многие ни в чем не повинные жертвы погибли под гильотиной. Террор царил со всеми его ужасами.

Среди фанатичных патриотов, видевших в терроре единственное спасение от внутренних роялистских интриг и чужестранного вторжения, был Максимилиан де Робеспьер, бывший секретарь Понтиви, теперь называвший себя просто Робеспьером. Самый могущественный из двенадцати членов Комитета общественной безопасности, управлявшего Францией, он возбуждал во всех страх и, 36 лет от роду, он стоял во главе революции.

История представляется романом народов, но она более переполнена невероятными событиями, чем самая фантастичная, волшебная сказка, а французская революция занимает первое место среди исторических загадок со времени существования света. Действующие лица этой великой драмы невольно изумляют и поражают нас, словно они принадлежат к иному миру, к области чудовищной фантазии. Судьбе было угодно, чтобы секретарь Понтиви находился в числе этих гигантов, и, несмотря на достигнутый им неимоверный успех, он не изменился от быстро сменявшихся друг друга событий. После девятнадцати лет мы

находим бывшего секретаря Понтиви в Эрмитаже Монморанси, в той же самой комнате, где Жан Жак Руссо написал свою «Новую Элоизу», таким же пламенным его поклонником, как в то время, когда под влиянием этого романа он разыграл печальный роман своей юности.

Была пятница, шестое июня 1794 года, или, как тогда выражались, двадцатый прериаль второго года республики. Покинув накануне вечером Париж, он искал спокойствия в этом окруженном цветами убежище на опушке Монморансского леса. Эрмитаж Руссо сделался государственной собственностью и был продан частному лицу, которое тайно отдало его внаем Робеспьеру, содержавшему там садовника. Он часто проводил тут ночи и несколько часов днем, чтобы отдохнуть на лоне природы от революционного водоворота. В настоящую же минуту он искал в этом убежище вдохновения для составления речи, которую он должен был вскоре произнести на празднестве в честь Верховного Существа, церемонии, придуманной и организованной им в духе теории Руссо.

Рано утром Робеспьер вышел в сад, жадно вдыхал своей утомленной грудью свежий, живительный воздух и, гуляя под тенью старых раскидистых деревьев, гадал, под которым из них некогда любил сидеть Руссо. Душа пламенного трибуна теперь как бы соединялась в нежном единении с чарующей природой при первых лучах восходящего солнца. Вообще он любил блуждать по полям и долам, собирая анютины глазки, любимые цветы Жан Жака. Поэтому он часто заходил в Монморансский лес, казавшийся продолжением его лужайки, и там встречал иногда приехавших из Парижа друзей, с которыми завтракал попросту, на траве.

В это утро он поднялся раньше обыкновенного, так как в голове его теснился ряд мыслей, которые надо было высказать в своей речи, первой попытке говорить на общественном торжестве, которая в случае успеха должна была в глазах народа окончательно утвердить его господство. Притом было необходимо, чтобы он окончил эту речь до двенадцати часов, когда им было назначено в лесу очень важное свидание, от которого могла зависеть перемена внешней политики Франции.

Робеспьер провел ночь в той самой комнате, которую некогда занимал Руссо в нижнем этаже и в которой собраны все предметы, принадлежавшие ему и оставленные им во время его поспешного бегства из Эрмитажа после знаменитой ссоры с его владелицей. Все тут говорило о великом философе — от кровати и двух шкафов орехового дерева до

стола, на котором он писал первую часть «Новой Элоизы», книжных полок, барометра и двух картин: «Судьба солдата» и «Десять мудрых и десять глупых дев». В такой-то обстановке находился Робеспьер, вернувшись с прогулки, чтобы писать свою речь под наитием тайно присутствовавшей в этом жилище души его великого учителя. Судя по его бледному лихорадочному лицу и опухшим глазам, трибун провел бессонную ночь. Внешне он почти не изменился, и Понтиви легко узнал бы своего прежнего секретаря в человеке, перед которым дрожала теперь вся Франция. Это была та же живая, подвижная фигура, прилично одетая, только в ней стала еще заметнее постоянная нервозность, которая доходила до того, что все его лицо, покрытое теперь рябинами, лихорадочно подергивалось. Выдающиеся скулы и беспокойно сверкавшие зеленые, как у кошек, глаза придавали ему неприятное выражение.

Он открыл все три окна своей комнаты, выходившие в сад. Свежий воздух и благоухание цветов окружали теперь его. День только начинался, и вся монморансская долина была окутана бледным светящимся туманом. Долго простоял он у одного из окон и пристально смотрел на первые улыбки просыпавшейся природы. Потом он сел за маленький письменный стол, на котором лежали белые листы бумаги, и, обмакнув перо в чернильницу с бюстом Руссо, начал писать.

Набросав несколько отдельных фраз, он рассеянно взглянул в окно. Очевидно, посторонние мысли теснились в его голове. Тридцать пять лет тому назад в этой самой комнате Руссо писал те пламенные страницы своего романа, под влиянием которых Робеспьер высказал свою любовь к Клариссе. Думал ли он когда-нибудь о своей первой любви и о несчастном ее плоде, о появлении которого на свет известила его несчастная девушка, спустя несколько месяцев после ужасной сцены в доме Понтиви? Конечно, нет. Его постоянно занимали другие, более важные мысли. В продолжение многих лет он думал только о самолюбивых стремлениях и практическом осуществлении даже ценою террора утопии всеобщего равенства. Однако письмо Клариссы о предстоящем рождении ребенка могло тронуть даже бездушную статую и навеки запечатлелось в его памяти. Даже теперь он помнил его слово в слово:

«Милый Максимилиан, я не хотела писать тебе, так как дала торжественное обещание отцу никогда этого не делать в тот день, когда он объявил мне, что я не могу быть твоей женой. Но неожиданное обстоятельство осво-

бождает меня от этой клятвы и еще ближе соединяет меня с тобою.

Я вскоре буду матерью.

Мой отец знает об этом. Я думала, что, признавшись ему, я наконец уговорю его согласиться на наш брак. Все мои мольбы остались тщетными, он по-прежнему непреклонен и решил запереть меня в монастырь, где увидит свет несчастное существо, жизнь которого признается преступлением. Мое сердце обливается кровью при мысли, какая бездна должна отделять тебя от твоего ребенка, который родится сиротой, и как ты будешь несчастен, что тебе не суждено увидеть никогда этого ребенка. Поэтому я решилась освободить тебя от такого горя.

Ты можешь, милый Максимилиан, располагать нами, как хочешь: мы оба твои. У меня отложено на черный день немного денег, и с помощью доброй Жюсом мы можем с тобою перебраться в Англию, где католический паптер благословит наш союз. После этого мы можем вернуться во Францию, если ты этого пожелаешь. Мать твоего ребенка будет самой послушной тебе женой.

Я посылаю это письмо к твоим теткам в Арас, прося их переслать тебе. Пиши мне на имя госпожи Жюсом «до востребования». Где бы я ни была, эта добрая женщина перешлет мне твое письмо.

Целую тебя от всей души, друг моего сердца, которое, несмотря на все, будет вечно тебя любить.

Кларисса де Понтиви».

На это письмо не было получено ответа, хотя молодой Робеспьер получил его в гостинице «Серебряный петух» на улице Огюстен, куда он переехал из дома Понтиви. Прочитав письмо два раза, он сжег его. Предложение Клариссы показалось ему слишком рискованным. Они не могли долго жить на ее скромный капитал, и, следовательно, пришлось бы потом вымаливать прощение у Понтиви; к тому же их брак был бы в любом случае незаконным, так как они оба были несовершеннолетними. Что же касается ребенка, то он и не думал о нем. Ребенок еще не родился и мог вовсе не родиться.

Однако второе письмо Клариссы уведомило его о рождении сына. При этом она уведомляла, что если он не возьмет их обоих к себе, то ребенка отдадут в воспитательный дом, а ее в монастырь, но Робеспьер сжег его так же, как и первое. В сущности, у ребенка был богатый дедушка, который посердится, посердится и наконец простит дочь, а затем устроит и судьбу ребенка. Робеспьер уверял себя, что ему

нечего беспокоиться, так как он исполнил свою обязанность, предложив жениться на обесчещенной молодой девушке, но отец этого не пожелал. Тем хуже было для него.

Презрительный отказ Понтиви породниться с ним оказал молодому человеку немалую услугу, так как это обстоятельство подстрекнуло его самолюбие, и он решился доказать советнику парламента, что он сумеет достигнуть назло ему высокого положения.

Блистательно окончив занятия на юридическом факультете в Париже, он получил диплом адвоката и вернулся в Арас, где вскоре прославился благодаря нескольким громким делам, которые ему удалось выиграть. Но провинциальных лавров ему было недостаточно, и он принял живое участие в революционном движении, которое тогда охватило всю Францию. Когда были созваны Генеральные штаты в Версале, то он явился туда представителем своего родного города. Но на этой великой арене он не сразу одержал успех. Рядом с титанами Генеральных штатов, рядом с величественным красноречием Мирабо маленькая фигура провинциального адвоката и его слабый, писклявый голос казались смешными. Все его попытки обратить на себя внимание пламенными речами только порождали иронические выходки против него. Один только Мирабо понял те могучие силы, которые скрывались в нем, и сказал: «Этот человек пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит».

Действительно, если бы товарищи Робеспьера по Генеральным штатам отличались большей дальновидностью, то они догадались бы, что этот человек отличался безграничным самолюбием и уверенностью в том, что он сумеет провести свою излюбленную идею о полном равенстве всех людей, хотя бы для торжества ее пришлось совершить преступление. По верному замечанию Мирабо, он был убежден в непреложной справедливости своей теории и осуществлял ее на практике с мужеством и упорством. При этом он действовал с удивительною осторожностью, никогда не компрометируя себя, и никогда сам не увлекался, увлекая других.

О его частной жизни было очень мало известно, и только был он известен своей безупречной честностью и нравственной жизнью. Его недаром называли Неподкупным, и ни одно черное пятно не омрачало его общественной деятельности. Сначала он жил очень скромно на улице Сент-Онже в маленькой квартире и не только существовал исключительно на депутатское содержание, равнявшееся 18 франкам в день, но еще посылал часть этих денег своей сестре в Арас. Потом он перебрался в дом старика Дюплэ

на улицу Сент-Оноре близ Якобинского клуба. Вернее сказать, он не сам поселился в этом новом жилище, но случайно укрылся там от уличных беспорядков, а затем хозяин дома, пламенный его поклонник, почти насильно удержал его у себя, так как мог ручаться за безопасность трибуна в его доме. Его спартанская, чисто демократическая жизнь была известна всем и составляла тот пьедестал, на котором он возвышался над всеми.

Действительно, в настоящее время он стоял на недостижимой высоте. Все великие вожди революции, его предшественники или соперники, исчезли, как Мирабо и Марат, жертвы своего крайнего энтузиазма, или Дантон и Демулен, погибшие по его обвинению. Когда таким образом он очистил свой путь от всех, кто мог ему мешать, он держал судьбы Франции в своих руках с помощью конвента, повиновавшегося его воле, и армии, вполне ему подчиненной. Но для всецелого господства над страной ему надо было устранить еще одну преграду. Он чувствовал, что в Комитете общественной безопасности, который сосредоточивал в себе всю власть и членом которого он состоял, было враждебное ему подземное течение.

Таким образом, настала минута нанести последний удар и освободиться от тайного сопротивления в комитете. Затем он сделался бы всемогущим, непреодолимым. Способ для достижения окончательного торжества он видел в празднестве Верховного Существа, которое должно было произойти через несколько дней и в котором ему предстояло разыграть первую роль в качестве председателя конвента. Этого поста он добился именно с целью быть главою светской церемонии, долженствовавшей затмить все религиозные церемонии старинной монархии.

Он намеревался публично, при восторженных рукоплесканиях народа, установить культ нового божества, существование которого он только что провозгласил, — бога природы, заимствованного им у Жан Жака Руссо в его знаменитых страницах «Савойского викария». Диктаторские стремления Робеспьера находили полное удовлетворение в мысли, что он среди цветов и фимиама произнесет те громкие, цветистые фразы, которые он теперь сочинял на том самом столе, на котором его великий учитель писал свои вдохновенные произведения. Он уже видел себя первосвященником республики; он уже слышал восторженные рукоплескания толпы. Тайна, скрывавшая его ежедневное существование, придавала ему в глазах толпы сверхъестественные размеры; он казался ей чистым источником, из

которого среди девственных снегов вытекал величественный поток революции. А готовившееся торжество должно было окончательно увенчать его лучезарным ореолом, после чего уже никто не смел бы сопротивляться ему.

Вот каков был человек, мирно писавший в скромной сельской обстановке монморансского Эрмитажа.

Окончив первую свою речь (а он должен был произнести их две), Робеспьер перечел ее, исправляя слог, подыскивая грациозные фразы и подбирая эффектные эпитеты. Особенной силой дышало заключение, в котором он грозил своим тайным врагам: «Народ, будем сегодня предаваться под покровительство Верховного Существа чистой, непорочной радости, а завтра мы снова возьмемся за оружие против тиранов и зла». Но ему еще более нравилась фраза, в которой он говорил о присутствии Верховного Существа во всех радостях жизни: «Верховное Существо придает чарующую прелесть челу красавицы, осеняя ее непорочной скромностью, наполняет материнское сердце нежной любовью, наполняет слезами счастья сына, прижимаемого матерью к ее пылающему сердцу».

Перечитывая эти слова, он даже улыбнулся, так они показались ему музыкальны. Конечно, сам Руссо с удовольствием подписался бы под ними. Но при этой мысли он неожиданно нахмурил брови. Не были ли они перифразой какого-нибудь выражения из «Савойского викария»? Может быть, он привел ту же метафору, как Руссо? Тогда его подняли бы на смех.

Робеспьер встал и подошел к шкафу, в котором хранились все сочинения Руссо. Ключ торчал в замке, и стоило только повернуть его, чтобы достать необходимую книгу и развеять свое сомнение. Но, несмотря на все его усилия, он не мог отпереть шкаф. Он уже хотел сломать дверь шкафа, но это показалось ему святотатством, так как шкаф принадлежал великому учителю.

Он позвал садовника и сказал ему:

— Замок не отпирается, попробуйте.

Садовник также не мог сладить с непослушным ключом.

— Мне необходима одна книга из этого шкафа, — сказал Робеспьер.

— Я сейчас позову слесаря, гражданин, — отвечал садовник, — он живет по дороге в лес.

Садовник поспешно удалился, и Робеспьер снова принялся за свою работу. Вскоре он услышал за собою шаги и не повернул головы, так как набрасывал на бумаге пришедшие ему в голову счастливые мысли.

— Я привел слесаря, гражданин, — сказал садовник.

Слесарь перепробовал несколько ключей и наконец отпер шкаф.

— Готово, гражданин, — произнес садовник.

— Благодарствуйте, — отвечал Робеспьер, не поднимая головы от своей работы.

Неожиданно он услышал в саду голос, распевавший:

Птички в лесу щебетали...

Это пел молодой слесарь, возвращавшийся домой, и громко пел. Робеспьер положил перо. Он где-то слышал эту мелодию, этот голос, но где и когда?

Но голос замер вдали, и Робеспьер забыл изумившее его совпадение. Он взял том сочинений Руссо, в котором находился «Савойский викарий», и стал поспешно его перелистывать. Неожиданно его глаза остановились на следующей фразе:

«Есть ли на свете более слабое и несчастное существо, как ребенок. Он постоянно нуждается в сострадании, заботах, попечении и покровительстве».

Он перевернул несколько страниц и нашел, что искал:

«Я вижу Бога во всех его творениях, я чувствую Его присутствие во мне, я вижу Его во всем, меня окружающем».

Робеспьер улыбнулся. Между выражением Руссо и его фразой существовала только аналогия мысли. То, на что только намекнул великий учитель, он подробно развил.

И он снова вернулся к своей работе.

III

Робеспьер не ошибся, что слышанный им голос и распеваемая этим голосом мелодия ему известны. То и другое ему могло напомнить Клариссу, которая не раз в эпоху их любви пела эту мелодию. Судьбе было угодно свести его в жилище философа, под влиянием которого разыгрался первый и единственный роман его жизни, с сыном Клариссы. Но сердце не подсказало ему, что молодой слесарь, открывший замок в шкафу, был его сыном, который вырос и возмужал вдали от своего отца, который не имел понятия, где он и что с ним.

Выйдя из Эрмитажа, юноша пошел по тропинке, которая вела в лес. Это был красивый, здоровенный, мощный молодой человек, но его приличные манеры и светское вос-

питание невольно проглядывали сквозь рабочую одежду. Волосы его были темно-каштановые; голубые глаза мягко, нежно освещали загорелое, смуглое лицо, а на тонких губах, едва покрытых усами, играла веселая улыбка. Он шел быстро, держа в руках большую палку. Но по временам он останавливался и отирал платком пот, выступавший у него на лбу от нестерпимой жары. Наконец он нетерпеливо скинул скюртук и, повесив его на палку, продолжал свой путь, держа палку с скюртуком на правом плече.

Вскоре он повернул на зеленую поляну, которая расстилалась среди леса, и ускорил шаги, так как вдаль показалась какая-то фигура.

— Тереза! — кликнул он.

— Здравствуйте, Оливье, — отвечал чистый, мелодичный голос, и к нему подбежала молодая девушка, протянув руки.

Она была высокого роста, с тонкой талией, розовым цветом лица, и на ней было старое, полинявшее платье.

— Нехороший мальчик, — продолжала она, — мы с тетей так беспокоились о вас. Куда вы пропали?

Юноша ничего не отвечал, а молча поцеловал ее в лоб, пока она так же молча брала у него палку с скюртуком.

— Где мама? — спросил он наконец.

— Конечно, здесь, — отвечал другой голос, также женский и столь же радостный, но более нежный.

Голова Клариссы показалась над высокой травой, и через минуту юноша был в объятиях матери. Они уселись на валявшемся на земле срубленном дереве, на берегу весело журчавшего ручейка, через который был перекинут сельский мостик.

— Мой бедный Оливье, — произнесла мать, — как мы беспокоились о тебе. Отчего ты поздно пришел? Да еще после того, что не спал дома?

— Разве вы не знали, что я не должен был ночевать дома?

— Знала, но думала, что ты поэтому раньше придешь сегодня.

— Это все устроилось неожиданно, — сказал юноша и объяснил, что он всю ночь работал в Сен-При, маленьком селении, отстоявшем на милю от Монморанси, где готовился праздник, а поэтому было необходимо скрепить железными скобами большую эстраду. — Возвращаясь же домой, — продолжал он, — я встретил здешнего садовника, который просил зайти в Эрмитаж и отпереть замок в книжном шкафу для жильца.

— А какой там жилец? — спросила Кларисса, испуганная мыслью, что ее сын ходил в дом неизвестного человека.

— Не знаю, но только он сидел за работой и даже не поднял головы, чтобы поблагодарить меня. Нечего сказать, странные манеры у этих республиканцев. По крайней мере прежние аристократы были вежливее.

— Тише, тише, тебя могут подслушать, — промолвила мать со страхом и обняла сына, как бы желая его защитить. — Лучше скажи, что ты слышал нового в своей мастерской.

— В Париже продолжают все те же ужасы, и число жертв все увеличивается.

Пока он продолжал свой печальный рассказ о парижских ужасах, Тереза, сев на траву, старалась разглядеть руками его измятый сюртук, а мать с любовью смотрела на его лицо.

От шестнадцатилетней Клариссы теперь ничего не осталось, кроме бархатных голубых глаз и нежной прелести их выражения, которое отражало по-прежнему чистую, непорочную душу. Бледное ее лицо было испещрено глубокими морщинами, а белокурые волосы поседели. Хотя она была одета, как поселянка, но опытный наблюдатель мог бы тотчас угадать аристократку по ее белым рукам, тонким пальцам и грациозным манерам.

Она была теперь известна под именем Дюран, и то же имя носила ее племянница Тереза. Хотя она выдавала эту молодую девушку за дочь своего деверя, но в сущности она была дочерью ее брата, студента Наварской коллегии, который был убит год тому назад в рядах шуанов вместе с ее мужем, так как Кларисса была замужем и овдовела.

История ее была немногосложна, и она могла ее изложить в нескольких строчках, хотя, конечно, рука ее дрожала на каждом слове. Брошенная своим обольстителем и не получив ответа на свои письма, она вполне разочаровалась в нем, хотя, по несчастью, слишком поздно. Она родила ребенка в маленьком отдаленном селении Дофинэ, куда ее отвез отец и где она посещала потом своего сына раз в две недели по секрету ото всех. Она же сама продолжала жить с гордым, суровым отцом, который требовал, чтобы она по временам показывалась с ним в обществе. Несмотря на ее печальный вид, она сохранила свою очаровательную грацию; в нее влюбился молодой гвардейский офицер де Молюссон, который и просил ее руки у Понтиви.

— Ваше предложение делает нам большую честь, но, прежде чем дать вам окончательный ответ, я желал бы, чтобы вы сами переговорили с моей дочерью.

В тот же вечер Понтиви объявил об этом своей дочери в следующих словах:

— Господин де Молюссон, по-видимому, влюблен в тебя и сделал мне честь просить твою руку, но я объяснил ему, что ты сама ею распоряжаешься. Он завтра придет, чтобы сделать тебе предложение. Я не знаю, нравится ли он тебе, но если ты намерена быть его женой, то ты должна прежде сознаться ему во всем. Мне нечего тебе прибавлять, что если он после этого все-таки захочет жениться на тебе, то я с удовольствием дам свое согласие.

— Быть по-вашему, отец, — отвечала Кларисса.

Тяжело было молодой девушке поведать свою тайну незнакомому человеку, но она в этом видела искупление своей вины и мужественно исполнила свой долг, так как она и без приказаний отца никогда не решилась бы обмануть своего будущего мужа. В немногих словах она поведала ему о своем прошлом, а он оказался столь глубоко влюбленным и столь благородным человеком, что после этого рассказа молча почтительно поцеловал ее руку.

— А ребенок, — промолвил он после минутного молчания, — чье имя он носит?

— Моего отца, его зовут Оливье.

— Нет, я говорю о фамилии. Мы ему дадим нашу фамилию. Ведь Молюссон не хуже Понтиви.

— Как! — воскликнула Кларисса, точно она была во сне. — Вы хотите его усыновить?

Молюссон молча прижал ее к своему сердцу, и по щекам Клариссы потекли слезы не от горя, а от неожиданного счастья. Ребенку было тогда два года. Молодая чета много путешествовала вместе с маленьким Оливье, а затем поселилась в Понтиви близ замка старика, который мало-помалу стал нежнее обращаться с дочерью из любви к внуку. Молюссон, вышедший в отставку и всецело посвятивший себя семье, исключительно занимался воспитанием Оливье, который стал красивым, блестящим, умным мальчиком. Кроме Понтиви и брата Клариссы Жака, никто не знал о настоящем его происхождении. Жак де Понтиви был женат и потерял свою жену, спустя несколько месяцев после рождения дочери, которую Кларисса любила не меньше Оливье.

Жизнь, по-видимому, улыбнулась бедной женщине, но революция снова омрачила ее существование. Жак де Понтиви вступил в армию, куда вернулся и Молюссон, как только опасность стала грозить королю. Они оба сопровождали короля и Марию Антуанетту в их бегстве в Варен, а в следующем году эмигрировали в Англию, а Кларисса с

обоими детьми удалилась к отцу в замок Понтиви, где старик печально доживал свой век, утверждая, что ввиду тогдашних событий ему оставалось только умереть.

Однако узнав, что муж и брат отправляются в королевскую армию в Ванде, Кларисса оставила временно отца и детей и поехала повидаться с ними в Лондон, где они жили у англичанина Вогана, с которым они подружились в американском посольстве. Ей не удалось пожить с ними даже до их отъезда, так как известие о том, что отец ее умирает, заставило ее поспешно вернуться во Францию.

Тут одно несчастье за другим разразилось над ее головой. В первой стычке шуанов с республиканцами, в которой приняли участие Жак де Понтиви и Молюссон, первый был убит, а второй тяжело ранен. Переведенный в Лондон, он умер на руках верного своего друга Вогана. Известие о его смерти было получено в день кончины ее отца, и эта двойная потеря так ее поразила, что она серьезно занемогла и две недели была между жизнью и смертью. Наконец, когда она очнулась и открыла глаза, то увидела Оливье и Терезу, с любовью и слезами смотревших на нее.

— Успокойтесь, — сказала она, — я буду жить для вас. Леонар, вы здесь? — прибавила она, заметив в комнате старого слугу отца, который жил в Монморанси.

— Вы можете быть уверены, — отвечал он, — что Леонар никогда не покинет вас, пока вы совершенно не оправитесь.

— Так я никогда не поправлюсь, — отвечала она со смехом и протянула ему обе руки.

Напротив, она очень быстро поправилась, и тогда пришлось решить, что ей делать в будущем.

Леонар уже все давно обдумал и сказал ей:

— Вы не можете здесь оставаться. Ваше имя, ваши светские связи и богатство компрометируют вас и рано или поздно вызовут месть так называемых патриотов. Вы должны покинуть Понтиви.

— Но куда же мы поедem, — воскликнула Кларисса, — за границу? Я уже давно об этом думала. Но как я выеду из Франции с моей молодежью без паспорта и проводника?

— Всего безопаснее остаться во Франции, — отвечал Леонар, — выслушайте меня. Я живу в маленькой хижине в Монморансском лесу, это очень уединенный, пустынный уголок. Вы можете поселиться там как мои жильцы, под какой-нибудь придуманной фамилией. По соседству обитают почтенный садовник и его жена, которые могут вам помочь в хозяйстве и в обработке огорода. Чтобы избежать

всякого подозрения, вы можете поместить вашего сына в моей слесарной мастерской. Я — один из влиятельных членов демократического общества в Монморанси, и моего знакомства о вами достаточно, чтобы гарантировать ваши республиканские убеждения. Оливье научится ремеслу и останется под вашим наблюдением, так как он может постоянно обедать и ночевать у вас.

Кларисса с удовольствием согласилась на этот план, и через несколько дней она со своей маленькой семьей поселилась в хижине среди Монморансского леса. Четырнадцать месяцев прожила она там спокойно и была бы совершенно счастлива, если бы ее не тревожили мысли о том, что Оливье мог ежедневно подвергнуться опасности в эту грозную эпоху террора. Она была довольна только тогда, когда он был дома, и, слушая его длинный рассказ о парижских событиях, утешала себя мыслью, что он до следующего утра не расстанется с нею.

Но он неожиданно встал и взял сюртук у Терезы с явным намерением уйти.

— Как, — воскликнула она, — ты не останешься с нами на весь день?

— Неужели вы хотите, чтобы я не попал на сегодняшний праздник? — отвечал Оливье, улыбаясь матери. — Подумайте только — я его готовил и не приму участия. Там будет вся молодежь из Монморанси, и мое отсутствие будет всеми замечено, но я обещаю вернуться домой к ужину. У меня еще свободный целый час, дайте мне что-нибудь поесть и выпить стакан вина.

Кларисса встала и направилась к новенькому мостику, а за нею последовали Тереза и Оливье, но через несколько минут он вспомнил, что забыл на траве свою палку, и вернулся назад. В эту минуту он услышал какой-то голос. Он обернулся и увидел перед собою незнакомца, который спросил:

— Какая тропинка ведет в Ла-Шевр?

— Вот эта, — отвечал Оливье и указал ему на лесную тропу, по которой незнакомец и хотел удалиться, но в эту минуту Кларисса радостно воскликнула:

— Неужели это вы, Воган?

— Госпожа де Молюссон! — отвечал незнакомец, и в голосе его слышалась также радость.

— Тише, тише, — сказала она, понижая голос, и она познакомила Вогана со своей молодежью, которая часто слышала об этом друге их семьи.

В нескольких словах Кларисса объяснила их теперешнее положение и потом печально замолкла. Слезы показались

на ее глазах. Ее муж умер на руках Вогана и высказал ему свою последнюю волю. Ей хотелось расспросить у него все подробности, но ее сдерживало присутствие детей. Тереза с чисто женским тактом поняла, в чем дело, и спросила, может ли она идти с Оливье.

— Да, да, дети, идите вперед, — сказала поспешно Кларисса, бросая благодарный взгляд на молодую девушку, — мы догоним вас.

Оставшись вдвоем с Воганом, она забросала его вопросами, на которые он отвечал с большим тактом, избегая очень печальных подробностей.

— Какая у вас славная парочка! — произнес он, когда уже истощились ее вопросы. — Вы, конечно, жените их.

Кларисса молча улыбнулась.

— Поздравляю вас. А когда свадьба?

Она отвечала, что республиканское правительство уничтожило церковный обряд венчания, а если бы она и удовольствовалась гражданским обрядом, то мэр потребовал бы их метрики, а у нее не только не было этих документов, но она не знала даже, где их найти.

— Они у меня, — отвечал Воган.

Кларисса взглянула на него с изумлением.

Он объяснил ей, что нашел эти документы, разбирая бумаги своего умершего друга Молюссона.

— Среди них, — прибавил он с заметным смущением — находятся свидетельства о рождении и крещении Оливье. Они оба помечены 1775 годом, то есть двумя годами раньше вашего замужества.

Он остановился, как бы боясь, что сказал слишком много.

— К какому же вы пришли заключению, прочитав эти документы? — спросила Кларисса.

— Я полагаю, что мой друг Молюссон, женившись, узаконил своего сына Оливье.

Кларисса побледнела. Ей никогда не приходило в голову, что ее честнейшего, благороднейшего мужа могли заподозрить в обольщении молодой девушки.

— Вы ошибаетесь, — произнесла она твердым, решительным голосом. — Оливье носит имя Молюссона, но он сын не его, а мой.

Воган молча махнул рукой, как бы желая помешать ее дальнейшей исповеди. Но молодая женщина решила лучше сознаться во всем верному другу мужа, чем допустить, чтобы на его добром имени оставалась хотя бы тень сомнения. В немногих поспешных словах она открыла ему тайну жизни и скрыла только имя отца Оливье.

— А он ничего не знает?

— Ничего. Он уверен, что отец его Молюссон.

— Вы много выстрадали, — сказал англичанин, взяв обе руки Клариссы и дружески их пожимая, — надеюсь, что остальная ваша жизнь будет наполнена радостью и счастьем.

— Дай Бог, — отвечала она, — но трудно тешить себя светлыми надеждами в эти трудные, ужасные времена.

Воган задумался и через несколько минут произнес:

— Отчего бы вам не поехать со мною в Англию?

— А вы скоро возвращаетесь туда?

— Через несколько дней.

Она радостно вскрикнула, но тотчас лицо ее опечалилось, и она сказала:

— Нечего утешать себя такими мыслями. Где я достану паспорт?

— Я вам все устрою, — отвечал Воган.

Она на него взглянула с удивлением, но тут ей пришло в голову, что она, может быть, удерживает его от исполнения какой-нибудь важной обязанности, и стала поспешно в этом извиняться.

— Нет, вам нечего извиняться. Я действительно здесь по делу, но вы меня нисколько не задержали. Я пришел на свидание слишком рано. Конечно, это свидание не может вас очень интересовать, так как оно политическое. Один влиятельный член английской палаты депутатов поручил мне переговорить с главою республики Робеспьером.

При этом имени Кларисса вздрогнула, но Воган нисколько этому не удивился, так как Робеспьер внушал всем, в особенности женщинам, безграничный страх. Поэтому он спокойно продолжал говорить о своем тайном посольстве. Он должен был от имени английской партии вигов сделать Робеспьеру очень важное предложение, которое в случае принятия изменило бы положение дел во Франции и во всей Европе. Но вопрос был в том, примет ли он предложение. Воган в этом сомневался, так как предложение было лестное для самолюбия Неподкупного, но оно уменьшило бы его значение, а жажда власти одушевляла этого человека, который не искал блеска, а, напротив, окружал себя республиканской простотой.

Видя, что Кларисса слушает его с пламенным интересом, Воган стал подробно описывать скромную, стойкую жизнь Робеспьера в патриархальной семье столяра Дюплэ на улице Сент-Оноре, на дочери которого, Корнелии, он, по-видимому, хотел жениться. В этом смирен-

ном жилище он был так хорошо охраняем, что Воган не мог проникнуть к нему, несмотря на письмо его лондонского агента. Ему удалось только получить разрешение увдаться с Робеспьером в Монморансском лесу, где семья Дюплэ устраивала в этот день пикник. Такая странная обстановка для политического свидания была устроена с целью уничтожить подозрения Комитета общественной безопасности, который зорко следил за каждым его движением.

— Он придет сюда? — спросила Кларисса, бледная и дрожащим голосом.

— Да, — отвечал Воган, — он сейчас придет. Я воспользуюсь этим счастливым случаем и попрошу у него паспорт для вас и вашей семьи. Он не может мне в этом отказать.

Кларисса взглянула на англичанина с ужасом.

— Вы хотите просить у него паспорт для нас?

— Да, и непременно получу.

— Это невозможно, это немыслимо, — воскликнула Кларисса.

— Отчего? — произнес Воган, приходя в свою очередь в удивление.

— Он спросит мое имя.

— Ну так что же, я скажу.

— Нет, нет! — воскликнула Кларисса и стала в сильном волнении шагать по траве.

— Я вас не понимаю, — промолвил Воган.

Она остановилась, пристально посмотрела на него и с необыкновенной решимостью произнесла:

— Вы знаете половину моей тайны, и я вам открою остальное. Отец Оливье...

— Кто? — воскликнул Воган, не смея верить своему подозрению.

— Он!

Она упала на землю и горько зарыдала.

— Бедная, бедная госпожа де Моклюссон, — промолвил Воган, наклоняясь к ней, — я думал, что ваши страдания окончены, и неосторожно дотронулся до вашей незакрытой раны.

— Это ничего, — отвечала, вставая, Кларисса, — я давно уже питаю к нему только презрение и отвращение.

— Тише, тише! — произнес Воган и стал присматриваться к чему-то за деревьями.

— Это он? — сказала шепотом Кларисса. — Вы придете потом к нам?

— Завтра, но не сегодня, так как я боюсь, что за мною будут следить, — и убедившись, что действительно по лесу шел Робеспьер, он поспешно прибавил:

— Уходите скорей!

— Где он? — спросила Кларисса, которая все-таки осталась женщиной и хотела видеть человека, к которому, по ее словам, она относилась с презрением и отвращением. — Ах да, вижу. Прощайте, до завтра!

Эти слова она произнесла за деревьями, которые совершенно ее скрывали.

Оставшись один, Воган сел на срубленное дерево и стал смотреть на приближавшегося Робеспьера. Последний шел медленно и собирал по дороге анютины глазки, из которых делать букет. Он был одет очень изящно: на нем были высокие сапоги с отворотами, серый, крепко стягивающий его талию сюртук, коричневые узкие брюки и пестрый жилет. Перед ним бежала рыжая собака датской породы. В нескольких шагах от ручья Робеспьер увидел Вогана и немедленно остановился. В ту же минуту показались два здоровенных человека в куртках и с толстыми дубинами.

Воган встал и пошел навстречу Неподкупному. Собака начала лаять.

— Ни шага далее! — закричал Робеспьер. — Кто вы такой?

Он махнул рукой явившимся людям, которые, очевидно, были шпионы, и они подошли к Вогану. Хотя он удивился такой процедуре, но молча отдал рекомендательное письмо, привезенное из Лондона. Робеспьер взял письмо, вынул из кармана очки в серебряной оправе и прочитал его.

— Все в порядке, — сказал он, обращаясь к охранявшим его лицам. — Оставьте нас, но не уходите далеко, а, главное, смотрите по сторонам, чтобы никто сюда не приблизился.

Затем он перешел через мост в сопровождении собаки и подошел к Вогану.

IV

Француз и англичанин внимательно осмотрели друг друга с ног до головы: первый с видимым подозрением, а второй с любопытством. Как бы не довольствуясь рекомендательным письмом, Робеспьер спросил фамилию Вогана, и тот нашел невозможным отказать в чем бы то ни было такому могущественному человеку, но при этом он приба-

вил, что накануне писал письмо Робеспьеру, прося его аудиенции, что он в Париже остановился в американском консульстве под именем мистера Мартина, хотя он член английского парламента Бенжамин Воган. Затем, не дожидаясь ответа Робеспьера, он начал излагать поручения, данные ему Фоксом, противником антиреспубликанской политики Питта, но Робеспьер его перебил:

— Знаю, знаю. Фокс — столп демократии и талантливый, благородный человек. Я велел перевести его речи и читал их с большим интересом. Я следил внимательно за его ораторским поединком с Бурком и меня глубоко тронуло, что из политических убеждений он порвал двадцатилетнюю дружбу с ним. Это поступок, достойный древних героев. Ваши политические вожди — настоящие римляне. Чего же желает от меня почтенный Фокс?

Англичанин только что начал излагать данное ему поручение, как Робеспьер снова остановил его жестом и спросил, не слышал ли он шелеста листьев, хотя собака не залаяла. Воган отвечал, что он ничего не слышал, и Робеспьер просил его продолжать, но, очевидно, он слушал его в нервном раздражении, прислушиваясь к малейшему шороху.

Действительно, свидание с английским депутатом было более чем компрометирующее, потому что партия вигов предлагала установить во Франции конституционную монархию на тех же основаниях, как в Англии, и под скипетром малолетнего сына Людовика XVI, который был узником Тампльской тюрьмы.

— Что вы говорите! — воскликнул Робеспьер с удивлением.

— Конечно, будет утверждено регентство.

— Франция не захочет об этом и слышать.

— Отчего же нет, регентом будете вы.

Робеспьер отскочил на два шага.

— Я? Я — регент? Да вы шутите!

Он стал ходить в сильном волнении взад и вперед по траве, повторяя отказ и в то же время перебивая свою речь восклицаниями:

— Вы слышали что-нибудь? Кажется, кто-то идет. Ну, Блунд, стереги меня хорошо!

Наконец он немного успокоился и произнес твердо, решительно:

— Восстановить королевскую власть — это нелепо! Неужели я работал все это время для того, чтобы на престол вступил сын человека, казненного мною? Нет, я работал прежде всего для Франции, которая освобождена от позо-

ривших ее корыстных администраторов и низких аристократов, а потом и для себя. Но не с целью личного самолюбия, а потому, что я чувствую себя способным пересоздать страну, вдохнуть в нее новую душу и очистить ее путем установления добродетели справедливости и равенства. Я! Я буду регентом! Неужели Фокс считает это возможным? Может быть, я буду диктатором или протектором, как Кромвель, лордом-протектором страны, которую унижали в течение веков тирания и разврат. О, тогда ее увидят искупленной крещением крови, чистой, непорочной. Еще несколько казней, и из почвы, насыщенной кровью аристократов, палачей народа, возникнет древо свободы, древо жизни и справедливости, радости и любви, которое принесет удивительные плоды и на которое Франция будет смотреть, как на свою мать-кормилицу.

Воган слушал с удивлением эти идеальные фантастические разглагольствования. Робеспьер казался его практическому английскому уму просто безумцем, и он ясно видел, что с ним нельзя было заключить никакой благоразумной сделки.

— Так вы решительно отказываетесь? — спросил он.

— Решительно.

— Тогда мне остается только откланяться.

Но в эту минуту Робеспьер внезапно обернулся, собака залаяла, и какой-то неизвестный человек прошел мимо.

— Кто это? — спросил Робеспьер с испугом.

— По-видимому, нищий, — отвечал Воган.

— Вы думаете? — произнес Робеспьер, не вполне успокоенный. — А может быть, это — шпион? Меня окружают шпионы. Моя жизнь невозможна. Если бы я не думал о счастье Франции...

Вдали послышались голоса и лай собак. По всей вероятности, охранники Робеспьера прогоняли нищего,

— Ну, нам пора расстаться, но смотрите, ни слова о нашем свидании. Я, конечно, могу рассчитывать на ваше молчание, так как в противном случае я могу вас обвинить в подкупе, и вы знаете, чем это кончится.

Воган отвечал, что он сохранит тайну и, чтобы уничтожить всякое подозрение, поедет в Лондон через Женеву. Хотя он видел по волнению Робеспьера, что было не время просить его о чем-нибудь, но он все-таки намекнул, что желал бы отправиться в Лондон с одной дамой и ее сыном и дочерью. Робеспьер наотрез отказал в выдаче паспортов и прибавил, что в такие смутные времена было небезопасно ехать вчетвером, и затем он прибавил, что если эта дама

явится к нему, спустя несколько дней после отъезда Вогана, то он с удовольствием прикажет выдать ей паспорт и почтет себя счастливым оказать услугу семье, которой интересуется мистер Воган. Но последний отказался от этого предложения и, простившись с Робеспьером, быстро удалился.

Оставшись один, Робеспьер предался сомнениям и подозрениям. Какой это дамой интересовался англичанин? Значит, у него были во Франции друзья и он мог рассказать о своем свидании в лесу. Робеспьер немедленно позвал своих охранников и сказал одному из них, Дидье, который играл при нем роль Тристана Схимника.

— Пошлите поскорей тайного агента за этим человеком, и пусть проследят каждый его шаг в Париже.

— Это необходимо, — отвечал Дидье, — означенный человек очень подозрителен.

— Отчего? — воскликнул с удивлением Робеспьер.

Дидье отвечал, что, по словам одного из его сыщиков, карауливших в окрестностях, собеседник Робеспьера прежде свидания с ним виделся с какой-то дамой, которая убежала в свой дом, находящийся недалеко отсюда.

— Как! — воскликнул Робеспьер со страхом. — Третье лицо знает о моем свидании с англичанином? Арестуйте тотчас эту даму.

— Но их двое: мать и дочь.

— Арестуйте обеих и еще мужчину. У этой дамы должен быть сын.

— Но он теперь не дома.

— Так арестуйте его, когда он вернется.

Дидье отдал приказание своему товарищу и вернулся к Робеспьеру.

— А в какую отвезти их тюрьму?

— В какую хотите, только поскорее арестуйте. Но более ни слова, вот мои друзья.

Послышались звон колокольчика и удары кнута, а потом веселые голоса и громкий смех. Прежде всего показался хромой человек, который медленно шел, опираясь на палку, а вокруг него весело скакала собака Робеспьера. Это был племянник Дюплэ Симон, с деревянной ногой. Служа волонтером в 1792 году, он потерял ногу в сражении при Вальми и теперь находился в отставке, получал небольшую пенсию и исполнял должность секретаря Робеспьера.

— Здравствуйте, Робеспьер, долго вы нас ждете?

Робеспьер только что хотел ответить, что он только сейчас пришел в лес, но его избавили от этой лжи крики, раздавшиеся в нескольких шагах от него:

— Здравствуйте, Максимилиан! Доброе утро, друг!

Вся семья Дюплэ показалась в телеге, запряженной уставшей, изнуренной лошастью. Старик Дюплэ без сюртука и с красным вспотевшим лицом вел под уздцы лошадь, так как тропинка была усеяна кореньями, а его сын Морис, мальчик лет пятнадцати, бежал подле, отгоняя веткой мух. Сзади подталкивал тележку хорошо одетый господин. Это был Леба, товарищ Робеспьера по конвенту и Комитету общественной безопасности, муж одной из дочерей Дюплэ. В тележке сидели госпожа Дюплэ, здоровенная женщина с обнаженными до локтей руками, в которых она держала вожжи, а рядом с нею помещались на корзинках с продовольствием и посудой ее три дочери: Елизавета, жена Леба, Виктория, прелестная блондинка с очаровательными глазами, и Элеонора, которую родители прозвали Корнелией, чтобы придать ей античный оттенок в глазах Робеспьера, собиравшегося, по-видимому, на ней жениться.

Рослая брюнетка с блестящими миндалевидными глазами и гладко причесанными волосами, Корнелия была одета так же, как и ее сестры, просто, хотя в их летних костюмах опытный наблюдатель подметил бы тень кокетства. На трех сестрах были шляпки с трехцветными кокардами и лентами, что придавало всей группе в старой украшенной ветвями тележке праздничный вид.

Семья Дюплэ часто в прекрасные летние дни устраивала пикники на траве в Монморансском лесу, пользуясь этим случаем, чтобы провести несколько часов со своим другом вдали от света.

Тележка остановилась. Робеспьер быстро подошел к ним и учтиво помог женщинам соскочить на землю среди застенчивых восклицаний.

— Ох, как высоко, невозможно соскочить!

Потом на него посыпались среди веселого говора и смеха бесконечные вопросы.

— Хорошо ли вы спали, добрый друг? Отчего вы так сияете сегодня?

— От радости вас видеть, — отвечал Робеспьер.

Мать и дочери были в восторге от каждого его слова и сопровождали их восклицаниями:

— Какой он добрый! Камой он добрый! Как здесь хорошо! Только он мог найти такой прелестный уголок!

Между тем они стали распаковывать привезенные корзины с колбасами, жареными курами, салатом, пирожками, сыром, хлебом и дыней; а пока Дюплэ распрягал лошадь, Леба сообщал Робеспьеру о последних парижских новостях,

Симон отыскивал удобное место, чтобы разложить скатерть, а Морис играл с собакой. Неожиданно все вздрогнули и стали с испугом прислушиваться. Невдалеке за деревьями послышались жалобные звуки.

— Это женские голоса, — произнесла Корнелия, тревожно озираясь.

— Ты права, — отвечала мать и пошла по тому направлению, откуда неслись звуки.

— Это ничего, — сказал Робеспьер спокойно и, видя вопросительные взгляды женщин, прибавил: — Тут арестуют двух аристократок.

— Только-то! — отвечали мать и дочь.

Дюплэ и Симон подошли ближе к Неподкупному, надеясь, что он расскажет им какую-нибудь интересную историю, но он только таинственно промолвил:

— Я нашел их после долгих поисков!

В эту минуту к нему подошел Дидье.

— Все в порядке? — спросил Робеспьер.

— Все в порядке, гражданин! — ответил Дидье.

Вполне удовлетворенный этим ответом, Неподкупный подошел к Корнелии, которая, нагнувшись, срывала маргаритки. В нескольких шагах на срубленном дереве лежал приготовленный им букет анютиных глазок. Он взял его и подал молодой девушке.

— Какой хорошенький букет! — воскликнула она и поблагодарила за внимание.

— Это любимые цветы Руссо! — заметил Робеспьер.

— Вы так же добры, как он! — промолвила молодая девушка, зная, что Робеспьеру нравилось это сравнение.

Приятно польщенный словами Корнелии, он приколот букет к ее корсажу.

— Как отрадна жизнь! — произнесла сентиментальная молодая девушка.

Робеспьер согласился с нею и стал жадно вдыхать благоуханный воздух, к которому примешивался аромат прекрасных роз, украшавших находившийся невядалеке сад Клариссы.

V

Оливье не остался до конца праздника в Сен-При. В пять часов он незаметно удалился и, возвращаясь домой, с удовольствием думал о том сюрпризе, который он сделает матери и Терезе, а также о вкусном ужине и приятном сне,

так как накануне он проработал всю ночь. К тому же его утомил шум толпы, а в особенности цветистые речи политических ораторов, которым он должен был невольно рукоплескать, так как всякое равнодушие к громким фразам, восхвалявшим революцию, возбуждало подозрение, которое могло довести до эшафота.

— Боже мой, мне все это до смерти надоело, — думал он, идя по Монморансскому лесу и вспоминая, сколько он, сын аристократки и вайдейца, должен был перенести унижения в продолжение последних четырнадцати месяцев.

Ему приходилось молча слушать революционные теории, возмущавшие его душу, и он только мирился со всем этим при мысли, что, действуя иначе, он мог скомпрометировать себя и причинить горе матери и Терезе. Кроме того, мать постоянно успокаивала его уверениями, что террор не мог долго продолжаться и непременно наступит реакция.

Подойдя к дому, он удивился, что не было видно в саду и окнах хижины ни одной из его обитательниц. В дверях стоял садовник, и Оливье радостно крикнул ему:

— Что, Поль, вы не думали, увидеть меня так рано?

Но лицо садовника было так печально, что сердце молодого человека дрогнуло; он подумал, не занемогла ли его мать или Тереза. Он быстро подбежал к нему и со страхом спросил:

— Что случилось, говорите скорее?

Садовник в нескольких словах рассказал, что обе женщины были арестованы, несмотря на их горячие протесты, и быстро уведены в Монморанси, чтобы не нарушить веселого пикника, устроенного недалеко в лесу около Шевра.

Услыхав это название, Оливье вспомнил об англичанине, который спрашивал дорогу туда, и воскликнул:

— А англичанин? Когда я ушел сегодня утром из дома, то в нем оставалась одна Тереза, а моя мать разговаривала в лесу с иностранцем. Разве он не приходил с нею сюда?

— Нет, гражданка Дюран вернулась одна и очень поспешно. Она все оглядывалась, как бы не желая, чтобы ее видела веселая компания.

— Какая веселая компания?

— Компания, устроившая пикник в Шевре. По-видимому, она была известна полицейским агентам, арестовавшим вашу мать и ее племянницу, так как один из них после ареста пошел к одному господину из числа компании и разговаривал с ним.

— Кто он такой?

— Не знаю.

— А он еще там со своей компанией?

— Нет, все уже давно уехали.

— Куда?

— Не знаю.

— А вы говорите, что мою мать и Терезу повели в Монморанси.

— Я в этом уверен. Разве они по дороге встретили какой-нибудь экипаж.

— Зачем экипаж?

— Чтобы отвезти арестованных в Париж.

Оливье никак не мог примириться с мыслью об аресте дорогих для его сердца существ. Почему их арестовали? Что они сделали? Какое они могли совершить преступление?

На все эти вопросы садовник отвечал, что он ничего не знает.

— Почему же вы не прибежали за мною в Сен-При? — воскликнул гневно юноша.

— А кто бы остался стеречь дом? — ответил садовник, который думал, что лучше было остаться дома с больною женой, чем компрометировать себя розысками Оливье.

Юноша вбежал, как бешеный, в комнату в какой-то безумной надежде, что Тереза выскочит откуда-нибудь с громким хохотом, как в счастливые дни детства. Потом он побежал с таким же бешеным пылом в Монморанси с двойной целью: повидать Леонара, который знал что-нибудь об аресте, и разыскать возницу, который отвозил несчастных женщин в Париж, если они туда доставлены.

По дороге он встретил Леонара, который торопился в хижину, чтобы сообщить Оливье об аресте его матери и Терезы. Об этом ему рассказал возница, отвозивший их в Париж. Их поместили в тюрьму Ла-Бурб как подозрительных личностей.

— По чьему приказу? — спросил Оливье.

— Робеспьера.

— Подлец! — воскликнул юноша, вне себя от ужаса и гнева. — Мне надо как можно скорее отправиться в Париж и вырвать их из тюрьмы. Теперь тюрьма означает гильотину.

Леонар всячески старался уговорить его не ходить в Париж до утра и обдумать все дело на досуге, но Оливье не хотел его слушать и настоял на том, чтобы Леонар дал ему адрес скромных, приличных меблированных комнат на улице Роше. Зайдя в мастерскую Леонара, он захватил с собою дорожный мешок с необходимыми вещами и пустился в путь.

— Молитесь за меня, Леонар! — сказал он, прощаясь с добрым стариком. — Будьте уверены, что они выйдут из тюрьмы хотя бы ценою моей жизни.

В полночь Оливье достиг улицы Роше и, сказав привратнику, что его рекомендует Леонар, назвал себя гражданином Жерменом.

— Пожалуйста, дайте мне комнату и проводите меня туда, я очень хочу спать.

Однако он не спал в течение всей ночи и тревожно ходил взад и вперед по комнате. Утром он смял подушки и простыни на постели, чтобы не возбудить подозрения, и вышел из дома, сказав привратнику, что он отправляется по важному делу. Очутившись на улице, он поспешно направился к тюрьме Ла-Бурб, как называли теперь аббатство Пор-Рояль.

Вскоре он достиг этого громадного здания, в одном из флигелей которого мучились его мать и невеста. Остановившись перед красной каменной массой этого здания, он впервые отдал себе отчет в безнадежности своего предприятия. Несколько раз он обошел вокруг него, даже не смея пристально смотреть, из боязни вызвать к себе подозрение.

Наконец он удалился от тюрьмы, ломая себе голову, как поступить в таком безвыходном положении. Все лица, которых он знал в Париже, или погибли под гильотиной, или находились в рядах эмиграции. Он вспомнил об англичанине Вогане, но не знал, где его искать, и притом его могли также арестовать. Потом в голове его блеснула мысль пойти в старый дом своего деда, где, вероятно, еще находился добрый привратник Бенуа. Но, сделав несколько шагов в направлении этого дома, он вспомнил, что жилище его деда было конфисковано и продано, а следовательно, там не мог находиться Бенуа, к тому же соседи могли его узнать, и эта неосторожная выходка кончилась бы по всей вероятности его арестом.

Побродив по городу машинально и безо всякой цели, Оливье совершенно машинально очутился на улице Роше. Он вошел в свою комнату и, чувствуя, что у него кружится голова от голода, потребовал завтрак. Ему подали два яйца, котлету и фрукты. Яйца он жадно съел, но котлету не доел, а до фруктов не дотронулся. Наконец утомление взяло верх, и он, сидя в кресле, заснул.

Когда он открыл глаза, уже было четыре часа. Сожалеея, что у него пропал даром день, он снова быстро вышел на улицу. Но его остановил привратник и спросил:

— Вы действительно гражданин Жермен?

— Да.

— Пожалуйте ваш паспорт. Вчера ночью я не спросил у вас ничего, потому что было поздно.

— У меня нет при себе паспорта. Он остался за городом.

— Вы можете достать новый в полицейском участке, но нам нельзя вас держать без паспорта. Это запрещено по закону.

— Хорошо. — отвечал с улыбкой Оливье, — я завтра достану паспорт, а сегодня у меня слишком много дел.

— Завтра декади, и вы ничего не добьетесь.

— Ну так послезавтра.

— Извольте, я подожду, но помните, что я за вас отвечаю.

Оливье поблагодарил его и снова очутился на улице. Он снова направился к тюрьме Ла-Бурб, но машинально выбрал другую дорогу через улицу и площадь Революции. Везде было большое движение. Все дома украшались трехцветными флагами и цветочными гирляндами. Спросив у какого-то прохожего, какой готовится праздник, он узнал, что на другой день должно было произойти на площади Революции торжество в честь Верховного Существа.

Не успел он сделать несколько шагов по площади, как увидел между статуей Свободы и входом в Тюильри роковую гильотину, которую рабочие, очевидно, разбирали. Он вздрогнул и, обращаясь к проходившей мимо пожилой женщине, спросил:

— Что это значит?

— Как что! Это госпожа Робеспьер.

— Я знаю, что это гильотина, но что с ней делают?

— Ее уносят.

— Уф!.. — произнес Оливье, чувствуя, что у него с души как бы свалился камень.

— Но ее воздвигнут на другом месте.

— Где? — спросил юноша, и лицо его снова омрачилось.

— На площади Бастилии, — сказала женщина и прибавила с улыбкой: — По-видимому, еще остались аристократы, с которыми надо покончить.

Оливье посмотрел с изумлением вокруг себя. Многочисленная толпа так же равнодушно и легкомысленно, как эта женщина, смотрела на перенесение с места на место этого грозного орудия смерти. Неужели никто не имел достаточно мужества, чтобы громко закричать: «Долой гильотину!»? Быть может, если бы явился такой человек, то легкомысленная, но благородная и человеческая толпа пошла бы против тиранов.

Углубившись в эти мысли, Оливье машинально повернул на набережную и дошел до Пор-Рояля, почти не сознавая, куда он направлялся. Но в нескольких шагах от мрачного здания тюрьмы он невольно остановился. Большие ворота были открыты, и в них входили люди всякого вида, преимущественно хорошо одетые, с корзинками, мешками и картонками. Он поспешно подошел к одному из часовых и спросил:

— Сегодня пускают к арестантам?

— Да. Другим и родственникам дозволяют приносить арестантам чистое белье, фрукты и сласти. У вас здесь кто-нибудь?

— Да, мать и невеста.

— Вы желаете их видеть?

— Да.

— У вас есть деньги?

Оливье молча подал ему золотой.

— Не мне, — воскликнул с презрением часовой, — а привратнику!

При этом он указал на маленького юркого человечка, стоявшего у дверей тюрьмы.

Оливье подошел к нему и сказал, что желает видеть гражданок Дюран, и сунул ему в руку золотой.

— Вы пришли к гражданкам Дюран? Хорошо. Они должны быть во дворе акаций.

Он дал юноше карточку, которую просил возвратить при выходе из тюрьмы, а затем повел его через темный коридор к решетке, которая выходила на обширный двор. Открыв решетку, он сказал со смехом:

— Вы, конечно, сами их найдете.

И, затворив решетку, он удалился.

VI

Оливье видел перед собой обширный двор, окруженный с двух сторон высокими каменными стенами, а с остальных громадными кирпичными домами, на окнах которых были железные перекладины. На их крышах виднелись острые загородки, делавшие бегство, по-видимому, невозможным. Оба здания соединялись каменным коридором, выходившим в конце на террасу, на которой стоял часовой с ружьем. Посредине коридора была железная дверь, за которой виднелся другой двор, усаженный деревьями.

Озираясь по сторонам, юноша пошел к этому второму двору, где несколько арестантов гуляли вокруг куста ака-

ции в цвету. Лучи заходившего солнца играли на нем и на окружавшем его газоне.

С тревожно бившимся сердцем стал Оливье пристально осматривать проходившие мимо него группы. Тут были мужчины, женщины и дети. Но все ему были незнакомы, и не видно было ни матери, ни Терезы. Он не смел спросить о них у кого-нибудь, боясь их скомпрометировать и забывая, что все эти лица были их товарищами по заключению. Неожиданно к нему подошла молодая женщина в скромном, но изящном костюме.

— Вы кого-то ждете? — спросила она мелодичным голосом.

— Мою мать и невесту, гражданок Дюран.

— Они еще сидят за столом. Посмотрите, молодая девушка ничего не хочет есть, и ваша мать ее тщетно уговаривает.

В своем смущении Оливье не заметил, что по ту сторону акации стоял деревянный стол с глиняной посудой, которую убрали несколько тюремных служителей, несмотря на то, что группа арестантов еще сидела за столом. Наконец он нашел дорогих ему существ, но боялся броситься к ним, чтобы не причинить им боль неожиданной радостью. Говорившая с ним молодая женщина как будто отгадала его мысли.

— Если хотите, я их предупрежу, — и прибавила, чтобы его совершенно успокоить, — я — графиня Нарбон.

Оливье поблагодарил ее и последовал за своим добрым проводником.

Она тихонько подошла к Клариссе и что-то шепнула ей на ухо. Та обернулась и, увидев сына, смертельно побледнела.

— Ты арестован? — воскликнула она, бросаясь к нему на шею.

— Нет, нет, — отвечал он, крепко прижимая ее к своей груди. — Я свободен; мне разрешили повидаться с вами. — Потом он обернулся к Терезе и нежно поцеловал ее.

— Правда, что ты свободен? — спросила молодая девушка.

Совершенно успокоив обеих женщин в своей безопасности, Оливье разместился вместе с ними на отдаленной скамейке и стал забрасывать их вопросами, но Кларисса перебила его и потребовала, чтобы он сначала рассказал, как он узнал об их аресте, как он очутился в Париже и где остановился в этом шумном, опасном городе. Удовлетворив любопытство матери, он в свою очередь спросил:

— Ну, теперь вы расскажите все, что было с вами. Я хочу знать все, все.

Кларисса объяснила, как их арестовали и повезли прежде в Монморанси, а потом в Париж, где и заперли в этой тюрьме, которая оказалась наименее ужасной во всем Париже. На следующее утро их окружили товарищи по заключению, которые оказались представителями и представительницами высшего света. Кларисса при этом указала Оливье уже знакомую ему графиню Нарбон с маленьким прелестным ребенком, графа и графиню Лаверн, маркизу Шуазель, семью Малесси, графа Брольи, шевалье де Бара, маршала Муши с женою, которых Кларисса знала в юности в Версале, девицу Бетизи и маркизу д'Аво.

— Посмотри, — прибавила она с печальной улыбкой, — я не была в таком избранном обществе с тех пор, как покинула Понтиви.

— Это понятно, — отвечал Оливье, — республиканские тюрьмы предназначены исключительно для аристократов.

— Нет, ты ошибаешься, — возразила мать, — кроме аристократов есть мужчины и женщины среднего класса, которые отличаются самыми возвышенными чувствами.

— Поэтому они и в тюрьме. Республика признает лишь равенство в низости.

— Тише, тише, тебя могут услышать.

— Не просите меня быть тише, я тогда только успокоюсь, когда узнаю, почему вас арестовали.

— Я также этого не понимаю, — промолвила Кларисса. — Сначала я думала, что кто-нибудь на нас донес. Но кто же мог это сделать?

— Кто! — воскликнул Оливье. — Разве вам не сказали?

— Нет.

— Робеспьер.

Она вскочила со скамейки, словно ужаленная, и воскликнула с ужасом:

— Это неправда!

— Как неправда? Леонару рассказал об этом возница, который доставил вас в Париж. Робеспьер находился с веселой компанией в нескольких шагах от нашего дома и послал арестовать вас.

Мысль, что в таком случае арестован был Воган, еще более омрачила лицо Клариссы.

— Да, Робеспьер, этот бессовестный злодей, приказал вас арестовать.

Она бросилась к нему и, закрывая ему рот рукой, промолвила:

— Тише, тише, не говори этого! Ты ошибся, Леонар не понял. Мне бы об этом сказали.

— Нет, нет, это он, — продолжал Оливье и изложил все подробности, переданные ему садовником.

В сущности Кларисса была вполне убеждена, что действительно она арестована по приказанию Робеспьера, но хотела убедить Оливье в противном, так как ей пришла мысль, что сын проклинает отца.

— Ведь он не знает, кто мы такие! — начала она снова. — Тайные агенты ввели его в заблуждение. Он поступил так по недоразумению.

— Нет, нет, — отвечал Оливье, пожимая плечами, — он действует намеренно, он жаждет крови, этот прокля...

— Нет, нет, не говори этого! — возразила Кларисса, снова зажимая ему рот, и видя, что он смотрит на нее с удивлением, прибавила: — Тебя могут услышать, ты себя скомпрометируешь!

— Здесь? Да ведь здесь каждый его ненавидит.

— Да, но тут ежеминутно снуют тюремщики, и потом, кто же поручится, что нет шпионов между арестантами? Ты должен быть очень осторожен.

— Да, это правда! Теперь народ стал невозможен.

И он объяснил матери, какое отвратительное впечатление произвела на него парижская толпа, которая апатично смотрела на то, как переносили проклятую гильотину с площади Революции на площадь Бастилии.

Пока он говорил, Кларисса с беспокойством думала, что Робеспьер мог приказать арестовать Оливье, не подозревая, что он ее сын. Но тут она вспомнила, что она уже в то самое утро написала несколько слов Робеспьеру о том, что она арестована и беспокоится о своем девятнадцатилетнем сыне. Она была убеждена, что это письмо, отданное одному из тюремщиков, дойдет до него и он не только освободит ее с Терезой, но и примет меры, чтобы обезопасить юношу, в котором он, конечно, узнает своего сына. Поэтому она совершенно успокоилась и уже стала думать только о том, как бы помешать Оливье сделать какую-нибудь безумную выходку до получения Робеспьером ее письма. Ей казалось, что лучшим для этого способом было доказать ему, как приятно они проводили время в тюрьме, а потому решила познакомить его с некоторыми из их товарищей по заключению.

Между тем и сам Оливье стал с любопытством разглядывать группы гулявших вокруг акаций узников. Женщи-

ны отличались изящным достоинством, несмотря на их скромные туалеты и простые чепцы. Мужчины весело улыбались, любезно ухаживали за женщинами, а между собою играли в карты или шахматы. Между всеми этими группами спокойно прохаживался привратник тюрьмы, Гали, с двумя большими бульдогами.

— Простите, monsieur, — произнес пятнадцатилетний мальчик, который играл в мячик и нечаянно толкнул Оливье.

— Какой славный юноша! — произнес Оливье.

— Это молодой граф Малье, — сказала Тереза, — никто не знает, зачем его арестовали. Но его судьба решена: он бросил гнилую селедку в лицо привратнику.

— Это, вероятно, неправда! — воскликнула Кларисса. — Мало ли что говорят, а наш привратник недурной человек! Не правда ли, маркиза, — обратилась она к проходившей мимо даме, — Гали ведь недурной человек?

— Конечно, это отец в сравнении с другими тюремщиками.

— Маркиза де Шуазель, — произнесла Кларисса, представляя ей Оливье, — это мой сын.

Оливье почтительно поклонился, а маркиза, пораженная аристократическим видом этого молодого рабочего, протянула ему руку, которую Оливье поцеловал с придворной учтивостью.

— Сын выдает мать, — сказала маркиза с улыбкой, — вас не зовут Дюран, вы принадлежите к нашему обществу. Я это знала с первой минуты, как вас увидела. Но не беспокойтесь, — прибавила она, видя, что Кларисса хочет что-то сказать, — я не хочу нарушать вашей тайны.

И, обратясь к Оливье, она объяснила, что его мать была совершенно права насчет Гали, который хотя и грубый человек, но отличался добротой, позволял узникам принимать родственников, которые принесли им пищу и белье.

— А главное, — продолжала она, — он позволяет нам гулять и забавляться здесь до ночи. Вы видите, как мы пользуемся его любезностью, — и она указала на несколько групп взрослых и детей, игравших в различные игры.

Кларисса была очень довольна оборотом, который принял разговор, и, желая удержать маркизу, сказала:

— Расскажите ему, пожалуйста, как вы проводите ваши вечера.

— Как, вы разве сами ему об этом еще не сказали?

— Я ведь в вашем обществе только со вчерашнего дня и потому знаю очень мало.

— Это правда, — отвечала маркиза, которая поняла материнским инстинктом намерение Клариссы, и продолжала, указывая Оливье на несколько окон в одном из зданий тюрьмы. — Вот там находится большая комната, где мы собираемся по вечерам. Мы ее называем нашей гостиной и в ней играем в шарады, отгадываем загадки и сочиняем *bouts rimes*. Некоторые из нас декламируют стихи, а другие занимаются музыкой. Посмотрите, тот господин, который перелистывает альбом, это барон Вирбах, наш первый артист. Он прекрасно играет на *viola d'amore*.

Оливье слушал ее с удивлением и начинал мало-помалу успокаиваться.

— Вы видите, — продолжала маркиза, — мы можем вообразить себе, что находимся в Версале. Впрочем, по правде сказать, все остатки Версаля находятся в тюрьме. Вот принц и принцесса Сен-Морис, рядом с ними шевалье де Понс, а немного поодаль граф Армальи, племянник которого, юный Д'Отвиль, был пажом Людовика XVI. А вот взгляните на эту группу, — прибавила она, указывая на нескольких мужчин, которые окружали молодую красавицу, сидящую на траве под акацией, — право, можно подумать, что это сцена в Трианоне. Эта красавица — графиня Мерэ, а вот к ней подходит маркиза Вернель, которая здесь так же кокетливо одевается, как при дворе. Она даже так ловка, что одна без помощи горничной и парикмахера меняет три раза в день свой костюм и прическу. Мало того, она сама стирает и гладит свое белье. При всем этом она постоянно весела, постоянно смеется. Право, нельзя на нее смотреть без слез.

Хотя слова маркизы совершенно успокоили Оливье насчет тюремной жизни дорогих ему существ, но он не мог не высказать, хотя в очень приличных и сдержанных выражениях, своего удивления к тому равнодушию, с которым узники относились к своей судьбе.

— Равнодушие народной толпы на улицах, — прибавил он, — возбуждает во мне отвращение, но равнодушие аристократии меня огорчает до глубины души.

Кларисса хотела ему ответить, но маркиза ее перебила.

— Вы, вероятно, приехали из деревни и давно не видели парижан. Нельзя изменить французам, и ничто не в состоянии уничтожить их веселость. То, что вы принимаете за равнодушие, в сущности стоическая покорность судьбе. Мы видим, что борьба бесполезна, и нам так надоел мир с его низостями, что мы готовы в любое время умереть, но умираем, как подобает французам, с улыбкой на устах.

Конечно, есть между нами отчаивающиеся, беспокойные люди, но их немного.

В эту минуту раздались громкие крики:

— Браво, браво! Прекрасно, прекрасно!

Молодая девушка с завязанными на спине руками стояла на верхней перекладине лестницы, на которую она забралась по поставленным один на другой столам, стульям и скамейкам. Грациозно раскланявшись, она стала спускаться с помощью протянутых к ней отовсюду рук. Ее примеру последовала маркиза д'Аво, на которую уже указала Оливье маркиза Шуазель, и начала вскарабкиваться на груды мебели, но довольно неловко.

— Что это — новая игра? — спросили в одик голос Кларисса, Тереза и Оливье, смотревшие с изумлением на это необыкновенное упражнение.

— Да, но это очень печальная игра, — отвечала маркиза Шуазель и прибавила торжественным тоном: — Эти дамы учатся всходить на эшафот.

И она объяснила, что по деревянным ступеням, которые вели к гильотине, было очень трудно подниматься, в особенности с завязанными руками, а потому женщины часто спотыкались и путались в своих платьях, что возбуждало громкий смех в толпе.

— Чтобы избежать этого унижения, — продолжала маркиза, — и чтобы достойно встретить смерть, мы здесь репетируем свою роль, которую, быть может, завтра нам придется сыграть на площади.

Оливье пришел в восторг от этого благородного презрения к смерти и эшафоту. В ту же минуту раздался веселый смех. Платье маркизы д'Аво запуталось в спинке верхнего стула, и она едва не упала. Она засмеялась вместе со всеми и прибавила:

— Мне будет работа на сегодняшний вечер!

— Вы видите, — продолжала маркиза, обращаясь к Оливье, — что скрывает в сущности возмущившее вас равнодушие. Многие из этих женщин поддерживают мужество своих мужей и готовы умереть за них.

Но Кларисса боялась, что разговор снова коснулся слишком печального предмета, и обратила внимание сына на проходившую мимо графиню Нарбон с корзинкою вишен, которыми она угощала свою маленькую девочку.

— Какие прекрасные ягоды! — воскликнула Кларисса.

Графиня остановилась и предложила ей вишен, но она отказалась, и когда графиня продолжала настаивать, то она сказала:

— Я не хочу, благодарю вас, но, может быть, моя племянница попробует ваших удивительных вишен.

Тереза также отказалась, но Оливье, взяв из корзинки ветку вишен, поднес одну к розовым губам своей невесты и сказал:

— Скушайте, пожалуйста, ради меня.

Кларисса не могла не улыбнуться, и Оливье прибавил:

— И вы также, мама.

Эту прелестную семейную сцену нарушил медленный звон колокола.

— Переключка! — промолвила графиня Нарбон, побледнев.

Все разговоры смолкли, и все глаза со страхом обратились на железную решетку, словно в ожидании кого-то.

— Какая переключка? — спросил Оливье, снова входя в волнение.

Маркиза Шуазель и графиня Нарбон быстро удалились, а Кларисса, быть может, инстинктивно понявшая, в чем дело, произнесла:

— Не знаю!

Тереза задрожала всем телом и крепко прижалась к Клариссе, предчувствуя что-то ужасное, а Оливье, подойдя к одному из узников, спросил его, что значит эта переключка.

— Это вызывают лиц, подлежащих явке в революционный трибунал, — отвечал он спокойно, — колокол возвещает, что сейчас прибудет представитель этого суда и вызовет по именам тех, которые должны явиться в суд.

— То есть на эшафот! — воскликнул с яростью Оливье.

Арестант молча кивнул головой.

— Так все, имена которых будут выкликать?..

— Будут сегодня отвезены и...

— И?..

— И через два дня взойдут на эшафот, — произнес узник, по-видимому, вполне примирившийся со своей судьбой.

— Так могут вызвать кого-нибудь из нас? — спросила Тереза, заливаясь слезами.

— Нет, — отвечала Кларисса, стараясь побороть свое волнение, — нет, еще слишком рано. Скажи ей, Оливье, что этого не может быть.

— Почему? — промолвил мрачно юноша, которым овладело отчаяние.

— Нет, нет, это невозможно, уверяю вас, что это невозможно!

Между тем присланный из революционного трибунала маленький толстый человек с красным лицом и с отвратительной улыбкой вышел из-за решетки и уселся на стул под акацией. Вокруг него разместились Гали, тюремщики и жандарм.

— Я думал, — произнес с удивлением Гали, — что трибунал не будет заседать завтра по случаю праздника Верховного Существа.

— Вы правы, но он будет заседать послезавтра. Я также хочу быть свободен завтра и принять участие в празднике. — Он цинично засмеялся и приказал принести себе стакан вина, который и опорожнил одним залпом.

— Однако пора за дело! — воскликнул он со смехом и потребовал фонарь, так как уже начинало смеркаться; он вынул роковую бумагу, в которой были указаны жертвы гильотины.

Между тем двор переполнился узниками, явившимися из всех помещений тюрьмы. Большинство были спокойны и хладнокровны, некоторые смотрели с ужасом на вестника смерти. Одни ожидали с нетерпением, чтобы произнесли их имя, видя в смерти конец невыносимых страданий, а другие, более слабохарактерные, надеялись, что будут выкликать не их, а товарищей.

Были, однако, и такие мужественные стойки, которые спокойно разговаривали или играли в карты. Кларисса и Тереза сидели на скамейке и не спускали глаз с представителя революционного трибунала, а Оливье стоял возле них, готовый защищать дорогих для него существ до последней капли крови, если бы выбор пал на них.

— Что же это не несут проклятый фонарь! — воскликнул наконец разгневанный маленький человек, на котором сосредоточены были все взгляды. — Я и так начну!

Он встал и начал с трудом разбирать имена, выставленные в списке.

— Первое имя Бур... нет, Лур...

— Не читайте так, — перебил его какой-то гневный голос, — вы усугубляете страдания. Это ужасно! Это ужасно!

Протестующий голос принадлежал Оливье.

— Кто смеет здесь говорить? — грозно воскликнул посланник революционного трибунала.

Кларисса схватила за руку сына и жалобно прошептала:

— Умоляю тебя, замолчи.

В эту минуту принесли фонарь, и началась правильная переключка.

— Сурдеваль!

— Здесь! — отвечал твердый голос.

Из толпы вышел человек высокого роста с гордо поднятой головой и спокойно, не смотря по сторонам, направился к выходу.

Молодой граф Малье, услышав свое имя, перестал играть с детьми и мужественно пошел на смерть. Но старый маркиз Моклер, как только послышалось его имя, упал в обморок и был вынесен жандармами. Когда пришла очередь маркизы Нарбон, то она молча передала свою маленькую дочь маркизе Шуазель.

— Куда ты идешь, мама? — спросил ребенок.

— Я сейчас вернусь, моя радость.

— Не уходи, мама, не уходи, я не хочу, чтобы ты ушла.

Графиня Нарбон поспешно удалилась, громко рыдая.

Всю семью Малесси вызвали разом. Она состояла из отца, матери и двух дочерей, которые бросились друг другу в объятия, благодаря небо, что они не разлучатся в смерти. Дряхлая, седая чета — Муши и его жена — не выразила ни малейшего волнения, но рука об руку с гордым достоинством прошла через всю толпу узников, которые почтительно им кланялись. Всеобщий восторг возбудили граф и графиня Лаверн. Так как выкликнули одного графа, то графиня стала пламенно просить, чтобы ее не разлучали с мужем, а когда ей в том отказали, она громко воскликнула:

— Да здравствует король!

Это одно восклицание заслуживало тогда смертную казнь, и ее имя тотчас было занесено в роковой список.

Сцены необыкновенного мужества продолжались одна за другой. Маркиз Гурней молча закурил трубку у фонаря и, не говоря никому ни слова, удалился в сопровождении жандарма. Граф Брольи играл в шахматы с шевалье де Баром; когда раздалось его имя, он спокойно встал и сказал:

— Во всяком случае вы проиграли, шевалье, но не беспокойтесь, я вам дам отыграться на том свете.

Он пожал руку своему противнику, простился со всеми знакомыми, любезно раскланялся с дамами и весело вышел, словно отправляясь на банкет.

Рядом с Оливье, который стоял, крепко прижавшись к своей матери и Терезе, происходил разговор между пожилым господином и юношей.

— Вызывают Легея, — сказал последний, — разве это ваша фамилия?

— Да, и ваша также?

— Да. Вы женаты или холостой?
— У меня жена и двое детей.
— А я холостой, погодите, я пойду!
— Ну, что же, Легей! — раздался голос вестника смерти.

— Здесь! — отвечал молодой человек.

Оливье, слышавший этот разговор, бросился вперед, желая пожать руку герою, но он уже удалился.

— На сегодня кончено, — произнес представитель революционного трибунала, сложил свою бумагу, спрятал ее в карман и цинично выпил стакан вина.

Все присутствовавшие словно очнулись от страшного кошмара.

— Слава Богу, — промолвила Кларисса, тяжело вздохнув.

— А вы уверяли, мама, в своей безопасности! — воскликнул Оливье.

— Я боялась за других, а не за себя! — отвечала Кларисса.

Оливье покачал головой и хотел что-то сказать, но в эту же минуту послышался грубый голос Гали:

— Все посетители вон! Пора запирать!

Стоя у решетки, он пропускал мимо себя всех посетителей, отбирая карточки. Но Оливье не торопился уходить, и наконец Гали крикнул ему:

— А вы, что же, хотите остаться? Пожалуйста, не стесняйтесь, мы вас сейчас занесем в список арестантов!

— Нет, нет, он идет! — воскликнули в один голос Кларисса и Тереза. Они поспешно поцеловали его и толкнули к решетке.

Но, прежде чем уйти, Оливье обещал матери не приходить в тюрьму в течение нескольких дней и в письмах к ним не упоминать своего адреса.

Обе женщины невольно подошли к решетке и увидели, как с большого двора выезжала при мерцании факелов большая телега с обвиняемыми, в числе которых они узнали графиню Нарбон, посылавшую со слезами поцелуи тюрьме, в которой осталась ее девочка.

— Это ужасно, это ужасно! — прошептала Тереза, и голова ее опустилась на плечо Клариссы.

Выйдя из тюрьмы, Оливье машинально пошел за телегой с арестантами, которая медленно двигалась среди равнодушно смотревшей на нее толпы. Но вскоре она исчезла из его глаз в темноте, и он продолжал идти, словно его обуял какой-то страшный сон. Только достигнув берега Се-

ны, он остановился и стал жадно вдыхать свежий вечерний воздух.

Неожиданно вдали над Тюильрийским садом показались снопы лучезарного света. Это была проба фейерверка, приготовленного для завтрашнего дня. Оливье перешел мост и вскоре достиг площади Революции, которая была переполнена бульварными зеваками, смотревшими с любопытством на приготовления к празднику. Всюду виднелись высокие мачты с флагами, соединенные гирляндами из зелени и пестрых фонариков для вечерней иллюминации. Там и сям уличные певцы, аккомпанируя себе на скрипке, обучали молодежь новому гимну в честь Верховного Существа, который был написан Госсеком для предстоящего торжества. Но как только замирали звуки гимна, раздавались веселый вальс или гавот, и молодежь весело пускалась в пляс.

Оливье смотрел на все это с чудовищным изумлением. Ему казалось, что он находился во сне. Он только что видел горе, страдание, смерть, а теперь его поражали веселье, смех, пение, танцы. И того самого человека, который посылал столько жертв на эшафот и вырывал матерей из объятия их детей, чтобы предать казни, должны были на следующий день венчать лаврами!

— Робеспьер! Это Робеспьер! — пробежал шепот по толпе.

Оливье обернулся и увидел, что какой-то человек невысокого роста поспешно проходил мимо, держа под руку видную женщину.

Действительно, это был Робеспьер. Он пошел перед ужином погулять с Корнелией Дюплэ и не мог удержаться от удовольствия взглянуть на подготовку арены его завтрашнего торжества.

— Народ, кажется, душой и телом рад этому празднику, — сказала Корнелия, указывая на веселые танцующие пары.

Робеспьер молча пожал ей руку.

Они вернулись домой, погруженные в совершенно противоположные думы. Корнелия думала о великолепном платье, которое она заказала для праздника портнихе, тогда как она обыкновенно шила сама себе туалеты; а Робеспьер, по обыкновению тревожимый сомнениями и подозрениями, мысленно спрашивал себя: хорошо ли он сделал, что прошел по площади Революции, так как Комитет общественной безопасности мог предположить, что он желал обратить на себя внимание толпы? Как бы то ни было, они спокойно достигли дома Дюплэ на улице Сент-

Оноре, и Робеспьер, остановившись в дверях, учтиво пропустил вперед Корнелию.

В эту самую минуту Оливье выходил с площади Революции и, озаренный какой-то новой идеей, говорил себе:

— Я пойду завтра на этот праздник!

VII

Дом Дюплэ, в котором жил Робеспьер, находился на улице Сент-Оноре, против церкви Успения. Наружная дверь открывалась в крытый проход, уставленный по стенам досками. В конце его находился небольшой двор, окруженный четырьмя флигелями двухэтажного дома. Верхний этаж был занят семьей Дюплэ, состоявшей из мужа, жены и двух дочерей, Корнелии и Виктории, а в нижнем этаже находились три комнаты, в том числе столовая и гостиная. Робеспьер жил в комнате, находившейся в верхнем этаже левого флигеля, и она соединялась со столовой деревянной лестницей, а под нею находилась столярная мастерская Дюплэ. Окно же его комнаты выходило на крышу сарая, где также производились столярные работы. Таким образом, жилище трибуна было с одной стороны охранено семьей Дюплэ, а с другой — Симоном и Морисом Дюплэ, которые занимали две комнаты в одном флигеле с Робеспьером, также выходившие окнами на крышу сарая.

Трудно было найти помещение, которое так вполне соответствовало бы жажде Робеспьера к республиканской простоте. Обстановка его ежедневной жизни состояла из принадлежностей столярной мастерской, где с утра до ночи пилили, строгали и т. д., а также из простых элементов скромной жизни старика Дюплэ, снимавшего свой рабочий передник только во время обеда и посещений Якобинского клуба или революционного трибунала, где он играл роль присяжного.

Недавно его посетили два члена конвента, и их встретила во дворе Корнелия Дюплэ, вешавшая там только что выстиранные чулки. Робеспьер с удовольствием смотрел на эту сцену из окна комнаты, перед которым он брился. Его подозревали в желании сделаться диктатором, а вот какое странное зрелище представилось посетителям, неожиданно вторгнувшимся в его частную жизнь.

При возвращении домой Робеспьера и Корнелии их встретил Блунт громким лаем и веселыми прыжками. Вся семья Дюплэ сидела во дворе и ожидала своего жильца.

— Вот и они наконец! — воскликнула старуха Дюплэ, которая сидела под окном столовой и мыла салат у водокачки.

— Но мы ведь не опоздали, мама, — сказала Корнелия, благоразумно останавливаясь поодаль, чтобы на нее не попала вода.

— Не очень, — отвечала добрая женщина, — но при теперешних обстоятельствах никогда нельзя знать, что может случиться в толпе. Невольно всегда беспокоишься о тех, кого любишь. Не правда ли? — сказала она, обращаясь к Робеспьеру, у которого Виктория взяла палку и шляпу.

Но он не обратил внимания на ее слова, так как был всецело занят своей собакой, которая продолжала прыгать и ласкаться к нему.

— Да, да, добрый пес, это я, — говорил он, глядя собаку, — я не брал тебя с собою, потому что такой хорошей собаке неприлично показываться в толпе.

— А много народу? — спросил Дюплэ, сидевший с трубкой в зубах на скамейке подле своего сына Мориса, который что-то вырезывал из деревянной планки.

— Да, много.

— Ужасная толпа! — прибавила Корнелия. — Особенно на площади Революции.

— Как, вы прошли через площадь Революции?

— Да, — объяснил Робеспьер, — Корнелия хотела видеть, что там делают, и ее желание понятно, так как там танцуют.

— Как, сегодня? — спросила Виктория со сверкающими глазами.

— Да!

И Робеспьер с большим оживлением рассказал об их прогулке, обращаясь несколько раз к Корнелии, чтобы она подтвердила всю основательность его восторга. Но молодая девушка была озабочена тем, что еще не принесли ее платье, хотя ее сестры находились в том же положении.

— Я говорила Дюплэ, что завтрашний день будет вашим торжеством, — произнесла добрая старуха, выслушав с живейшим интересом рассказ Робеспьера.

— А что же, мы сегодня не будем ужинать? — спросил Дюплэ.

— Будем, но ты знаешь, что когда Максимилиан говорит, то я забываю обо всем.

В хорошую погоду они обедали и ужинали во дворе, где уже стол был приготовлен, так что оставалось только его накрыть.

— Ай! Ай! — промолвила госпожа Дюплэ, взяв салат, и быстро побежала на кухню. — У меня курица-то, верно, сгорела.

По счастью, на кухне, которая находилась в нижнем этаже возле столовой, уже хлопотала ее младшая дочь, госпожа Леба.

— Я обо всем подумала, мама, — сказала она и с гордостью указала на прекрасно зажаренную курицу, лежащую совершенно готовой на блюде.

— Вот и прекрасно! — произнесла госпожа Дюплэ. — Заправь суп, а я приготовлю салат. Виктория, накрывай на стол.

В семье Дюплэ было заведено, что мать и дочь готовили на кухне и подавали на стол, а прислуга только потом мыла посуду. Объяснялось ли это боязнью отравы или какой иной причиной, но Робеспьер одобрял этот обычай.

— Хорошо знать, что ешь, — говаривал он, — недурно тоже, что за столом вас не подслушивает прислуга.

Через несколько минут подали суп, и госпожа Леба разлила его по тарелкам, причем поставила последнюю тарелку Робеспьеру, чтобы суп достался ему погорячее.

— За стол! За стол! — крикнула старуха Дюплэ, расставляя стулья.

Но Робеспьер и Дюплэ не двинулись с места: так внимательно они слушали то, что рассказывал им Леба, который только что вернулся из Тюильри, куда он ходил «пошупать пульс конвента», по его выражению. Оказалось, что все скандальные сплетни распространялись врагами Робеспьера, и весь конвент так же, как весь народ, стоял за Робеспьера.

— Только Комитет общественной безопасности... — прибавил Леба, но Робеспьер не дал ему окончить фразы и знаком просил его переменить тему разговора.

— Что же вы не идете? Суп стынет! — крикнула госпожа Дюплэ.

— Идем, идем! — воскликнули в один голос все трое мужчин и быстро направились к столу.

По дороге Робеспьер шепнул Леба.

— Что мне Комитет общественной безопасности! Я покажу им, с кем они имеют дело!

Робеспьер сел за стол между хозяином и хозяйкой.

— Что это, друг мой, вы не едите супа! Разве он не хорош? — сказала госпожа Дюплэ.

— Нет, прекрасный!

Виктория стала очень медленно убирать глубокие тарелки, поджидая, чтобы Робеспьер закончил есть суп.

— Вот это хорошо, — сказала она, когда он съел все до последней капли. — Вы знаете, что вам надо приготовить силы для завтрашнего дня.

В эту минуту госпожа Леба побежала на кухню и вернулась с курицей, которая вызвала всеобщее восторженное удивление.

— Вот это я называю блюдом! — воскликнул Симон Дюплэ, отличавшийся обжорством.

— А завтра, дети мои, вы получите утку, утку с репой! — произнесла госпожа Дюплэ торжественным тоном и принялась резать жаркое, причем лучший кусок она положила Робеспьеру, который принялся машинально есть, погруженный в глубокие мысли.

— Я только что встретил Фукье-Тенвиля, — сказал Леба, — он возвращался с площади Бастилии, куда перенесли гильотину.

— Ах да, она сегодня не работала? — спросила госпожа Дюплэ, продолжая резать курицу.

— Она и завтра не будет работать, — отвечал Робеспьер, — но послезавтра...

— Вы намекнете об этом в вашей речи, добрый друг?

— Да, в конце. Надо, чтобы аристократы знали, что мы не складываем рук.

— Это было бы слишком глупо, — заметил Дюплэ.

— Во всяком случае, — продолжал Робеспьер, который, видимо, повеселел благодаря обороту, который принял разговор, — завтрашний праздник будет предостережением не только для аристократов, но и для изменников нашей партии.

Вместе с веселым расположением вернулся к Робеспьеру и аппетит, а потому он протянул свою тарелку за второй порцией.

— Крыло или лапку? — спросила госпожа Дюплэ с восхищением.

Но Робеспьер неожиданно повернул голову. Он слышал какой-то шум.

— Я уверен, что отворили наружную дверь, — сказал он.

Симон Дюплэ зажег лампу, а Морис вскочил и, устремив глаза в темноту, сказал:

— Вошла какая-то женщина с большой картонкой.

— Это наши платья! — воскликнули в один голос три сестры.

Действительно, это были платья, и горевшие нетерпением женщины хотели тут же во дворе открыть картонку, но

Виктория была всех благоразумнее и, боясь, чтобы на столе не испачкались платья, унесла картонку в столовую в сопровождении своих сестер.

Мужчины и госпожа Дюплэ продолжали говорить о готовившемся празднике, доказывая, что народ сумеет лучше королевской власти устроить поразительное и национальное символическое торжество.

— Детки, куда вы запропалились? — крикнул старик Дюплэ, заметив, что его дочери долго не возвращались.

— Мы здесь, мы здесь, — отвечала Виктория, показываясь в дверях столовой и кокетливо оправляя хорошенькое белое платье. За ней следовали госпожа Леба в голубом платье и Корнелия в красном.

— Как, вы одевались в столовой? — воскликнула недовольным тоном госпожа Дюплэ. — Это положительно неприлично! Не правда ли, Максимилиан?

— Полноте, *bonne mère*, — отвечал Робеспьер с улыбкой, — ведь не каждый день праздник.

Он взглянул на все три платья и сказал, что они прелестны и отличаются большим вкусом.

— А вы замечаете, — произнес Морис, — что они втроем представляют трехцветное знамя?

— Мы приготовили вам этот сюрприз, — сказала Корнелия, подходя к Робеспьеру.

— Ничто не могло бы мне доставить большего удовольствия, — отвечал он, — это я называю настоящим патриотизмом.

Во время ужина с улицы долетали звуки шумного говора, музыки и приготовлений к завтрашнему празднику.

— Посмотрите, посмотрите! — вдруг воскликнул Морис, и над самым двором разорвался целый снап ракет, усеивая небо золотистым дождем.

Робеспьеру с его расpalенным воображением показалось, что это был увенчивающий его ореол славы, и он, очень довольный, ушел в свою комнату.

На следующее утро Максимилиан встал очень рано и вышел во двор в 9 часов.

— Как, вы уже одеты, а мы еще не начали одеваться! — раздалось со всех сторон.

— Я нарочно поторопился, — отвечал Робеспьер, — чтобы заранее пойти в Тюильри и обо всем позаботиться. Ведь малейший недочет может испортить общее впечатление. А посмотрите, какой прекрасный день, жаль, если праздник не удастся.

— Очень естественно, что небо благоприятствует празднику Верховного Существа. Но вы, конечно, прежде позавтракаете?

— Нет, я там позавтракаю.

Вся семья окружила Робеспьера, поздравляя его с блестящей внешностью, поправляя его галстук и сметая пудру с его куртука. На нем был синий куртук, короткие нанковые брюки, перевязанные внизу трехцветными лентами, белые шелковые чулки и башмаки с пряжками. Но всего наряднее был его жилет, украшенный кружевным жабо.

Конечно, он, по обыкновению, был напудрен, вообще все женщины пришли в восторг от того, с каким вкусом он был одет, а Корнелия подала ему большой букет из полевых цветов и хлебных колосьев.

— Благодарю вас, — сказал он, — до свидания! Я, конечно, вскоре увижу вас, и вы, как всегда, будете прелестнее всех.

С этими словами Робеспьер, сияя в своем новом наряде, завитый и надушенный, поспешно направился к дверям, где его ожидали Леба, Симон и Морис, которые хотели проводить его до Тюильри. На улице к ним присоединился Дидье с двумя тайными агентами, но они пошли несколько поодаль. Открывал же шествие Неподкупный рядом с Леба, с которым он разговаривал.

Все дома были украшены гирляндами из цветов, которые распространяли в воздухе нежное благоухание. Все улицы кишели толпами в праздничных одеждах и с пальмовыми ветвями или хлебными колосьями в руках. Узнавая Робеспьера, все почтительно ему кланялись, а он с пламенной радостью в сердце скромно отдавал им поклон. На Фельянтской террасе его ожидал сюрприз. Несмотря на раннее время, сад уже был почти полон, и в нем шумно волновалось бесконечное человеческое море, в котором колыхались трехцветные кокарды и ленты. Он продолжал свой путь к Тюильрийскому дворцу, который был весь украшен гирляндами из цветов. На каждом шагу он должен был любезно раскланиваться с многочисленными толпами, спешившими на его апофеоз.

Перед дворцом был устроен обширный амфитеатр для членов национального конвента, но никого из них еще не было видно. Поспешно взглянув на этот амфитеатр, Робеспьер остановил свой взгляд на возвышавшейся трибуне, которая была приготовлена для него председателем конвента. С этой трибуны он должен был произнести речь народу, который собрался слушать его и рукоплескать ему.

Он вошел в Тюильри один, так как Леба и оба Дюплэ вернулись домой за семьей. С сияющим лицом прошел Неподкупный через залу конвента и помещение Комитета общественной безопасности, желая встретить там знакомые лица, но никого там не было. Сторожа ему сказали, что в комитет приходили только Барер, Коло д'Эрбуа, Приер и Карно, но, повернувшись, ушли завтракать в ближайший ресторан. Однако в зале свободы он встретил Вилата, который был вместе с Дюплэ присяжным в революционном трибунале. Робеспьер оказал ему какую-то услугу и вместе с Барером поместил его в павильоне Флоры Тюильрийского дворца. Благодаря этому он имел в нем верного шпиона, следившего за каждым шагом Комитета общественной безопасности. Вилат почтительно и подобоострастно пригласил его завтракать, говоря, что он может из окон его квартиры спокойно наслаждаться зрелищем собиравшейся толпы.

Робеспьер принял предложение и оставался там около двух часов; даже когда Вилат удалился, он продолжал сидеть и смотреть на приготовления к его торжеству. Он был близок к своему апогею — к тому моменту, когда народный энтузиазм вознесет его так высоко, что всякий шаг, сделанный против него, будет оскорблением народа. Он безмолвно улыбался. Весь французский народ через несколько минут признает его диктаторство! Оно будет провозглашено сотнею тысяч голосов в присутствии трехсот членов конвента. Самые радужные мысли теснились в его голове, и если когда-нибудь Робеспьер и был счастлив, то именно в эту минуту.

Кто-то постучался.

— Войдите! — сказал Робеспьер, словно пробужденный ото сна.

Это был Леба, который, едва переводя дыхание, прибежал сказать ему, что конвент уже собрался и ждет его.

— Вилат прислал меня сюда, — прибавил он, — а то я не знал, где вас искать.

— Еще рано, — произнес Робеспьер.

— Как рано? — Уже половина первого!

— Неужели половина первого?

Начало празднества было назначено на двенадцать часов, значит, он опоздал на полчаса. Иронические улыбки некоторых членов конвента при его появлении на трибуне были достойной карой за его неаккуратность.

— Он не отличается учтивостью королей, хотя дерзок, как они, — слышался голос Барера.

Таким образом, капли желчи уже примешивались к его чаше счастья. Но громовые рукоплескания раздались во

всем саду, и Робеспьер подошел к самому краю трибуны. Народные толпы хлынули со всех сторон к нему, чтобы не пропустить ни одного слова. Окруженный народным энтузиазмом и одуряющим благоуханием цветов, Неподкупный возвышался на своей трибуне высоко надо всеми.

«Трибуна-то устроена, точно трон», — раздался снова чей-то голос. Действительно, трибуна была помещена на высоком пьедестале, и только теперь Робеспьер заметил неловкость своего положения. Поэтому он с заметным волнением вынул из кармана бумагу и начал читать свою речь. Голос его был слышен только сидевшим близ него членам конвента. Самые блестящие фразы, на которые он всего более рассчитывал, прошли незамеченными, и их громко одобряли только друзья, которые казались какими-то театральными клакерами.

Когда Робеспьер замолк, то раздались шумные рукоплескания, но не вокруг него, а в народных толпах. В ту же минуту послышалось пение оперного хора, исполнявшего гимн, сочиненный Госсексом. Неподкупный сошел с трибуны, недовольный собою, но убежденный, что успех его второй речи, которую он должен был произнести народу на площади Революции у подножия статуи Свободы, загладит эту первую неудачу. Там он войдет в соприкосновение с народом, а народ стоял за него, что доказывалось и теперь его шумными рукоплесканиями. Робеспьер в сопровождении конвента пошел к первому фонтану, где возвышалась аллегорическая группа, изображавшая Атеизм и Безумие, окруженные Пороками, тогда как Мудрость стояла поодаль и указывала на них пальцем. Все эти фигуры были устроены пиротехнически; Робеспьер должен был зажечь фитиль, и Атеизм вместе с Безумием и Пороками, лучезарно вспыхнув, исчез бы, оставив за собою торжествующую Мудрость. Но оказалось, по какой-то злой иронии судьбы, что Мудрость загорелась прежде всего и увлекла за собой в бездну огня остальные фигуры, при оскорбительном смехе большинства депутатов.

Робеспьер побледнел. Очевидно, празднество началось не при благоприятных предзнаменованиях. Невольно он обвел глазами вокруг себя с инстинктивным желанием, которое всегда овладевало им в критические минуты, найти себе опору в каком-нибудь сочувственном взгляде. Его внимание остановилось на хорошеньком розовом ребенке, который, сидя на руках у своей молодой матери, играл букетом полевых цветов и хлебных колосьев, который мать протягивала Робеспьеру. Он узнал свой букет, который он

в своем смущении забыл на трибуне и который теперь ему возвращался столь грациозным образом. Среди неприятных впечатлений это деликатное внимание живоительно подействовало на него, и он с благодарной улыбкой взял букет.

Между тем шествие двигалось к площади Революции, предшествуемое трубачами и барабанщиками, среди двух шпалер национальных гвардейцев, сдерживающих толпы любопытных. Все депутаты были в официальных костюмах: темно-синих сюртуках с красными воротниками, узких брюках, высоких сапогах, широких трехцветных перевязях и с трехцветным плюмажем на шляпах. Каждый из них держал по букету из полевых цветов и злаков. Робеспьер отличался от всех более светлым цветом своего сюртука.

Он шел впереди своих товарищей, и на нем сосредоточивалось всеобщее внимание. Преодолев смущение и предчувствуя свое наступающее торжество, он жадно прислушивался к крикам народа, встречавшего шумными рукоплесканиями на площади Революции передовые группы шествия. Это были представители различных кварталов Парижа со знаменосцами и хорами. Достигнув сквера, они разделились на две группы: с одной стороны расположились женщины и молодые девушки в белых платьях с букетами роз, а с другой — старики и юноши с дубовыми и лавровыми ветвями. Народные толпы встретили их появление восторженными криками и общим дружным пением «Chant du depart». Когда пламенные звуки народного гимна Менеля замерли, их сменило пение нового произведения Госсекка, которое зывало к Верховному Существо, чтобы оно благословило Францию и все человечество.

Затем показался батальон юных парижских воинов в синих и розовых одеждах, державших в руках длинные пики, украшенные трехцветными лентами. Но наибольший восторг вызвала группа, изображавшая четыре возраста: детство, юность, зрелость и старость; многочисленные дети, юноши, молодые девушки, мужчины и старухи были увенчаны символическими венками из фиалок, дубовых листьев, мирт, масличных ветвей и виноградных лоз. Единодушный возглас восторга огласил воздух, залитый золотистыми лучами солнца, которые весело играли на флагах и трехцветных лентах.

Восторженное настроение толпы достигло своего апогея. При появлении на площади Революции членов конвента отовсюду раздались крики:

— Он здесь?

— Кто?

— Робеспьер!

Народная толпа так нетерпеливо ожидала увидеть своего героя, что принимала за него то одного депутата, то другого. Наконец он явился, любезно улыбаясь и держа шляпу в руках.

— Это он! Это он! — раздалось со всех сторон.

Действительно, это был Робеспьер. В воздух полетели шляпы, чепцы; всюду махали платками, букетами, пальмовыми ветвями. Матери высоко поднимали детей, чтобы показать им народного кумира.

Робеспьер медленно продвигался, умеряя свои шаги, чтобы не слишком опередить депутатов, которые выступали по шести в ряд с торжественной суровостью судей. Все шествие расположилось вокруг статуи Свободы, подле которой воздвигнут был жертвенник из цветов. Перед ним надлежало освятить среди клубов фимиама поклонение Верховному Существо.

Когда Неподкупный проходил через то место, где еще накануне возвышалась гильотина, какая-то женщина упомянула об этом по простоте души. Но ее голос был заглушен звуками сотни арф, которые наполнили воздух нежной мелодией. Все члены конвента достигли уже площади Революции, и тогда показалась замыкавшая шествие колесница Земледелия, задрапированная синей материей, увешанная гирляндами роз и запряженная двумя волами с золочеными рогами. Богиню земледелия изображала красивая танцовщица из оперы, которая сияла блестящей красотой молодости, а ее прелестная белокуроя голова была украшена венком из золотистых колосьев.

Стоя перед жертвенником, Робеспьер зажег приготовленные благовония востока, и облака фимиама окружили его дрожащим в воздухе ореолом. Потом он спустился со ступеней жертвенника и обратился к народу. Звуки музыки, восторженные восклицания народа, оживленный говор и даже крики уличных торговцев мгновенно смолкли. Сотни тысяч глаз устремились на Робеспьера, и он начал речь, простирая руки над безмолвно внимавшей ему толпой.

Неожиданное вдохновение овладело им: он решил повторить самые замечательные фразы из его прежней речи. Депутаты выслушали их холодно, равнодушно, а народ, сердце которого билось в унисон с его сердцем, докажет своим искренним восторгом их справедливость и публично даст урок своим представителям, а вместе с тем приказ во всем и всегда повиноваться Неподкупному.

Теперь, увлекаемый общим энтузиазмом толпы, Робеспьер говорил свободно, пламенно, ни разу не смотря на бумагу. Голос его раздавался громко, внушительно. Каждая его фраза вызывала гром рукоплесканий, наполнявших все фибры его сердца чувством гордого довольства. Он признавал, что действительно и навсегда был повелителем Франции, всемогущим диктатором по воле народа. Он уже видел конвент у своих ног, побежденный, пораженный этим грозным выражением народной воли.

— Благодарю всю французскую нацию, — говорил он восторженно, — что, оставив на этот день свои личные заботы, она обратила свои мысли и стремления к Великому Верховному Существо. Никогда, да, никогда сотворенный Им мир не представлял Ему столь достойного зрелища. Он видел до сих пор царство тиранов, преступления, лжи на земле...

Неожиданно в толпе недалеко от Робеспьера какой-то человек произнес вполголоса какое-то оскорбительное для него выражение, но Робеспьер его не слышал и продолжал:

— Французы, если вы хотите восторжествовать над своими врагами, будьте справедливы и принесите Верховному Существо единственное достойное Его приношение, то есть будьте нравственны, добры и великодушны...

— Сохраняя гильотину! — громко воскликнул голос в толпе с ироническим хохотом.

Вокруг человека, произнесшего эти слова, поднялась суматоха. Но из уважения к Робеспьеру, который продолжал свою речь, раздавались восклицания вполголоса:

— Арестовать его!

— Что ему нужно?

— Что он сказал?

На последний вопрос Оливье, так как это был он, отвечал:

— Я сказал, что вы должны крикнуть этому шарлатану: «Вместо того, чтобы курить фимиами твоему идолу, тиран, лучше сожги гильотину!»

В эту минуту весь народ с большим энтузиазмом, чем прежде, покрыл рукоплесканиями последние слова Робеспьера, и выведенный из себя Оливье закричал во все горло, в каком-то диком иступлении:

— Дураки, они еще рукоплещут ему!

Толпа не вынесла этого оскорбления, и послышались сотни голосов:

— Смерть ему! Смерть!

Теперь голос Робеспьера был совершенно заглушен неистовым воплем толпы, среди которой Оливье беспомощно боролся с десятками рук, протянутых, чтобы разорвать его на куски.

— Смерть ему! Это аристократ! Это шуан! — ревела толпа, и один из патриотов уже хотел пронзить его пикой, как толпу растолкал полицейский отряд, и предводитель его, схватив Оливье за горло, громко воскликнул:

— Не троньте его, с ним справится закон.

Это был Герон, глава полицейских агентов Комитета общественной безопасности.

С помощью своих людей он повлек Оливье к Робеспьеру, который, увидя смятение, сошел с платформы и направился в толпу. Все расступились перед ним, и он торжественно спросил:

— На что жалуется этот безумец, дерзнувший помешать нашему празднеству?

— На тебя, негодяй, лицемер! — закричал во все горло Оливье. — Как ты смеешь говорить о справедливости и человеколюбии на том месте, где ты пролил столько неповинной крови.

Стон ужаса вырвался из груди всех присутствовавших. Но Робеспьер знаком руки водворил молчание. Оливье в эту минуту хотел броситься на него, но его удержала полиция.

— Посмотри на подошвы твоих башмаков, — кричал он вне себя, — они красны от крови и...

Но ему не дали продолжать, и по знаку Неподкупного полиция увела его из боязни, чтобы его не растерзала толпа, оглашавшая воздух криками:

— Смерть ему! Смерть ему!

— Вы можете меня убить, негодяи! — произносил Оливье. — Но я первый подниму крик, который будет повторен вскоре всеми: долой гильотину!

Его слова были заглушены общим смятением. Но через минуту Робеспьер вернулся к статуе Свободы и спокойно, торжественно произнес:

— Граждане, вернемся к нашему счастливому празднеству, которому не могут помешать безумные оскорбления изменника! Завтра меч правосудия будет карать врагов отечества!

Вся двухсоттысячная толпа воскликнула, как один человек:

— Да здравствует республика! Да здравствует Робеспьер! Да здравствует Неподкупный!

Только вдали раздавался одинокий голос, едва слышно произносивший:

— Долой гильотину!

Это был Оливье, которого полиция с помощью национальной гвардии уводила в тюрьму.

VIII

Робеспьер медленно сошел со ступеней, над которыми возвышался жертвенник. Последние слова Оливье поразили его в самое сердце, как он ни казался хладнокровным. Этот голос, полный ненависти и мести, послышался из толпы, которая, по его мнению, была заодно с ним. Правда, народ протестовал против оскорбления, но все-таки народу пришлось защищать его, тогда как он думал, что народ единодушно признает его диктатором Франции.

Бледный и встревоженный, следовал он за процессией на Марсово поле, где торжество должно было кончиться грандиозной патриотической демонстрацией. Он чувствовал, что его всемогущество колеблется, и удивлялся, сколько еще фальшивых нот нарушают гармонию торжества. Увы, всюду были заметны предзнаменования раздора. Многие из членов конвента, подстрекаемые смелой выходкой Оливье, громко разговаривали, очень свободно и саркастически. До ушей Робеспьера доносились слова ненависти, презрения, угрозы и роковых предсказаний.

— Он возбуждает во мне только отвращение и ненависть! — говорил один.

— Один только шаг от Капитолия до Тарпейской скалы! — прибавлял другой.

— Всегда может найтись новый Брут! — сказал третий.

Заставить замолчать все эти злые языки мог только глас народа, который громко бы произнес на всю Францию:

— Да будет Робеспьер диктатором, пожизненным диктатором!

Но тщетно ждал Неподкупный такого народного приговора. Праздник на Марсовом поле далеко не был таким торжественным и блестящим, как торжество на площади Революции. Все устали, и нервы у всех были расстроены. Робеспьер произнес еще речь, но народ слушал его рассеянно. Вообще день окончился среди общего утомления. Обратное шествие совершилось беспорядочно и без малейшего торжества.

Робеспьер должен был вернуться в Тюильри для совещания со своими товарищами по конвенту и Комитету общественной безопасности. Но вместо того он отправился домой и заперся в своей комнате. Семья Дюплэ настигла его у дверей дома.

— Не правда ли, праздник очень удался? — спросила старуха Дюплэ.

— Да, — отвечал Робеспьер.

— Так вы довольны?

— Да, но я очень устал.

Корнелия подошла к нему и стала рассказывать подробности торжества, которых он, вероятно, не заметил.

— Неужели? Это очень интересно! — отвечал он. — Вы мне все расскажете завтра.

— Разве вы не будете обедать с нами?

— Нет. Мне надо отдохнуть.

Она продолжала его упрашивать не портить им праздник, но он произнес:

— Нет, извините меня. До свидания. До завтра.

С этими словами он ушел в свою комнату и запер за собою дверь.

В этот вечер все были очень печальны в доме Дюплэ. Никто не дотрагивался до ужина. Ни для кого не было тайной, что день вместо торжества окончился большим разочарованием для Робеспьера, и все разделяли его чувства, хотя не желали этого обнаружить.

— Не надо его беспокоить, — сказала госпожа Дюплэ, хотя вся семья хорошо поняла, что утомление было только придумано им для предлога.

— Но разве мы не пойдем смотреть фейерверк?

— Нет, — отвечала мать, — мы не можем забавляться без него.

И все легли спать очень рано.

Дом, обитатели которого проснулись в этот день веселые, счастливые, безмолвно дремал, когда улицы Парижа снова наполнились шумной толпой, спешившей на фейерверк.

Робеспьер увиделся с семьею Дюплэ только на следующий день за ужином. Все утро и весь день он провел в своей комнате под предлогом спешной работы. Действительно, он работал один в безмолвной тишине над составлением грозного прериальского закона, который он намеревался на другой день предложить на утверждение конвенту. Этой суровой мерой уничтожалась всякая защита подсудимого в революционном трибунале и не требовалось

для удостоверения виновности подсудимого ни улик, ни добровольного признания, ни свидетельских показаний, а достаточно было нравственного убеждения судей, что подозреваемый виновен.

Этим законопроектом он отвечал на нанесенные ему публично оскорбления. Он хотел основать свое диктаторство на мирной демонстрации, но это ему не удалось. Изменники могли быть побеждены только террором. Этот безжалостный закон, конечно, Робеспьер сам намеревался представить в конвент, и, конечно, даже его враги безмолвно должны были его принять после того скандала, который случился накануне. Даже этот скандал был хорошим предлогом для проведения нового закона, который будет применен впервые к безумному юноше, оскорбившему Робеспьера, как еще никто его никогда не оскорблял, и ко всем близким ему лицам.

Покончив с этой работой, Робеспьер спустился в столовую, где вся семья Дюплэ собралась на ужин. Стол был накрыт не на дворе, где ужинали в последние дни, чтобы отвлечь мысли Робеспьера от злополучного празднества, о котором в те дни столько было разговоров.

Вся семья встретила его очень радушно и была рада видеть его здоровым и веселым. Он объяснил в нескольких словах, что совершенно оправился, и был очень доволен, что отдохнул целый день, но окружавшие его улыбки и видимые старания отвлечь его внимание от неприятного предмета, занимавшего всех, наконец ему надоели. После десерта он сам завел разговор о вчерашних событиях.

— Скажите мне откровенно, — спросил он у госпожи Дюплэ, — какое вы вынесли впечатление из вчерашнего торжества?

— Оно было грандиозно, — отвечала она.

— Вы говорите, как добрая женщина и мать, — произнес он печально и признался своим друзьям, что все его надежды не исполнились, так что ему приходится начинать дело сызнова.

— Вы преувеличиваете, — заметил Леба.

— Нисколько, — заметил спокойно Робеспьер, — и целый день я провел в подготовке моей мести.

В эту минуту раздался стук в дверь, и Морис, отворив ее, радостно воскликнул:

— Это Буонарроти.

— Какой приятный сюрприз! — воскликнули все в один голос.

В сущности, это вовсе не был сюрприз. Девуцы Дюплэ нарочно пригласили Буонарроти к ужину, так как он отлично играл на фортепиано и охотно аккомпанировал Леба, талантливому скрипачу. Вообще Буонарроти был очень оригинальным человеком: родом с Корсики, он признавал себя прямым потомком Микеланджело и был не только пламенным революционером, но и рьяным поклонником Робеспьера. На полученное приглашение он ответил отказом ввиду каких-то спешных занятий, но обещал зайти вечером, чтобы постараться развлечь своего друга.

Госпожа Дюплэ воспользовалась его появлением, чтобы перейти в гостиную, и предложила тотчас заняться музыкой, хотя Буонарроти горел желанием рассказать Робеспьеру собранные им сведения о том, какое впечатление произвел вчерашний праздник на различные кружки Парижа, но ему не дали времени поболтать и прямо усадили за фортепиано, а Леба взял на скрипке первые аккорды одной из сонат Моцарта.

Ни в одной из комнат дома Дюплэ так ярко не обнаруживался культ Робеспьера, как в этой гостиной, скромно меблированной диванами и креслами, покрытыми утрехтским бархатом. Портреты Неподкупного виднелись всюду: на стенах, на столах, на кронштейнах и даже на фортепиано. Они были всевозможного вида и форм, начиная от портретов карандашом и акварелью до медальонов бронзовых и алебастровых. Вся семья Дюплэ любила проводить свободное время в этом храме, посвященном полубогу. Они проводили тут вечера, на которые иногда являлись немногочисленные друзья дома. Дочери Дюплэ обыкновенно были заняты вышиванием и шитьем, а мужчины разговаривали о различных предметах, часто возбуждаемых перепиской Робеспьера, которую обыкновенно вскрывали Дюплэ или Леба.

По временам искали развлечения в музыке или в чтении. Относительно первой пальма первенства принадлежала Леба и Буонарроти, но в декламации никто не мог сравниться с Робеспьером. Он сохранил свою юношескую любовь к стихам и с удивительным искусством читал среди суровой республиканской обстановки трагедии Корнеля и Расина с замечательным выражением и эффектом.

Но в этот вечер он обращал мало внимания на музыку, сам разбирая свою многочисленную переписку. С лихорадочной поспешностью он вскрывал письма, бросал на них взгляд и передавал их Симону для классификации или для уничтожения. Старуха Дюплэ по обыкновению дремала,

сидя в кресле, а ее муж курил трубку у окна, из которого он следил за уходом рабочих, задержанных какой-то спешной работой. Юный Морис перебегал от одной группы к другой, быстро прыгая по комнате с ловкостью белки.

Неожиданно Буонарроти заиграл гимн Верховному Существо, сочиненный Госсеком, и, услышав эти звуки, Робеспьер невольно вспомнил о событиях, совершившихся накануне. Судя по полученным им письмам и полицейским донесениям, нельзя было сомневаться, что его предполагаемое торжество оказалось полным поражением.

В эту минуту в комнату вошел Дидье, и на вопрос Робеспьера, какого он мнения о вчерашнем празднике, отвечал:

— Все было прекрасно!

— Вы лжете! — произнес Робеспьер.

Прижатый таким образом к стене полицейский агент должен был согласиться, что дело было совершенно проиграно, и, к сожалению, по вине полиции. Люди, которых наняли для исполнения роли клакеров, получили деньги вперед, напились в кабаках и явились, когда уже было поздно. Кроме того, Дидье сообщил несколько других фактов, которые привели в тупик Робеспьера, не подозревавшего, что его враги были так смелы. Он позвал Дюплэ, чтобы посоветоваться, но Дидье, видя смущение Неподкупного, взял смелость предложить ему совет.

— Между нами, — сказал он, — гильотина становится очень непопулярной. Слова молодого фанатика «Долой гильотину», по-видимому, охотно произнесли бы многие из присутствовавших вчера на празднике, если бы только имели достаточно на это храбрости. Большинству опrotивела гильотина, что доказывается протестом обитателей Бастильского квартала против перенесения туда гильотины. Комитет общественной безопасности рассмотрел этот протест сегодня в ваше отсутствие и решил перенести гильотину к Тронной заставе.

Это последнее известие вывело из себя Робеспьера. Как! Его товарищи по комитету осмелились сделать такой важный шаг без него и на другой день после его публичного оскорбления. Нечего сказать, хорошую они выбрали минуту, чтобы выказать свое отвращение к гильотине!

— А сколько сегодня было приговорено лиц в трибунале? — спросил Робеспьер у Дюплэ.

— Пятнадцать.

— Маловато! Неужели трибунал принадлежит к заговору мягкосердечных.

— Это случайное обстоятельство, и Фулье-Тенвиль в качестве государственного обвинителя заметил в конце заседания, что если дела будут идти таким образом, то они никогда не кончатся, так как в тюрьмах сидит до семи тысяч обвиняемых.

— Фулье-Тенвиль прав: дела идут слишком медленно.

— Но как же им идти скорее?

— Погодите, у меня есть свой план.

— А можно узнать какой?

— Вы его узнаете завтра. А пока мне надо сделать пример из этого юного фанатика, с которым пора покончить! — И, обращаясь к Дидье, Робеспьер спросил: — Где он?

— В двух шагах отсюда: в полицейском участке улицы Сен-Флорентин, куда Герон запер его до вашего распоряжения.

— Хорошо, прикажете Герону привести его сюда. Я хочу его лично допросить!

Повелительный тон этих слов не допускал возражения, и Дидье быстро вышел из комнаты в сопровождении Симона, которому Неподкупный дал несколько поручений.

— А теперь, я надеюсь, вы обратите внимание и на нас, — сказала Корнелия и, кокетливо взяв за руку Робеспьера, хотела подвести его к фортепиано, но он учтиво поцеловал ей руку и попросил позволения написать два слова его другу Сен-Жюсту.

— А затем, — прибавил он, — я весь в вашем распоряжении.

Он сел к столу и стал писать. Возле него поместился Леба, который перестал играть на скрипке и курил трубку.

— А какие известия из Северной армии? — спросил он у Робеспьера.

— Сен-Жюст пишет оттуда, что все обстоит благополучно, — отвечал Неподкупный. — Я также имею хорошие известия от брата Огюстена. Он вскоре возвращается из Лиона и очень рекомендует мне молодого артиллерийского генерала, которого он знал в Ницце и который отличился в Тулоне. По его словам, этот молодой человек мог бы с пользой заменить пьяницу Ганрио в качестве начальника Парижской армии.

— Вы говорите о Бонапарте? — спросил Буонарроти, по-прежнему что-то игравший на фортепиано.

— А вы знаете его? — спросил Робеспьер, взглянув на Буонарроти.

— Еще бы не знать! Мы жили с ним на Корсике.

— Какого же вы о нем мнения?

— самого лучшего. Он истый республиканец.

— Хорошо, увидим! — произнес Робеспьер, который всегда придерживался принципа, что военных не надо долго оставлять на одном месте.

Он снова принялся за свое письмо, но не успел написать нескольких слов, как Дюплэ воскликнул:

— Я и забыл, Максимилиан, отдать вам письмо.

— От кого? — спросил Неподкупный, не поднимая глаз с бумаги.

— От какого-то арестанта, который наивно отдал его одному из шпионов, а тот отдал мне сегодня в трибунале.

Дюплэ вынул из кармана письмо и отдал Робеспьеру, а тот, не взяв его, сказал:

— Прочтите письмо с Леба.

Последний подошел к камину, где горела свечка, и стал читать письмо вместе с Дюплэ.

Это было письмо Клариссы к Робеспьеру.

«Я не писала бы вам, если бы только мне пришлось просить о себе, но я должна умолять вас спасти жизнь моей племянницы, находящейся в этой тюрьме вместе со мной, и моего девятнадцатилетнего сына, которого могут каждую минуту арестовать и подвергнуть казни по приказанию, страшно подумать, кого!

Кларисса».

Окончив письмо к Сен-Жюсту, Робеспьер спросил:

— Ну, от кого это письмо?

— От женщины, которая умоляет освободить племянницу, находящуюся вместе с нею в тюрьме.

— Мне надоели эти письма! — произнес Робеспьер. — Я получаю их по двадцати каждый день.

— Она умоляет также спасти ее сына.

— Всегда одно и то же.

— Так бросить письмо в корзину?

— Пожалуйста.

Но Дюплэ взял письмо из рук Леба, свернул его, зажег на свечке и стал закуривать трубку.

Робеспьер встал и подошел к фортепиано, где его встретили веселыми восклицаниями:

— Наконец-то!

Корнелия сказала что-то шепотом Буонарроти и положила на люпитр фортепиано новые ноты.

— А в награду, — сказала она, — Буонарроти споем вам свой новый романс.

— А слова романса написаны вашим приятелем! — сказала таинственным тоном госпожа Леба.

Робеспьер спросил имя этого приятеля, но Виктория объявила, что он должен отгадать это имя. Наконец после непродолжительного пререкательства все женщины в один голос воскликнули:

— Его имя Максимилиан Робеспьер!

— Вот пустяки! — произнес с улыбкой Неподкупный. — Что вы говорите, я написал стихи?

— Да!

И Корнелия начала декламировать:

— Поберегись, красавица Офелия!

Действительно, они были правы, и Робеспьер вспомнил, что он написал эти стихи в Арасе и даже читал их публично на заседании литературного общества Розатти, к которому он принадлежал. Даже первый куплет сохранился в его памяти, и он тотчас его продекламировал.

— А вы действительно переложили эти стихи на музыку? — спросил он у Буонарроти, окончив декламацию. — Если так, то я с удовольствием послушал бы вашу музыку.

Госпожа Леба села за фортепиано, а Буонарроти спел первый куплет, сопровождаемый общими рукоплесканиями.

Робеспьер был очень доволен и присоединился к общему одобрению.

Но в эту минуту в открытое окно слышался крик разносчика газет.

— Купите сегодняшний лист приговоренных!

Неподкупного передернуло, и хотя Буонарроти начал второй куплет, но пока он пел его, на улице снова раздались:

— Купите выигрышные номера лотереи святой гильотины! Купите! Купите!

— Закройте окно! — произнес с нетерпением Робеспьер. Морис подбежал к окну и воскликнул:

— Пришел Герон с тремя неизвестными!

На всех лицах выразилось удивление. Только Робеспьер знал, в чем дело, и спокойно сказал:

— Я послал за ним, и он привел негодяя, который нарушил порядок на вчерашнем празднике.

— А, шуан, наделавший шуму на площади Революции! — воскликнули в один голос дамы и стали с любопытством смотреть на дверь, в которую постучались.

— Войдите, — произнес Дюплэ.

Герон появился на пороге и почтительно поклонился.

— Обвиняемый с вами? — спросил Робеспьер нервно.

Полицейский агент утвердительно кивнул головой и по приказанию Робеспьера велел двум сторожам ввести в ком-

нату Оливье, бледного, утомленного, со связанными руками. Он не сопротивлялся и как бы привык к своей роли жертвы.

— Красивый мальчик! — сказала вполголоса госпожа Леба.

Робеспьер издали осмотрел юношу с головы до ног и, не подходя к нему, спросил Герона:

— Что вы узнали о нем?

Оказалось, что о нем собрали очень мало справок. В первые минуты ареста юноша проговорился, что его мать и невеста были в тюрьме, и он боялся, что их приговорят к казни. Но с тех пор он не промолвил ни слова. Единственные сведения, имевшиеся о нем, были доставлены госпожой Легран, содержательницей меблированных комнат на улице Роше. Узнав о его аресте, она заподозрила своего жильца и, явившись в полицию, действительно признала, что это был Жермен, ученик слесаря, поселившийся у нее за два дня перед тем.

— Где его бумаги? — спросил Робеспьер.

— У него нет никаких. Даже нет паспорта.

При нем оказалось лишь немного денег в кошельке, связка ключей и бумажник.

Все это Герон положил на стол.

— А оружия у него не было? — и, получив утвердительный ответ, Робеспьер прибавил: — Развяжите ему руки; мы посмотрим, похожи ли они на руки рабочего.

Дюплэ взглянул на них и объявил, что эти руки могли принадлежать рабочему, так как они, очевидно, привыкли обращаться с деревом и железом.

— Но, может быть, он бывал на войне? — сказал Неподкупный. — Может быть, это шуан и явился из Вандеи, чтобы убить меня в суматохе во время праздника?

Женщины вскрикнули от ужаса и прибавили в один голос:

— Конечно, у него есть сообщники.

— А вы осмотрели комнату, которую он занимал? — спросил Робеспьер.

— Конечно, — отвечал Герон, — но там нашли только одежду и мешок, который я не смел открыть без вас.

— Давайте его сюда, — сказал Робеспьер, — и откройте поскорее.

Герон приказал принести из передней дорожный мешок и открыл его одним из ключей из связки, найденной в кармане Оливье. В мешке оказалось белье, туалетные принадлежности, шкатулка из слоновой кости в серебряной

оправе и бумажный сверток, в котором оказались золотые монеты. Пока дамы осматривали шкатулку, а Дюплэ считал деньги, приговаривая, что ученик слесаря был богаче его, Герон продолжал обыскивать мешок.

— Тут есть письма, — сказал он.

— Отдайте их Леба, — отвечал Робеспьер и, обращаясь к нему, прибавил: — Просмотрите письма у лампы и передайте мне их содержание.

В эту минуту Герон нашел в мешке золотой медальон, украшенный мелкими жемчужинами. Его открыли, и в нем оказались белокурые волосы и две буквы: Т. П.

— Это настоящий жемчуг! — заметила госпожа Дюплэ.

Все это время Оливье сохранял хладнокровное равнодушие, которое наконец вывело из терпения Робеспьера.

— Никто меня не уверит, — произнес он иронически, — что столько денег и настоящий жемчуг принадлежат ученику слесаря.

Герон заметил, что он, может быть, украл их, но Оливье молча пожал плечами. Когда же Дюплэ поддержал мнение Герона, то он не выдержал и воскликнул:

— Все это принадлежит мне, и если вы хотите знать, то я — аристократ, роялист и шуан!

— Наконец-то он сознался! — воскликнули в один голос все мужчины.

— Если я сознался, — продолжал юноша, — то отправьте меня поскорее на эшафот, мне все это ужасно надоело!

Но Робеспьер спокойно сказал ему, что нечего торопиться и прежде надо узнать его имя и имена его сообщников.

— Моего имени я никогда не скажу, а сообщников у меня нет, хотя, конечно, вы можете их создать сколько угодно.

В это время Леба окончил чтение найденных писем и подошел к Робеспьеру. Все эти письма были написаны два или три года тому назад, и в них не было ничего важного. Два письма были подписаны Терезой, вероятно, сестрой или невестой обвиняемого.

— Так медальон принадлежит ей, — воскликнула Виктория, — на нем буквы Т. П.

— Третье письмо, — продолжал Леба, — подписано: «Твоя мать». В нем высказываются горячие материнские чувства, и стиль письма обнаруживает, что оно писано аристократкой. Только четвертое письмо, помеченное 1791 годом, дает кое-какие, хотя и смутные сведения. Оно

адресовано молодому человеку, тогда еще студенту, по-видимому, его дедом и крестным отцом, так как в нем говорится: «Я ожидаю тебя завтра, это наш общий праздник, день святого Оливье».

— Так его зовут Оливье? — спросил Робеспьер, смотря на юношу.

— «Я не пришло за тобой лакея, — продолжал читать письмо Леба, — потому что тебе пятнадцать лет, и ты можешь путешествовать один». А так как письмо писано в мае 1791 года, — прибавил от себя Леба, — то молодому человеку теперь девятнадцать лет.

— Да, да, ему должно быть девятнадцать, — произнес Робеспьер с каким-то странным смущением, — продолжайте, продолжайте!

— «Моя карета будет тебя ждать у нашего дома на улице Лион».

— На улице Лион? — повторил Робеспьер, не спуская глаз с юноши. — Продолжайте, продолжайте...

— «Бенуа...»

— Привратник Бенуа, — перебил его Робеспьер.

Леба посмотрел на него с удивлением, но не сказал ни слова и продолжал чтение письма.

— «Бенуа откроет тебе ставни в маленькой комнате, которая рядом с моим кабинетом. Ты вынешь из шкафа, на котором стоят бюсты Цицерона и Сократа, и привезешь мне X и XI тома больших in-folio в красном сафьянном переплете под заглавием...»

— «Парламентские постановления!» — воскликнул Робеспьер, к общему удивлению всех присутствовавших, не исключая и Оливье.

— Это верно, тут написано «Парламентские постановления», но как же вы это знаете?

— Очень просто, — отвечал Робеспьер, не спуская глаз с Оливье и стараясь скрыть свое волнение, — я часто видел эти книги в библиотеке советника парижского парламента де Понтиви, деда этого молодого человека.

Оливье смертельно побледнел и схватился за стул, чтобы не упасть. Он чувствовал, что его мать погибла.

— Вы знаете его семью и расскажете нам его историю! — воскликнула в один голос вся семья Дюплэ, устремляя на юношу любопытные взгляды.

— Да, знаю и расскажу вам все, — отвечал Робеспьер, — но прежде мне надо поговорить с ним наедине. Нас тут слишком много. Я вас потом позову, Герон, вы можете подождать во дворе со своими помощниками.

Все удалились, несколько разочарованные, особенно женщины, и недоумевая, чем все это кончится.

Видя, что Леба также направляется к двери, Робеспьер сказал:

— Не уходите, вы можете мне понадобиться.

Оставшись втроем, Робеспьер вздохнул свободнее.

Перед ним был его сын. Злоба, овладевшая им, совершенно исчезла при этом неожиданном открытии, но он все-таки сохранил суровый вид, несмотря на сильное душевное волнение, с которым он едва мог справиться. Инстинктивно он сказал Оливье:

— Садитесь.

Юноша не обратил никакого внимания на это слово, и даже когда Робеспьер повторил его дрожащим мягким голосом, то он не двинулся с места, не произнес ни слова. Видя, что Леба пожал плечами, Неподкупный объяснил, не спуская глаз с Оливье, что он, естественно, был расположен к внуку человека, у которого он был секретарем.

Юноша вздрогнул.

— Так вам никогда не говорили об этом? — продолжал Робеспьер. — Впрочем, это понятно. Ваша семья ненавидит меня, не правда ли? Но это не причина забывать время, проведенное в доме Понтиви, — прибавил он, обращаясь к Леба. — Я не могу забыть, сколько счастливых вечеров и приятных обедов я провел, сидя рядом с матерью этого молодого человека.

— К чему говорить о прошедшем? — произнес грубо Оливье. — Решайте скорее мою судьбу, она в ваших руках. Вся моя семья сделалась жертвой революции: мой дедушка умер от горя, дядя убит в Вандее, мой отец скончался от тяжелой раны, полученной на поле брани.

— Но ваша мать жива, вы не имеете права жертвовать ее жизнью. Ведь если вы кричали на площади: «Долой гильотину!», то лишь потому, что боялись казни вашей арестованной матери. Не правда ли? Ведь я прав: она арестована?

— Нет, — отвечал юноша, и поединок на словах между отцом и сыном продолжался с прежней силой.

Один хотел во что бы то ни стало разузнать, где находилась Кларисса, а другой мужественно скрывал тайну, вполне уверенный, что кровожадный тигр только жаждал новой жертвы.

— Неужели вы не понимаете? — продолжал Робеспьер уговаривать юношу, несмотря на то, что каждое его слово оскорбляло гордость Неподкупного. — Неужели вы не по-

нимаете, что я хочу спасти вашу мать и найти ей безопасное убежище из дружбы к ней, из памяти о прошедшем?

— Напрасно вы теряете время! — отвечал Оливье с горькой иронией. — Вы слишком горды, чтобы помириться со своим прошедшим, и хотите уничтожить свидетельницу этого прошедшего. Робеспьер сделает что-нибудь из дружбы! Полноте! Да не вы ли отправили на эшафот всех ваших друзей?

Леба не мог удержаться от крика негодования, но Робеспьер сказал в порыве волнения, которое уже не мог скрыть.

— Успокойтесь, Леба! Этот юноша невменяем! Ему свернули мозги шуаны. Но подумайте, молодой человек, ведь если бы я был таким тираном, каким вы меня воображаете, давно бы велел вас казнить, а я, напротив, говорю с вами мягко и стараюсь вас уговорить,

— Нет, — отвечал Оливье, — вы хотите найти мою мать, чтобы выместить на ней оскорбление, нанесенное вам мною! Робеспьер не такой человек, чтобы простить тому, кто заклеил его публично презрением и позором.

— Негодай! — воскликнул Леба.

Робеспьер махнул рукой и спросил у Оливье:

— Так вы очень меня ненавидите?

— Всеми силами своего существа.

— Но ведь я вам не сделал никакого вреда!

— Вы не сделали мне вреда?! — воскликнул Оливье, теряя всякое самообладание, и едва не высказал своей тайны. — А разве не вы приказали?..

Он спохватился и не окончил своей фразы. Но Робеспьер сделал это за него.

— Арестовать вашу мать?

— Нет! — произнес Оливье, и поединок между ними продолжился с прежним азартом.

Робеспьер был теперь вполне уверен, что Кларисса находится в тюрьме, но в какой? Это он решил узнать во что бы то ни стало. Подойдя к тому креслу, около которого стоял юноша, он стал умолять его оказать ему помощь для спасения дорогих юноше существ.

— Вы хотите, чтобы я помог вам их казнить! — воскликнул Оливье.

Робеспьер отскочил от него, как ужаленный.

— Вы с ума сошли! — произнес он. — Разве вы не понимаете, что каждая минута дорога, что, пока вы теряете время на пустые подозрения, эти несчастные женщины могут взойти на эшафот!

— Если ты, негодяй, не взойдешь раньше их! — перебил его Оливье, скрежеща зубами.

— Безумец! — продолжал Робеспьер. — Быть может, в эту минуту их везут в революционный трибунал, а завтра они сложат головы под гильотиной, и все потому, что вы не хотите сказать ни одного слова, которое их спасло бы. Вы — безжалостный, бесчеловечный сын, вы убиваете свою мать!

— Однако вы очень жаждете ее крови! — сказал Оливье, поражаемый все более и более упорством Робеспьера.

Это последнее оскорбление вывело из себя Робеспьера.

— Дурак! Сумасшедший!

— Вы правы, он сумасшедший, и пора с ним покончить, — сказал Леба, подходя к двери.

— Нет! нет! Погодите, — произнес Робеспьер.

— Герон! — крикнул Леба, будто бы не слыша слов Робеспьера.

Робеспьер схватил его за плечи и прижал к стене.

— Не кричите! Не надо! — промолвил он, едва переводя дыхание, и потом прибавил: — Успокойтесь, это мой сын!

— А! — мог только произнести Леба, вне себя от изумления.

Через минуту он прибавил также шепотом:

— Отчего вы ему этого не скажете?

— Нет, я не могу теперь сказать, что я его отец, — произнес печально Робеспьер и тяжело опустился в кресло.

— Вы правы, — промолвил Леба, глубоко тронутый этой сценой, и крепко пожал руку Робеспьера.

— Так мы сами найдем арестованных женщин! — прибавил он, обращаясь к Оливье. — Они должны быть в Париже.

Оливье вздрогнул, и это не ускользнуло от внимания Леба, который произнес:

— Они не могут быть далеко от него.

— Вы правы! — сказал Робеспьер. — Возьмите скорее экипаж, поезжайте по всем тюрьмам и допросите каждую женщину, арестованную с молодой девушкой.

— Но ведь их может быть много, — возразил Леба, — я не успею до утра всех допросить. К тому же, если этот юноша сказал правду, то эта женщина может быть записана под фамилией ее мужа.

— Ее мужа звали Моллюссон, — перебил его Робеспьер, неожиданно вспоминая, что он когда-то читал в газетах это имя. — Да, да, среди лиц, надевших траур по Людовику XVI, были упомянуты Понтиви, его зять Моллюссон и дочь Кларисса.

— Кларисса? — воскликнул Леба. — Его мать зовут Клариссой? Да ведь письмо женщины, в котором она просила пощады своему девятнадцатилетнему сыну и которое только что вы не хотели прочесть...

— Было подписано Клариссой! — добавил Робеспьер.

— Да.

— Так это его мать! — произнес Робеспьер и, указывая на юношу, побледневшего, как смерть, прибавил: — Посмотрите, это ее живой портрет.

— В таком случае она находится в тюрьме Ла-Бурб.

Робеспьер не мог скрыть своей радости, но в эту минуту он обернулся и увидел, что Оливье падает в обморок. Он подбежал к нему, поддержал его, нежно говоря ему, что его мать будет немедленно выпущена на свободу.

— Он ничего не слышит, — произнес Леба и помог Робеспьеру усадить юношу в кресло, — но будьте осторожны, кто-нибудь может войти.

Между тем Робеспьер схватил со стола флакон с духами, оставленный одной из женщин, и стал натирать духами виски юноше.

— Пусть все идет, — произнес он с нетерпением, — я, кажется, имею право простить моего сына!

— Нет, вы не имеете права простить шуана, который оскорбил председателя конвента, — отвечал Леба, — ваши враги вспомнят Брута, принесшего в жертву своего сына ради отечества, и потребуют от вас такого же патриотического подвига.

— Вы правы, — отвечал Робеспьер, развязывая галстук Оливье, — так или иначе, но мои враги постараются убить моего сына. Единственным средством его спасти будет заточение в тюрьму. Дня через три можно его тайно освободить.

Молодой человек тяжело вздохнул, не открывая глаз, и Робеспьер, наклонившись к нему, незаметно прикоснулся губами к его бледному лбу.

— Он приходит в себя, — промолвил Неподкупный.

— Надо позвать полицию, — заметил Леба, — а то, вероятно, все удивляются, что допрос так затянулся.

Через минуту в комнату вошел Герон со своими двумя помощниками и, взглянув на Оливье, спросил.

— Что это, юноша упал в обморок?

— Нет, негодяй разыграл гнусную комедию, — сказал Робеспьер, принимая грубый, суровый вид.

Между тем в дверях показалась вся семья Дюплэ и забросала Максимилиана вопросами.

— Что же, он сознался?

— Нет, но он выдал себя, и я знаю все, что мне нужно.

— И прекрасно! — раздалось со всех сторон. — Вы, значит, найдете его сообщников.

Однако, увидев бледный, болезненный вид юноши, господа Леба и Виктория хотели подойти к нему, но Робеспьер остановил их и презрительно произнес:

— Оставьте этого безумца: он не достоин, чтобы им интересовались.

— Чудовище! — застонал Оливье.

Робеспьер схватил за руку Леба и судорожно ее сжал. Потом он приказал суровым тоном Герону отвезти Оливье в тюрьму Ла-Форс. Полицейские так грубо схватили юношу, что он вскрикнул.

— Живодеры! — воскликнул Робеспьер и инстинктивно бросился к своему сыну.

— Будьте осторожны! — шепнул Леба. — Не беспокойтесь, я провожу его.

Он попросил полицейских, чтобы они вели себя помягче, и вышел вместе с ними из комнаты.

Робеспьер следил за сыном, пока дверь не закрылась за ним. Тогда он опустился тяжело в кресло.

Через минуту он почувствовал, что кто-то взял его за руку. Он вздрогнул. Это была Корнелия.

Все окружили его и говорили в один голос:

— Вы, должно быть, устали?

— Безумный юноша вас утомил?

— Вы так долго его допрашивали, что, вероятно, узнали много важного?

— Нет, но я очень устал! — отвечал Робеспьер, встав с кресла, протерев со всеми и ушел в свою комнату под предлогом спешной работы.

— Конечно, он пошел подписать приговор юноше, — заметил Дюплэ.

— Жаль, — заметила Виктория, — он очень хорошенький.

— Что ты, с ума сошла! — сказала ее мать. — Что бы подумал Неподкупный, если бы он слышал твои слова?

IX

Войдя в свою комнату, Робеспьер запер двери и сел в кресло. Наконец, он один и может предаться своим мыслям. Он нисколько не думал о нанесенных ему оскорблениях, а все его мысли были сосредоточены на том, как

спасти мать и невесту своего сына, который после этого помирился бы с ним.

Но кто их арестовал? Что они могли сделать? Неужели они были причастны к какому-нибудь заговору? Что же касается Оливье, то следовало продлить его дело до той минуты, как Робеспьер сделается всемогущим и получит возможность поступить с ним, как угодно. В сущности его поступок касался одного Робеспьера, который еще не был воплощением республики. Если его провозгласят диктатором и единственным официальным представителем Франции, то, естественно, ему принадлежало бы право помилования, и было бы более чем прилично ознаменовать первый день своего управления страной актом милости. Во всяком случае надо было удержать Оливье подольше в тюрьме под самым зорким наблюдением.

Возвращаясь мысленно к арестованным женщинам, Робеспьер терялся в догадках, кто и зачем их арестовал. Быть может, они в это время уже находились в революционном трибунале. Но это не могло помешать ему вырвать их из когтей даже рокового трибунала. Тогда Оливье должен будет признать, что он не такое чудовище, каким юноша себе представлял его.

Среди этих размышлений Робеспьер услышал, что кто-то стучится в дверь. Он вздрогнул и стал прислушиваться. Чей-то голос за дверью произнес его имя. Он узнал голос Леба и поспешно отворил дверь.

— Я увидел свет в вашем окне, — сказал Леба, — и понял, что вы еще не легли спать.

— Вы узнали что-нибудь об арестованных женщинах? — спросил с беспокойством Робеспьер.

— Узнал: они все еще в тюрьме Ла-Бурб.

— Обе?

— Обе.

Робеспьер свободно вздохнул.

— Я приказал вашим именем, — продолжал Леба, — чтобы их ни под каким видом оттуда не выпускали. Впрочем, там знают, что они посажены по вашему приказанию.

— По моему приказанию?

— Вы приказали в Монморанском лесу арестовать этих женщин.

Робеспьер молча опустил в кресло.

— Вы не могли этого предвидеть, — продолжал Леба сочувственным тоном, — подобные совпадения теперь случаются часто. Ну, не беспокойтесь! Вы, должно быть, очень устали, и я тоже. Прощайте, до завтра! В сущ-

ности вам нечего беспокоиться, ведь власть в наших руках.

— Это еще вопрос, — отвечал Робеспьер, не поднимая глаз.

Леба пожелал ему доброй ночи и вышел из комнаты.

Оставшись один, Робеспьер глубоко задумался. Теперь было все для него ясно. Он понимал настоящую причину оскорбления, нанесенного ему юношей. Но обстоятельства были сложнее, чем он думал. Что делала Кларисса в Монморанси? Каким образом она была знакома с англичанином Воганом, который предлагал от имени вигов быть регентом Франции? Может быть, Кларисса действовала заодно с англичанином и хотела переманить его на сторону роялистов, сознавая все его влияние и всю пользу, которую он мог принести стране? Но в таком случае она знала о его свидании с англичанином и могла одним словом погубить его. Нет, нет, это было невозможно. Мать его сына никогда не выдаст его! Но зачем же она была в Монморанси? Зачем? Зачем?

С закрытыми глазами Робеспьер повторял это слово «зачем» и мало-помалу впал в забытье. Он как будто перенесся в тюрьму Ла-Бурб и увидел Клариссу. Но она была по-прежнему молодая и хотя бледная, но прелестная, с чудными голубыми глазами. Но как могла она, столь молодая, иметь взрослого сына? Нет, она была не матерью, а невестой Оливье, и он обещал поженить их в Лондоне с помощью Фокса, который был в Англии так же всемогущ, как он, Робеспьер, во Франции.

Его голова медленно опустилась на грудь, и он крепко заснул.

Лампа, стоявшая на столе, уже догорала, и при ее мерцающем свете неясно выделялось из темноты бледное, все еще выражавшее тревогу лицо Робеспьера. Он заснул одетый, и руки его висели по сторонам, как плети. Время от времени он нервно вздрагивал, и какие-то несвязные слова или глухие звуки вырывались из его уст.

Комната Неподкупного, скромно меблированная креслом, в котором он теперь спал, несколькими плетеными стульями, простым письменным столом, книжными полками и кроватью красного дерева с пестрыми занавесками, сделанными из платья госпожи Дюплэ, находилась рядом с помещением, где спал маленький Морис. Около трех часов ночи ребенок вдруг проснулся, услышав голос Робеспьера. Но последний не раз разговаривал во сне, и потому ребенок повернулся и снова заснул. Однако его вторично разбудил

шум падающего кресла. Он вскочил и отворил дверь в соседнюю комнату.

При мерцании совершенно угасавшей лампы Морис увидел, что Робеспьер стоял одетый и, вытянувшись во весь рост, дико махал руками, словно от кого-то обороняясь. Подле него стояло опрокинутое кресло.

Ребенок подбежал к нему и спросил, что с ним. Робеспьер пристально посмотрел на него, опустил на колени и, схватив его, прижал к своей груди.

— Сын мой, сын мой! — произносил он едва слышно среди болезненных стонов.

Между тем лампа потухла, но сквозь полуоткрытые ставни пробивался сероватый свет начинающегося дня. Морис с трудом помог Робеспьеру подняться с пола и сесть в кресло, которое он прежде того поднял.

— Не нужно ли вам еще что? — спросил он.

Но Робеспьер уже крепко спал.

Ребенок тихонько вышел из комнаты и, бросившись на свою постель, также заснул.

В семь часов утра Робеспьер открыл глаза. Он ничего не помнил, что было ночью, а тот факт, что он спал одетый в кресле, его нимало не удивил. Это случалось нередко в критические моменты его жизни. Он открыл ставни, и в комнате стало светло. Кто-то постучал в дверь. Это был Морис, который просил позволения войти.

Это раннее появление мальчика, которого он очень любил и которому давал в свободные минуты уроки истории, изумило Робеспьера.

— Как ваше здоровье?

— Отлично! Зачем ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что... вы знаете... вчера ночью...

— Что вчера ночью?

— Вы меня очень перепугали.

— Чем я тебя перепугал?

Морис рассказал, что случилось ночью.

— Ты в этом уверен? — спросил Робеспьер тревожным тоном.

— А так как вы меня узнали и назвали своим сыном, то я успокоился и подумал, что у вас жар был не очень большой.

— Да, да, ты прав, значит, у меня не был большой жар, если я тебя узнал и назвал своим сыном. Ведь ты, правда, мой добрый сынок, — прибавил Робеспьер, глядя ребенка по щеке. — Но ты не говори об этом ни слова, нечего тревожить отца и мать.

- Я никогда ничего не говорю!
- Как никогда? — спросил с беспокойством Робеспьер.
- С вами это случилось не в первый раз.
- А что же со мною случилось раньше?
- Вы часто говорили вслух во время сна.
- А что я говорю?
- Какие-то несвязные слова, которые я не мог понять.

Но я так привык к этому, что не обращал внимания. А вот вчера случилось нечто необыкновенное, и я вскочил с постели.

- Совершенно напрасно. Я просто устал.
- Может быть, вас расстроил допрос шуана?
- Может быть. Но ты видишь, я теперь совсем здоров.

Ну, иди, дитя мое, и помни — никому ни слова.

Когда мальчик ушел, Робеспьер подумал, что, быть может, слишком мало ходит, и потому у него делается прилив крови к голове. Хорошая прогулка по Елисейским полям была бы для него всего полезнее. Поэтому он переоделся, побрился, попудрился и по обыкновению надушился. Но прежде чем выйти из дома, он вынул из ящика стола написанный за два дня перед тем проект закона и спрятал в карман.

Очутившись на свежем воздухе, он совершенно оправился и пошел прямо к Кутону, одному из верных своих друзей, в числе которых находились, кроме него, Леба, Сен-Жюст и брат Робеспьера, Огюстен. Он полагал, что лучше было Кутону предложить новый закон конвенту, и тогда ему будет удобнее отстаивать его против оппозиции. Кутон был дома и согласился на предложение Робеспьера. Покончив с ним, он пошел через Тюильри на Елисейские поля. По своему обыкновению он шагал быстро, несмотря на жару, и Блунт весело следовал за ним, прыгая и лая.

Мало-помалу Неподкупный совершенно успокоился. Он уже хладнокровно обдумывал, кто из его врагов будет жертвою нового закона. Что же касается Оливье, его матери и невесты, то их судьба его более не тревожила. Он решил, что они останутся в тюрьме до тех пор, пока наступит удобное время для их освобождения.

В конце Елисейских полей он повернул к Сене, чтобы выкупать свою собаку, как он обыкновенно делал в теплые летние дни. На берегу реки он остановился и стал бросать в воду палки, за которыми кидалась собака и, схватив их, приносила обратно. Это мирное зрелище еще более восстановило хорошее расположение духа, и он явился в конвент вполне готовый к борьбе с врагами.

Как было условлено, Кутон прочел новый законопроект среди громких протестов, а затем начались шумные прения. Многих пугало предложение ускорить производство в революционном трибунале уничтожением свидетельских показаний и перекрестного допроса. Но когда дело дошло до предоставления Комитету общественной безопасности права обвинять или миловать, то произошла паника. До тех пор конвент имел право судить представителей народа.

— Если этот закон пройдет, то всякому из нас останется только пустить себе пулю в лоб! — произнес какой-то голос.

Но Робеспьер вошел на трибуну, и закон был принят конвентом. На следующий день уже было сделано несколько попыток отменить этот закон, вводивший террор среди конвента, но тщетно.

Пользуясь таким обоюдоострым законом, который можно было одинаково обратить против конвента и Комитета общественной безопасности, Робеспьер мог держать в порядке своих врагов в комитете. Ему стоило только выдвинуть против них обвинение и заменить их своими собственными креатурами, которые слепо повиновались бы его воле.

Все шло хорошо. Его враги, слепые и неумелые, начали истреблять друг друга и распадаться на мелкие группы с того самого дня, как прошел закон, сделавший Робеспьера столь грозным для всех; он, со своей стороны, пользовался этими раздорами, но, быть может, слишком торопился. Что касается Комитета общественной безопасности, то он, почуввав опасность, дружно сплотился против Неподкупного, который в случае неудачного результата своей борьбы с комитетом должен был прибегнуть к открытой силе. При таких обстоятельствах он перестал ходить в комитет и стал тайне энергично готовить государственный переворот, для того чтобы навсегда отделаться от своих врагов с помощью Сен-Жюста, которого он вызвал из Северной армии, Ганрио, главнокомандующего Парижской армии, Флерио-Леско, парижского мэра, Пэана, агента Коммуны, Дюма, председателя революционного трибунала, и Кофиналя, его вице-председателя.

План Робеспьера был очень простой. Он предъявит в конвенте обвинение против Комитета общественной безопасности и потребует предания его суду, если же конвент не согласится на это, то он усмирит его войсками Ганрио, а в крайнем случае поднимет с помощью Коммуны народное восстание в Париже.

Что касается Оливье, его матери и невесты, то они все это время спокойно сидели в своих тюрьмах. Два раза имена Клариссы и Терезы попадали в списки, и два раза их вычеркивал Робеспьер, который приказал подавать заранее эти списки на его просмотр.

Но решительная минута приближалась. Был уже седьмой термидор. Прошло шесть недель после знаменитого праздника Верховного Существа и принятия прериальского закона, который возвел на эшафот 700 жертв. Террор достиг своего апогея, и Франция тревожно ждала результата борьбы между Робеспьером и его врагами.

Доведенный до крайности Неподкупный назначил последний бой на 8-е термидора, когда он решился снять с себя маску и открыто обвинить Комитет общественной безопасности в козвенте. Хотя он был совершенно убежден в своем торжестве, но все-таки считал благоразумным принять меры, чтобы обезопасить Оливье, его мать и невесту в случае своего поражения, как оно ни было невероятно. Их следовало выпустить из тюрьмы и поместить в безопасном убежище, откуда они могли бежать в случае опасности.

Выбор Робеспьера остановился на городской ратуше, где он царил безгранично. На улице Мартруа находилось здание, имевшее сообщение с ратушей, и в котором было несколько пустых квартир. Кларисса могла спокойно жить в одной из этих квартир со своей племянницей и Оливье, пока они найдут возможность безопасно покинуть Париж. Обдумав во всех деталях этот проект, Робеспьер сообщил о нем Леба, который один знал о тайной драме, разыгрывавшейся в частной жизни Робеспьера в самую критическую минуту его политической карьеры.

— Вполне одобряю ваш план и готов всячески помогать его осуществлению.

— Благодарю, я на вас рассчитывал. Но нечего торопиться. Вы успеете все сделать завтра. Если вы заметите, что в начале заседания большинство конвента колеблется, то отправляйтесь прямо в тюрьму Ла-Бурб и, освободив женщин, водворите их в известную вам квартиру. Там все готово. Потом отправляйтесь в тюрьму Ла-Форс и перевезите в означенную квартиру Оливье, который должен найти там свою мать и невесту.

И он передал Леба два приказа об освобождении арестованных.

— Хорошо, — отвечал Леба, — все будет исполнено.

На следующий день в конвенте Леба, бывший опытным парламентским экспертом, был убежден, что Робеспьер

одержит победу, и он не ошибся. Неподкупный выдвинул подготовленное им обвинение против Комитета общественной безопасности. Оно было выслушано безмолвно, и раздалось только несколько протестов. Во всяком случае, было решено напечатать его речь и распространить в Париже. Таким образом, Робеспьер одержал победу, и предъявленное им обвинение против своих врагов приняло характер обвинения их перед всей Францией. Ему оставалось только назвать свои жертвы.

Но Комитет общественной безопасности его опередил. Вадье бросился на трибуну, а за ним Камбон, который, чувствуя, что все для них погибло, смело обвинил лично Робеспьера.

— Настоящий изменник — это он! — воскликнул Камбон, приводя в изумление всех присутствовавших. — Он в своем чрезмерном самолюбии парализует волю национального конвента!

Эти слова как бы заставили очнуться конвент от своего рабского подчинения Робеспьеру.

Бильо-Варрен сменил Камбона на трибуне.

— Пора снять маски со всех, кто бы они ни были! — воскликнул он. — Я предпочитаю, чтобы самолюбивый тиран приобрел власть, переступив через мой труп, чем с помощью моего безмолвия.

Другие ораторы были еще смелее. Робеспьер хотел усмирить бурю, но это было ему не по силам. Предъявив огульное обвинение и не назвав никого по имени, он навел страх на каждого. Конвент отменил только что принятое постановление и решил, что его речь, прежде напечатания, будет послана в комитет на заключение.

— Как, — воскликнул Робеспьер, — я мужественно решил для спасения страны обвинить недостойных людей, а вы посылаете это обвинение на рассмотрение обвиняемым лицам!

За победой следовало поражение, хотя, конечно, частное, и, видя колебание конвента, Робеспьер надеялся на другой день настоять на своем. Но все-таки ему надо было принять немедленно меры на случай крайности. В тот же вечер он должен был подготовить восстание Парижской коммуны, которое рассеяло бы всех его врагов. Он готов был придерживаться законности, пока было возможно, но считал неизбежным обратиться к насилию при необходимости.

Он оглянулся, отыскивая Леба. Но он уже давно исчез, и это обстоятельство возбудило в нем надежду, что обе

женщины, а может, и Оливье были в приготовленном для них убежище на улице Мартруа.

«Мне надо лично убедиться, все ли обстоит благополучно, — подумал он, — нельзя терять ни минуты».

И, выйдя из конвента, он поспешно направился к парижской ратуше.

Х

В это самое время Леба подъезжал с другой стороны к ратуше вместе с Клариссой и Терезой. Оставляя тюрьму Ла-Бурб, он дал ложный адрес вознице того экипажа, в котором находились освобожденные узники. Сам же он следовал сзади в другом экипаже с одним из сторожей ратуши, пламенным сторонником Робеспьера, по имени Урбен. По дороге он догнал первый экипаж и крикнул вознице:

— На улицу Мартруа, № 13!

Когда экипажи остановились перед указанным домом и Леба почтительно пропустил вперед на лестнице Клариссу и Терезу, то последние находились в таком волнении, что не знали, живы ли они или мертвы.

Выходя из тюрьмы, Кларисса спросила, куда их везут, но Леба отвечал:

— Ради себя и своей племянницы не спрашивайте меня ни о чем, пока мы не достигнем места вашего назначения!

Обе женщины молча последовали за Леба и Урбеном, который нес их вещи. На третьем этаже они остановились перед дверью, отворив которую Леба сказал:

— Пожалуйста!

Кларисса и Тереза вошли в простенькую гостиную, очень скромно меблированную, а Урбен отнес вещи в соседнюю комнату, которая была спальней.

— Вы здесь дома, — сказал Леба, — вы совершенно свободны, но из благоразумия тот, кто вас спас и по поручению которого я вас привез сюда, желает, чтобы вы не выходили из этой квартиры, пока не уничтожится всякая опасность.

Кларисса и Тереза не могли прийти в себя от изумления и умоляли Леба сказать им имя их избавителя.

— Я не могу вам этого сказать, так как не получил разрешения, — отвечал Леба, — но будьте уверены, что он всемогущ в Парижской коммуне; ваша квартира вот через эту дверь сообщается с ратушей, так что вы состоите под его прямым наблюдением.

Кларисса вздрогнула. Она теперь поняла, что их спас Робеспьер. Письмо, которое она писала ему месяц тому назад, попало ему в руки, и она получила через два дня ответ: «Не бойтесь ничего, ваш сын вне опасности».

Леба еще объяснил успокоившимся женщинам, что Урбен и его жена будут находиться в квартире для их услуг и что их свобода была только ограничена условием не выходить из квартиры и даже не приближаться к окнам, в особенности от четырех до шести, когда мимо провозят приговоренных к гильотине.

Обе женщины вздрогнули.

— По несчастью, — прибавил Леба, — мы не могли вам найти другой квартиры, а по этой улице самая близкая дорога к Тронной заставе, куда теперь переведена гильотина. Но вас предупредят крики, и вы можете удалиться в столовую, которая выходит во двор.

Но Кларисса не обращала внимания на его слова. Мысль уведомить Оливье об их спасении всецело овладела ей.

— Могу я написать несколько строк дорогому мне существу? — спросила она.

Леба отвечал утвердительно и прибавил, что он зайдет за ее письмом через некоторое время, так как теперь ему необходимо исполнить еще одно важное поручение.

Он быстро удалился, а Урбен стал приводить в порядок мебель в гостиной.

Тереза сияла счастьем, громко благодарила Бога за их спасение и выражала надежду, что они вскоре увидят Оливье.

— Но кому мы обязаны всем этим? — спросила она у тетки.

— Я думаю, что бывшему секретарю твоего деда, — отвечала Кларисса, — он теперь всемогущ, и я ему писала из тюрьмы. Если же я тебе об этом раньше не говорила, то не хотела тешить тебя надеждами, быть может, несбыточными.

Молодая девушка взглянула в отверстие ставней, которые были немного приотворены Урбеном, и воскликнула:

— Тут церковь!

Мысленно она обещала себе при первой возможности пойти в церковь и помолиться за их покровителя, который должен был много грешить, так как, если он был всемогущ, то он не мог не принадлежать к правительству террора.

Между тем Урбен принес чернила и поставил на стол.

— Наконец-то я могу написать Оливье! — воскликнула радостно Кларисса.

Она присела к столу и начала писать, а Тереза начала внимательно осматривать комнату. Неожиданно ее глаза остановились на иллюстрированной газете. Она была старая, но ее сохранили, потому что в ней было подробное описание с картинками праздника в честь Верховного Существа.

Это заинтересовало молодую девушку, потому что Оливье во время его посещения тюрьмы Ла-Бурб горячо протестовал против этого торжества. Она стала читать прежде всего содержание газеты, напечатанное крупными буквами:

«Описание шествия. — Пиротехнические фигуры. — Типические группы. — Арест шуана. — Народное негодование».

— Я видел, как его арестовали! — заметил Урбен.

— А за что его арестовали? — спросила Тереза.

— За то, что он закричал: «Долой гильотину!»

Услышав эти слова, Кларисса подняла голову. Она вспомнила, что Оливье накануне праздника упрекал французский народ за то, что никто не решился публично произнести эту фразу. Она и Тереза в один голос воскликнули:

— А что это был за человек?

— Насколько мне помнится, — отвечал Урбен, — это был юноша лет двадцати. Его арестовали немедленно, чтобы спасти от толпы, которая хотела его растерзать на куски.

— А как его зовут? — снова в один голос воскликнули обе женщины.

Урбен отвечал, что он не знает. Кларисса с материнским инстинктом стала доказывать Терезе, что они напрасно беспокоились, так как Оливье не мог быть этим юношей. Если бы он осуществил такую скандальную выходку, то их бы давно разыскали и привлекли к делу. А, напротив, в последнее время с ними обращались в тюрьме очень почтительно.

— Это правда, — отвечала Тереза и быстро успокоилась.

Кларисса взяла из ее рук газету и бросила ее.

— Лучше, чем читать всякий вздор, ты бы убрала нашу комнату. Ты даже еще не посмотрела на нее.

Она нежно повела ее в спальню и поспешно закрыла дверь.

Оставшись наедине с Урбеном, Кларисса тревожно спросила вполголоса:

— Вы видели этого молодого человека? Какие у него глаза? Как он был одет?

— Глаз его я не помню, — отвечал Урбен, — но на нем была рабочая одежда: серая куртка, такие же брюки и полосатый черно-серый жилет.

— Это он! Это он! — промолвила Кларисса, вспоминая обычный костюм Оливье, и упала в кресло, едва не потеряв сознания.

В эту минуту отворилась дверь из передней, и кто-то помахал оттуда рукой Урбену, который вышел и, немедленно вернувшись, сказал:

— Гражданин Робеспьер желает говорить с вами.

— Где он? Где он? — воскликнула Кларисса, заливаясь слезами.

Как только в дверях показался Робеспьер, Кларисса поспешила к нему навстречу и, не дав времени поздороваться с нею, воскликнула:

— Где мой сын? Где мой сын?

— Успокойтесь: ваш сын здоров и невредим!

Она взглянула на него пристально и, заметив его смущение, продолжала с ожесточением:

— Значит, арестованный молодой человек — Оливье? Значит, вы приказали его арестовать? Нечего сказать, хорошо! Вы сделались тюремщиком своего сына.

Робеспьер сначала опустил глаза в смущении, потом оправился и объяснил в нескольких словах все, что случилось. Если он запер Оливье в тюрьму, то лишь для того, чтобы его спасти, иначе Комитет общественной безопасности мог его схватить и возвести на эшафот в доказательство того, что Робеспьер не имел права помилования. Напротив, теперь Леба повез его в тюрьму Ла-Форс и тотчас привезет его сюда. Здесь Оливье проживет с матерью и Терезой до того дня, как они все трое уедут в провинцию.

Кларисса, видимо, успокоилась и доверчиво слушала Робеспьера.

— Но как вы его узнали?

— Благодаря случайности и найденным письмам в его дорожном мешке, он же сам упорно отказывался назвать себя по имени.

Глаза Клариссы засверкали новым страхом.

— Так Оливье знает тайну своего рождения?

— Нет, не беспокойтесь, я не сказал ему ни слова, чтобы уменьшить его любовь к вам и веру в вас или чтобы уменьшить его ненависть ко мне, которая вполне может служить вам мстью.

— Вы ошибаетесь насчет моих чувств, я нисколько не думаю о мести и даже давно перестала упрекать вас. Ведь прошедшее было так давно, так давно.

Неподкупный бросил на нее взгляд, полный горя и сожаления. Бледная, увядающая не по возрасту, она была для него живым укором. Если она забыла прошедшее, то он не мог забыть, что на этих поблекших от страданий и печали, некогда розовых губах он запечатлел свой первый поцелуй.

— Хотя я не могу забыть прошедшего, — произнес он, — но я, право, не так виноват, как кажется. Отчего ваш отец из личной гордости отказал мне в вашей руке и прогнал, как лакея? Благодаря этой аристократической гордости возникла революция и всех сравняла под гильотиной. Печальное прошедшее и ужасное настоящее обязаны своим происхождением гордости вашего отца. Я никогда не бросился бы с таким безумием в политический водоворот...

— Полноте, — перебила его Кларисса, — прошедшее умерло, давно умерло!

— Нет, оно не умерло! — воскликнул он. — И ваш сын служит живым доказательством, что прошедшее...

— Если его ненависть нанесла минутный удар вашему самолюбию, — промолвила Кларисса, перебив его в третий раз, — то я должна всю жизнь смертельно страдать всякий раз, как он произнесет ваше имя с презрением и отвращением. Я должна постоянно с ужасом спрашивать себя: простит ли он мне когда-нибудь, что по моей милости такой отец, как вы...

— И вы также! — воскликнул Неподкупный, печально смотря на нее. — Как, вы разделяете общее заблуждение насчет меня? Даже вы не поняли, что под кажущейся жестокостью я скрываю идеальные стремления. Я имел в виду только счастье Франции и всего человечества, но достичь этой цели можно, только очистив Францию от низких изменников. Я — убийца? Я — тиран? Я — мститель, я — пророк, провозвестник справедливости и добродетели! Я не отвечаю за то, что народ, скованный цепями рабства в продолжение многих веков, освободившись, во зло употребил свою свободу. Каждая победа сопровождается кровопролитием!

Кларисса слушала с таким же изумлением, как Воган, проповедь Робеспьера о достижении гильотиной всеобщего счастья.

— Будущее меня оправдает! — прибавил он. — Когда я достигну власти, то мои действия докажут чистоту моих намерений.

— А разве вы теперь не всемогущи? — спросила Кларисса.

— Нет, я не всемогущ! Враги мешают мне действовать, как я хочу. Но я уже вступил с ними в последний бой. Надо все покончить разом. Я не могу более переносить этой проклятой жизни. Все меня ненавидят, все мне изменяют. Над моей головой постоянно висит кинжал. Я провожу бессонные ночи. Пора, пора все кончить! Одним страшным ударом я освобожусь ото всех извергов, подвергающих меня ужасным мукам, а затем — мир, вечный мир. Я встречу его радостно, с распростертыми объятиями.

— Но если так, — возразила Кларисса, — то отчего же вы до сих пор не закрыли революционного трибунала и не выпустили на свободу всех узников? Сколько благословений тогда посыпалось бы на вас, вы осушили бы столько же слез, сколько пролито благодаря вам. Все было бы забыто, и вы были бы счастливы.

— Это было невозможно, — отвечал Робеспьер, — это еще невозможно и теперь. Если бы я вздумал так поступить, то погиб бы, подобно Дантону. До настоящей минуты еще не пришло время. Милосердие означило измену, а человеколюбие — смерть. Чтоб пережить, надо было уличать, обвинять, убивать, убивать безжалостно. Страх, смерть, а не что иное побуждали французов к самым бесчеловечным поступкам. Страх овладел всеми: конвентом, комитетом, революционным трибуналом, даже толпой, которая сделалась позорным рабом ужаса, овладевшего Францией. Это правительство называли террором, и действительно это было время террора для жертв, обвинителей и судей, для всех и каждого.

Кларисса с ужасом смотрела на него.

— Так нет надежды, — промолвила она, — Франция погибнет от гнусного страха. Неужели не найдется смельчака, который взял бы это чудовище за горло и задушил бы его?

— Найдется.

— Но, Боже мой, кто?

— Я.

— Вы?

— Да, я.

И Робеспьер развил перед нею свой план. Как только погибнет Комитет общественной безопасности, он станет полным, всемогущим повелителем, уничтожит гильотину и водворит мир, справедливость, милосердие.

— Но когда это будет? — спросила Кларисса, очарованная его словами.

— Не знаю. Может быть, через несколько дней. Сегодня канун великого боя. Надо ждать и быть терпеливым.

Вдали послышался какой-то смутный шум вроде переката морских волн.

— Что это такое? — спросила Кларисса.

Робеспьер ничего не ответил, но вздрогнул и побледнел. Кларисса поняла, что означает этот шум. Леба ее предупредил, и теперь именно было время проезда по улице мимо их окон телег с жертвами гильотины. Робеспьер поспешно закрыл ставни.

— Так все эти несчастные люди, — воскликнула Кларисса, вне себя от отчаяния, — должны умереть, потому что час милосердия еще не пробил! Через несколько дней, вы сами говорите, их можно было бы спасти. Неужели они погибнут накануне общего спасения? О, это ужасно, ужасно!

— Я ничего не могу сделать, я бессилен.

— Как, вы бессильны? Сделайте сегодня то, что вы хотите сделать через несколько дней. Крикните из этого окна толпе: «Милость несчастным!» Вы — кумир толпы, и ваше слово раздастся по всей Франции. Скажите это слово милосердия, и вы будете героем, ваш сын перестанет ненавидеть и проклинать вас.

— Вы не понимаете, что говорите, — отвечал Робеспьер в сильнейшем волнении. — Как могу я остановить одним словом эти телеги и толпу человеческих подонков. В ней нет ни одного уважающего себя человека. Это чернь, обезумевшая от жажды крови. Они боятся и уважают только одно — гильотину. Вы говорите, что я — их кумир. Это неправда: их кумир — палач. Вступить в бой мне одному с этой слепой, безумной толпой — сумасшествие.

Кларисса не обращала внимания на его аргументы и продолжала умолять, ломая себе руки.

Шум приближался. Робеспьер невольно приотворил ставень в одном из окон и взглянул на улицу.

— Это они! Это они! — промолвила Кларисса, заливаясь слезами.

Робеспьер быстро закрыл ставень.

— Подумайте о своей юности, — неожиданно воскликнула Кларисса, — вы тогда были милосердны и человеколюбивы. Вас тогда возмущала всякая несправедливость, и вы заступались за слабых, за угнетенных. Подумайте о вашей юности! Они невинны, а вы не хотите их спасти.

— Да, это безумие, — повторил Робеспьер в отчаянии. — Вы хотите моей смерти, своей и вашей племянницы. Малейшая попытка со стороны кого-либо спасти этих

жертв навлечет на него ожесточенную злобу толпы. Его разорвут на части, его раздавят под колесами телег! Этого вы хотите? Не лучше ли, чтобы я остался жив и спас вас, вашего сына и вашу племянницу?

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге появился Урбен. Робеспьер понял, что явился Леба с Оливье, но он не желал, чтобы сын его видел.

— Пусть гражданин Леба и его товарищ подождут, пока я уйду.

Урбен посмотрел на него с удивлением.

— Гражданин Леба один, — отвечал он.

— Как один? — спросил Робеспьер.

— А Оливье? — воскликнула Кларисса, дрожа всем телом.

Робеспьер бросился к двери и позвал Леба.

Действительно, Леба пришел один и объявил, что Оливье не было в тюрьме Ла-Форс.

— Он спасся бегством? — спросил Робеспьер.

— По несчастью, нет: его взял полицейский агент Куланжон, но куда он его повез, неизвестно. Может быть, в консьержери.

— В революционный трибунал! — вскрикнула с ужасом Кларисса.

Робеспьер был также поражен страхом. Комитет, вероятно, отдал Оливье под суд, и, быть может, он находился в числе жертв, которых сейчас провезут мимо окон на пути к гильотине.

— Бегите и узнайте! — крикнул он Леба, а пока последний бросился к дверям, он поспешил к окну.

— Если он в числе жертв, — воскликнула Кларисса, обезумев от горя, — то вы должны закричать народу, что это ваш сын.

— Это невозможно! — отвечал Робеспьер. — Мне ответят, что мой сын — шуан и что я должен быть благодарен комитету, что он спас меня от такого позора.

В эту минуту Тереза вошла в комнату, дрожа от страха.

— Мама, мама, их везут! — промолвила она, вспомнив предостережение Леба.

Увидав Робеспьера, она остановилась.

— Это — друг, который нас спас.

Но когда Тереза хотела подойти к окну, то она остановила ее рукою.

— Нет, нет! Не для тебя такое зрелище. Лучше стань на колени и молись. Молись за несчастных жертв, молись за всех нас!

Тереза повиновалась и, подняв свои голубые глаза, полные слез, стала молиться.

На улице шум все усиливался. Слышны были дикие крики, грубый хохот, безобразные шутки. Вся ненависть и все безумие парижской черни вылились наружу.

Первая телега с приговоренными тихо подвигалась по улице Мартруа, предшествуемая пьяными иступленными женщинами, которые неистово плясали карманьолу под звуки революционных гимнов. Робеспьер открыл наполовину ставень, чтобы лучше рассмотреть, кто находился в первой телеге. Кларисса хотела также выглянуть, но он силой ее удерживал:

— Нет, нет, я буду смотреть один.

— Вы его видите? Скажите мне, он здесь?

— Нет, — отвечал Робеспьер, по-прежнему не допуская ее к окну.

Неожиданно Максимилиан дрогнул, и она воскликнула:

— Он здесь! Он здесь! Я знаю, что он здесь!

И она снова рванулась к окну.

— Клянусь, его нет! — произнес Неподкупный и, выпустив из своих рук Клариссу, обтер платком свой лоб, на котором выступил холодный пот.

Первая телега проехала, и мало-помалу стали замирать крики, пение, говор толпы. Оливье не было в первой телеге, но он мог находиться во второй.

Между тем Тереза, стоя на коленях и не спуская глаз с церкви, продолжала молиться:

— Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя.

Но ее голос был заглушен новым взрывом криков и пением.

Dansons la Carmagnole!

Vive le son!

Vive le son!

Dansons la Carmagnole!

Vive le son!

Du canon!..¹

Пользуясь тем, что Робеспьер прозевал минуту, Кларисса приблизилась к окну с криком отчаяния:

— Вторая телега!

— Их две! — прибавил Робеспьер; хотя и малого роста, он был выше Клариссы и мог видеть через ее плечи.

¹ Пляшите карманьолу Ура! Ура! Ура! Пляшите карманьолу! Ура! Ура! Пушкам ура!

— Две телеги, значит, Оливье в них! — продолжала Кларисса. — Я чувствую, что он в них!

Страх овладел ею до такой степени, что она забыла предосторожность и едва не высунулась в окно. Робеспьер не мог удержать ее, и она не обращала внимания на его слова.

— Это безумие, вас могут увидеть!

Между тем Тереза окончила молитву Господню и начала взывать со слезами к Богородице:

— Пресвятая Дева Мария, моли Бога о нас и в минуту нашей смерти. Аминь.

Неожиданно раздался вопль отчаяния: Кларисса узнала Оливье.

— Вот он! Вот он в телеге! — стонала она.

Робеспьер, полумертвый от страха, напрягал свое зрение, но ничего не видел.

— Как вы не видите? Вот юноша с опущенной головой.

Кларисса с неимоверными усилиями хотела раскрыть широко ставень, но Робеспьер неистово боролся с нею.

— Это неправда! Это не Оливье! — промолвил Максимилиан. — Посмотрите, юноша поднял голову. Вы видите, что это не он.

— Так он в другой телеге.

Однако Кларисса была так истощена, что невольно опустилась в кресло. Шум начал замирать вдали. Робеспьер свободно вздохнул: это была, конечно, последняя телега.

— Смотрите вы, — промолвила Кларисса, — я более не могу.

Она закрыла лицо руками, и крупные слезы потекли между ее пальцев. Робеспьер открыл ставень в надежде, что смертельная пытка окончилась. Приближалась еще новая телега. Усиливающийся шум на улице предвещал ее появление. Одним прыжком Кларисса очутилась опять у окна.

— Неужели это никогда не кончится! — вырвалось из ее груди.

— Ради Бога, не кричите! — произнес Робеспьер, протянув руку, чтобы зажать ей рот.

Кларисса не слушалась его и громко кричала:

— Я пойду на улицу! Я положу этому конец! Это слишком ужасно!

Робеспьер продолжал с ней бороться, но эта сцена наконец обратила внимание Терезы, и она мгновенно поняла, в чем дело.

— Оливье везут на эшафот?

— Да, да, Оливье хотят убить, — произнесла Кларисса, забывая обо всем.

— Оливье хотят убить! — повторила Тереза, и ее раздирающий вопль раздался во всем доме.

— Мама! Мама!

Несмотря на все усилия и мольбы Робеспьера, Кларисса продолжала рваться и кричать.

— Я хочу вырвать моего сына из рук палача, все матери мне помогут, а если он не отдаст мне моего сына, то пусть убьет и меня. Пустите меня, ради Бога, я хочу спасти моего сына!

Робеспьер просил Терезу успокоить тетку, и молодая девушка, поняв все безумие несчастной, старалась нежными словами возбудить в ней надежду, но ее голос был заглушен диким ревом толпы, которая неистово распевала:

Ah! ca ira, ca ira!
Les aristocrates à la lanterne,
Ah! ca ira, ca ira!
Les aristocrates on les pendra¹.

Неистовым движением Кларисса вырвалась и бросилась к дверям, но Робеспьер задержал ее и произнес твердо, решительно:

— Вы останетесь здесь! Я вас не пущу! Я сам пойду. Если он будет в этой телеге, то я решусь на все, чтобы его спасти!

Кларисса с сомнением посмотрела на него, и он прибавил:

— Клянусь!

— Да простится вам все за эту благородную решимость! — промолвила она со слезами благодарности.

Он посадил ее близ окна, а Тереза, поместившись рядом с нею, старалась осушить ее слезы, как бы забыв свое собственное горе. Новый взрыв народных криков привлек Робеспьера к окну. Это была последняя телега, и за нею виднелся конный эскорт. Если в этой телеге не окажется Оливье, то он был спасен.

— Он непременно в этой телеге. Где ему быть иначе! — промолвила Кларисса и, опустившись на колени, стала молить небо:

— О Господи! Боже мой! Боже милостивый! Спаси моего сына!

¹ На лад идет! На лад идет! Аристократов вздернут! На фонари! На фонари!

Тереза последовала ее примеру, и, крепко обнявшись, обе женщины соединили свои мольбы и молитвы.

На улице толпа ревела:

Ca ira! ca ira!

— Господи, Боже милостивый, спаси нас! — повторяли уста обеих женщин.

Робеспьер, бледный, неподвижный, стоял на часах. Кларисса и Тереза сосредоточили свои глаза на нем, ожидая от него надежды или смертного приговора. Наконец, он восторженно воскликнул:

— Его нет! Его нет!

— Вы уверены? — спросила Кларисса, сиюсь встать.

Более доверчивая Тереза радостно целовала ее.

Робеспьер подошел к Клариссе, поднял ее и отнес к окну.

— Смотрите сами, — сказал он.

— Тут только женщины!

— Слава Богу! — воскликнула Кларисса.

Но в ту же минуту она осознала, как эгоистично и бесчеловечно было ее сердце. Она упала на колени и стала умолять несчастных жертв простить ее.

Между тем Робеспьер стал недоумевать, где Оливье, и, взяв шляпу, направился к дверям.

— Кто бы вы ни были, да благословит вас Господь! — сказала Тереза, бросая на него благодарный взгляд.

Робеспьер обернулся, пристально посмотрел на молодую девушку и хотел что-то сказать, но голос ему изменил, и он быстро вышел из комнаты.

Шум на улице замер. На церковной башне пробило шесть часов.

XI

На лестнице Робеспьер встретил Урбена и сказал ему:

— Позовите скорее экипаж.

Урбен побежал на улицу и остановил проезжавший мимо фиакр.

— Что, — спросил возница цинично, — площадь Свергнутого Трона? Забава еще не началась.

Робеспьер поспешно вскочил в экипаж и крикнул:

— В Комитет общественной безопасности, и поскорей!

Откинувшись на спинку экипажа, Неподкупный углубился в свои мысли. Он немедленно узнает от Куланжона,

где Оливье, и если тот станет запираяться, то он силой вырвет у него правду.

Но, прибыв в Тюильри, он тщетно искал повсюду Куланжона. Полицейский агент неизвестно куда исчез. Его отсутствие снова возбудило в уме Робеспьера подозрение, что Оливье находился в консьержери.

«Я сам пойду туда и все выясню», — подумал он и отправился домой.

Было уже семь часов. Вся семья Дюплэ тревожно ждала Робеспьера и Леба, тем более что они знали о закрытии заседания в конвенте. Дюплэ недавно вернулся из революционного трибунала и смотрел на обстоятельства с оптимистической точки зрения. Хотя заседание конвента кончилось не в пользу Робеспьера, но он, конечно, сегодня же вечером в Якобинском клубе восторжествует над своими врагами. Женщины решили присутствовать при этом торжестве своего друга, хотя Дюплэ и возражал против этого.

— Но если вы убеждены в его победе, — воскликнул Морис, — то чем же мы рискуем?

В это время появился Робеспьер с вытянутым, испытанным лицом, но он улыбался и на вопрос о Леба отвечал:

— Он сейчас вернется. Я видел его час тому назад.

— Где?

— В ратуше.

Они поняли, что Робеспьер и Леба приняли меры, чтобы в случае крайности возбудить восстание Коммуны, поэтому вся семья в один голос предложила пойти с ним после ужина в Якобинский клуб, и он был так убежден в своем торжестве, что с удовольствием согласился на присутствие на этом торжестве его друзей.

Неожиданно наружная дверь отворилась, и вошел Леба, который едва переводил дыхание от усталости. Он не довольствовался тем, что на улице осматривал телеги с жертвами гильотины, но направился к эшафоту и окончательно убедился, что там не было Оливье.

— Вы можете быть спокойны, — отвечал он на вопросительный взгляд Робеспьера, — на сегодня он вне опасности.

— Я знаю. Но вы не узнали, где он?

— Нет.

— Он, конечно, в консьержери, и я сам пойду туда после заседания Якобинского клуба.

Вскоре ужин окончился. Робеспьер хотел быть в клубе в восемь часов, чтобы предупредить комитет, который мог решиться на все.

— Я убежден, что мои злейшие враги будут там! — сказал он Дюплэ, который утверждал противное.

Вся семья поспешно собралась и направилась по улице Сент-Оноре. Неподкупный шел в нескольких шагах впереди всех.

— Он сегодня какой-то странный, — сказала Корнелия находившемуся подле нее Леба, — он даже не предложил мне свою руку, как всегда.

— Это ничего! Он очень занят своими мыслями, — отвечал Леба с улыбкой.

— Нет, — возразила Корнелия, — что-то неладно, я никогда не видела его таким.

Действительно, она не раз ходила с ним в Якобинский клуб в критические минуты, и он всегда искал поддержки в ее сочувствии. Но теперь он шел в нескольких шагах расстояния от нее и не обращал на нее никакого внимания. Его мысли были всецело заняты Клариссой, и он представлял, с какой радостью она встретит Оливье, которого он отвезет к ней из консьержери, как только одержит победу над врагами в Якобинском клубе. В этой победе он нимало не сомневался и только сожалел, что Кларисса не могла видеть ее. Она тогда бы убедилась воочию, как его любят и уважают истинные пламенные республиканцы, настоящие друзья справедливости и человечества.

Достигнув дверей Якобинского клуба, он вошел, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, следует ли за ним семья Дюплэ. Это здание, некогда принадлежавшее монахам ордена св. Якова, было недавно обращено в революционный клуб. В нем царила могущественная политическая партия, которая имела громадное влияние на государственные дела и на конвент благодаря своей фанатической энергии. Заседания клуба происходили в прежней церкви, теперь обращенной в амфитеатр с возвышенным местом для председателей и трибуной для ораторов. Робеспьер безгранично главенствовал в этом клубе. Его воля была законом для всех, и как только он появился в дверях, то раздались оглушительные рукоплескания среди восторженно настроенной толпы, которую возмутила неудача ее кумира в Тюильри. Глубоко тронутый этим пламенным приемом, Робеспьер отвечал радушными приветствиями и произнес речь, подготовленную для заседания конвента на следующий день. Она возбудила в слушателях неописуемый энтузиазм, тем более что он назвал эту речь своим последним заветом.

— Я умру с тобою, Робеспьер, — воскликнул один из депутатов.

— Твои враги — враги всего народа, — прибавил другой. — Скажи только слово, и мы сотрем их с лица земли.

Робеспьер сиял от удовольствия и озирался по сторонам, надеясь, что кто-нибудь возразит ему и тем даст возможность тут же, не дожидаясь завтрашнего дня, отразить все аргументы врагов.

Действительно, в толпе находились его враги: Бильо-Варрен и Коло д'Эрбуа. Они хотели говорить, но их ошибали. Но когда они настаивали на своем, то раздались крики:

— Смерть изменникам! Смерть!

Мало того, в воздухе сверкнули кинжалы, и дело кончилось бы кровопролитием, если бы они не исчезли в толпе.

Имя Робеспьера было на всех устах, и долго все присутствующие, стоя, оглашали воздух рукоплесканиями и криками одобрения, которые доносились до Тюильри.

Семья Дюплэ была вне себя от счастья и терпеливо дожидалась на улице Робеспьера, но он куда-то скрылся, и его нельзя было отыскать.

Выйдя незаметно из зала, где уже восторженные почитатели собирались поднять его на руки и пронести с торжеством по всему Парижу среди оглушительных криков восторга, и подмяв воротник сюртука, чтобы не обратить на себя внимания, он быстро достиг Тюильри, а затем направился в консьержери. Мысли его теперь были самые радужные. Его необыкновенный успех в Якобинском клубе должен был поразить, как громом, Комитет общественной безопасности, и он уже представлял себе, как на следующий день конвент рабски отдаст ему на съедение враждебных членов комитета. С торжествующей улыбкой он прошел через Новый мост, не бросив взгляда на прелестную картину, открывавшуюся по обеим сторонам в прекрасную июльскую ночь и при мерцании бесчисленных звезд, отражавшихся в реке.

Он шел быстро, и теперь мысли его сосредоточились на Оливье, которого он сейчас освободит и место которого займут завтра те самые лица, которые хотели возвести его на эшафот.

Наконец, он остановился у подножия Серебряной башни, заостренный шпиль которой казался гигантским указательным пальцем, поднятым к небу. В этой башне жил Фукье-Тенвиль, государственный обвинитель революционного трибунала. Робеспьер взглянул на окна, в них не видно было ни малейшего света.

«Так Фукье может спать, бессердечное чудовище! — подумал он. — Но и я вскоре буду спать спокойно все ночи напролет. Еще три дня, и все ужасы гильотины прекратятся! Больше не будет огульной резни! Я обещал это матери моего сына и сдержу слово!»

Подойдя к главной двери консьержери, он постучал три раза, а когда в двери открылось маленькое окошечко с железными перекладинками, то он сказал:

— Это я, гражданин Робеспьер.

Дверь отворилась на тяжелых петлях, и послышался голос:

— Братский привет, гражданин!

Это был Колас, дежурный тюремщик.

— Мне надо видеть гражданина Фукье-Тенвиля.

— Он еще не вернулся домой, гражданин.

Робеспьер нетерпеливо махнул рукой.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — спросил Колас.

— Я желаю знать, находится ли в числе ваших арестантов Жермен, недавно переведенный из тюрьмы Ла-Форс.

— Мы это легко узнаем в тюремной книге, гражданин, если только книга здесь. Не угодно ли вам войти? Я сейчас спрошу у ночного сторожа. Подождите минутку, мне надо взять ключи.

Колас вошел в свою комнату и вышел оттуда с ключами, потом он снял со стены зажженный фонарь и повел Робеспьера по многочисленным коридорам консьержери. Неподкупный никогда еще не бывал в этой тюрьме, в которую он сажал столько жертв. Пройдя через старинный банкетный зал французских королей, длинную галерею со сводами, опиравшимися на массивные колонны, они достигли железной двери, которую тюремщик отпер. Тогда Робеспьер очутился в другой длинной галерее под сводами. С левой стороны двое ворот вели во двор, освещенный луною.

Не успел он сделать несколько шагов, как наткнулся на человека, спавшего, сидя на стуле. У ног его стоял фонарь. Это был ночной сторож.

— Эй, Барасен! — воскликнул тюремщик, громко звеня ключами под самым его ухом.

Он вскочил, как сумасшедший, и узнав, что перед ним Робеспьер, начал извиняться, что невольно заснул, так как в последний месяц постоянно привозили ночью столько арестантов, что нельзя было спать ни минуты. С подобострастными поклонами он просил Робеспьера посидеть на его

стуле, пока Колас пойдет за тюремной книгой, хотя вряд ли она была тут так поздно.

— Это какая часть тюрьмы? — спросил Робеспьер, когда Колас удалился.

— Мы между двумя воротами, гражданин. Разве вы никогда не бывали в консьержери?

— Никогда.

Барасен был очень рад, что мог занять Неподкупного интересным разговором, и пустился в бесконечные подробности насчет знаменитой тюрьмы.

Направо тянулись кельи мужчин-арестантов, а в конце находился двор, в который выходили женские кельи.

— Если вы сделаете два шага вперед, — продолжал он, — то можете увидеть фонтан, в котором арестантки моют белье, так как они сохраняют до последней минуты свое кокетство и хотят взойти на эшафот в чистом белье.

Барасен грубо засмеялся, чувствуя себя очень счастливым, что Робеспьер слушает его, по-видимому, с интересом.

— Где вы стоите, тут обыкновенно происходит перекличка, — продолжал Барасен.

Робеспьер вздрогнул и отшатнулся. Взглянув на длинный ряд дверей, он спросил:

— Эти кельи не заняты?

— Нет. А вот здесь, — прибавил он, указывая на дверь прямо против Робеспьера, — содержалась королева.

И он открыл широко дверь, чтобы Робеспьер мог видеть внутренность кельи.

— Здесь ей было не так хорошо, как в Версале, — заметил Барасен с улыбкой.

Робеспьер поколебался с минуту, потом заглянул в келью и закрыл дверь.

— Что это, — воскликнул он, — на этой двери виднеется черный крест?

— Это, вероятно, сделал какой-нибудь узник после смерти королевы, и с тех пор все арестанты здесь останавливаются и произносят молитву. Вообще они любят писать на стенах карандашом и даже ногтем. Вот и ваше имя, — прибавил он с грубым смехом.

— Мое имя? — спросил Робеспьер, вздрогнув.

Барасен поднес фонарь к стене, и Неподкупный прочел надпись крупными буквами:

«Мы будем отомщены, Робеспьер, чудовище! Твоя очередь настанет!»

Далее при свете того же фонаря он увидел две другие надписи:

«Робеспьер тиран!»

«Робеспьер убийца!»

Он побледнел. Не раз ему приходилось слышать и читать оскорбления, но эти надписи казались ему проклятиями мертвецов, написанными кровью и огнем.

— Надо же им чем-нибудь заниматься, — продолжал Барасен, не переставая смеяться.

Неподкупный отвернулся: ему было не по себе. Он стал спрашивать у сторожа, спал ли он по ночам и не являлись ли ему иногда мертвецы, не слышались ли ему иногда стоны и рыдания.

— Нет, гражданин, я сплю спокойно. Я не женщина! Притом же мертвецы не встают из гробов! И в сущности я ни в чем не виноват: не я убивал их.

Вдали послышались шаги, вернулся тюремщик и объяснил, что арестантская книга была заперта, и нельзя было ее достать. Но мы можем пойти с вами по кельям и разбудить арестантов. Вы, конечно, узнаете человека, которым вы интересуетесь.

Робеспьер нимало не желал, чтобы его видели арестанты, а потому отказался от этого предложения.

— В таком случае, — сказал Колас, — Барасен может пойти по всем кельям и разыскать, нет ли где Жермена. Он принесет вам сюда ответ, а я, извините, должен вернуться к своему посту. Вам не угодно ли здесь посидеть? — и Колас пододвинул стул Робеспьеру.

— Хорошо, но, пожалуйста, не теряйте времени.

Оставшись наедине, Робеспьер предался тревожным, тяжелым думам. В глазах у него все виднелась надпись: «Робеспьер убийца, твоя очередь придет». Если в завтрашней решительной борьбе он потерпит поражение и покончит жизнь под гильотиной, то оставит после себя память кровавого тирана. Если ему не удастся совершить того идеального превращения Франции, о котором он мечтал, то потомство поставит его наряду с Калигулой и Нероном.

Он опустил на стул и закрыл глаза. Мысли у него начали путаться. Он часто по ночам видел ужасные призраки, и не раз ему казалось, что Камиль Демулен приходил за ним, произнося те же слова, которые он только что читал на стене: «Робеспьер, пришла твоя очередь». Конечно, все это были галлюцинации, и не он один был подвержен им. Фулье-Тенвиль не раз видел ночью, что Сена будто катила кровавые волны. Но отчего это происходило? От укоров совести? Но его, например, совесть не мучила. Он был убежден, что стремился к торжеству истины. Реши-

тельно, это происходило от нервного раздражения и болезненной игры фантазии.

В истории были примеры таких иллюзий. Бруту казалось, что он видел тень Цезаря, входившего в его палатку, тогда как это было только отражение лампы на занавесах, колыхаемых ветром. Что это?..

Прямо перед ним белела прозрачная женская фигура. За ней появилась вторая такая же фигура, а за ней третья... четвертая.

Робеспьер встал, не сводя глаз с этих фигур. Он не спал, и глаза его были широко раскрыты. Он слышал, как кровь билась в его жилах, и сознавал, что находился в консьержери, откуда хотел освободить своего сына Оливье, что он только что говорил с тюремщиком и сторожем, и однако его нервы были так расстроены, что ему представлялись призраки.

Конечно, он был убежден, что это не призраки, что это болезненная галлюцинация, но ему было неловко, и сердце его щемило. Какие странные существа люди! Они гордятся своим умом и подчинены таким галлюцинациям.

Среди этих размышлений он увидел на освещенном лунною дворе бесконечное число двигавшихся фигур, которые ходили взад и вперед, разговаривали между собою и не обращали на него никакого внимания. Неожиданно он вскрикнул. В бледных, прозрачных существах он узнал госпожу Роллан, принцессу Елизавету, сестру короля, и Шарлотту Корде, убившую Марата. Страх овладел им...

«Что я, с ума сошел, — подумал он, — что я уже верю, как дети и старухи, в призраки? Это чистое сумасшествие. Но что же это значит? Откуда явились все эти фигуры? Ведь только слабые люди поддаются страху и суеверию!»

Он решительно пошел к решетке в надежде встретить сторожа, который своим появлением положил бы конец всем этим галлюцинациям. Он даже громко вскрикнул:

— Неужели он никогда не придет!

В эту минуту в галерее направо показалась какая-то человеческая фигура. Робеспьер думал, что это Барасен. Но это был не он. За первой фигурой показалась вторая, третья... десятая... двадцатая, и все они стали медленно подвигаться к нему. Он узнал их издали.

— Жирондены... Бриссо... Вержньо!..

Неужели все его жертвы теперь собрались, чтобы подвергнуть его страшной пытке и довести его до сумасшествия?!

Действительно, со всех сторон надвигались на него призраки его жертв и толпились перед закрытой решеткой. Но

никто из них не смотрел на него, никто не бросал на него грозных взглядов, никто не отворял решетки.

Но вот решетка без шума отворилась... Холодный пот выступил у него на лбу. Призраки прямо шли на него, но как будто его не видели. Он отскочил в сторону и быстро направился в крытый коридор. Но... вдруг перед ним показались Дантон и Камиль Демулен. Он задрожал всем телом... Ему некуда было скрыться...

Но тени его главных жертв шли спокойно, разговаривая между собою, как будто не видя его.

Дверь кельи королевы тихо отворилась. Из нее вышла Мария Аатуанетта и подошла к другим призракам, которые все почтительно перед нею преклонились.

Робеспьер чувствовал теперь, что он погиб. Бежать было некуда, но он все-таки попробовал направиться к решетке в мужском отделении, пятясь назад и не спуская глаз с призраков. Достигнув решетки, он толкнул ее спиной. Она не поддалась. Он обернулся. Решетка была заперта. Он стал бешено трясти ее... но все тщетно.

Он снова обернулся, боясь, чтобы призраки не напали на него сзади. Но они по-прежнему не обращали на него внимания. Но это не могло долго продлиться, и они набросятся на него. Он едва переводил дыхание...

— Это нелепо! — воскликнул он громко. — Мертвецы не встанут из могил!

Он уверял себя, что стоит только не верить призракам, и они тотчас исчезнут. Он топнул ногой и бросил на них смелый взгляд.

Теперь все глаза были обращены на него. И эти глаза грозно обвиняли его, сурово осуждали! Он замер на месте... Они продолжали смотреть на него и начали медленно подвигаться...

— Ни шага далее! Умоляю вас, ни шага далее! Я знаю, что вы скажете. Вы назовете меня убийцей.

Ему казалось, что его жертвы утвердительно кивнули головами.

— Правда! Правда! Я убийца! И вы справедливо меня так называете. Я знаю, чего вы хотите потребовать от меня. Я должен освободить всех узников и уничтожить гильотину!

Он снова видел, что его жертвы утвердительно кивнули головами.

— Клянусь, я все исполню! Только уйдите, только оставьте меня!

Призраки не двигались с места и продолжали смотреть на него.

— Пощадите меня! Пощадите! — кричал он, обезумев от страха.

Он схватился за стул, но стул подался.

— Помогите! Помогите! — раздалось под сводами тюрьмы.

— Кто там кричит? — послышался голос Барасена, который, вернувшись, с удивлением увидел лежавшего на каменном полу Робеспьера.

Он подумал, что Неподкупный упал, вероятно, во сне со стула, и, поставив фонарь на пол, стал помогать ему подняться.

Робеспьер проснулся и стал дико озираться по сторонам. Увидав Барасена, он оттолкнул его от себя.

— Я вижу, что вы еще не проснулись, — произнес со смехом сторож.

Робеспьер молча протирает глаза.

— Вы, верно, видели дурной сон? Или, может быть, у вас был кошмар?

— Да, — отвечал Робеспьер, приходя в себя.

И, с трудом поднявшись, он тяжело опустился на стул.

Тогда Барасен объяснил результат посещения келий. Он допросил всех арестантов, но молодого человека по имени Жермен не оказалось.

Робеспьер поблагодарил его, хотя все еще беспокойно смотрел по сторонам.

Неожиданно он вскочил и, схватив за руку Барасена, спросил:

— Мы здесь одни?

— Конечно! — отвечал с удивлением сторож.

— Так пойдемте отсюда скорей! — произнес Робеспьер нетерпеливо, и как только Барасен отворил решетку, он пустился почти бегом к выходу.

— Гражданин Робеспьер, — крикнул он, — не идите так быстро, я не могу за вами поспеть.

Но Максимилиан не обращал на него внимания и еще более ускорил шаги.

ХII

Робеспьер стал дышать свободно. Он был на свежем воздухе, звезды сверкали на чистом небе, и Сена тихо катила волны у его ног, но он не смел остановиться на набережной, боясь, чтобы ему, как Фукье-Тенвилю, вода не показалась кровавой.

Мало-помалу он совершенно успокоился, и мысли его вернулись к Оливье. Если юноша не находился в консьержи, то где же он был?

Войдя во внутренний двор Тюильри, он не решил еще, куда направиться дальше. Но тут его озарила мысль. Он прямо пошел в павильон Свободы. Там помещался Комитет общественной безопасности, которому были отведены те самые комнаты, в которых когда-то жил Людовик XVI. Этот комитет обыкновенно заседал поздно ночью, и Робеспьер был уверен, что он найдет кого-нибудь. Действительно, он встретил в прихожей Бильо-Варрена и Коло д'Эрбуа. Они бросали на него иронические взгляды, и ему стало ясно, что после поражения в Якобинском клубе они подвели под него какую-нибудь мину. Это вывело его из терпения, и он гневно воскликнул:

— Так вы выпустили узника, которого я запер в тюрьме Ла-Форс?

— Да, — отвечал Бильо-Варрен, очень довольный, что они чем-нибудь насолили своему грозному противнику.

— Зачем?

— Чтобы подвергнуть его передопросам.

— Где он?

— Ищите!

— Я вам приказываю тотчас его вернуть в тюрьму Ла-Форс!

— Мы не повинемся вашим приказаниям.

— А, вы хотите вступить в борьбу со мною! Будет вам борьба со мною — и насмерть, завтра же!

Он повернулся и ушел, с шумом захлопнув за собою дверь.

Бильо-Варрен и Коло д'Эрбуа направились в зал Комитета общественной безопасности, чтобы донести о бурной сцене с Робеспьером. Но на пороге Бильо остановился и сказал:

— Погодите, я прежде пойду и допрошу юношу.

С этими словами он направился в комнату верхнего этажа, где Оливье с пяти часов дня сидел под надзором жандарма, которому Куланжон приказал зорко охранять юношу до решения его судьбы комитетом.

Куланжон был одним из самых ловких сыщиков комитета. Переодетый нищим, он проник в Монморанский лес и был свидетелем свидания Робеспьера с Воганом. Когда же агенты Робеспьера обратили его в бегство, то он долго ждал на опушке леса англичанина, но тщетно: англичанин исчез. Вернувшись в Париж, он тотчас доложил обо всем Комите-

ту общественной безопасности. Бильо-Варрен пришел в восторг и, потирая себе руки, сказал:

— Этот англичанин, должно быть, Воган, агент Фокса, который уже два дня находится в Париже. А! У Робеспьера тайное с ним свидание! Он составил заговор: прекрасно, это нам на руку!

И Бильо-Варрен приказал Куланжону осведомиться, находится ли по-прежнему англичанин в американском консульстве, пока напишут приказ о его аресте.

Однако в консульстве сыщик узнал, что Воган только что уехал из Парижа. Он усомнился в правдивости этого известия и, наведя дальнейшие справки, убедился, что англичанин отправился в Женеву тотчас после выхода из Монморансского леса.

Члены Комитета общественной безопасности узнали, что им придется отказаться от обвинения Робеспьера в заговоре, потому что основывать это обвинение на одном показании было невозможно, тем более что Куланжону как агенту комитета никто не поверил бы. В продолжение нескольких дней они надеялись, что англичанин вернется в Париж. Но вскоре им пришлось отказаться и от этой надежды.

Но однажды вечером Куланжон принес комитету добрую весть. Случайно посетив по какому-то делу тюрьму Ла-Бурб, он застал арестантов и арестанток за ужином во дворе акаций. Две из арестанток обратили на себя его внимание: ему показалось, что он их где-то видел, и, подумав минуту, он вспомнил, что они разговаривали с Воганом в Монморансском лесу, прежде чем появился Робеспьер. Его подозрение вполне подтвердилось справкой в тюрьме. Эти обе женщины были привезены из Монморанси и арестованы по приказанию Робеспьера.

— Вот и прекрасно! У нас два свидетеля, — воскликнул с восторгом Бильо-Варрен.

— Три, — прибавил сыщик, — я теперь припоминаю, что с этими женщинами был еще молодой человек.

— Его необходимо разыскать. Отправляйтесь скорей в Монморанси и привезите его сюда.

После двухдневных розысков сыщик нашел наконец домик в лесу, и сначала садовник отвечал, что он не знает, куда девался Оливье после ареста его матери и невесты, но потом заявил, что, может быть, слесарь Леонар имеет о нем какие-нибудь сведения. Разыскав Леонара, Куланжон добился от него признания, что молодой человек отправился в Париж после ареста матери и невесты. Куланжон поблагодарил слесаря за эти сведения, коими не удовольствовался

и ловко разузнал от соседей, что Леонар по временам ездит в Париж и останавливается на улице Рошэ в меблированных комнатах вдовы Вогран.

Вернувшись в Париж, Куланжон разыскал вдову Вогран, и она тотчас рассказала ему, что этот молодой человек был безумец, оскорбивший Робеспьера на празднике в честь Верховного Существа и заключенный потом в тюрьму Ла-Форс.

Комитет общественной безопасности узнал об этом после заседания восьмого термидора и пришел в восторг.

— Мы сейчас потребуем в комитет всех трех арестантов и сами допросим их, — произнес торжествующим тоном Бильо-Варрен.

Действительно, Куланжон получил два соответствующих приказа в тюрьмы Ла-Бурб и Ла-Форс. Прежде всего он отправился за Оливье и перевез его в Тюильри, где запер в маленькой комнате над комитетским залом под надзором жандарма. Но в Ла-Бурб опоздал: Леба уже освободил обеих женщин по приказанию Робеспьера.

Вернувшись в комитет и не найдя там Бильо-Варрена, Куланжон написал ему о всех подробностях дела.

— У нас остается из трех свидетелей только один, — воскликнул Бильо, явившись с Коло д'Эрбуа после заседания в Якобинском клубе и прочитав записку. — Впрочем, это самый главный. В наших руках человек, оскорбивший изменника. Необходимо тотчас подвергнуть его допросу. Это будет забавно.

По дороге в комнату, где содержался Оливье, он встретил Робеспьера, и между ними произошла бурная сцена, а затем он произвел допрос арестованного юноши.

Оливье не знал ничего о заговоре. Может быть, Робеспьер виделся с англичанином в лесу, но он, Оливье, ушел тотчас после встречи с англичанином.

— Вы говорили с ним?

— С кем?

— С Воганом?

— Да, я обменялся с ним несколькими словами.

— Так вы его знаете?

— Моя мать его знает. Он старый друг ее и отца.

— Так она знала, зачем он явился в Монморанский лес?

— Нет, она случайно встретила с ним. Он сбился с дороги и...

— Вы ничего не знаете о том, что произошло после вашего ухода?

— Ничего, кроме ареста моей матери и невесты по гнусному приказу Робеспьера.

Бильо-Варрен был очень разочарован допросом Оливье и даже сомневался, говорил ли тот правду.

— Впрочем, юноша, может быть, и одумается до утра, — говорил он себе, спускаясь по лестнице, — я завтра вторично его допрошу, и, может быть, он тогда откроет всю правду. Однако он кажется чистосердечным.

Размышляя таким образом, он отворил дверь в зал заседаний, но остановился на пороге в изумлении. Ему представилась такая бурная сцена, что он немедленно забыл Оливье.

Этот зал принадлежал к частным апартаментам короля и представлял смесь богатства и изящества, с одной стороны, и грубой вульгарности — с другой. Красовавшиеся некогда над пятью дверями, из которых две выходили в длинный коридор, королевские короны были сорваны. Стены и двери были покрыты печатными декретами конвента и различными произведениями революционной литературы на трехцветной бумаге. Все это представляло поразительный контраст в белом золоченом зале в стиле Людовика XV с изящными лепными карнизами и расписным потолком, на котором резвились нимфы и купидоны среди гирлянд цветов. Еще более резкий контраст обнаруживался в мебели. Рядом с золочеными креслами, дорогая обивка которых висела лохмотьями, стояли простые деревянные стулья с расшатавшимися ножками. В одном углу зала виднелся большой стол с различными кушаньями и бутылками вина.

В ту минуту, когда Бильо-Варрен остановился на пороге, Коло д'Эрбуа, окруженный Барером, Карно, Приером и Эли Лакостом, гневно объяснялся с Сен-Жюстом. Друг Робеспьера сидел за столом и писал речь, которую он должен был произнести на следующее утро в конвенте. Он спокойно, презрительно отвечал на сыпавшиеся на него оскорбления и выводил из себя своих противников ироническими вопросами о заседании Якобинского клуба.

— Вы просто изменник, — кричал Коло, — вы, вероятно, пишите обвинительный акт против нас.

— Вы изменник и клятвопреступник! — прибавил Эли Лакост. — Вы с Робеспьером и Кутонем — триумvirат лжи и предательства.

Сен-Жюст, не теряя своего самообладания, положил перо и хладнокровно предложил прочесть свою речь.

— Мы не хотим вас слушать, — воскликнул Барер, — мы не боимся вас и ваших сообщников: вы мальчишка, Кутон, несчастный калека, а Робеспьер...

В эту минуту Бареру подали письмо, он прочитал его, и лицо его приняло беспокойное выражение. Он знаком предложил своим товарищам выйти в коридор под предлогом не мешать Сен-Жюсту.

Освободившись от присутствия врага, Барер объяснил своим друзьям, что это письмо было от Лекуэндра, извещавшего, что войска Коммуны нападут утром на комитет, и предлагавшего свой батальон для защиты комитета.

— Что я вам говорил! — воскликнул Эли Лакост. — Надо тотчас арестовать вождей Коммуны, а также Робеспьера и его двух сообщников.

— А начать с Сен-Жюста с его речью! — прибавил Коло.

— Здесь только что был Робеспьер, — сказал Бильо-Варрен, присоединившийся к своим товарищам. — Он непременно хотел узнать, куда делся арестант из тюрьмы Ла-Форс. Мы с Коло отвечали, что не обязаны давать отчета в действиях комитета, а он гневно закричал: «Вы хотите борьбы? Будет вам борьба!» Вы видите, нас предупредил сам Неподкупный.

— Но мы его уничтожим благодаря его заговору с англичанином. У нас довольно свидетелей.

— По несчастью, у нас нет свидетелей, — отвечал Бильо.

— Как нет свидетелей! — воскликнул Барер в изумлении. — Что вы хотите этим сказать? Разве Куланжон...

— Он опоздал в тюрьму Ла-Бурб. Леба уже взял по приказу Робеспьера обеих женщин, и куда они делись, неизвестно.

— Мерзавец. Он подозревает, что мы знаем о его заговоре, и спрятал их, как важных свидетелей, но ведь у нас остался юноша.

— Он здесь наверху, но он ничего не знает.

— Он лжет, он изменник!

— Нет, он, кажется, совершенно чистосердечен и ненавидит Робеспьера. Ну, да я его еще завтра утром допрошу во второй раз.

— А пока мы должны прибегнуть к хитрости! — сказал Барер.

Все согласились с Барером, что их спасение заключалось в хитрости. К тому же им не грозила мгновенная опасность. Робеспьер не любит насильственных мер и не нарушит закон, даже доведенный до крайности. Вызов, брошенный им в лицо Бильо-Варрену, был только следствием гневной вслышки, и Сен-Жюст уверял их в чистоте наме-

рений Неподкупного. Поэтому для них было всего благоразумнее надеть маску доверия и тем обезоружить триумвират.

В сущности положение комитета было критическое: им необходимо было избрать один из двух одинаково опасных шагов — или открыто вступить в борьбу с Робеспьером и, поборов его, подчинить себе конвент, или оставить власть в руках Робеспьера, который, конечно, в свою очередь уничтожил бы их.

Вернувшись в зал, где Сен-Жюст все еще писал свою речь, члены комитета стали громко рассуждать между собою, что в сущности они погорячились и не было причины подозревать в измене Робеспьера и его друзей, которые уже не раз доказали на деле свой патриотизм. Гораздо важнее было принять меры к защите комитета, так как ему грозила опасность со всех сторон. Все это говорилось громко, чтобы доказать Сен-Жюсту полное доверие к нему.

— Если бы якобинцы и Коммуна предпринимали что-нибудь против комитета, то я знал бы об этом, — сказал Сен-Жюст, вмешиваясь в разговор и как бы доверяя своим противникам. — Значит, вам нечего тревожиться. Конечно, на улице было значительное волнение благодаря распространенной против Робеспьера клевете. Неподкупный вскоре успокоит народ. Что же касается меня, то я готов забыть оскорбления, нанесенные одним из моих товарищей в пылу разговора.

Коло д'Эрбуа по знаку Барера выразил сожаление, что он увлекся и наговорил лишнее.

— На это не надо обращать внимания. И так смеются над вечными ссорами в комитете.

Сен-Жюст хладнокровно кивнул головой и, окончив черновик своей речи, спрятал его в карман.

— Теперь пять часов, — сказал он, вставая и смотря на часы, — к десяти мою речь перепишут, и я вам ее прочту, чтобы уничтожить всякие недоразумения.

Он надел шляпу, взял палку и удалился, а все остальные члены комитета также стали собираться домой. Но не успел Сен-Жюст исчезнуть за наружной дверью, как они вернулись в комитетский зал и тотчас послали за тремя личностями, которых подозревали в сообщничестве Робеспьеру в организации народного восстания. Это были Ганрио, начальник конвентской армии, Пэан, агент Коммуны, Флерио-Леско, мэр Парижа.

Последние два вскоре явились, но Ганрио нигде нельзя было отыскать. Их держали в комитете в течение четырех

часов, угощая, они курили, ели, пили и болтали. На предлагаемые им бесконечные вопросы они отвечали в таком духе, что комитет мало-помалу успокоился.

Между тем парижское население, не спавшее всю ночь, начало с пяти часов заполнять галереи конвента, хотя заседание должно было начаться только в полдень. Каждую минуту начали приходить люди из зала конвента с заявлениями, что волнение публики все возрастает.

В половине одиннадцатого комитет открыл свое заседание, а Пэан и Флерио-Леско удалились. Сен-Жюст не появлялся, но вскоре раздался стук костылей по коридору, и в дверях показался Кутон.

— Где Сен-Жюст? — спросил он.

— Сейчас придет.

Ровно час удерживал Кутон комитет уверениями, что немедленно придет Сен-Жюст, и старался занять его разговором о патриотизме Робеспьера. Наконец, Карно не выдержал и смело заявил, что все это проделки Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера с целью обмануть комитет.

— Вы напрасно так дурно говорите о патриотизме Робеспьера, — протестовал Кутон, — вы низко клевете на друга своего детства.

— Если я поступаю низко, то вы изменник! — воскликнул Карно вне себя от злобы.

Предчувствуя бурю, Кутон с трудом поднялся и удалился на своих костылях. Роковые известия достигли комитета. Его действительно обманули. Сен-Жюст сейчас взойдет на трибуну, чтобы прочесть обвинительный акт против комитета. Робеспьер составил список восемнадцати лиц, казни которых он немедленно требовал.

Среди общего смятения кто-то вошел в зал и спросил Бильо-Варрена. Ему отвечали, что Бильо вышел, но сейчас вернется.

— А, вот и Фуше! — раздалось со всех сторон.

В дверях показался депутат Фуше, и на посыпавшиеся на него вопросы он отвечал:

— Да, ваши опасения справедливы. Робеспьер снял маску и предъявил обвинения против некоторых своих товарищей. Конечно, он и меня не забыл.

— Имена, имена! — снова раздалось со всех сторон.

Фуше не знал, кого именно будет обвинять Робеспьер, но каждый боялся за себя, и все смотрели с беспокойством на часы. Оставалось только двенадцать минут до открытия заседания конвента. Через минуту явился еще депутат и заявил, что Робеспьер вошел в зал со своим братом Огю-

стенном, Кутоном, Леба и всеми своими сторонниками при оглушительных рукоплесканиях публики, переполнившей галерею.

— Это его обычные клакеры, — заметил кто-то.

— С пяти часов робеспьеристы обоего пола едят, пьют и безобразничают на галереях.

— Они уже с утра пьяны!

— Ну, пойдем отдавать свои головы пьяным! — воскликнул Фуше.

В эту минуту появился Бильо-Варрен.

— Наконец-то, он пришел! — воскликнул кто-то, и Бильо забросали вопросами. — Это, правда, начинается борьба?

Бильо был очень встревожен, обтирал платком лицо и спросил стакан вина.

— Да, — отвечал он, — борьба началась, и смертельная. Я ведь вас предупреждал. Робеспьер прямо мне об этом сказал вчера, а мы не можем доказать существования заговора.

— Какого заговора? — спросил Фуше.

— Ах да, вам это неизвестно...

Бильо знаком распорядился, чтобы закрыли двери, так как в коридоре сновали шпионы Робеспьера, и начал рассказывать историю об англичанине. Фуше и другие члены комитета, Вадье, Амар и Вулан, которые ничего не знали об этом, слушали с любопытством, но остальные из их товарищей, которым уже набил оскомину этот рассказ, нетерпеливо ходили взад и вперед по комнате.

В виде улики против Робеспьера Бильо-Варрен предъявил привезенный Куланжоном из тюрьмы Ла-Бурб приказ Неподкупного об освобождении двух женщин.

— Конечно, этого достаточно, чтобы погубить его, — сказал Фуше. — Ну, а что же говорит юноша?

— Я только что вторично его допросил: он повторил свое первое показание, и, по-видимому, это показание так же чистосердечно, как его ненависть к Робеспьеру. Он искренно сожалеет, что не убил его во время праздника на площади Революции.

— Если бы он это сделал, то мы все были бы спасены! — раздалось со всех сторон.

— Да, но он этого не сделал, — заметил Фуше, — а существование заговора мы не можем ничем доказать.

— Неправда, измена Робеспьера очевидна!

Завязался оживленный спор. Измена Неподкупного была очевидна, но конвент ей не поверит. Он потребует до-

казательств. А ему нельзя было представить ни англичанина, ни женщин. Единственным свидетелем был Куланжон, получавший жалованье от комитета. Обвинять Робеспьера при таких обстоятельствах было одним безумием. Он произнесет пламенную речь и втопчет в грязь своих врагов.

— Это правда! — произнес один из членов комитета. — Ему стоит только открыть рот, чтобы все задрожало от страха и согласилось с ним.

— Так мы зажем ему рот, — произнес Фуше, — это единственное средство покончить с ним.

Взоры всех обратились на него вопросительно. Фуше объяснил свою мысль. Они должны были все поднять такой крик, такой шум и гам, чтобы Робеспьер не мог произнести ни слова. Публика на галереях начнет громко протестовать и увеличит общее смятение. Робеспьер покричит, покричит и умолкнет от истощения, побежденный сумятицей.

— Верно, верно! — воскликнули все присутствовавшие в один голос.

Бильо одобрил эту мысль и распорядился уведомить всех их друзей о новой тактике, заключавшейся в том, что не надо позволять Робеспьеру произнести ни одного слова.

— Скорее, скорее! Сен-Жюст входит на трибуну, — воскликнул кто-то, отворяя дверь.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Бильо. — Начнем с Сен-Жюста.

И все бросились к дверям.

Между тем Фуше предупредил знаком Вадье, Омара и Вулана, чтобы они остались, а когда все удалились, то Фуше сказал вполголоса:

— Хотя я и предложил этот план, но его недостаточно, чтобы одолеть Робеспьера. Даже арестованный, приговоренный к смерти на эшафоте, он все-таки будет нам опасен. Народ так обожает его, что во всякое время освободит его, а тогда он нас всех погубит. Примем лучше более действенные меры. Где сумасшедший юноша, о котором говорил Бильо?

— Вот там, — отвечал Омар, указывая на левую дверь. — Позовите его, я поговорю с ним от имени комитета.

Хотя товарищи не поняли его намерения, но Вулан отворил дверь и позвал арестованного.

Оливье вошел в комнату в сопровождении жандарма, который, увидев Фуше и других членов комитета, почтительно остановился на пороге. Юноша взглянул на них равнодушно, думая, что его будут снова спрашивать об англичанине.

— Молодой человек, — сказал Фуше, надев шляпу и как бы собираясь уйти, — вы первый заклеили тирана, с которым мы теперь вступили в борьбу. Этого достаточно, чтобы комитет оказал вам снисхождение: вы можете идти. Гражданин свободен, — прибавил Фуше, обращаясь к жандарму.

Последний удалился, и Оливье хотел сделать то же, но Вадье остановил его.

— Только берегитесь, молодой человек, чтобы снова не попасться в когти нашему врагу, если он восторжествует, — сказал Вадье, поняв план Фуше.

Оливье остановился и произнес:

— Граждане, я боюсь не за себя: моя мать и невеста находятся в тюрьме, и Робеспьер отомстит им за меня.

— По всей вероятности, — заметил Фуше.

— Так комитету следует их освободить.

— Так комитет и хотел сделать, — отвечал Фуше, пожимая плечами, — но это невозможно.

— Почему?

— Потому что Леба увез их из тюрьмы Ла-Бурб по приказу Робеспьера, — отвечал Фуше. — Бумага подписана Робеспьером.

— Где же они? — воскликнул юноша вне себя от ужаса.

— В консьержери. А через двадцать четыре часа им объявят приговор.

— Изверг, изверг! — произнес Оливье и прибавил: — Но комитет всемогущ. Освободите их, умоляю вас.

— Какой вы простак! — отвечал Фуше. — Вы думаете, что мы всемогущи, а нам надо самим спасти свои головы. По всей вероятности мы завтра встретимся с вашей матерью и невестой на эшафоте.

— Боже мой, Боже мой! — воскликнул Оливье вне себя от отчаяния. — Неужели никто не убьет этого дикого зверя?

— Но кто же решится быть убийцей? — заметил Фуше.

— Разве убийца тот, кто убивает бешеную собаку? — воскликнул Оливье, выходя из себя. — А если народного мстителя растерзают на куски, так что же? Он отомстит за себя и спасет тысячи жертв.

— Конечно! — отвечал Фуше. — Это единственное средство спасти вашу мать.

— Но не надейтесь, молодой человек, такой герой не найдется, — заметил Вадье.

— Патриоты вроде Брута давно исчезли со света, — прибавил Омар.

— Не надо многих, а один найдется! — дико воскликнул Оливье и прибавил: — А где выход отсюда?

Вадье указал ему выход.

— Благодарю вас, граждане! До свидания!

Члены комитета общественной безопасности молча взглянули друг на друга.

— Убьет ли он Робеспьера? — произнес Вадье.

— Может быть. — отвечал Омар.

— Однако идемте кричать! — сказал Фуше.

И они все бросились бегом к залу конвента.

ХIII

Заняв свое место в зале заседаний, Фуше с любопытством оглянулся. Коло д'Эрбуа занимал председательское место. На трибуне стоял Сен-Жюст, а под нею прямо против бюста Брута виднелся Робеспьер, который как будто охранял трибуну, как верный часовой.

— Он одет, как в день праздника Верховного Существа, — шепнул иронически Фуше своему соседу.

Действительно, на Робеспьере был синий фрак, белый шелковый вышитый жилет, короткие брюки, белые чулки и башмаки. Он не забыл также парик и пудру. Странное зрелище представляла эта фигура, изящно одетая по старой моде среди полутора тысяч депутатов и слушателей, заполнявших зал. Духота была так велика, что многие из присутствовавших расстегивали сюртуки, жилеты и даже рубашки, обнажая грудь, а на галереях грубые представители партии *sansculotte*, сняв свои красные колпаки, повесили их на палки, которые они держали в руках. Большинство слушателей состояло из робеспьеристов обоего пола, которые забрались в зал с пяти часов утра и проводили время до открытия заседания довольно весело. Они пили, ели и пели песни.

Появление Робеспьера ровно в 12 часов было встречено громкими рукоплесканиями публики, на что он отвечал любезными поклонами и улыбками.

— Я вам говорил, что мы одержим успех! — сказал он, обращаясь к сопровождавшему его Леба.

Он был так уверен в своей победе, что, выходя из дома, совершенно успокоил семью Дюплэ относительно результата заседаний.

— Поверьте мне, — прибавил он, — большая часть членов конвента — люди беспристрастные.

Но в самом начале заседания, когда Сен-Жюст взошел на кафедру, обнаружилось, что его враги не дремали и подготовили могущественную демонстрацию, почему Робеспьер и выбрал место около трибуны, решившись предупредить всякую попытку помешать Сен-Жюсту произнести свою речь. Он так же, как накануне Робеспьер, начал огульно обвинять Комитет общественной безопасности, не называя имен.

— Довольно общих слов, — крикнул Тальен, один из заговорщиков против Робеспьера, — называйте по именам!

Сен-Жюст пожал плечами и продолжал говорить. Но со всех сторон раздавались крики и поднимался такой шум и гам, что, несмотря на пламенные протесты Робеспьера, оратор не мог кончить своей речи. План Фуше вполне удался.

Тогда Бильо-Варрен просит слова и ловко пробирается на трибуну при рукоплесканиях своих друзей.

Робеспьер кричит, машет руками, но его голос заглушается криками:

— Дайте говорить Бильо-Варрену! Дайте говорить Бильо-Варрену!

Коло д'Эрбуа звонит изо всей силы в председательский колокольчик и тем увеличивает общую сумятицу.

— Не слушайте Бильо-Варрена! — продолжает восклицать Робеспьер. — Его слова — ложь!

— К порядку! К порядку! — раздается со всех сторон. — Робеспьер не на трибуне! На трибуне Бильо-Варрен! Пусть он говорит! Пусть он говорит!

Робеспьер презрительно пожимает плечами и возвращается на место.

Мало-помалу водворяется тишина, и Бильо-Варрен начинает говорить:

— Я вчера был в Якобинском клубе. Весь зал был полон людей, приведенных для того, чтобы оскорблять депутатов и клеветать на Комитет общественной безопасности, который день и ночь заботится о том, чтобы у народа был хлеб, а у армии — оружие для того, чтобы одержать победу.

— Хорошо, хорошо! — слышится чей-то голос, и раздаются громкие рукоплескания.

— Я вижу, — продолжает оратор, указывая на ту часть зала, которая носила название Горы, — вот там сидит один из негодяев, который меня оскорбил вчера. Да, да, это он!

Друзья Бильо снова поднимают колоссальный шум, среди которого слышатся крики:

— Вон! Вон!

Несчастный депутат, на которого заговорщики неистово бросаются, сначала старается себя защитить, уверяя в своей невинности, но потом, видя грозящую ему опасность, быстро исчезает.

Пользуясь своим успехом, Билью переходит прямо к обвинению Робеспьера.

— Этот человек, — кричит он во все горло, — забрал в свои руки парижскую армию и осмелился поставить во главе нее недостойного Ганрио. Он не спросил для этого ни вашего, ни нашего согласия, а действовал самовольно. Он уверяет, что перестал ходить в комитет, потому что комитет действует деспотически. Он лжет.

Робеспьер вскакивает и хочет ответить со своего места, но ему не дают произнести ни одного слова.

— Да, вы лжете, — продолжает Билью, — вы потому перестали к нам ходить, что мы не согласны быть вашими сообщниками и помочь вам уничтожить свободу! Ваша цель — сеять между нами раздоры, истребить нас поодиночке и сосредоточить всю власть в своих руках. Вы окружаете себя только пьяницами и развратниками, вроде того секретаря, который украл 150 000 ливров и которого вы приютили под своим крылом! Вы — «неподкупный», вы, мозолящий всем глаза своей добродетелью и честностью!

Раздается смех, и Робеспьер презрительно пожимает плечами, считая унижительным отвечать на такое бессмысленное оскорбление.

Фуше громче всех смеется и шепчет соседу:

— Умная, ловкая тактика! Молодец Билью!

Оратор теперь взывает к патриотизму конвента и умоляет его принять меры для своей безопасности.

— Если вы не укротите этого безумца, — восклицает он в конце своей речи, — то вы все погибнете, потому что он отдаст в жертву гильотине всех, кто мешает ему достигнуть своих честолюбивых целей. Дело идет о спасении конвента, о спасении Республики, о спасении Франции. Я требую, чтобы конвент объявил свое заседание непрерывным, пока он не положит конец честолюбивым планам нового Катилины, который хочет сделаться тираном, предав нас всех смерти!

Раздаются громкие рукоплескания, и друзья Билью восторженно машут платками.

Робеспьер поднимается со своего места и в сильном волнении кричит:

— Все это ложь, и я это докажу!

Его слова заглушаются неистовыми криками:

— К порядку! К порядку!

— Я отвечу этому изменнику, — продолжает кричать Робеспьер и хочет пробраться к трибуне, но заговорщики загораживают ему путь и усиливают общую сумятицу.

— Тише! Тише! — слышится голос с председательского места.

Тюрю заменил Коло д'Эрбуа и громогласно произносит:

— Никто не может говорить, пока я не дам ему права голоса.

— Я требую, чтобы меня выслушали, — восклицает Робеспьер, напрягая свой голос.

— Нет, я даю слово Вадье! — произносит председатель, звоня в колокольчик.

И на трибуне показывается Вадье.

— Да, да, пусть говорит Вадье! — произносят несколько голосов.

— Это низко! Это подло! — протестует Робеспьер.

— К порядку! К порядку!

— Граждане... — начинает Вадье.

Но Робеспьер не дает ему говорить, требуя, чтобы его выслушали раньше.

— Заставьте, председатель, его замолчать! Мы хотим слушать Вадье.

Тюрю звонит в колокольчик и приказывает Робеспьеру не перебивать Вадье.

— Слово Вадье! — произносит он.

Робеспьер снова покоряется судьбе и молча занимает свое место.

Мало-помалу водворяется тишина, и Вадье начинает говорить слащавым голосом.

— Граждане, только 22 прерияля я понял все двоедушные этого человека, который скрывается под столькими масками и который, не имея возможности спасти друга от грозящей ему опасности, посылает его на эшафот...

Раздаются смех и рукоплескания.

— Если вы станете его слушать, — продолжает Вадье, — то он станет вам доказывать, что он единственный защитник свободы и его все преследуют. В сущности же он преследует всех...

— Слушайте! Слушайте! Верно! Верно!

— Он жалуется, что ему не дают говорить, а в сущности он только один и говорит. Его вечный аргумент: я лучший друг Республики, а такой-то смотрит на меня искоса, значит, он изменник Республики, так как я и Республика — одно!

Снова слышатся смех и одобрительные восклицания.

Робеспьер бросает вокруг себя презрительные взгляды. Но оратор ловко взял шуточный тон и, сделав смешной грозную фигуру Робеспьера, унизил его настолько в глазах колебавшихся депутатов, что они готовы были примкнуть к заговорщикам.

Однако Вадье, продолжая свою речь и увлекаясь успехом, пустился в мелочные подробности и стал рассказывать анекдоты о том, как агенты Робеспьера следили за членами Комитета общественной безопасности по ресторанам и кабачкам.

— И вы можете слушать такой вздор! — воскликнул Робеспьер, заметив, что конвент начинает утомляться болтовней Вадье, и желая возбудить в нем чувство достоинства.

Но Тальен понял опасность и бросился к трибуне с криком:

— Я прошу слова! Мы удаляемся от вопроса!

— Не бойтесь, я вернусь к вопросу! — отвечает Робеспьер, подбегая к трибуне с другой стороны. Но несколько депутатов, стоящих на ступенях, отталкивают его изо всех сил.

— Мы хотим слушать Тальена, Тальена!

— После меня! — кричит Робеспьер и с невероятными усилиями поднимается на трибуну. — Несправедливые, гнусные судьи, неужели вы хотите слушать только моих врагов?..

— К порядку! К порядку! Тальен говорит! — слышится со всех сторон.

— Граждане! — начинает Тальен зычным голосом.

— Молчи, негодяй! — начинает Робеспьер в отчаянии.

— Арестуйте сумасшедшего! — произносит кто-то.

— Я хочу говорить! Я буду говорить! — произносит Робеспьер.

Несколько депутатов хватают его за руки. Тюрьо истоиво звонит, и снова порядок с трудом восстанавливается.

— Маски сорваны! — начинает Тальен громовым голосом, пока Робеспьер, остановленный на ступенях трибуны многочисленными депутатами, с трудом переводит дыхание. — Вчерашняя речь, повторенная потом в Якобинском клубе, доказала нам, что за человек этот пресловутый патриот, который во время взятия Тюильри и ареста короля скрывался в своем логовище. Этот благородный гражданин, уверяющий в Комитете общественной безопасности, что он защитник угнетенных, составляет в тиши своего кабинета

списки жертв, кровь которых запятнала храм новорожденной свободы!

— Слушайте! Слушайте!

— Но его мрачные планы теперь обнаружены, — продолжает Тальен, — мы свергнем тирана, прежде чем он zalьет кровью всю Францию. Продолжительная удача побудила его забыть осторожность. Он выдал себя в минуту торжества, когда ему оставалось только назвать себя королем! Я также был вчера в Якобинском клубе, и мне стало страшно за Республику, когда я увидел, какая громадная армия сомкнула ряды вокруг знамени этого нового Кромвеля. Я вызвал тень Брута, и если конвент не прибегнет к правосудию, чтобы низвергнуть тирана, я поражу его в самое сердце вот этим кинжалом.

И Тальен машет в воздухе кинжалом. Он хочет броситься на Робеспьера, но десятки рук удерживают его, и со всех сторон раздается:

— Bravo! Bravo! Тальен!

Между Робеспьером, Тальеном и окружающими их депутатами происходит ужасная свалка. В воздухе стоят проклятия, грубая брань, площадные ругательства. Председатель тщетно старается водворить порядок своим звонком.

Наконец шум немного стихает, и Робеспьер, пользуясь тем, громко кричит:

— Негодяи! Подлецы! Вы хотите осудить меня, не выслушав моего оправдания!

— Мы применяем ваш же прериальский закон! — отвечает ему кто-то ироническим голосом.

Видя всю бесполезность дальнейших усилий, чтобы взойти на трибуну, Робеспьер направляется на середину зала и громко кричит, обращаясь к депутатам Горы:

— Выслушайте же меня, граждане! Умоляю вас, выслушайте меня!

Ему отвечают дружным криком:

— Нет! Нет! Баллотировать его арест!

Робеспьер отшатывается с ужасом. Его взгляд останавливается на депутатах центра.

— Я обращаюсь к вам, а не к этим изменникам! — восклицает он.

Но центр безмолвствует.

— Баллотировать! Баллотировать! Арест! Арест!

Ни один голос не раздается в его защиту. Никто не решается его защищать. Даже толпа в галереях молчит.

— Подлецы! Подлецы! — вырывается из уст Робеспьера.

Но его голос заглушен криками:

— Ты подлец! Смерть тирану! Баллотировать его арест! Баллотировать его арест!

Робеспьер, бледный, истощенный, делает еще последнюю попытку.

— Председатель убийц, — обращается он к Тюрю, — я в последний раз требую слова!

— Нет! Нет!

— Так принимайте постановление о моем убийстве! — начал он, но голос ему изменил, и он не закончил своей фразы.

— Он подавился кровью Дантона! — произнес кто-то.

— Так вы мстите за Дантона! — произнес Робеспьер, собравшись с силами. — Отчего же вы его не защитили, собаки?

— Ты зажал рот защитникам Дантона, — отвечали ему, — теперь настала твоя очередь.

— Вы затравили его, псы! — злобно произносит Робеспьер.

— Неужели так тяжело свергнуть тирана? — раздается чей-то голос.

Это восклицание возбуждает новую сумятицу. Тальен взбирается на трибуну и требует, чтобы подвергнут был голосованию вопрос об аресте Робеспьера.

— Голосовать! Голосовать! — раздается со всех сторон.

Но неожиданно общее внимание обращается на депутата, который выходит на середину зала и говорит твердым, звучным голосом:

— Я требую чести разделить судьбу брата, которому всегда помогал в осуществлении его благородных целей!

Это был Огюстен Робеспьер, который вернулся в Париж накануне и благородно жертвовал своей жизнью.

— Ставьте вопрос об аресте двух братьев Робеспьеров!

— И меня! — гордо закричал Леба.

— И Сен-Жюста!

— И Кутона!

— Голосовать! Голосовать!

— Я поставлю вопрос на голосование, когда водворится порядок! — произносит председатель.

— Все по местам!

Депутаты занимают свои места, и среди рокового молчания раздается голос председателя:

— Граждане, я ставлю вопрос об аресте Максимилиана Робеспьера, Огюстена Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и Леба. Кто согласен с этим предложением, пусть встанут.

Около сотни депутатов встают, они все принадлежат к Горе. Видя, что центр остается неподвижным, Робеспьер подумал, что враги поддержат его, и восклицает:

— По крайней мере вы, справедливые члены центра, выскажетесь за правду!

Но весь центр поднялся, как один человек. Теперь весь конвент стоял. Вопрос об аресте решен единогласно.

Робеспьер зашатался и почти упал подле трибуны.

Председатель официально объявляет о результатах голосования среди восторженных рукоплесканий.

Приставы подходят к Робеспьеру, но он отталкивает их, бледный от злобы.

— Робеспьер не хочет повиноваться конвенту, — произносит председатель, — приставы, позовите жандармов.

— Жандармов! Жандармов! — кричат во всех углах зала.

Публика на галерее поднимается со своих мест и неистово вопит.

— Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!

Робеспьер вскакивает со скамейки и в отчаянии восклицает:

— Нет более свободы! Торжество этих негодяев — похоронный звон свободы!

Между тем появляются жандармы. Они окружают обвиняемых и выводят их.

Робеспьер удаляется, гордо подняв голову и скрестив руки на груди. Он даже не бросает взгляда на толпу, которая еще недавно его восторженно приветствовала, а теперь неистово его освистывает.

Слушатели спускаются с галереи в зал, и там происходит неопишуемая сумятица. Наконец, над смутным говором поднимается крик:

— Да здравствует конвент!

Но он тотчас заглушен другим, более громким, более могучим:

— Да здравствует Республика!

Между тем арестованные исчезли.

XIV

Урбен видел с галереи в зале конвента падение Робеспьера и немедленно побежал на улицу Мартруа, чтобы предупредить Клариссу и Терезу насчет небезопасности их убежища в ратуше.

Услышав эту роковую весть, Кларисса воскликнула:

— Так Оливье погиб! Вся моя надежда была на Робеспьера. Только он один мог спасти Оливье из когтей Комитета общественной безопасности. Теперь же, что станет с ним?

Урбен тщетно старался ее успокоить, как в комнату вошла Тереза. Она все слышала из спальни. Как, их спасение, спасение Оливье зависело от Робеспьера?

— Неужели человек, бывший здесь, наш покровитель?... — начала она, но Кларисса ее перебила:

— Да, это он, бывший секретарь твоего дедушки.

Тереза хотела что-то сказать, но Кларисса зажала ей рот рукой.

— Тише, тише, дитя мое. Забудь о его прошлом и помни только, чем мы ему обязаны. Он теперь побежден, и, увы, вместе с ним исчезла наша последняя надежда.

— Не отчаивайтесь, мама, — возразила Тереза, забывая о своем горе и стараясь только успокоить Клариссу. — Господь нам поможет. Мы так много Ему молились, что Он нас не оставит.

Урбен также уговаривал ее не отчаиваться. Поговаривали о восстании Коммуны и о нападении на конвент вооруженных сил под предводительством Кофиналя, вполне преданного Робеспьеру.

— С ним, — прибавил он, — никогда не знаешь, что может случиться. Он так способен и так популярен, что может вынырнуть. Если же он спасется, то снова будет всемогущим и все повернет по-своему.

— Да будет воля Божья! — сказала, наконец, Кларисса, покоряясь своей судьбе. — Пойдите и разузнайте, что делается. Мы будем вас ждать здесь.

Урбен удалился, а обе женщины, опустившись на колени, стали молиться.

Между тем разразилась гроза, которая висела над Парижем целый день. Ночь уже наступила, и молния блестела в темноте, а вслед за нею раздавались удары грома. Неожиданно послышался звон колокола. Он раздавался все громче и громче и перешел в набат.

Кларисса поднялась с пола и подошла к окну вместе с Терезой. Вдали виднелись войска, блестели ружья и пики.

— Долой конвент! Да здравствует Неподкупный! Выходите на улицу! — раздавалось со всех сторон.

К этим крикам примешивались барабанный бой, бряцание оружия, лошадиный топот. Очевидно, происходило народное восстание.

Вдруг кто-то постучался в дверь.

— Войдите! — сказала Кларисса.

— Я вам говорил, — воскликнул Урбен, вбегая в комнату и едва переводя дыхание, — Робеспьер свободен.

— Свободен! — воскликнули обе женщины с искренней радостью.

— Да, народ его освободил по дороге в консьержери и отнес в ратушу, где он теперь принимает меры против конвента вместе со своими друзьями Кутоном, Сен-Жюстом и Леба. Обе партии собирают все свои силы, и будет борьба насмерть. Кофиналь отступил к ратуше.

По-прежнему слышался набат, и все чаще и чаще раздавались крики:

— К оружию! К оружию! Да здравствует Неподкупный!

— Слышите, — произнес Урбен, — весь город поднимется и пойдет на Тюильри!

— Что же будет с нами и с моим сыном! — воскликнула Кларисса.

— Насчет вашего сына я ничего не знаю, но гражданин Робеспьер подумал о вас обоих и прислал меня сказать вам, что здесь вам оставаться небезопасно. Защитники ратуши могут войти сюда, чтобы стрелять из окон по наступающим войскам. Мне приказано отвести вас в ратушу, где гражданин Робеспьер принял меры для вашей безопасности, но прежде всего он желает вас видеть. Вы должны дожидаться его в комнате, соседней с залом заседаний Коммуны, где он теперь совещается со своими товарищами. Он выйдет к вам, как только освободиться. Ваша квартира сообщается коридором с ратушей.

— Пойдемте, — сказала Кларисса и, взяв за руку Терезу, последовала за Урбеном.

Он провел их через целый ряд комнат и коридоров к двери, отворяя которую, он сказал:

— Подождите здесь гражданина Робеспьера, он в соседнем зале, а я пойду и объявлю, что привел вас.

Комната, в которой находились обе женщины, была оклеена зеленоватыми обоями и украшена революционными эмблемами. На возвышении между двумя дверьми стоял стол, а у подножия его было расположено несколько кресел и стульев.

Гроза продолжалась, и среди блеска молний слышались ужасные раскаты грома. Кларисса подошла к окну, но увидев, что на площади под окном устанавливали пушки и двигались люди, вооруженные ружьями и пиками, быстро отскочила и оттолкнула от окна Терезу.

— Нет, нет, не смотри на это ужасное зрелище! — сказала она.

В эту минуту отворилась дверь, и вошел Робеспьер в сопровождении Урбена. Необыкновенные события дня оставили неизгладимые следы на его бледном, истощенном лице.

— Я сяду, — сказал он, опускаясь в кресло и обтирая платком крупные капли пота, выступившие на его лбу. — Откройте, Урбен, окно, здесь очень душно. Извините, — прибавил он, обращаясь к Клариссе, — но я очень устал. Сядьте поближе ко мне. Урбен вам рассказал, что случилось со мною?

— Да, — отвечала Кларисса и, пододвинув к нему кресло, села, а Тереза, прислонившись к спинке кресла, стала пристально смотреть на человека, пользовавшегося такой грозной славой.

Наступило тяжелое молчание. Кларисса хотела спросить об Оливье, однако ее удерживала мысль, что судьба самого Робеспьера висела на волоске. Но он отгадал, о чем она думала.

— Вы печалитесь о своем сыне?

— Где он?

— Не знаю, — отвечал Робеспьер и рассказал слабым, дрожащим голосом о неудовлетворительном результате его справок в консьержери и о переводе Оливье из тюрьмы Ла-Форс неизвестно куда Комитетом общественной безопасности. — Если бы я одержал победу, то я освободил бы его, но теперь...

Кларисса вскочила с ужасом. Неужели ее агония снова начнется? Но Робеспьер старался ее успокоить. Он мог еще одержать верх над конвентом, и тогда ему будет легко одержать верх над Оливье.

— А если вы не одержите победу? — промолвила Кларисса, забывая все на свете и думая только о своем сыне.

— Он все-таки будет спасен. Его единственная вина заключается в том, что он оскорбил меня. После же моего падения он будет героем. Он вернется к вам обоим, к вам обоим, — прибавил Робеспьер, нежно взглянув на Терезу. — Дайте мне вашу руку, дитя мое. Зачем она так дрожит? Быть может, на вашем юном лице, полном любви к вашему жениху, останются с улыбкой в последний раз мои глаза.

Кларисса была очень тронута этой сценой и хотела что-то сказать, но Робеспьер ее перебил.

— Вам нельзя здесь оставаться. Пройдите в соседнюю комнату и там подождите, пока мы двинемся на Тюильри.

Затем Урбен доставит вас в надежное убежище. Если я буду побежден, то вам все-таки опасаться нечего. Ведь вы также мои жертвы.

— Зачем отчаиваться? — сказала Кларисса. — Еще не все погибло.

— Нет, почти все. Я слишком поторопился с наступлением на конвент. Я знаю, чье это дело и кто мне мстит.

— Кто?

— Мертвецы.

Кларисса и Тереза посмотрели на него с изумлением.

— Вы не можете этого понять... Однако довольно, надо подумать о вашей безопасности. Проводите этих гражданок в соседнюю комнату и исполните мои приказания, — сказал он, обращаясь к Урбену.

В это время раздались громкие голоса в зале.

— Идите скорей, мои друзья сейчас явятся сюда! — сказал Робеспьер и повел обеих женщин к дверям, но на пороге уже показались Леба, Огюстен Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, Флёрис-Леско, Кофиналь, Пэан и Дюма.

— Теперь не время болтать с женщинами! — воскликнул с нетерпением Кофиналь, вице-председатель революционного трибунала и самый энергичный сторонник восстания.

— Господа, разве я не имею права быть человеком? — произнес Робеспьер утомленным голосом и тяжело опустился в кресло.

В эту минуту комната наполнилась многочисленными патриотами, которые окружили Робеспьера.

— Что делать? — спрашивал один.

— Когда же мы пойдем на Тюильри? — спрашивал другой.

— Если атаку отложить, то конвент перейдет в наступление, — рассуждал третий.

— Каждая минута дорога, — замечал четвертый, — нелепо бить в набат, а затем целую ночь рассуждать. Кого и чего мы ждем?

Несколько минут Робеспьер молчал, но потом, выведенный из терпения, он вскочил и, указывая на окно, произнес:

— Кого и что я жду? Очень просто. Я жду, чтобы весь Париж восстал, а восстали только немногие кварталы, да и то, посмотрите на площадь, сколько уже ушли ужинать! — прибавил он с иронической улыбкой.

— Они ушли не ужинать, а им надоело ждать, — заметил Флёрис-Леско.

Гроза между тем усиливалась, и дождь перешел в ливень.

— Это еще более разгонит наших сторонников, — заметил Робеспьер.

Леба, стоявший у окна и тщетно кричавший толпе, чтобы она не расходилась, так как сейчас ее двинут на Тюильри, воскликнул:

— Они уходят сотнями!

Патриоты снова пристали к Робеспьеру, требуя немедленной атаки Тюильри,

— Решайтесь же скорее, — кричал Кофиналь, — довольно потеряно времени!

— Хорошо! Идем! — сказал Робеспьер, медленно вставая, и прибавил с горькой улыбкой: — Дай Бог, чтобы защитники конвента были так же мужественны, как наши!

— Прежде чем идти, — сказал Пэан, обращаясь к Робеспьеру, — подпишите вот эту прокламацию, она поможет возбудить восстание во всех кварталах.

— Хорошо. Дайте бумагу.

Леба подал ему перо, и Робеспьер только что начал подписывать бумагу, как вдруг остановился. Вдали послышались звуки труб.

Все переглянулись с беспокойством. В эту минуту в комнату вбежал, едва переводя дыхание, Дидье.

— Войска конвента идут на ратушу под предводительством Барра! — воскликнул он. — Они приближаются двумя колоннами. Впереди всех марширует Леонар Бурдон и при свете факелов громко читает декрет конвента, объявляющий Робеспьера и его сторонников вне закона, так что всякий может стрелять в них безнаказанно.

— Но народ, народ за нас! — произнес Леба.

Нет, народ более не стоял за Робеспьера, а повернул обратно к ратуше, приветствуя войска конвента.

— Вон они кричат, теперь уже против нас! — прибавил Дидье.

Началась паника.

— Отступим в предместья! — кричал один.

— Укрепимся в арсенале! — предлагал другой.

Но Робеспьер произнес авторитетным тоном:

— Все это безумие! Надо здесь защищаться! Чтобы орудия были готовы! У нас их довольно на площади, чтобы истребить всех наших врагов.

— Это лучший план! Неподкупный прав! — воскликнул Кофиналь и, подбежав к окну, хотел дать сигнал ар-

тиллеристам, но Робеспьер посоветовал ему не торопиться и подождать, пока войска Барра войдут на площадь.

Вообще Робеспьер как бы ожил. Он живо и энергично делал распоряжения, между прочим, послал Леба объявить о его плане членам Коммуны, которые были собраны в соседнем зале. Но, отворив дверь, Леба воскликнул:

— Здесь никого нет! Труссы разбежались!

Все с изумлением взглянули друг на друга. Стоявшие у окна теперь объявили, что войска конвента выходят на площадь.

Снова слышались звуки труб, а затем барабанный бой, и среди наступившей торжественной тишины раздался какой-то громкий голос.

— Именем Французской Республики национальный конвент объявляет Робеспьера и всех, кто принимает участие в восстании, вне закона!

Какой-то смутный ропот пробежал по площади. Тот же голос прибавил:

— Граждане, дорогу войскам конвента!

Кофиналь и Робеспьер бросились к окнам.

— Отчего вы не стреляете? — крикнул первый.

— Стреляйте, болваны! — крикнул последний.

Артиллеристы, стоявшие неподвижно до тех пор, засуетились.

— Измена! — воскликнул Робеспьер. — Они повернули орудие против ратуши!

Все погибло! Смерть холодно смотрела в глаза каждому из присутствовавших. Одни бросились к дверям, другие стали прыгать из окон на крышу. Среди последних был Огюстен Робеспьер, но он поскользнулся и упал на мостовую среди презрительного смеха толпы.

На площади слышались крики, барабанный бой и команда офицеров:

— Вперед!

— Меня не возьмут живым! — воскликнул Леба и, схватив из кармана два пистолета, положил один из них на стол возле упавшего в кресло Робеспьера.

— Это для вас, Робеспьер!

Максимилиан посмотрел на пистолет и оттолкнул его от себя в полном истощении сил.

— К чему? Пусть смерть придет, как хочет!

В эту минуту отворилась дверь, и Кларисса вбежала, бледная, испуганная, держа за руку Терезу.

— Несчастная! Зачем вы здесь? — произнес Робеспьер.

— Всюду солдаты! — едва промолвила Кларисса.

Робеспьер схватил пистолет со стола и, указывая на другую дверь, промолвил:

— Бегите в эту комнату. Я застрелю первого, кто покажется, и выиграю время.

Кларисса потащила Терезу к указанной двери, но отскочила от нее в ужасе. Грозные звуки неслись оттуда. Робеспьер толкнул обеих женщин в третью дверь с криком:

— Бегите! Бегите!

Но дверь отворилась, и послышался голос:

— Сюда за мной!

Это был голос Оливье.

Робеспьер узнал его и замер от ужаса.

Оливье в разорванной одежде, с растрепанными волосами остановился на пороге и, увидев Робеспьера, прицелился в него.

— Злодей, ты больше никого не убьешь!

Он хотел спустить курок, но в эту минуту Кларисса вырвала пистолет и отбросила его с криком.

— Нет, нет, Оливье, ты не убьешь его!

Юноша с изумлением смотрел на мать и Терезу.

Робеспьер увидел в попытке сына убить его смертельный себе приговор.

— Я никого не убью, кроме себя! — промолвил он и, повернув пистолет, спустил курок.

Он упал на пол, обливаясь кровью, но не убитый, а раненый. Пуля разбила ему левую скулу.

Кларисса бросилась к нему и старалась остановить кровь, хлынувшую из раны.

— Ты не знаешь, что он нас спас и все это время нежно о нас заботился! — сказала Тереза, приближаясь к Оливье, и слезы текли ручьем по ее лицу.

— Он? — воскликнул Оливье с изумлением.

Между тем комната наполнилась людьми, вооруженными ружьями, саблями, пиками, ножами. Они все дико кричали!

— Победа! Победа!

Но, увидав Робеспьера в крови, они остановились в ужасе. Один из депутатов подбежал к окну и крикнул кившей на площади толпе:

— Граждане! Тиран сам себя убил! Да здравствует конвент!

— Да здравствует конвент! — повторилось, как эхо, на площади и замерло вдали.

Наконец, Робеспьер открыл глаза и, приподнявшись с помощью Клариссы, стал искать взглядом Оливье и Терезу.

— Во всяком случае ребенок и вы спасены, — промолвил он, — но не дайте мне умереть без вашего прощения.

— Я давно простила вас, — ответила Кларисса сквозь слезы.

— Благодарю! — сказал он слабым голосом и снова потерял сознание.

— Не мешай! Убирайся! — воскликнул грубый голос, и кто-то оттолкнул Клариссу от Робеспьера. — Берите его и несите.

Несколько человек подняли Робеспьера, который казался мертвым, с закрытыми глазами, бледным лицом и сочившейся из губ кровью.

— Прости его! Прости его! — умоляла Кларисса своего сына. — Скажи, что ты его прощаешь!

— Да, да, я его прощаю! И да помилует его Господь! — сказал Оливье, глубоко потрясенный этой сценой.

— Дорогу Неподкупному! — крикнул кто-то в толпе, и печальное шествие направилось к Тюильри.

— Ну, пойдете отсюда! — сказал Оливье, обращаясь к матери и Терезе, когда здание ратуши опустело.

— Ты действительно свободен?

— Да, совершенно свободен, я вам потом объясню. Но нам надо достать паспорт, чтобы выехать из Парижа. Пойдемте скорее!

XV

Робеспьер был побежден во второй раз.

Во дворе ратуши ему перевязали рану, положили его на носилки, и артиллеристы понесли его в конвент. Он был по-прежнему без чувств и ничего не сознавал, что делалось вокруг него. Один Сен-Жюст шел позади этого печального шествия между двух жандармов, бледный, но гордо подняв голову и не обращая никакого внимания на сыпавшиеся на него оскорбления. Он один из друзей Робеспьера разделяет его падение. Остальные или умерли, или бежали и скрылись. Но поиски ведутся, и в последнюю минуту они все, живые и мертвые, окружают его.

Было уже три часа утра, и звезды на небе мало-помалу тускнели при первом проблеске начинающегося дня. Но все-таки на улицах толпился народ. При виде печального шествия все останавливались и спрашивали: кого несут?

— Раненого Робеспьера, — отвечали жандармы, и большая часть лиц освещалась радостью.

— Тиран умирает! Слава Богу, больше не будет казней! — раздавалось со всех сторон.

Конвент, однако, не принял своего полумертвого врага. Он был объявлен вне закона, и, следовательно, с ним могло иметь дело только правосудие. Его отправляют в Комитет общественной безопасности, проносят по той самой лестнице, где он два дня перед тем гордо вызвал на бой Бильо-Варрена, и кладут на стол в комнате, соседней с залом собрания комитета. Под голову ему ставят ящик с образцами солдатского хлеба. Ему расстегивают рубашку на горле, и кровь свободно сочится из простреленной скулы. Его синий сюртук изорван, а брюки и чулки забрызганы кровью.

Неподкупный теперь представляется неподвижной, но все-таки дышащей и страдающей массой. Он открывает глаза и инстинктивно ищет правой рукой платок, чтобы обтереть губы. Но его дрожащие пальцы приходят в соприкосновение с лежащим кожаным футляром от пистолета, и он машинально подносит его к своей ране. По иронии судьбы на этом футляре красуется надпись: «Великий монарх. Лекур, поставщик двора».

Мало-помалу Робеспьер приходит совершенно в себя. Он обводит глазами комнату и видит у окна Сен-Жюста и Дюма, которого нашли в ратуше и привели в комитет. Мимо проходят много лиц, которые осыпают оскорблениями полуживого Робеспьера.

— Вот свергнутый кумир! — говорит один.

— Со своей повязкой он похож на мумию! — говорит другой.

— Он теперь, конечно, думает о своем Верховном Существо! — воскликнул третий.

Он все слышит и, молча, неподвижно устремив глаза в потолок, медленно пьет чашу горечи. Ему придется ее испытать до последней капли. Если бы он одержал победу, то был бы полубогом, а побежденный, он приговорен к позорному столбу. И, однако, успех был так близок, так возможен. Если бы конвент не подчинился так слепо, так рабски нападкам на него Тальена и дал бы ему сказать хоть несколько слов, то все изменилось бы. Но заговорщики слишком хорошо все обдумали, все подготовили. Тут мысли Робеспьера переходят на Коммуну и тех изменников, которые его предали в последнюю минуту.

Неожиданно среди этих мрачных размышлений он почувствовал невыносимую боль в колене. Подвязка слишком была затянута. Он приподнялся и хотел ее развязать правой рукой. Но силы ему изменили, и он снова упал на стол.

Но вот кто-то дотронулся до подвязки и поправил ее. Он снова приподнялся и посмотрел. Неужели это было наяву, а не во сне? Перед ним стоял Оливье.

— Благодарю, мой... мой...

Он хотел сказать «сын», но у него хватило сил удержаться. Нет, Оливье не должен знать тайны своего рождения.

Нравственное волнение слишком повлияло на его слабые силы, и он снова потерял сознание. Действительно, Оливье, проходя мимо из комитета, где он получил паспорта себе, матери и невесте, увидел тщетные попытки Робеспьера развязать подвязку и невольно оказал ему эту услугу. Затем он быстро удалился в Тюильрийский сад, где на скамейке его ждали Кларисса и Тереза,

— Я достал паспорта! — крикнул он издали.

— Так пойдем поскорее, — сказала Кларисса. — Вернемся в Монморанси. Я не могу более оставаться в этом городе ужасов и печали.

— Мы еще не можем ехать, — произнес Оливье, — паспорта не имеют силы, пока к ним не приложена печать комитета, а для этого мне велели прийти в три часа дня.

— Что нам делать? Куда нам деться? — произносит Кларисса, бледная, истощенная.

— Пойдемте на улицу Рошэ, к приятельнице Леонара. Вы увидите, она меня примет с распростертыми объятиями, так как ей нечего более опасаться Робеспьера.

В пять часов, когда уже совершенно рассвело, и вся природа, казалось, ожила после недавней грозы, Робеспьера вынесли из помещения Комитета общественной безопасности. Было решено его временно поместить в консьержери для формального установления его личности, а затем без суда, как человека, объявленного вне закона, подвергнуть казни. Убаюканный мерным шагом жандармов, которые несли его на носилках, он заснул или скорее впал в забытие, и когда очнулся, то увидел себя в небольшой келье.

— Могу я писать? — спросил он у жандарма, который стоял подле него.

— Нет.

— Где я?

— В консьержери.

— В консьержери, — повторил он, сверкая глазами, — а в какой части?

— Между кельей королевы и часовней жиронденов.

Он вспомнил, что находился среди своих жертв, и мысленно повторил надпись на стене: «Робеспьер, твой час придет!» Мертвецы были правы: если бы он вовремя уничтожил гильотину, то не находился бы здесь и не сделался бы жертвой им же созданного террора. Но он не мог этого сделать. Это было бы слишком преждевременно, и он все-таки погиб бы.

Мысли его стали путаться. Ему казалось, что он юноша и стоит у фортепиано, на котором играет Кларисса. Мало-помалу он совершенно потерял сознание, и когда явился для его формального опознания Фукье-Тенвиль, его крестура, то он не узнал его голоса.

Конец геперь близко. В пять часов назначено роковое шествие на площадь Революции, так как по приказанию конвента на этот раз гильотина снова там воздвигнута. Робеспьера кладут на носилки и выносят его среди толпы арестантов, его жертв, которые видят в его смерти зарю своего освобождения. Во дворе его помещают на телегу и привязывают к скамейке, чтобы он не упал. Свежий воздух восстанавливает его силы, и он смотрит на все с безмолвным презрением.

Ганрио и Кутон находятся на той же скамейке справа и слева от него, а сзади помещаются его брат Огюстен, Сен-Жюст и Дюма. Всего приговоренных было двадцать два человека, и они наполнили пять телег.

Наконец, началась *via dolorosa* Робеспьера. Несметные толпы заполняли улицы, осыпая своего прежнего кумира оскорблениями и грубой бранью с тем же энтузиазмом, как некогда его приветствовали на празднике в честь Верховного Существа.

Роковое шествие сворачивает на набережную и направляется к улице Сент-Оноре. Крики ненависти и проклятия носятся в воздухе.

— Чудовище! — кричит одна женщина, которая потеряла двух детей благодаря прериальскому закону.

— Гнусное чудовище! Именем всех матерей я тебя напутствую проклятиями в ад.

Толпы все увеличивались, так как было декади, революционный день отдыха, и весь Париж находился на улицах.

В окнах и на балконах виднелись веселые, радостные лица, так как все знали, что за этими последними жертвами исчезнет террор.

Перевязка полускрывала лицо Робеспьера, и глаза его, как бы стеклянные, были неподвижно устремлены в про-

странство. Рядом с ним сидел Ганрио, бледный, испуганный. Калека Кутон и раненый Огюстен Робеспьер лежали на дне телеги. Только Сен-Жюст стоял, гордо выпрямившись, и презрительно смотрел на толпу.

Выйдя на улицу Сент-Оноре и миновав Якобинский клуб, где Неподкупный два дня перед тем неограниченно царил, шествие остановилось перед домом Дюплэ.

— Эй, Робеспьер, — кричит какой-то голос, — смотри, как твое логовище забрызгано кровью твоих жертв.

По данному знаку какой-то ребенок выделяется из толпы с малярной кистью в руках и, обмакнув ее в ведро с кровью, забрызгивает кровью дверь.

Во дворе слышится вой собаки. Очевидно, Блунд почувствовал присутствие хозяина. Робеспьер закрывает глаза, но тщетно: он слышит вой верного животного.

Между тем в толпе раздается:

— А где семья Дюплэ?

— Отец в тюрьме в Плесси, а мать с малолетним сыном в Сент-Пелажи.

— Леба застрелился, и тело его лежит в одной из телег.

— А дочери?

— Спаслись бегством.

Шествие продолжалось. Вдали замирал вой собаки, как бы посылавшей своему хозяину последнее «прости».

При повороте на улицу Сен-Флорентин какой-то юноша перебегает через мостовую и скрывается на улице Революции.

— Эй, погоди! — кричит толпа. — Не будь трусом! Посмотри, как у Неподкупного отлетит голова!

Это был Оливье. Он торопился из Комитета общественной безопасности, где наконец засвидетельствовали паспорта, и, чтобы миновать шествие, он побежал по улице Сен-Флорентин, но все-таки наткнулся на него.

Поспешно достигнув меблированных комнат на улице Рошэ, где ждали его мать и невеста, он радостно вбежал в их комнату с криком:

— Все готово! Едьте скорее! Экипаж ждет!

— Как, вы сейчас уезжаете? — вскрикнула вдова Вогран. — А лучше останьтесь до завтра, я приготовила вам славный ужин.

Но Оливье, Кларисса и Тереза поспешно вышли на улицу, где стоял четырехместный шарабан. Оливье помог усесться матери и невесте, а сам поместился на козлах с возницей.

— В Монморанси! И скорее! — крикнул он.

Экипаж покатился, но в конце улицы Рошэ он остановился. Ему пересекали дорогу две телеги, которые неслись вскачь.

— Что это такое! — вскрикнул нетерпеливо Оливье.

Возницы в красных колпаках отвечали:

— Мертвые тела казненных! Мы везем их на кладбище Эранси. Покончили с Неподкупным. Он более никого не убьет!

Услыхав эти слова, Кларисса и Тереза упали на колени в шарабане и подняли глаза к небу в молитве. Оливье снял шляпу.

Телеги проехали мимо. Кларисса и Тереза перекрестились. Оливье, бледный от волнения, последовал их примеру.

Глаза Клариссы устремились на сына, и она молча возблагодарила небо.

Тайна происхождения Оливье была навеки скрыта.

Н. Мердер

**В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

О причинах вражды между сестрами, Анной Федоровной Курлятьевой и Софьей Федоровной Бахтериной, урожденных Турениных, в городе толковали разное.

Одни утверждали, что Анна Федоровна возненавидела сестрицу за Магдалиночку, другие уверяли, что Софья Федоровна обижается на Анну Федоровну за то, что у нее нет детей, а третьи, наконец, углубляясь в старину еще дальше, держались такого мнения, что охлаждение между сестрами началось еще с того времени, когда Бахтерины надумали переселиться из Петербурга в родной город на юге России, и по этому случаю Курлятьевы должны были строить себе новый дом, так как тот, в котором Анна Федоровна родилась, выросла и продолжала жить после замужества и где родились все ее дети, в том числе и ненаглядный ее Федюшка, был завещан дедом не ей, а младшей ее сестре, Софье Федоровне.

Очень ей было тогда прискорбно и досадно. И уже с тех пор старалась она восстановить общественное мнение против сестры, выставляя ее дурой, а мужа ее напыщенным гордецом и франкмасоном. При этом она по секрету намекала на пикантные подробности относительно причин, заставивших их покинуть столицу.

— Уж за хорошие дела не вытурили бы его оттуда; ведь первым человеком у цесаревича был. Не сумел, верно, политику соблюсти. А может, супруга ему подгадила. Умом-то Господь ее обидел, сестрицу нашу, — прибавляла она со вздохом. — А уж ревнива — страсть! Вот вам и столичное воспитание. Недаром матушка-покойница так плакала и убивалась, когда тетенька Татьяна Платоновна пожелала сестрицу Софьюшку к себе заместо дочери взять. Кабы не батюшка, ни за что бы этому не бывать. Ну что в том, что тетенька богатством ее наградила да за гвардейского щеголя-красавца замуж выдала, счастья-то все равно Господь им не послал. Детей у них нет, сама все хворает, а сам-то

в немилость попал. Отсюда, может, и подальше сошлют, кто знает!

И так много и упорно говорила она об этом, что ей всех удалось убедить, что действительно Бахтерины не по собственному желанию, а по высочайшему повелению принуждены были покинуть столицу.

И держался этот слух так упорно, что даже когда Бахтерины приехали и со всеми перезнакомились, когда в их гостеприимном и богатом доме все губернское общество стало на славу веселиться, встречая там постоянно и губернатора, и других представителей администрации, даже и тогда продолжали думать, что все это хорошо, денег у них много, обращаться с людьми они умеют тонко и воспитаны по-столичному, а все же им выезд отсюда запрещен и живут они здесь, как бы в ссылке.

Да и впоследствии, когда с ними сошлись еще короче, предубеждение это не рассеялось. Софья Федоровна Бахтерина оказалась очень милой, доброй женщиной и скорее болтливой, чем скрытной; она про все с удовольствием рассказывала: и про балы во дворце, и про домашний обиход у императрицы, и про семейную обстановку цесаревича, и про милости к ней и к ее мужу цесаревны Марии Федоровны, — про все она рассказывала, но о причинах, заставивших их сюда переселиться, никакими хитростями невозможно было заставить ее проронить слова.

Муж, верно, запретил. Она его обожала, но и боялась; рта не раскроет, не взглянув предварительно на него и не получив его одобрения.

Болезненною-то оказалась не она, а он. Она цвела здоровьем; ее розовые щеки, блестящие карие глаза, пышный стан, ручки с ямочками и круглый начинавший слегка двинуться подбородок представляли контраст с фигурой ее мужа, красивой, но вместе с тем такой мрачной, что, когда свояченица губернатора, насмешница большой руки, прозвала его *le beau ténébreux*, все нашли, что кличка эта подходит ему, как нельзя лучше, и она за ним осталась.

Тотчас по приезде, предоставив супруге ездить с визитами и принимать гостей, Иван Васильевич Бахтерин занялся хозяйством в ее имении, расположенном в дальнем уезде, верст триста от губернского города, и в своем собственном еще дальше, в другой губернии.

Туда он ездил обыкновенно зимой, и поездки эти были сопряжены с большими трудностями, так как дорога шла все больше проселком, дремучими лесами и по необозримым пространствам никому не принадлежащих земель.

За целый месяц перед этими поездками Софья Федоровна начинала волноваться, а уж когда он уезжал, она просто не знала, куда деться от страха и тоски.

Отсутствие его обыкновенно продолжалось недель шесть. И все эти шесть недель она жила затворницей, никого не принимала, кроме самых близких, выезжала только в церковь, где ее видели молящейся так усердно и с такими слезами, точно она оплакивает покойника.

Писем от мужа она не получала во время его отсутствия. Почта тогда не ходила по другим трактам, кроме большой столбовой дороги, устроенной не для удобства сношений жителей губерний между собой, а для того только, чтобы можно было начальству из Петербурга, фельдъегерям да ревизорам мчаться без задержки с приказаниями да с донесениями взад и вперед, а Ивану Васильевичу Бахтерину путь лежал в такие трущобы, которыми в Петербурге, если и интересовались, то еще вполне платонически.

Что там творилось в этих трущобах, поросших дремучими лесами и заселенных всяким беглым сбродом, стоит только взглянуть на дела, хранящиеся в губернских архивах, чтобы представить себе эти ужасы и понять, как дрожала Софья Федоровна за мужа каждый раз, когда он пускался в путь, и как она радовалась его благополучному возвращению.

Всегда у них по этому поводу давался бал, на который приглашался весь город. Бахтеринские балы славились на всю губернию. К ним больше готовились, чем к губернаторским и дворянским во время выборов. Не было такой девочки, подростка из дворянской семьи, которая не мечтала бы о той блаженной минуте, когда она войдет в белом муслиновом платье с розой в напудренных волосах в залитую светом восковых свечей большую белую залу с колоннами, где ждали ее упоительная музыка и танцы с лучшими в губернии кавалерами.

Балы эти служили выставками невест. Про девицу говорили: «Она уж не так молода, третий раз ее вывозят к Бахтерины на бал».

«Не так молода» означало в то время, что девушке лет семнадцать. Понятно после этого, что старшие дочери Анны Федоровны Курлятьевой давно уже считались перезрелыми девами, которым суждено всю жизнь оставаться Христовыми невестами. Старшей, Катерине, уже стукнуло двадцать два года, когда начинается этот рассказ, второй, Марии, было двадцать, меньшей, Клавдии, не было еще четырнадцати, а сыну Федору шел седьмой год.

Курлятьевым всегда хотелось иметь сына, и к дочерям, являвшимся на свет одна за другой, точно по повелению какого-то злого духа, враждебного их роду, Анна Федоровна относилась скорее с досадой, чем с любовью. Держала она их в черном теле, упрекала за то, что надо тратить на них деньги, и при всяком удобном и неудобном случае накидывалась на мужа за то, что он их балует. А чем мог он их баловать? Приласкать разве только потихоньку, когда матери тут не было. Но ей тотчас доносили об этих поблажках, и она поднимала такой гвалт, что Николай Семенович зажимал себе уши и, нашептывая молитву, поспешно забивался в свою щель.

Своею щелью называл он комнатку в одно окно, с большим киотом, полкой со священными книгами в кожаных переплетах, потертых и порыжевших от времени, и с древним креслом перед белым, некрашеным столом грубой работы домашнего столяра.

Тут проводил он большую часть своей многострадальной жизни в молитве и душеспасительных размышлениях. Последнее же время он так одичал, что совсем перестал входить в апартаменты жены.

Убежище это находилось в самом конце дома, примыкавшем к черным сеням, и первоначально предназначалось для провизии, но Николай Семенович выпросил себе эту горенку для молельни, и это был единственный уголок, где его оставляли в покое. Для этого стоило только запереть изнутри дверь; другого хода сюда не было ниоткуда. Единственное оконце, маленькое, с подъемной рамой, выходило на пустырек между парадным двором и черным. Для чего-то пустырек этот, когда еще дом строился, загородили частоколом, да так и оставили. Благодаря этой ограде сюда не проникали ни люди, ни животные. Некому, стало быть, было топтать тучную зеленую траву, испещренную желтыми одуванчиками, которой он обрастал с ранней весны.

Боже, как любили барышни Курлятьевы этот укромный уголок! Как они счастливы были, когда им удавалось ускользнуть от надзора старших и прибежать сюда к дорогому папеньке, от которого они никогда ничего не видели, кроме любви и ласки.

А как повзросли они и детские печали стали сменяться настоящими горестями, только здесь и находили они отраду и утешение. Когда три года тому назад Машенька, нежная голубоглазая блондинка, с чувствительным сердцем и восторженной головкой, влюбилась в сына помещи-

ка Бочагова, и он ей тоже признался в любви на бале у губернатора, она прибежала прямо сюда, чтобы поведать отцу свою тайну.

Ужасно смутился Николай Семенович. Даже слезы выступили у него из глаз от жалости и страха за свою дочурку. И, прижимая ее к себе, глядя широкой рукой ее разметавшиеся белокурые кудри, он спрашивал себя с тоской: как уговорить ее смириться перед злой судьбой, вырвать из сердца чувство, запавшее в него, и виду не показывать, как ей нестерпимо больно. Бедная, бедная девочка! Ну как ей это объяснить?

— Никто еще этого не знает? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Никто, папенька, я к вам к первому... К кому же мне, если не к вам? — отвечала она, целуя его руки.

— Ну, и слава Богу, слава Богу! — вымолвил он со вздохом.

Будь она хоть крошечку поспокойнее, многое поняла бы она из этого вздоха, но ей было невозможно отрешиться даже на минуту от радостного волнения, охватившего все ее существо. Ничего она не слышала, кроме голоса милого, не перестававшего звучать в ее ушах, ничего не видела, кроме его дорогого, дышащего любовью лица.

Не стоило и пытаться вывести ее из этого состояния, все равно ничего не выйдет. Отец ее понимал это как нельзя лучше и с замирающим сердцем ждал, чтобы она поуспокоилась.

Наконец, когда она ему все рассказала и в десятый, в двадцатый раз повторила те слова, которыми Бочагов дал ей понять, что она ему всех дороже на свете и что отец его придет на днях к ее родителям просить ее руки, Николай Семенович стал осторожно ее готовить к предстоящим затруднениям.

— Ты помалкивай пока; я сам с маменькой переговорю, узнаю, как она к этому отнесется, — нерешительно произнес он, понижая голос и боязливо оглядываясь по сторонам, точно одно упоминание о жене способно вызвать ее призрак.

— Маменька? Да неужто ж она?..

Роковое слово не произносилось. Но как красноречиво читалось оно в широко раскрытых глазах девушки! Лицо ее помертвело от ужаса.

— Не знаю, дитя мое, ничего не знаю... Какой стих на нее найдет, ведь ты маменьку знаешь.

О да, она ее знала!

И как это ей раньше не пришло в голову, что все зависит от ее согласия! Как могла она радоваться и мечтать о счастье, когда ничего еще неизвестно!

— Папенька, голубчик, золотой, упростите ее, скажите ей! — вырвалось у нее сквозь рыдания.

— Скажу, дитя мое, скажу, буду просить за тебя, на колени стану, чтоб ее умиловить, не плачь только, успокойся, молись Богу, на Него одна надежда, молись, — повторял он, лаская дочку и прижимая ее к себе, в то время как в голове его мелькали самые безотрадные мысли.

Не отдаст Анна Федоровна Машеньку за Бочагова. Отец у него человек твердый, с ним шутить нельзя, он потребует приданого за невестой. Бедная девчурка!

Опасения эти сбылись. Анна Федоровна даже и договорить мужу не дала, когда он заикнулся про то, что, кажется, их Машенька очень нравится сыну Андрея Васильевича Бочагова, раскричалась, затопала ногами, обругала мужа дураком, а затем принялась за дочь.

По всему городу передавали друг другу о том, как Курлятьева истязает дочь за то, что она осмелилась влюбиться в Бочагова без ее позволения. Болтали об этом и в людских, и у господ, но в глаза делать замечания Анне Федоровне, разумеется, никто не решался.

Да и вряд ли кому-нибудь приходило в голову находить предосудительным ее поведение. Машенька — ее дочь, ей лучше, чем кому либо знать, как с нею обращаться. И кто же между ними, кроме Господа Бога, может быть судьей, — решительно никто.

Один только Николай Семенович разве, отцу тоже даны права над детьми, и даже в таких семьях, где все так, как следует быть, отцовские права превыше материнских считаются, потому что он глава семьи, и все должны ему покоряться, но Николай Семенович человек слабый, бесхарактерный и недалекий, он сам давным-давно отказался от своих прав, значит, такая уж судьба бедной Машеньки не выходить замуж за любимого человека. Останется, верно, старой девой, как и старшая сестра.

Эта последняя давно уж смирилась перед судьбой и никаких претензий нравиться кавалерам не предъявляла. Лет шесть тому назад она была красавица, живая и веселая, но вдруг как-то состарилась; кожа у нее пожелтела, глаза впали и потускнели, лицо осунулось, и движения стали вялы и апатичны, как у больной. Ее тем не менее продолжали вывозить на балы и на вечера, но никто ею не занимался; ее приглашали танцевать тогда только, когда все остальные

девицы были разобраны, и большею частью она сидела рядом с матерью у стенки, среди старух, составлявших декорацию бальной залы, и вид у нее был такой удрученный, что жалко было на нее смотреть.

У Катерины тоже был роман, но такого рода, что даже сестрам ее ничего о нем не было известно. Из домашней челяди о барышнинном несчастье знали только в достоверности и со всеми подробностями нянюшка Максимовна да экономка Лаврентьевна, да еще тот злополучный, который был причиной беды, но первые две скорее способствовали сокрытию тайны, чем ее открытию, а последний был так далеко, что если даже он теперь и болтает о том, что случилось у него со старшей барышней Курлятьевой, то это все равно, как если б он ровно ничего не говорил, никто там не знает ни этой барышни, ни ее семьи. А здесь про него вестей нет, и для здешних он все равно что умер.

Звали его Алексеем, он был круглый сирота, привезен из далекой вотчины вместе с обозом живности, взят в барские покои казачком и благодаря миловидности, ловкости и веселому нраву сделался вскоре всеобщим любимцем.

Барыня его в приказчики на место старика Гаврилыча прочила и для этого с барышней Катериной Николаевной приказала грамоте и цыфири его обучать, — вот как она была к нему милостива! А теперь он в солдатах.

Теперь, когда барышня Катерина Николаевна проходит через длинную, уставленную пяльцами девичью, ни на кого не глядя, бледная и такая худая, что платье у нее с плеч валится, молодым девкам и девчонкам и в голову не приходит вспоминать, какая она была шесть лет тому назад; старухи же с печальным вздохом глядят ей вслед, и оживает при этом у них в памяти мрачная сцена, разygравшаяся у них в сенях, когда Алешу привели прощаться с господами, в арестантском халате и в цепях, с бритой головой.

Как он повалился барыне в ноги, да как барышня вскрикнула и в обморок упала — никогда тем, кто это видел, не забыть.

На руках вынесли ее, холодную и бесчувственную, как мертвую, в то время как нового рекрута сводили с черной лестницы на заднее крыльцо, где дворня столпилась, чтобы поглядеть на него в последний раз и пожелать ему счастья на царской службе.

Долго не приходила в себя Катерина, а как очнулась, точно безумная стала: никого не узнает, громко про Алешу бредит, милым, ясным солнышком его называет, срам да и

только! Доктор объявил, что у нее горячка и, если кровь у нее от головы не оттянуть, навек рассудка может лишиться.

Раз пятнадцать кровь ей пускали, так что наконец, как восковая сделалась, от простыни не отличишь, так бледна.

А как пришла в себя да поправляться стала, точно зарок дала про возлюбленного не вспоминать. Что́ на душе у нее было — один Господь ведал, никому она мыслей своих не выдавала. И всех стала чуждаться, даже отца. Только за святыми книгами к нему ходила. Богомольная сделалась и с монахиней Агнией сдружилась.

Старица эта двоюродной сестрой им доводилась, и уж непременно раз в год и Анна Федоровна, и Софья Федоровна ездили ее навестить в монастырь за семьдесят верст от города. Тут их родители были похоронены. Мать Агния проживала в отдельной келье с двумя монашками из ее же бывших крепостных, принявших пострижение вместе с нею. С тех пор как с барышней Катериной Николаевной случилось несчастье, мать Агния часто за нею присылала и подолгу оставляла ее у себя, особливо летом, когда вся семья Курлятьевых уезжала в деревню.

Все были убеждены, что барышня Катерина Николаевна и сама со временем монахиней сделается. Однако, когда случилась вышеописанная история с ее сестрой, она была еще в миру и усердно помогала ухаживать за бедной Машенькой; по целым ночам просиживала у ее постели, слушая ее бред, и даже, говорят, пыталась умиловить мать, долго стояла перед нею на коленях и со слезами умоляла сжалиться над влюбленными. Но, разумеется, это ни к чему не привело. Когда Анна Федоровна забирала себе что-нибудь в голову, никто не мог заставить ее изменить принятое решение.

А между тем Бочагов был не на шутку влюблен в Машеньку долго не мог он примириться с мыслью ее потерять. Три раза приезжал его отец к Курлятьевым. Первый раз его совсем не приняли под тем предлогом, что у них барышня Марья Николаевна при смерти, и второй раз тоже, но, когда он в третий раз приехал, Анна Федоровна вышла в гостиную и между ними произошел разговор, кончившийся полнейшим разрывом между семьями.

Анна Федоровна вернулась в свои покои вся багровая от гнева и, не дождавшись ухода посетителя, объявила во всеуслышание, чтобы ни под каким предлогом никого из Бочаговых, ни из господ, ни из челяди, к воротам не подпускать.

— Гнать их от нашего дома. Собаками травить, если во двор войдут! Чтобы все это знали, все, до последнего мальчишки! — грозно повторяла она, так громко возвышая го-

дос, что слышно было в прихожей, где старый Бочагов, бледный от негодования, надевал шубу, которую подавал ему приехавший с ним лакей. Губы его дрожали, он не в силах был произнести ни слова и только, уже усевшись в карету, успокоился настолько, чтобы перекреститься и прошептать:

— Надо благодарственный молебен отслужить Пресвятой Богородице за то, что она спасла нашего Сашу от такой тещи. Черт, а не баба!

Все это, разумеется, барышне Марье Николаевне было передано, и долго плакала она по ночам в длинной светлой комнате наверху, где она спала с сестрами. И стала она худеть и желтеть, как и старшая сестра. И улыбка у нее сделалась такая же вымученная и глаза такие же грустные, как у Катерины.

Первое время каждый день мать посылала за нею, чтобы бранить ее, но затем мало-помалу охладела и к ней, как и к старшей дочери, особенно когда третья, Клавдия, подросла и пришлось за нею смотреть в оба, чтобы не вздумала тоже влюбиться.

— Да отчего же она их замуж не хочет отдавать? — дивились в городе наивные люди.

Когда обращались с этим вопросом к Софье Федоровне Бахтериной, она из политики от прямого ответа уклонялась, ссылаясь на судьбу да на то, что, вероятно, женихи не приходятся сестрице Анне Федоровне по вкусу.

— Помилуйте, да чем Бочагов не жених? Один сын у отца, все имение ему достанется, дочерей только капиталом наградят.

— А Кокошкин? А Супонев? А Григоров? — припоминали городские кумушки про молодых людей, сватавшихся за барышень Курлятьевых с тех пор, как их стали вывозить в свет.

— Тоже, верно, сестрице не нравились, — возражала Софья Федоровна, — она очень разборчива.

— Да, уж нечего сказать! Все дочери у нее в девках останутся.

— Что же делать, ее воля, она мать, — замечала на это г-жа Бахтерина.

Про себя и с близкими домашними она судила иначе и, если б не муж, давно бы вмешалась в сердечные дела племянниц, чтобы заступиться за них, но Иван Васильевич так строго запрещал ей это делать, что послушаться она не смела, тем более что он объяснил ей, почему сестрица Анна Федоровна не желает отдавать дочерей замуж.

— Она все состояние хочет своему возлюбленному сыну передать. Имение-то родовое все равно ему достанется, но ей хочется ему оставить, а дом-то она выстроила на капитал, отложенный дочерям на приданое. Понимаешь теперь?

Софья Федоровна поняла, что, не переезжай они сюда из Москвы, сестре не нужно было бы строить дом и дочери ее были бы с приданым, и ей еще жальче их стало, но ничем не могла поправить дело. Относительно мужа она находилась почти в таком же самом положении, в каком был Николай Семенович со своей женой.

Иван Васильевич очень ее любил, но ни в чем ей воли не давал. В каждой копейке должна она была давать ему отчет, а он, как и подобает хорошему и страстному хозяину, называл пустым мотовством все, что тратилось не на улучшение деревенского хозяйства, хотя и требовал, чтобы жена всегда была нарядно одета и чтобы все у них в доме было на широкую ногу. Но это он уж делал из тщеславия, чтобы не уронить себя в глазах общества, к которому относился свысока, сознавая себя выше его и по уму, и по воспитанию, и по связям.

Выпросить у супруга капитал на приданое племянницам нечего было и думать. Одно только могла для них делать Софья Федоровна — дарить им те наряды, которые ей самой были не нужны, но это их не радовало, а мать их раздражало.

Раз даже Анна Федоровна до того обиделась, что отослала ей назад гирлянду из роз с незабудками, присланную Машеньке для бала, приказав при этом сказать, что обносков ее им не надо.

Разумеется, посланная не передала в точности неприятного поручения, но и в смягченной форме выходка сестрицы так огорчила добрую Софью Федоровну, что как ни жалко ей было племянниц, но она дала себе слово следовать совету мужа и держаться от них подальше.

II

Когда узнали об этом решении в антресолях, где у Бахтерины помещалась женская прислуга, дурочка Агафья, с незапамятных времен жившая в доме в качестве блаженной ясновидящей и прорицательницы проворчала сквозь зубы:

— Давно бы так... Раньше бы спохватились... Уа, уа, уа! Плачут детки... На свет просятся... Томятся...

Все обернулись к широкой лежанке, с которой раздались эти вещие слова, и стали просить Агафью пояснить их смысл, но она, поглядывая на всех злыми насмешливыми глазами, продолжала уакать и ворчать.

— Девоньки! — вскричала одна из белошвеек. — Ведь она ребеночка представляет! Это ребеночек новорожденный так кричит: уа! уа!

— И то!

— Ребеночка, беспрременно ребеночка! — подхватили со всех сторон.

Вне себя от испуга, все переглядывались. Всем теперь ясен смысл произнесенных дурочкой слов. Усомниться в справедливости никому и в голову не приходило. Все были убеждены в том, что если у господ их нет детей тому сестрица барыни, Анна Федоровна, причиной.

Открытие это так всех поразило, что никто не произнес ни слова. Что тут говорить — дело ясное и ни в каких комментариях не нуждается. Одному только оставалось дивиться, как это раньше никто об этом не догадывался, ослепли точно все, право!

Старушка Ефимовна, нянчившая барыню Софью Федоровну, когда она еще была совсем маленькой, до отъезда ее к знатной петербургской тетеньке, не говоря никому ни слова, дождавшись сумерек, вынула из сундука старую шаль, подаренную ей еще покойницей старой барыней, надела ее на голову, подколола булавкой под подбородком и тихонько вышла из дому.

Все это видели. Все знали также, что она за час перед тем прошмыгнула в барынину спальню и вынесла оттуда какой-то предмет под фартуком, но никто и виду не показал, что замечает эти проделки. Долго не возвращалась она назад. Совсем стемнело, огонь зажгли, господа чай откушали, а ее все не было.

— А ведь Ефимовна, поди чай, к ворожее пошла, я видела, как она из спальни сорочку, что барыня скинула, под фартуком вынесла. На сорочке ворожить будут, — шепнула Фроська Матрешке, с которой она шила в одних пальцах при свете сальной свечи в широком оловянном подсвечнике.

Матрешка подняла голову, глянула в сторону старших девок, хранивших строгое выражение на вытянутых лицах, и, толкнув ногой подругу, прошипела: молчи!

Фроська, покраснев до ушей, прикусила язык.

Тишина, царившая на антресолях, не нарушилась и тогда, когда вернулась Ефимовна. Молча прошла старушка

в свой уголок за шкафами и долго, долго оттуда не выходила, все молилась. Даже ужинать не пошла и ни с кем не обменялась словом. Кроме тяжелых вздохов да сдавленных возгласов: «Господи, помилуй! Царица Небесная, призри и защити!» — вырывавшихся время от времени из ее взволнованной груди, никто ничего не слышал от нее в тот вечер, а между тем результат ее совещания с колдуньей сделался всем известен; в одну ночь просочился он по всем уголкам дома, проник и в людские, и в кухни, и в прачечную, и в кучерскую, облетел чердаки и подвалы. На следующее утро все знали, что ворожея подтвердила заявление дурочки Агафьи.

Наконец, на третий или на четвертый день по возникновении слуха о том, что курлятьевская барыня заколдовала сестрицу и потому эта последняя не родит, — слух этот проник и до самой барыни Софьи Федоровны.

И случилось это благодаря приживальщику из благородных, у которого не было тайн от приживалки поповского звания, Фаиночки.

А то, что Фаиночка знала, непременно должна была знать и приятельница ее, благородная вдова Александра Петровна, обитавшая со своими пятью крепостными: лакеем, поваром и тремя девками — в укомном домике с садиком возле самых бахтеринских хором.

Александра Петровна, женщина еще нестарая, краснощекая, черноволосая, с пронзительными черными глазами, веселая и речистая, так сумела подбиться к бахтеринским господам, что они редкий день садились без нее кушать.

Приятна она была особенно тем, что все городские новости знала. Частенько так случалось, что за нею посылали только для того, чтоб узнать про то, что делается у губернатора или у Курлятьевых, или в другом каком доме, и она непременно все пронюхает и донесет с такими подробностями, каких невозможно было и предвидеть.

Не было такого места, куда она не сумела бы проникнуть. Всюду были у нее друзья и облагодетельствованные ею людишки, которые отца с матерью рады были для нее продать.

Слух, пущенный дурочкой Агафьей и подкрепленный ворожеей, достиг Софьи Федоровны уже в усовершенствованной форме. Ей преподнесли его в виде неопровержимого факта, со всеми доказательствами, и он ее так поразил, что с нею сделалась истерика от ужаса и печали.

Да и было отчего прийти в отчаяние. Она была замужем пятнадцать лет, значит, целых пятнадцать лет нахо-

дилась в положении заколдованного существа, целых пятнадцать лет над нею властвует дьявольская сила! Можно было с ума сойти от такого открытия.

На беду еще Ивана Васильевича не было дома, он уехал в имение и раньше, чем через неделю, нельзя было его ждать.

Можно себе представить, как он разгневается на сестрицу. Ему всегда так хотелось иметь детей, он в таком горе, что желание его не исполняется. По временам Софье Федоровне казалось, что он к ней охладел и если продолжает по-прежнему ласково с ней обращаться, то это единственно для того, чтоб она не догадалась, что он больше ее не любит. Он насилует себя потому, что ему ее жалко, а любви у него к ней нет, давно уж нет...

И этим она обязана сестре. Злая, бесчувственная женщина, недаром ее все так боятся и ненавидят. Да уж чего от такой ждать, которая родных дочерей изводит. А с мужем она, что сделала! Ведь все, кто его знал раньше, говорят, он вовсе не был так глуп, как теперь. Она, без сомнения, его заколдовала и на него напустила дьявольское наваждение. Какая страшная женщина! С нею и бороться невозможно. Уж если она нечистому предалась!..

И в горестном своем исступлении бедная женщина простирала к окружающим руки, умоляя скрыть от барина роковое открытие.

— Ради Бога, не говорите ему ничего! Он допытываться начнет, дело поднимет, до самой царицы дойдет... О Господи, что тут делать! Что делать! — повторяла она, вздрагивая и с испугом отстраняясь от всякой попытки ее утешить и успокоить.

Пришлось за ее духовником послать, чтобы он ее отчитал и молитвой изгнал бы из нее дух отчаяния и уныния.

После молебна с водосвятием и продолжительной беседы с отцом Мефодием Софья Федоровна поуспокоилась немного, но все еще так была печальна, что приближенные все чаще и чаще повторяли:

— Хоть бы барин скорее приехал!

III

Дело было зимой. Морозы стояли лютые, и каждую ночь поднимались такие метели, что за ревом вьюги не слышно было воя голодных волков, целыми стаями выбегавших из лесу за добычей в открытое поле, где случалось

проезжим становиться их жертвами. А в лесу-то, можно себе представить, что происходило!

У Бахтериных тщательно скрывали от барыни страшные рассказы, переходившие из уст в уста с базарной площади по всем дворам и закоулкам города, проникая из людских и девичьих в барские хоромы.

И хорошо делали, что скрывали: даже у тех, у кого все близкие были дома, волосы дыбом становились на голове от этих рассказней, так они были ужасны.

Между прочим, пронесся слух, будто бы в Епифанском лесу (а именно тем лесом и лежал путь бахтеринскому барину в дальнюю вотчину, куда он поехал проверять проворовавшегося управляющего) неистовствует шайка злодеев под предводительством атамана Шайдюка. Говорили, что шайка эта накинулась на каких-то важных путешественников, ехавших издалека, и всех их перерезала.

Каким образом, через кого проник слух об этом приключении в город, никто сказать не мог, но все, от мала до велика, толковали о нем, особенно среди бахтеринской дворни. Отправляясь в дальний путь, барин взял с собой человек десять челяди. У каждого остались дома — у кого мать, у кого жена, у которого зазноба сердечная или детки малые.

Каждый вечер, собираясь в застольной, люди предавались самым печальным и ужасным предположениям, а бабы поднимали такой вой, что надо было только дивиться, как весь этот шум и гвалт не доходил до барыни. У самых дверей ее спальни, в девичьей, только и речи было, что о разбойниках. Молодые приставали к старухам с просьбой рассказать им про подвиги отчаянных головорезов, периодически нагонявших ужас на здешнюю местность двадцать, тридцать и пятьдесят лет тому назад.

Среди дремучих лесов, в отдаленности от столиц и по соседству с казаками, татарами и поляками, в здешнем краю жилось непокойно. В бахтеринской дворне была старушка Афимья, такая древняя, что никто не знал, сколько ей именно лет. Сама она полагала, что ей перевалило за сто, и, судя по ее воспоминаниям, предположение это было верно. Из того, что произошло в недавнее сравнительно время, она ничего не помнила, но когда она принималась рассказывать про то, что видела и слышала, когда землей Русской правил царь Петр Алексеевич, память у нее изумительно оживала. Иные эпизоды она передавала с такими подробностями, что сомневаться в том, что она была их свидетельницей, не было никакой возможности. Так, на-

пример, она описывала переполох, происшедший в доме (она была крепостная барыниных родителей, туренинских господ), когда молодого барина, Андрея Карповича, деда Софьи Федоровны и Анны Федоровны, по приказанию грозного царя поволокли в Петербург на службу. Провожали его, как покойника на кладбище, с плачем и причитаниями. Сам он был бледен, как полотно, и обезумевшими глазами на всех смотрел. ничего не понимая, точно во сне. Мать его, боярыня Марья Ивановна, как слегла, расставшись с ним, так и не вставала; не прошло и полугода, как на погост ее свезли; а отец, Карп Федорович, совсем рассудка лишился, странный такой стал, по целым дням сидел, упершись взглядом в образ, и, что ты ему ни говори, ничего не слышит. Не принеси ему есть — не спросит. Насильно и кормить, и умывать его надо было, точно в столбняке. Потом в уныние впал, тосковал и метался, жалость было смотреть на него, и кончилось тем, что в монастырь поступил в дальнее место. Из приближенных взял с собой одного только Филатку. И как уехали, так и все слухи о них прекратились. Узнали про барина Карпа Федоровича, что скончался, тогда только, когда молодой барин, отслужив свою службу государю, приехал с женой и детьми в родовое гнездо и приказал по отце панихиду служить.

А про Филатку и до сих пор никто не знает, где и как он жизнь свою окончил, в монастыре ли с барином, или в другом каком месте. Но и по нем близкие панихиды служат, потому все равно человеку два века не жить и, как уж за сто перевалит, нельзя смерти не прийти.

Всегда интересны были рассказы старушки Афимьи, а уж как страх на всех напал вследствие недобрых слухов, носившихся по городу, к ней еще больше приставали с расспросами про разбойничью шайку знаменитого своим удалством и зверством атамана Тимошки.

Шайка его неистовствовала в здешних краях полвека тому назад и, судя по рассказам таких очевидцев, как Афимья, была куда многочисленнее и свирепее шайдюковской. На самый город налетали, с вооруженными жителями в открытые битвы вступали. У полковника дочку из спальни через окно выкрали, вот какие были удалыцы! Эту барышню, полковничью дочку, Афимья лично знала, красавица была, глаза, как ночь, черные, коса до пят, щеки румяные. А уж голосистая — как запоеет со своими сенными девушками, одну только и слышно. Тимошка ее в церкви за ранней обедней увидал и влюбился без памяти.

— Как в церкви? — дивились слушатели Афимьи. — Как же это он, разбойник, в церковь забрел?

— Ему это было нипочем. На нем заговоренный пояс был. Ему в этом поясе всюду был ход. Его и на губернаторском дворе сколько раз видели. А к архиерею так он раз в молельню проник. Стоит владыка на молитве ночью и вдруг слышит: вздыхает кто-то в уголке. Обернулся, видит — человек. «Кто ты такой? — спрашивает владыка. — И кто тебя сюда впустил?» Молчит. Жутко стало владыке; однако, сотворив про себя молитву, подошел к нему ближе, а человек-то от него, как тень, все дальше да дальше в стенку уходит и, наконец, совсем скрылся. Дверь заперта, окно ставней притворено, стена цела, а его нет. Тут уж владыка догадался, кто его навестил. По всем признакам — Тимошка. До тех пор пока пояс на нем был, никто изловить его не мог; ну, а как выкрали у него пояс — и конец, ослаб, как младенец, хоть голыми руками его бери, и кто первый захотел, тот и порешил его. Нашли его уже мертвым во рву, у Воскресенского женского монастыря. А кто свершил над ним смертную казнь — так и не узнали. Не объявился тот человек, как ни вызывали его. И на награду от царя, что было приказано ему выдать, не польстился.

Все, и народ, и власти, спокойно вздохнули, как узнали о гибели злодея. Но спокойствие длилось недолго, не прошло и двух лет, как опять начали пошаливать в том же лесе. Стали посылать туда солдат, и сами крестьяне ходили на разбойников с топорами и кольями, многих перерубили, но истребить корень зла не могли. Не успеет в одном уезде поуспокоиться, как в другом начинаются грабежи и разбои. В остроге места не хватало для пойманных злодеев, ожидавших суда и расправы. Так их было много, что они мерли в заточении от духоты и смрада.

Хорошо, что острог находился за версту от города, а то обыватели хоть вон беги от заразы. Селились близ острога самые несчастные, такие, которых из брезгливости ни в один порядочный дом даже на заднее крыльцо не впускали, большею частью нищие, калики перехожие, беглые из дальних губерний. Народ все тихий. Да ведь и то сказать, где уж им было буянить, когда прав на существование у них не было никаких. Не то что губернатору, а даже и последнему квартальному ничего не стоило разметать их на все четыре стороны со всем их жалким скарбом, с женами и детьми.

Жили эти люди частью милостыней, а частью мелким воровством, в сараях, сколоченных из досок, в низеньких мазанках, с оконцами, заткнутыми соломой и тряпьем от

непогоды, в покосившихся избенках, которые, как живые, трепетали при каждом порыве ветра, в пещерках, вырытых в земле, с крышей, опасливо выглядывавшей промеж бурьяна и низких кустов.

Называлось это предместье Принкулинской усадьбой, и обитать в нем считалось таким позором, что не было такого мальчишки в городе, который не полез бы с кулаками на обидчика, обозвавшего его принкулинским жильцом.

Происхождение этого названия теряется во мраке незапамятных времен. Может быть, тут была некогда усадьба какого-нибудь Принкулина, свершившего такое деяние, которое увековечило его имя в истории города, а может быть, это было прозвище разбойника, овладевшего этим местечком, перерезав владельцев его; так или иначе, но потомства этот Принкулин не оставил. Может быть, в других концах России и были люди, носившие это имя, но в здешней местности таких не находилось.

Однако, как ни чуждались Принкулинской усадьбы, местность эта до известной степени тяготела над городскими жителями, и в редком доме не было какого-нибудь кучеренка, водовоза или бабы из дворовых, которые втайне не поддерживали бы связи с кем-нибудь из принкулинских обитателей. Да и среди господ, если поискать хорошенько, нашлись бы такие, которые не брезгали услугами этих париев. Множество темных и опасных делишек устраивалось через них.

Разумеется, сношения эти хранились в глубочайшей тайне, считаясь позорными и опасными, но тем не менее всем было известно, что гадалка Бабиha, одна из древнейших обитательниц Принкулинской усадьбы, ворожит самым богатым и знатным барам в губернии, что с нею советуются во многих семейных затруднениях, что часто лекарства, прописанные доктором-немцем, втайне заменяются снадобьями, изготовленными в ее смрадном и тесном, крытом соломой жилище, наполовину вросшем в землю, с земляным полом, с ползающими по нем гадами, с черной кошкой, ручной совой и тому подобными принадлежностями истой ворожеи и колдуньи. А уж когда необходимо было заглянуть за таинственную завесу будущего или проникнуть в тайные помыслы чужой души, когда, одним словом, требовалось узнать то, чего естественными путями ни за что не добиться, тотчас же вспоминали про ворожею Баби-hу и отправлялись к ней за разъяснениями, откровением и наставлениями.

Не к кому иному как к ней, ходила и бахтеринская Ефимовна, чтобы проверить заявление дурочки Агафьи. К ней отправилась Ефимовна и тогда, когда разнесся слух о разбоях в Епифановском лесу. И вернулась она назад в неопишемом волнении.

Уж так чудно было предсказание, сделанное ей Бабиной, так чудно, что и ума не приложить. И на бобах, и в нашептанной воде, и в огне, разведенном на треножнике с угольями, везде выходило все одно и то же: никакой беды бахтеринскому дому в скором времени не грозит. Путники, все до единого человека, вернутся благополучно и с прибылью.

— Господам прибыль? — робко спросила Ефимовна.

— Всем прибыль, всему дому, — грозно напирая на слова, отвечала ворожея.

И, помешав кочергой уголья, по которым пробегали огненные змейки, она продолжала, с долгими расстановками, точно взвешивая каждое слово:

— Прибыль, прибыль... Радость и ликование... А там туманится, чернеет... Плохо видится... Не ясно... Туманится... Не вижу, касатка, не вижу. Не хочу тебя обманывать и зря брехать, не вижу, — жалобно протянула она, в унынии перед своим бессилием проникнуть дальше в сокровенную от смертных глаз таинственную область будущего.

Когда гадание кончилось, Ефимовна, передав ворожею монету, засунутую для безопасности за пазуху, стала жаловаться ей на тоску, овладевшую их барыней после рокового открытия о кознях сестры против нее.

— Нет ли у тебя снадобья какого, чтобы тоску эту с сердца у нее снять. Извелась совсем, не пьет, не ест и все ночи напролет не спит. Слышим мы, как она вздыхает да с боку на бок ворочается, и так-то нам ее жалко, страсть! Барыня-то больно жалостливая да простая. Ну, Боже сохрани, умрет, что мы тогда? Осиротеет без нее! Не будет у нас заступницы перед самим-то. А он у нас строг до лютоści, кабы не барыня, плохое было бы наше житье.

— Насчет тоски не сумлевайтесь, снимется с ее сердца тоска от великой радости, что бежит к ней из лесу...

Ничего больше не могла Ефимовна добиться от ворожеи, но и этого было достаточно, чтобы наполнить ее душу радостным недоумением, волновавшим ее тем сильнее, что ни с кем не могла она поделиться сделанным ей пророчеством. Слишком опытна была она, чтобы не знать, что только дурным можно делиться с ближними, хорошее же следует про себя хранить, чтобы сбылось. Но дворня, догадывавша-

яся о том, к кому она пошла, и с нетерпением ожидавшая ее возвращения, поняла по выражению ее лица, что ничего дурного ворожея ей не сказала, и все поуспокоились.

Помолодела Ефимовна; не сиделось ей на месте, снует без устали по дому, по двору, по людским, со смеющимися глазами, с ласковою речью.

Не была бы она такая, если бы ворожея предсказала ей беду. И все, невольно поддаваясь утешительному предчувствию, стали ждать хороших вестей.

IV

В курлятьевской семье тоже много волновались из-за слухов о разбоях в Елифановском лесу, но волнение это было совсем иного рода, чем у Бахтериных. Там вся дворянша шепотом передавала друг другу, что барыня скрыть не в силах свою радость: в такой восторг приводит ее мысль о несчастье, грозящем ее сестре. Убьют Ивана Васильевича разбойники, останется Софья Федоровна бездетной вдовой — куда же ей деться, как не в монастырь? Больше некуда... Замуж во второй раз выходить поздно, не молоденькая, да и мужа слишком любит, чтобы до конца дней не сокрушаться по нем. А в монастыре ей ничего не надо, и все состояние сестре достанется.

Ну, тогда можно будет, пожалуй, уделить малую толику на приданое Клавдии. Пусть хоть одна из курлятьевских барышень замуж выйдет, чтобы не корили люди, что мать всех трех дочерей в девках сгноила.

Время подбиралось к масленице. Курлятьевские господа получили приглашение на бал к предводителю дворянства, и ввиду могущих произойти счастливых для ее семьи событий, Анна Федоровна расщедрилась, велела своей верной Таньке вынуть из сундука французский вапер с блестящими, презент богатой московской тетюшки Татьяны Платоновны, и приказала сшить из этого вапера платье для меньшей дочери.

— А что же Катерина Николаевна с Марьей Николаевной наденут? — позволила себе почтительно осведомиться Танька.

— Старшие барышни дома останутся, — отрывисто отвечала на это барыня.

Катерина с Марьей сидели в своей комнате, наверху, за пальцами, когда меньшая сестра прибежала к ним с известием о постигшей их немилости.

С горькой улыбкой и молча выслушали они ее.

— Сестрицы милые, за что на вас маменька изволит гневаться? — спросила дрогнувшим от сдерживаемых слез голосом Клавдия, не зная радоваться или пугаться оказанному ей предпочтению

— Их воля, сестрица, — отвечала Мария, не поднимая глаз от работы.

Катерина прибавила:

— Какой же от нас интерес на бале? Маменька хорошо делает, что оставляет нас дома. Одна суета да изъязн, ничего больше.

— Да и грех, наше время уже миновало, — подхватила Мария.

Прошло более года с того дня, как ей запретили думать о Бочагове. Ни разу с тех пор влюбленные не видались, и в городе с некоторого времени упорно поговаривали о том, что отец Бочагова нашел сыну невесту в соседней губернии и что этот последний дал согласие жениться.

Мария смирилась перед судьбой. Покорности ее много способствовала старшая сестра, с которой она, с тех пор как постигло ее горе, тесно сдружилась. Теперь уж они вместе ходили к отцу и подолгу просиживали у него за душеспасительными книгами и разговорами.

И, должно быть, новый поворот в мыслях и чувствах второй дочери отвечал желанию и надеждам матери, потому что она ей теперь ни в чем не препятствовала, позволяла ей ходить с сестрой в церковь каждый день в сопровождении няни и ездить в монастырь к тетке-монахине.

Осенью Мария больше месяца там провела и вернулась домой такая смиренная да молчаливая, что к ней уж и придаться не за что было, чтоб ее бранить. На выезды в свет, которым ее продолжали подвергать вместе со старшей сестрой, она смотрела как на тяжелое испытание, подчиняясь ему с терпением и без ропота, чтоб угодить Богу.

Как и сестра, блекла она; печальное выражение точно застыло на ее бледном лице, глаза ввалились, вокруг них появились черные круги, и она так худела, что не успевали перешивать ей платья.

— Вас, сестрица, верно, замуж собираются отдать, — вымолвила Катерина, обращаясь к меньшей сестре после продолжительного молчания.

— Ах, что это вы, сестрица! — вскричала в смущении Клавдия, краснея до ушей.

— Дай вам Бог счастья, — сказала в свою очередь Мария, не поднимая глаз от работы и с трудом сдерживая слезы, подступавшие к глазам.

Она была очень нервная и давно уже страдала истерическими припадками, от которых втайне от всех лечилась домашними средствами, тщательно скрывая свои немощи и стыдясь их, как позорящего порока.

Клавдия, во всем блеске юности и красоты, свеженькая, румяная, с сверкающими, жизнерадостными карими глазами и пурпурными губами, представляла разительный контраст с увядающими сестрами.

Сердце ее сжималось жалостью к ним, но вместе с тем в душе ее поднимались и другие чувства. Жизнь брала свое. От платья, которое ей шили, она была в восторге. А красивые кавалеры! А оркестр! До сих пор она плясала только под гитару да балалайку повара Андрона на вечеринках, устраиваемых для дворни на святках, причем считала уж себя разряженной как нельзя лучше, когда ей повязывали через плечо старую материнскую шаль. Выдывала она старательно реверансы менюэта под пискливую скрипицу учителя танцев, старого поляка, но о настоящем бале она до сих пор и мечтать не смела, и у нее голова кружилась и сердце замирало от страха и волнения.

Но то, что случилось, превзошло самые дерзкие ее ожидания. Когда домашний парикмахер высоко поднял ее выющиеся пепельного цвета волосы и приколол к ним розу с сверкающими на нежных лепестках росинками да когда сверх белого атласного чехла на нее надели легкое, как облако, платье, усеянное серебристыми блестками, с короткими рукавами буфами, она оказалась такой красавицей, что все толпившиеся вокруг нее горничные, а также бабы и девчонки, выглядывавшие из дверей в коридоры, заахали от восхищения.

Да и у Анны Федоровны проскользнула самодовольная усмешка на надменном лице, когда ее позвали взглянуть на меньшую дочь в бальном наряде.

«Ну, эту, кажется, и без приданого нетрудно будет сбыть с рук», — подумала она, зорким взглядом окидывая с ног до головы смущенную девушку.

— Держись прямее, да, Боже упаси, па не перепутай, как в танец вступишь, — прибавила она вслух, строго сдвигая брови.

Прибежал и Федюша полюбоваться сестрицей. Поцеловав его, перекрестив и поручив попечениям двух нянек да мамушке, Анна Федоровна, в тюбране, с райской птицей на голове, величаво драпируясь в богатую турецкую шаль и шумя тяжелой шелковой робой, прошла через гостиную и залу

в переднюю, где лакеи ждали с салопами в руках ее появления. За нею на почтительном расстоянии шла Клавдия с бьющимся от волнения сердцем и раскрасневшимся личиком. Всю дорогу в плавно покачивающейся на высоких рессорах карете выслушивала она внимательно строгие наставления матери: не отходить от нее ни на шаг, не принимать приглашений, предварительно не взглянув на мать и не получив ее согласия, низко приседать перед дамами, опускать глаза перед мужчинами, говорить тихо и как можно меньше, не смеяться, а только улыбаться, да и то нечасто, и помнить па.

Все это мысленно повторяла Клавдия, поднимаясь за матерью по широкой, ярко освещенной лестнице с двумя рядами официантов в ливрейных фраках, в чулках и башмаках, а также и в прихожей, где снимали с нее салоп. Помнила она наставления матери и тогда, когда, потупив глаза, следовала за нею через длинную белую залу, наполненную блестящими кавалерами, военными и статскими, громко разговаривавшими между собою, а также и в гостиной, где поднялась к ним навстречу хозяйка дома, но, когда с хор грянула музыка и, отделившись от группы в дверях кабинета, к ней подлетел красавец в мундире, гремя шпорами и она, с дозволения матери, протянула ему тонкую, еще детскую руку в лайковой перчатке, Клавдия все забыла и в волшебном упоении понеслась с ним по зале с таким чувством в душе, точно она несется к вечному счастью и конца не будет испытываемому ею блаженству.

Единогласно провозглашена она была царицей бала, эта наивная, глупенькая четырнадцатилетняя девочка. Все хотели с нею потанцевать или по крайней мере поглядеть на нее. Для этого старики покидали карты, а молодые своих дам. Сановитый вельможа, находившийся проездом в городе и в честь которого давался этот бал, пожелал быть представленным г-же Курлятьевой, чтобы поздравить ее с счастьем обладать такой прелестной дочерью, заверяя при этом чество, что Клавдия могла бы служить украшением столичного общества.

— С вашей стороны жестоко, сударыня, лишать вышедший свет такой красы, — прибавил он галантно.

Лучшие женихи наперебой старались заручиться обещанием Клавдии протанцевать с ними хотя бы один экосез или один матрадур, и даже граф Паланецкий, знатный вельможа, появившийся в здешнем городе с месяц тому назад с целью купить имение, обратил на нее внимание и пригласил ее на мазурку. Одним словом, успех ее первого выезда в свет был полный.

Да и дома впечатление, произведенное ее красотой, долго не рассеивалось. Уж и карета, возившая барыню с барышней на бал, давно отъехала, и все свечи и кенкеты в господских комнатах были погашены, и лакеи легли спать на кониках и на полу, а в девичьей все еще толковали про Клавдию Николаевну

— Эту в Христовы невесты ей записать не удастся, — ворчала сквозь зубы старуха Степановна, барынина кормилица, спустившаяся с лежанки, чтобы взглянуть на маленькую барышню в бальном наряде. — Глаза-то, как звезды!

— Да, уж, красавица, нечего сказать.

— И сестры были хороши, но она куда их лучше.

— Женихи-то все глаза на нее проглядят.

— Не сглазили бы только, упаси Бог!

— Зашила ты ей в поясок ладанку, что я тебе дала?

— Зашила, бабушка, не бойся.

— Ну, значит, злого глаза бояться нечего.

— А все же, как вернется, надо водицей с уголька sprysнуть.

— Уж это само собой

— И кто мог думать, что такая красавица писаная из нее выйдет! Вылитая тетенька Татьяна Платоновна

— Это старая-то барыня?!

— Дура! Да ведь и она тоже молоденькая была. А за красоту-то ее к царице в фрейлины взяли.

— Как сейчас ее вижу, как мы ее на придворный бал снаряжали. Тогда носили юбки-то пузырями огромнейшими, панье вершюгадон назывались, а лиф с мысом ниже брюха и весь на костях, вроде как панцирь у рыцаря. Башмаки на красных каблуках, а волосы в пудре, как и теперь, но только куда больше наворачивали на них всякой всячины, и буклей, и цветов с листьями, и камней драгоценных, а поверх всего либо корабль, либо птичка, либо другое что

— Как на патретах, что в гостиной висят?

— Вот, вот. На патретах-то родители барина написаны

Пока разговоры эти происходили в девичьей, старшая няня укладывала в постель наследника курлятьевских господ, ненаглядного маменькиного баловня Федюшу. И, как всегда, чтобы он скорее заснул и чтобы грезились ему приятные сны, монотонным голосом рассказывала она ему сказки, тщательно избегая при этом упоминать про ведьм и леших, останавливаясь исключительно на приятных и красивых представлениях очарованных садов с золотыми яблоками, на подвигах юных царевичей в погони за красавицами царевнами. Красноречиво описывала она озера с

плавающими лебедями, превращающимися, при мановении волшебной палочки, в пригожих девиц, и прочее, все в том же приятном роде. И все сказочные герои, о которых шла речь, непременно назывались Федичками, и у всех у них были золотые кудри и синие глаза, так что слушателю поневоле казалось, что ему про него самого рассказывают, что это он скачет по полям и долам на Сивке-Бурке, взлетает под облака на Жар-птице, лакомится золотыми яблоками и всевозможными сластями во дворце царя Берендея и похищает себе в невесты хорошенькую девочку из заколдованного терема, чтобы всю жизнь потом играть с нею в чудесном саду, где все деревья сахарные, ручьи сытовые, беседки прянишные.

Федичка спал в спальне матери, на ее высокой и широкой кровати из красного дерева, под штофным красным пологом, спускавшимся с потолка из когтей большущей медной птицы с распростертыми крыльями.

Анна Федоровна так его обожала, что и ночью не хотела с ним расставаться. С той минуты, как он появился на свет, решила она, что он займет на ее широкой кровати место изгнанного из супружеской спальни Николая Семеновича.

А наверху в комнатке старших барышень, убого обставленной сборной мебелью, с двумя жесткими и узкими кроватями и с пальцами у окна, что выходило на тот самый пустырек, на который отворялось и окно папенькиной модельни, перед большим киотом, заставленным древними, почерневшими от времени образами с теплившейся перед ними и день, и ночь лампадой, — вот что происходило.

В эту достопамятную для них ночь, после долгого совещания, открыв друг другу душу, поведав одна другой без утайки сокровеннейшие мысли и чувства, сестры приняли роковое решение удалиться навсегда от мира. Разве все их мечты, все их надежды на счастье не были разбиты и рассеяны в прах? Не на что им больше уповать, нечего ждать в миру, надо, значит, уйти из него. Очень просто, не они первые, не они последние так поступают. Для чего же и монастыри построены, если не для того, чтоб измученные души находили в них убежище от грешных воспоминаний и покой? Здесь они лишние, все ими тяготятся, никому они не нужны. Вот только папенька... Да, жалко им будет с ним расстаться, не слышать его кроткого, любовного голоса, не видеть его печальных, полных жалости глаз, не целовать его рук и не прижиматься к его груди, чтобы наплакаться всласть. Но ведь и папенька не от мира сего,

и духом они всегда с ним будут неразлучно. Он их так хорошо понимает, так им сочувствует! Он рад будет благословить их на затворничество и на служение Богу. Значит, нет препятствий и с этой стороны. Правда, они еще очень молоды, особенно Мария, ей всего только девятнадцатый год идет, но тем лучше, тем совершеннее жертва и тем выше будет награда на небесах.

И они решили дать в эту же ночь страшный, бесповоротный обет, а там что будет, то будет, долго ли, скоро ли наступит та минута, когда все поймут, что удерживать их не стоит, все равно после обета, данного Богу, они уже будут связаны с Ним навеки и на все препятствия будут взирать как на искушения, посланные Им же, чтоб испытать их твердость в любви и вере.

Всю ночь простояли они в одних сорочках на коленях перед образами, с глубокими вздохами повторяя молитвенные воззвания к Невидимому Духу, к Духу благодати, давно уже предчувствуемому их истерзанным сердцам, и наконец к утру Дух сошел на них. Все ярче и ярче разгорались их лица, сверкали глаза, непонятым возбуждением наполнялась их грудь, затопляя душу неземною радостью и восторгом, и все громче и громче срывались молитвенные слова с их воспаленных губ.

И стало казаться им, что Он им внемлет, Тот, к Которому они обращались, что Он приближается к ним, нисходит на них свыше. И душа их рвалась из тела Ему навстречу, и слияние с Ним было так близко, что слышались уже грешными ушами райские звуки, гармония ангельского песнопения, а темные лики святых оживали, преображались, ризы их блестели белизной и золотом, точно сотканые из солнечных лучей, а божественно-кроткие лики им улыбались, притягивая их к себе постепенно оживающим взором.

Восклидания восторга и радости невольно вырывались из уст молящихся. И чувствовали они, что Кто-то овладевает их языком и мыслями, произносит за них слова, составляет тело их двигаться, а сердце трепетать неземным блаженством, проникая в грудь вместе с дыханием; чувствовали они, что в них вселяется Божий дух.

И восторженное состояние, овладевшее ими, стало мало-помалу переходить в исступление. Первая начала трестись, как лист под порывом ветра, Мария. И вдруг ее точно невидимой силой сорвало с полу и, бледная, с распущенными волосами и остановившимся пристальным взглядом широко раскрытых глаз, стала она кружиться по

комнате, сначала тихо и нерешительно, а потом все быстрее и быстрее, испуская бессвязные стоны, автоматически поднимая руки и увлекая за собою сестру.

На другое утро их нашли в глубоком обмороке, распростертыми на полу перед киотом. Тела их были покрыты черными пятнами и ссадинами, пряди вырванных волос валялись по всем углам, окровавленные сорочки были разорваны, но, когда удалось наконец привести их в чувство, ни та, ни другая не могли сказать, каким образом очутились они в таком состоянии, ничего они не помнили.

Впрочем, кроме старой няни, никто их и не допрашивал. Анне Федоровне было не до них. Едва успела она проснуться утром, после бала, как ей сообщили новость, перед которой все остальные интересы отошли на задний план: она узнала, что муж ее сестры, Иван Васильевич Бахтерин, благополучно вернулся из своего путешествия и привез с собою маленькую барышню.

Ребенку этому на вид года два, одежда на нем чудная, и что лепечет — ничего не понять, не по-русски будто. Иван Васильевич как вошел в комнату, так и сказал выбежавшей к нему навстречу супруге:

— Вот тебе дочка, Сонюшка! Господь услышал наши молитвы и послал нам дитя.

И такое у них теперь ликование и радость, точно родной ребенок явился у них на свет.

V

Как не сказать, что чудом попала Магдалиночка в дочку к Бахтериным.

Один только Бог мог устроить таким образом, чтобы метель застигла Ивана Васильевича у самого въезда в Епифановский лес да чтоб из Зобинского хутора крестный Степки-форейтора вышел за околицу искать телку как раз в то время, когда барский поезд, гремя колокольцами и бубенчиками, выезжал из лощины, чтобы свернуть в лес.

Испугался старый дед за господ и про телку забыл. Неизвестно, видно, проезжим, что у них тут не далее как ночью произошло, если решаются этой дорогой продолжать путь. Стал он вглядываться старыми глазами в колымагу, запряженную восьмеркой лошадей и нырявшую из сугроба в сугроб, и узнал в ней экипаж бахтеринского барина, который проездом здесь в позапрошлом году останавливался и

чай кушал в их избе. «Да это никак Степка фореитором передней парой правит... Так и есть, сюда глядит».

— Куда вы? Куда? Остановитесь! — закричал он, что было мочи, махая обеими руками и шагая по сугробам навстречу проезжающим.

Поезд остановился, и, когда старик, сняв почтительно шапку, подошел к возку, из оконца, отороченного мехом, выглядывал бахтеринский барин.

— Что такое? Чего ты кричишь? — строго спросил Иван Васильевич.

— Неладно там, барин, в лесу-то, несчастье случилось нонешней ночью, — отвечал старик, низко кланяясь и робея под пристальным взглядом, устремленным на него. — Уж такая-то беда, страсть!

— Да что такое? Говори толком.

— Разбойники тут набедокурили. Вот такой же, как и у тебя возок, в щепки разнесли, лошадей увели, людей перерезали...

— Что ты говоришь? — вскричал в ужасе Бахтерин.

— Истинную правду говорю, вот как перед Богом!

— Шайдюкины штуки, должно быть, — заметил кто-то из столпившейся вокруг рассказчика бахтеринской челяди.

Все, и пешие, и конные, сгруппировались вокруг него, с жадностью ловя каждое слово старика и с испугом переглядываясь между собой.

— Шайдюк, он самый и есть, — подхватил старик. — Давно уж сюда пробирается. У Темниковского-то бора здорово его помяли, и пещеру, где с шайкой прятался, нашли, да солдат туда караулом приставили, чтобы всех похватать, как задумают туда вернуться, ну вот он сюда и перекочевал. Давно уж мы его ожидали, кажинную минуту лютой смерти себе ждем...

— В город дали знать? — прервал его строго барин.

Старик замялся:

— Да кому же в город-то ехать, касатик? Народ у нас бедный, пешком не дойти, лес-то снегом завалило, из него и не выбраться, а если в обход, через Малиновку, на лошади...

— Они, дьяволы, лошадь-то бесприменно отымут, — вставил один из присутствующих, ободренный сосредоточенным вниманием, с которым барин выслушивал старика.

— Да и человека-то, пожалуй, не помилуют, — не вытерпел высказать свое мнение и другой. — Ему, разбойнику, это нипочем.

— Известное дело! Креста на ём нет...

— С опаской с ним надоть, — загудел в толпе третий голос. — Уж такой народ.

— Значит, зарезанные люди так и лежат в лесу и никто на помощь к ним не двинулся? — спросил дрогнувшим от волнения голосом барин.

— Да что же с ними поделаешь! — вздохнул старик, почесывая в затылке.

— Где же именно это случилось и как вы узнали? — продолжал допрос Иван Васильевич.

— У самой, почитай, опушки. У нас на хуторе слышно было, как они бились, сердешные. Живо всех порешили, один только подольше других кричал. Разбойники-то, по всему видать, с ямщиком столкнулись, ни ямщика, ни форејтора промеж зарезанных не видать.

— И никто к ним не тронулся на помощь? — с негодованием повторил свой вопрос Бахтерин.

— Где тут! Ведь их сила! Да и заговор на них. Известное дело, разбойники душу свою нечистому продали, — оправдывался старик, уныло покачивая головой.

— Уж не без того...

— Кому в силу с ними тягаться!..

— Они не помилуют, — раздались сочувственные возгласы в толпе.

— Вы, значит, и не ходили туда? — спросил барин.

— Как не ходили?.. Ходили. Яшка беспалый раньше всех пошел, а также Федор с братом, и Самсоныч тоже ходил, да все, почитай, ходили. Бабы и те бегали на зарезанных смотреть. И я ходил. Как Яшка-то беспалый принес нам в избу девчоночку...

— Какую девчоночку?

— Да ту, что жива-то осталась, проезжих господ дочка.

— Не всех, значит, перерезали, что же ты врешь? — грозно закричал барин.

— Я не вру, это точно, что всех перерезали, и господ, барина с барыней, и лакея их, и девку, одно только дитя уцелело, не тронули. Лежит, сердешная, в сторонке, на подушках, под тулупом и сладко так спит; кругом снег в крови, люди Богу душу в муках отдали, а она спит себе...

В толпе пронесся одобрительный шепот.

— Ишь ты! Разбойники, а тоже и в них совесть заговорила.

— Уж это Бог, значит!

— А то кто же? Вестимо, Бог.

— А прочие все найдены мертвыми? — спросил Иван Васильевич.

— Дышал еще барин-то, как подошли к нему наши. Красивый такой, молодой. А как стали его подымать — и скончался. А барыня-то, видать, до последней невозможности ребеночка своего отстаивала, ручка у нее одна отрублена, и как впилась в одежду младенца, так и осталась...

— Господи, какой ужас! — прошептал Иван Васильевич, крестясь. — Где же этот ребенок? Неужто вы его в лесу, на морозе, оставили?

— Как можно, барин! Живая душа, нешто можно бросить! Яшка ее прямо к моей старухе принес. Нянчатся таперича с ней все наши бабы. Согрели, молочком попоили, покричала маленько, как проснулась, да чужих увидала, ну а потом сноха Авдотья взяла ее на руки, да и закачала, заснула. А таперь уж не знаю, опять стала пищать, как я из избы-то вышел телку посмотреть. Телка у нас со вчерашнего вечера пропала...

— С каких же пор ребенок-то у вас? — прервал его барин.

— С утра. Как затихло все да забрежжило, наши и пошли в лес. Цельную ночь на хуторе никто не спал...

— Где тут спать, когда в двух шагах людей режут, — проворчал с презрительной усмешкой Федор, камердинер Ивана Васильевича, бывалый человек, сопровождавший барина и в поход, и за границу, когда Бахтерин состоял еще на службе и отличен был царицей.

— Да как же это вы, братцы, на помощь-то не побежали? Ведь отстояли бы, может быть, — с укоризной вымолвил барин.

— За свою шкуру тряслись, сударь, — заметил Федор, — мужичье, известное дело, на поклон готовы к разбойникам идтить, чтобы только не тронули.

Старик искоса взглянул на него, но не проронил ни слова. И барин тоже задумался. Минуты две тишина, воцарившаяся в маленькой толпе конных и пеших, теснившихся у рыдвана, ничем, кроме храпа коней, постукивания копыт о мерзлую землю да свиста ветра поднимавшейся метели, не нарушалась.

Небо заволочло свинцовыми тучами, мороз крепчал, и больно, как иглами, кололи лицо кружившиеся в воздухе снежинки. Дорогу, протоптанную редкими проезжими между сугробами, заметало все выше и выше, и пространство, которое оставалось проехать до остановки, казалось необъятным, без малейшего признака какой бы то ни было путеводной нити; ровной скатертью раскидывалось оно на три

стороны, граница четвертой — с таинственным лесом, с окутанными, как саваном, деревьями.

После рассказов старика на этот лес смотреть невозможно было без содрогания, и можно себе представить, как жутко стало спутникам бахтеринского барина, когда после небольшого раздумья он приказал свернуть в этот лес именно к тому месту, где совершено было страшное злодеяние над неизвестными путешественниками.

— А ты, старик, нам путь укажешь. Посадить его на козлы, — прибавил он, обращаясь к Федору.

Приказанию этому немедленно повиновались. Кучер влез на козлы со стариком, форейторы и прочие всадники сели на коней, с которых слезли, чтобы слушать повествование хуторянина, и, звеня колокольчиками и бубенчиками, поезд двинулся в путь.

Но у опушки леса пришлось остановиться, дальше проезда не было. Всадники спрыгнули с коней, барин вылез из колымаги и, оставив кучера с одним из форейторов караулить лошадей и экипаж, зашагал по сугробам в сопровождении остальной челяди за стариком по направлению к месту, где совершено было злодеяние.

Старик был прав, разбойники нагнали путешественников шагах в пятидесяти от опушки, и на хуторе не могли не слышать воплей о помощи несчастных жертв. Очевидно, они пытались защищаться против многочисленной шайки, стоило только взглянуть на следы побоища, чтобы убедиться в этом. Прислуга, седой старик с благообразным гладко выбритым лицом, по всему видно камердинер, был, без сомнения, сначала оглушен ловким ударом кистеня или дубины, а потом уж изрублен топором, в то время как на господ накинудись с ножами.

Захваченный врасплох красивый брюнет, с тонкими правильными чертами энергичного лица и выхоленными руками, успел, однако, вынуть кинжал и некоторое время защищался, прежде чем упасть, но подруга его, миниатюрная, деликатная дама, с таким же, как и у мужа ее, нерусским лицом, по-видимому, скончалась от первого удара, нанесенного ей острым ножом в бок. Должно быть, руку ей отрубили уже мертвой.

Субретка, молоденькая девушка со вздернутым носом и русой косой, лежала с перерезанным горлом, в одной сорочке и в юбке, с медным крестом на шее.

Что же касается ее барыни, кудрявой красавицы, испустившей дух у ног мужа, то как в ней, так и в нем можно

было признать господ по клочкам уцелевшего на них белья. С первой забыли или нашли ненужным снять обувь, шелковые чулки и атласные на меху башмачки, залитые кровью, а на единственной руке чернел браслет из волос с золотым медальоном, который тоже почему-то не заблагодарсудилось злодеям снять, не заметили, может быть.

Иван Васильевич опустился на колени перед этим трупом, приподнял окоченевшую ручку, не снимая браслета, открыл медальон и увидел портрет лежащего возле мертвеца.

Кругом валялись обломки сундуков, чемоданов, дорожных баулов красного и розового дерева, чудесной работы, изрубленные, затоптанные в снег и грязь, залитые кровью.

Экипаж, прекрасной работы дормез, поставленный на полозья, находился тоже в отчаянном виде, с оторванными дверцами, выбитой задней спинкой и перепачканный грубыми кровавыми руками, шарившими в нем, вытаскивая все, что представляло какую-нибудь ценность.

Покончив с несчастными путешественниками, злодеи преспокойно занялись ограблением имущества своих жертв. Чего им было бояться? Они знали, что на хуторе в восемь, девять дворов, близ которого они произвели нападение, никто не шелохнется, никто не отважится им мешать, и действовали на просторе, с полной уверенностью в успехе.

Сторона глухая, время зимнее, от всего далеко. Когда еще до города донесется весть об их деянии, да когда еще там надумают следствие произвести! Пожалуй, до тех пор и следов ни от чего не останется. Трупы, если волки да вороны их не пожрут, разложатся и вместе с таящим снегом в землю впитаются, кости звери растаскают, кровь смоеся дождями, не останется и следов злодеяния. Все ценное было увезено, даже с убитых верхняя одежда была снята.

Бахтеринский барин приказал камердинеру влезть в то, что осталось от дормеза, и тщательно осмотреть, не найдется ли там чего-нибудь забытого или не замеченного разбойниками, какого-нибудь предмета, по которому можно было бы узнать, кто такие эти несчастные, сделавшиеся их жертвами. Долго шарил Федор по стенкам и по дну кузова, но ничего, кроме мокрых обломков и мусора, не находил.

— Все обобрали? — спросил барин, подходя к карете.

— Все дочиста. Их тут, верно, целая орава перебивала; одной грязи да снегу с кровью столько на ногах натаскала, что, как свинья, перепачкался, — отвечал Федор, вылезая из кузова. — И обивку-то всю отодрали, так клочьями и висит, деньги, верно, и тут искали.

Он был мокрый и грязный с ног до головы. В руках у него что-то белело.

— А это что у тебя? — спросил барин, глянув на его пальцы.

— Бумажка какая-то, к стенке прилипла. Как шарил-то, так к ладони пристала.

Иван Васильевич поспешно взял бумажку и стал внимательно ее рассматривать.

Это был клочок, вырванный из середины письма, написанного красивым, твердым почерком по-французски, но так удачно оторванном, что ни одной фразы не уцелело.

На одной стороне можно было только прочесть: «...voeux de mon coeur... Vous conduira... but sacré... expiation suprême»... А на другой еще меньше, среди отдельных букв только три полных слова: «la petite Madeleine», и ничего больше. Ни подписи, ничего такого, что навело бы на догадки об имени и происхождении бездыханных трупов, коченевших на промерзлой земле под старыми, покрытыми инеем деревьями, с открытыми в смертельном ужасе глазами на искаженных муками лицах и с глубокими зияющими ранами на груди.

Долго простоял над ними в раздумье Бахтерин. В воображении его проносились леденящие душу подробности кровавой драмы, происходившей тут несколько часов тому назад. И так удручающе действовало это зрелище ему на душу, что он не в силах был ни о чем думать, кроме свершившегося и непоправимого события.

Перед его духовными очами проходили одна за другой сцены неравной, отчаянной борьбы несчастных застигнутых врасплох жертв с искусными, набившими себе руку в грабежах и убийствах злодеями. Он слышал их стоны, мольбу о помощи и бледнел от жалости и негодования. Кулаки его невольно сжимались, зубы скрежетали, а глаза то загорались гневом, то увлажнялись слезами.

Никогда не видел он раньше этих людей. Когда они были живы, он их не знал и, может быть, вполне равнодушно отнесся бы к ним при встрече; но мертвые они ему стали так близки, как родные, как друзья. Хотелось отомстить за них, хотелось что-нибудь для них сделать, чем-нибудь проявить чувство братской любви, вызванное в его сердце зрелищем их истерзанных, беспомощно распростертых тел.

Что должны были они испытать, прежде чем испустить дух!

Особенно злополучный молодой человек в батистовой сорочке, с дорогими кружевами, лежащий ближе всех к

экипажу. Не говоря уже о том, что и чувства, развитые воспитанием в нем, были способнее воспринимать страдания, и нервы болезненно тоньше, кроме этого, он мучился не за себя одного, как каждый из окружающих его слуг, а также и за любимую женщину, и за обожаемого ребенка! Каково ему было видеть, что он не в силах их отстоять? Каково ему было лежать недвижимым, в то время как убивали его супругу? А что и эта нравственная пытка выпала ему на долю, в этом нельзя было сомневаться. Его нашли еще живым после ухода разбойников, он, значит, все видел, все слышал, как умирала его подруга и верные слуги, как расхищали его имущество. Он чувствовал, как с него, смертельно раненного, срывали одежду, он видел, как те же грубые, пропитанные кровью руки обнажали и ее, ту, которую он, без сомнения, холил и берег, как лучшее свое сокровище! Он видел, может быть, ту ручку, созданную для страстных поцелуев, отрубленной, окровавленной, застывающей в усилии не покидать ребенка, которого от нее оторвали силой.

По свидетельству старика, ребенка нашли с рукой матери, вцепившейся с настойчивостью смерти в надетое на него платье.

Но кудрявая красавица, к счастью, скоро скончалась. Агония ее не длилась, как у мужа, несколько часов; она не видела, как он истекает кровью, как томится в тщетных усилиях приподняться и подползти к девочке, которая по всей вероятности долго плакала и кричала, прежде чем в изнеможении заснула.

Ждать смерти при такой обстановке!

И как он не замерз? Как мог он дышать до утра! Может быть, он был бы спасен, если бы раньше подать ему помощь...

О как мучительно было это предположение!

Говорят, что, когда люди подошли, он открыл глаза и шевелил губами, тщетно стараясь что-то сказать; говорят, что кровь хлынула у него из раны в груди от этого усилия и что в глазах его выразилась та смертельная тоска, что читалась в них до сих пор...

Что хотел он сказать?

И, опустившись перед мертвым телом на колени, всматриваясь в застывшие черты и ни на что не глядевшие глаза, Бахтерин бессознательно искал в них ответа на мучивший его вопрос.

И вдруг ответ явился такой прямой и ясный, яснее которого и с живых губ не сорваться. Бахтерина осенила

неожиданная мысль. Сердце его затрепетало от радостного волнения, он нашел средство исполнить свой долг перед убитым, долг братской любви во Христе.

— Твоя дочь будет нашей дочерью, — прошептал он, с трудом сдерживая слезы умиления и восторга, подступавшие к горлу. И, нагнувшись еще ближе к труп, он запечатлел свое обещание поцелуем в холодные, безжизненные губы, а потом закрыл ему глаза. И мертвое лицо преобразилось, оно стало величаво и спокойно.

VI

Наворожила принкулинская колдунья, дивиться только надобно, как верно.

Когда Ефимовна рассказала в девичьей своим близким, таким же почтенным женщинам, как и она сама, про предсказание ворожеи, все заахали от изумления.

— Вот поди ж ты, наперед узнала все, как будет.

— Узнала, голубушка, узнала. Вот так и сказала, как я вам говорю: прибыль вашему дому из лесу прибежит; прибыль.

— Так, так, прибыль, — закивали одобрительно слушательницы.

— Уж как барыня-то рада! Точно свое дитя, так уж она им восхищается.

— Крестить, слышь, будут?

— Уж это непременно.

— Аы может быть, она уже крещеная?

— Где уж! Родители-то, видать, не русские. У одной только холопки на шее крест нашли.

— Да, может, с господ-то сорвали. Золотые, верно, были.

— Один браслетик на сердешной оставили, — вздохнула старшая горничная Марина.

— Сиротке на память, — подхватила ее соседка.

— Тише вы, про этот браслет не приказано поминать, барин строго-настрого запретил тем, кто видел, про это рассказывать. Господа совсем в дочки хотят ее взять, в наследницы. Царице прошение будут писать, чтобы, значит, и фамилию их носила, и дворянство, и все прочее как родной дочери ей предоставить.

— А вдруг им Господь своего ребенка пошлет?

— Ну, где уж!

— Вот барыня и говорит, — продолжала Марина (как приближенной горничной, ей было лучше всех известно

намерение господ; из гардеробной-то стоило только дверь маленько приотворить, все было слышно из спальни), — я ее, как дочь, буду любить, и она меня за родную мать должна почитать. И знать ей не надо, что не я ее родила. Тот мне враг будет лютый, кто ей это скажет.

— Уж это, как есть. Зачем ей знать?

— А барин сказал: «Все-таки надо то, что от родителей осталось, ей сохранить». А барыня заплакала и говорит: «Значит, она узнает, что мы ей не родные, я этого не хочу».

И долго она плакала, а он ее утешал.

— Да что осталось-то? Щепки от сундуков да клочья от сорочек.

— Может, и еще что найдется. Барин сам к губернатору ездил и все ему лично передал. Губернатор солдат обещал в Епифановский лес послать. Может, как разбойников-то выловят и добро, что они награбили, отыщется.

— Где уж! От них уж, чай, в лесу-то Епифановском и след простыл.

— Ну, нет, у них там притон, рассказывают. Все же солдатам их не найти; обернутся медведями либо птицами, и улетят, им это ничего не стоит, на них заговор.

— А как при крещении назовут-то ее, не знаешь?

— Магдалиной.

На всех лицах выразилось разочарование. Имя это никому не понравилось. Не русское, как будто. Даже и тогда, когда Ефимовна объявила, что оно в святцах есть, а Марина напомнила про монахиню в Воскресенском монастыре, носившую это имя, даже и тогда никто не хотел с ним примириться. По их мнению, имя это напоминало иноземное происхождение девочки и отчуждало ее от приютившей ее семьи.

Намудрили господ нехстати. Чтобы назвать ее в честь приемной матери Софьей или в честь старой барыни-покойницы Екатериной, уж тогда действительно русской барышней выросла бы.

— Это барин настаивает. Говорит, что родители ее так называли.

— Родители? Да откуда же он это знает? Всех ведь их мертвыми нашли.

На это никто не мог ответить. Клочок письма, найденный в карете, Иван Васильевич никому, даже жене, не показал. Он спрятал его вместе с портретом в медальоне на волосном браслете в самый потаенный ящик своего бюро.

Впрочем, против имени Магдалина жена его не протестовала; она находила имя прелестным и объявила, что оно ей всегда нравилось.

— Врожее-то принкулинской каравай бы за ворожбу отнести, — раздался с лежанки голос старой Ненилы.

Предложение это было единогласно одобрено.

— Надо, надо, чем ни на есть, ей поклониться. Уж так чудесно нагадала, лучше нельзя.

— Что ж, я к ней схожу, пожалуй, — согласилась Ефимовна, — каравай ей спеку да холста на рубашку отрежу. Не худое она нам наворожила, а хорошее.

— Вещая старица, это, что говорить.

В следующую же субботу Ефимовна поставила с вечера тесто из белой пшеничной муки, а на следующее утро, чуть свет, спекла каравай и, завязав его в чистое полотенце, вышла из дому.

Еще не звонили к ранней обедне. На улицах было темно и пустынно. В воздухе пахло весной, и снег начинал таять. Еще неделька такой погоды, и такая будет грязь невылазная, что ни пешком пройти, ни на конях никуда не доехать. Ну, а теперь пока еще ничего, кое-как пробраться можно.

Ефимовна торопилась. Надо было до пробуждения барыни обернуться. Ее приставили старшей няней к маленькой барышне Магдалине Ивановне, и, хотя дали ей на подмогу одну женщину да трех девчонок, все-таки дел было по горло. Девочка была непокойная, плохо кушала, мало спала, все чего-то просила, кого-то искала, вздрагивала, кричала при малейшем шуме и, невзирая на уход и ласки, не привыкала к окружающим. А уж прошло с месяц, как она у них, и на днях ее окрестили торжественно, губернатор был крестным отцом, а Софья Федоровна крестной матерью.

Когда вынесли ее на атласной подушке всю в лентах и кружевах из парадной залы, в которой совершили над нею святое таинство, в буфетную, где дворня собралась с поздравлением, и всем было приказано смотреть на нее, как на настоящую барышню, все равно как на родную дочку господ, те немногие, что допущены были поцеловать крошечную ручку будущей госпожи, восторгались красотой ребенка и смысленным не по летам взглядом ее больших темных глаз. Волосы у нее были черные и кудрявые, как у отца, и остальными чертами она была на него, как две капли воды, похожа, но приближенные бахтеринских господ в один голос уверяли, что она вылитый портрет Ивана

Васильевича. «Ну вот точно родное дитя нашего барина, и глазки такие же, как у него, и ротик, и носик».

Живо поняли, что ничем нельзя больше угодить барину, как этим.

Господа задали большой пир по случаю крестин приемной дочери, весь город был приглашен, а дворне напекли пирогов с начинкой, нажарили баранины, поставили вина и браги вдосталь, чтобы пили за здоровье маленькой барышни.

Столько было хлопот и суеты по случаю ее появления в доме, что няньке весь месяц ни на часочек невозможно было с двора урваться. Не то что днем, а и ночью-то барыня чуть не каждую минуту прибегала в детскую посмотреть на ребенка, как будто боялась она, что доставшаяся им таким необыкновенным образом девочка таким же чудом отнимется у них.

Чтоб идти к ворожее, Ефимовна должна была взять грех на душу, отпроситься к ранней обедне и посадить на свое место у колыбельки ребенка двух старушек из самых надежных.

Как сказано выше, улицы были пусты, когда она проходила по ним мимо запертых ворот, калиток и домов с притворенными ставнями. Все спали, даже кошки и собаки. Кое-где при ее приближении за забором принимались было тявкать сторожевые псы, но лениво, для очистки совести больше, не чуя опасности для хозяйского добра от почтенной старушки в опрятной беличьей шубке, что пробиралась с узелком в руках к заставе.

Первым живым существом, метнувшимся ей на глаза, был часовой у острога, да и тот, опершись спиной о будку, а руками на ружье, сладко подремывал.

Но когда, миновав острог, она спустилась с пригорка к оврагу, по крутым скатам которого лепились убогие жилища обитателей прикулинской усадьбы, Ефимовна увидала со всех ног бегущего к ней навстречу мальчика. Он был в таких попыхах, что промчался бы мимо, не останавливаясь, если б его не окликнули. Мальчика этого звали Петькой; он возвращался домой со свидания с сестрой, скрывавшейся здесь с тех пор, как она сбежала от новых господ.

Продали ее курлятьевские господа года три тому назад в дальнее место, но она так соскучилась по родному гнезду, а может быть, и по милому, оставшемуся здесь, что не вытерпела и сбежала. По глупости, конечно, не сумела рассудить, что прежние господа ее не примут и что, попа-

дись она только на глаза начальству, живо заберут ее в острог, закуют в кандалы, выдерут и отправят туда, откуда она явилась. На ее счастье ей встретились две монашки, отправлявшиеся за подаванием по одному пути с нею; они посоветовали ей остановиться в Принкулинской усадьбе, где у них были знакомые, и прожить там, пока не осмотрится да не узнает, что ей делать дальше.

Ефимовне все это было известно. Между дворней курлятьевских и бахтеринских господ спокон века существовали самые тесные отношения. При покойных старых господах все вместе жили на одном дворе.

Но тем не менее, остановив мальчишку, Ефимовна сочла своим долгом спросить: откуда он бежит и для чего?

— По делу, тетенька, вот как и ты тоже, — дерзко ответил он, тряхнув кудрями.

— Ах ты, щенок! Я те задам дело! Туда же, с людьми равняется, — с притворным гневом проворчала старушка, и тут же с добродушной усмешкой прибавила: — Ну что Паранька? Поправляется?

Широкая улыбка расплылась по лицу ребенка.

— Поправляется, тетенька, слава Богу! Только слаба больно, с ног валится. Как силами наберется, так и уйдет.

— Куда уйдет?

Он промолчал.

— Куда ж она уйдет? — повторила Ефимовна.

— Далеко, — уклончиво отвечал он.

— За Киев, к полякам, что ль? Ну, чего ты, дурак, боишься? Предательница я вам, что ли? Не бось, не выдам; матка ваша мне кумой доводилась.

— Я не боюсь, тетенька, а только... Уж больно мне крепко наказывали никому не говорить, — запинаясь, пролепетал смущенный мальчик. — Крест заставили целовать, что никому не скажу.

Лицо Ефимовны сделалось серьезно.

— Ну, и не говори, коли так, Христос с тобой, беги себе с Богом. А Параньку твою я повидаю, да гривну ей на дорогу подам, пусть нашу маленькую барышню в молитве помянет.

— Спасибо, тетенька.

Он побежал к городу, а она спустилась по узкой тропинке, протоптанной между сугробами, в овраг.

Передав ворожее подарки и погудорив с нею малую толику, Ефимовна отправилась к Параньке, которая жила в землянке у слепого нищего, каждый день с раннего утра выходившего с поводырем на паперть Николы-угодника,

что на базарной площади. Весь город знал этого слепого нищего, и так много подавали ему и деньгами, и всяким добром, что в его землянке пресытно и претепло жилось и ему самому, и тем, кого он призывал. Жильцы у него не переводились. Теперь, кроме Параньки, девки лет двадцати, ютилась у него монашка, да еще двое каких-то средних лет, мужчина с бабой, с довольно-таки зверскими лицами. Особенно страшна была баба, глаза у нее были такие злые да хитрые, что невольно вздрогнешь, когда она на тебя ими уставится.

Но в то время, как Ефимовна сидела у ворожеи, солнышко показалось, и к ранней обедне на соборной колокольне ударили, слепой потащился с поводырем к своему месту, на паперть, побрела туда же, только другой дорогой, и чета разбойничьего вида, так что в землянке, кроме Параньки с монашкой, высокой, худой женщины с бледным рябым лицом, никого не осталось. Обе почтительно поднялись и низко поклонились при появлении почетной гостьи.

— Здравствуй, девонька, здравствуй! Здравствуй и ты, Фелицата, — приветливо поздоровалась с ними Ефимовна. — Сейчас братишку твоего встретила. Уходишь отсюда, говорит? Попрощаться с тобой пришла. Дай тебе Бог всего хорошего, — обратилась она к Параньке.

— Ангела моего пришлю те, да поведет он тя к истине, — важно вымолвила монашка.

Ефимовна покосилась на нее.

— Ну, где уж нам, грешным, ангелов ждать, дай Бог, чтоб хоть от злых людей оградил Господь да в конец пропасть не допустил, — сказала она со вздохом.

И снова, повернувшись к девушке, которая, стоя, почтительно ее слушала, она спросила:

— Куда же ты думаешь идтить, касатка?

— Судьбы Господни неисповедимы, — снова вмешалась в их беседу черная женщина.

— В обитель свою, что ли, она тебя подбивает? — довольно-таки презрительно кивнув на монахиню, спросила Ефимовна.

Параня молча кивнула. Наступило молчание.

— Оно, конечно... Если так рассудить, в такую ты таперича попала беду, что и присоветовать тебе ничего невозможно, — начала рассуждать Ефимовна с долгими расстановками между словами и не переставая кидать на монашку подозрительные взгляды, — а все же, хоть и набедокурила ты на свою голову, но душа в тебе есть и крещена ты по-православному... Значит... Оно тово, значит... И

вдруг, озабоченно сдвинув брови, она с живостью спросила: — В монастырь к отцу Ермилу ходила?

При этом имени черная женщина порывисто сорвалась с места и вышла из землянки. Паранька же еще ниже опустила голову, стиснула губы, и между ее сдвинутыми бровями появилась складочка, от которой все ее доброе глуповатое лицо мгновенно преобразилось в злое и упорное. Метаморфоза эта не ускользнула от внимательного взгляда старухи, она поднялась с места и, глянув на растворенную дверь, из которой виднелась фигура монашки, резко черневшая на сверкающем белизной фоне снеговых сугробов, прибавила, понижая голос до шепота и низко пригибаясь к своей слушательнице.

— Ты об душе-то своей подумала ли? Ведь уж к ним, как попадешь (она махнула рукой по направлению двери), они не выпустят.

— Мне, тетенька, другого ходу нету, — с усилием проговорила Паранька.

Ефимовна вздохнула:

— Отец Ермил, может, наставил бы тебя, сходила бы ты к нему да покаялась. Святой человек.

— Ивана Кобылинских он не отстоял, — возразила девушка, мрачно потупясь.

— Да уж таких чертей, прости Господи, как кобылинские господа...

— А наша-то нешто лучше? — прервала ее с горькой усмешкой девушка. — С родными-то дочерьми, что понаделала!

Глаза старухи загорелись любопытством.

— Что такое? — порывисто спросила она.

— Да нешто вы не слышали?

— Ничего у нас про них не слыхать, вот уж которую неделю ни слуху, ни духу. Посылали наши господа им приглашение на крестины, как следует быть промеж сродственников, не извоили пожаловать, нездоровьем отозвались. Знаем мы это нездоровье! Злость ее разбирает, что колдовство ейное не удалось. Господь нашим господам за доброту ихнюю да за справедливость дочку послал, да какую еще красавицу-то, загляденье! Ну, что ж ты про своих-то барышень ничего не говоришь? — вернулась она к недосказанному сообщению. — Взаправду, что ли, расхворались? Про Клавдию-то Николаевну, намеднись, губернатор у наших-то спрашивал...

— Клавдия Николаевна ничего, а вот Катерина Николаевна с Марьей Николаевной...

— Что ж они?

— Да кликушами сделались, вот что.

— Н-ну!

— Ей-Богу, вот вам крест, что не вру! На прошлой неделе у ранней обедни так завизжали перед святыми Дарами, что весь народ от них шарахнулся. Без чувств вынесли обеих.

И, помолчав немного, точно для того, чтобы дать своей слушательнице опомниться от страшного известия, Паранька продолжала:

— А как в горницу-то их внесли, биться стали, никому не сдержать. Не впервой это с ними, говорят. Григорьевне все известно, но эта господ не выдаст, хоть ты ее на куски режь, а только, как барышень на полу застали, сорочки в крови, синяки по всему телу и волосы клочьями... Григорьевна в горницу-то ихнюю не одна вошла, а с Лизкой...

— От Лизки, значит, и пошел про то говор, — сурово потупляясь, заметила Ефимовна.

— Уж не знаю, право.

— Да сама-то ты от кого слышала? От Петьки, поди чай?

Девушка с испугом запротестовала против этого предположения.

— Вовсе не от него... Он ни словечка нам про это не проронил... Мы раньше слышали... Мало ли куда народу шатается!.. Как их из церкви-то замертво выносили, все нищие на паперти видели... Нет, нет, тетенька, вы на Петьку не грешите, не от него эти слухи у нас пошли, он ни слова, вот как перед Господом Богом, провалиться мне на этом месте, если вру!

— Ну, ладно, ладно, не выдам я твоего Петеньку, будь покойна. Вот тебе гривна на дорогу, — сказала старушка, вынимая из-за пазухи тряпочку, в которой у нее были завязаны медные деньги. — Спаси ты, Христос, и сохрани.

В эту минуту монашка вернулась в землянку, и Ефимовна заторопилась домой.

— Только ведь к ранней обедне отпросилась. Боже, сохрани, проснется барыня да меня спросит, что тогда! Ни на шаг от маленькой барышни не позволено отходить. Правда, что она только одну меня знает, только со мной и покойна, — говорила она отрывисто, поспешно натягивая на плечи шубку и подкалывая платок у подбородка.

Не терпелось ей прибежать домой, чтобы рассказать о слышанном про курлятьевских барышень.

VII

Случилось так, что в тот же день и до господ Бахтериных дошел слух о несчастье, постигшем дочерей сестрицы Анны Федоровны.

Вестовщицей оказалась, как и следовало ожидать, приживалка из попадеек Фаина Кузьминишна.

Явилась она после обедни поздравить с прошедшими крестинами богоданной дочки Софью Федоровну и Ивана Васильевича и с просьбой позволить ей, хоть одним глазком, взглянуть на маленькую виновницу торжества, а при этом удобном случае, запивая наливочкой пирог с луком и рыбой, которым, по приказанию барыни, угощали ее в чайной, Фаина Кузьминишна со вздохами и кислыми ужимками повторила то же самое, что Ефимовна слышала в Принкулинской усадьбе про беду, приключившуюся у Курлятьевых. На обеих старших барышень злая немочь напала. Сглазил их верно дурной человек, во время с уголька не догадались sprysнуть да молитвы над ними не сотворили, а враг человеческий не дремлет. Ему окаянному завсегда лестно девичью красу да невинность погубить.

— С прошлого воскресенья бесноватыми обе разом сделались, Из церкви от ранней обедни, как мертвых, домой привезли. Нашло это на них, как святые Дары вынесли. Сначала старшая завопила, да как скошенная на пол покатилась, а за нею и Марья Николаевна, — прибавила она, таинственно понижая голос и закатывая глаза к потолку.

У слушательниц мороз по коже от страха и жалости. У многих слезы навернулись на глаза, все ахали и крестились.

— Да, девонки, такие-то у них дела. Страсть как серчает Анна Федоровна, да ничего не поделаешь, — прибавила с самодовольством рассказчица.

Весть ее произвела должный эффект. Такой ужас нагнала она на своих слушательниц, что на время они обо всем забыли, что занимало их до сих пор, и не знали даже, что ответить Фаине Кузьминишне, когда она стала расспрашивать про маленькую барышню и про то, как ее нашли.

— Убиенные-то, говорят, как арапы, черные, из Эфиопского царства прибыли...

— Что за брехня! — сердито оборвала ее одна из присутствующих. — Нешто от черных родителей дитя может быть белое? А барышня наша, как тесто крупитчатое, мукой посыпанное.

— Не знаю, девонька, не знаю, от людей слышала. За что купила, за то и продаю, — недоверчиво покачивая головой, возражала гостья.

— Да кто говорит-то? Кто не видал ничего, а нам лучше знать, из наших восемь человек их видели вот так, как я теперь тебя вижу...

— Отчитывать что ли их будут, курлятьевских-то барышень? Вначале если захватить, когда не совсем крепко вселился, помогает, говорят, — перебила другая женщина, невольно возвращаясь к предмету, поразившему ее воображение. — А еще хорошо паром с ладаном его выкуривать.

— Да, да, с ладаном, — подхватили другие, — вот, как Агашку...

— Это кострюковская, что померла в прошлом году?

— Та самая. Так же вот, как и в курлятьевских барышень, вошел этта в нее, в Агашку-то...

— И видели, как входил, через рот...

— Черным клубом. Она, сердешная, как засто-о-о-нет!..

— Застонешь тут! Эдакие страсти!

— Спаси, Господи, и помилуй!

В беседах о таком животрепещущем предмете никто и не заметил, как исчезла из комнаты приближенная барыни, горничная Лизавета. Она отправилась сообщить интересные новости в господские покои.

Барыня только что вошла в спальню, проводив гостей, приезжавших к ней в то утро (день был праздничный) с визитами. Рассказы Лизаветы страшно ее перепугали. Будь ее муж дома, она, разумеется, бросилась бы к нему за советом и успокоением, но он от обедни отправился с визитами. а оттуда прямо на обед к губернатору, раньше десяти часов вечера домой его нельзя было ждать. Софья Федоровна послала за Ефимовной.

— Няня, что это у вас там Фаина Кузьминишна рассказывает? — спросила она, едва старушка появилась в дверях.

— Это про дочек-то Анны Федоровны, сударыня?

— Ну да, ведь это все выдумки, разумеется? — нерешительно проговорила г-жа Бахтерина, устремляя на свою собеседницу испуганный взгляд.

— С чего же ей врать-то, сударыня, ведь благодетели они ейные, Курлятьевы-то, — сдержанно возразила Ефимовна.

— Как же, няня?.. — нерешительно произнесла Софья Федоровна.

От тяжелого недоумения у нее мутился разум. Знала она про бесноватых, что этот ужас бывает, бесы могут

вселяться в живого человека, Господь это попускает; ей не раз случалось видеть и слышать так называемых кликуш в церкви. Редкая обедня обходится без этого страшного зрелища. Раз даже совсем от нее близко пронесли молодую женщину, бледную, как смерть, с конвульсивно подергивающимися членами, вывернутыми до белков глазами и с пеной у рта. Так ужасно было на нее смотреть, что Софья Федоровна захворала от испуга. Но женщина эта простого звания. И все кликуши, которых ей доводилось видеть как здесь, так и в Москве, были из простонародья, так что мало-помалу в нее вселилось убеждение, что эта страшная немочь — удел исключительно только подлого люда. И вдруг, оказывается, что и благородные от него не застрахованы. Катенька и Машенька Курлятьевы, дочери ее родной сестры, ее племянницы, барышни, столбовые дворянки, воспитанные — кликуши! Какой ужас! А срам-то какой! Какими глазами мать их будет теперь на всех смотреть? Да и родных этот позор коснется. Отзовется, пожалуй, и на ребенке, которого Бахтерины считают уже своим.

Страх за своих, жалость к сестриной семье заглушали в душе Софьи Федоровны все прочие чувства. Не могла уж она больше гневаться на сестрицу Анну Федоровну за ее козни против нее; все, что она вытерпела от ее зависти и недоброжелательства, все это казалось теперь пустяками перед ужасами, происходившими в семье этой злой сестры. Она ей теперь прощала даже и колдовство, напущенное на нее из зависти и корысти. Бог с нею совсем, на свою же голову да на голову своих близких наворожила! Вот что значит с нечистым-то знаться!

— И вдруг это с ними приключилось? Но с чего же? — пролепетала она побелевшими губами.

— Давно уж они, сударыня, скучают, — отвечала Ефимовна со вздохом. — Катерина-то Николаевна, сами изволите знать, с каких пор стали чахнуть, как Алешку...

— Не поминай этого имени! — вскричала с отвращением барыня.

— Ох уж, правда, что поминать про него не следует, один только грех, — согласилась с еще более тяжелым вздохом старая няня. — Ну а Марья-то Николаевна с прошлой зимы захирела, после того как бочаговский молодой барин за них сватался, — прибавила она, помолчав немного.

— О Господи, Господи! — простонала Софья Федоровна.

К страху и печали в душе ее примешивались угрызения совести. Ведь она с мужем косвенно виноваты в несчастье, постигшем племянниц. Не переезжай они сюда на житье из

Петербурга, Курлятьевым не для чего было бы убивать капитал дочерей на постройку дома, и Катенька с Машенькой не засиделись бы в девках.

А Ефимовна между тем продолжала:

— Маменька-то их не милует. Страсть сколько притеснения они от нее видят! Немудрено при такой жизни в отчаянность впасть. А враг-то не дремлет, ему, известно, чем больше загубить душ, тем лучше.

— И что ж они? Что еще сказала Фаина?

На вопрос этот Ефимовна почтительно возразила, что она не позволила себе эту самую Фаину про господ спрашивать.

— Я и девок-то всех, что помоложе, из горницы выслала, как она, с позволения сказать, свой поганый язык распустила, — прибавила она с достоинством. — К чему хамкам такие речи про господ слушать? Не прикажете ли вы лучше мне самой к сестрице в дом сходить? — продолжала она, помолчав немного. — По крайности чистую правду узнаем.

На предложение это Софья Федоровна согласилась немедленно. Оставалось только избрести для этого благовидный предлог, но Ефимовна и тут нашлась.

— Не извольте беспокоиться, сударыня, попытаюсь так к ним попасть, чтоб одну только Григорьевну повидать да барышень. А если, паче чаяния, барыне про меня донесут да захочет она узнать, для чего я пришла, скажу, что вы насчет их здоровья изволите беспокоиться по той причине, что они к нам на крестины не изволили пожаловать.

— Да скажет ли тебе Григорьевна про Катеньку с Машенькой, ведь она у них скрытная?

— И, сударыня! От кого другого, а от меня ей ничего не утаить. Ведь мы с нею подруги, на одном дворе выросли, все она мне расскажет, не извольте сумлеваться.

VIII

Но Ефимовне пришлось разочароваться в своих ожиданиях.

Старая подруга приняла ее так холодно и подозрительно, что коснуться настоящей причины ее посещения даже обиняками не представлялось ни малейшей возможности.

Не дав ей досказать вопроса про здоровье барыни, барышень, старого барина и барчонка, она объявила, что все у них, слава Богу, здоровы. А на крестинах не могли быть,

потому что у барыни зубы болели, а барышням утром за ранней обедней от ладана да тесноты задурнилось и, чтобы болезни с ними не приключилось, приехавши домой, их в постельку уложили да бузиной напоили.

— И как пропотели хорошенько, хворь-то с них, как рукой, сняло, — объявила в заключение хитрая старуха, не спуская со своей посетительницы острого, пытливого взгляда своих маленьких серых глаз.

— Ну, и слава Богу, слава Богу! А уж наши господа забеспокоились. Долго ль какую ни на есть болезнь молодым девицам схватить! Вон у Федосеевых-то при смерти, говорят, барышня. Вчера за попом посылали, сегодня соборовать, говорят, будут.

— Нет, наши, слава Богу. Даром что с виду и не в теле, а здоровые девицы. А что задурнилось им вчера в церкви, так это не с ними одними случается. Новые платья барыня приказала им надеть, узки маленько сделали: пришлось шнуровку-то затянуть крошечку потуже, ну много ли надо, особенно в тесноте да еще когда ладаном накурено, все равно, что от угара.

— Много ли надо, — поддакивала гостья. Но про себя думала, что все это говорится только для отвода глаз, и, с любопытством озираясь по сторонам, в чаянии чего-нибудь такого, что прольет свет на скрываемую от нее так тщательно тайну, она мысленно давала себе слово не уходить, пока так или иначе всего не узнает.

Но ничто ей извне на выручку не являлось. Единственным признаком, что в доме не так, как всегда, служила необычная тишина, царившая в нем. Не слышно было ни властного крикливого голоса барыни, ни торопливых шагов бегущей на ее зов прислуги, ни звуков клавикирд из залы, под искусными пальчиками старшей барышни (такой охотницы до пения, что ей даже учителя музыки наняли, крепостного регента помещика Горяинова). Дом точно вымер.

Григорьевна приняла свою гостью не в чайной, а в рязном, в темноватой длинной и узкой горнице, заставленной тяжелыми сундуками с барским добром и с некрашенным столом перед окном, упиравшимся в стену надворного строения. Приказав девчонке, явившейся на ее зов, поставить самовар, она пригласила посетительницу присесть на стул, а сама, прежде чем сесть на другой, принялась очищать стол от тонкого белья, наваленного на него для глаженья.

— Господа-то ваши, верно, отдыхают после обеда? — спросила Ефимовна, поглядывая на припертую дверь в ко-

ридор и напрягая при этом слух, чтоб уловить хотя бы слабый звук голосов или шагов.

— Барыня наша завсегда изволит отдыхать после обеда. У нас сегодня много гостей перебивало, — принялась самодовольно распространяться Григорьевна. — Этот слеток-то столичный редкий день не заедет про здоровье Клавдии Николаевны узнать. И все с комплиментами. Очень уж она ему понравилась, как танцевал-то он с нею в собрании. Вот также и граф тот польский уж так влюблен в нашу барышню, так влюблен, страсть! Люди его сказывали: «ни одна еще девица нашему графу так не нравилась, как ваша Клавдия Николаевна». Богач страшный. Дом в Варшаве у него, как дворец царский, уж так всего в нем много. Завсегда, даже по будням, на серебре да на золоте у себя дома кушает.

— Что ж он не сватается, если так влюблен? — с кислой улыбкой спросила Ефимовна.

— Такое дело, торопиться не для чего. Ей даже и лета еще не вышли, совсем дитё, в куклы еще играет, — со сдержанной досадой возразила Григорьевна.

— А, может, раньше старших-то и не отдадут, — заметила Ефимовна. — Негоже это, не к добру, когда меньшая сестра через старших перескочит.

— Это как Бог велит. Всякому свое счастье, против судьбы-то тоже ничего не поделаешь, — отпарировала Григорьевна.

— Ну а барчук ваш что? Сыпь, говорят, у него на личике высыпала?

— Кто это брешет? Какая сыпь? Никакой сыпи нет. Личико, как вылупленное яичко, чистое и румянец во всю щечку, — заволновалась старая няня. — Здоровое дите, спаси его, Христос, ядреное, одним словом, кровь с молоком. По всему городу ищи, такого не найдешь; году не было, ходить стал и всех сверстников своих перерос... А уж смышлен! Учитель им не нахвалится.

— Да ладно уж, ладно, — перебила ее с досадой подруга. — Вот и у нас тоже дитё, уж такое-то, храни ее Бог, занятное да здоровое, и красавица, уж это, что говорить, все диву даются, какая красавица!

— Ну и слава Богу, слава Богу, — неохотно вымолвила Григорьевна. — Своих Господь не послал, так хоть на чужого порадуется, — прибавила она сквозь зубы.

Ефимовне дух перехватило от злости, но она сдавила в себе негодование. Если с первой же минуты в ссору удариться, ничего не узнаешь, не для чего было и приходить.

Уж она ей после все выпоет, а теперь пока пусть покуражится.

Про барина Николая Семеновича Ефимовна не осведомлялась. Он — блаженный, одна только слава, что барин, в доме никто его не боится. Холопы и те в грош его не ставят, совсем безвольный.

Да и не до него было Ефимовне сегодня. Она ломала себе голову, как бы ей на барышень взглянуть, какие они стали с тех пор, как бес в них вселился.

Что они «порченые», в этом нельзя было сомневаться. Фаина Кузьминишна зря брехать не станет, а что нянька их прикрывает и на все пойдет, чтоб их позор от людей скрыть, это вполне естественно и даже иначе быть не может. Кому ни доведись, каждая на ее месте точно таким же образом поступила бы.

Дверь отворилась, и худенькая босоногая девчонка в синем посконном сарафанишке с красным обрывком, мотавшимся на кончике белобрысой косички, втащила огромный медный самовар и взгромодила его на стол с помощью следовавшей за нею девки с чашками и разной снедью на подносе.

Приятельницы принялись за чаепитие.

Опростав первую чашку, Ефимовна набралась отваги и без дальнейших околичностей объявила, что барыня приказала ей непременно повидать барышень и лично передать им от нее поклон.

— Так и сказали: «Зайди к племянницам и скажи им: соскучилась я по ним, давно нас не навещали. И узнай, — говорит, — что за нездоровье им помешало на крестины богоданной двоюродной сестрицы пожаловать».

К этому заявлению отнеслись совсем не так, как она ожидала. Правда, девчонка, внесшая самовар, стремительно глянув на свою повелительницу, перевела полный жгучего любопытства взгляд на свою подругу, которая опустила глаза и знаменательно стиснула губы, но Григорьевна нимало не смутилась.

— А вот, напимшись чаю, и пойдем к ним, — спокойно отвечала она и, обращаясь к старшей из своих прислужниц, спросила: — Ведь барышни наверху?

— Все три наверху, — отвечала девушка.

По лицу старой няни проскользнула самодовольная усмешка.

— Завсегда они вместе. Дружные барышни, не то что другие. Ни свар промеж них, ни споров, во всем согласие, как подобает родным сестрам, — прибавила она с подав-

ленным вздохом. — А вы ступайте, — сказала она отошедшим к дверям холопкам, — когда нужно будет, позову.

И, оставшись наедине с гостьей, она продолжала начатую беседу про своих воспитанниц.

— Благочестивые девицы, за всю семью молитвенницы перед Господом Богом.

Голос ее звучал торжественно.

— И как это им Господь судьбы до сих пор не посылает, — заметила сокрушенным тоном Ефимовна.

— Христовы невесты, — объявила няня, строго сдвигая брови. — В тетеньку. Такая же, как они теперь, примерная была девственница. И взыскал ее Господь за добродетель и смирение.

— Игуменьей, чай, будет, — вставила гостя.

— Как Господу Богу будет угодно, — сдержанно возразила курлятьевская нянька.

— Давно что-то мать Агния в городе не была, — заметила Ефимовна, слизывая мед с ложечки и запивая его чаем.

— Третьего дня навестила нас, грешных, — с напускным смирением объявила ее подруга.

Ефимовна оживилась:

— А к нам не заглянула?! Что ж это она так?

— Уж не знаю, милая, не знаю, — отвечала Григорьевна.

Но Ефимовна не отставала.

— По делу, верно, к вам приезжала? Не в обычае у нее по зимам обитель покидать.

На это ей ничего не ответили. Григорьевна молчала. Но по ее озабоченному лицу видно было, что она что-то обдумывает, и вдруг, переждав с минуту, она объявила, что барышни их, Екатерина Николаевна с Марьей Николаевной, надумали из мира выйти, в монастырь поступить.

Тут уж Ефимовна не сочла нужным скрывать дольше своего любопытства и закидала ее вопросами: давно ли зародилось в них это намерение, и как относится к нему барыня Анна Федоровна? Ведь не перестарки, старшей-то двадцати двух лет еще нет, а Марье Николаевне всего только восемнадцать. Какие это еще года? Господь им, может, и судьбу пошлет. Не спокоялись бы потом, ведь уж это они, значит, на всю жизнь себя похоронят, все равно что в могилу живыми лечь. И неужто ж никто не пробовал отговаривать их от рокового намерения? Точно в миру нельзя спастись!

На все эти соображения и вопросы Григорьевна отвечала сдержанно и уклончиво.

— Уж, верно, такая их судьба... Против Господней воли не пойдешь... Не всем в миру хорошо живется... У наших барышень сызмальства к уединению да к молитве пристрастие. Ни наряды, ни светские удовольствия их не тешат...

«Толкуй, — возражала на это про себя Ефимовна, — точно мы не знаем, что Марья Николаевна не дальше как в прошлом году за бочаговского молодого барина замуж собиралась. А Катерина-то Николаевна! Не о божественном толковать с Алешкой выбегала она к нему на свидание в темный уголок сада, под душистые липы, в лунные ночи! Не монастырь у нее был тогда на уме!»

— Мать Агния, верно, по этому случаю и приезжала? — спросила она.

— Они с нею завсегда во всем советуются, — уклонилась и тут от прямого ответа Григорьевна.

Но у посетительницы любопытство разгоралось все больше и больше. Ей все обстоятельно надо было узнать, она только для этого сюда и пришла.

— Да ведь в монастырь-то они, верно, в ейный поступят? — спросила она.

— Надо так полагать, что в ейный.

— И скоро?

— Еще неизвестно, когда сподобятся постриг принять; на искусе сначала их продержат, сколько, там старицы решат.

— Да когда же они едут-то? — настаивала Ефимовна.

— Не знаю еще, как управимся; завтра чуть свет хотели, только вряд ли...

— Завтра? — вскричала обиженным тоном Ефимовна. — Так, значит, и уедут, ни с кем не простившись? Хороши, нечего сказать, — продолжала она, укоризненно покачивая головой. — А еще родней считаются! Вот оно, времена-то какие наступили, родную тетку не хотят почитать; а она, моя голубушка, изволит о них беспокоиться. Давно, говорит, не видала племянниц, соскучилась, сходи, пожалуйста, Ефимовна, проведай их, здоровы ли, — продолжала распространяться бахтеринская нянька, — а они, на-ко, поди, про тетеньку-то и не вспомнят, точно ее и на свете-то нет совсем...

— Ну, чего там раскудаhtалась, сама, чай, должна понимать, не по своей воле живут, — возразила брюзгливо Григорьевна.

И чтобы прекратить начинавший обостряться разговор, она крикнула своих прислужниц и приказала им пойти к барышням и сказать им, что няня бахтеринская, Ефимовна,

желает их видеть. «Тетенька, скажите, прислали их проводить».

И, вернувшись к своему месту у стола с самоваром, она предложила своей гостье еще чашечку чаю, шестую по счету. Но Ефимовна наотрез от угощения отказалась. Она была слишком взволнована, ей нужно было сорвать на ком-нибудь мучившую досаду, и она придирчиво выставила на вид разницу: как их барыня относится к племянницам и как они мало ценят ее внимание.

— Не пошли она меня сегодня их проводить, мы бы от чужих узнали, что они у вас в монахини постриглись.

— Где же постриглись? Что-то летом Бог даст!

— Все равно. Нешто так с родными можно? — продолжала брюзжать Ефимовна.

— Какие уж мы вам теперича родные, когда чужого подкидыша заместо дочери взяли, — вырвалось у Григорьевны.

— Так что ж из этого? Супротив Бога не пойдешь... Дитё нашим барином, можно сказать, чудом найдено...

— Ну уж ладно, ладно, — с досадой перебила ее собеседница. Но Ефимовну нелегко было унять. Давно уж жаждала ее душа той блаженной минуты, когда ей можно будет выложить курлятьевским все, что у нее накопело в сердце против них.

— Господь-то знает, что делает, кого милует, кого наказует. Нам Он за долготерпение утешительницу послал, а другим за ненавистничество да колдовство...

— Ты это про кого поганым языком брешь? — дрожащим от ярости голосом оборвала ее старая подруга.

— Сама знаешь про кого, — пробурчала Ефимовна, сердито отворачиваясь.

Она уже раскаивалась, что поддалась увлечению. Не видать ей теперь барышень, как своих ушей. Все ее хитрости да подвохи пропали даром, но ничего не поделаешь: слово не воробей, выпустишь — не поймаешь. Одно теперь остается: натешить душеньку свою всласть, все вывалить, пусть знают, что козни их наружу вышли.

— Нет, ты скажи, чтобы по крайности было кому шею накомылять за враки, — злобно прошипела Григорьевна.

— Да все говорят, что ваша барыня сестрицу заколдовала, чтобы не рожала, все. И Бабиha принкулинская тоже говорит, — отрезала Ефимовна.

Григорьевна побледнела от ярости.

— А, вот оно откуда выползло! Из Принкулинской усадьбы! Нашли место, куда за советами ходить, нечего сказать!

— Это самое место и вам даже очень хорошо известно, — отпаривала Ефимовна.

— С какого боку? Мы ворожить к колдуньям, которые с нечистым водятся, не ходим...

— Зачем вам к ним ходить, когда у вас своя в доме.

— Молчи, старая карга! — возвысила голос Григорьевна.

— Сама лучше помолчи! Про вас, какая слава по городу-то идет? У последнего мальчишки спроси, всяк те скажет, что курлятьевские барышни кликушами сделались...

Договорить ей не дали. Старая подруга так вцепилась ей в волосы, что и платок у нее с головы свалился.

Но и Ефимовна в долгу не осталась и такую ей закатила затрещину, что кровь хлынула у нее из носа и в глазах зарябило.

— Это тебе, старая крыса, на память, — приговаривала гостя, приводя в порядок растрепанный костюм, в то время как подруга ее, молча и со сдержанным гневом, вытирала себе лицо. — И не надо мне твоих кликуш видеть. Прямо отсюда в Божий храм зайду да молебен отслужу, чтобы Господь от бесовского наваждения оградил. А нечисть ваша пусть при вас и остается.

— Постой, постой, дай срок! Пашенка-то, что вы призрели, может, сам дьявол вам подкинул... Креста-то ведь ни на нем, ни на его матери, ни на отце не было, — ворчала себе под нос Григорьевна. — Дай срок! Увидим еще, где больше чертей-то развелось, у нас или у вас, постой! И нам ворожили, мы тоже знаем... И на нашей улице будет праздник, дай срок!

IX

Последние слова, пущенные ей вслед, Ефимовна услышала уже в коридоре, из которого поспешила выбраться на черную лестницу, чуя на каждом шагу опасность и призывая мысленно всех святых и Ангела Хранителя, чтобы благополучно вынесли ее из неприятельского лагеря.

И вдруг, на повороте в темную прихожую, заставленную шкафами, с лестницей наверх, ей загородила дорогу черная фигура.

У Ефимовны екнуло сердце, и душа в пятки ушла от страха, так похоже было это видение на черта: маленькая, тоненькая, с бесцветным лицом, белевшимся на черном фоне окаймлявшего его не то платка, не то скуфьи с ушами и со сверкающими любопытными глазками.

— С нами крестная сила! — пролепетала, крестясь и пятясь назад, бахтеринская нянька.

— Спаси ты, Христос! — услышала она в ответ на свое воззвание.

Это был не черт, а монашка. Из-за ее спины выглядывала другая. Обе спускались из комнаты барышень. В той, что шла позади, Ефимовна узнала скитницу Фелицату, встреченную утром у Параньки.

«Эти как сюда попали?» — подумала она.

Но вступать в разговор тут было не место, и она, не останавливаясь, прошла в сени. Монашки последовали за нею, и вскоре все три очутились во дворе.

Тут Ефимовна почувствовала себя в безопасности, вздохнула свободнее и обратилась к своим спутницам с расспросами: к кому приходили они сюда? Уж не отчитывать ли барышень от беса их позвали?

— Мы за подаяннем, — смиренно отвечала маленькая. — Скит наш бедный, даже и хлебушка прокормиться не хватает.

А Фелицата молчала, не поднимая глаз, скромно опущенных в землю.

— Что ж, подали вам тут? — продолжала свой допрос Ефимовна.

— Подали, матушка, подали. Девуцы благочестивые, как голубицы чистые и непорочные, — отвечала нараспев гнусавым голосом маленькая.

— А в городе-то болтают, будто бесноватые они обе, — заметила Ефимовна.

— Божьи девственницы, Христовы невесты, — повторила свое заявление скитница.

Подруга же ее продолжала молчать. Прежде чем продолжать свой допрос, Ефимовна оглянулась по сторонам широкого двора с низенькими службами, ютившимися в беспорядке вокруг барского дома, двухэтажного здания довольно затейливой архитектуры, с небольшим садом, спускавшимся к реке. Наступал вечер. Ворота заперли тотчас после первого удара колокола к вечерне. Челядь ужинала, кто в трапезной, а кто по своим клетям, и во дворе, кроме цепного пса, лежавшего перед конурой, сердито поглядывая на трех женщин, направлявшихся к выходу, не видно было ни единого живого существа; однако Ефимовна сочла благоразумным прекратить разговор и возобновила его тогда только, когда они все три вышли через калитку на улицу.

Здесь, в грязном узком переулке между серыми заборами с перевешивающимися через них ветвями деревьев, по-

крытых едва заметными почками, она на минуту остановилась, чтобы спросить, большой ли у них скит.

— Большой. А землицы-то совсем почти нет. Огородишко малый, питаться нечем. Что добрые люди подадут, тем только и живы, — заканючила маленькая.

Ефимовна поняла намек.

— Я вам подам, — заявила она.

И зашагала по переулку к площади, за которой был бахтеринский дом.

— Спаси ты, Христос, — в один голос ответили ее спутницы, поспешая за нею.

А маленькая прибавила:

— Наставником у нас теперь авва Симионий, Божий молитвенник, старец святой... Симионий!

Точно завеса спала перед духовными очами Ефимовны при этом имени. Вот она разгадка мучившей ее тайны! Авва Симионий, поп-расстрига, основатель новой секты, славился своим даром изгонять бесов из людей.

Ей теперь все было ясно. Петрушку, без сомнения, сама Григорьевна командировала к Параньке в Принкулинскую усадьбу за сведениями о Симионии. Там не могли о нем не знать; это был притон всех личностей, скрывающихся от полиции и занимающихся темными делами. Одно время долго проживал там пресловутый Шайдюк, в течение многих лет нагонявший ужас своими разбоями на всю окрестную местность.

Возлюбили вольные люди Принкулинскую усадьбу, даром что она у того самого острога, где многие из их братии сидят. А может быть, именно поэтому они и ютятся здесь, кто их знает!

Вот и скиты раскольничьи, ведь только тем и держатся, что дружбу с злодеями водят. Да и про православные монастыри многое в том же роде болтают!..

— А далеко ваш скит-то отсюда? — спросила Ефимовна, стараясь говорить как можно равнодушнее, чтобы не возбудить подозрений.

— Далече. Три дня и три ночи без передышки идтить, и то не дойдешь. А сквозь лес-то только пешком можно продрасться, ни на верхом, ни на колесах проезду нету. Место у нас дикое, одним нашим только пути туды не заказаны, а чужому ни за что не пролезть. Зверья сколько рыщет, страсть! Гады всякие, змеи...

— Медведь попадается, — подсказала ее подруга.

— Что медведь, медведь еще не так страшен! Водится округ нашей обители зверь и лютее медведя, такой стра-

шенный, что при одном взгляде помереть можно от перепугу. Аспид, змея, лев рыкающий, тигра свирепая, что всякий образ, даже младенческий на себя может принять, чтобы завлечь людей... Да, — прибавила она со вздохом, — ухищряется враг человеческий нам на погибель, соблазняет всячески. Не легка наша доля и кому свыше не дано, ни за что не снесет. Ну а в ком вера да благодать, тот, известное дело...

— В писании сказано: «Даю вам власть над змиями и скорпионами», — подхватила другая скитница.

— А Симионий-то часто у вас бывает? — вернулась Ефимовна к занимавшему ее предмету.

— Навещает, когда Господь прикажет.

— И тогда, чай, у вас от бесноватых проходу нет?

Скитницы промолчали на этот вопрос; почуяли, верно, к чему он ведет. Но Ефимовна не теряла надежды добиться цели.

— Он, говорят, Симионий-то ваш, не так давно в Спасском монастыре, что под Киевом, из четырех монахов беса выгнал, — заметила она.

— Благочестивый старец, — ответила уклончиво старшая скитница.

А Ефимовна продолжала:

— Издалека за ним, говорят, присылают...

И, переждав немного, она прибавила:

— Поговаривает народ, будто его здесь поблизости недавно видели.

Спутницы ее опять тревожно переглянулись. Как нарочно выплыл в эту минуту месяц из-за крыш, и от Ефимовны не ускользнуло резкое движение, толкнувшее их друг к другу, причем Фелицата, шедшая сзади, очутилась рядом с нею.

— Хотелось бы очень и мне у него благословиться, — продолжала с усиливающимся апломбом Ефимовна. — Вам, чай, известно, где он здесь пристал?

На это обе монашки запротестовали. Откуда им знать про авву Симиония? Они только вчера вечером добрались сюда. Ночевали у слепого нищего и весь день с раннего утра от окошка к окошку ходили за милостыней. Ни с кем не говорили. А про авву Симиония они с тех пор ничего не слышали, как еще в позапрошлом году он у них одну старицу, мать Анастасию, в смертный час напутствовал.

Но Ефимовна не верила им ни крошечки, и уж по одному тому, как они замитусились да застрекотали обе, как сороки, забыв обычную сдержанность и смирение, она

догадалась, что попала в цель и что Симионий действительно здесь. И призван он сюда не для чего иного, как для того, чтобы барышень Курлятьевых отчитывать. Уж какое еще нужно доказательство, что они кликушами сделались! А старая шкура Григорьевна еще осмелилась на нее с кулаками лезть за один намек на это обстоятельство! Ах она паскуда эдакая! Такая страшная напасть, сам Господь от них отвернулся, бесам их предал, а они все еще фордыбачатся да с почтенными людьми себя равняют, даже и словом не позволяют себя обидеть. Вот наглость-то! Чем бы смириться да перед каждым заискивать, чтобы пожалели их, а они, на-ко, поди!

Торжествовала Ефимовна вовсю. От волнения и боль прошла. А порядком-таки оттрепала ее старая подруга. Хороших три-четыре пучка волос осталось в цепких когтях старой карги с седой головы бахтеринской няньки. Но все это вздор и пустяки по сравнению с новостями, которые она услышала; за такие новости можно и не то вытерпеть.

С монашками ей уж не о чем было толковать. Ей удалось вытянуть из них гораздо больше, чем можно было надеяться; остальное само собою объявится. Мыслимо ли, чтобы событие такой важности, как присутствие аввы Симиония в городе, осталось в тайне! Уж и теперь, без сомнения, многим известно, что он здесь. Надо бежать скорей домой, чтобы первой там об этом оповестить.

Однако про обещанную милостыню она не забыла и приказала своим спутницам зайти на другой день в бахтеринский дом, что на Спасской улице, близ Базарной площади.

— Всякий вам укажет. И с черного крыльца прямо наверх пройдите. Спросите только нянюшку Ефимовну, и вас ко мне проведут. Я завсегда в детской.

— Да нам завтра чуть свет уж в путь надо, — объявила Фелицата.

— Что так скоро? А Параньку-то, теперича, что ли, в скит с собой возьмете, или она опосля, одна к вам приедет?

— Не знаем еще.

— Как авва Симионий прикажет? — с лукавой усмешкой подсказала хитрая старуха.

— Без его благословения у нас не в обычае новеньких принимать, — возразила маленькая.

Проговорились! Ясно, что они к нему спешат, и не для того только, чтоб испросить дозволения принять в скит Параньку, а, верно, также чтобы насчет курлятьевских барышень ему сообщить.

Ефимовна поспешно вытащила из-за пазухи мешочек с деньгами и, предварительно оглянувшись по сторонам, отсчитала несколько грошей, которые и подала своим спутникам со словами:

— Во здравие младенца Магдалины. Вот вам на хлебец.

— Спаси ты, Христос, пошли тебе, Господи, всего хорошего, здоровья, во всех делах благое поспешение, над врагами победа и одоление...

Не дослушав их причитаний, Ефимовна поспешила домой.

Х

Минут через двадцать она уже стояла перед барыней с докладом о виденном и слышанном.

— Бедные, бедные! — со слезами повторяла добрая Софья Федоровна, выслушав с напряженным вниманием повествование своей посланной. — Это не бес в них вселился, а болезнь, истерикой называется; их надо было бы лечить, а не отчитывать, — объявила она, припоминая мнение, много раз слышанное и от мужа, и от других начитанных и по-модному обученных людей про кликуш и тому подобных одержимых нервными недугами субъектов.

— Ну, как же не бес, сударыня, когда за обедней при выносе святых Даров их ломать начало. И вот увидите, что авва Симионий эту истерику с них, как рукой, снимет, — утверждала Ефимовна.

Впрочем, барыня на своем мнении и не настаивала. Она больше для очистки совести повторяла слова отрицателей старинных поверий и проповедников вольнодумных идей, к которым совершенно напрасно старался приобщить ее муж. Чтоб угодить ему, Софья Федоровна притворялась, что не верит в существование дьявола, ведьм, леших и тому подобных таинственных существ, на самом же деле она в них верила так же, как и в Бога.

Да иначе и не могло быть. Разве все вокруг нее не подтверждало в ней этой веры? Разве она не испытывала на самой себе и на близких ей влияния таинственных невидимых сил? Все устраивалось по их произволу и так чудно, как людям ни за что не придумать. А разве заговоренных людей не существует? Боже мой, да она ими со всех сторон окружена! Этот разбойник Шайдюк, который убил несчастных родителей Магдалиночки! Опять ведь его и след простыл, невзирая на все усилия его найти: в их

губернии его уж и искать перестали. Все слухи о нем смолкли, точно сквозь землю провалился со всей своей шайкой.

И который раз ускользает он от правосудия, чтобы появиться в другом месте. Два раза уже его хватали, нещадно истязали, заковывали в цепи и кандалы, запирали под крепкие замки, ставили у дверей и у единственного окошечка его тюрьмы (такого маленького, что только котенку разве можно в него пролезть) вооруженную стражу, и все эти предосторожности оказывались тщетными, ему удавалось бежать. Каким образом? Никто на вопрос этот не мог ответить. А теперь стали ходить про него слухи еще чуднее, говорят, что он раздвоился и одновременно появляется в разных местах и будто видят его и молодым, и старым, одним словом, такие про него чудеса рассказывают, что ничем, кроме нечистой силы, это объяснить невозможно. Ну а другая загадочная личность, тоже знаменитая в здешних краях, расстрига поп Симионий, изгонитель бесов, являющийся именно тогда, когда он нужен, сделает свое дело, исцелит одержимого нечистой силы, а затем, как призрак, исчезнет, так что никто не может сказать, где его жилище, в каких дебрях. Говорят, дикие звери охраняют вход в его пещеру; они также, как и бесы, служат и повинуются ему. Хорошо было бы залучить его в дом, пока он здесь, чтоб Магдалиночку благословил да заклинание над нею прочел. Ее хоть и окрестили в православную веру и окружили образам со святыми мощами и с горящими перед ними день и ночь лампадами, а все-таки жутко становится Софье Федоровне при мысли, что призренное ими дитя иноземного происхождения, не русское, а из тех стран, где все русской душе чуждо: и нравы, и обычаи, и сама вера. Полюбилося ей это дитя, как родное, привязалась она к нему всем сердцем, так что оторви его теперь от нее, не пережила бы она этого горя, а между тем на нее часто нападает таинственный ужас, когда она любит его. Особенно загадочно кажется ей это маленькое существо, когда оно спит. Кому улыбается оно в своих грезах, кому протягивает губки и ручки? Уж, конечно, не приемные родители являются ей в сонных видениях; перед нею, без сомнения, проносятся призраки более ей близкие, с которыми она связана кровными узами; родные ей души невидимо витают вокруг ее колыбели и нашептывают ей слова любви на языке, непонятном для окружающей ее теперь новой семьи. И кто знает, может быть, невзирая на любовь и ласки, эта новая семья навсегда останется для нее чуждой, с тоской думала Софья Федоровна, нагибаясь к спящему ребенку, всматриваясь в красивые

черты нерусского личика с матовой тонкой кожей, такой ровной и гладкой, какой она никогда не видывала у других детей. А эти черные, как смоль, волосы; а узкие ручки со слишком длинными, сравнительно с обыкновенными детскими ручонками, пальчиками, а ножки, крошечные, но тоже узкие с высоким подъемом, все было у нее не так, как у других детей. Но что особенно резко выдавало ее иноземное происхождение, это глаза, огненные, говорящие глаза и с таким смелым взглядом, что Софье Федоровне становилось не по себе, когда они на нее устремлялись. Ничего детского в них не было, ничему они не радовались и не удивлялись, и ничем невозможно было изгнать выражение тоскливой задумчивости, засевшей в них, может быть, с той минуты, когда она осталась одна, живая среди мертвецов, в глухой чаще леса, кто ее знает!

Что за люди были ее родители? До сих пор никому не известно. Следствие ничего не открыло. Откуда ехали они и куда? Отправлялись ли спокойно на новое место жительства или бежали, спасаясь от преследований за содеянное преступление? Как их звали, почему попали они в Россию, на что они здесь надеялись? Найти ли новую родину или прожить только известное время, чтобы потом снова вернуться в свое отечество, и где оно находится это отечество? — ни на один из этих вопросов ответа не находилось. Ни одной вещи, ни одного документа, свидетельствующего о том, что это были за люди, разбойники при своих жертвах не оставили. Из обрывков белья да осколков вещей, покинутых грабителями, одно только можно было заключить, что это были люди богатые и если не православные, то во всяком случае не жида, не турки, а все же христиане.

Да, христиане.

Но ведь и между христианами есть еретики, с которыми наша церковь примириться не может. Есть католики, протестанты, и между ними еще больше, чем у нас, обольщенных нечистым. Родители Магдалиночки, может быть, были масоны? Ну а уж эти, как там ни уверяют приятели тетеньки Татьяны Платоновны и как ни заступается за них сама тетенька, к дьяволу очень близки.

В бытность свою в Петербурге у этой самой тетки, Татьяны Платоновны Турениной, важной придворной дамы, которой Софья Федоровна обязана воспитанием своим и большою частью своего состояния, а также и тем, что выбор Ивана Васильевича Бахтерина на нее пал, когда он задумал жениться, всем своим счастьем, одним словом, Софья Федоровна наслышалась вдоволь про таинственное

учение масонов. Нашелся даже человек, который вздумал совращать ее в эту таинственную веру; сам он принадлежал к Авиньонскому братству, был молод, хорош собой, умен, начитан, красноречив и страстно в нее влюблен. Она просто чудом каким-то устояла против искушения сделаться его подругой жизни. Потом уж, от мужа, тоже одно время увлекавшегося масонством, слышала она названия этих учений, узнала, что, кроме каменщиков, есть еще тамплиеры, мартинисты, розенкрейцеры, иллюминаты и множество других, что верховными жрецами у них Сведенборг, Гельвеций, Калиостро и другие, но, кроме этих имен и названий, она ничего не запомнила, а из того, что при ней говорили про сущность этих учений, одно только поняла: что предаваться им смертельный грех и что ни к чему, кроме вечной гибели, это не приведет, и каждый день молилась она усердно Богу, чтобы не дал Он ни ей, ни близким ее поддаться дьявольскому наваждению.

Господь услышал ее молитву, Он послал ей такого руководителя, как Иван Васильевич. С таким мужем она могла быть спокойна, ему можно было безгранично довериться. И никогда не решалась она ни на что важное без его согласия. Если ей пришлось в голову пригласить авву Симиония помолиться над ее приемной дочкой, то потому, что муж ее питал необъяснимую симпатию к этому отщепенцу. Он считал его хотя и фанатиком и заблуждающимся, но полезным человеком, и брал его под свою защиту при каждом удобном случае. Благодаря Бахтерину и власти как духовные, так и светские, оказывали Симионию снисхождение. Может быть, Иван Васильевич знаком был с ним раньше, когда тот был еще православным священником, и, зная причины отпадения его от православной церкви, не мог не жалеть его. А может быть, авве Симионию как-нибудь иначе удалось повлиять на умного, воспитанного на европейский манер барина; так или иначе, но между ними существовала какая-то духовная связь, происхождение которой для всех оставалось тайной.

«Да, надо надеяться, что Иван Васильевич ничего не будет иметь против того, чтобы поручить Магдалиночку молитвам аввы Симиония», — думала Софья Федоровна, с нетерпением ожидая возвращения мужа. Ей столько надо было ему передать! А он между тем, как нарочно, замешкался в ту ночь в гостях.

Карета давно уж за ним уехала; все огни в доме были потушены за исключением кенкета, тускло догоравшего в прихожей, где в ожидании барина дремали на конике камердинер с дежурным мальчиком.

XI

Иван Васильевич не любил, чтобы жена дожидалась его, когда он ездил по делам или в гости, а потому Софья Федоровна с десяти часов улеглась на свою широкую кровать из красного дерева, под зеленым штофным пологом, но заснуть не могла и, перебирая в уме виденное и слышанное в этот достопамятный день, от волнения впала в лихорадочное состояние.

Да и было от чего волноваться. Тотчас после обедни стали наезжать гости. И у всех одно только было на языке — завязавшийся роман между ее племянницей Клавдией Курлятьевой и графом Паланецким. На том бале, где они в первый раз встретились, он, как сумасшедший, за нею бегал, всем про нее говорил, заверяя честным словом, что такой красавицы во всем свете не найти. Он танцевал с нею мазурку в первой паре. Можно себе представить, как взбесились прочие дамы! Девчонка в первый раз появляется в свет, и вдруг — ей такая атенция!

Граф, может быть, и не позволил бы себе действовать так опрометчиво и дерзко, если бы не нашел поддержки в придворном вельможе, присланном сюда из столицы с важными поручениями, в честь которого, собственно, бал и давался. Вельможа этот тоже держал себя в тот вечер странно; за ужином он пил с графом Паланецким за здоровье красавицы Клавдии Курлятьевой и за того счастливица, которому удастся похитить ее из среды, где она сверкает, как драгоценный перл в навозе.

Может быть, это последнее слово и не было произнесено, но тем не менее смысл речей вельможи был так оскорбителен для дам, к которым он относился, что невозможно было не впасть в обиду.

Случилось это около двух недель тому назад. Вельможа давно успел уехать, и впечатление дерзости, сделанной им городским дамам, поизгладилось, но не настолько, чтобы можно было относиться с доброжелательством к виновнице этого события, тем более что к обиде примешивалась зависть. Граф не охладевал к предмету своей страсти и, вопреки всеобщим ожиданиям, выказывал серьезные намерения на счет этой ничтожной девчонки. Графиней, чего доброго, сделается!

— Поляк он завзятый и на царскую службу поступить ни за что не желает, как ни просят, — объявила одна из посетительниц Софьи Федоровны.

— Как же он на русской девушке женится, когда он поляк и католик? — спросила Софья Федоровна.

— Ах, милая, это другое дело! Тут уж страсть заговорила, он без ума в нее влюблен.

— Он уж четыре раза у них был, — заявила другая.

— Нет, нет, я точно знаю, что пять, — подхватила третья.

— А я вам говорю, что он каждый день у них бывает, а вчера и сегодня я собственными глазами видела его карету у их подъезда, — объявила четвертая дама. — Да неужто ж он вам визита еще не сделал? — прибавила она с изумлением.

— Он непременно вам сделает визит, непременно, — подтвердили в один голос остальные.

Софья Федоровна возразила на это, что ей безразлично, приедет ли к ним граф Паланецкий, который, что там про него ни говори, а смахивает на авантюриста...

— Ах, та chère, что это вы! Он страшно богат, и Андрей Гаврилович знал его дядю в Варшаве. Какой же он авантюрист, помилуйте!

— А как он умен и как тонко воспитан! Что за манеры! Как он со всеми умеет обращаться, ни одной дамы, ни одной девицы без комплимента не оставит. А как танцует!

Не успела еще Софья Федоровна опомниться от похвал, расточаемых графу Паланецкому городскими дамами, как ей пришлось доложить о приезде этого самого графа, и она даже вспыхнула от удовольствия, так ей любопытно было с ним познакомиться.

Вошел высокий, худощавый и стройный щеголь, с лицом неестественной белизны, казавшимся еще белее от длинных усов, без сомнения, подкрашенных, слишком уж они были черны и глянцевиты. Глаза у графа, тоже черные, были хитрые и пронзительные, нос длинный, тонкий, слегка кривой, а подбородок выдающийся вперед, но в общем физиономию его можно было назвать не только интересной, но и красивой, благодаря выразительности взгляда, очаровательной улыбке и замечательно изящным манерам. Говорили, что он воспитывался при французском дворе, и этому легко было поверить; такого *parfait gentilhomme*'а и между родовитыми поляками редкость была встретить, а поляки в то время по всей Европе славились светскостью и ловкостью. Разодет был граф по последней моде, с крупными бриллиантовыми пуговицами на светлом бархатном камзоле, пальцы его были унизаны драгоценными перстнями, две массивные цепочки скрещивались на его груди,

одним словом, один его костюм представлял из себя целое состояние.

Изысканною своею вежливостью он с первых же слов сумел расположить к себе Софью Федоровну, ловко ввертывая в разговор лестные комплименты по адресу ее мужа, которого он встречал во многих домах, и, видимо, намекая на Клавдию, прибавил к этому, что, имея счастье быть принятым в distinguished семье Курлятьевых, считает долгом заслужить и расположение их родственников.

«Да, очень может быть, что он сделает предложение Клавдии, но как могла ему понравиться такая девочка, почти ребенок? Ведь он уж стар, у него морщины и волосы, наверное, седые», — думала Софья Федоровна, слушая своего гостя и с любопытством всматриваясь в его оригинальное лицо, действительно, точно мелкой сеткой, перерезанное тончайшими морщинами, особенно на висках и вокруг глаз.

Разговор коснулся ужасного происшествия в Епифановском лесу и убитых разбойниками путешественников, которых он считал французскими эмигрантами, направлявшимися через Австрию на юг России.

— Если б они ехали из Петербурга, из Москвы или даже из Варшавы, там известно было бы, кто они. Всех выезжающих из этих городов записывают в полицейские книги при выдаче подорожных, а по прибытии на место отправления подорожную надо предъявить. Да и вообще: иностранная фамилия, состоящая из супругов, ребенка и свиты, наверное, более четырех человек, не могла проехать через большие города незамеченной, а между тем сколько ни старались узнать про эту фамилию официальным путем и приватно, все безуспешно.

— Почему вы полагаете, что, кроме убитых, были при экипаже еще другие люди? — спросила Софья Федоровна.

— Это не подлежит ни малейшему сомнению; грабеж сделан слишком уж тщательно, в нем непременно должны были принимать участие близкие люди. Вероятно, холопы стакнулись с разбойниками. Заметьте, что защищали господ и заплатились за то жизнью одни только иностранцы, русских ни одного не погибло, а должен же был с ними ехать и кучер, и два фореитора, такой дормез меньше чем восьмерке лошадей не сvezти.

Граф горячо возмущался тем, что он называл преступною бездейтельностью властей в этом случае. Ну, как это давным-давно не переловить и не перевешать злодеев, нагонявших панику на весь край!

В увлечении своем он проговорился о том, что было еще для всех в городе тайной.

— Ведь они уж сюда пробираются...

— Как? Где? — вскричала бледная от ужаса Софья Федоровна.

Граф стал ее успокаивать. Он рассыпался в извинениях за то, что так напугал ее, и умолял не придавать значения его словам.

— Я совершенно упустил из виду, что вы менее, чем кто-либо, можете относиться хладнокровно к деяниям этих злодеев, но прошу вас успокоиться, сюда они во всяком случае ни за что не посмеют явиться, здесь полк стоит, здесь проживают такие благородные и просвещенные личности, как ваш супруг, как господин губернатор, как полковой командир и другие, к которым я позволяю и себя причислить, — прибавил он со скромной усмешкой.

«Правда, ты защитишь, если захочешь, на твою дружбу можно положиться, но за то как страшен ты должен быть для тех, кого считаешь врагом!» — мелькнуло у нее в уме, глядя на дышащую силой и энергией фигуру своего нового знакомого.

— Где же они теперь? — спросила она, стараясь казаться спокойной.

— Вчера пронесся слух, что они ограбили хутор Ворошовых...

— Да это только верст десять отсюда! И они там всех убили?

— О нет! Они убивают только в крайнем случае, защищаясь, а у Ворошовых некому было им препятствовать...

Софья Федоровна вздохнула:

— И все это шайка ужасного Шайдюка?

Граф передернул плечами и развел в недоумении руками.

— Говорят, что это те же самые, что в Епифановском лесу неистовствовали, но я этого не думаю. Эти, без сомнения, убрались подальше, и мы о них не скоро услышим. Награбленного им хватит надолго, а сбывать вещи в здешнем крае, когда только этого и ждут, чтобы напасть на их след, было бы уж чересчур опрометчиво с их стороны. Ведь несчастные родители вашей приемной дочери были иностранцы и, насколько можно судить по клочьям, уцелевшим от их одежды, да по тому, что осталось от их экипажа, это были знатные французские эмигранты. На обломке дверцы дормеза, найденной в снегу, за несколько шагов от места катастрофы, нам удалось отыскать следы стертого герба. Я говорю «нам», — продолжал он, отвечая

на недоумевающий взгляд своей собеседницы, — потому что ваш покорный слуга способствовал отчасти этому открытию. Мне известно, что эмигранты стирают гербы, пускаясь в путь, но я знаю также и то, что не все их выскабливают, некоторые ограничиваются закрашиванием их под цвет всего экипажа, и я посоветовал осторожно снять верхний слой краски с найденного осколка дверцы...

— И что ж нашлось под краской? — перебила с оживлением его слушательница.

— Следы герба, ничего больше, и такие ничтожные, что надо быть знатоком геральдики, как я, чтобы догадаться, что герб французский. Впрочем, я не отчаиваюсь добраться и до более существенного по этим ничтожным примерам и с этой целью тщательно срисовал непонятные для профана разноцветные пятна, черточки и точки, уцелевшие на осколке того, что некогда было дверцей дормеза, бесспорно работы одного из лучших каретных мастеров города Парижа.

— И вы нам сообщите результаты ваших поисков, не правда ли? — вскричала Софья Федоровна, вне себя от волнения.

— Можете ли вы в этом сомневаться? Да я только из-за этого и хлопочу, — прибавил он, почтительно целуя ее руку.

Она хотела его поблагодарить, но подходящих выражений не подыскивалось. Ей как-то жутко было с ним сблизиться, с этим странным человеком, так мало похожим на людей, которых она привыкла считать «своими». Никогда не сроднится она с ним душой, как бы ни заискивал он перед нею и как бы ни сблизился с семьей ее сестры. И мужу ее он не нравится, а Иван Васильевич очень осторожен в своих суждениях о людях и без веских причин никому недоброжелательства не выражает.

«По какому поводу обозвал он графа Паланецкого авантюристом?» — думала она, тщетно пытаясь припомнить подробности разговора, во время которого был произнесен этот приговор над блестящим претендентом на руку и сердце их племянницы.

Но любопытство ее так мучило, что, невзирая на смутное чувство, отталкивающее ее от графа, она продолжала расспрашивать его про разбойников.

— Чья это может быть шайка, если Шайдюк далеко?

— Тут другой появился. Народ Соколом его прозвал. Молод, говорят, и хорош собою. Ну, сейчас же легенда и сложилась. Рассказывают, что он от несчастной любви по-

шел в разбойники, — продолжал с иронической улыбкой граф. — Да неужто ж вы ничего об этом не слышали от вашего супруга?

Не дальше как вчера, он присутствовал на совещании у губернатора по этому поводу, и господин Бахтерин тоже принимал участие в этом совещании.

— Муж мне про все это, вероятно, сегодня расскажет, — заметила Софья Федоровна.

— Тем более что сегодня мы опять будем толковать об этом, и на сей раз, надо надеяться, придем к какому-нибудь окончательному решению. Пора, злодеи набираются отваги от безнаказанности, невозможно предвидеть, на чем они остановятся.

Эти последние слова противоречили вполне тому, что он говорил за несколько минут перед тем, но он так увлекся, что этого не замечал. Взгляд его сделался суров, под усами губы судорожно сжались, и в одно мгновение вся его физиономия так преобразилась, что у Софьи Федоровны сердце захолонуло от ужаса.

Впрочем, он не надолго забылся и тотчас же принялся рассказывать ей с большим юмором забавные анекдоты из походов разбойников в Польше и за границей. В Силезии они нагнали такой страх на жителей, что долго после того как уж все злодеи были перевешаны, трусливые бюргеры баррикадировались на ночь и после заката солнца не отваживались носу показать в лес.

— А что это за Сокол, про которого вы упомянули? — вернулась его слушательница к занимавшему ее предмету. — Откуда он? Из каких? Казак, как Шайдюк, или из дворовых, как тот, что разбойничает до сих пор в Черниговской губернии?

Граф отвечал, что про этого нового молодца ничего еще достоверного неизвестно. Он ни разу не был пойман, и все, что про него рассказывают, может быть, и вздор.

— Ведь и про Шайдюка ходила молва, что он изумительно хорош собой и прекрасно воспитан, ну, великосветский герой, одним словом, а на деле оказалось, что это в полном смысле дикарь, с отвратительной рожей и ничем, кроме зверства, не отличается от обыкновенного мужика.

— А Татарчук?

— И этот по всей вероятности не далеко от него отстал. Наружность у него красивая и импонирующая, правда, но в сущности такой же gibier de potence, как и другие.

— И давно этот Сокол здесь появился?

— Нет, недавно, кажется. Его схватили бы вместе с прочими, если б он участвовал в поджоге и разграблении федюхинской усадьбы, помните, два года тому назад? Они тогда пропасть народу погубили, помещика Мишинского с семьей, Лазареву и многих других... Нет, Сокол, должно быть, здесь недавно, — продолжал граф, помолчав немного. — И, без сомнения, наши власти возьмутся наконец за ум и прекратят это безобразие. В Петербурге не хотят верить, когда начинаешь рассказывать про то, что здесь делается, — прибавил он с улыбкой.

— А вы давно были в Петербурге? — спросила Софья Федоровна.

— Я там каждый год бываю и подолгу живу. У меня там мать и сестры, свой дом на Фонтанке. Сестры еще не замужем, я над ними опекуном, и хлопот мне с их именьями немало. Матушка женщина светская и делами не занимается.

— А братья у вас есть?

Вопрос этот, произнесенный Софьей Федоровной машинально, как будто смутил его немного.

— Нет, братьев у меня нет, — ответил он отрывисто и, тотчас же поднявшись с места, стал откланиваться, а перед тем, как расстаться с Бахтериной, произнес еще несколько прочувствованных фраз с намеком на его страстное желание породниться с их семьей.

Да, у него серьезные виды на Клавдию. Это по всему видно. Сестрица Анна Федоровна должна быть в восторге. Удалось ей-таки наконец найти такого зятя, который никакого приданого за невестой не потребует. Клавдию она выдаст за графа Паланецкого, старших дочерей в монастырь упрячет, и все состояние безраздельно достанется ее возлюбленному Фединьке.

Ловкая особа, сестрица Анна Федоровна! Злым людям всегда больше везет, чем добрым, на свете, ну как же после этого сомневаться в могуществе дьявола?

Столько надобно было Софье Федоровне передать мужу, что она не знала, с сего начать, когда он вошел в спальню, но он сам тотчас же спросил, был ли у нее граф Паланецкий. И вопрос этот был задан так угрюмо, что она поспешила объявить, что новый знакомый, невзирая на любезность, красноречие и изысканные манеры, не понравился ей.

— Он страшный, с ним жутко. А какой старый!

— Да, он далеко не молод, — согласился Иван Васильевич, укладываясь на широкую кровать рядом с женой. —

Он хитер и ловок, но страшного в нем ничего нет. Не нам с тобой бояться таких авантюристов, как он, а скорее ему нас, — прибавил он с улыбкой.

Софья Федоровна любопытствовала, почему он считает его авантюристом.

— Да как тебе сказать, все в этом человеке загадочно и темно: происхождение его, богатство, общественное положение, мысли и цели, все это он скрывает также тщательно, как и лета свои. Репутация его такая же подкрашенная, как и усы его. Что ж он тебе еще рассказал?

— Он говорил, что у него в Петербурге мать и сестры.

— Да, да, он это всем рассказывает. Ну, а еще что?

— Мне кажется, что ему в самом деле хочется жениться на нашей Клавдии.

— Он в нее влюблен... Если только не притворяется.

— Но для чего же ему притворяться?

— Кто его знает! Впрочем, не он один, а все находят, что она была замечательно хороша на этом бале. Выровнялась девчонка. Можно ли было ожидать, что из нее выйдет красавица.

— Ты думаешь, ее выдадут за него?

— Еще бы! Посватался бы только, с восторгом отдадут.

— Ах, вот что еще, — вспомнила Софья Федоровна. — Катенька с Машенькой в монастырь идут. Они обе кликушами сделались, и Симионий их отчитывать будет. Мне очень хотелось бы, чтоб он и над нашей Магдалиночкой помолился.

Ее нетерпеливо прервали.

— Что такое? Кликушами сделались? Откуда эта нелепость? — отрывисто спросил Иван Васильевич, приподнимая голову с подушки и продолжая разговор в сидячем положении. Он был чем-то озабочен и раздражен. Это чувствовалось и в голосе его, и в движениях. Комната освещалась только лампадой, горевшей у киота, перед образами, но, вглядываясь в его лицо, Софья Федоровна не могла не заметить, что оно бледнее обыкновенного и что в глазах его нет обычного выражения спокойной задумчивости.

— Все это говорят, — отвечала Софья Федоровна. — С ними это в церкви случилось, за обедней, когда Херувимскую запели, упали обе, как подкошенные, стали биться и кричать. Их вынесли без чувств, и они только дома очнулись. А что в монастырь они поступают, это наша Ефимовна от их няньки слышала...

— И скоро их туда увозят?

— Да завтра, говорят.

— И прекрасно, — вставил вполголоса Иван Васильевич.

— Тетенька Агния здесь была, а к нам и не заглянула. Это очень странно, не правда ли? Ей, кажется, сердиться на нас не за что.

— А еще что у них Ефимовна слышала? — прервал ее муж.

— Да все то же, что бес в них вселился. Впрочем, это не Ефимовна говорит, а Фаина Кузьминишна...

— Я не про то, ты все только одно повторяешь: бес да бес. Интересно знать, чему приписывают появление этого беса... Ни на кого не намекают?

— Нет... А разве есть причина? — нерешительно спросила Софья Федоровна, робко заглядывая мужу в глаза.

— Без причины ничего не бывает, — резко вымолвил он и, задумавшись, смолк.

— Граф Паланецкий мне про разбойников рассказывал, — начала, немного переждав, Софья Федоровна.

Муж ее вздрогнул.

— Про разбойников? — переспросил он, сердито сдвигая брови. — С какой стати?

— Да вот по поводу того, что они ворошовский хутор ограбили. Неужели это правда? Правда это? — повторила она дрогнувшим голосом, подождав немного ответа, которого на ее первый вопрос не последовало.

Но и этот Иван Васильевич как будто не расслышал.

— А про злодея, атамана этой шайки, ты ничего не слышала? — спросил он, пылливо взглянув на жену.

— Он сказал, что это не тот, который Магдалиночкиных родителей зарезал, не Шайдюк.

— Но кто он такой, этого он тебе не сказал? — со сдержанным раздражением вымолвил Иван Васильевич.

Настойчивость эта изумляла и пугала ее. Жутким предчувствием сжалось у нее сердце. Сейчас, сейчас откроется тайна, такая страшная, что лучше бы и не знать ее, да уж поздно. И вместо того, чтоб умолить мужа оставить ее в неведении, не смущать ей душу, она прошептала, холодея от ужаса:

— Кто же этот злодей? Ты знаешь?

— Только сегодня узнал... До сих пор все еще сомневался, но теперь все доказательства налицо... Не пугайся, пожалуйста, нам опасаться нечего, за чужие грехи мы не ответчики. Разумеется, неприятно будет, когда все узнают, но что ж делать, к этому надо готовиться, — продолжал он, все тем же отрывистым, полным сдержанного волнения

тоном. — Злодея, без сомнения, скоро удастся поймать, если он уже не пойман, и сошлют его на каторгу. Ну, первое время поговорят, разумеется, посплетничают, уж без того нельзя, но Катеньки с сестрой здесь не будет, а Паланецкому, как мне сдается, история эта не помешает жениться на Клавдии, — рассуждал он сам с собой, не замечая полного испуга и недоумения взгляда, устремленного на него его слушательницей. — Сестрица твоя ловкую штуку придумала: отправить дочерей в монастырь. Им в настоящее время самое подходящее там место; в полной безопасности от злодея — это, во-первых, а во-вторых, и скрыть от Катерины вам легче, что он близко...

— Да кто же он такой? Кто? — вскричала вне себя от страха и любопытства Софья Федоровна.

— Неужели ты не догадываешься? Тот самый, в которого Катенька была влюблена шесть лет тому назад, в тот год, когда мы сюда приехали...

— Алешка?!

Иван Васильевич утвердительно кивнул.

XII

В ту самую ночь вот что происходило у Курлятьевых.

Барыня, утомившись хлопотами и распоряжениями, затянувшимися за полночь, крепко заснула. Спали и те из челяди, что были слишком молоды или слишком далеки от господ, чтобы понимать важность готовящегося в доме события; спал сладким, детским сном и виновник переполоха, маленький Федя, разметавши белокурые кудри на атласной голубой подушке в батистовой наволочке, так близко от матери, что этой последней стоило только протянуть руку, чтоб ощупать в маленькой кровати дорогое тельце своего любимца. И грезились Феде новые игрушки, новая лошадка, которую обещали ему подарить к светлому празднику, горы крашенных яиц, веселая гурьба маленьких товарищей, угодливых и льстивых, повинующихся малейшему его знаку, придумывающих игры, чтоб его позабавить, над которыми он может, как угодно, куражиться, так как они телом и душой принадлежат ему, все равно что игрушки, только живые. Этих Ванек, Петрушек, Митек дарили ему ко дню рождения и именин, к Рождеству и Пасхе точно так же, как вот теперь подарят лошадку.

Не подозревал Федя, о чем плачут его сестры и сокрушается его отец, и старшие слуги, и Григорьевна, и горнич-

ные Аннушка с Феклой, и старик буфетчик Дормидонт. Эти не смыкали ни на минуту глаз в эту достопамятную ночь. А уж про барышень и говорить нечего; им никто не советовал раздеться и хоть на часочек прилечь в постель, всем было понятно, что в том состоянии страха, печали и волнения, в котором они находятся, им ни за что не уснуть.

Последнюю ночь ведь проводят они в родном гнезде. Как ни печальна была их жизнь в родительском доме, сколько бы слез они в нем ни пролили, а все же каждый уголок здесь им был мил и дорог. Да и не на радость, не на счастье с любимым человеком покидали они его; на мрачную келью, на черную рясу, на бесконечно долгое, тяжкое заточение они променивают свою теперешнюю безотрадную жизнь. В миру все же им можно было надеяться на перемену к лучшему, там же — ничего, никакого избавления, кроме смерти, нельзя ждать. А кто знает, когда еще он явится, этот избавитель! Они молоды, жизнь их только что начинается, и ничего, кроме горя и обид, не удалось им вкусить.

Весь последний день провели они в своей комнатке наверху, перебирая вещи, которые не для чего было брать в монастырь. Искушение одно этот мирской хлам: бальные платья, манишечки, ленточки, цветы, разноцветные шарфики, шелковые башмачки и ажурные чулочки. Кроме греховных воспоминаний да преступной тоски, вид этих вещей ничего в душе их не возбудит, пусть уж лучше и не попадают на глаза.

— Вот вам, сестрица, на память мои корольки, — сказала старшая сестра, подавая младшей, помогавшей им укладываться, красивую коробочку с ожерельем и серьгами из кораллов.

— А от меня вот это, носите на здоровье, — подхватила Марья, протягивая ей футляр с парюрой из бирюзы.

— Сестрицы милые, не надо мне ничего, не надо! Оставайтесь дома, голубушки, не уезжайте! На кого вы меня, горемычную, покидаете! Стоскуюсь я без вас одна-одинешенька до смерти, — выкрикивала сквозь рыдания Клавдия, бросаясь к ним на шею.

Который уж раз принималась она плакать за последнее время! Глаза ее так вспухли от слез и личико так осунулось и побледнело, что ее уж не звали в гостиную, когда приезжал граф Паланецкий.

Мать пыталась ее журить за то, что она не может сдерживать своего горя, не умеет притворяться веселой. А отец совсем сник. Многое его тревожило. Но никто не спросит,

что тревожит его любимицу Катеньку, да не разрушена ли изгородь вокруг пустырька под ее оконцем, и много таких подробностей, до которых ему, по-видимому, никакого не было дела.

А водовоз Митрий, тот мог бы сказать, как изумился он в одно раннее утро, увидев, что изгородь в одном месте поломана и что на чистом снегу, ровной пеленой покрывавшем пустырек, виднеются глубокие следы не собачьих лап и не коровьих копыт, а человеческих ног.

Но ни тот, ни другой не проболтались. Не от них и не от Катерины Курлятьевой узнали в городе, кто тот злодей, что засел с шайкой поблизости города, нагоняя ужас грабежами и пожарами.

Колымага, увозившая курлятьевских барышень с их свитой, была уже далеко, когда в их доме заговорили про Алешку. Шепотом, разумеется, и с опаской, чтоб до господ не дошло, хотя и трудно было предполагать, чтоб новость эта барыне не была известна.

Доказательства были налицо: недаром торопилась она упрятать старших барышень в монастырь.

Медлила, медлила до сих пор, да вдруг и порешила от них отделаться. Придралась к тому, что им дурно сделалось в церкви (про припадок, приключившийся с ними раньше, Григорьевне удалось от нее скрыть), и послала в монастырь гонца за матерью Агнией, а ей-то она, без сомнения, созналась, для чего понадобилось выпроводить, как можно скорее, Катерину из города.

Ну а уж Марью постигла та же участь за то, что дружит с сестрой и тоже в свете лишней стала.

— Да, живо обделала дело боярыня Анна Федоровна и ловко, надо ей отдать справедливость, — покачивая головами, толковали между собою старшие слуги, в то время как молодежь болтала о предстоящей свадьбе меньшей барышни с графом Паланецким.

Не успели старшие барышни уехать, как вышло от барыни распоряжение произвести во всем доме генеральную чистку, выколачивать мебель, всюду мыть и скоблить, как перед большим праздником, хотя до Пасхи оставалось еще недели три.

— Что ж это она бал, что ли, затевает? — дивилась челядь.

— Великим-то постом!

— Не бал, а большой вечер хочет задать по случаю сговора меньшей барышни с графом, — пояснила Аннушка.

— Да нешто он уже посватался?

— Надо так полагать. А может, она этим хочет скорее заставить его декларацию сделать, кто ее знает!

— Не терпится дочку скорее в графини вывести.

— А знаете, девоньки, будь я на месте Клавдии Николаевны, ни за что бы за такого страшного не вышла бы. Хоть жги меня, хоть режь — не вышла бы! Скорей бы в лес, к разбойникам убежала бы, ей-Богу! — объявила одна из швей, Настя.

— Что так?

— Да упырь он, вот что, — отвечала, понижая таинственно голос, Настя.

Все с ужасом переглянулись. А ведь девка-то правду сказала, как есть упырь. В лице ни кровинки, как стена, белое, глаза сверкают, как у черта, и откуда он появился, никому неизвестно.

— И холопы-то у него все до единого басурмане, — заметил один из присутствующих.

— Не басурмане, а поляки, — пояснил другой.

— И не поляки вовсе, а совсем другой нации. Петр сказывал: не то жиды, не то турки, — подхватил третий.

— Это один у них турок-то, камардин, Мустафой его звать, а прочие все ляхи.

— Все равно не нашей веры.

— Это точно, что не нашей, а только они христиане, это-то я уж знаю.

— Да уж сам-то больно страшен. И старый ведь, даром, что пляшет, как молоденький.

— Нет, господин он бравый, это что говорить. Намедни я на коне его видела — картинка!

— Первую-то жену, говорят, в гроб вогнал, так он над нею куражился.

— Ну, это, может, и враки.

— Нет, нет, Захар Степанович говорил, а ему нельзя не знать, соседи ведь они с графскими-то, забор к забору. Захар Степанович с ними водится, сколько раз у них в дому бывал. Убранство, говорит, у них, как у принцев, по стенкам шелковые материи натянуты, картин одних в золотых рамах больше двадцати штук больших, а малых и не счесть, такая их пропасть, мебель золоченая, утварь вся тоже из золота и из серебра. Старушка у них живет, ключница, сам-то во всем ей верит, над всеми старшей ее поставил, Казимировной ее звать. Захар Степанович редкий день у нее не бывает. Угощение, говорит, такое, что за сто верст бы не лень к ним прибежать, а тут они рядом и все она его зазывает, старуха-то. Скучно, говорит, мне на чужой на сторонушке.

— Ишь ты! А ведь ведьма, поди, чай?

— Бог ее знает, а Степаныч ее хвалит. Занятно больно она про польскую землю рассказывает. У них ведь все не так, как у нас... А уж мед, говорит, какой они варят! Ни у кого здесь такого меда нет, как у них.

— Вот она его медом-то и припоила.

— А по-каковски он с нею разговаривает?

— По-русски. Она говорит, что от русских господ куплена.

— Толкуй там! Как же это она к русским-то господам попала, когда и веры не нашей, и нация у ней другая? Просто ведьма. Им это ничего не стоит во что угодно обернуться, собакой ли, кошкой ли.

— А сам-то упырь, — стояла на своем Настя.

Но когда граф Паланецкий объявился женихом барышни Клавдии Николаевны, такие щедроты посыпались на весь курлятьевский дом, что его перестали считать упырем; все согласилось, что лучше, тароватее и приятнее жениха трудно найти.

Молодёнька, правда, невеста-то перед ним, до пятнадцати-то лет еще десяти месяцев не дожила, ну, да уж это его дело, и по всему видно, что с этой бедой он справиться сумеет, такой умный да ловкий, всякого может приворожить.

И сама Клавдия начинала мириться со своей судьбой. Впрочем, задуматься над тем, что ее ждет, ей не давали, каждый день придумывал для нее жених новые развлечения: то заставит свою челядь представление дать в ее честь, живые картины, пантомимы с танцами, на которые весь город съезжался смотреть, то бал задаст с полковой музыкой, то маскарад затеет. При доме у него был большой сад, и с наступлением весны праздники свои он устраивал на чистом воздухе; далеко за полночь танцевали в шелковой палатке, освещенной разноцветными фонарями, разукрашенной лентами, гирляндами, щитами с гербом гостеприимного хозяина на видном месте, гуляли по дорожкам и аллеям, где было светло, как днем, от иллюминации, освещавшей на далекое пространство всю окрестную местность, и ужинали в великолепных залах богатого дома под звуки оркестра, гремевшего с хор, при блеске тысячи свечей, сверкавших в люстрах и канделябрах. А уж угощение было такое, какого здесь самые богатые люди не видывали. Каждую неделю проезжали через город к дому графа Паланецкого подводы с выписанными им издалека заморскими

винами, сладостями и подарками не только для невесты и для ее родни, но также для тех дам и девиц, что удостаивали посещать его праздники. Таким образом разослал он им костюмы для маскарада, чтоб не тратились. Ему же, по-видимому, тратиться ничего не стоило. Деньги ему тоже откуда-то привозили бочонками, золото и серебро под конвоем вооруженных людей, так как в соседних лесах разбойники продолжали время от времени пошаливать, невзирая на то, что многих из них удалось переловить и засадить в острог.

О приданом граф просил свою будущую тещу не беспокоиться, взял он только одно из платьиц своей невесты да башмачок на мерку, и таких великолепных нарядов наслали ей из Варшавы, что все ахнули, как разложили их на столах в большой зале. Целую неделю приезжали щеголихи любоваться этими прелестями не только со всех концов города, но также из соседних деревень и хуторов.

Анна Федоровна земли под собой не чувствовала от восторга. Разряженная в подарки будущего зятя, еще красивая, невзирая на пробивающуюся седину, выдающийся подбородок, низкий лоб и сросшиеся густые брови, она с большим достоинством принимала поздравления и, величественно драпируясь в дорогую желтую шаль, распространялась про богатство и знатность своего будущего зятя, не забывая при этом упомянуть и про его страстную, умопомрачительную, можно сказать, любовь к ее дочери.

— Да разве мы бы ее отдали так рано, если б не такой, можно сказать, выдающийся случай, — объясняла она всем и каждому. — Когда граф сделал мне для нее декларацию, я была так афрапирована, что в первую минуту не знала, что ответить, но он сумел меня убедить, сумел доказать, что мы смело можем доверить ему наше сокровище.

На вопрос, скоро ли свадьба, она со вздохом отвечала, что, увы, очень уж недолго остается ей тешиться своей красавицей. Граф редкую неделю не получает писем от короля. Его величество очень к нему благоволит и настаивает на том, чтоб он с молодой женой поселился в Варшаве. Вскоре после свадьбы и уедут.

Да, недолго уж Анне Федоровне остается любоваться своей прелестной дочкой.

Про Катерину с Марьей, разумеется, никто и не вспоминал. Блестящая судьба, так неожиданно постигшая их меньшую сестру, заставила всех про них забыть, точно их никогда и не было на свете. Даже рассказы про таинственную болезнь, постигшую их, смолкли; даже косвенно нико-

му не хотелось примешивать имя графа Паланецкого к таким мрачным и неприятным представлениям, как монастырь, бесовская сила и тому подобное. Так сумел он всех очаровать, что из-за него щадили и Анну Федоровну.

Бахтерины тоже стали подаваться на его сторону. Иван Васильевич сознавался, что если граф и авантюрист, то во всяком случае очень умный, образованный и приятный для общесия человек, а Софья Федоровна, любуясь красотой племянницы в новых нарядах, жемчужных и бриллиантовых уборах, повторяла все чаще и чаще: кто знает, может быть, она с ним будет счастлива!

Сестры помирились. Первый шаг к этому сделала Анна Федоровна. Она сама приехала приглашать сестрицу с мужем на вечер, который давала в день обручения дочери, долго сидела у Бахтериных, была необыкновенно мила и любезна, пожелала видеть их приемную дочь и нашла ребенка на диво красивым и смышленным.

— Вот точь-в-точь таким же умным и понятливым был наш Федичка, когда ему было полтора года, — объявила она, любуясь разряженной девочкой, которую вынесли, чтоб ей представить.

Лучше комплимента нельзя было от нее ждать, всем было известно, как она обожает своего сына.

— Мы для него гувернера из-за границы выписываем. Граф предлагает нам своего знакомого из Швейцарии. Надо, чтоб Федичка хорошо говорил по-французски, умел бы танцевать и вообще знал бы все, что теперь требуется от молодых людей хорошей фамилии, ведь он единственный представитель нашего туренинского рода... Ах, кстати, — продолжала она с оживлением и не без скрытой тревоги во взгляде, обращаясь то к одному, то к другому из своих слушателей, — я должна вам сообщить, что мы хотим просить императрицу, чтоб она дозволила Федичке носить двойную фамилию — Курлятьев-Туренин.

Супруги Бахтерины с усмешкой переглянулись.

— Как старшая, я больше имею прав, чем сестрица, на эту милость, — начала было пояснять Курлятьева, но ей не дали договорить. Иван Васильевич поспешил заявить, что, если даже у них и будут когда-нибудь сыновья, он не изъавит за них претензии на двойную фамилию.

— Пусть с честью имя Бахтериных носят, будет с них и этого. Наш род древнее туренинского, — прибавил он и, чтоб не останавливаться на этом вопросе, спросил, согласен ли Николай Семенович на ее затею.

Анна Федоровна с презрением повела плечами.

— Что это за вопрос, mon frère? Точно вы нашего Николая Семеновича не знаете!

— Мы-то его знаем, но там, в Петербурге, его не знают и без его формального согласия ничего не выйдет. Прощение о дозволении носить другую фамилию должно быть подписано главой семьи.

— О, если только его подпись требуется, то это пустяки, — небрежно возразила г-жа Курлятьева. — Он подпишет все что угодно, лишь бы только его в покое оставили. Представьте себе, — продолжала она с раздражением, — не пожелал знакомиться с графом под тем предлогом, что он католик. В ужасное он меня положение ставит, с каждым днем все больше и больше юродствовать стал. Что за народ к нему ходит! Я даже боюсь, чтоб нас как-нибудь не ограбили, ей-Богу! Теперь, говорят, среди нищих множество опасного сброда появилось...

— Сокола-то, однако ж, поймали, — заметил Иван Васильевич.

— Да, да, поймали, слава Богу! — с живостью подхватила г-жа Курлятьева. — За Киевом, там его и судить будут.

«И везет же вам, сестрица!» — подумала Софья Федоровна, переглянувшись с мужем. А вслух она прибавила:

— Теперь у нас поспокойнее будет...

— Но шайка его не вся переловлена, — продолжала Анна Федоровна самым естественным тоном, точно она и не подозревает, кто этот Сокол, а интересуется им, как и все, только потому, что он предводительствовал злодеями, ограбившими ворошовский хутор. — И граф советует быть осторожнее, а наш Николай Семенович и слушать не хочет, когда ему говоришь, что всех этих проходимцев, юродивых, калик переходящих, монахов и монашек из лесных скитов в три шеи надо со двора гнать, а не прикармливать их, как он делает. Намеднись оставил даже переночевать у себя в моленной какого-то старика... Уж мне донесли, когда его и след простыл... А может, это разбойник, переоделься нищим монахом, чтоб все у нас высмотреть, все ходы и выходы? Может, теперь на наш дом целая шайка душегубцев нагрянет и всех нас перережет! Трех лишних сторожей мы теперь на ночь наряжаем; всю ночь до рассвета вокруг дома и сада с трещотками ходят, каждого прохожего окликают. Собака цепная у нас есть, но граф обещал нам еще другого пса подарить, такого злого, что с ним нам уж беспокоиться нечего. Вы представить себе не можете, как граф ко мне и к Федичке внимателен. Уж про Клавдию и не говорю, она его невеста, и он влюблен в нее без памяти,

понятно, что он ей всячески угождает. Она ко двору будет представлена, как только они приедут в Варшаву, а там он ее в Петербург повезет, императрица непременно ее статс-дамой сделает. Нашего графа императрица очень жалует. Когда он в Петербурге, она без него не садится в карты играть. И цесаревич с цесаревной к нему милостивы. Наши молодые непременно и у тетеньки Татьяны Платоновны будут с визитом. Она, наверное, обласкает Клавдиньку и рада будет познакомиться с ее мужем, ведь он настоящий вельможа, так же богат и знатен, как Понятовские.

— А что Катенька с Машенькой? — спросила Софья Федоровна не без злого умысла; самодовольная кичливость сестры начинала ее раздражать.

— Да ничего. Григорьевна ездила на днях в монастырь, видела их обеих, начинают привыкать. Ведь они у нас давно из мира вон рвутся, призвание, должно быть, ничего не поделаешь.

— А здоровы они теперь?

— И на здоровье не жалуются.

— Симионий-то им, верно, помог...

Анна Федоровна вспыхнула при этом намеке и, задыхаясь от злобы, объявила, что к Симионию им прибегать было не для чего.

— У нас в доме бесноватых нет, — вымолвила она, надменно выпрямляясь.

— Ну, и слава Богу, слава Богу, — поспешила заявить Софья Федоровна, смущаясь под строгим взглядом мужа.

Не присутствуя Иван Васильевич при этом разговоре, очень может быть, что она не утерпела бы и выразила бы свое участие к племянницам в более определенной форме, но на счастье г-жи Курлятьевой Бахтерин терпеть не мог свар, сплетен и неприятных объяснений по делам, не касающимся ни его, ни его семьи. Если между ним и женой выходили иногда легкие препирательства, то единственно из-за того, что она по женской своей слабости не прочь была подчас посудачить о том, до чего, по его мнению, ей не было никакого дела.

Свадьба была назначена после Троицы, а незадолго до этого дня Анна Федоровна, к величайшему своему удивлению, узнала, что дом, в котором жил граф Паланецкий и который все считали его домом, принадлежит не ему, а какому-то купцу Васютину, которого никто здесь не знает, кроме приказчика его, торгующего в мучном лабазе на базарной площади.

Вещи из этого дома, мебель, бронзу, серебро и прочее стали увозить куда-то еще на страстной неделе. Каждый день несколько подвод, навьюченных тщательно запакованными тюками, чуть свет выезжали из ворот, направляясь к заставе, а оттуда сворачивали дальше, Господь ведает куда. Таким образом, мало-помалу все было вывезено, до последнего стула, и граф поселился в горенке своего камердинера, того турка, про которого было упомянуто раньше.

— Там и почивают, там и кушают, — доносили посылаемые на разведку Анне Федоровне, — Людей всех тоже отправил. Одна из первых снялась с места на возу с вещами поценнее, серебром и тому подобным Казимировна, та полячка, что у русских господ крепостной была, а за ней уж и прочие холопы, кто верхом на конях, кто на возах, а кто и пешком.

Известие это ужасно смутило Анну Федоровну.

Что особенно приводило ее в недоумение — это то, что граф, бывавший у них каждый день, ни единым словом не обмолвился об этом распоряжении. Куда же привезет он молодую жену, если дом, в котором он жил, пуст? И почему не сказал он раньше, что дом этот ему не принадлежит? Он его так роскошно отделал, что никому не могло прийти в голову, чтоб можно было так тратиться на чужую собственность. До появления графа Паланецкого со свитой дом этот с незапамятных времен стоял с заколоченными окнами и дверями. На вопрос, кому принадлежит это строение с густым заросшим сорными травами садом, здешние старожилы обыкновенно отвечали: «А кто его знает! Поляку какому-то, никогда здесь не бывает». Понятно после этого, что, когда граф в нем остановился и стал его отделывать на барскую ногу, никто не сомневался в том, что он и есть тот самый собственник дома, который до сих пор никогда еще сюда не являлся. Но достался ли он ему по наследству, или он купил его у владельца, никто этого не знал.

Вообще про графа Паланецкого трудно было что-нибудь узнать. Никому не позволял он вмешиваться в свои дела. Он так себя с первого раза поставил, что заговаривать с ним о том, чего он не желал касаться, никто не отваживался. Все держали себя с ним на почтительной дистанции, в том числе и его будущая теща.

А между тем Анна Федоровна робостью не отличалась и не только с равными себе, а также и с высшими обходилась более чем развязно, но то были русские люди, свойства их ей были известны до тонкости, от них она знала, чего ей в худшем случае можно ждать, тогда как этот, кто его

знает, что за человек. Происхождение его, состояние, мысли, манера выражаться — все это было изысканно, великолепно и роскошно, но вместе с тем так таинственно и чуждо, что она невольно чувствовала себя перед ним смущенной и не в своей тарелке. Где уж тут допрашивать, требовать от него объяснений.

Да и по другим причинам это было невозможно.

Никогда не приезжал он к невесте один и запросто, как подобает жениху из простых смертных, а всегда с помпой, в сопровождении целой свиты. Не говоря уж о двух лакеях в ливреях, ожидавших его приказаний в прихожей, за ним следовали всюду двое компаньонов, один, которого он называл своим пажом, красивый юноша по имени Товий, хорошего рода, судя по ласковому обращению с ним графа; всегда нарядно одетый, он, по-видимому, исполнял одну только должность при своем покровителе, должность компаньона; другой же, по имени Октавиус, мужчина средних лет, довольно мрачного вида, служил ясновельможному секретарем. Оба были молчаливы и, тщательно ступаясь в присутствии господина, каждым своим движением, каждым взглядом стараясь показать, какая огромная дистанция отделяет их от него, и так подобострастно ловили они каждый его знак, так стремительно бросались исполнять его приказания и угадывали малейшие его желания, что, невзирая на блестящий их костюм и светские манеры, их ни за кого иного, как за его слуг, невозможно было принять.

Впрочем, занять другое положение в обществе они и не стремились. Угодить графу — другой цели в жизни у них, по-видимому, не было.

В обществе он обращался к ним только знаками; взглянет, поднимет бровь, чуть заметно мигнет или сделает указание пальцем, им этого было достаточно, чтобы понять, чего он от них требует, но на каком языке разговаривал он с ними дома — неизвестно. Ни русского, ни польского, ни французского языка они не понимали или притворялись, что не понимают. Сколько ни старались домашние Анны Федоровны вызвать их на разговор, все было напрасно; на все вопросы они отвечали низкими поклонами, улыбками, разводя руками в знак того, что ничего не понимают.

Впрочем, к ним вскоре так привыкли, что перестали обращать на них внимание. Обыкновенно, раскланявшись перед хозяйкой дома и невестой их господина, они ретировались в отдаленный угол комнаты и оставались там все время неподвижно и не меняя позы, с напряженным вни-

манием следя глазами за каждым движением графа в ожидании его приказаний.

Об их существовании совсем бы забыли, если б Анна Федоровна с самого начала не распорядилась поручить их попечениям приживалки Варвары Петровны,

— Смотри у меня, чтоб графские компаньоны ничем у нас не были обижены, ни винами, ни десертами, чтоб не на что им было на нас жаловаться, — прибавила она с презрительной гримаской по адресу молчаливых спутников ее будущего зятя.

Не лежало у нее к ним сердце.

И остальная прислуга графа была под стать этим двум. Высокие, здоровые гайдуки, в обшитых галунами ливреях, ожидавшие его в прихожей, когда он посещал невесту, были поляки, но и от них ничего невозможно было узнать, кроме того, что господин их баснословно богат, счета своим доходам не знает и так могуществен, что разве только пан круль может с ним равняться.

Таких осторожных людей по всему белому свету ищи не найдешь. Как ни пытались заставить их разболтаться курлятьевские люди — и лаской, и лестью, и вином, ничего из этого не выходило. Ну вот точно истуканы замороженные, прости Господи.

Как сказано выше, граф всегда приезжал к невесте с помпой. Перед каретой четверней, с фореитором и кучером, одетыми на иностранный лад, в треуголках, обшитых галуном на напудренных париках, скакал в пунцовом бархатном берете с белым пером паж Товий, а в карете, напротив графа, в почтительной позе сидел Октавиус, благоговейно, как святыню, держа в руках подарок.

Без подарка жених к невесте не являлся. Один день подносил он ей ящик из драгоценного дерева, с необходимыми для модницы того времени принадлежностями: хрустальными, отделанными в золото флаконами с духами, фарфоровыми банками дорогой французской помады, пудры, румяна, белила, мушки и тому подобное, на другой день — изящной и редкостной работы веер, на третий — украшенный драгоценными камнями браслет, бриллиантовый перстень, венецианские кружева и проч., и проч.

Поднеся свой дар смущенной и раскрасневшейся девушке, граф с изысканным комплиментом на французском языке (по-русски он изъяснялся с таким трудом, что все старались избавить его от необходимости подыскивать выражения на этом языке) просил позволения поцеловать ее ручку, а затем садился на диван рядом с нею и, не пере-

ставая бросать на нее взгляды, начинал с ее матерью и с гостями, когда таковые были налицо, разговор о таких предметах, как погода или политика, рассказывал последние придворные новости из Петербурга, Варшавы, Вены, Дрездена, Парижа, Берлина так обстоятельно, с такими интересными подробностями, что сомневаться в том, что у него отношения самого интимного свойства со всеми сильными мира сего, не было никакой возможности.

Для приема жениха Клавдию наряжали, как на бал, в шелк, бархат и брильянты, в платья декольте.

Жених это любил. Чем наряднее она была, тем милостивее улыбался он окружающим.

Поднося ей футляр с драгоценной вещью, он обыкновенно говорил, что будет очень счастлив увидеть ее на ней при следующем свидании. По его словам, у женщин того круга, в который он намерен ее ввести, никаких других занятий, кроме заботы нравиться и принимать гостей во всеоружии красоты и наряда, не может быть.

И, разумеется, услышав этот намек, Анна Федоровна поняла его и напрягала все свои силы, чтоб ему доказать, что дочь ее вполне способна подчиниться такому обычаю.

С раннего утра бедную Клавдию принимались мыть душистыми мылами и завивать; парикмахер из крепостных трудился часами над затейливейшими прическами на ее голове; ее прелестные пепельного цвета волосы обсыпались пудрой, нежные щечки покрывались румянами, кое-где наклеивали ей на лицо черные мушки, по указанию сведущих в этом деле щеголих.

Анна Федоровна нарочно сблизилась с губернаторшей, которая как придворная дама постигла в совершенстве не только все тонкости светского обращения, но также и секрет одеваться по моде и к лицу, чтобы пленять кавалеров.

Губернаторшу требования графа удивляли.

— Помилуйте! Даже императрица не одевается с утра в платья с фижмами, а такие затейливые прически, как у вашей дочери, с цветами и драгоценными украшениями, самые большие щеголихи в Петербурге делают только для парадных балов и обедов, — заметила она, когда Анна Федоровна сообщила ей о претензиях графа.

— Да, может быть, при их дворе другой этикет, — возражала на это Курлятьева.

Губернаторша с нею спорить не стала. Она отлично знала, какой этикет и какие нравы царят при дворе польского короля; довольно известен был он петербургскому бомонду еще в то время, когда назывался просто графом

Понятовским, но как особа тонкого ума и великосветского воспитания она отлично умела скрывать свои впечатления и, конечно, не спешила откровенничать с смешной провинциалкой. Внутренне издеваясь над ее невежеством и незнанием света, она любезно давала ей требуемые советы, объясняла ей значение мушки, прилепленной под левым глазом, у подбородка или на щеке, учила ее, куда прикалывать банты из лент, как играть всером, в какой руке держать букет и кружевной платок, на какой палец надевать колечко с граненым миниатюрным флаконом духов на золотой цепочке.

Как ни влюблен был граф в свою невесту, но относился он к ней так сдержанно и почтительно, что все только диву давались. Ни разу еще не попросил он позволения поцеловать ее в щечку, а к дрожащей ручке, которую она ему протягивала, краснея, он едва, едва прикасался губами. Зоркие люди замечали, что в долгих, пристальных взглядах, которыми он ее окидывал, просвечивало больше любопытства и восхищения, чем страсти и любви; он любовался ею, как красивым предметом, вдохновлявшим его, и часто произносил обращенные к ней комплименты в стихах, самодовольно поясняя при этом, что стихи эти его собственного сочинения, ни у кого не заимствованные.

Ничем ему нельзя было больше угодить, как восхвалением его поэтического дара.

И не этим одним угождали ему у Курлятьевых; его потчевали там его любимыми лакомствами, подавали ему вина, которые он дома кушал, изучили все его вкусы. Даже шоколад для него варили не иначе, как по рецепту пани Казимировой, его домоправительницы. Григорьевну командировали к ней собственно для того, чтобы узнать в точности, каким образом готовит она этот напиток для ясновельможного пана.

Само собой разумеется, что тактику эту Анна Федоровна вела не без задней мысли овладеть доверием своего будущего зятя, но он ни на какие уловки не поддавался и, невзирая на любезность и щедрые подарки, которыми осыпал невесту и ее родню, оставался также непроницаем, как и в первую минуту их знакомства.

Уж одно это так бесило Анну Федоровну, что надо было только удивиться, как выдерживает она так долго роль нежной матери и ласковой, предупредительной тещи; роль эта так мало подходила к ее властному, строптивому нраву, а тут вдруг это известие про дом, на который она смотрела уже почти как на свою собственность, ведь супругой-то его

владельца будет ее родная дочь. Молодые отсюда уедут и поручат заботу об этом доме, разумеется, ей, мечтала Анна Федоровна. Можно будет предложить переехать в него, чтоб вещи не портились от сырости без проветриванья и топки, и, без сомнения, на это с благодарностью бы согласились. Анна Федоровна уже видела себя в этом доме с такими прекрасными комнатами, каких ни у кого, даже у губернатора, нет. А сад-то, сад-то, ведь втрое больше сестрино! И вдруг — все эти мечты разлетелись в прах, ничего такого, чем бы Курлятьевы могли пользоваться, не оставит за собой этот противный, старый дьявол взамен юной красавицы, которую он с собой увозит; было от чего приходиться в ярость. О, она непременно ему наконец выскажет свое неудовольствие, объяснит ему, что поступать так, как он поступает, и неблагоприятно, и непочтительно, и неблагородно наконец, непременно выскажет! Чего ей его бояться? Он в ее руках, она припрет его к стене такими словами: «Или все про себя откройте, или не видать вам вашей невесты, как своих ушей», — и, разумеется, он испугается и уступит, раз любовь разыгралась в таком старце...

Когда он приехал, она встретила его одна в гостиной (Клавдии велено было сидеть в своей комнате, пока ее не позовут) и, сдержанно ответив на его поклон, она заявила, что желает переговорить с ним наедине.

— Весь превращаюсь в слух и внимание, сударыня, — любезно отвечал граф.

— Я наедине хочу с вами говорить, — с досадой повторила Курлятьева, указывая на его обычных спутников, Товия и Октавиуса, как всегда отошедших в укромный уголок, между дверью и окном.

— Но ведь они же ни одного слова ни по-русски, ни по-французски не понимают, — заметил граф, высоко приподнимая свои черные, подкрашенные брови и вскидывая на нее такой надменный взгляд, что душа у нее в пятки ушла от страха.

Уж не обиделся ли он, Боже, храни ее? А вдруг откажется от Клавдии, и останется она у нее на руках целованной, обрученной невестой! Уж хуже этого ничего не может быть!..

— О чем же, сударыня, угодно вам со мною разговаривать? — спросил он более мягким тоном, усаживаясь на диван и не то с удивлением, не то с досадой поглядывая на то место, на котором он привык видеть свою невесту.

— Я хотела спросить про ваш дом, — начала, сбиваясь от смущения, Анна Федоровна, — говорят, что он вам не принадлежит.

— Это сущая правда, — с величавым спокойствием вымолвил граф. — А еще что вам угодно знать? — спросил он с оттенком иронии.

Анна Федоровна машинально обернулась к немym свидетелям этого объяснения; они тоже улыбались, и гнев придал ей храбрости.

— Вы, говорят, вывезли из дома всю обстановку, куда же привезете вы вашу жену после венца, позвольте узнать? Ведь я все-таки ей мать, — проговорила она придиричливо, — я имею право требовать от вас откровенности... Мы вам оказали безграничное доверие, отдавая вам нашу дочь...

Глаза его сверкнули.

— Доверие взаимное, сударыня, — твердо произнес он.

— Нас здесь все знают, а вас...

— А меня там знают, где вас не знают, — прервал он ее надменно. — Однако я не побоялся предложить мое имя вашей прекрасной дочери, — продолжал он все с той же холодной сдержанностью отчеканивать свои слова, — но если вы сомневаетесь в том, что она со мною будет счастлива, если вы сомневаетесь в чести графа Паланецкого, — продолжал он, возвышая голос, причем последние слова так зазвенели в воздухе, что у нее мороз пробежал по коже, мне ничего больше не остается, как возратить вам ваше слово...

— Я, граф, совсем не то хотела сказать, — пролепетала дрожащими губами Курлятьева, — я только... Мне хотелось знать: куда же привезете вы вашу жену из церкви, если у вас нет больше дома?

Он улыбнулся своей обычной, любезной улыбкой.

— Я повезу ее в Варшаву, — добродушно отвечал он.

— Прямо из церкви? В подвенечном платье и в цветах? — вскричала с ужасом Анна Федоровна.

— О нет! В подвенечном наряде графине Паланецкой путешествовать было бы неудобно, она переоденется в дорожное платье, — отвечал он все с той же затаенной иронией.

И страх, нагнанный на нее, был так велик, что она не осмелилась произнести вопросы, рвущиеся у нее с языка. Так она растерялась, что, когда собеседник ее, распустив по лицу слащавую улыбку, спросил, скоро ли он будет иметь счастье видеть свою прелестную невесту, Анна Федоровна кроме двух слов: «Сейчас, граф», — ничего не нашла ему ответить.

ХІІІ

Уж и денек выдался накануне свадьбы меньшей курлятевской барышни, нечего сказать!

В людских выли и причитывали над Сонькой, круглолицей и черноглазой хохотушкой, которая должна была сопровождать на чужбину Клавдию Николаевну в качестве камеристки.

Еще с самого начала, когда только что зашла речь о приданом, граф объявил, что в своих людях супруга его нуждаться не будет, челяди у него достаточно и своей. Найдутся в его дворне и искусные камеристки, и прачки, и гардеробщицы. Но, взглянув на Клавдию и подметив тоскливый ужас, выразившийся в ее глазах при перспективе очутиться совсем одной среди чужих, он поспешил сделать уступку.

— Если моя прекрасная невеста непременно желает иметь при себе служанку, к которой она привыкла, я буду почитать себя счастливым и в этом отношении покориться ее воле, — объявил он.

Клавдия выбрала Соньку, подругу ее детских игр.

И вот теперь эту самую Соньку, которой до последнего дня все завидовали и за то, что нашли ей красивых нарядов, и что в богатейшем доме будет жить, и что новые места и новых людей увидит, теперь, когда наступала минута разлуки и проводов, все над нею сокрушались и пугали ее самыми мрачными предположениями. И страна-то там чужая, и люди не русские, не с кем будет словом перемолвиться. Хорошо, если барыня верх возьмет да отстоит ее, чтоб она осталась при ней, а ведь, чего доброго, ей там, как приедут на место, полячку какую-нибудь навяжут в камеристки. Казимировна про какую-то Ксаверку говорила, что и причесывать не хуже парикмахера умеет, и училась барынь по-модному одевать.

— Так что ж, и я выучусь, — бойко отвечала Сонька.

— Где уж! Да тебя и не допустят...

— Совсем обосурманишься, девка; ведь там, поди, чай, и церквей-то русских нет.

— Ну, как барышня, так и я, — возражала Сонька.

Ничем ее нельзя было пронять, хохочет себе да головой мотает, что ей ни говори. Беззаботная девчонка, непутевая. Не такую бы боярышне надо было выбрать в спутницы. Мало ли хороших, степенных девок у них на дворе! Да вот хоть бы Лизаветина сестра Лукерья или племянница Григорьевны Ольга, а эта ведь без роду, без племени, сирота,

взяли на барский двор, как паршивого щенка, потому что в деревне никто ее приютить не хотел, как осталась она одна-одинешенька в избе, после того как тятюку ее за хорошие дела в кандалы заковали да в Сибирь угнали. Пяти лет ей еще тогда не было, а мать раньше умерла. Чего уж от такой ждать, отчаянная.

Пока эти толки шли в людских, барыня Анна Федоровна выдерживала пренеприятную сцену с дочерью.

Началось это тотчас после отъезда графа, когда г-жа Курлятьева находилась еще под впечатлением неудавшегося с ним объяснения.

Уже и раньше Клавдия начинала задумываться, плакала по ночам, рвалась к отцу, к которому ее не пускали, просилась в монастырь проститься с сестрами, дурила, одним словом, по мнению матери, но тут она точно очнулась, поумнела вдруг и с такою смелостью напустилась на мать с упреками за себя и за сестер, что Анна Федоровна остолбенела от изумления и гнева.

К довершению досады невесту графа Паланецкого нельзя было заставить молчать ни пощечинами, ни бранью, она завтра должна была превратиться в важную даму, с нею приходилось считаться, объясняться, оправдываться перед нею.

Впрочем, вспышка длилась недолго; оборвав речь свою на полуслове, девушка не выдержала, разрыдалась и убежала в свою комнату. Тут она весь остальной день пролежала на кровати, лицом к стене, не отвечая ни на чьи расспросы и увещания.

Перед такой неожиданной выходкой Анна Федоровна так растерялась, что обратилась за советом к Григорьевне, и эта решила, что боярышню следует оставить в покое, скорее одумается.

Так и вышло. За ночь Клавдия одумалась, постигла всю безвыходность своего положения и, по-видимому, примирилась с ним, дала себя убрать к венцу без единой слезинки, без вздоха, точно окаменела, такое у нее было неподвижное лицо.

Все обошлось бы благополучно, кабы не Николай Семенович.

О, если б только Анна Федоровна могла предвидеть, какую штуку выкинет ее юродивый супруг! Не выпустила бы она его ни на секунду из его конуры наверху. Но он был так тих и покорен, что трудно было ждать от него какого бы то ни было проявления воли, а между тем, когда его принарядили, подстригли ему волосы и бороду и свели вниз, чтоб он

благословил дочь перед венцом, он выкинул пренеприятную штуку. Вид у него был такой страдальческий, когда он вошел в большую, по-праздничному убранную залу, робко озираясь по сторонам, что невозможно было без жалости на него смотреть. Бледный и худой, как мертвец, он покорно принял дрожащими руками образ, который ему подали, но, когда взгляд его упал на дочь, опустившуюся перед ним на колени в белом подвенечном наряде, он как будто прозрел, весь преобразился, глаза его засверкали и, выпрямившись во весь рост, откинув назад седую голову и подняв взгляд к небу, он стал громким, вдохновенным голосом призывать милосердие и благословение Божие на несчастную жертву человеческой алчности, суетности и жестокости.

— Неповинна она перед Тобой, Господи, неповинна! Спаси ее и сохрани! Ангела Твоего пошли, да защитит ее! — повторял он торжественно и громко.

Клавдия разрыдалась, кинулась к нему на шею и замерла в его объятиях. Насилу оторвали их друг от друга. Все кругом плакали.

Венчание происходило вечером, и не в соборе, как мечтала Анна Федоровна, а в маленькой приходской церкви, в отдаленном предместье.

Кроме близких родственников невесты при церемонии никто не присутствовал. Бахтерины были за посаженных, Федюша-братец нес перед невестой образ, шаферами были — при невесте паж Товий, при женихе секретарь его Октавиус.

Так пожелал граф, который всем и распоряжался, отстранив мать невесты от всякого вмешательства в это дело.

Такой угрюмой и печальной свадьбы никогда еще не видывали в городе. Особенно странно это всем показалось после блестящих празднеств, которыми граф Паланецкий тешил здешнее общество, будучи женихом.

Теряясь в догадках по этому поводу, говорили про какие-то письма, привезенные ему курьером издалека с вестями о каком-нибудь семейном несчастье, без сомнения. Свадьбу откладывать не захотел, а что ему не до веселья — это по всему видно.

XIV

Дорожная карета, уносившая молодых в таинственную даль, катилась безостановочно часов пять кряду.

Наступила ночь:

Утомленная нервными потрясениями этого рокового для нее дня, убаюканная мягким покачиванием экипажа и обвеваемая ароматами леса, через который лежал их путь, Клавдия впала в забытие. Спутник ее, как уселся на мягкие шелковые подушки, полуотвернувшись от нее и упершись взглядом в открытое окно, так и сидел все время, ни разу к ней не оборачиваясь, ни единым словом не пытаясь ее утешить и успокоить, точно он не замечает ее отчаяния, не слышит сдавленных рыданий, по временам вырывавшихся из ее наболевшей груди.

Она благодарна ему была за эту сдержанность. Совсем другого ждала она, замирая от ужаса при одной мысли: что будет, когда она с ним останется наедине? Его ласки были бы ей так противны! Ведь, кроме страха и отвращения, она ничего к нему не чувствовала, а он был ее муж, она принадлежала ему. Он мог с нею сделать все, что он хочет, этот чужой, незнакомый человек, и защиты от него ей искать не у кого.

Да, она рада была, что он молчит и не пристает к ней ни с расспросами, ни с увещеваниями, но тем не менее перемена, происшедшая в нем с той минуты, как он из жениха превратился в мужа, не могла ее не интриговать. Точно невидимая преграда какая-то внезапно между ними воздвиглась. Не только ни разу не поцеловал он ее руки и не улыбнулся ей слащавой улыбкой, как бывало раньше, когда она не была его невестой, но он даже и не глядел на нее и, кроме холодного, почтительного внимания, ничего ей не оказывал.

Часа через два, после того как они выехали из города, заметив, что она все продолжает плакать, он с холодной вежливостью спросил: не желает ли она выпить стакан воды с вином? И, не дождавшись ответа, дернул за шелковый шнурок, висевший с его стороны. Лошади, как вкопанные, остановились, к дверце подскочил на своем сером красивом коне паж Товий, подал им в окно кареты стакан с водой, светлой, как хрусталь, и бутылку вина.

Граф налил несколько капель этого вина в воду и подал стакан своей супруге,

— Благодарю вас, — вымолвила она чуть слышно.

— Счастлив вам служить, графиня, — отвечал он с официальной вежливостью.

Ни слова больше не было произнесено между ними.

Карета покатилась дальше. Но плакать Клавдии больше не хотелось. Луна стала заглядывать им в окно, пронизываясь сквозь ветви деревьев, и, пользуясь мимолетными про-

блесками ее мягкого света, Клавдия исподлобья поглядывала на своего спутника, с жутким любопытством спрашивая себя: «Что он думает с нею делать? Долго ли он оставит ее в покое? О, если б он всегда обращался с нею, как теперь, без назойливой ласковости, без всяких требований, как старший брат или дядя, она, пожалуй, примирилась бы со своей судьбой, доверилась бы ему, полюбила бы его».

Невзирая на длинный, кривой нос и хитрые, пронзительные глаза, он не казался ей злым.

В этих мыслях она заснула и проспала часа два, а когда открыла глаза, карета уже выехала из лесу, и луна обливала своим блеском круглую полянку, окаймленную со всех сторон черной стеной высоких деревьев. Становилось свежо, пахло дымом, слышался сдержанный гул голосов и как будто плеск воды в отдалении.

Клавдия выглянула в окно и увидала длинное низкое строение с освещенными окнами. Какие-то черные фигуры двигались у этого дома с фонарями в руках. Голоса стали раздаваться явственнее, им отвечали из маленькой толпы вооруженных всадников, составлявших их свиту.

— Мы остановимся на несколько часов, графиня, и вам здесь покойнее будет почивать, чем в карете, — объявил граф.

И, высунув голову из окна, он отдал какое-то приказание подскочившим к окну Товию и Октавиусу.

Оба кинулись стремглав отворять дверцу с противоположной стороны и откинули лесенку подножки, по которой Клавдия стала спускаться. Но прикоснуться до сырой травы ей не дали, ловко подняли ее на руки и понесли к дому.

Она и не думала сопротивляться. В голове у нее был хаос; мысли беспорядочными клочками кружились в мозгу, и ни в чем не могла она себе отдать ясного отчета, ни в чувствах своих, ни в представлениях; все, что с нею происходило, казалось ей сном, который должен рассеяться, как ночной туман при восходе солнца.

За людьми, несшими ее, как малого ребенка на руках, шел граф. Она слышала по временам его резкий, повелительный голос. Он, верно, приказывал нести ее осторожнее, потому что после каждого окрика, они старались идти еще медленнее, ощупывая ногами землю, прежде чем на нее ступить со своей драгоценной ношей. Чувствовала она также раза два во время этого шествия заботливую руку,правлявшую на ее голове шелковый капюшон плаща. Это муж оберегал ее от простуды, без сомнения. Кто же осмелился бы дотронуться до ее волос, кроме него?

«Надо его поблагодарить за внимание... Он может обидеться моим молчанием, рассердиться», — мелькало у нее в уме, но сил не было произнести ни слова. Сознание ее покидало; все больше и больше казалось ей, что она грезит, так неуловимы становились впечатления.

На крыльце ожидали их рослые люди в темных плащах, не похожие ни на мужиков, ни на господ. Когда плащи распахивались, можно было видеть оружие, сверкавшее у них за поясом.

Все они низко и почтительно кланялись графу.

— Все приготовлено для графини? — спросил он.

— Все готово, ясновельможный.

— Прислать камеристку графини!

— Здесь я, сударь, здесь, — раздался звонкий голосок в толпе. И на освещенном пространстве перед домом появилась Сонька.

Ничего больше не слышала и не видела Клавдия. Как ее раздевали и укладывали в постель, она не помнила. Из полуобморочного состояния погрузилась она в глубокий сон, который продолжился бы еще дольше, если б странный шорох не послышался у ее постели.

Она открыла глаза и, увидав себя в незнакомом месте, не вдруг могла собрать мысли и сообразить, где она находится. Комнатка была маленькая, с низким потолком и крошечным окошком, которое забыли завесить. Благодаря этому обстоятельству свет занимавшейся утренней зари проникал сюда беспрепятственно. Кровать, на которой лежала Клавдия, была простая, деревянная, покрытая дорожным ковром и тонким батистовым бельем с кружевами и атласным стеганым одеялом. На единственной двери этой светелки висел прекрасный персидский ковер. Пол тоже был устлан ковром, и на нем металась женская фигура в одной сорочке, с распущенными волосами.

— Барышня, барышня, кого я сейчас видела! О, Господи, боярышня! — шептала она прерывающимся от волнения голосом, боязливо оглядываясь по сторонам между каждым словом.

Клавдия узнала Соньку и радостно протянула ей руки. Вид знакомого существа так ободрил ее, что она разом все вспомнила и пришла в себя.

Уж не вино ли, которым угощал ее в пути граф, произвело в ней это смятение мыслей и слабость? Значит, ей было не по себе, если она даже ни разу не вспомнила про Соньку, с тех пор как ее увезли. Все она перезабыла, все спуталось в ее голове; если спросили бы у нее, жива

она или умерла, не знала бы, что ответить, но теперь она, слава Богу, очнулась и совсем пришла в себя, все вспомнила...

Но не легче ей стало от этого. Впрочем, задуматься над ее новым положением ей не дали.

— Барышня, золотая, кого я сейчас видела, если б вы только знали! Кого я видела! — повторяла Сонька, припадая всклокоченной головой к ее ногам и прижимаясь к ним горячим от волнения лицом.

— Что случилось? Кого ты видела? — спросила Клавдия.

— А вы только выслушайте...

Сонька вскочила на ноги, приподняла ковер у двери и заглянула в соседнюю горницу, потом кинулась к окошку, подняла раму и выглянула на двор.

В светелку пахнуло свежим, душистым воздухом.

С того места, где она лежала, Клавдия могла видеть часть поляны, поросшей сочной густой травой и окаймленной высокими развесистыми деревьями дремучего леса. Солнце еще из-за него не показывалось, но оно уже было близко, розовое зарево сливалось с синевой безоблачного неба, и с каждой секундой предметы выделялись все отчетливее и отчетливее на прозрачной лазури. Воздух был так чист, что можно было различать коней, привязанных к деревьям на противоположном конце лужайки, и людей, спящих, закутавшись в плащи, на траве возле них. Но тишина ничем еще не нарушалась, кроме робкого стрекотания кузнечиков в траве да чирикания птиц в лесу.

— Кто тебя испугал? Граф, что ли? — прошептала Клавдия.

Но Сонька была слишком возбуждена, чтоб расслышать этот вопрос.

— Никого нет, ни тут, ни там, подслушать нас, значит, некому, слава Богу! — торопливо заговорила она, окончив свой обзор и опускаясь на колени у постели своей госпожи. — Ах, боярышня, моя золотая, простите меня, ради Бога, что я вас разбудила... Невтерпеж уж мне стало... Огоршило больно, до сих пор опомниться не могу... Обезумела я совсем, как его узнала!.. Ну, как сказать боярышне, думаю... И кому же сказать, если не ей? Одни ведь мы с вами таперича на целом свете, одни-одинешеньки, кругом все чужие, не с кем и душу отвести, — бессвязно лепетала она, задыхаясь от волнения. — Уж так я испугалась, так испугалась, как его увидела, ажно ноги подкосились, ей-Богу! Чуть не упала...

— Да кто ж это был? Кто? Граф? Говори скорее! — прервала ее Клавдия, начиная тоже дрожать от страха.

— Нет, что это вы, боярышня! Зачем граф ко мне в окошко полезет?! Да я бы их ни крошечки и не испугалась. Нет, нет, они только и вошли сюда, как внесли вас, посмотрели, все ли тут в порядке, ковры везде ли постланы, хорошо ли постелька ваша оправлена, приказали мне осторожнее вас раздеть, чтоб не разбудить, и ушли себе в другую избу, что рядом с этой. И как же вы крепко спали, боярышня! Ну, вот точно мертвые!

— А потом что было? — перебила ее Клавдия.

— Потом, как раздела я вас да одеялом прикрыла и вышла туда, — указала Сонька на дверь, завешанную ковром, — мне там приказали лечь, поближе к двери, чтоб слышать, если вы позовете. Ну вот, разделась я, Богу помолилась и легла. Ворочалась-ворочалась с боку на бок, не спится да и только. Блохи кусают, жарко, страшные мысли в голову лезут. Стала прислушиваться — гомозятся кругом, и еще жутче стало, народ все ведь чужой около нас. Тут в сенях Октавиус этот лег, а Товия граф к себе взял. И турок, тот тоже с ним. А в кухне хозяйка, неприятная такая баба, рябая, глаза косые. Муж с нею да двое сыновей, тоже страшные. Смотрят, этта, на тебя точно съесть хотят. Ну вот, лежу я да думаю: и куда это мы только с боярышней попали?! И что с нами будет?! И вдруг под самым под окном слышу, будто народ собирается. Приподнялась, насторожилась — так и есть, шепотком разговаривают промеж себя, не то двое, не то и больше. Тихо, разумеется, ничего не разобрать. А там опять все стихло, расходиться стали один за другим. Да только не все ушли, чудится мне, будто вздыхает кто да скребется под окошечком-то. Гляжу — с нами крестная сила! Рука чья-то оконечце-то приподнимает! Ну, уж тут такая жуть на меня напала, что чуть не вскрикнула. Наделала бы я беды, нечего сказать, кабы горло у меня от страха не перехватило! Граф-то приказал цельную ночь дозором вокруг нашей избы ходить, пикни я только, сейчас бы услышали, прибежали бы...

— Ну, и что ж дальше? Говори скорее, не мучь меня, — заторопила Клавдия рассказчицу.

— А вот гляжу я, глазами в окошко уставилась, вся обмерла,дохнуть боюсь, а оконце-то все приподнимается, все приподнимается, а за рукой-то и голова вся в черных кудрях показалась... Лицо чистое, белое, брови дугой, губы под усами алые, глаза грустные такие... Знакомы мне

показались эти глаза. Гляжу я этта на них, а сама думаю: и где это я видела эти глаза? И уж не страшно мне ни крошечки. И вдруг, как увидел он, что я не сплю, просунул голову в оконце да по имени меня окликнул: Софья! Ну, уж тут меня точно рвануло что с постели и, как я у окошка очутилась, сама не помню. Он за руки меня взял, заговорил. Слушаю его, прямо в очи ему гляжу, а все еще в толк не возьму, что за человек? Только тогда и признала, как стал про Катерину Николаевну расспрашивать. «Да ты уж не Алешка ли?» — спрашиваю, а сама, как в лихорадке, трясусь. Ни слова он мне на это, только кудрями тряхнул: узнала, дескать. И опять стал про нее говорить. Горленкой своей беленькой он ее называл... Солнышком своим красным... жалостно так... По щекам слезы крупные текли... «Как пить, говорит, хочется мне ее видеть... Сохнет душа моя по ней»...

Сонька смолкла и, закрыв лицо руками, тихо всхлипнула. Давно уж слезы подступали ей к горлу, не стало накопец мочи их сдерживать.

Молчала и барышня, устремив задумчивый взгляд на мирный пейзаж, развертывавшийся перед ее окном.

Просвечивая сквозь изумрудную листву леса, заря золотилась первыми лучами восходящего солнца. По небу все чаще и чаще проносились с протяжным криком птицы. Дружнее застрекотали кузнечики в траве, смелее зачирикали в лесу птицы; где-то поблизости лениво тявкнул сторожевой пес, гремя цепью, заржал конь, и стали подниматься спавшие на траве люди.

Клавдии надо было сделать над собою усилие, чтобы отогнать призраки прошлого, могучей волной нахлынувшие ей в душу. Как живые, вставали перед нею одна за другой мрачные подробности печального события, так губительно отразившегося на судьбе старшей сестры. Она была тогда еще ребенком и понимать весь ужас положения влюбленных не могла. Видела она, что сестра бледна и молчалива, знала, что маменька всегда на нее гневается, слышала от прислуги, что жизнь ее загублена навеки, помнила смутно страшный шум в доме, когда стало известно, что старшая барышня по ночам выходит гулять в сад. Примешивалось к этим толкам имя Алешки выездного, но все эти подробности проскользнули бесследно в душе шестилетней девочки.

Нет, не бесследно. Теперь она все вспомнила и все поняла. Обстоятельства последних дней так ее вдруг состарили, что она сама себя не узнавала. Катенька была почти ее лет, когда на нее обрушилась беда, и как быстро она соста-

рилась! Поблекла, не успев расцвести, как цветок, охваченный морозом.

Неужели и ее ждет та же судьба? Ведь и ей тоже никогда не знать любви...

Сестру Машу тоже разлучили с возлюбленным. Этого Клавдия помнила: у него были блестящие милые глаза, алые губы, звонкий голос и густые белокурые волосы. С ним было очень весело. Когда он к ним приезжал, все оживлялись и были счастливы. Сестрица Маша тоже стала чахнуть, когда ей запретили думать о милом.

Как это должно быть ужасно — разлука с любимым человеком!

Но еще ужаснее принадлежать тому, кого не любишь.

Она вздрогнула и, чтоб отогнать мучительные мысли, неотступно кружившиеся в голове, спросила у Соньки: почему она так испугалась, увидавши Алешку? Разве он страшный?

Сонька подняла на нее полный наивного изумления взгляд.

— Да ведь он теперь в разбойники пошел, боярышня, как же его не бояться? — возразила она.

Солнце не совсем еще выкатилось из-за леса, когда поезд графа Паланецкого тронулся в путь.

Отношения между новобрачными не изменялись. С удивительною настойчивостью выдерживал граф тон холодной учтивости и почтительного внимания к супруге, принятый им с той минуты, как они остались вдвоем.

Без сомнения, всю дорогу так будет, решила она про себя.

И так благотворно влияла на нее эта мысль, что она не только с удовольствием выслушивала его рассказы о местностях, через которые они проезжали, но даже до того расхрабрилась, что сама стала предлагать ему вопросы.

Приключения последней ночи, встреча Соньки с Алешкой в таинственном хуторе среди леса все еще смущали ей душу, но с каждым часом впечатления эти слабели и вытеснялись из памяти другими.

Днем лес показался ей далеко не таким страшным, как ночью. Он был полон радости и жизни, в него со всех сторон проникали солнечные лучи, переливаясь изумрудным блеском в зелени. По веткам столетних дубов перепрыгивали белки, весело щебетали птицы, хлопотливо кружась у своих гнезд. Над кустами порхали бабочки, в траве алела земляника, пестрели цветы.

Замечая, как все это радует Клавдию, граф время от времени приказывал остановиться и предлагал ей выйти, чтоб прогуляться. Она выпрыгивала из кареты, не дождавшись, чтоб откинули подножку; к ней бежала навстречу Сонька, ехавшая позади в кибитке с вещами, и они принимались за собирание цветов и ягод, в сопровождении Октавиуса и Товия, не отходивших от них ни на шаг.

Граф же тем временем, вынув книгу из маленькой дорожной библиотеки, усаживался под деревом и читал, покуривая трубку. Следующую ночь они провели в каком-то густо населенном местечке, на постоялом дворе. Но гонец, посланный вперед, и тут все для них приготовил, как и на хуторе в лесу. И тут точно так же встретили их с низкими почтительными поклонами и ввели в горницы, устланные коврами. В той, что отведена была Клавдии, и стены были ими увешаны. После ужина, роскошно сервированного, граф проводил супругу до двери в ее спальню и, пожелав ей покойного сна, с почтительным поклоном удалился.

И следующие ночи провел он далеко от нее, а днем точно так же учтиво с нею разговаривал и внимательно предупреждал малейшие ее желания, и ничего больше.

Наконец (путешествие их уже длилось много дней) граф объявил своей супруге, что сегодня остановок не будет. Надо стараться поспеть в Варшаву к вечеру.

Погода, все время великолепная, стала портиться; поднялся ветер, пошел дождь. Местность, по которой они ехали, была скучная: засеянные поля однообразно тянулись за бедными деревушками, в которых ничего, кроме воды, нельзя было достать. Хорошо, что у наших путешественников в запасах всякого рода недостатка не было.

Граф был серьезен, молчалив и не отрывал глаз от книги. По временам он приказывал делать остановки, выдвигал складной столик, вынимал шкатулку с письменными принадлежностями и писал письма на синеватой золотообрезной бумаге большого формата. Письма эти он тут же вкладывал в конверты, запечатывал их большой золотой печатью с гербом и передавал через окно Товию.

В этот день Клавдия с самого утра чувствовала себя в тоскливом настроении.

Ночью у нее был продолжительный разговор с Сонькой, которая так напугала ее рассказами о великолепной опочивальне с двуспальной кроватью под бархатным балдахином в замке графа Паланецкого, что снова заглохшие было опасения пробудились в душе бедной молодой графини, опять стало замирать у нее сердце при мысли о предстоявших ей

ужасах, и несколько раз принималась она украдкой плакать, отвернувшись от своего загадочного спутника.

Много странных и любопытных открытий сделала Сонька во время пути. Не говоря уж о подробностях насчет роскоши и великолепия родового дома графа, о которых с особенной готовностью распространялась при ней его свита, она узнала, что Алешку все эти люди хорошо знают, зовут его Олесей и находятся с ним в наилучших отношениях. Но на вопрос ее: «Как это удалось ему бежать из острога?» (о заключении его она слышала еще дома, за месяц до барышниной свадьбы) — ей никто не хотел ответить. Одни отговаривались незнанием, другие же отрицали сам факт его заключения в тюрьму.

— Да как же, все у нас тогда говорили. Товарищей его в наш острог посадили; из принкулинских многие с ними виделись и нашим сказывали. От колодников-то и узнали, что атаман их под Киевом пойман, и вдруг он здесь очутился, — дивилась Сонька.

— Да, может, это другого поймали, а не его, — возражали ей.

И к этому прибавляли с гордостью, что Олесю их трудно поймать.

— Там его Соколом зовут, — замечала Сонька.

— Не знаем, для нас он Олесь, — отвечали ей.

— Да он, может быть, вовсе и не разбойник, — сказала Клавдия, когда камеристка передала ей этот разговор. — Разве стали бы они дружить с душегубцем?

— Ах, боярышня, у них ничего не поймешь! — возражала с досадой Сонька. — Вы вот думаете, что эти двое, Товий с Октавиусом, по-русски не понимают, а они все до крошечки понимают.

— Не может быть!

— Да уж я вам говорю.

— А откуда ты это знаешь?

— Да уж знаю, — стояла на своем Сонька.

А немного погодя она спрашивала у барышни (так продолжала она называть свою госпожу), известно ли ей про графского брата.

— У него нет братьев, у него только две сестры, — отвечала Клавдия.

— Те само собой. Молодые графини со старой графиней в Петербурге живут, а, кроме того, у них еще брат есть.

— Где же он, этот брат?

— Да разное толкуют: кто говорит, что далеко он где-то содержится, не в Русской земле, а другие — что он здесь,

в их варшавском доме, в подземелье будто заперт, и будто он сумасшедшим притворяется, чтоб голову ему не отрубили... Да вы, барышня, не робейте, — поспешила она прибавить, испугавшись бледности, разлившейся по лицу ее слушательницы, — он под крепким караулом у них сидит, на цепи, вы его и не увидите.

Как ни торопился граф доехать засветло до цели своего путешествия и как кучера с форейторами ни гнали лошадей, но разразившаяся к вечеру гроза задержала их в пути до поздней ночи.

Нервное раздражение, овладевшее Клавдией с утра, с каждым часом усиливалось. Ни на секунду не могла она отогнать мрачные мысли, осаждавшие ее воображение. Жуткое предчувствие сжимало ей грудь до боли, и слезы уже не облегчали душу.

Да и боялась она плакать. Граф все чаще и чаще искося на нее поглядывал с каким-то странным любопытством, точно посмеиваясь над нею про себя.

Иногда ей казалось, что вот-вот сейчас он с нею заговорит о мучившем ее вопросе, и ей становилось так жутко, что, холодея с ног до головы, она спешила закрыть глаза и притвориться спящей.

Наконец, постояв несколько минут у заставы, они въехали в город. Карета покатила по мостовой и, поколесив довольно долго из одной улицы в другую, мимо домов с запертыми ставнями и воротами, въехала в широкий двор, обогнула цветник с фонтаном посреди и остановилась перед высоким крыльцом с белыми мраморными изваяниями по сторонам.

Что поразило Клавдию, невзирая на ее страх и волнение, это то, что здесь их как будто никто не ждал. Никаких приготовлений не сделано было для их встречи. Вышел к ним из дома один только старик дворецкий с фонарем в руках, и за исключением двух окон нигде не видно было света. Чтоб довести ее до спальни через длинную анфиладу роскошно убранных комнат с золоченою мебелью, великолепными картинами и зеркалами, расписными потолками и мозаичными полами, Товий, который шел перед графом с супругой, растворяя перед ними двери, должен был зажечь восковую свечу в бронзовом канделябре, украшавшем камин в первом покое.

И тут так же, как и при предыдущих ночлегах, граф довел свою супругу только до порога спальни и, раскланявшись с нею, повернул назад,

В спальне, просторной комнате с огромной раззолоченной кроватью под пунцовым бархатным балдахином посреди, Клавдию ждала не одна Сонька. Тут были еще две женщины, одна помоложе, другая старуха. Молча и почти-тельно раздели они молодую графиню, не допуская Соньку ни на минуту остаться с нею наедине, а затем, когда она поднялась по ступеням, окружающим кровать, и легла в постель, обе с низким поклоном удалились. За ними волей-неволей должна была последовать и Сонька. Она замешкалась только на минутку, чтоб поправить подушку под головой своей боярышни и шепнуть ей на ухо, чтоб она ждала графа:

— Непременно сегодня ночью к вам придут.

Как ни взволновало и ни испугало ее это известие, тем не менее любопытство взяло верх над всеми прочими чувствами и, оставшись одна в комнате, мягко освещенной лампадой, спускавшейся с потолка на бронзовых цепочках, Клавдия стала внимательно озираться по сторонам.

Никогда еще не видывала она такого великолепия. Стены были обиты пунцовым штофом, потолок расписан сценами из мифологии: Венера, окруженная амурами, на колеснице из цветов.

Справа от кровати с приподнятыми тяжелыми складками бархатного полога было два глубоких и высоких стрельчатых окна с разноцветными стеклами, а в промежутке между ними большой стол с зеркалом в серебряной раме венецианской работы и красивым туалетным прибором. Слева же возвышался мраморный белый камин таких огромных размеров, что в нем легко можно было сжечь целый дуб, с ветвями и листьями.

Обстановка этой комнаты довершалась массивной мебелью из красного дерева с бронзовыми украшениями. Кроме той двери, в которую она вошла, были еще тут две другие, поменьше: одна вела в уборную, а другая — в молельню.

Вид этой молельни с картинами духовного содержания по стенам и бархатной подушкой на полу перед аналоем с распятием напомнил Клавдии, что граф другой веры, чем она, и одновременно с этим ей пришло на ум, что она сейчас его здесь увидит. Ее забила лихорадка от страха, и ни о чем другом не могла она больше думать.

Упершись пристальным взглядом в дверь, с ужасом и отвращением прислушивалась она к шороху и шуму, доносившемуся сюда из других комнат очень слабо, но от нер-

вного возбуждения слух у нее до того обострился, что она слышала, как мало-помалу голоса и шаги стихали, удалялись и наконец наступила полнейшая тишина.

И длилась эта тишина так долго, что ей стало дышаться легче. Не придет, верно, сегодня... Соньке соврали...

Но, увы, надежда эта не сбылась; раздались шаги в отдалении, все ближе и ближе, дверь, с которой она не спускала глаз, беззвучно отворилась, и он вошел.

— Извините за беспокойство, графиня, но мне необходимо сегодня же с вами переговорить, — сказал он, оставившись в нескольких шагах от кровати. — Вы не поживаете? Впрочем, я приказал предупредить вас о моем визите, — продолжал он, не дожидаясь ответа на свой вопрос.

И с этими словами, вместо того чтоб к ней приблизиться, он подошел к камину и опустился в кресло перед ним.

Наступило молчание. Клавдия лежала неподвижно, она не в силах была произнести ни слова.

Молчал и он, чтоб дать ей время собраться с мыслями, может быть. Так прошло минуты две. А затем он снова возвысил голос, медленно и твердо, точно вбивая ей молотком каждое слово в мозг:

— Прошу вас прежде всего успокоиться, графиня; вам необходимы силы. К величайшему моему сожалению, мне невозможно дать вам здесь отдохнуть даже несколько дней; рано утром мы снова должны отправиться в путь.

— Да ведь мы в Варшаве? — выговорила она с усилием.

— Цель нашего путешествия не Варшава, графиня, — отвечал он. — Но это не есть важно; раз вы покинули родительский дом и отечество, вам, я полагаю, должно быть безразлично, в какой стране жить, не правда ли?

И вскидывая на нее насмешливый взгляд, он прибавил:

— Судя по вашему волнению, по страху, по слезам, я имею право предполагать, что вас беспокоит не то, где вы будете жить, а с кем? Не так ли?

И подождав немного ответа, которого не последовало (от волнения у нее горло стиснуло спазмой), он продолжал, все с той же усмешкой на нее поглядывая, точно забавляясь ее смущением:

— Я вам очень противен, графиня? О, не пугайтесь, пожалуйста! Вам меня бояться не следует. Правда, мы обвенчаны и вы будете до самой моей смерти носить мое имя и титул, но кроме этого я ничего от вас не потребую никогда. Да мы скоро и расстанемся, и навсегда без сомнения.

Он поднялся с места, прошелся по комнате, а затем подошел к кровати и, не переставая улыбаться, продолжал свою речь:

— Успокойтесь же, графиня. Вас ждет блестящая судьба. Тот, к которому я вас везу, даст вам все, что только может пожелать женщина. Что же касается меня, если вам случится когда-нибудь вспомнить про человека, который вывел вас из ничтожества, чтоб возвести на вершину блеска и счастья, и если вы про себя скажете ему за это спасибо, мне ничего больше не надо, — прибавил он.

И, почтительно приподняв с одеяла беспомощно опущенную маленькую бледную ручку, он поднес ее к своим губам.

XV

Лес желтел, хлеб с полей был убран, кое-где только возвышались скирды не свезенных еще на гумна снопов. На опустевшем огороде Вознесенского монастыря созревали только капуста да горох, все остальные овощи были срезаны, выкопаны и зарыты в сухом песке, в обширных хозяйственно устроенных подвалах. Сняты были также с деревьев яблоки, груши и сливы, уродившиеся в этом году в изобилии, и в просторной кухне, примыкавшей к трапезной, шла деятельная сортировка плодов — на варку, мочку и сушку.

Монастырь, построенный на возвышенности и окруженный с трех сторон горами, поросшими густым, местами непроходимым лесом, находился верстах в шестидесяти от города и в трех-четырех верстах от заселенного вольными людьми местечка Чирки, которое ни городом, ни деревней нельзя было назвать.

Проживал тут народ самого разнообразного звания и состояния, собравшийся сюда со всех концов России и поселившийся здесь вследствие самых разнородных причин.

Ютились тут у подножия горы, поросшей вековым лесом, и просторные в два сруба дома со светелками и высокими крыльцами под навесами с затейливой резьбой, и крошечные покосившиеся от ветхости хибарки. Каждый строился, как мог и как хотел; наблюдать за порядком и планировкой проулков между постройками некому было. Кто с достатком, тот захватывал место попросторнее, отгораживал себе низким или высоким тыном земли сколько вздумается и для огорода, и для фруктового сада, а бедным,

известное дело, не до жиру, а быть бы живу — те кучились поближе друг к другу. Но у каждой, даже самой плохой хижины росли яблоневые и вишневые деревья.

Особенно хороши тут были вишни. До самого Киева распространялась про них слава, так они были сочны, крупны и сладки.

Но вообще во все времена года и даже ранней весной, когда, утопая в цветущих деревьях, поселок Чирки розоватым, нежным пятном выделялся на темной зелени горы, это человеческое гнездо производило довольно мрачное впечатление, особенно на тех, которым по опыту были известны нравы и обычаи живущего тут люда.

Земледелием чирковские обитатели не занимались; одни только бабы, да и то не все, копались в огородах и снимали червей с яблонь, что же касается мужчин, то все они жили исключительно лесом и рекой, рубили деревья и сплавляли их по реке, драли лыко, которое носили в окрестные деревни променивать на муку, водку и тому подобные необходимые хозяйственные припасы. Снабжали они также соседние монастыри рыбой из не широкой, но глубокой и быстрой своей речонки.

Но всем было известно, что чирковцы занимались еще и другим промыслом, много труднее и опаснее этих, но за то и несравненно прибыльнее, и не засиживались их дочери в девках. Свахи наезжали сюда издалека, и можно было указать на многих богатых купцов, проживающих в больших городах и торговавших на всю Россию, которые всем своим благосостоянием обязаны были приданому, полученному за чирковской девкой.

Красотой своих баб Чирки славились столько же, сколько и отличным вкусом своих вишен и водой из источника, считавшегося целебным.

Рослые, стройные, чернобровые и большеглазые, все они, и бедные, и богатые, отличались какой-то особенной смелостью и удалью во взгляде, речи и движениях.

Да и на деле они были таковы.

И все равны между собой, как и отцы их, и братья. Уж такое их было положение, что кичиться богатством и силой не приходилось; все их благосостояние зависело от таких случайностей, которые невозможно было предвидеть или предотвратить. Случалось так, что утром чирковка в рваном зипунишке или дырявом сарафанишке и босиком побирается Христа ради под окнами богатых соседей, прося хлебца краюшку да молочка кружечку ребят покормить, объясняя при этом, что все вчера вечером приели, послед-

ний ломоть хлеба муж взял с собою в лес, а на другой день вернется к утру этот самый ее муж и всякого добра натащит в дом, богатых нарядов, золота, серебра, ну, и разбогатеют люди.

И никто этому не дивился, а если кто и завидовал, то без осуждения, а только с тайной надеждой, что и на его улице будет праздник, не зевай только да лови счастье за хвост, когда мимо твоего носу будет мчаться.

Да, чирковцы были равны между собою и, нуждаясь друг в друге, жили, если не совсем дружно, то вполне солидарно. Предателей между ними не было. Случалось, что, рассвирепев на недруга, ставшего ему поперек дороги, чирковец и уколошит его при удобном случае в лесной чаще и тело так ловко схоронит, что концов не найти, но чтоб он донес на своего начальству или проболтался бы на его счет на допросе, — нет, этого никогда еще не случилось. Никакими муками невозможно было выпытать у них ни единого намека на темный промысел, которым они занимались из поколения в поколение.

И так велика была сила воли, вложенная в них сизмальства окружающей средой, такие глубокие корни пустили им в душу правила, на которых они были вскормлены вместе с молоком матери, что даже и тогда, когда судьба отрывала их от родного гнезда и ставила в условия жизни совершенно иного рода, чем те, в которых они родились и выросли, тяготение их к этому гнезду не ослабевало и при всяком удобном случае проявлялось самым ощутимым образом.

Сколько было примеров успешного заступничества перед властями за попавшего в беду чирковца, от чирковки или чирковца взысканного фортуной! Сколько побегов из тюрем, с пути в Сибирь и из самого места ссылки можно было, если бы поглубже исследовать их причину, объяснить тем же самым — солидарностью этой кучки вольных людей между собою!

Связи у них были обширнейшие и разнообразнейшие, и могуществом они владели поистине изумительным. Даже и представить себе невозможно, какие важные люди обращались к ним за помощью и поддерживали с ними сношения.

Особенно ценили их дружбу в женском Воскресенском монастыре и в мужском Трехсвятительском, расположенном тоже в горах, неподалеку от первого.

И в том, и другом как у монахинь, так и у монахов, чирковцы были в большом почете. Не говоря уже о богатых вкладыях, сыпавшихся от них на эти обители весь год, они

служили удалившимся от мира инокам и инокиням посредниками с этим миром, факторами, через которых можно было все достать, узнать, платя за это только лаской да молитвой. И обе стороны оставались довольны. Чирковцы ни в чем так не нуждались, как в молитвах праведных людей, и часто, отправляясь на промысел, вперед давали обет столько-то и столько-то им пожертвовать из прибыли. Обещание это исполнялось свято. Было у них даже такое поверье, что дело не удастся, если вперед не заручиться молитвами монахов.

Как сказано выше, чирковцы были народ вольный, члены их маленькой коммуны считались равноправными, но, как и во всяком людском муравейнике, явился и тут старший.

Звали этого человека Гагиным, и гордились им односельчане, как украшением в некотором роде их местечка, такой он был мозговитый и во всех отношениях способный человек.

Совет ли кому дать, помощь ли кому оказать — никто лучше его не мог. А уж на разговор какой приятный! С ним не только проезжие купцы, но даже игумен Трехсвятительского монастыря любил беседовать, а игуменья Воскресенской обители ничего без его совета не предпринимала по хозяйству.

Егор Севастьянович родом был из Чирков. И отец, и дед его были здешние, но житейской мудрости и искусству овладеть сердцами он обучился в Москве у родных матери, которую отец его взял себе в жены оттуда. Ему не было еще трех лет, когда его отправили к дяде, пожелавшему взять его в сыновья. Этот дядя был человек богатый и бездетный, он обещал оставить все свое состояние племяннику, если Егор выкажет способности к торговому делу.

Одним словом, обстоятельства так сложились, что судьба как будто навсегда оторвала Гагина от родного гнезда; прошло более тридцати лет, и родители его давно умерли, когда он вдруг неожиданно-негаданно здесь появился. Про него совсем забыли, но, предъявляя права на скудное наследство, оставшееся после его родителей, он сумел доказать, что здесь родился и что крестили его в Трехсвятительском монастыре; на все это у него были неопровержимые документы, согласовавшиеся с записями в церковных книгах, и тогда все про него вспомнили и признали его.

Заявив, что желает поселиться на постоянное житье в Чирках, он деятельно принялся за постройку дома у самой

горы, на том самом месте, где находились развалины вросшей наполовину в землю хибарки его родителей.

На затраты он не скупился: ездил в Киев за всем, что казалось ему нужным для нового дома, подрядил монаха-резчика, чтобы разукрасить его снаружи и внутри затейливыми, разноцветными выкрутасами, развел большой сад а так как справа и слева для его затей места не хватало, соседи мешали, Егор Севастьянович, недолго думая, полез в гору, повырубил там лесу, сколько ему нужно было, огородил очищенное место крепким тыном и засадил фруктовыми деревьями.

Все это он делал так хозяйственно и толково, что с каждым днем чирковцы проникались к нему все большим и большим уважением.

Устроившись здесь, он поехал за семейством и привез в Чирки жену, дочь, старушку мамушку да двух молодцов, таких же ловкачей, как и он сам, которые находились у него, должно быть, в большом доверии, потому что он их всюду рассылал за себя, а сам дома сидел и благодумствовал в уютно устроенном гнездышке. Пристрастился он к пчеловодству. Не прошло и трех лет, как за медом стали к нему приезжать из-под Киева, так он был вкусен и душист.

Однако, судя по постоянным разъездам его двух сподручных, Гагин вел и другие дела. Торговал, верно, чем-нибудь, но где у него были лавки — никто не знал. Подъезжал иногда к его дому целый обоз нагруженных подвод. Он выйдет на крыльцо, осмотрит коней, поговорит с людьми и, накормив тех и других, отпустит дальше.

А куда дальше, и этого тоже чирковцам узнать было неоткуда.

Он и жену себе под стать подобрал, такая же дельная да скрытная баба, как и он сам.

Звали ее Акулиной Ивановной, смолоду была, должно быть, красавица и, как видно, из хорошей, зажиточной семьи, но не белоручка, до всего сама доходила и во всем толк знала. С раннего утра на ногах и до поздней ночи вокруг дома хлопочет, ни в чем на работников да на работниц не полагалась, во все входила и всех в страхе держала. С мужем у нее были отношения совсем особенные. Он не только во всем с нею советовался, но часто на нее ссылался, когда у него о чем-нибудь спрашивали: «пойдем, спросим у Акулины Ивановны, как она скажет», или «хотел было так сделать, да Акулине Ивановне не нравится».

Долго дивились и недоумевали чирковцы перед такою покорностью бабе, но потом мало-помалу привыкли и к

этой странности в Гагине и даже стали находить это весьма естественным. Баба бабе рознь, и если между чирковками не найти ни одной такой, которая не была бы суетна, болтлива и блудлива, то это еще не значит, чтобы и в других местах они были такие же, ведь вот Гагин нашел же себе жену, которой не за что и плеткой пригрозить, так умно и чинно она себя ведет.

Единственную дочку Марину Егоровну Гагины берегли и холили, как зеницу ока. Мухе не позволяли на нее сесть, ветерку не дадут на нее подуть, так уж они ее холили да берегли. Кроме старушки няни, находились при ней в подругах и для услуг две девицы и, видать, не из простых, мещанского либо купеческого сословия, сироты и бедные, верно, потому что на полном иждивении были у Гагиных. Говорили, что дальними родственницами они им приходится и что, Христа ради, их призрели. Обращались с ними ласково, кормили их и одевали хорошо, но, разумеется, с родной дочерью не ровняли, и должны были они угождать ей, как госпоже. Но за то и воли у них было больше; их и в лес за ягодами да за грибами пускали, и в город Акулина Ивановна их с собой иногда брала; Марину же Егоровну, кроме, как в церкви, никто нигде не видал. Из светлицы своей она выходила летом только в палисадник, засеянный для нее душистыми цветочками, да в сад, а зимой каталась в санях, покрытых ковром, и ни с кем, кроме монахинь Воскресенского монастыря, знакомства не водила.

Из чирковских никому до нее доступа не было, но к матери ее здешние бабы за всякой нуждишкой хаживали и всегда оставались ею довольны. Не ласкова и не болтлива была Акулина Ивановна, но никогда ни в чем соседкам не отказывала: больных лечила, указывала, как со скотиной да с птицей обращаться, чтобы выгоды себе больше получить, учила девиц кружева плести да по полотну разноцветными шелками красивые узоры вышивать, помогала людям всячески, одним словом, и выручать из беды и нужды ближних не скупилась, но близости ни с кем не допускала, серьезная была женщина и не то чтобы гордая, а строгая, и боялись ее столько же, сколько и уважали.

По временам приезжали к ним издалека гости, все какие-то купцы, судя по одежде да по сытым лошадям, запряженным в крепкие уютные кибитки, очень вместительные, невзирая на кажущуюся простоту и отсутствие всяких бросающихся в глаза украшений.

Люди эти на чирковских улицах не показывались, но зато Егор Севастьянович возил их в монастыри, где гащи-

вал с ними по три, по четыре дня, а иногда и дольше. Ездил он с ними также и в лес, но об этом все помалкивали, не такой был человек Егор Севастьянович, чтобы про него зря языки чесать; любить-то его любили, правда, и уважали, и благодарность к нему чувствовали, но и побаивались немало.

Однако этим летом повадился к ним такой интересный гость, что не заниматься им и не делать предположений на его счет не было никакой возможности, такой он был красивый, статный и, по всему видно, богатый.

Его считали женихом Марины, и вот по каким признакам: ни к кому из гостей не выходила она из своей светелки, а к нему спускалась вниз, и родители оставляли ее с ним вдвоем. Молодые люди два раза подолгу беседовали на крытом крылечке, выходявшем в сад, и прогуливались рядом по дорожкам, усыпанным желтыми листьями, под яблонями и дубами, терявшими с каждым днем все больше и больше свой лиственный убор.

Сад-то шел в гору, и как ни высок был окружавший его тын, снизу всегда можно было в него заглянуть.

Гость был и богат, и тароват; всем в доме привозил он прекрасные подарки. После его отъезда и работники, и работницы у Гагиных щеголяли в обновках: у кого шапка, у кого поддевка, у кого сарафан яркого цвета, мониста или лента в косе, и все такое красивое да добротное, что здесь поблизости ни в одной жидовской лавочке не найти. Можно себе представить, как он свою невесту одаривал!

XVI

В этом году очень беспокойно было в той местности. Не успела шайка Шайдюка скрыться после разбоя в Епифановском лесу, как появилась другая под предводительством таинственного Чижики.

Близ города подвиги его ограничились разорением зобовского хутора; испугался, верно, он энергичных мер, принятых начальством, и, не дождавшись облавы, удалился в глубь страны, в степь, где, кроме чумаков, никого нельзя было встретить, а может быть, и дальше, за границу.

Но в чирковском лесу разбойники не переводились. Правда, на здешних жителей они дерзких нападений не совершали, но время от времени посылали молодцов из своих притонов собирать дань с богатых поселян, особенно с тех, что жили отдельными небольшими поселочками. Сю-

да они шли по-приятельски, прямо назначали, какую им желательню взять овцу, теленка или свинью, сколько кур, гусей, муки и проч., и, покалякав с хозяевами, а иногда и переночевав у них, уходили себе преспокойно восвояси.

Часто можно было застать в избе зажиточного хуторянина за столом вместе с его семьей неизвестного с загорелым энергичным лицом, в чуйке и с ножом за поясом, мирно хлебавшего щи из одной чашки с бабами и ребятишками, в то время как хозяин со старшими сыновьями увязывал выбранную провизию к седлу, когда непрошенный гость приезжал верхом, или в тюк поудобнее, чтобы взвалить ему на плечи, если он был пеший. Случалось и так, что незнакомец столько наберет припасов, что тележку попросит. Разумеется, отказа не было, и тележку непременно потом находили в целости в указанном месте, иногда с благодарностью в виде красивого платка или мониста для хозяйки или доброго ножа для хозяина.

Производили разбойники набеги и на монастыри. Но и там тоже предпочитали от них откупаться деньгами и натурой, чем обращаться за помощью к властям. Ну, пришлют солдат, повоюют они с лесными молодцами, положат кое-кого из них на месте, других в кандалы закуют и в городской острог уведут, а потом? Ведь уж тем, кто их выдал, от злодеев милосердия нельзя было ждать, не эти, так другие за товарищей отомстят и уж баранами да курами не удовольствуются, а, выждав времечко удобное да ночь потемнее, весь поселок выжгут, разграбят, с лица земли сотрут. Бывали такие примеры и не раз, и не два в соседних с Чирками местностях, кому же охота после этого на рожон лезть.

Однако, как подошла осень, молодцы из леса разгулялись не на шутку. Нужда ли их заставила или соскучились без дела, так или иначе, но все чаще и чаще стали поговаривать в Вознесенском монастыре о том, что в лесу неспокойно. Злодеи стали девок и баб к себе уводить. Рассказывали, что у старухи Зайчихи внучка без вести пропала в лесу и что Ненила, жена косого Акима, третьи сутки домой не возвращается, и будто слышали, как зайчихина внучка билась и кричала, призывая на помощь, когда разбойники в вертеп свой ее тащили.

Все это по вечерам монашки шепотком передавали друг другу за трапезой, под стук деревянных ложек об чашку с щами да под монотонное чтение дежурной чтницы у аналоя в одном из углов длинной комнаты с узким столом посреди. И как строго ни следили старицы за тем, чтобы подведом-

ственное им бабье стадо не развлекалось посторонними мыслями во время еды, новости о разбойниках с каждым днем разрастались и приводили затворниц в такое смятение, что редкая из белиц могла заснуть до рассвета, то есть как раз перед тем как к заутрене ударят.

А уж после приключения с белицей Лукерьей и старшие переполошились.

Лукерью послали в лес за хворостом после вечерни. Непорядок это был; вообще перед вечером монашкам выходить из обители не дозволялось. Но старице Калисфении понадобилось печку в келье затопить, знобило ее весь день, а в дровяной сарай нельзя было после обеда иначе проникнуть, как с ведома наперстицы-матушки, матери Меропеи, с которой у Калисфении были какие-то счеты, ну вот, беличка Луша, состоявшая у Калисфении в послушниках, и вызвалась за хворостом сбегать в лес. У самой опушки можно было набрать сколько хочешь, но погода была такая заманчивая! Дневной жар спал, солнышко закатывалось за горы, пронизывая своими прощальными лучами зеленую чащу. Птички пели; душисто так да уютно было под высокими старыми деревьями. Лукерья решила, что можно хворосту набрать и дальше, не у самой опушки, и не беда, если замешкаться немножко. Ну, поначалит старица, да и все тут. Пошла она по тропинке, протоптанной их же монастырским водовозом, к ключу, из которого игуменья любила воду пить, и как вспомнила она про этот ключ, так ей захотелось пить, что она прямо к нему и отправилась. Забыла и про разбойников. Да и как было про них вспомнить в такой чудный вечер! Совсем еще светло было. Солнышко играло в листьях и траве; хорошо и мирно кругом. Тишина нарушалась только пением птиц, стрекотанием букашек, шелестом листьев да шуршанием травы под быстроногими ящерицами, спугнутыми человеческими шагами. Дошла она до ручья и, свернув тюрником большой кленовый лист, сорванный с ближнего дерева, хотела уже опуститься на колени, чтобы зачерпнуть холодной воды, светлой струйкой и с нежным журчанием бежавшей по камушкам, как вдруг ей послышалось, что идет будто кто-то в ее сторону большими шагами, и не успела она опомниться, как хворост захрустел совсем от нее близко, зашелестели листья, раздвинулись ветви и перед ней предстал незнакомец со зверским лицом и всклокоченной бородой, в мохнатой шапке, надвинутой по самые брови. Боже, как страшно сверкали его глаза из-под этой шапки! Почти так же, как и острый нож, блестевший у него за поясом.

Вскочило ей тут в голову и про внучку Зайчихи, и про жену Акима, и про все ужасы, которые рассказывались про разбойников, и так обомлела она от страха, что не в силах была ни кричать, ни двигаться. В глазах помутилось, ноги подкосились, она беспомощно повалилась на землю.

Впрочем, незнакомец ей зла не сделал, спросил только, нет ли у нее чего-нибудь поесть. К счастью, она захватила с собой краюшку хлеба, не доеденную за ужином, и, поспешно вынув ее из-за пазухи, дрожащей рукой подала лесному молодцу, который, должно быть, был очень голоден, судя по тому, как стремительно поднес он хлеб ко рту, запустил в него зубы, и удалился.

А Лукерья побежала домой и всех перепугала своим появлением. Лица на ней не было; так бледна, от холщового платка, что на голову у нее был накинута, не отличишь.

Стали ее допрашивать, и, когда она заплетающимся от внутренней дрожи языком рассказала про свою встречу, на всех напала жуть.

Посоветовавшись со старицами, игуменья распорядилась усилить караул, ходивший с трещотками по ночам кругом обители, запретила даже и днем выпускать белиц за ограду, ворота приказала держать на запоре и послала в Чирки за Гагиным.

Но Егора Севастьяновича дома не застали. Он поехал по делам за Киев и раньше, как к Покрову, не велел себя ждать.

Выслушав внимательно повествование о страшном приключении с белицей Лукерьей, Акулина Ивановна обещала прислать мужа тотчас после его возвращения и советовала обитательницам монастыря не тревожиться.

— Хранил Господь вашу обитель от лесных молодцов, сохранит и впредь, — говорила она своим сладким голосом, с характерною московскою певучестью.

Впрочем, меры предосторожности, принятые игуменьею против разбойников, она одобрила и весть об исчезновении жены Акима и зайчихиной внучки подтвердила. Действительно, разбойники расшалились последнее время не на шутку, но, чтоб они на святую обитель покусились, нет, этого бояться нечего. Все же и на них крест есть, и кто же за них тогда молиться будет?

— Вот приедет Егор Севастьянович и вам присоветует, человек он опытный, положиться на его слово можно, — прибавила она в заключение своей речи, и, попросив извинение у посетительницы, она оставила ее на галерейке,

выходившей на улицу, а сама отправилась готовить для нее угощение на кухню.

Но посланная игуменьи долго в одиночестве не оставалась. Весть о ее появлении в Чирках разнеслась по местечку, и то одна, то другая из проходивших мимо баб останавливалась, чтобы покалякать с нею, рассказать про то, что их занимало, а именно про молодого купца, сватавшегося за дочку Егора Севастьяновича.

— Опять приезжал на прошлой неделе...

— Опять? — захлебываясь от любопытства, переспросила гостья.

— Как же! Во какой ящик оставил, — показывала рассказчица растопыренными пальцами размер ящика с подарками, оставленного женихом в доме невесты.

— Ну а она что? — понижая голос до шепота и кивая в сторону Марининой светелки, осведомлялась гостья.

— Что ж, рада, конечно, но как девица стыдится, понятно, и виду не показывает.

— И выходит она к нему?

— Кажинный раз. Гуляют вместе в саду. С улицы-то все видно. Вся деревня глазеет. Ну, свадьба-то скоро, должно быть.

— Приданое шьют?

— Зачем? У них давным-давно все готово. Надо так полагать, что давно уж дело это у них налажено; как в свой дом он сюда приезжает. С Москвы, верно, знакомство-то промеж их. Да неужто ж у вас про все это до сих пор неизвестно? Ведь гостит она у вас подолгу.

— Да она все с курлятьевскими боярышнями, а их мать Агния особняком держит.

— Гордые?

— Нет, не то чтобы гордые, а скорее робкие. И все как будто привыкнуть к монастырю не могут, всех чуждаются, все промеж себя... Да вот теперь с гагинской дочкой сдружились.

— Девицы, известное дело. Им-то она, поди, чай, сказала про жениха?

— Да нешто уже просватана?

— Надо так полагать, что просватана намеренсь, как приезжал он сюда...

Появление хозяйки с подносом, уставленным снедью, заставило рассказчиц прервать на полуслове речь и разбежаться в разные стороны, но и того, что узнала посланная игуменьи, было достаточно, чтобы дать ей обильную пищу для рассказов по возвращении в монастырь. В тот же день

все здесь узнали про то, что Егор Севастьянович просватал дочку и известие это на время заставило даже забыть о разбойниках, так оно всех заинтересовало.

Келья матери Агнии находилась не в главном корпусе, а в отдельном домике, за церковью, среди садика из старых лип и сирени и состояла из трех маленьких комнат, с широкими светлыми сенями, отделявшими горницы от кухни. Тут жизнь боярышень Курлятьевых протекала за рукоделием и чтением святых книг. Выходили они только в церковь да в садик; ни в лес, ни в огород, ни в поле их не пускали. И с беличками одних с ними лет тетка не любила, чтоб они водились. Одна только и была у них подруга — Марина Гагина. Можно себе представить, с каким нетерпением ожидали они ее посещений!

И, должно быть, она уже раньше сообщила им о том, что за нее сватается интересный жених, потому что они не выразили ни изумления, ни любопытства, когда им сообщили эту новость, только переглянулись между собою, а когда остались вдвоем, Марья с загадочной улыбкой, заглядывая сестре в глаза, сказала:

— Теперь нам скоро ждать избавления, сестрица!

Катерина вспыхнула.

— Не напоминайте, страшно мне, — вымолвила она чуть слышно, низко пригибаясь к работе.

— Страшно? — с упреком возразила ее сестра. — Греха надо пуще всего бояться, сестрица, а мы здесь в грехе с ног до головы, и нет нам ниоткуда спасения. Батюшке нашему авве Симионию ни разу не удалось сюда проникнуть, а Марина сказывала, что он нарочно, чтобы благословить нас, два раза приезжал в Чирки. Это ли не горе! Это ли не дьявольская западня!

Глаза ее сверкнули ненавистью и негодованием.

— С Фелицатой виделись, — напомнила, не поднимая глаз от работы, Катерина.

— Что мне Фелицата! Чем утолит она жажду моего сердца? Что скажет она мне такого, чего я сама не знаю? — с возрастающим раздражением возразила Марья. — Мне учителя надо, один авва Симионий может успокоить мою душу, разверзнуть перед моими духовными очами чертог божественной премудрости, приблизить меня к Создателю, призвать на меня духа... Ни разу не сходил Он на нас с тех пор, как мы здесь, сестрица! Ни разу! — повторяла она с отчаянием. — И вы еще колеблетесь, позволяете бесу вас искушать, сомнениям заползать вам в душу, ах, сестрица, сестрица! Вспомните, что ожидает маловерных, колеблю-

щихся и сомневающих! Вас снискал Господь, Он простирает к вам свою руку, чтобы вырвать вас из дьявольской пучины, а вы колеблетесь! А еще говорите, что любите!

— Да ведь он разбойник! — вскричала Катерина, и голос ее прервался рыданиями.

— Был разбойником, а теперь в истинную веру перешел, вечную истину познал и прозрел, — возразила, торжественно возвышая голос, Марья.

— Любит ли он меня по-прежнему? — сквозь слезы вымолвила Катерина.

— Вспомните, что сказал авва Симионий, сестрица, и отгоняйте дьявола. От него терзающие вас сомнения, ни от кого больше, — авторитетно возразила ее сестра. — Сетованиями вашими вы бесу служите, никому больше, — прибавила она еще строже.

И слова ее подействовали; сестра ее перестала рыдать, но крупные слезы продолжали скатываться одна за другой по ее побледневшим щекам, а дрожащая рука, не выпуская иглы из пальцев, беспомощно опустилась на туго натянутую парчу. Страстная борьба кипела в ее душе. В сомнениях, возникавших одно за другим в отуманенной голове, сердце ее билось, как птица в западне, и жутко ей было, и сладко в одно и то же время, и непреодолимо тянуло в таинственную пропасть, что разверзалась перед нею.

XVII

Акулина Ивановна исполнила свое обещание; не прошло и недели, как муж ее приехал в монастырь и совершенно успокоил всю обитель насчет разбойников.

Долго толковал он с матушкой с глазу на глаз в ее келье, и под конец беседы, когда все уже между ними было переговорено, позвали мать Агнию, чтоб ей объявить, что с этого дня запрет белицам ходить в лес за грибами снимается. Можно также распустить лишних сторожей, нанятых ходить дозором вокруг монастыря по случаю слухов о разбойниках. Опасности никакой не предвидится.

— Егор Севастьянович говорит, что злодеи перекочевали из нашего леса за Киев и что бояться нам нечего, — объявила игуменья, кивая на гостя, степенно сидевшего на кресле перед нею.

— Нечего, матушка, нечего вам бояться, — подтвердил он, почтительно поднимаясь с места, чтоб отвесить низкий поклон появившейся на пороге матери Агнии.

— Он полагает, что мужчина, напугавший нашу белицу, не разбойник, а просто бродяга, — прибавила игуменья.

— Непременно бродяга, — повторил Гагин.

— А как же нож-то, что у него за поясом был?

Егор Севастьянович усмехнулся.

— С перепугу-то мало ли что покажется, матушка, — возразил он с добродушной иронией и, чтобы переменить разговор, повел речь про предстоящую ему поездку в Москву по делам и упомянул про дочь.

— Давно она у нас не была, — сказала игуменья.

— С Петрова дня, — подхватила мать Агния. — Редкий день племянницы мои про нее не вспоминают.

— На днях, если позволите, привезу вам ее. Сама к вам рвется, — отвечал гость.

— Милости просим, мы ей всегда рады, — сказала игуменья. — Так ли я говорю, мать Агния?

Эта последняя поспешила согласиться. Уж какие нужны доказательства того, что им ниоткуда не грозит опасность, когда Гагин сам набивается привезти к ним дочь. Не стал бы он подвергать неприятным случайностям свое единственное и нежно любимое дитя.

— Да уж оставили бы вы ее у нас подольше, — предложила игуменья.

— Племянницы собираются облачение для владыки вышивать, ваша Марина Егоровна им бы помогла, — подхватила мать Агния.

Гагин опять отвесил им обоим поклон.

— Я и сам вас хотел об этом просить, матушка, и вас тоже, мать Агния. Мне в октябре надо по делам в Москву съездить; раньше, как к празднику, не обернуться, а жена дала обещание к печорским угодникам пешком сходить. Боюсь, что замешкается она в Киеве-то, тетка у нее там, древняя старушка, прихварывает часто и вызывает ее. Намеднись монашка одна, что оттуда, сказывала: скучает она по вас, Акулина Ивановна.

— Ну, и прекрасно, Поезжайте вы в Москву, Акулина Ивановна — в Киев, а Марину пришлите к нам, — объявила игуменья и прибавила с улыбкой: — Правда ли, народ толкует, будто вы, Егор Севастьянович, свою дочку просватали?

— Не смею перед вами таиться, матушка, — сдержанно отвечал он, — и если уж люди болтают, то должен вам сознаться, что действительно есть у нас с женой паренек один на примете. Богобоязненный малый, да и умом

Господь его не обидел, один преольшую торговлю ведет и не хуже старика справляется.

— Зачем же дело стало? — полюбопытствовала игуменя.

Гагин вздохнул.

— Как Бог даст, матушка, как Бог даст, — уклончиво проговорил он.

— В чем же помеха-то?

Он развел руками, видимо, затрудняясь яснее выразиться.

— Денег, что ли, у него мало? Так ведь ты, поди, чай, приданого прикопил дочке, Егор Севастьянович, одна ведь она у тебя.

— Что деньги? Деньги дело наживное, — беззаботно махнул он рукой. — Да у него и теперь есть на что содержать жену. Нет, матушка, не в деньгах помеха... Эх, кабы наша Марина парнем была, ни минуты не задумались бы мы сноху в дом принять.

Игуменя улыбнулась:

— Разлучаться вам, видно, с нею не хочется?

— Страшно, матушка, вот вы что лучше скажите. Ну как мы ее такую выхоленную да набалованную на чужую сторону отпустим!

— А откуда жених родом-то?

— Из Вятки, — отрывисто отвечал Гагин, озабоченно сдвигая брови. По всему было видно, что вопрос, затронутый игуменьей, был очень близок его сердцу.

Матушке стало его жалко.

— А вы молитесь больше да на волю Божию полагайтесь, никто, как Бог, Царь наш Небесный! — с чувством вымолвила она. — Марина ваша девица благонравная, да и вы с женой, как подобает добрым христианам живете, Господь вам поможет. Привози же нам дочку, Егор Севастьянович, мы ей завсегда рады, — прибавила она.

Но прежде чем привезти дочь, Гагин еще раз приезжал в монастырь и не один, а с нареченным женихом Марины.

Явились они прямо в церковь, к обедне и, когда об этом доложили игуменьи, она послала послушницу пригласить их к себе закусить.

Семейство Егора Севастьяновича в монастыре знали хорошо, особенно Марину, которая, сдружившись с курлятьевскими боярышнями, подолгу здесь гащивала, и, можно себе представить, как заволновались белицы, увидав молодого человека, приехавшего с Гагиным! Да и не одни белицы, а и черницы, и даже манатейные не могли удержаться

от искушения исподтишка на него поглядывать во время богослужения.

Это был высокий, стройный молодец с красивым умным лицом и задумчивым, серьезным взглядом темно-карих глубоких глаз. Русые волосы вились кольцами и, подрезанные в скобку, спускались низко на лоб. Одет он был щеголевато, но по-русски, как и подобает доброму православному христианину, в длинный кафтан из тонкого сукна и сапоги с высокими голенищами. Пояс на нем был с серебряными бляхами, и за ним, как всегда у купцов в том краю, когда они ехали издалека, висел нож в дорогой оправе. Бравый молодец, по всему было видно, и хорошему обращению обучен сызмальства. Всю службу, как вкопанный, простоял, не поворачиваясь ни вправо, ни влево, и усердно молился. На тарелочку, когда к ним подошла монашка за сбором, Гагин положил серебряную монету, а товарищ его — золотую.

Игуменья обошлась с ним особенно любезно, и на все ее расспросы он отвечал так почтительно и умно, что всем понравился. Сколько знал, сколько видел этот молодой человек, и представить себе невозможно! Оказалось, что, невзирая на молодые еще годы (ему, казалось, не более тридцати лет), он и в Иерусалиме успел побывать, и в Греции, и в немецких землях. Варшаву и Петербург знал так же хорошо, как и Москву, всю Сибирь изъездил, до Китая доезжал. И так прекрасно про все рассказывал, заслушаешься!

Звали его Александром Федосеевичем, по прозвищу Свиблов, и был он единственным сыном богатых вятских купцов. Про родителя своего и родительницу он говорил с таким чувством, что у матушки от умиления слезы выступили на глаза, и, переглянувшись с Егором Севастьяновичем, она укоризненно качнула головой: можно ли, дескать, сомневаться в таком человеке!

У Егора Севастьяновича усмешка проскользнула на губах, и, как игуменья, так и все присутствующие, в том числе мать Агния, поняли из этой усмешки, что дело у них уже слажено, и добрые старицы стали смотреть на молодого человека с еще большим участием.

За чаем разговор перешел на женские обители, про то, какие промыслы и доходы в монастырях сибирских, московских и здесь. Игуменья стала распространяться про свое хозяйство, про новые порядки, которые она ввела в управлении своей паствой, про постройки, огороды и сады Воскресенского монастыря, и гость слушал с таким интересом, что она предложила ему осмотреть всю обитель.

— Вам все покажут, вы нам можете советами помочь; человек вы, по всему видно, знающий, а мы, как бабы, больше чужим умом должны жить. Вот без Егора Севастьяновича ни на шаг, — прибавила она, кивая на Гагина.

— А я вам, матушка, плотников-то подрядил, чтобы крышу матери Агнии справить, — объявил этот последний.

— Так вы полагаете, зиму не простоит?

— Вряд ли, матушка: стропила подгнили, непременно течь даст, как снег стаивать начнет.

— Не хотелось бы мне нынешней осенью на строение тратиться, — заметила игуменья.

— Да, может, Бог даст, до весны-то и продержится как-нибудь, — поспешила вставить мать Агния, которую издержки на ремонтировку строений пугали столько же, сколько и игуменью.

— Зиму-то продержится, но уж ранней весной... Да чего мы тут толкуем, — весело прервал свое возражение Гагин, — ведь у нас здесь архитектор... Ты, Александр Федосеевич, в постройках толк знаешь, — обратился он к молодому человеку, который скромно и терпеливо выслушивал беседу старших, — осмотри-ка ты, братец, домик-то и реши, теперь, что ли, крышу чинить, или можно до весны подождать.

— Если матушке угодно, я со всем моим удовольствием, — отвечал Свиблов, приподнимаясь с места, чтобы низко поклониться игуменье.

Эта последняя с радостью согласилась на предложение. Может, этот молодец и пожертвует сколько нужно на поправку крыши, убедившись, что она никуда не годится, раскошелится на радостях, ведь жених. И увлекшись мечтами о прибыли, она решила, что упускать удобного случая побольше сорвать с гостя не следует, пусть уж посмотрит на все изъязны их хозяйства, ознакомится со всеми их нуждашками. Сообразив все это в одно мгновение, она шепнула стоявшей возле нее белице, чтобы позвала мать Меропею.

Эта не чета дворянке матери Агнии, которая ни при каком случае от гонора своего отступить не может и посовестится наводить гостя на дыры и прорехи; Меропея уж знает, как сделать, чтобы заставить посетителя дать вдвое, чем у него было намерение пожертвовать, когда сюда ехал.

— Вас сейчас проведут в келью матери Агнии, и как вы скажете, так мы и поступим, — обратилась игуменья к

своему молодому гостю. — Келья эта хорошо знакома дочке Егора Севастьяновича, она часто в ней гостит у племянниц матери Агнии, подружки они, — прибавила она с улыбкой.

На пороге появилась пожилая монахиня, высокая и худая, с широким костлявым лицом мужицкого типа и хитрыми глазами.

— Мать Меропея, покажите Александру Федосеевичу наше хозяйство. Да мимоходом в келью матери Агнии взгляните с ним. Александр Федосеевич в строительном искусстве не хуже архитектора смыслит, он нам присоветует насчет крыши, теперича ли плотников нанимать, чтоб ее чинить, или можно до весны подождать.

Мать Меропея исподлобья окинула быстрым, пронизательным взглядом молодого гостя и, низко поклонившись игуменье, повернулась к выходу. Свиблов последовал за нею.

Матери Агнии страсть как хотелось пойти вместе с ними, ведь ее келью будут осматривать, а там и племянниц ее увидят. Знай она заранее, что так будет, вывела бы она Катеньку с Машенькой в другую келью, где поправок не требуется и молодому человеку смотреть нечего; но игуменья, как нарочно, втягивала ее в разговор, который завела с Гагиным, о рукоделиях в монастырях вообще, а в Воскресенском в особенности.

— Рисовальщиц у нас до сих пор не было, чтоб узоры свои сочинять, — говорила она, — но теперь, слава Богу, племянницы матери Агнии рукодельницы отменные, можно сказать, и рисуют прекрасно, так что и по этой части мы теперь от других не отстанем. Преосвященному нашему облачение вышили золотом по серебряной парче, а клобук жемчугом выложили. Понравилось, похвалить изволил. Задумываем теперь митрополиту от наших трудов подношение сделать.

— Хорошее дело, — одобрил Гагин.

— Узоры составляют девицы цветиками разноцветными, как в природе, и как будто из рога изобилия высыпаятся, — продолжала распространяться игуменья, обращаясь то к своему гостю, то к матери Агнии. — Каких шелков-то вам еще надобно? Мы попросили бы Егора Севастьяновича из Москвы привезти, в Киеве таких нет, уж мы посылали.

— Сделайте одолжение, матушка, все вам привезу, дайте только списочек, — поспешил заявить Гагин.

— А вы когда в Москву едете?

— Да недельки через две, если Бог даст.

— Непременно к этому времени приготовим. Не забудьте, мать Агнии.

Обойдя со своим гостем службы обители и огород, мать Меропея предложила ему взглянуть на келью матери Агнии, прежде чем пройти в фруктовый сад.

Молодой человек молча наклонил голову в знак согласия, и она повернула по узкой тропинке, протоптанной в конопляннике, что тянулся вплоть до садика матери Агнии.

Тут было еще пустынное, чем во дворе, у колодезя и в огороде, где попадались монашки, прогуливающиеся с четками в руках, и белицы с ведрами на коромыслах, перекинутых через плечо; никто сюда не заглядывал, и тишина, царившая вокруг, кроме жужжания шмелей, кружившихся над темно-зелеными душистыми стеблями отцветающей конопли, ничем не нарушалась. И вдруг из садика, огороженного плетнем, зазвенел серебристый девичий голос, почти тотчас же присоединился к нему другой, и мелодичный гимн звучно и стройно понесся к небу.

Хорошо, что старице, озабоченной мыслью о том, как бы выпросить у своего спутника побольше денег на нужды обители, не пришлось в голову к нему обернуться, она испугалась бы, увидав, как он вздрогнул и побледнел, услышав пение.

От волнения он зашатался и оперся о плетень, чтобы перевести дух. Это длилось недолго, он тотчас же оправился и бодро зашагал вперед, но все же хорошо, что старица не видела его лица в это мгновение.

— Это племянницы матери Агнии поют, — пояснила она, замедля шаг и прислушиваясь. — Не правда ли, хорошо? Голоса изрядные, особенно у старшей.

О, как знаком ему был этот голос! Как часто раздавался он в его ушах во сне и в минуты забвения! Он в нем жил, этот голос, вместе с воспоминанием о кратковременном счастье, за которое пришлось платить муками, такими страшными, что и в аду хуже не может быть.

И вот он опять его слышит, и не в грезе, а наяву. И сейчас он ее увидит, голубку свою ненаглядную, зореньку ясную...

Изменилась, поди, чай, изморилась, ясынка...

Плетень, окружавший сад, был низок, а листья с деревьев пооблетели, кое-где образуя прогалины, в которые можно было видеть скамейку под старым кленом у крылец-

ка и двух стройных, тоненьких девиц в мирском одеянии, с нотами в руках.

Спутник матери Меропеи, как вкопанный, остановился перед этим видением.

Одна из девиц сидела на скамейке, и кроме ее платья, белевшегося промеж ветвей, до верхней части головы с белокурыми кудрями ничего нельзя было различить, но зато подругу ее страстный взгляд незнакомца, точно невидимой силой, сорвал с места. Выпрямившись во весь рост, она впилась глазами в жениха Марины, да так и осталась с полураскрытым ртом и остановившимися, как в столбняке, глазами.

— Сестрица, что с вами? Вам дурно? Я вам воды принесу... Платье надо расстегнуть, вам дышать тяжело, — говорила Марья, испуганная внезапной бледностью, покрывшей лицо сестры, и вглядываясь в то место у плетня, от которого Катерина не в силах была оторвать глаз.

— Пойдемте, сестрица, в комнату, здесь неудобно, — настаивала Марья, поднимаясь с места и нежно обнимая ее. — Да что с вами? Кого высматриваете вы в конопляннике? Там никого, кажись, нет...

— Он здесь, — чуть слышно одними почти губами вымолвила Катерина.

— Так что ж? Ведь вы его ждали, — возразила Марья, — волноваться не надо... Все так выходит, как сказал авва Симионий, воля Божья, значит... Надо быть спокойной и твердой...

Но густой румянец, загоревшийся на ее щеках, и прерывающийся от внутренней дрожи голос резко противоречили ее словам.

XVIII

В конце октября жених Марины опять приехал в Чирки и, как всегда, прогуливался с невестой по фруктовому саду на горе и подолгу, на виду у всех, сидел с нею на крытой галерейке, выходившей на улицу.

В день отъезда (он каждый раз уезжал из Чирков поздно вечером) вся семья выходила провожать его на крыльцо и, прежде чем сесть в кибитку, он долго беседовал со своим будущим тестем. Потом стал прощаться с Акулиной Ивановной и с невестой. Первую он крепко обнял, вторую поцеловал в щеку; все это видели.

Было совсем темно, но гостя провожали с фонарями.

Вернувшись в дом, Егор Севастьянович не ложился и сам стал собираться в путь.

Не ложились в постель и жена его с дочерью; всю ночь вплоть до утра, виднелся огонь во всех окнах, а на кухне шла деятельная стряпня. Пекли и жарили съестные припасы на неделю по крайней мере. Всю ночь вылетал дым черными густыми клубами из трубы гагинского дома.

По двору бегали с фонарями, осматривали дорожную повозку, выкаченную из сарая, кормили лошадей, выносили из дому сундуки, узлы, подушки, кульки, кулечки и прочие принадлежности, необходимые для далекого путешествия.

— Уж не в Москву ли собирается Егор Севастьянович? — сказала соседка, расталкивая спящего мужа, чтобы поделиться с ним впечатлениями.

Сама она еще далеко до утра поднялась с постели, чтобы взглянуть на корову, которой накануне вечером бык пропорол рогами бок, и, увидев свет и необычное движение на соседском дворе, не утерпела, чтобы не взгромоздиться на большой камень у тына и не заглянуть через него.

— Все у них на ногах. Лошадей в большую кибитку впрягают. Акулина Ивановна с дочкой на крыльцо вышли, а сам-то не один едет, а с двумя работниками; все трое в тулупах, кушаками подпоясанные, по двору расхаживают, а за кушаками-то у них ножи...

— Как же без ножей-то? Ведь через лес им ехать, — равнодушно заметил ее сожитель и, повернувшись на другой бок, захрапел громче прежнего.

Проводив отца, Марина Егоровна с одной из своих подруг поехала в женский монастырь.

Там ее ждали. Варька, крепостная Курлятьевых, состоявшая при боярышнях в монастыре, каждую минуту выбегала из кельи, чтобы посмотреть, не едет ли к ним кто из леса, а Катенька с Машенькой были в таком волнении, что за целый час, с тех пор как сидели за пяльцами, даже и одного цветочка не успели вышить. Беспреданно оглядывались они на дверь, прислушиваясь к малейшему шуму, долетавшему сюда со двора, и молча перекидываясь красноречивыми взглядами. Слишком они были взволнованы, чтобы говорить. Да и не нужно им было говорить между собой, они и без слов понимали друг друга, как нельзя лучше. Горе давно уж отдалило их от людей и так тесно сблизило их души, что и мысли, и чувства, и надежды — все у них было общее.

Наконец, от темной чащи леса отделилась знакомая тележка, запряженная серой лошастью, и Варька со всех ног пустилась бежать назад.

— Едут, барышни, едут! — возвестила она, не успев еще переступить порог светлых сеней, откуда маленькая дверь вела в горницу, очень скромно обставленную, с большим киотом, наполненным образами, в переднем углу, с картинами божественного содержания по стенам и пяльцами у окон, выходивших в густой садик, такой тенистый, что летом тут было темновато от ветвей сирени, что назойливо лезли в комнату, с листьями и душистыми гроздьями.

Окна эти и теперь были отперты настежь; в них врывался свежий осенний воздух, пропитанный запахом спелых плодов и увядающей травы, вместе с бойким чириканьем воробьев и пронзительными криками отлетающих в теплые страны стай перелетных птиц.

Обедня давно отошла, и сестры после трапезы разбрелись каждая по своему делу: одни под надзором старших занимались на кухне сортировкой плодов на зиму, другие собирали горох на огороде, развешивали по кустам выстиранное белье для просушки, возились в молочной около крынок с кислым и свежим молоком, месили тесто, хлопотали около домашней птицы, шили, пряли, ткали, каждая исполняя свое послушание, одним словом работы на всех хватало с избытком; сложа руки сидеть дозволялось только богатым. У этих были прислужницы и, если они тоже работали, то для своего удовольствия и потому, что, живя в монастыре, не могли не помнить, что Бог труды любит, лень мать всех пороков, и дьяволу легче соблазнить праздного человека, чем занятого.

Одни только дряхлые старушки позволяли себе прилечь днем в ожидании вечера.

Мать Агния была не из молоденьких, но в отдыхе не нуждалась.

Да и не до отдыха ей было в эти дни. И всегда-то октябрь месяц был для казначеи самым тяжелым месяцем в году; надо было сводить счета за весь год, чтобы представить их на рассмотрение благочинного, приезжавшего в обитель в ноябре, иногда в конце, а иногда в начале, как ему Бог на душу положит. А тут еще игуменье вздумалось письма рассылать благодетелям во все концы России.

Как ни упрашивала ее мать Агния, служившая ей секретарем, отложить это дело до отъезда благочинного, представляя невозможность справиться с двумя такими

серьезными делами одновременно, матушка стояла на своем.

— Нам эти письма разослать важнее, чем ваш отчет, мать Агния, — говорила она. — У Проскуровых сын при смерти, если им теперь про нас не напомнить, они закажут сорокоуст не нам, а монахам или в Киеве. Богоявленские-то уж к ним подъезжают, я знаю. И Андрусовым в Москву необходимо без отлагательства весточку послать. Они новый дом построили, переезжать в него собираются и непременно пожертвуют нам по этому случаю на наши нужды сколько-нибудь. А у Лазаревых дочку просватали, поздравить, значит, надо. Она, Лазариха-то, сама вызвалась нам иконостас позолотить, если дело с женихом сладится, напомнить ей надо. Нельзя также и Порскиных забыть, у них горе теперича, самого-то судить, говорят, за взятки будут, если не откупится, того и гляди награбленное-то все отнимут, им, значит, во как молитвы-то наши нужны!

— А с отчетом-то, как же быть, матушка? — возражала мать Агния.

— Да уж как-нибудь надо сделать. Днем письмами займитесь, засветло, а вечером, при свечах, отчетом. И вам для большего удобства на это время келью матери Меропеи прикажу очистить, чтобы ко мне поближе: как что нужно, посоветуемся и сообща решим.

— Да ведь я не одна живу, матушка, со мной девицы, племянницы. Я за них и пред Господом Богом, и перед их родителями в ответе буду, если что случится, — заметила, с трудом сдерживая досаду, мать Агния.

Но у игуменьи на все был готов ответ.

— Уж я об этом позаботилась, не беспокойтесь, пока вы тут с нами будете, Меропея у вас поживет. Старица она почтенная, святой жизни, ей девиц без опасения можно поручить, не хуже вас она им может во всем присоветовать, — прибавила матушка, не обращая внимания на неудовольствие своей слушательницы.

Невзирая на кажущуюся доброту и кротость, игуменья была женщина упрямая и властная и противоречий не терпела. Мать Агния это знала и, как ни раздражало ее новое распоряжение начальницы, она больше не возражала и молча, с низким поклоном, вышла.

На душе у нее было тяжело. Последние дни смутное предчувствие беды не покидало ее ни на минуту. Даже и молитвой невозможно было отогнать злое предчувствие, так впилося оно ей в сердце. И, как всегда в подобных случаях, ей казалось, что опасения ее подтверждаются

каждым словом, каждым взглядом окружающих ее. Никогда еще племянницы не были так задумчивы, никогда еще не смотрели на нее украдкой с такой подозрительностью, никогда не опускали с таким смущением глаз под ее пристальным, пронизательным взглядом. Замышляют что-то такое. Какую-нибудь невинную затею, может быть, утешала она себя, работу к ее именинам или ко дню ангела игуменьи (ее звали Варварой), или задумали идти на богомолье в Печорскую лавру и не знают, как сделать, чтоб их отпустили,

О, если б только это! Она выпросила бы позволение у матушки и отправилась бы вместе с ними на богомолье. Ей и самой давно хочется помолиться святым угодникам, почивающим в Киеве, и отслужить благодарственный молебен за исцеление племянниц от злого недуга.

С тех пор как они в монастыре, припадки, наделавшие столько шума в городе, не возобновлялись.

Помог им, без сомнения, авва Симионий, который отчитывал их тотчас после печального приключения за ранней обедней, но здесь они уже окончательно оправились и как будто стали привыкать к монастырской жизни. Правда, они только промеж себя разговаривают, ни с кем не сближаются и уж не откровенничают с теткой, как бывало прежде, но и в мир их не тянет. Мать Агния особенно зорко наблюдала за ними в то время, когда в городе справляли свадьбу их меньшей сестры, и с удовольствием убедилась, что никогда еще не были они так благочестиво настроены, как в эти дни; усердно молились, безропотно и с легким сердцем исполняли возлагаемые на них послушания, точно уж давным-давно в монастыре и все светское им чуждо.

Право же, свадьба Клавдии больше занимала чужих, чем Катерину с Марьей. Белицы, наслушавшись от городских посетителей про богатства графа Паланецкого и про подарки, которые он делал своей невесте, не в силах были сдерживать своего любопытства и приискивали предлоги забежать в келью матери Агнии, чтобы спросить у ее племянниц: неужто они не поедут на свадьбу к сестрице? Ведь они даже и малого пострига еще не приняли; им во всякое время можно выехать из монастыря, прожить в миру сколько вздумается и назад вернуться. Неужели они не воспользуются случаем увидеть такие диковины, каких и в сто лет не удастся увидеть, да еще у родной сестры на свадьбе?

Курлятьевских боярышень эти расспросы приводили в негодование.

— Не для того поступили мы в обитель, чтобы думать о мирских радостях, — отрывисто отвечали они.

Обидно им как будто было, что в них допускают желание принимать участие в этих радостях. Разве не отреклись они навсегда от мирской суеты? Разве могут они о чем-либо помышлять, кроме как о спасении души и о венцах, уготованных для праведников, что ждут их в будущей жизни?

Это было еще весной, вспоминала мать Агния, направляясь из главного корпуса в свой домик, а теперь уж осень, но с тех пор ничего не изменилось. Все было, как всегда, в людском муравейнике, где каждый кустик, каждое лицо ей было также хорошо знакомо, как и ее собственная келья, в которой она прожила тридцать пять лет, а племянниц своих она знала со дня рождения, и ей казалось, что они ничего от нее не могут скрыть. Особенно Катерина, душой которой мать Агния овладела еще тогда, когда случилась злополучная история с Алешкой. Уже с тех пор повадилась Катерина подолгу гостить у тетки в монастыре, говеть здесь три раза в год, исповедываться у монастырского батюшки и при всяком удобном случае высказывать отвращение от мира. Ей ничего не будет стоить отречься от него навсегда, особенно теперь, когда ее возлюбленный предался дьяволу, сделался душегубцем, и про него, иначе как с ужасом и отвращением, невозможно вспомнить. Теперь бездна между ними разверзлась еще глубже прежнего и ей ничего больше не остается, как молить Бога, чтоб Он не допустил его испустить дух без покаяния, на виселице ли, от пули ли жандарма, под кнутом палача, или в мрачном руднике.

И Марье тоже нечего жалеть в миру. Бочагов женат и поселился в имении жены, далеко отсюда, в другой губернии. Ей, значит, все равно никогда с ним не встретиться, если бы даже она и не отреклась от света.

По всему видно, что взыскал их Господь.

Один только раз затревожилась было насчет племянниц мать Агния; случилось это летом, в сенокос, когда она застала у себя в келье скитницу Фелицату в оживленной беседе с боярышнями Курлятьевыми. Появление тетки, вернувшейся часом или двумя ранее, чем ее ждали, из монастырской пустоши, в которую посылала ее игуменья, так смутило и их, и их посетительницу, что у матери Агнии зародилось подозрение. Всем известно, что люди древнего благочестия, как именуют себя раскольники, страсть как охочи совращать с пути истинного тех, кто остается верен православной, апостольской церкви.

И как будто давно уже племянницы ее с этой скитницей знакомы, так дружески и оживленно разговаривали они с нею.

В этом последнем предположении мать Агния не ошиблась; низко кланяясь ей, посетительница объявила, что пришла сюда навестить курлятьевских боярышень.

— Еще в городе мы к ним хаживали; благодетель ведь он наш, батюшка-то их, Николай Семенович, дай ему Бог здоровья, — прогнусила она, смиренно опуская глаза под пристальным, испытующим взглядом Агнии.

— Из какого скита? — отрывисто спросила эта последняя, вскидывая сердитый взгляд на племянниц.

— Из Шафровского, матушка, из Шафровского. Авва Симионий....

Ей не дали договорить.

— Давно сюда пришла? — продолжала свой допрос мать Агния.

— Какое давно, матушка! Только сию минуточку, не успела еще передать боярышням поручение от аввы Симиония... Он, наш батюшка, и прислал меня к вам...

— Когда видела авву?

— В Петровки он нас навестил, матушка, в Петровки. Спрашивал, не слышно ли у нас чего про курлятьевских боярышень, которые в Воскресенский монастырь перед Пасхой уехали; как они теперь поживают, услышал ли Господь, Царь наш Небесный, молитву нашего праведника, оправились ли от недуга? Наказывал им передать, что он и теперь их молитвами не забывает.

Мать Агния глянула на племянниц. У обеих были слезы умиления на глазах, и она нисколько этому не удивилась. Ведь Симионий их исцелил, изгнал из них злого духа, как же не чувствовать к нему признательности?

Да и вообще он был человек необыкновенный и обаяние его простиралось даже и на тех, что поставлены были свыше охранять неприкосновенность нашей православной церкви; в то время как на других сектантов воздвигалось гонение, заключали их в тюрьму, ссылали в Сибирь, заточали в дальние монастыри, а скиты истребляли, Симиония никто не трогал и основанное им убежище в чирковском лесу, где скрывались весьма подозрительные люди, оставалось в неприкосновенности. Мало того, стоило только какой-нибудь черничке, вот как Фелицата, например, назваться скитницей Шафровской обители, чтобы к ней отнеслись с известным уважением и снисходительностью в самых богатых домах. И

все это благодаря Симионию, который возлюбил эту обитель давным-давно, еще при жизни основательницы ее помещицы Шафровой, с которой он был в большой дружбе. Говорят даже, что она-то и совратила его в раскол. После ее смерти он принял бремя настоятельства, завещанное ему ею.

Если уж люди образованные и с независимым положением в обществе чувствовали для себя неудобным бороться с Симионием, то можно ли удивляться тому, что простой народ верил в него, как в чудотворца, и готов был с радостью умереть за него, так он был ему предан.

Одним словом, сумел себя человек поставить, всем был нужен и приятен.

Значительно смягчилась мать Агния, узнав, что посетительница пришла из Шафровской обители, и, когда Фелицата собралась уходить, она сама пригласила ее у них бывать, так что скитница уже гораздо смелее явилась сюда недели три спустя и оставалась еще дольше с боярышнями наедине, чем в первый раз. Матери Агнии это не совсем было приятно, но она утешала себя такого рода соображениями, что хотя Шафровской скит и раскольничий, но раскольник раскольнику рознь и что одному нельзя простить, то другому не только можно, но и должно.

Вот и про Гагина болтают, будто жена его старой веры придерживается, а сам он будто с разбойниками имеет сношения и награбленным добром торговлю ведет, а между тем как он к церкви усерден! Да таких щедрых пожертвований, как от него, их обители от самых что ни на есть благоверных христиан не дожждаться. Тщится, значит, всячески искупить свои прегрешения человек, и не тем его судить, кто от него, кроме прибыли и успокоения, ничего не видит. Да и про дочь его слухи носят, что она одного толка с матерью держится и вместе с нею ездит в раскольничий скит на радения, но это не мешает ей быть благонаправной и добродетельной девицей и церковь православную посещать, когда она гостит в монастыре.

Без сомнения, и жених ее раскольник...

При воспоминании о женихе Марины мать Агния ускорила шаг.

Невеста-то ведь уже у них; с полчаса тому назад послушница прибежала доложить матушке, что дочка Акулины Ивановны изволила приехать с подругами, и под предлогом, что надо распорядиться, как разместить гостей поудобнее, мать Агния отпросилась на короткое время в свою келью.

Она застала всю компанию в саду, за разборкой осенних цветов, привезенных Мариной.

То были последние цветы в этом году, и жизни им оставалось до первого мороза, которого ждать уж было долго. Жалко стало девицам оставлять их вянуть в палисаднике, после того как они целое лето тешились ими; пусть лучше в Божьем храме покрасуются. Они их все срезали перед тем, как в кибитку сесть и отправиться в путь.

«Цветки к цветкам», — подумала Агния, невольно любясь девушками, сидевшими на земле среди цветов, из которых они плели венки на святые иконы.

Затейница эта Марина, вечно что-нибудь занятное выдумает. Вся в отца. Когда она у них гостит, оживление и разговоры в келье матери Агнии не смолкают ни на минуту. Вот и теперь, куда делась задумчивость Катерины с Марьей; обе, с улыбкой на устах и с блестящими глазами, слушают рассказы гости, про жениха, верно...

Мать Агния остановилась у входа в домик, стала прислушиваться и убедилась, что она ошиблась. Марина рассказывала с большими подробностями про странницу, гостившую у них на прошлой неделе, и про чудеса, виденные этой странницей по дороге в Иерусалим и в самом Иерусалиме.

Чудеса эти занимали ее, по-видимому, гораздо больше жениха. Вот невинность-то!

Да, хорошо воспитали дочку Егор Севастьянович с Акулиной Ивановной, надо их чести приписать.

— А мы на прошлой неделе с твоим женихом познакомились, — сказала мать Агния, поздоровавшись с приезжими и обращаясь к Марине. — Дай вам Бог счастья! Вид у него благообразный, и по всему видно, что умен. Каков-то нравом окажется, — прибавила она со вздохом.

Марина вспыхнула до ушей и скромно потупилась.

Довольная эффектом своих слов, старица заговорила про другое, спросила, когда проводила она отца в Москву, скоро ли думает мать ее идти на богомолье, сколько времени и у кого пожить в Киеве, а затем прошла в домик посмотреть, как разместили племянницы своих гостей.

Распорядившись тут чем надо, она отправилась назад к игуменье, где работы у нее в этот день было особенно много. Подвернулась оказия доставить некоторым из благодетелей письма от матушки; из мужского монастыря двое иноков отправлялись за сбором, и путь их лежал как раз

через те места, где благодетели эти проживали, а письма не были еще готовы. Замучила игуменья свою секретаршу приписками, только кончит и к подписи лист несет, а матушка еще что-нибудь придумает. Весь день не могла Агния улучить ни минутки, чтобы еще раз сходить домой, и только уж поздно вечером, после ужина, игуменья отпустила ее на полчаса. А до кельи-то с версту, если не больше, от главного корпуса было, весь большой двор надо пройти, да за кладбище завернуть к огороду, да там еще вдоль коноплянника шагов двести, много ли времени останется дома-то побыть?

Девиц, и своих, и чужих, мать Агния нашла уже в постели. Поужинали, помолились Богу и легли спать на посланные прямо на пол мягкие пуховики. А Марья уж и заснуть успела. Как лежала, лицом к стенке повернувшись, так и не шелохнулась при появлении тетки.

Притихли и подруги ее. Наболтались, верно, досыта за день-то, да и умаялись после долгой прогулки по лесу, на которую отправились тотчас после ранней обедни.

— Где же Катенька? — спросила мать Агния, оглядывая лежащих на полу девушек при свете лампадки перед образом в углу и не находя между ними старшей племянницы.

— Она, матушка, в вашем закуточке захотела лечь; на голову что-то жаловалась, мне, говорит, там покойнее будет, — объявила Марина вполголоса из боязни разбудить подругу.

— А мать Меропею куда вы уложили?

— Она в горенке девиц примостилась, — отвечала Марина. — А мы уж здесь все вместе, веселее вместе-то.

— Ну, Христос с вами, спите спокойно, а завтра пораньше за работу принимайтесь, — сказала Агния, поглядывая на притворенную дверь в каморочку, куда удалилась старшая племянница. Ей хотелось бы туда пройти и взглянуть на Катерину. Может, ей снадобья надо дать какого-нибудь от головной боли или уксусом виски намочить, но девицы разостлались на всю комнату, перина к перине, и не пройдешь между ними к двери-то.

— Ну, Ангел Хранитель над вами, почивайте с Богом. Облачение-то хорошо было бы к Рождеству Христову кончить. Тятенька тебе говорил? Митрополиту мы хотим подношение от наших трудов сделать.

— Будет готово, матушка, не беспокойтесь. Я подруг привезла, чтобы подсобили нам, впятером-то живо кончим, — возразила Марина.

Мать Агния глянула на девушек, про которых она упомянула, с тем чтоб и им что-то сказать, но они уже заснули, одна даже слегка всхрапывала. Стоит ли их будить? Да и Катеньку-то, пожалуй, только напрасно потревожишь; тихо за дверью, не стонет, не движется, тоже заснула, верно.

И мать Агния вышла, не взглянувши на старшую племянницу.

Ночь наступала темная и бурная. Сухие листья, усыпавшие тропинку между садиком и коноплянником, разметываясь вихрем во все стороны, кружились в сыром воздухе в неистовой пляске. Дождя не было, но тучи, темные, чернее ночи, так низко нависли над землей, что казалось — из них каплет холодная влага.

Матери Агнии становилось жутко. Ей чудились сквозь вой ветра зловещие звуки издалека, со стороны леса, то гиканье и свист, то стук копыт, то шелест под чьими-то ногами, как будто невидимая рать какая-то несется по лесу, с треском ломая деревья. Ей хотелось бежать, но невидимые руки хватали ее за ноги и таинственный голос шептал ей на ухо: «Останься... Беда на тебя летит... Останься... Еще минута и поздно будет...»

Но едва только останавливалась она, чтобы прислушаться, как все смолкало, а когда она нагибалась, чтоб освободить рясу из цепких когтей, впивавшихся в нее, то когти эти оказывались репейником или сухой веткой и, осенив себя крестным знаменiem, она шла дальше, досадуя на себя за малодушие.

Однако у поворота от плетня к пустому пространству, заваленному бревнами и щебнем, оставшимся от постройки новых келий, она так ясно услышала за плетнем шорох и вздох, что опять, как вкопанная, остановилась и стала всматриваться в огонек от лампы, теплившейся перед образами в ее келье.

Это в их садике кто-то вздыхает. Неужели она уйдет, не удостоверившись, что ей померещилось и что ни племянницам ее, ни гостям их не грозит никакой опасности?

Но как это сделать, не обеспокоивши их, не нарушив их сна?

Долго стояла она в нерешительности. А погода между тем стихала. Унялся ветер, и смолкли вместе с ним все остальные таинственные звуки; как сквозь землю провалилась нечистая сила, смущавшая ее душу несколько минут перед тем. И точно для того, чтоб окончательно ее успокоить, тучи раздвинулись, выглянула из них луна, озаряя

своим мирным блеском плетень со свесившимися через него ветвями и лес, неподвижно черневший вдалеке за ним, и стали ей смешны только что испытанные страхи.

Чего ей бояться? Девицы спят при свете лампадки, яркой звездочкой сверкавшей сквозь ветви густого сада; на них милостиво взирают лики святых угодников из киота да Ангел, хранитель невинности и девической чистоты. Они так мало подозревают зла, что забыли даже завесить окна, укладываясь спать. Да ведь и то сказать: от кого им таиться? Келья стоит особняком; не только ночью, но и днем никто мимо не проходит, разве только послушница пробежит здесь из огорода, чтобы ближайшим путем вернуться к старице, пославшей ее из кухни за горстью гороха или кочном капусты.

Таким миром веяло из сада с этой звездочкой в конце его, что мать Агния окончательно успокоилась и, мысленно сотворив молитву, пошла дальше.

А в садике, от которого она удалялась поспешными шагами и с легким сердцем, вот что происходило. Раздался легкий свист, зашелестели листья, захрустели ветки, и стройная фигура, давно уж в трепетном ожидании прижавшаяся к высокому клену, боязливо поглядывая то на плетень, то на келью с теплившимся огоньком перед образами, пустилась бежать на зов, прямо к тому месту, где другая фигура в монашеской рясе, с капюшоном, надетым на голову, протягивала ей руки между ветвями, что перевешивались через изгородь.

Молча охватили эти руки тонкий стан беглянки, приподняли ее и поставили на землю среди конопли, но на одно мгновение, для того только, чтобы крепко прижать ее к своей груди, осыпать лицо ее жаркими поцелуями и, снова взяв ее, как ребенка, на руки, унести дальше к дереву, у которого привязана была лошадь.

Все так же быстро и молча посадил монах похищенную девушку в седло, сам сел позади не, обняв одной рукой свою подругу, взял другой поводья, ударил коня и стрелой помчался к лесу.

XIX

Про исчезновение племянниц мать Агния узнала только после ранней обедни, когда улучила минутку прибежать к себе в келью.

Девуц она нашла в большом переполохе.

— Катерина Николаевна вышла погулять рано утром да заблудилась, верно, в лесу, до сих пор ее нет, — объявила Марина, поднимаясь к ней навстречу.

— А Маша где?

— Марья Николаевна пошла ее отыскивать.

— Одна?

— Одна; мы собрались было с нею идти, она не пожелала, говорит, что одна скорее найдет сестрицу, и вот до сих пор ее нет. Уж мы Варьку послали к ручью, может, там они обе.

Томимая тяжелым предчувствием, мать Агния прошла в светелку, где провела ночь ее старшая племянница, и как переступила порог, так и поняла, в чем дело: Катерина в ту ночь совсем не ложилась, до кровати никто не притрагивался. Четки, забытые Агнией на подушке, лежали на том же месте. Где провела Катерина ночь?

Окно было настежь растворено. Машинально подошла к нему старица и, заглянув в садик, увидала, что плетень напротив окна поломан. Вспомнился ей вздох, слышанный вечером за этим плетнем, а также странный шум, что неслся из леса под свист ветра и вой бури. Кто-то мчался как будто верхом, топтал землю, шурша сухими листьями и ломая ветви.

О недаром захотелось ей остановиться, прислушаться, подождать приближения таинственного всадника!

Катерина бежала. Куда? С кем?

Страшно было останавливаться на этих вопросах. А Марья? Неужели и она тоже?..

Рыдания из соседней комнаты заставили ее туда кинуться.

Марина в отчаянии ломала себе руки. Подруги ее голосили вокруг нее. В дверях стояла задыхавшаяся от беготни и красная, как мак, послушница, а из-за ее спины выглядывала бледная, с искаженным от испуга лицом Варька.

— Что случилось? — спросила старица.

— Марья Николаевна тоже пропала, ее тоже разбойники увезли...

У Агнии ноги подкосились, и, если бы не кинулись ее поддержать, она упала бы на пол; но это длилось недолго, почти тотчас же оправилась она, оттолкнула окружавших ее девушек и стала властным тоном допрашивать вестовщицу.

— Откуда знаешь? Кого видела? Кто сказал?

Дрожа от страха и в сбивчивых выражениях, стала передавать белица слышанные новости. Весь околоток одно и то же толкует: курлятьевских боярышень разбойники выкрали, из-за выкупа, разумеется. Как темнеть стало, Силантий, пасечник, встретил в лесу двух всадников; люди эти показались ему подозрительными. На них были монашеские рясы, а из-под ряс ножи сверкали. Тотчас же признал он в них разбойников и притаился за деревом, чтоб не увидели его. Они благополучно проехали мимо и свернули к монастырской полянке, а он смотрел им вслед, пока они не исчезли у него из виду, и, вернувшись домой, сказал своему внуку: «Не случилось бы нонешной ночью беды в монастыре, Васютка; недобрые люди туда пробираются, высмотреть, верно, хотят, с какой стороны удобнее напасть».

А Васютка ему на это:

— Ну, Бог даст, ничего не будет!

— Все же не мешало бы предупредить, — заметил старик.

— Да туда теперь и не достучаться, все спят, — возразил мальчик и завалился спать.

А Силантий не мог заснуть и несколько раз выходил из хижины, чтоб послушать, не донесется ли чего со стороны обители. И долго, кроме воя ветра, ничего оттуда не доходило, но после полуночи, когда ветер стих и луна выплыла из-за туч, опять раздался лошадиный топот неподалеку от хижины. На крыльцо бежать было уж поздно, старик высунулся в окно и увидел одного из тех самых монахов, что так напугали его несколько часов тому назад, монах этот держал перед собою женщину.

— А Марью Николаевну они, проклятые, у ручья подкараулили. Знали, верно, что пойдет сестрицу к ручью искать, тут ее и сдапали! — вскричала, рыдая, Варька.

— Батюшки родимые! Мать, Царица Небесная, горе-то какое! — подхватили в один голос подруги Марины, и в келье поднялся такой вой, что весь монастырь сюда сбегался и наконец сама игуменья явилась.

Дочка Егора Севастьяновича совсем обезумела от страха за подруг. Она была в таком отчаянии, что даже мать Агния переставала временами сокрушаться о племянницах, чтоб успокаивать ее и утешать.

И каждую минуту то игуменья, то которая-нибудь из стариц вспоминали про Гагина.

Был бы здесь Егор Севастьянович, не случилось бы беды, а и случилась бы, так он уж сумел бы присоветовать. Эдакое горе, что такой нужный человек уехал.

Марина предложила послать за отцом. Недалече, чай, он отъехал.

Но на вопрос, известно ли ей, какой путь он избрал, она не знала, что ответить. И в Харьков хотел завернуть, у него там приятель живет, и про Варшаву поминал.

— Может, Акулине Ивановне известно?

— Вряд ли, а, впрочем, если еще на богомолье не ушла, можно узнать.

Послали в Чирки просить Акулину Ивановну поспешить в монастырь, но не застали уж ее, ушла на богомолье, проводивши дочку, а гнаться за нею в Киев игуменья не сочла нужным.

На нее стали находить сомнения. Порасспросивши обстоятельно Варьку и других белиц, что ближе прочих стояли к курлятьевским боярышням, да заставив мать Меропею припомнить досконально все, что произошло в келье матери Агнии до той минуты, как открылось исчезновение Катерины из каморки тетки, настоятельница обители, сопоставив эти рассказы с другими обстоятельствами, вывела заключение, далеко не согласующееся с тем, что родилось у нее в уме при первом известии о случившемся.

Да и сама катастрофа, после зрелого размышления, не казалась ей уже такой ужасной, какой могла бы быть при других обстоятельствах.

— Прискорбно, конечно, что племянницы ваши сделались жертвами злодеев, — говорила она, с глазу на глаз, матери Агнии, запершись с нею в отдаленной от любопытных ушей келье, — но ведь могло и хуже случиться. Разбойники могли напасть на обитель целой шайкой, ограбить церковь, надругаться над монахинями, пытками заставить стариц выдать монастырскую казну и поджечь с четырех сторон обитель. А строение-то у нас все деревянное да ветхое — как сухая солома, запылало бы. И не от кого помощи ждать. До ближайшего хутора версты три, да если бы и ближе было, никто бы на помощь не двинулся. Значит, если так рассудить, разбойники еще милостиво с нами поступили, удовлетворившись похищением двух девиц, которые к обители даже не принадлежат. Не накликать бы нам, мать Агния, еще большей беды жалобами, — прибавила игуменья в заключение своей речи, устремляя на свою собеседницу пыливый взгляд, под которым эта последняя не могла не опустить глаз.

Однако после небольшого молчания мать Агния объявила, что ей надо ехать в город, чтобы сообщить родственни-

кам о постигшей их беде. Нельзя же не попытаться вырвать девиц из рук злодеев.

— А известно ли вам, кто тот молодец, что атаманом у них считается? — спросила игуменья, не переставая пронизывать ее испытующим взглядом. — До меня дошли слухи, — продолжала она, не дожидаясь ответа на свой вопрос, — будто этого человека ваша старшая племянница знала, когда он был еще крепостным ее родителей... Будто она любила его... Уверены ли вы, мать Агния, что чувство это совсем умерло в ее сердце? Ведь враг-то силен, видали мы с вами и не такие примеры, поддавались козням поганого старицы святой жизни такие, которых все праведниками считали, — что ж мудреного, если молодые девицы... Сколько ей лет, вашей старшей племяннице, мать Агния?

— Двадцать второй пошел с Благовещения, — чуть слышно, упавшим голосом отвечала Агния.

— Лета еще юные, — вздохнула игуменья. — Вспомним самих себя в эти года, мать Агния, и будем молить Создателя, чтобы не дал погибнуть вконец душе христианской, возбудил бы в ней раскаяние, вернул бы ее в лоно православной церкви...

И, постепенно одушевляясь, она прибавила:

— Не у князей и сильных мира сего нам искать опоры, а у Царя нашего Небесного, Он, Господь Милосердный, знает, как вернуть заблудшую овцу на путь спасения! Вернется к нам Катерина, мать Агния, вот помяните мое слово, что вернется. Пусть только знает, что мы ее во всякое время с распростертыми объятиями готовы принять.

Мать Агния молчала. Отлично понимала она смысл этих слов и скрытый под ними намек. Не хотелось игуменье ссориться с разбойниками и накликать на обитель месть их из-за курлятьевских боярышень, это было ясно, как день.

Переждав немного, матушка заговорила про Марью и доказала при этом, что знает про племянниц Агнии гораздо больше самой Агнии. Марью она подозревала в сношениях со скитницами и усматривала прямую связь между этими отношениями и ее исчезновением из монастыря.

— Да неужто ж у вас никогда не было подозрений на ее счет? — спросила игуменья.

— Какие подозрения? Насчет чего? — дрожащими от волнения губами вымолвила мать Агния.

У игуменьи лукавым блеском загорелись глаза.

— Да насчет ее заблуждения в вере. Мне кое-что об этом известно. К ней тут скитница одна ходит, и разговоры

она с ней имеет самые соблазнительные. Сдается мне, мать Агния, что мы, может, на разбойников-то понапрасну только клеветаем и что девицы ваши совсем к другим злодеям попали. Ведь Шафровский скит от нас недалеко, а Симионий-то из ваших девиц бесов изгонял. Не подождать ли шум-то да огласку поднимать до поры до времени, доколь не обнаружится, где именно они обретаются, и силой ли их увлекли, по рукам, по ногам связавши, или сами они своей волей, прельстившись дьявольским соблазном, святую обитель на вертеп бесовский променяли?

Мать Агния все ниже и ниже склоняла голову под этими жестокими словами. Не могла она не сознавать их справедливости. Действительно, трудно было допустить, чтобы племянниц ее похитили против их воли. Как же так, без борьбы, без крика?

А вздох, так явственно слышанный ею в саду, что он до сих пор звучит у нее в ушах?

О зачем не заглянула она в светелку перед тем, как выйти из домика! Зачем не удостоверилась собственными глазами, что Катерина там, а не в саду, у плетня под кленом, в ожидании своего похитителя!

Теперь и поведение Марьи казалось ей крайне подозрительным. Ну, как это заснуть так крепко, чтоб даже не проснуться, когда тетка вошла в комнату и заговорила с ее подругами? И для чего отправилась она одна искать сестру?

Припоминались и другие подробности. Множество мелочей, казавшихся ей до сих пор не стоящими внимания пустяками, поражали ее теперь своим значением, подтверждая, как нельзя лучше, подозрения, высказанные игуменьей.

А матушка еще всего не знает, ей неизвестна домашняя обстановка курлятьевских боярышень, она понятия не имеет об их жизни с властолюбивой, жестокой матерью и помешавшимся на религиозных вопросах отцом; ей неизвестны все подробности ужасного романа, разгравшегося между Катериной и Алешкой; если б она все это знала, у нее не осталось бы никаких сомнений насчет причин, побудивших Катерину с Марьей бежать из монастыря.

Да, это было бегство, а не похищение; игуменья права, утверждая, что дело это до поры до времени предавать огласке не следует.

Вот что-то Егор Севастьянович скажет, когда вернется?

Впрочем, игуменья разрешила Агнии съездить в город и посоветоваться с родителями беглянок относительно этого

печального события, и вместе с тем она обещала принять все зависящие от нее меры и здесь исподволь разузнать про них. Ведь Шафровский-то скит недалеко, а там уж, наверное, все известно.

XX

А в семье похищенных девиц имели еще больше причин относиться к этому событию так, как будто оно и не происходило вовсе.

Впрочем, надо и то сказать, что г-же Курлятьевой было в то время не до дочерей. В ее доме все было вверх дном по случаю письма, полученного из Петербурга, с уведомлением о том, что Федюша ее принят в корпус для дворянских детей, которым и сама царица, и вся царская фамилия так интересуется, что каждый считает за счастье туда попасть.

Сжалилась наконец тетенька Татьяна Платоновна над нелюбимой племянницей и удостоила ответом почтительные поздравления с Новым годом и днем ангела, которые Анна Федоровна не забывала ей посылать от себя и от своего семейства, и выхлопотала для нее милость у царицы, да еще такую, лучше которой придумать невозможно. Дождалась Анна Федоровна торжества и радости. От восторга у нее точно крылья выросли; возвестив всему дому о счастье, постигшем ее Федичку, она поехала распространять эту новость по всему городу, причем не забыла, разумеется, завернуть и к сестре, перед которой ей особенно приятно было похвастаться милостью тетеньки Татьяны Платоновны.

В письме этой последней была, между прочим, такая фраза: «Сонюшку Господь детьми не благословил, а потому я воспользовалась милостью ко мне царицы для твоего мальчишки, который тоже к нашей фамилии принадлежит»...

Еще бы! И мало того, что принадлежит к этой фамилии, а единственный ее представитель. Без сомнения, тетенька выхлопочет ему дозволение носить эту фамилию и называться Курлятьевым-Турениным.

Она, наверное, и все свое состояние ему оставит. Про бахтеринского приемыша она и не упоминает, точно его и нет на свете. Федичка сделается ее любимцем. Это так же верно, как то, что солнце светит над землей. Может ли такой красавец да умница кому-нибудь не понравиться?

На вопрос: «Как же вы с ним расстанетесь?» — Анна Федоровна отвечала с притворною грустью:

— Что делать, для его же счастья.

— А про себя она думала: «Чтоб, раз забравшись в столицу, я назад в эту трущобу вернулась, нашли дуру, нечего сказать! Да мне здесь теперь и делать-то нечего».

Правда, ее теперь ничто здесь не удерживало. С мужем она была рада-радехонька хотя бы навек проститься. Николай Семенович совсем одичал, с ним и говорить-то не о чем было. Весь день сидит за книгами один либо с такими же чудаками, как и он сам.

По временам столько набиралось к нему странников, монахов, юродивых и тому подобного люда, что в его горенке становилось тесно и душно до нестерпимости, и как ни старались они понижать голос и как ни припирали дверей, однако и комнат Анны Федоровны достигал иногда гул их бесед, и это приводило ее в бешенство.

Не раз пыталась она подслушать эти разговоры и понять их смысл, простаивала для этого подолгу в темном углу под лестницей, что вела в жилье ее супруга, затаив дыхание и напрягая слух, но ничего из этого не выходило, хотя и ясно слышались ей такие слова: «Идеже дух Божий, ту и свобода», «Дух, идеже хочет, веет», или: такой-то «пошел по духовному этапу», а такой-то «в храм нерукотворенный на воздусех проник», и тому подобную белиберду, которая, однако, беседуящим была, по-видимому, весьма понятна, если судить по тому, с каким восторгом и умилением они про это рассуждают.

До того увлекались они разговором, что мало-помалу возвышали голос и не замечали растворенной в коридор двери, через которую Анне Федоровне все до крошечки было слышно.

Но запретить эти сборища было не в ее власти, и волей-неволей приходилось терпеть в доме такое безобразие; большая часть состояния, которым она бесконтрольно владела, принадлежала ее мужу, а не ей, и если объявить его сумасшедшим, опеку назначат до совершеннолетия Федички, и уж тогда она не хозяйка будет у себя в доме. Другого же средства заставить мужа изменить образ жизни у нее не было, значит, оставалось из двух зол выбрать меньшее и не мешать ему развлекаться по-своему за то, что он беспрекословно подписывает ей доверенности на все, что бы ей ни понадобилось, и ни в чем не мешает ей поступать так, как она хочет.

Не вдруг, разумеется, примирилась Анна Федоровна с таким положением вещей, пробовала ему прекословить и запугивать супруга, но каждый раз, когда дело доходило до удаления его друзей, Николай Семенович внезапно преобразался и проявлял столько упрямства, что ничего больше не оставалось, как плюнуть и отступить.

Раз даже он не на шутку напугал ее такими словами:

— Будет и того, что я меньшую дочь дозволил вам загубить, дайте же мне по крайней мере спокойно замаливать и свои, и ваши грехи.

Ну и пусть его молится. Конечно, всего было бы лучше, если б он поступил в монастырь, чтоб окончательно развязать ей руки.

Объявляя мужу о своем отъезде в Петербург с сыном, она намекнула ему и на это соображение.

Бог знает, сколько времени задержат ее дела в столице. Надо пристроить Федичку, как следует, найти ему друзей и покровителей, сойтись поближе с тетенькой Татьяной Платоновной, на все это потребуется, может быть, с год времени, если не больше, и чем Николаю Семеновичу оставаться здесь одному в большом доме, среди хамов, которые, можно себе представить, как развольничают без хозяйки, не лучше ли ему в монастырь переехать? И молиться удобнее, у самой церкви...

— Бог есть дух и иже кланяется ему духом и истиною, достоин кланяться, — процедил сквозь зубы Николай Семенович, не поднимая глаз, опущенных в землю.

— И дочерей вам тогда можно было бы навещать чаще, — продолжала Анна Федоровна, не обращая внимания на возражение своего слушателя, которое казалось ей бессмысленным лепетом юродивого. — От Вознесенского-то монастыря до мужского верст пять, не больше.

Напоминание о дочерях заставило Николая Семеновича встрепенуться. Густой румянец залил его бледные щеки, и он вскинул на жену такой укоризненный взгляд, что ей жутко стало.

Уж не затевает ли он какой-нибудь опасной штуки? От такого юродивого все станется. Бывали примеры, что сумасшедшие убийцами и поджигателями делались. Ах, кабы можно было его куда-нибудь подальше запрятать!

Она сошла вниз, ничего не добившись и в большой досаде. Ничего не втолкуешь этой дурацкой башке; что ни говори, а он все свое. Совсем обалдел от дураков, которыми себя окружает, да от непутных книг. И откуда достает он эти книги? Все те же юродивые ему их, без сомнения,

доставляют — больше некому. Выкрасть, разве, одну которую-нибудь, хотя бы ту, в черном кожаном переплете, над которой он сидел, когда она к нему вошла, да отвезти архиерею? Вот, дескать, ваше преосвященство, каким делом мой супруг занимается, прошу оградить меня с сыном от дьявольского наваждения... Ну, и что ж, всполошится архиерей, поднимет гвалт на весь город, нарядит следствие, перехватают, может быть, тех, кто в руки попадется из посетителей Николая Семеновича, самого его куда-нибудь упекут, и в конце концов опять та же опека, которая так нежелательна Анне Федоровне. Нет, уж лучше оставить все, как есть, не ворошить насиженного гнезда. Придется перед отъездом запереть нижний этаж, разослать по деревням и хуторам дворню за исключением двух-трех человек из самых преданных и строго-настроено приказать им, как заметят что-нибудь опасное, сейчас к подъячему Карпу Михайловичу Грибкову бежать, а этот уж ей отпишет и в случае надобности нарочного с письмом в Петербург пошлет, чтоб ей скорее сюда явиться порядок водворять.

Собиралась Анна Федоровна в Петербург поспешно, точно кто ее гнал. Впрочем, в предлогах торопиться у нее недостатка не было; наступила осень, начались дожди, того и гляди мороз хватит, и тогда уж ни на колесах, ни на полозьях проезду не будет.

— Неужто вы и в монастырь не заедете, сестрица? — спросила Софья Федоровна, когда сестра приехала к ней с прощальным визитом. — Ведь уж давно вы Катеньку с Машенькой не видели.

— Как давно? С чего вы это взяли! Да я у них летом два раза была. А теперь они к пострижению готовятся и развлекать их мирскими делами не следует, — возразила с раздражением Анна Федоровна.

— А от Клавдии с каких пор у вас нет вестей?

— Вояжируют они за границей и вернутся прямо в Петербург, там и увидимся, — уклончиво отвечала г-жа Курлятева.

— Они вам пишут? — с невольной насмешкой спросила Бахтерина.

— Пишут, — не задумываясь, солгала ее сестра. — На днях письмо получила. Клавдия очень счастлива. Граф благородный человек и без ума от нее. Что ни пожелает — все к ее услугам, — выпалила она без запинки вызывающим тоном и глядя в упор на сестру.

«Ты мне не веришь, но мне все равно, а выражать твои сомнения я тебе не позволю», — читалось в ее голосе и

глазах так ясно, что Софья Федоровна смутилась и не только спорить, но даже и смотреть на нее не отваживалась.

А в городе между тем недобрые слухи про курлятьевскую семью размножались с каждым днем. Откуда они шли, эти слухи, сказать было бы трудно, но толковали о том, что сам Курлятьев, совсем помешанный, ведет по ночам оживленную беседу с какими-то невидимыми существами, прилетающими к нему через окно или трубу за невозможностью проникнуть в запертые двери. Видели его будто бы в лунные ночи прогуливающимся в саду в одном халате, и тут он тоже, жестикулируя, к кому-то обращался с речью, выкрикивая по временам, точно призывая кого-то. Дьявола, без сомнения, кого же больше? Недаром авва Симеоний зачастил к ним в дом. Бесы-то, которых он из барышень изгнал, в их отца, верно, переселились.

А про Клавдию рассказывали, будто ее и в живых давно нет. Муж ее оказался оборотнем. Ему не венчаться следовало бы, а лежать в могиле с осиновым колом в сердце. Женился он для того только, чтоб кровушки молодой красавицы насосаться.

Слухи эти, переходя из уст в уста, из людских в барские хоромы, видоизменялись, конечно, но и в гостиных барыни передавали друг другу таинственным шепотом, что Анна Федоровна дотиранила-таки своего кроткого супруга до сумасшествия и что младшая ее дочь странным образом исчезла после венца; прошло с тех пор более полугода, а молодые, как в воду канули.

Летом некоторое время упорно держался слух, будто в здешней местности появилась та самая девка Сонька, что отпущена была с молодой графиней из родительского дома, и будто девка эта ужасные страсти рассказывает про судьбу своей госпожи.

Обеспокоенная этими рассказами, Курлятьева просила губернатора произвести обыск в Принкулинской усадьбе и, буде Сонька там найдется, арестовать ее и доставить к госпоже, но ничего из этого не вышло. Соньку у принкулинских обитателей не нашли; спланировали ее оттуда в более надежное место, без сомнения.

Что же касается бегства Катерины с Марьей из монастыря, известие об этом дошло до города с неделю после отъезда Курлятьевой с сыном и в виде предположения, которому не стоило придавать много веры.

Монахиням невыгодно было разглашать о приключившемся в монастыре позорном случае. На расспросы мирян им приказано было отвечать, что барышни Курлятьевы в

другую обитель поступили, далеко отсюда, а если и предавались между собою предположениям, одно другого ужаснее, насчет этого события, то не иначе как втихомолку и с большой опаской, чтоб не накликать на обитель беды от разбойников.

Разбойники же, как будто удовлетворившись последней добычей, перекочевали из здешней местности неизвестно куда.

Стихло здесь; убийств и грабежей, как не бывало. К Рождеству губернатор получил орден за распорядительность, и в Петербурге его ставили в пример другим начальникам губерний, не умевшим так, как он, быстро и ловко прекращать творящиеся у них безобразия.

После Рождества и Егор Севастьянович Гагин вернулся в Чирки и навез в Вознесенский монастырь столько подарков, что с месяц времени все монашки, начиная от почтенных стариц и кончая молоденькими белицами, только и делали, что превозносили его доброту и щедрость.

Всем сумел угодить — кому шелками шемаханскими да бисером разноцветным для рукоделия, кому цветочными да огородными семенами, кому чаем, сахаром, сладостями, никого не забыл.

Игуменье часы с кукушкой поднес, матери Агнии — книг, тех самых, что ей уж давно хотелось иметь, А, кроме того, и на общие нужды обители сделал вклад, и вдвое больше, чем в прошлом году, объявив при этом, что в пожертвовании участвует и будущий его зять, жених Марины.

Вернулся Егор Севастьянович домой ненадолго, торопился на свадьбу дочери в Москву, куда невеста с матерью уехали с месяц перед тем, по первопутку, как первый снежок выпал.

— Весной вернусь сюда с моей старухой, — говорил Гагин, прощаясь с чирковцами и с монастырскими.

Но и эта весна прошла, и другая, и третья, а Гагины не возвращались. Разбрелись в разные стороны и работники их с работницами. Дом стоял пустой, с заколоченными ставнями и воротами. Сад, так старательно разведенный Егором Севастьяновичем на склоне горы, дичал; дорожки, по которым прогуливалась Марина с женихом, поросли кустарником, а огород сорными травами, и при виде этого запустения чирковцы все больше и больше убеждались в том, что Егора Севастьяновича с семьей им уж никогда у себя не видеть, навсегда, видно, покинул он родину.

Старый городок на юге Германии, лепившийся к высоким горам, с обширным замком средневековой архитектуры, окруженный рвом, через который только еще недавно устроен был постоянный мост вместо подъемного, с древними церквами и домами с остроконечными крышами и широкими навесами, так далеко выступавшими по обеим сторонам узких улиц, что под ними образовывались крытые проходы, темные и днем, — старый городок погружен был в глубокий сон и тишину, нарушавшуюся только время от времени звоном башенных часов, гулко раздававшимся в ночи.

С час времени прошло с тех пор, как ночной сторож проехал в своем живописном костюме по улицам и переулкам, возвещая громким голосом, чтобы огни гасились, и добрые христиане ложились спать.

Все ему повиновались: с шумом захлопывались ставни, звякали тяжелые замки у входных дверей и, если в некоторых жилищах люди продолжали еще бодрствовать, то не иначе как в таинственной тиши и со всевозможными предосторожностями, забиваясь в покои, выходившие узкими окнами во дворы или сады, окруженные высокими каменными оградами. Крупные штрафы, взимаемые с нарушителей городских постановлений, всех пугали: и бедных, и богатых. Владетельный герцог местечка, до фанатизма набожный и благочестивый, особенно строго относился к нарушению внешней дисциплины, введенной в его владениях с незапамятных времен, еще тогда, когда предкам его приходилось отбиваться от нападений злых соседей из разбойничьих гнезд в горах, неподалеку отсюда.

Герцог сам подавал пример благонравия добрым гражданам своего города, отправляясь на покой со своими чадами и домочадцами тотчас после того, как на башне замка часы протяжно и уныло прозванивали девять раз. С последним ударом запирались и городские ворота и ни для кого на свете до раннего утра не отпирались.

Рассказывали, что благодаря этим порядкам принцу Леонарду, внуку владетельного герцога, не раз доводилось ждать всю ночь до рассвета в хижине кривого Фрица, огород которого примыкал к крепостному валу. У Фрица была красивая жена, итальянка, и злые языки утверждали, что принцу Леонарду, должно быть, не особенно скучно проводить время в ее обществе.

Впрочем, про него не то еще говорили.

Старому герцогу он доводился не родным внуком, а мужем его внучки, принцессы Терезы, болезненной особы, которую в городе и раньше видели очень редко, а с тех пор как у нее родился сын, то она даже и в парк не выходила гулять, постоянно жалуясь на непонятные боли то в ногах, то в груди, то в спине.

А между тем парк герцога Карла считался одним из прекраснейших в Германии и представлял собой поистине рай земной для охотников. В нем водилось множество дичи и в изобилии попадался крупный зверь — кабан, олень, дикая коза, лисица, медведь.

Было время, когда в парк этот гости съезжались изда-лека, и тогда глухая чаща оглашалась веселыми трубными звуками, а под тенистыми сводами столетних дубов скакали дамы в роскошных нарядах, с соколами на руке, в сопровождении блестящих кавалеров и многочисленной свиты из пажей, конюхов и охотников. Тогда и в огромной кухне замка шла деятельная стряпня день и ночь, а в глубоких покоях со стрельчатыми окнами и высокими лепными потолками ни на минуту не прекращалось веселье, танцы, пение, оживленные разговоры, игра в карты и кости и тому подобные развлечения, смотря по моде времени.

Тогда обитатели местечка хвастались, что их герцогу выпадает нередко честь угощать не только владетельных принцев, но и королей. Раз даже замок удостоился посещения самого императора. Но теперь все это миновало, и уже более двадцати лет, как герцог никуда не выезжал, кроме дальнего монастыря на границе Италии, где у него была пострижена дочь. Супруга его давным-давно умерла, и семья состояла из замужней внучки с ребенком, мальчиком, пятилетним Максом, таким же болезненным, как и мать, да двух принцесс, Оттилии и Розалии, сестер герцога; обе старые девы, чванные и скучные, всецело посвящали себя воспитанию внука, молитве и добрым делам.

Придворный штат этой семьи, предки которой некогда играли первенствующую роль среди владетельных особ южной Германии, состоял из капеллана, аббата Джульяни, гувернера юного принца француза Лилье, секретаря герцога, такого же старца, как и господин его, и двух перерзрелых дев, здешних уроженок. Из хороших мещанских семей они были взяты ко двору герцога полстолетия тому назад молоденькими, хорошенькими девушками и состарились вместе с принцессами в безбрачии.

Уже с половины XVIII столетия стали возникать затруднения с пристройством немецких принцесс. Народ портил-

ся, собирать с него подати становилось все труднее и труднее, доходы владетельных особ уменьшались, а сборы на войны и на другие государственные потребности увеличивались.

Тридцатилетняя война разорила окончательно и герцога вместе со многими другими.

Так утверждал он сам и его приближенные, но дальние родственники и подданные его убеждены были в противном.

Слух о сокровищах, зарытых в кладовых под замком, хотя и превратившийся со временем в легенду, держался, однако, упорно и, по уверению многих, значительно способствовал выходу замуж внучки герцога за принца Леонарда.

Правда, что шесть лет тому назад принцесса Тереза была недурна собой и свежа, как роза, и что она с первого взгляда понравилась Леонарду, но вряд ли дядя дозволил бы ему на ней жениться, если б она не была единственной представительницей знатного вымирающего рода и если б мужу ее не представлялось шансов наследовать титул и имущества ее деда.

Ссылаясь на разорение, дряхлость, семейный траур и на общую панику, навеваемую на всю Европу ужасами, происходившими во Франции, герцог справил более чем скромно свадьбу своей внучки и наследницы. У последнего бюргера в городе больше выпивалось пива и вина, съедалось ветчины и сосисок при подобном случае, чем у владетельного герцога в этот торжественный день. Ни свадебного пира, ни гостей, ни музыки, ни иллюминаций, ни раздачи бедным милостыни — ничего этого в замке не было.

Патер Джульяни соединил свою духовную дочь с красивым, жизнерадостным молодым принцем в придворной капелле без всякого парада.

Из посторонних приглашены были только несколько человек из городской чиновной знати да Клара, дочь бургомистра, подруга невесты, воспитывавшаяся вместе с нею под руководством старых принцесс Оттилии и Розалии и патера Джульяни.

Через год у новобрачных родился сын.

Молодая принцесса, сентиментальная и добродетельная, как истая немка, недолго боролась со странными порывами мужа к иной жизни, чем та, которую назначила им судьба. Его стремления были ей непонятны, и, решив вполне благоразумно, что ей его не переделать, она вся предалась ребенку. А принц, которому очень скоро надоели невинные

ласки жены, старческая болтовня теток и избитые изречения старого деда с его приспешниками, секретарем и патером, уехал путешествовать, и прежде всего в Париж, где брожение умов, подготовлявшее революцию, было в полном разгаре.

Там он увидел и услышал то, о чем понятия не имели при немецких дворах, и сблизился с людьми, с которыми ему не удалось бы и двумя словами перекинуться на родине.

Вернулся принц в замок совсем другим человеком, чем был, выезжая из него. Отсутствие его длилось три года, и за это время он так изменился, что никто его не узнавал.

Да он и сам себя не узнавал и, глядя на свою апатичную супругу, угощавшую его кухнями собственного изготовления, и на ее почтенных родственников, он с недоумением себя спрашивал: как мог он влюбиться в такую глупую куклу и добровольно влезть в такое скучное и с такими отсталыми понятиями семейство?

Мертвечиной на него здесь пахнуло, затхлостью склепа с истлевшими покойниками в наглухо заделанных гробах.

Дрожь пробгала у него по телу при мысли навсегда здесь остаться бездеятельным зрителем свершающихся вокруг великих событий.

И даже не зрителем, потому что кроме как из писем друзей, оставленных в Париже, да из газет ему здесь ничего нельзя было узнать. Можно себе представить, в каком извращенном и обесцвеченном виде доходили сюда новости!

В замке понятия не имели о том, что готовится во Франции. Все здесь, начиная от герцога и кончая последним сапожником в бурге, были убеждены, что ни до чего серьезного дойти не может. Король французов слишком добр. Давно заставил бы он замолчать вольнодумцев, смущающих народ, если б захотел; ему стоит только всех их переловить да посадить в тюрьму, а типографии, в которых печатаются богомерзкие сочинения, закрыть и все, что в них найдется, сжечь, вот и все. Если он этого не делает, то потому только, что не находит этого нужным, чего же чужим-то беспокоиться?

Кроме Библии, жития святых да описания войн и революций, происходивших у греков и римлян до пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа, старый герцог ничего не читал, и когда принц Леонард, вернувшись из путешествия, толковал при нем с патером о Вольтере и Руссо, он от скуки засыпал, не дослушав спора, поднятого по поводу произведений этих писателей.

Что же касается принцессы Терезы, нечего было и думать о том, чтобы посвящать ее в новый мир идей, которыми увлекался ее муж. И раньше уже в душе принца Леонарда зарождались сомнения насчет ее умственной восприимчивости, а уж теперь, после женщин, с которыми ему удалось познакомиться во Франции (как знатного и красивого молодого иностранца его представляли таким дамам, как госпожа Ролан, Тальян, Бонапарт и другим), супруга казалась ему просто идиоткой с ее ребяческими мыслишками и чувствами.

Чтоб уйти от домашней скуки, принц Леонард погрузился в чтение и переписку.

Каждую неделю, к величайшему изумлению почтмейстера, привозились из-за границы тяжелые тюки с книгами, которые немедленно надо было отправить в замок, так как принц Леонард частенько сам заходил на почтовый двор справляться о посылках на его имя. В немалое недоумение приводило его будущих подданных и громадное количество писем, отправляемых им заграничным друзьям.

— И зачем так много читать и писать, когда нет в виду сделаться ни профессором, ни архиепископом? — спрашивали наивные люди.

— Не доведет до добра такое неуместное рвение к науке, долго ли с ума спятить, — замечали другие.

— Долго ли, долго ли, — соглашались все.

— И для чего в прекрасном замке жить, иметь ангела жену и херувима ребенка, если все время проводить за книгами, как монах? Лучше бы приглядывался к нуждам народа, над которым ему придется царствовать; герцог-то наш дряхл становится, долго не проживет.

— Новые порядки тогда пойдут.

— Избави Господи! Вон во Франции-то, что делается!

О том, что делалось во Франции, каждый день становилось известнее от эмигрантов, начинавших наводнять немецкие земли в таком количестве, что не было такого крошечного местечка, где бы они ни появились.

Им были рады. Все народ богатый, и платили за все хорошо; во многих местах Германии цены на жизненные припасы и на квартиры значительно повысились с их появлением.

Оживились и маленькие дворы, при которых до появления неожиданных гостей царили тоскливое однообразие и скука. А монастыри! Как радостно закопошились они при таком наплыве верных детей церкви, лучших дворянских родов, знатнейших и древнейших.

В то время все воображали, что революция ни что иное как буря, которая также быстро затихнет, как и возникла, стерев с лица земли тех, кто ее поднял. Никто не допускал, что могли дойти до такого беззакония, как конфискация имений эмигрантов в пользу нации. На управляющих, фермеров, мажордомов и тому подобную челядь взирали, как на неподкупных слуг, готовых при всяком удобном случае пожертвовать жизнью, отстаивая имущество господ. На золото, прихваченное с собой за границу, смотрели как на средство прожить до получения новых доходов с имений и домов, оставленных на родине. Разве на это имущество нет хартий, хранящихся у нотариусов в нескороаемых сундуках? Недаром же хартии эти, писанные на пожелтевшем от времени пергаменте, снабжены восковыми печатями с фамильными гербами, собственноручными подписями и всем, что покоен века требуется для утверждения в правах владения.

Впоследствии горько пришлось несчастным разочароваться в своих иллюзиях, но первое время все были в затмении, и эмигранты кутили на свои луидоры напропалую.

Попадались между ними, разумеется, и такие, которые относились к своему положению более трезво и провидели мрачное будущее, но таких было немного и от них бежали, как от чумы. Что за радость слушать карканье воронов над разлагающимися трупами, когда можно наслаждаться трелями соловья в душистых розовых кустах?

Прожив с год дома, в семье, принц Леонард так стал рваться за границу, что сам старый дед уговорил внучку отпустить мужа вояжировать. Всем было памятно, каким добрым и веселым вернулся он из Парижа, и увидеть его опять таким было всеобщим желанием. Но на этот раз принц Леонард путешествовал всего только месяца три и первое время по возвращении имел такой сияющий и радостно возбужденный вид, что можно было думать, что ему только дома и хорошо. Но это длилось недолго, снова стал он задумываться, избегал оставаться наедине с женой, забывал о существовании ребенка и по целым дням проводил вне замка, то на охоте, то в гостях у иностранцев, которых за последнее время, с тех пор как эмигранты из Франции стали и сюда наезжать, появилось множество.

Само собою разумеется, что иностранцами этими не могли не заинтересоваться и в замке.

В тот вечер, с которого начинается этот рассказ, когда семья собиралась ужинать в столовой, обшитой старым дубом, с массивной прадедовской мебелью и с тяжелой золо-

той и серебряной утварью на поставках вдоль стен, аббат с тонкой иронической усмешкой передавал толки, слышанные им в буре приездных.

Все народ приличный, большею частью женщины и старики. Мужья, братья и сыновья поступили в союзную армию против богоотступников, дерзнувших не только ограничить королевскую власть, но и стеснить свободу помазанника Божия.

Что за ужасы рассказывали они про то, что делается теперь в Париже! — да и не в одном Париже, а по всей Франции. Одна надежда на помощь немцев и русских.

Несчастливая королева Франции из австрийского дома. Ее брат, император, не может отказать ей в поддержке, а российская императрица любит во все вмешиваться, из тщеславия, разумеется, но так или иначе она много помогает эмигрантам и вооружает многочисленную армию против мятежников.

— У нас в буре уже третью неделю проживает с семьей один польский магнат, воспитанный в Париже, и, как и все поляки, душой француз, — объявил, между прочим, аббат, — он колоссально богат. Зовут его граф Паланецкий. Любезнее и благовоспитаннее человека трудно встретить. Он лично знаком с русской императрицей, и ему от нее самой известно про ее проекты восстановить порядок во Франции.

— Интересно было бы его послушать, — заметил герцог.

— Это очень легко. Стоит ему только передать желание вашей светлости, он за особое счастье почтет представиться вашей милости.

— Вы говорите, что он вполне приличный человек? — спросил герцог.

— Замечательно хорошо воспитан, ваша светлость. И большого ума. Русская императрица давно уж без его совета ничего не предпринимает. Мне из вернейших источников известно, что ее императорское величество в переписке с ним.

Вернейшие источники, из которых аббат Лиле черпал свои сведения о приездных, были Октавиус и Товий, с которыми он познакомился в таверне «Белого оленя», где эти двое каждый вечер щедро угощали жителей местечка пивом и рассказами про богатство, знатность и могущество их господина.

— У его супруги есть браслет с портретом российской императрицы, пожалованный ей в знак особой милости,

когда ее за заслуги супруга произвели в статс-дамы большого двора, — прибавил Лилье.

— Вот как! — протянул герцог.

— Говорят, она еще совсем молоденькая, — заметила принцесса Оттилия.

— И замечательная красавица, — подхватила ее сестра.

— А умеет ли он говорить по-немецки, этот польский граф? — осведомился герцог.

— Как немец, ваша светлость, — отвечал Лилье, — а по-французски, как француз, — прибавил он, обращаясь к принцу Леонарду, который ничего на это не возразил.

Один из всей компании не принимал он участия в разговоре про приезжих и так углубился в созерцание своей супруги, что ничего не видел и не слышал из того, что происходило вокруг него.

Принцессе Терезе тоже было не до эмигрантов. Она с большим аппетитом кушала свои любимые пирожки с вареными сливами, мигая при этом подслеповатыми глазами без ресниц (они у нее вылезли после родов) и открывая регулярным, точно механическим движением огромный рот с зубами акулы и узкими, бледными губами.

Изжелта-белокурые жидкие волосы, зализанные кверху, скрывались под ночным чепцом, казавшимся Леонарду особенно безобразным. Да и вся ее хилая развинченная коротконогая фигура с такой длинной талией, что, сидя, она казалась выше всех, ему была так противна, что по временам гримаса отвращения искажала его лицо, очень красивое, невзирая на крупный нос с горбинкой, выдающийся подбородок и густые темные сросшиеся брови.

Но из-под этих бровей выглядывали добрые глаза, и вся его стройная фигура носила отпечаток породистой грации, манеры были изящны, голос мягок, и к тому же он так хорошо ездил верхом, танцевал и фехтовал, что слыл одним из очаровательнейших принцев в многочисленной семье немецких владетельных особ того времени.

Многие не только из принцесс, но и из королев завидовали принцессе Терезе, хотя, по правде сказать, завидовать было нечему. Из всех женщин, игравших роль в жизни ее супруга, след, оставленный ею в его сердце, был так ничтожен, что он часто спрашивал себя с недоумением, как это могло случиться, что у них родился ребенок. Последнюю из судомоек с заднего двора поцеловал бы он с меньшим отвращением, чем ее.

— А про ту русскую княгиню, что поселилась в замке барона Ротапфеля, слышно что-нибудь? — любопытство-

вала принцесса Тереза, доевши свои пирожки и придвигая к себе большую кружку с пивом, которую она, не дожидаясь ответа на свой вопрос, с жадностью и не отрываясь осушила до дна.

«С таким прекрасным аппетитом, и все не поправляется», — со вздохом подумал герцог, следивший любовным взглядом за каждым движением любезной сердцу его внучки.

— Русская княгиня приобретает себе в нашем крае все больше и больше друзей, — объявил Лилье. — На днях у нее был с визитом даже барон Мазеринг, а с тайной советницей Кухенмейстер она так подружилась, что они видятся каждый день.

— Вчера мне про нее говорила Клара, — сказала принцесса Тереза, наливая себе вторую кружку пива, — послушать ее, это святая какая-то, чудеса делает.

— Шарлатанка, — брюзгливо вставил герцог.

— Может быть, и шарлатанка, а все же она вылечила сестру бургомистра от падучей, — возразила сердито его внучка.

Капеллан с отвращением заметил, что русская религия отличается от католической предрассудками и суеверием.

— Суеверие не суеверие, а все же она и бургомистершу вылечила от зубной боли, тогда как мне никто помочь не может. С каждым днем опухоль моя, — она дотронулась до горла, где у нее выпячивался довольно большой зуб, — увеличивается, и я начинаю от нее уж задыхаться.

Все, за исключением ее мужа, который, погруженный в думы, устал с таким вниманием в темный угол у высокого камина, точно он видел там что-то такое, чего никто не видел, — все печально потупились. Принцесса же Тереза, выпивая свою вторую кружку пива, объявила все тем же резким, не допускавшим противоречий тоном:

— Клара мне так много про нее наговорила, что я хочу ее видеть. Может быть, она и меня вылечит.

Заявление это всех привело в недоумение.

— Тереза! — вскричала принцесса Розалия.

— Довериться авантюристке да еще иностранке вдобавок! — подхватила ее сестра.

— Которая пользуется, без сомнения, нечистой силой! — поспешил вставить капеллан.

— Вот уж скоро пятьдесят лет, как в замок посторонних не пускают, — процедил сквозь зубы старый герцог.

Принцесса Тереза вспыхнула.

— Так что ж мне, по-вашему, всю жизнь хворать? — вскричала она, ударяя кулаком по столу с такой силой, что посуда зазвенела. — А ты чего молчишь? — обратилась она с возрастающим раздражением к мужу. — Тебе, верно, нравится смотреть на меня, как на твою бабушку? Ты, кажется, совсем забыл, что я молода, моложе тебя на два года и жить хочу, хочу веселиться, хочу любви, хочу иметь детей, много детей, как у всякой порядочной женщины, как у принцессы Каролины, у герцогини Магды, у королевы Луизы. Я тоже настоящая принцесса и могла бы сделаться королевой, как и другие.

Принц Леонард опомнился наконец от своего забытья и поняв, что гнев супруги обращен преимущественно на него, поспешил ее успокоить предложением привезти к ней русскую княгиню, когда только она пожелает.

— Я с нею хорошо знаком, она очень умная и прекрасно воспитанная женщина, мы очень часто виделись в Париже, — объявил он.

— И правда это, что она делает чудеса? — полюбопытствовала принцесса Оттилия.

На вопрос этот взялся ответить Лилье, осторожно молчавший до тех пор, пока вопрос о допущении иностранки в замок не выяснится в благоприятном смысле.

Оказывалось, что он знал как нельзя лучше эту русскую княгиню и много раз был свидетелем исцелений вследствие ее молитв и советов.

— Кроме удивительной силы в глазах, которую можно объяснить магнетизмом, она, должно быть, очень сведуща и в медицине.

— Не в черной ли магии скорее, — ехидно подсказал капеллан.

Но на инсинуацию эту никто не обратил внимания, всем теперь хотелось познакомиться с новой интересной личностью. Жизнь в замке была так монотонна и скучна, что каждому развлечению были рады. Даже герцог, поддаваясь всеобщему оживлению, с любопытством стал расспрашивать аббата про иностранку, для которой приходилось нарушать правила этикета, господствовавшего в замке с тех самых пор, как еще прадед сделался его владельцем.

Один только принц Леонард не принимал участия в разговоре и со сдержанным раздражением, ожидая минуты избавления, сидел молча и насупившись.

О как медленно тянулось для него время! С каким восторгом сорвался бы он с места, не дождавшись конца ужина, и побежал бы туда, куда влекло его сердце.

Но это было невозможно, приходилось волей-неволей ждать, чтобы все поднялись из-за стола, прослушали бы вечернюю молитву, которую произносил капеллан не для одних только господ, а также и для слуг, толпившихся в дверях, а затем надо было подойти к главе семьи, поцеловать его руку и принять его благословение, пожелать спокойной ночи остальным членам семьи, а также и аббату с капелланом, и обоим фрейлинам, проводить супругу до ее апартаментов, покорно выслушать ее упреки в холодности и недостатке внимания, успокоить ее заранее приготовленной фразой, сдерживая отвращение, ответить на ее поцелуй и уж тогда только мог он считать себя свободным,

Исполнив все требуемые от него формальности, вбежал он, перескакивая через две, три ступеньки, в свою комнату наверху высокой круглой башни, из которой открывался чудный вид на окрестности. Там, переждав еще с час времени, пока все огни в замке не погасли и все шумы не стихли, осторожно, крадучись потайными ходами, выбрался он на широкий двор, а оттуда через калитку, проделанную в каменной стене, без сомнения, таким же охотником до таинственных прогулок, как и он сам, принц Леонард очутился в поле.

Тут, прежде чем идти дальше, он остановился, чтоб оправиться от испытанных волнений и радостно вдохнуть в себя полной грудью ароматный воздух — ночь принадлежала ему.

XXII

В замке Ротапфель, расположенном близ городских ворот, принца уже давно ждали.

Немногочисленное общество, собравшееся у русской княгини, отказывалось сесть за стол до его появления.

Впрочем, благодаря блестящему, оживленному разговору и новостям, сообщаемым новыми эмигрантами из Франции (семьи, состоящей из знатной дамы с двумя сыновьями), время летело незаметно в уютной гостиной с высоким потолком, у пылающего камина таких огромных размеров, что в нем мог гореть целый дуб.

Хозяйка, смуглая средних лет женщина, с энергичным лицом и умными, пронзительными глазами, в каком-то странном, полумужском, полумонашеском костюме темного цвета, без всяких украшений, представляла интересный контраст с жеманной парижанкой, разодетой по последней

моде, в фижмах, напудренном парике, нарумяненной, с мушками и прочими атрибутами щеголихи тогдашнего времени, с живой, экзальтированной речью, испешренной чисто парижскими выражениями, резкими переходами от ужаса к иронии, от отчаяния к изумлению.

Перед нею молодой, красивый аббат рассыпался в комплиментах и сочувственных фразах; позади ее кресла двое юношей, ее сыновья, с любопытством поглядывая по сторонам, обменивались замечаниями шепотом, когда им казалось, что никто на них не обращает внимания, а немного поодаль двое стариков, маркиз Дьедоне де Ранфор и брат его маркиз Мари де Ранфор, высохшие, как мумии, с породистыми, крупными носами и надменным, ястребиным взглядом, вставляли по временам в беседу на современные темы воспоминания из далекой старины, когда они были еще пажами при Людовике Возлюбленном. Были тут еще какие-то две молчаливые и бесцветные дамы, одна молодая, другая старая, скромно одетые и болезненного вида, любовно-восторженным взглядом следившие за каждым движением хозяйки; но не для этого общества спешил сюда с таким трепетным нетерпением и волнением принц Леонард.

Когда он вошел, княгиня оглянулась на крайнее окно, со спущенной перед ним драпировкой, и по губам ее проскользнула усмешка, когда она заметила, что драпировка эта заколыхалась. Отвечая на поклон принца, она едва заметным кивком указала ему на эту трепетавшую, как живая, ткань. Лицо его мгновенно прояснилось, и он с удвоенной любезностью стал отвечать на приветствия.

— Как прост и как мил, не правда ли? — сказала хозяйка приезжей даме.

— Прелесть, совсем не похож на немца. Напоминает наших принцев, ты не находишь, Гектор?

Старший сын, к которому она обращалась, высокий хрупкий юноша лет восемнадцати, почтительно к ней нагнулся:

— Да, матушка, это настоящий принц.

— Настоящий принц, — повторила мать, не спуская улыбающегося взгляда с Леонарда.

У нее были виды на супруга принцессы Терезы. Если он примет участие в ее сыновьях, их не сунут в какой-нибудь заваливающий полк союзной армии, а поместят туда, где они будут на виду, чтоб драться с честью за короля и поправленные права французского дворянства. Недаром воспитала она их в традициях старины; ни за что не изменят они

долгу чести, а храбрость их фамилии — наследственное достояние, но все же несравненно лучше проливать кровь и рисковать жизнью в порядочном обществе, чем где-нибудь во тьме, за кулисами, со всяким сбродом.

— Я вас с ним познакомлю поближе, — предложила хозяйка.

Как опытная женщина, она угадывала замыслы своей гостьи.

— Пожалуйста, вы меня этим очень обяжете, — отвечала с достоинством эта последняя.

Княгиня подошла к принцу, терпеливо выслушивавшему рассуждения одного из длинноносых старцев, и, выждав, пока старец кончил объяснять, как, по его мнению, должен был бы поступить король, чтоб усмирить разбунтовавшуюся чернь, она заметила, что мадам де Сиври лучше, чем кто-либо, может судить о том, что происходит в настоящее время в их несчастном отечестве.

— Она с сыновьями всего только с неделю как выехала из Парижа, и там они были свидетелями таких ужасных сцен, что волосы дыбом становятся от ее рассказов!

Разумеется, Леонард с радостью покинул старика и поспешил к мадам де Сиври.

Но как ни старался он заинтересоваться разговором с нею, как ни заставлял себя выражать сочувствие к ее печали и разделять ее негодование, душой он был далеко. Беспреданно озирался он по сторонам, точно поджидая кого-то; рассеянность его с минуты на минуту усиливалась, и с тоской во взгляде следил он за хозяйкой, когда она подошла к окну в отдаленном углу и скрылась за спущенной перед ним драпировкой.

Наконец он не вытерпел.

— Скажите, пожалуйста, — обратился он к аббату, который присоединился к группе у камина, — графа Казимира ждут сюда сегодня?

— Как же, ваша светлость, граф непременно будет. Супруга его здесь и, как всегда, он за нею придет со слугами и носилками, чтоб отнести ее домой. Его, вероятно, задержал курьер, которого он сегодня ждал из Петербурга с депешами.

В эту минуту появился в дверях лакей и объявил, что кушанье на столе, а из-за густых бархатных складок у окна вышла хозяйка с молодой особой такой поразительной красоты, что на всех лицах выразилось восхищение.

Высокая и стройная, с миниатюрной головкой и детским личиком, озаренным огромными глазами, нежными и глу-

бокими, она производила впечатление неземного создания, такой обаятельной чистотой веяло от всей ее фигуры в белом платье без всяких украшений и с высокой прической, от которой ее шея, грудь и руки казались еще тоньше, девственнее и изящнее.

— Графиня Паланецкая, — сказала княгиня, представляя нашу знакомую Клавдию мадам де Сиври.

— Графа Казимира я хорошо знаю, он часто бывал у моей кузины, герцогини Шуазель, но я не подозревала, что у него такая прелестная дочь, — объявила с изумлением приезжая, отвечая на почтительный реверанс юной красавицы.

— Графиня не дочь, а супруга графа Казимира, — поспешила пояснить с улыбкой княгиня.

Впрочем, не ей одной, а и остальным гостям показалось забавным изумление мадам де Сиври.

Всем, без сомнения, вспомнилась первая встреча месяца два тому назад в этой же гостиной с высоким кривоносым графом и прелестным ребенком, которого он представил как свою супругу, и воспоминание это вызвало улыбку на всех устах.

Не улыбалась одна только виновница недоразумения. Остановившись посреди комнаты, она с опущенными глазами краснела от смущения под страстным взглядом принца Леонарда.

Не до смеха было и этому последнему. Никогда еще не казалась ему графиня Паланецкая так прелестна, как в эту ночь, и никогда не желал он так страстно остаться с нею наедине, чтобы ей это высказать.

Желание его исполнилось. По знаку хозяйки кавалеры предложили руку дамам; пары одна за другой стали уходить через длинную анфиладу комнат в столовую, и молодые люди остались вдвоем перед догорающим в камине дубом.

У Леонарда вырвался из груди долго сдерживаемый вздох облегчения.

— Наконец-то! — вымолвил он, поднося к губам маленькую выхоленную ручку, которую она, не поднимая глаз, с улыбкой ему протягивала. — Clandine! Божество мое! Как я вас люблю! — повторял он в страстном исступлении, осыпая поцелуями нежные розовые пальчики. — Поднимите ваши чудные глазки, дайте мне заглянуть в них, пока мы одни!

Она медленно и все с той же наивно-детской улыбкой на розовых губках подняла длинные, темные, загибавшиеся

ресницы и остановила на нем сияющий чистой радостью взгляд.

— Любите ли вы меня хоть немножко, Clandine? — спросил он, задыхаясь от волнения.

— Для чего же я здесь, ваша светлость? — возразила она.

— Опять «ваша светлость»? — вздохнул принц. — Нет, вы меня не любите!

У двери раздался сдержанный кашель. Клавдия быстрым движением спугнутой птички отбежала к двери в соседнюю залу, где замешкалась княгиня, чтобы вместе с влюбленными пройти в столовую, ей одной известным ходом, коридором, настолько сокращавшим путь, что они вошли почти одновременно с остальным обществом.

Впрочем, гости княгини были слишком благовоспитанны и слишком дорожили ее расположением, чтобы обращать внимание на ее двусмысленное отношение к влюбленной парочке.

Осведомившись из приличия про графа Казимира и услышав в ответ, что, занятый важными делами, он просил не ждать его к ужину, аббат возобновил начатый у камина разговор о том, чего верным слугам короля можно ожидать от иностранных держав, и в спорах об этом животрепещущем вопросе про принца Леонарда с графиней Паланецкой все забыли. Поглядывали на них сверкавшими любопытством глазами одни только сыновья мадам де Сиври, да и то украдкой и с таким наивным сочувствием, что смущаться этим влюбленные не могли.

К концу ужина мажордом княгини доложил своей госпоже, что за графиней пришли люди с носилками и факелами, а граф просит его извинить, он быть не может, его задержал курьер, присланный из Петербурга, которого он должен сегодня же ночью назад отправить.

Известие это всех заинтересовало. Важные, должно быть, сообщения получил граф Казимир из России, если так спешит на них ответить.

— Завтра мы все это узнаем, — объявила княгиня. — У графа Казимира нет секретов от друзей, а преданность его королю и королеве известны. Императрица и ее высокие друзья, император австрийский и король прусский не удостаивали бы его своим доверием, если бы было иначе, — прибавила она, торжественно возвышая голос.

Гости разошлись; мужчины пешком, а дамы в миниатюрных колясочках без колес, которые несли на плечах люди.

Такое же *chaise á porteurs*, но много изящнее и богаче, расписанное известным французским художником, с настоящими венецианскими стеклами в дверцах и обитое внутри стеганым белым атласом, ожидало у подъезда и Клавдию.

Кроме двух рослых лакеев в ливрее Паланецких, ожидавших, чтоб госпожа их села в кресло, прежде чем поднять на плечи приделанные к нему золоченые палки и пуститься мерным, твердым шагом в путь, ждали ее появления еще двое слуг с зажженными смоляными факелами, а также паж Товий в своем красивом наряде и Октавиус в длинной темной хламиде, оба вооруженные кинжалами и пистолетами.

Но принц Леонард не уступил им чести посадить молодую графиню в экипаж. Он же и свел ее по крутым каменным ступеням высокого крыльца и, закутывая ее ножки в мягкую турецкую шаль, присланную заботливым супругом, чтоб предохранить их от ночной свежести, таким умоляющим голосом прошептал: «Позвольте мне проводить вас до городских ворот», — точно дело шло о счастье всей его жизни.

Однако, как ни увлечен был принц Леонард своей новой страстью к графине Паланецкой, он не забыл передать княгине о желании его супруги с нею познакомиться, и княгиня отнеслась к этому заявлению с большим добродушием.

— От души благодарю ее светлость за внимание и очень бы желала оправдать, хотя бы отчасти, ее лестное мнение относительно моих медицинских познаний, — сказала она с улыбкой.

Но тотчас же лицо ее приняло суровое выражение и она прибавила, устремляя на него испытующий взгляд своих черных огненных глаз:

— А знает ли принцесса, чем врачуем мы человеческие немощи? Боюсь, чтобы она не разочаровалась, узнав, что мы умеем только молиться Тому, для Которого все возможно.

Голос ее звучал так торжественно, произнося эти последние слова, а взгляд сделался таким вдохновенным, что принцу Леонарду стало немного жутко, и он обрадовался, когда кто-то прервал завязавшуюся между ними беседу. Невольно навертывались ему на память толки, ходившие в городе про эту странную женщину. Рассказывали, между прочим, что она ведет двойную жизнь и что, кроме общества эмигрантов и всякого рода туристов большею частью иностранного происхождения, поселявшихся здесь за по-

следнее время особенно охотно и среди которых княгиня вращалась на виду у всех, принимая гостей, отдавая визиты и как светская женщина интересуясь политическими и любовными сплетнями, у нее какие-то секретные дела, что она ведет темные и запутанные интриги, водится с неизвестными личностями, проникающими в замок Ротапфель не иначе как ночью, когда никто из городских обывателей не может их встретить.

Старый Фриц, сторож у городских ворот, клялся всеми святыми, что он несколько раз видел этих таинственных посетителей русской княгини. Закутанные с ног до головы в темные плащи и с нахлобученными на лицо широкополыми шляпами, они после полуночи направлялись к замку, выходили оттуда только на рассвете и крались вдоль каменной ограды, окружавшей сад, до старого, изувеченного громовым ударом, дуба, и тут один за другим исчезали бесследно, точно сквозь землю проваливались.

Рассказывали также, что ночью в башне, где у княгини была устроена молельня, яркий свет проникал иногда сквозь плохо запертые внутренние ставни и что тогда можно было видеть жестикулирующие тени, поднимающие руки к небу, точно для заклинания. Первое же время по приезде сюда княгини многие слышали пение по ночам из башни, но это длилось недолго; узнав, что соседи интересуются ее ночными концертами, княгиня их прекратила и пела только днем, аккомпанируя себе на арфе, большую часть гимны и переложенные на ноты молитвы. Голос у нее был сильный, хорошо поставленный и довольно еще свежий для ее лет.

У входа в город, в то время как сторож, делая исключение из общего правила, отпирал ворота перед знатной иностранкой и ее свитой, графиня Паланецкая так нежно взглянула на принца, всю дорогу не отходившего от дверцы с опущенным стеклом, любуясь прелестным личиком, выглядывавшим из нее, что у него не хватило сил так скоро с нею расстаться.

— Позвольте мне проводить вас до дому, графиня, — прошептал он, целуя ручку, которую она все с той же очаровательной улыбкой протянула ему из окна.

— А вы не устали? — спросила она, лукаво прищурилась.

— Я готов идти рядом с вами до конца света, — вымолвил он страстным шепотом.

Она опять ему, молча, улынулась вместо ответа, но ему и этого было довольно, чтоб чувствовать себя вполне счастливым.

Ворота, скрипя заржавленными петлями, растворились, и маленькое шествие, спустившись по узкой и длинной улице между домами с запертыми ставнями на площадь с церковью, фонтаном и ратушей, свернуло в лабиринт переулков, таких узких и запутанных, что человеку, незнакомому с городом, очень трудно было бы из него выбраться, не заблудившись, пока наконец не остановилось у большого дома, стоявшего особняком среди двора, обсаженного старыми каштанами и обнесенного, точно так же, как и сад позади, высокой каменной оградой, утыканной длинными гвоздями острием кверху.

Огромный сторожевой пес, залаявший было на весь город, при приближении графини со свитой теперь только рычал, учуяв своих, а по двору, гремя ключами, торопливо шел к калитке навстречу вернувшейся из гостей госпоже привратник.

Принц Леонард, который встречался с Клавдией только у княгини, в первый раз видел ее жилище или, лучше сказать, угадывал его за деревьями, заслонявшими фасад дома. Тут тоже царила полнейшая тишина. Ни малейшего света из дома не проникало сквозь ветви, а на широком дворе, когда Леонард в него заглянул, кроме привратника, не видно было ни души.

«Граф, верно, в апартаментах, что выходят в сад, и, без сомнения, сейчас выйдет на крыльцо встречать супругу», — подумал он.

При этой мысли он невольным движением подался назад.

Не прельщала его мысль с ним здороваться, выслушивать его высокопарные комплименты и слащавые до приторности выражения благодарности за внимание к супруге.

Со множеством мужей имел принц Леонард более или менее неприятные столкновения, с тех пор как ухаживание за женщинами сделалось единственной целью его жизни, но этот поляк, так хорошо умевший скрывать свои чувства и мысли, никогда не проявлявший ни ревности к жене, ни нежности, был ему особенно противен и казался много опаснее самого свирепого тирана и ревнивца. В свободе, которую он ей предоставлял, чувствовалось не доверие, а мрачный умысел какой-то, точно он и ей, и тому, кому она нравится (а кому же могла она не нравиться!), расставлял западню.

Да и вообще все было в нем загадочно, в этом человеке: его замыслы, общественное положение, состояние.

Уж одно то, что он так заботится о том, чтобы прослыть богачом и знатным вельможей, так выставляет на вид свою близость к русской императрице и доверие, которым она его удостоивает, уж одно это наводило принца на сомнения.

Принц Леонард родился и вырос среди высокопоставленных личностей, сам принадлежал к их числу, и чем ближе всматривался в этого польского графа, тем более убеждался, что имеет дело с авантюристом, очень умным, ловким и опытным, но тем не менее — авантюристом.

Еще в Париже, где он познакомился с графом в игорном доме, который содержала известная лоретка, а вслед затем представленный на гулянье графине, без ума в нее с первого взгляда влюбился, — еще в Париже, тревожимый сомнениями насчет этой загадочной парочки, он осведомлялся про них в министерстве иностранных дел. Но там ничего достоверного ему не сумели сказать.

Бумаги, удостоверяющие личность графа, были в порядке. В одном из солиднейших банкирских домов находилась в его распоряжении крупная сумма, к которой он и не прикасался, выигрывая каждую ночь в карты достаточно на самую широкую жизнь. У него были рекомендательные письма к знатнейшим представителям самой блестящей аристократии, и ему был открыт доступ ко двору. Рассказывали как достоверный факт, что перед злополучным бегством в Варенн несчастная королева два раза назначала ему аудиенцию, длившуюся очень долго, дольше часа, и что каждый раз после этих свиданий он отправлял за границу своего секретаря. Вот что было известно про графа Паланецкого парижской полиции, не без основания кичившейся перед целым светом своею прозорливостью и у которой все иностранцы находились тогда в подозрении, как шпионы иностранных держав и как враги новых порядков, вводимых волею народа во Франции.

За принцем Леонардом, проживающим в Париже инognito и с единственной целью веселиться, граф Паланецкий начал ухаживать с первой минуты их знакомства и оказался преполезным, преприятным собеседником, а также удивительно покладистым мужем. Более чем равнодушно, скорее с удовольствием наблюдал он, как принц все сильнее и сильнее влюблялся в Клавдию.

И тут Леонард услышал серебряный голос графини:

— Будьте так добры, ваша светлость, доведите меня хоть до крыльца, — вымолвила она чуть слышно, в то

время как он с лихорадочной поспешностью растворял дверцу.

И прибавила со смущенной улыбкой, запинаясь на каждом слове, краснея и упорно увертываясь от его взгляда:

— Не смею просить вас к нам зайти... Графа вы не увидите, он до утра будет заниматься в своем кабинете... вам, может быть, покажется со мною скучно?... Да и поздно... Вас ждут в замке...

— Мне с вами скучать, графиня?! Вы изволите надо мной издеваться! Точно вы не знаете, что для меня нет большего счастья, как быть возле вас, — прервал он ее вне себя от радости.

— Так пойдемте... Мы посидим с вами на террасе... Вы нашего сада еще не знаете... Я вам его покажу, там есть местечки, которые особенно прелестны при лунном свете...

От возраставшего смущения слова с трудом выговаривались, румянец все гуще и гуще разливался по ее лицу, тонкая ручка, опиравшаяся на его руку, трепетала от сдержанного волнения, а в глазах ее, когда она украдкой поднимала их на своего спутника, были мольба и страх.

Уступая страсти, она как будто просила пощадить ее.

О как прелестна казалась она Леонарду в эту решительную минуту! Всем своим существом чувствовал он, что она его любит, но любит не как женщина, а как невинное дитя, никогда еще не испытывавшее восторгов любви и недоумевающее перед наплывом неведомого до сих пор чувства, такого могучего, что ей жутко ему предаться.

От избытка счастья он не в силах был произнести ни слова и мог только молча прижимать к себе дрожащую, похолодевшую ручку.

Свита их куда-то скрылась. Поднявшись по крутым ступеням на высокое крыльцо и прежде, чем войти в массивную дубовую дверь, невидимой рукой растворившуюся перед ними, принц Леонард оглянулся назад: на залитом лунным светом дворе не видно было ни души.

XXIII

В то самое время, когда принц Леонард с бьющимся от радостного волнения сердцем в первый раз проникал в дом своей возлюбленной, странная женщина, выдававшая себя за русскую княгиню, проводив гостей, готовилась подняться по витой лестнице в башню, где она проводила большую часть ночи, по всеобщему убеждению, за молитвой и в

благочестивых беседах с загадочными личностями, навещавшими ее тайно, среди ночной тиши.

Княгиня делала столько добра, что вся окрестная гольтба (а во владениях деда принцессы Терезы ее было множество), питая к ней нечто вроде суеверного обожания, остерегалась про нее судить и рядить. Да и не все ли равно, какими делами занимается она со своими таинственными друзьями и молится ли она с ними согласно постановлениям церкви, или как-нибудь по-своему, не все ли это равно тем несчастным, которых она благодетельствует деньгами, советами, лекарствами и заступничеством перед властями, которых она спасает от тюрьмы, палок и конечного разорения, внося за них подати? Дай ей Бог за все это здоровья да внуши ей Господь желание пожить у них подольше!

— Он в башне? — спросила княгиня у своей компаньонки, пожилой молчаливой девы, которую она при свидетелях величала фрейлейн Коссович, а наедине называла попросту, Викторкой.

— Давно уж, ясновельможная. Спросили вина, я им отнесла бутылку бургонского и сыру с хлебом.

— Хорошо сделала. Иди спать, я сама его провожу.

— Надо прежде сделать обход, посмотреть, все ли на своих местах.

— Посмотри.

Разговор происходил по-польски. Викторка на другом языке выразаться не умела, хотя и понимала по-немецки, по-французски и по-итальянски, в чем можно было убедиться уж по тому, с каким вниманием прислушивалась она к разговорам окружающих ее людей как здесь, так и в других странах, всюду, куда закидывала ее судьба с госпожой ее, страстной охотницей до путешествий.

Княгиня отправилась в башню одна.

Там, в довольно обширной комнате с запертыми ставнями, с голыми стенами и почти пустой (все убранство ее состояло из невысокой кафедры посреди да деревянной лавки грубой работы у одной из стен) прохаживался большими нетерпеливыми шагами из угла в угол граф Паланецкий.

— Ну что? Они теперь вдвоем? — спросила княгиня, протягивая ему руку, которую он рассеянно поднес к губам.

— Да уж не знаю право, что тебе и сказать! — с досадой вымолвил он. — Октавиусу приказано тотчас же сюда прибежать, если наш птенчик не попадет в западню. До сих пор его нет, попался, значит, но что из этого произойдет дальше, боюсь и загадывать. С такой юродивой, как

наша Клавдия, всего можно ждать. Помнишь историю с королем?

— Ну, какая же разница! Тот был стар и противен, а в этого она сама влюблена, — возразила княгиня.

Но граф продолжал брюзжать.

— Влюблена, влюблена... А знаешь ли ты, что я поэтому-то и не рассчитываю на успех, что она в него влюблена?

— Не понимаю!

— Я тебе этого объяснить не могу. Надо знать эту девчонку, как я ее знаю, чтоб это понять. Будь она просто дура, как все ей подобные русские дворянки, которые только тем и отличаются от своих крепостных девок, что их нельзя сечь, как этих последних, ну тогда давным-давно была бы она у меня пристроена. Можно было бы и на самолюбие ее подействовать, и угрозами запугать или просто...

Он запнулся. Впрочем, и без слов мысль его поняли.

— Ты это про Еленку вспомнил? — подсказала его собеседница с усмешкой.

— Да, именно про нее. Но Клавдия не из таковских; не смирится она перед свершившимся фактом, как ты ей ни объясняй всю безвыходность положения. Право, мне иногда кажется, что пример отца повлиял на нее гораздо сильнее, чем она сама сознает. Никогда не забуду, как она на меня посмотрела, когда этот иступленный стал кричать, призывая Бога в свидетели того, что он называл смертным грехом и насилием над душой его ребенка! Сколько ненависти и отчаяния было в этом взгляде! Надо одному только удивляться, почему я тут же не отступился, не бросил начатую затею. А какой предлог-то отличный представлялся! Нет, ты представить себе не можешь, как я на себя досаую за то, что увез ее, навязал себе на шею такую обузу.

— Да, она очень упряма, — согласилась княгиня.

— Скажи лучше: тупа, вот что! — запальчиво вскричал граф. — Никак не может понять, что ей уж теперь нет возврата к прежней жизни. Кто же поверит, после того что произошло, что она до сих пор девушка и также невинна телом и чиста душой, как тогда, когда я ее вывез из дому? А между тем это так. Старику в Дрездене это было известно; он сам мне сознавался, что ему никогда еще не доводилось встречать такого феномена и, будь он только лет на двадцать моложе, он не задумался бы развестись со всеми своими женами, законной и незаконными, чтоб на ней же-

ниться, так она ему понравилась. К сожалению, заставить его помолодеть было не в моей власти, — прибавил он со вздохом.

И, помолчав немного, он продолжал жалобным тоном:

— Кто вернет мне то, что я потратил на всю эту аферу? Одно сватовство стало мне в тридцать тысяч злотых, а пребывание ее в монастыре после неудачи с королем! Ведь я ее там, как принцессу, содержал, все были убеждены, что она по меньшей мере побочная дочь императора от какой-нибудь важной герцогини.

— Вот уж это было, по-моему, совершенно лишнее, — заметила княгиня.

— А где же мне было ее держать, как не в монастыре; после того как весь город был свидетелем, как король перед нею таял?

— И как это ей удалось избежать общей участи с прочими, удивительно! — заметила княгиня.

— Не говори! Вспомнить равнодушно не могу про эту неудачу! Ведь нам удалось так ее усыпить, что она и не почувствовала, как ее внесли к нему в спальню. Что там между ними произошло, неизвестно, я ее не расспрашивал. Но, должно быть, камер-лакеи или другой кто из придворной сволочи проболтался про эту историю, о ней всюду заговорили, и мне после этого никуда невозможно было с нею показаться.

— А ты бы запретил ей снимать маску.

— Да она и сама без маски никому не показывалась, но это не помогало. Когда мы приехали в Вену, пришлось обратиться за помощью к полиции, так много собиралось народу перед гостиницей, чтоб взглянуть на нее. Как же было не найти ей такое убежище, где она была бы ограждена от любопытных? Нет, нет, я не жалею, что поместил ее в монастырь! Во-первых, это было единственное средство заставить поверить слуху о ее смерти, а во-вторых, она вышла оттуда, после двухлетнего пребывания, настоящей принцессой по манерам и образованию. А голос-то ей там как развили!

— Правда, голос у нее хорош. Продолжает она заниматься пением?

— Еще бы! Посмотрел бы я, как бы она не занималась! Ведь уж это мой последний ресурс. Если только затеянная тобою комбинация при здешнем дворе не удастся, я увезу ее в Италию и заставляю дебютировать. Тут уж успех несомненный. На всякий случай я вступил в переговоры с двумя импресарио в Милане и Флоренции.

— Напрасно торопишься, наша комбинация с принцем Леонардом не может не удасться, только не надо терять энергии и упускать удобного случая. Обстоятельства складываются, как нельзя лучше. Я не успела еще тебе сказать: расчет мой на Клару оправдался, принцесса Тереза жаждет со мною познакомиться. Не дальше как сегодня, я получила через ее супруга приглашение в замок.

Граф просиял.

— Вот как! Когда же ты к ней отправишься? Советую не медлить, ведь может случиться, что принц после первого же свидания охладет к нашей юродивой.

Но княгиня с этим не соглашалась. По ее мнению, принц Леонард, невзирая на установившуюся за ним репутацию развратника и жуира, такой же нравственный урод, как и Клавдия.

— Они созданы друг для друга. Я в этом убедилась с первого взгляда на нее. Что ему в ней особенно должно было понравиться, это именно то, что раздражало или пугало всех тех, с которыми ты до сих пор пытался ее сблизить. Ее чистота и наивное игнорирование самых обычных жизненных явлений приводит его в восторг. Еще недавно признавался он мне, что столько же жаждет, сколько страшится сближения с нею, так боится он в ней разочароваться.

— Ну, этого бояться ему нечего, — процедил сквозь зубы граф, — чего другого, а добродетели у нее хоть отбавляй.

Принца Леонарда княгиня знала так же хорошо, как граф Паланецкий свою супругу. Они подружились в Париже лет пять тому назад, когда принц только что начал развлекаться и терзался раскаянием после каждой измены жене, что, впрочем, не мешало ему продолжать ей изменять.

В первый раз они встретились на вечере у одной из парижских львиц. На вечере этом между прочими развлечениями знаменитый хиромант отгадывал характер и мысли присутствующих, а также предсказывал им их будущее по линиям руки.

Наука эта входила в моду. Ею интересовались пытливые умы почти столько же, сколько несколько лет тому назад опытами с животным магнетизмом, производимыми Месмером, Калиостро и другими.

Заметив, с каким любопытством принц прислушивается к высокопарной белиберде, которой шарлатан угощал свою

доверчивую аудиторию, хозяйка дома отвела его в сторону и, таинственно понижая голос, спросила: известно ли ему, каким изумительным даром предвидения и прозорливости обладает ее приятельница, княгиня Здорская?

— Та дама, что разговаривает с молодым человеком без парика и пудры, в костюме квакера. Хотите, я вас ей представлю? — прибавила она.

Принц согласился, и не прошло получаса, как новая его знакомая, уединившись с ним в полутемную комнату, служившую библиотекой, открыла ему такие удивительные вещи, что он долго не мог прийти в себя от изумления.

Не только описала она ему всю его жизнь так верно и с такими подробностями, точно ни на минуту не расставалась с ним со дня его рождения, но она проникла в самую глубь его души и открыла ему то, в чем он не осмеливался сам себе сознаться: возрастающее его отвращение к жене, тоску одиночества, которой он терзался с тех пор, как понял, что ошибся в своем выборе, страстное, непреодолимое стремление наполнить душевную пустоту сердца чувством к другой женщине, тщетную погоню за призраком счастья, все сокровеннейшие тайны его души, одним словом, были известны этой загадочной иностранке, а между тем они виделись в первый раз и на чужбине, в такой стране, где, как ему казалось, никто про него ничего не знает, кроме того, что он племянник одного из царствующих в Германии королей и женат на наследнице герцогского престола.

Понятно после этого, что он уже не мог относиться к княгине как к обыкновенной смертной и стал искать ее дружбы, утешений и советов. Иначе и быть не могло, особенно, если учесть, что, явившись ему в образе ясновидящей и озадачив его своею проницательностью, она не преминула обнаружить перед ним и дар предвидения, предсказывая ему любовь и счастье в будущем.

Тут, как у истой пифии, речь ее сделалась загадочна и темна, изобиловала иносказаниями и двусмысленностями; ничего не определяла она в точности, ни времени, ни места, где произойдет его встреча с женщиной, созданной для его счастья, и саму эту женщину она описывала смутно, предоставляя его воображению дополнить недосказанное, но слова ее дышали такою уверенностью и вдохновением свыше, что пылкий юноша не мог не заразиться ими, не мог не предаться надеждам.

Они казались ему сначала безумны и преступны, эти надежды, и он молил Бога дать ему силу отогнать их от себя, но Господь не внял его молитве, и он начал мало-по-

малу к ним привыкать и ждать их осуществления, как чего-то неизбежного.

И, постепенно развиваясь в его сердце, мечты эти стали принимать все более и более определенный образ, такой ясный и реальный, что порой он с изумлением себя спрашивал: где видел он прелестное существо, которым полна его душа?

Но по мере того как он углублялся в свои воспоминания, чудный образ, созданный фантазией, бледнел и стусывался, в душе воцарялась пустота, сердце сжималось тоскою и, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку, плакал он по утраченному призраку, взывая в отчаянии ко всем силам неба и преисподней, чтоб он снова явился и не покидал его больше.

Прошло пять лет, и вдруг во время его последней поездки в Париж она осуществилась, эта мечта, облеклась в плоть и кровь. Она ему улыбается, он слышит наяву ее голос, она не исчезает при его попытках к ней приблизиться, обменяться с нею взглядом, прикоснуться губами к ее руке. Она выслушивает его признания, сначала робкие, потом все страстнее и страстнее, смущаясь, правда, опуская глаза и краснея, но без гнева. А главное, она его не избегает, вот что главное. И ей даже как будто грустно с ним расстаться.

Долго не мог он привыкнуть к такому великому счастью, долго ни к чему большему не позволял себе стремиться. Страшно было испытывать судьбу. Казалось, что разочарование убьет его на месте. Но тут княгиня поспешила к нему на помощь, открыв ему тайну Клавдии. Он ей так же мил, как и она ему. И она тоже ждет любви, как избавления от злой судьбы.

— Взгляните на ее мужа. Разве она может быть с ним счастлива? Ведь ей только семнадцать лет, граф мог бы быть ее дедом.

Правда. Как он раньше этого не сообразил! И в первую минуту принцу стало неприятно, что все так просто объяснялось. Так просто и так гадко. Этот польский граф, без сомнения, большой мерзавец. А что если княгиня действует с ним заодно? Принц Леонард смутно чувствовал себя жертвой какой-то темной интриги, но такой запутанной и тонкой, что улавливать ее суть он и не пытался. Ему так хорошо было с Клавдией! С каждым днем привязывался он к ней все больше и больше.

Как он страдал, расставаясь с нею даже на один месяц! И в какой неопишуемый восторг повергло его известие о ее приезде!

— Нет, нет, теперь уж он ее не разлюбит и на все пойдет, чтоб обладать ею, — объявила княгиня, задумчиво покачивая головой.

— А про то, что может случиться, ты ему еще не намекала? — спросил граф.

— К чему? Он никогда об этом не должен и подозревать. Неужели ты не понимаешь, что только своим незнанием, своим убеждением в нашей неприкосновенности к этому делу он может нам быть полезен? — сказала она с досадой. — Это все равно, как если б ты открыл наши намерения Клавдии.

— Ты права, — согласился ее слушатель.

— Я всегда права, — сказала княгиня. — Ну а теперь, оставь меня. Но домой не возвращайся дня три. Не показывайся ей на глаза. Отдалась ли она ему (чего я не думаю), или нет, ей одинаково будет неприятно твое присутствие. Надо их теперь оставить в покое; чем больше они наделают глупостей, тем для нас лучше.

— Но как же ты намерена действовать? — спросил он, нахлобучивая на лоб свою широкополую шляпу и закутываясь в плащ.

Она с раздражением передернула плечами:

— Ничего не могу тебе сказать вперед, все зависит от вдохновения и от обстоятельств. А что я как тем, так и другим умею пользоваться, в этом тебе может служить порукой авантюра с твоим братом... Кстати, давно что-то о нем нет известий, не пора ли извлечь его из заточения? По моим расчетам, он уже давно должен быть готов.

— Нет, еще опасно. Минутами к нему возвращается сознание; он узнает своих сторожей, расспрашивает их и рассуждает, как человек в своем уме.

— И меня проклиняет, конечно? — спросила она.

Но ответа на вопрос ее не последовало, и она не настаивала. Они расстались молча.

XXIV

В эту ночь не один принц Леонард, но также и супруга его до рассвета не смыкала глаз. За утренним кофе принцесса Тереза жаловалась на удушье, тяжесть в желудке и галлюцинации. Все ей казалось, что кто-то прохаживается взад и вперед по замку.

Среди ночи, когда она поднялась с постели, чтоб завесить потемнее окна (противная луна раздражала ее своим

холодным, неприятным блеском), она увидела человека, пробиравшегося из замка к каменной ограде. Тут призрак, в котором она узнала своего супруга, исчез, чтоб минуты через три снова промелькнуть за рвом и скрыться за деревьями парка. А в пятом часу утра ей ясно послышался лай сторожевого пса, тотчас же смолкнувшего при скрипе маленькой двери, что вела в башню. Узнал, значит, хозяйина в ночном пришельце.

Все это так ее взволновало и взбесило, что ее в дрожь ударило, и она уже не могла больше заснуть.

— Зубы стучали у меня, как в лихорадке, а голова горела, как в огне, а когда закрывала глаза, страшные призраки являлись.

— И ваша светлость меня не позвали! — сокрушенным тоном вскричала Марта, одна из фрейлин, выслушав с испуганной физиономией жалобы своей госпожи.

— Перестань глупости говорить, точно ты не знаешь, что тебя невозможно добудиться! — брезгливо возразила принцесса. — Глухота твоя с каждым днем усиливается. Каждый раз, когда я с тобой говорю, у меня болит грудь.

— Так вы бы сестру мою разбудили, — скрывая досаду и обиду под любезной улыбкой, заметила Марта.

— Еще лучше! Чтоб она, как недавно, тыкалась спросонья о мебель, точно летучая мышь, попавшая в освещенную залу, и перебила бы у меня все вещи на ночном столе. Нет уж, спасибо за такие услуги, я лучше как-нибудь одна обойдусь. И как подумаешь, — вновь заговорила принцесса после продолжительного молчания, не обращая внимания на смущение оскорбленных фрейлин, — как подумаешь, что жена каждого сколько-нибудь зажиточного бюргера в моем герцогстве имеет заботливого мужа и пользуется услугами внимательной и ловкой прислуги, а я, принцесса, призванная над ними властвовать, должна проводить жизнь в одиночестве, болезнях и скуке, есть с чего с ума сойти от досады!

Последние слова она с умыслом произнесла громче, чтоб они достигли ушей принца Леонарда, шаги которого гулко раздавались по широкому пустому коридору, что вел из его апартаментов на половину принцессы.

Как всегда, когда он был в замке, принц приходил здороваться с супругой в то время, когда она кушала свой утренний кофе.

Так поступил он и в этот день, и, невзирая на бессонную и полную самых разнообразных ощущений ночь, вид

у него был бодрый, а глаза сверкали ярче и веселее обыкновенного.

— Сейчас видел в саду нашего Макса, — объявил он, целуя руку жены и отвечая ласковым кивком на церемонные книксены ее фрейлин. — Он становится молодцом, сыпь на лбу как будто проходит и за ушком стало подсыхать...

Его с раздражением прервали на полуслове.

— Вздор! Около носика у него опять опухоль, желваки у горла, как камень, твердые, а ножки так тонки и так слабы, как у трехмесячного ребенка, — объявила принцесса, сердито сдвигая брови и отворачиваясь от мужа.

— Неужели? Мне кажется, что ты преувеличиваешь, мое сердце! Право же, наш Макс уж не так плох, как ты себе представляешь. Есть дети гораздо слабее и болезненнее его. Да вот у тайного советника Рейнике, например, девочка совсем не может ходить, ее возят в тележке, а у лесничего третий мальчик кретин.

Но попытка утешить супругу принцу не удалась.

С удвоенной злобой накинулась она на него с упреками:

— Молчи, пожалуйста! Ты только и умеешь, что глупости говорить. Что мне за дело до чужих уродов и кретин! Я хочу, чтоб мой ребенок был здоров, силен и красив, а остальные хоть поколей все от золотухи, мне все равно! Сразу видно, что ты дома не живешь и о семье своей не заботишься, — чужие тебе дороже своих. Вот я так о чужих никогда не вспоминаю, мне бы только, чтоб в моей семье все было благополучно, а ты... Тебя каждый паршивый щенок на улице интересуется гораздо больше жены и ребенка...

— Перестань, Тереза, ты сегодня, верно, плохо спала ночь и потому не в духе...

Но каждое его слово подливало масла в огонь.

— А кто виноват, что я не спала ночь и больна? — вскричала она запальчиво.

И, выслав из комнаты повелительным жестом своих фрейлин, она продолжала, пронизывая злобным, подозрительным взглядом смущенного супруга:

— Уж не воображаешь ли ты скрыть от меня твои шашни? Точно я не догадываюсь, что ты опять стал навещать по ночам какую-нибудь шлюху вроде Мальхен! Берегись, Леонард, ведь мне стоит только сказать слово деду, и твою новую пассию выгонят из наших владений или засадят в смиренный дом для распутных девок, как ту, с

которой ты путался три года тому назад, помнишь? — шипела она, колотя согнутым костлявым пальцем по столу.

У слушателя ее отлегло от сердца. При ее первых словах он похолодел от страха, ожидая услышать имя Клавдии, но чем дальше, тем больше убеждался он, что ей ничего еще неизвестно про его отношения с графом Паланецким и его супругой. Она воображает, что и теперь, как и раньше, он увлекается ничтожной мешаночкой вроде бедной Мальхен, в которой, кроме невинных голубеньких глазок, розовых щечек да непроходимой глупости, ничего нет.

О как далеко ушел он в деле волокитства с тех пор, как такие беленькие уточки заставляли биться его сердце! Стоило ему только прожить с полгода в Париже, чтобы понять, чего надо искать в женщине для счастья.

Но того идеала, к которому ближе всех подходила его теперешняя любовь, даже и парижанкам никогда не достичь.

В Клавдии он нашел то, чего до сих пор ни в одной женщине не встретил. Невзирая на жизнь, полную самых странных и изумительных приключений, невзирая на то, что ее подготавливали к самому тонкому разврату, она осталась чиста и невинна, как голубка. И чистота эта, просвечивающая сквозь условную грацию, приобретенную светской дрессировкой, в каждом ее движении, в каждом слове и мысли, подействовала на него особенно обаятельно сегодня ночью, когда он с нею остался вдвоем на террасе, выходявшей в старый, заросший сад, и когда, мало-помалу поддаваясь счастью быть наедине с любимым человеком, она забыла все, чему ее учили, перестала сдерживать порывы чувств, обдумывать каждое слово и сделалась самой собой, какой она была дома с сестрами, с нянькой и с отцом, — милым, откровенным ребенком, ласковым, жалким и беспомощным. Совсем не то нашел он в ней, чего ожидал; ни единого слова любви не было произнесено между ними в эту достопамятную ночь, ни единым поцелуем не обменялись они, а между тем он ушел от нее очарованнее прежнего.

Да, никогда еще не встречал он такого существа, как Клавдия, да и не встретит, вероятно, никогда. Как чудно то, что она ему рассказала про свою родину, про семью и про обстановку, среди которой она родилась и росла до четырнадцати лет! Ему теперь противно вспомнить про то, с какими грязными помыслами шел он за нею по пустым, освещенным луной комнатам к террасе, утопавшей в душистых цветах и со всех сторон окруженной густым, старым

садом с заросшими диким кустарником аллеями и дорожками.

Для новых обитателей успели только посадить цветы перед домом и выдолбить небольшое пространство у террасы, все остальное, по желанию графини, было оставлено в том же виде, в котором находилось до ее приезда сюда.

— И не правда ли, так лучше? Мне это напоминает пустырек с одуванчиками под папенькиным окном, — сказала она, когда принц очутился с нею в пустынном уголке, среди немых свидетелей их первого любовного свидания — темных высоких деревьев с неподвижными ветвями, сквозь которые пронизывался таинственный серебристый блеск луны.

Голос ее дрогнул при произнесении последних слов. Он заглянул ей в глаза и, увидав крупные слезы, дрожавшие на ее ресницах, почувствовал к ней такую жалость, что сознайся она ему в любви к другому и потребуй от него, чтоб он тотчас же ушел, уступая место сопернику, он, кажется, беспрекословно бы ей повиновался. С сердечной мукой и невыразимой тоской, но он исполнил бы ее желание, так захотелось ему утешить ее, дать ей хоть минуту счастья!

Но она не потребовала от него такой жертвы, ей приятно было его присутствие. Он был первым человеком, которому ей захотелось довериться вполне, как другу, и она стала рассказывать ему про далекую страну с чуждыми для него нравами и жизнью, которая была ее родиной.

Все там было не так, как в Германии, во Франции или в Италии.

Ее отец, например, к какой секте принадлежал он? Богатый барин, рабовладелец, воспитанный в неге и роскоши, привыкший с рождения к деспотизму и произволу, женившийся по страстной любви на красавице, имея от нее сына, красивого, здорового мальчика, и трех дочерей (по словам ее, а лгать Клавдия не умела, сестры ее одна другой прелестнее), вдруг этот человек, с чуткой душой и нежным сердцем, в расцвете сил и здоровья, поддаваясь дикому, непонятному влиянию каких-то темных личностей, грубых и убогих, не то бродяг, не помнящих родства, не то беглых монахов с мрачным прошлым, отрекается навсегда от света и удаляется от мира, не покидая ни дома своего, ни семьи, ни друзей, пребывая в том же городе, где все его знали до его превращения из барина в аскета, под одной кровлей с рабами, на глазах которых он рос, и которым известна вся его прежняя жизнь, с ее привычками и вкусами.

Человек этот мало-помалу, с рассчитанной постепенностью и изумительной выдержкой устраивает себе новую жизнь, во всем противоположную прежней, с интересами и целями никому из окружающих непонятными.

Жизнь во всех отношениях труднее и суровее той, что ведут отшельники в пустыне или монашеская братия в монастыре. Те спешат уйти от мира, от близких сердцу, от соблазна, тогда как он упорствует в своем подвиге душевного спасения среди мирской суеты и греха.

Из крошечной горенки с оконцем на пустырь, заросший дикой травой, единственное место во всей усадьбе, из которого никогда не вывозят ни мусор, ни снег, до него доносятся беспрепятственно грешный говор и смех, проклятия, плач, брань, жалобы и ликование окружающей его жизни, и, не прельщаясь ею, не внемля ни гласу мирского разума, ни позыву сердца, ни мольбам несчастных своих девочек, которым он на все их сетования и слезы отвечает только советом смириться и терпеть, идет он к намеченной цели твердым шагом.

Разумеется, цель эта не на земле, а там, где все вечно.

— Когда граф увозил меня, отец одного только боялся, чтобы я с ним не обасурманилась в чужих краях. Его последние слова были: «Бога твоего не уступай никому и ни за что». Ведь это значит, что я должна пребывать в нашей православной вере, не правда ли? — спросила Клавдия в заключение своего рассказа.

Принц, не зная, что ответить, молчал.

— Сестры мои в монастыре, — продолжала она, — и, без сомнения, меня ждет та же участь... По крайней мере, не дальше как три месяца тому назад, я была в этом точно так же уверена, как в том, что дышу и думаю, но теперь, с тех пор как я с вами встретилась и полюбила вас, мне страшно подумать о монастыре. Это грех, я знаю, но что ж мне делать, я не в силах совладать с собой. Мне иногда кажется, что я только в тот день и родилась на свет, как встретилась с вами, до тех пор это была не жизнь, а тоскливое ожидание.

Точь-в-точь то, что и сам он чувствовал до встречи с нею.

Занимавшаяся заря заставила их очнуться от сладостного забытья и вспомнить о разлуке. А им еще так много оставалось сказать друг другу! Ему было тяжело, точно он расставался с нею навеки.

— Приходите сегодня вечером, — умоляюще прошептала она, протягивая ему руку для поцелуя, после того как

он поднялся с места и с печальным вздохом объявил, что им надо расстаться.

— Графа не будет дома ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Впрочем, — прибавила она с невинной улыбкой, — граф ничего не имеет против того, чтобы вы меня навещали.

Леонарда покорило от этих слов. Она не понимает их смысла, в этом он был убежден, но ему казалось, что они оскверняют невинные уста, произносившие их. Что за отношения у нее с человеком, называющим себя ее мужем? Обвенчаны ли они настоящим образом? Как это странно, что он ни разу не поддался искушению воспользоваться своими правами на нее? И что именно ей известно из грязных замыслов на ее счет? Неужели же она ничего не подозревает?

А во сколько этот негодяй ценит доставшееся ему сокровище? Каких жертв требует он за него?

Хорошо, если бы он удовлетворился одними деньгами.

Принц Леонард был богат. Кроме крупного капитала, оставленного ему родителями, у него были великолепные леса в Тироле и Богемии, имения с доходными фермами в Баварии, дома во Франкфурте. Стоит только обратиться к жидам, они с радостью предоставят в его распоряжение миллион и даже два. На то, что останется, можно купить хорошенький домик в горах неподалеку от замка и устроить там Клавдию. Какое счастье было бы приезжать к ней в минуты тоски, черпать в ее любви силу переносить скучную прозу жизни, отдыхать от ненавистных семейных обязанностей! Найти такое убежище вдали от людей и наслаждаться в нем до полнейшего самозабвения ласками и обменом мыслями с таким обаятельным существом, как Клавдия, — с радостью отдал бы он полжизни за такое блаженство.

Но ему жутко было предаваться этим радужным надеждам; смутное чувство ему говорило, что человек, от которого зависело его счастье, не из таковых, чтоб удовлетвориться одними деньгами, и что ему предстоит еще много с ним борьбы для достижения цели, и борьбы жестокой, может быть смертельной.

Однако русская княгиня была права, утверждая, что любовь принца Леонарда к Клавдии от препятствий не охладеет и что чувство это можно вырвать из его сердца только вместе с жизнью; размышляя о том, каким образом овладеть ею, он то останавливался на мысли подкупить ее обладателя деньгами, то вызвать его на дуэль и драться до тех пор, пока один из них не останется на месте, то каза-

лось ему всего удобнее похитить милую и скрыться с нею в неведомых странах; все казалось ему возможным, все, кроме мысли отказаться от нее.

Мысли эти так его заботили, что он не переставал ломать над ними голову всю дорогу из города в замок, а также в свою спальню, где он поспешил раздеться и лечь в постель, заранее зная, что ему не удастся ни на мгновение заснуть. Но ему не хотелось, чтоб донесли принцессе о том, что постель его нашли не смятой.

Она за ним подсматривает; он давно это подметил, но в том восторженном состоянии, в котором он находился, ему невозможно было помыслить без содрогания о каких бы то ни было объяснениях с женой.

Счастье располагало его к снисходительности и состраданию. Ему жалко было ту, которую он намеревался обманывать, и сколько ни повторял он себе, что при ее врожденной грубости и тупости ей легко будет обойтись без его любви, но тем не менее, сознавая свою вину перед нею, ему претило ей досаждать.

— Я засиделся в замке Ротапфель, — объявил он терпеливо и со снисходительной усмешкой, выждав, чтобы гнев ее поуспокоился. — Там приезжие эмигранты рассказывали преинтересные вещи про то, что теперь делается в Париже. Кстати, — прибавил он, торопясь предупредить возражение, готовое сорваться с ее языка, — поручение твое я исполнил. Княгиня очень тронута твоим желанием с нею познакомиться. Когда желаешь ты, чтоб она явилась в замок?

— Ты был вчера в замке Ротапфель? — с недоверчивой гримасой спросила принцесса.

— Разумеется, там.

— До рассвета? — продолжала она придираиться.

Он пожал плечами.

— Может быть, и до рассвета. Беседа после ужина затянулась. Так как же насчет княгини? Я обещал быть у нее сегодня. Что ты прикажешь ей передать от тебя?

— Пусть придет завтра после обеда, — все еще брюзгливо, но уже не так сердито отвечала принцесса.

XXV

Не прошло и недели, как русская княгиня сделалась своим человеком в замке герцога.

Всем сумела она здесь угодить и всех заинтересовать. Со старыми принцессами припоминала она истории, слу-

чившиеся при европейских дворах в то время, когда они еще были молоды и играли роль в свете, с капелланом толковала про Италию, где долго жила и знала множество выдающихся личностей, аббату Лилье сообщала такие подробности про революцию во Франции, которых ему ни от кого еще не удавалось слышать; даже фрейлин принцессы удалось ей к себе приманить советами по хозяйству, рецептами сохранять в свежем виде на зиму фрукты и делать консервы, а старый герцог сознавался, что никогда еще ему ни с кем не было так приятно разговаривать, как с этой чужеземкой.

С возрастающим интересом слушал он ее рассказы про российскую императрицу и ее семью, про наследника цесаревича, его супругу, детей и приближенных. Со многими из этих последних герцог встречался в молодости при немецких дворах, а императрицу он помнил еще маленькой Фике, в скромном замке ее отца, когда она, в вылинявшем от стирки набивном холстинном платье подносила в знак уважения к своим розовым губкам шлейф важных посетительниц, в том числе и покойной герцогини, его супруги, доводившейся принцу Ангальцербстскому дальней родственницей.

Ему и раньше, невзирая на затворническую жизнь, удавалось немало слышать про эту необыкновенную женщину, изумлявшую всю Европу своим гениальным умом, деятельностью и великой душой, но все от людей, в ту или другую сторону пристрастных, переходивших границы истины, восхваляя ее добродетели или перечисляя ее ошибки; княгиня же удивительно ловко умела держаться благой середины в выборе анекдотов про нее и рассказывала именно то, во что особенно приятно было верить.

Умела она также удовлетворить любопытство старого герцога и насчет того, что происходило тогда в Польше. Из слов ее нельзя было не вывести, что и при польском дворе от нее не было тайн, и со всеми она там была также интимно знакома, как и при русском.

Впрочем, и о других странах распространялась она с неменьшим апломбом и красноречием. Все-то она знала, видела, слышала и испытала. Из Парижа принуждена была бежать, потому что ей грозила гильотина. Ее заподозрили в секретных отношениях с королевской семьей, а так как связи ее с высокопоставленными лицами прочих европейских стран были известны, а мужество свое и неустрашимость ей уже во многих случаях удалось доказать, понятно, что мучителям венценосных узников захотелось стереть ее с лица земли.

— А теперь у них это просто делается; достаточно самого пустого, ни на чем не основанного подозрения или доноса, хотя бы заведомо ложного, чтобы приговорить человека к смертной казни, — говорила она.

Впрочем, то же самое повторяли и все эмигранты, да и газеты были полны описанием неслыханных еще доселе ужасов.

Но кем она окончательно овладела, это принцессой Терезой.

С нею она проводила каждый день по несколько часов, запершись в ее молельне, в беседах, не имеющих ничего общего ни с политикой, ни с приключениями при немецких дворах, а исключительно только о том, что непосредственно касалось принцессы, ее супруга, деда и ребенка, о том, как поправить здоровье ее светлости и маленького Макса, как сделать, чтобы оба они, и мать, и ребенок, окрепли и посвежели, чтобы румянец заиграл на их поблекших щеках, потухшие глаза заискрились, стан выпрямился, движения сделались бы гибки и ловки, а все боли и недомогания, как рукой бы с них сняло.

По мнению княгини, метаморфоза эта была возможна; стоило только принимать и принцессе, и маленькому принцу тот самый эликсир знаменитого итальянского алхимика, благодаря которому Ninon de Lenclos, русская императрица и многие другие личности, в том числе и граф Сен-Жермен (этого последнего княгиня тоже знала лично и рассказывала про него чрезвычайно интересные вещи), сохранили на всю жизнь, до глубочайшей старости, живость, красоту и все свойства молодости.

Рецепт этого эликсира, по всеобщему мнению, утрачен, но это неправда. У княгини он есть, и она за счастье почтет приготовить собственноручно чудесное снадобье для принцессы и ее сына.

К сожалению, надо выписать издалека некоторые из ингредиентов, входивших в этот состав, и пока все нужное не привезут, пройдет с месяц времени. Но ввиду несомненного успеха, что значило подождать месяц, — решительно ничего.

Впрочем, в ожидании радикального лекарства от всевозможных немощей, паллиативы, которыми княгиня пользовала принцессу, приносили этой последней видимую пользу. Каждый раз после посещения этой странной женщины принцесса спала отлично, чувствовала себя бодрее, веселее, кушала с еще большим аппетитом, чем прежде, и, чего много лет не делала, прогуливалась

даже по парку. Мальчик ее тоже как будто начал поправляться.

Но не про одни только телесные немощи толковала принцесса со своим новым другом, она ей поверяла также и сердечные свои печали и заботы. Не прошло и недели со дня их знакомства, как княгиня узнала имена всех красавиц в околоте, за которыми принц Леонард волочился, прежде чем искать новых развлечений подальше отсюда, за границей.

С некоторыми из них поступлено было очень сурово. Принцесса была неумолима к своим соперницам и с наслаждением распространялась про то, как она мстила каждой из них, разоряя лишением должностей и высылкой из пределов герцогства их близких, а самих их заточала в монастырь, если нельзя было дать им попробовать тюрьмы или рабочего дома.

К сожалению, власть ее не простиралась на тех бесстыдниц, с которыми супруг ее путался вне своих владений. Особенно досадовала она на парижанок. Они возбуждали в ней такую ярость, что она радовалась междоусобицам, раздиравшим эту несчастную страну, как возмездие свыше за беспокойство и раздражение, причиняемые ей коварными обольстительницами.

Всего хуже было то, что муж ее научился (от них, разумеется, от кого же больше?) удивительно ловко лгать и притворяться. Ни в чем нельзя было его уличить.

— Опять стал с некоторых пор проводить ночи вне дома, и никак не удастся мне выследить, за кем он теперь волочится, — жаловалась она княгине.

С наплывом иностранцев все у них изменилось. Народ портился. Чужеземные идеи и золото отравляли медленным ядом корыстолюбия и свободомыслия прежнюю чистоту нравов. Потрясены были до основания все устои: вера в Бога, уважение к обычаям старины, покорность перед высшими, — все это теперь осмеивалось и критиковалось дерзкими богоотступниками из молодежи, а старики ослабли и с подлым страхом отступали перед решительными мерами.

Дед принцессы Терезы, владетельный герцог, не составлял исключения из общего правила. Нельзя было не убедиться, что и он тоже заразился всеобщим шатанием мыслей и трусостью перед тем, что все называли духом времени, а принцесса Тереза считала ни чем иным, как дьявольским наваждением.

Каждый день доносила она ему про какое-нибудь новое нарушение освященного временем и привычкою правила,

но из этого ровно ничего не выходило: старик оказывался бессильным поддерживать дисциплину в стране.

— Вот уж скоро месяц, как можно беспрепятственно входить и выходить из города во всякое время дня и ночи, — с негодованием говорила она своей терпеливой слушательнице. — Стоит только сказаться знатным иностранцем или иностранкой да сунуть монету сторожу, и он настежь растворит ворота даже после полуночи. Мирные обыватели слышат, как мимо их окон, смеясь и громко болтая между собой, а иногда распевая богохульные песни, проходят окруженные лакеями с зажженными факелами развратники и развратницы, разодетые в пышные наряды, расшитые золотом, серебром и драгоценными камнями. Какой соблазн для наших молодых девушек и женщин! Ни за что не поверю я, что они не подбегают к окнам и не выглядывают в щелки ставней на этот маскарад и что полупьяные франты (французы все пьяницы, это давно известно) не отпускали им пошлых комплиментов и двусмысленных *bons mots*. Какой разврат! Не правда ли? И уже сказываются последствия этой распущенности. Почтенный Федерман, органист, застал в своем саду секретаря маркиза Дюшателя. Бесстыжий юноша напевал что-то такое очень предосудительное фрау Федерман, если судить по тому, как она растерялась и покраснела при появлении мужа и как стремительно скрылся ее соблазнитель. Не добежал даже до калитки, перепрыгнул через забор и оставил на нем клочок разорванного о гвоздь кюлота. Как вам это нравится? А маленькая Мина, дочь аптекаря, вы слышали, она выходит замуж за повара мадам Дютель? И, говорят, содиняться они будут по теперешней моде одним только гражданским браком, потому что этот повар, хотя и последовал за своей госпожой за границу, чтоб не потерять места, но в душе истый республиканец, поет «Марсельезу», когда господа его не слышат, и хранит в чемодане красный колпак. Колпак этот он многим показывал, на нем вышиты белыми нитками слова: «Свобода, равенство и братство или смерть». Бедная аптекарша плачет, говорят, с утра до вечера, да и муж ее в отчаянии: он боится потерять всех своих покупателей. Кому же охота пользоваться лекарством из аптеки, в которой поселился дьявол! И ничего не могут поделать с девочкой. Хотели было отправить ее на время в монастырь, но монахини отказались ее принять, побоялись скандала; ведь с такого отчаянного, как этот повар, все станется, он прямо объявил, что сумеет освободить невесту из какого угодно заточения, пусть только по-

пробуют ее увезти. И он уже успел ее развратить; она влюблена в него, как кошка, и без всякого стыда заявляет, что на край света за ним пойдет...

Хорошо, что княгине были до тонкости известны нравы маленьких немецких дворов, — всякую другую на ее месте привела бы в недоумение страсть к сплетням, проявляемая принцессой Терезой, но княгиня ничему не удивлялась, она всему поддакивала, сочувствовала и советовала всегда только то, что было удобно и приятно исполнить.

Даже и тогда, когда в подозрениях своих против мужа принцесса добралась и до Клавдии, новая ее приятельница ни единым словом не потрудились рассеять ее подозрения, а, напротив того, с печальной гримаской заявила, что действительно графиня Паланецкая замечательно хороша собой, умна, грациозна, а потому и опасна.

— Кокетка, должно быть, отчаянная, — заметила принцесса.

На это собеседница ее ответила только улыбкой, но улыбка эта была красноречивее всяких слов; она окончательно утвердила принцессу в справедливости ее подозрений.

— А правда это, что муж ее очень близок к русской императрице и колоссально богат? — спросила она дрогнувшим от волнения голосом.

Увы, и это тоже была чистейшая правда!

Как ни хотелось княгине успокоить и утешить свою высокопоставленную приятельницу, но она слишком была ей предана и слишком глубоко ее уважала, чтоб позволить себе покривить перед нею душой. Да, граф Паланецкий был знатный вельможа, с ним нельзя было поступить, как с первым попавшимся проходимцем, он найдет себе защиту и в посольстве, и у самого короля, которому он лично известен.

— Ну а сам-то он, как относится к поведению супруги? — продолжала пытаться принцесса.

— Он ее обожает и имеет к ней полнейшее доверие, — отвечала княгиня.

Значит, и с этой стороны нечего было ждать поддержки. Принцесса решилась действовать одна и удвоить надзор за супругом.

Княгиня же вызвалась не упускать из виду Клавдию и доносить обо всем, что ей удастся узнать про свидания влюбленных, про их переписку и прочее.

Разумеется, всего было бы лучше перехватить хотя бы одну записочку из тех, которыми они, может быть, обме-

ниваются, тогда муж был бы у нее в руках. Такой запиской можно было бы повлиять на короля и даже на русскую императрицу, не говоря уж про мужа Клавдии, который поневоле должен был бы спастись перед очевидностью.

Но для чего влюбленным переписываться, когда они видятся каждую ночь?

Граф опять уехал куда-то по делам. Может быть, в Россию? Прощаясь с княгиней и поручая ее ласкам свою молодую супругу, он сказал, что ранее месяца назад не вернется.

Если б можно было и принца куда-нибудь услатить! Но куда и под каким предлогом?

Долго ломала себе голову принцесса над этой дилеммой и все напрасно.

XXVI

С тех пор как княгиня стала бывать в замке, прошло недель шесть. Все эти шесть недель принц виделся с Клавдией почти каждый день и с каждым разом все больше убеждался в том, что жить без нее не может. Она сделалась ему так дорога, что он на все стал смотреть ее глазами и не только без ропота, но с восторгом подчинялся всем ее требованиям. До сих пор, невзирая на удобства, которыми были обставлены их свидания, она принадлежала ему только душой.

До сих пор оставалась она девушкой и останется ею, пока ему не представится возможность похитить ее из дома, где все, начиная с атласных туфельек, в которых она выбегает к нему навстречу, и кончая богатым персидским ковром, на котором они часто до рассвета просиживают на террасе, принадлежит ее законному властелину.

Тогда только будет она его, когда он поселит ее в безопасном и далеком от любопытных глаз убежище и окружит ее преданными ему людьми.

Но планом этим он тешился недолго. Чем ближе узнавал он Клавдию, тем менее казалось ему возможным взять ее в любовницы. Чтоб быть с нею вполне счастливым, надо развестись с женой и жениться на ней.

На комбинацию эту натолкнула его не Клавдия, а княгиня.

Клавдия умела жить только настоящим, полагаясь во всем остальном на судьбу.

Леонард любил ее так, как она всегда мечтала быть любимой. Он был молод, красив, восторжен; в их мыслях и чувствах нет ни малейшего разногласия — чего же больше желать? Они созданы друг для друга, это ясно как день.

Разве он с нею не бесконечно счастлив, точно так же как и она с ним — чего же опасаться? Все будет так, как теперь, пока Богу будет угодно, а Богу их наказывать не за что, они ничего дурного до сих пор не сделали. Про то, что происходит между нею и принцем, Клавдии не стыдно было бы кому угодно сознаться: мужу, принцессе, всему свету. Леонард также мало похож на остальных мужчин, как и она сама на других женщин; он понимает ее отвращение к животным наслаждениям и сочувствует ей.

Она так искренно была в этом убеждена, что убеждением этим заразился и он. Провести так всю жизнь, в духовной связи, умереть вместе, а там, в небесных пространствах, продолжать вечно то же чистое, безгрешное существование — может быть, в этом-то и заключается настоящее счастье?

Есть люди, которые проповедуют эту истину; значит, и они тоже постигли суету и грязь земных наслаждений, поняли, что для избранных, которые не от мира сего, лучше жить на земле так, как живут ангелы на небесах.

Осторожно расспрашивал он свою возлюбленную про то, что с нею было в тот год, когда, обвенчавшись с нею, граф увез ее за границу, и она ему чистосердечно рассказывала, как он дорогой из Варшавы готовил ее к встрече с личностью очень знатной и богатой, богаче и знатнее всех в той стране, в которую они ехали.

— Я потом догадалась, что это был король, хотя с виду он совсем на короля не похож, просто старик и очень добрый, — наивно заметила она.

— А для чего ты ему была нужна, этому старику, граф тебе не сказал? — осведомился принц.

— Чтоб быть его женой и тоже сделаться королевой. Меня это первое время забавляло. Со мной была девушка, Соня; по ночам мы с нею мечтали о том, что я сделаю, когда буду королевой, как я дам маменьке денег, сколько она захочет, чтоб она отпустила ко мне отца, сестер, няню Григорьевну, Сонину сестренку Варю, всех, кого мы любим, и как мы будем жить все вместе в большом, прекрасном замке с чудным садом... Как в сказках, знаете? Я была уверена, что все так и будет, — продолжала она со смущенной улыбкой. — Граф не для себя обвенчался со мной,

а для своего господина. Это у католиков делается с дозволения папы, разве вы не знаете?

— Да, да, делается, — поспешил он ее успокоить.

— Я была тогда совсем девочка, мне еще не минуло четырнадцати лет. Я в куклы играла, когда меня повезли на тот бал, где он в первый раз меня увидел.

«Да ты и теперь совсем еще дитя, и надо быть отъявленным негодяем, чтобы злоупотребить твоею неопытностью и доверием», — думал принц, любуясь ее невинностью.

А она между тем продолжала свой рассказ.

Они приехали в большой город, в чудной гористой местности, на живописной реке, и остановились в роскошно убранном доме, на одной из самых отдаленных улиц. Но ей было не до того, чтоб восхищаться природой и богатой обстановкой; на границе, под тем предлогом, что крепостных не дозволено увозить в чужие края, ее разлучили с Сонькой.

Граф дал ей денег и приказал отправить ее назад, в тот город, из которого он увез ее вместе с женой. Это было большим горем для Клавдии. Она осталась совсем одна среди чужих. По-немецки говорить она еще не умела, известий из дому не получала, можно себе представить, как ей было жутко и тоскливо! Наверное, заболела бы она от скуки по своим, если б не встреча с Марьей Филипповной.

При этом имени принц вздрогнул.

— Леди Мери Филиппс!

Восклицание это невольно сорвалось с его губ.

— Да, она под этим именем жила в Лондоне и в Париже, но на самом деле она русская, — объявила Клавдия. — А разве вы ее знаете?

Он смутился.

— Кажется, знаю... Впрочем, наверняка не могу сказать. Имя довольно обыкновенное. Какая она из себя?

— Я видела ее всего только раз, да и то ночью, в большой комнате, освещенной единственной восковой свечечкой, такой тоненькой, как те, что к образам ставят, и насколько я могла разглядеть, она показалась мне очень высокой и худой...

— Глаза черные? — с живостью прервал ее слушатель.

— О да, черные! И такие блестящие, пронзительные!

Клавдия без содрогания вспомнить не могла про взгляд этой женщины, а между тем чувствовала к ней такое влечение, что пошла бы с нею, не задумываясь, на край света.

— Она! — прошептал принц так тихо, что Клавдия не расслышала этого восклицания.

— Где ж это было? — спросил он громче.

— Да там же, в том городе, куда привез меня граф. Дай мне рассказать по порядку.

— Рассказывай, я тебя больше прерывать не стану, — сказал он. А про себя он прибавил: «Даже, если услышу что-нибудь еще удивительнее этого».

Сквозь густой мрак, окружавший хитросплетенную интригу, опутывавшую бедную Клавдию, начинал как будто пробиваться слабый луч света.

Впрочем, судя по ее словам, дело было очень просто.

Первые два-три месяца ее держали взаперти, как невольницу, не позволяя даже подходить к тщательно завешанным белой кисеей окнам, и деятельно обучали языкам и придворным манерам. Приходили к ней учителя танцев, декламации, пения, немецкого, французского и итальянского языков. Учили ее, какими фразами отвечать на приветствия и комплименты, кому говорить: «ваша светлость», кому «ваше высочество» или «величество», кому просто «месье» и «мадам»; заставляли делать глубокие реверансы перед зеркалом в платье с фижмами и длинным шлейфом, улыбаться, играть веером, величественно прохаживаться и даже бегать, одним словом, всему тому, что в совершенстве должна знать молодая женщина, чтобы прослыть светской модницей и львицей.

Талантливая от природы, она всему училась с успехом. По-французски она уже говорила, а потому и итальянский язык усвоила очень быстро. И музыке учили ее дома, здесь же у нее открылся голос, большой, звучный, чистый и замечательно приятный.

Профессор пения, лучший в городе, считавший между своими ученицами знаменитейших оперных кантатрис, приходил в восторг и уверял, что у нее целое состояние в горле.

И он тоже, как и другие, был, кажется, убежден, что ее готовят на сцену.

В танцах и светских манерах она тоже преуспевала как нельзя лучше. От скуки она занималась усердно даже и тем, что ей было не по вкусу, и день кое-как наполнялся, но на печальные думы оставались целые ночи, которые Клавдия частехонько проводила в слезах. День ото дня тяготило ее все больше одиночество и загадочность будущего. Детские мечты перестали ее тешить; все чаще и чаще задумывалась она о человеке, которому ее передадут как

вещь, как невольницу. Что это за личность? Думает ли он о ней, как и она о нем? И с каким чувством ожидает он первого свидания с нею?

Тотчас по приезде сюда граф привел к ней художника, чтобы сделать ее портрет. Художник этот был человек средних лет, очень серьезный и неразговорчивый. Кроме коротких фраз, произносимых сдержанным, почтительным тоном, которыми он просил ее повернуть голову немножко в сторону, поднять глаза, улыбнуться и тому подобное, не слышала она от него ни слова.

Впрочем, если бы он и захотел вступить с нею в более интимную беседу, этому, наверное, помешал бы граф, присутствовавший на всех сеансах, покуривая свою длинную трубку и зорко наблюдая за тем, чтобы время, назначенное на работу, не пропадало даром.

Портрет был готов на десятый день. Клавдия была изображена на нем почти в настоящую величину, в простеньком белом ваперовом платье, с розой в волосах, и граф унес его к себе тотчас после того, как художник, получив плату, раскланялся перед своею моделью ниже и почтительнее обыкновенного и вышел.

Прошло месяца три, наступила зима. Все шло по-прежнему; те же занятия с учителями, то же долгое сидение перед зеркалом, пока ловкая камеристка убирала ей волосы цветами, перьями или драгоценными камнями, а другая держала наготове какое-нибудь из великолепных платьев, наполнявших целую комнату рядом с уборной.

Как и в то время, когда она сделалась его невестой, граф требовал, чтобы она каждый день являлась перед ним в новом наряде, то пышном, то простом, и он так серьезно, с таким сосредоточенным вниманием осматривал ее с ног до головы, точно судьба их обоих зависит от того, чтобы определить, в чем она обаятельнее: в бальном ли костюме придворной дамы из бархата, атласа и драгоценных камней, в дезабилье из батиста и кружев или в простеньком девичьем наряде с одним цветком на груди или в волосах.

И так же по-прежнему граф был к ней внимателен, заботился о ее комфорте, окружал ее ловкой и внимательной прислугой, наблюдая за тем, чтобы свежие, душистые цветы не переводились в ее комнатах, чтобы за столом ей подавали самые лучшие фрукты и изысканнейшие кушанья, но он продолжал держать ее взаперти и о цели их приезда сюда больше не упоминал. А между тем уже по одному тому, как он был доволен ее успехами с учителями

и с каким самодовольством рассматривал ее с ног до головы, нельзя было не заключить, что цель эта близка.

Да и тайное предчувствие твердило ей то же самое. Каждое утро спрашивала она себя с замирающим сердцем: не сегодня ли? И с каждым днем страх ее усиливался.

Граф жил в одном с нею доме, но совершенно отдельно, в нижнем этаже и со своей прислугой.

Иногда ночью она слышала у него шум. По аллее, что вела с улицы через сад в дом, раздавались шаги, входная тяжелая дверь растворялась перед посетителями и с глухим стуком захлопывалась за каждым из них; гости расхаживали по комнатам, громко разговаривая и смеясь, а иногда голоса возвышались до сердитого крика. Ссорились, верно, за картами. А потом ужинали. До ушей Клавдии долетал звон посуды и серебра, а запах тонких вин и блюд, проникая сквозь пол, обитый ковром, из находившейся под ее спальней столовой, раздражал ее обоняние.

И вот в один из таких вечеров, когда к графу стали наезжать гости, одна из прислуг Клавдии, деревенская девушка по имени Минна, справлявшая должность прачки, и такая робкая, что не только госпожа, но и товарищи голоса ее никогда не слышали, осторожно приотворила дверь в спальню, где Клавдия сидела в глубоком кресле и, облокотившись на стол с двумя зажженными восковыми свечами, предавалась мрачным размышлениям.

На удивленный вопрос госпожи: «Что тебе надо?» — Минна, не трогаясь с места и краснея, отвечала, что у нее есть поручение к графине.

— Какое поручение? От кого?

— Не пугайтесь, *meine gnädige*, от одной дамы, очень доброй, набожной, умной; она принимает в вашей милости большое участие и просит *meine gnädige* ей довериться.

— Да в чем же? В чем?

— Мы ее зовем пророчицей, потому что у нее дар предвидения, и она здесь уж многим предсказала судьбу, и дар этот у нее от Бога, — продолжала Минна, уклоняясь от прямого ответа. — Она русская, как и графиня...

Русская!

Достаточно было этого слова, чтоб возбудить в Клавдии самое страстное, самое непреодолимое желание повидаться с этой личностью. Целых полгода ни с кем не говорила она по-русски.

Ободренная радостным волнением, с которым госпожа отнеслась к ее словам, Минна объяснила, что эта дама живет в доме рядом с ними. Прежде эти два дома состав-

ляли один, и в горенке под крышей, где жила Минна, до сих пор цела дверь, которая ведет к соседям. Дверь эта заперта и покрашена под цвет стен, но Минна ее нашла и нашла к ней ключ...

Для чего хлопотала она?

Будь Клавдия менее заинтересована неожиданным сообщением, она, может быть, призадумалась бы над этим вопросом, но ей было не до того, чтоб предаваться зловещим подозрениям.

— Ты сказала, что у тебя есть ко мне поручение? — спросила она дрогнувшим голосом.

— Да, от нее. Она приказала передать вашей милости: «Скажи ей, что соотечественница предлагает ей помолиться вместе с нею».

Последние слова Минна произнесла одним духом. Видно было, что она много раз повторяла их про себя, чтоб выговорить без запинки.

— Молиться вместе? — повторила с недоумением Клавдия.

— Да-с. У них каждый вечер собирается много людей в молельне; поют гимны, читают Библию и говорят прекрасные проповеди. Вы бы к ним сходили, *meine gnädige*, это вас развлечет, да и для души полезно. Вот и письмо для вас, — прибавила она, вынимая из-за корсажа запечатанный конверт без надписи и подавая его своей госпоже.

Отказаться принять это послание Клавдия была не в силах. Истомилась она в одиночестве и страхе, душа ее жаждала сочувствия и утешения, а внутренний голос шептал, что она найдет и то, и другое в письме таинственной незнакомки.

И ожидание ее сбылось. В конверте был всего только маленький листок бумаги, на котором было начертано красивым и твердым почерком изречение из Святой книги: «Приидите ко мне все трудящиеся и обремененные, и Аз упокою вас».

Больше ничего, но этого было достаточно, чтобы рассеять ее печаль, дать новое направление ее мыслям и возбудить в ней еще большее желание познакомиться с милой соотечественницей, так верно отгадавшей нравственный гнет, под которым душа ее начинала уже изнемогать.

— Что мне им сказать? — спросила Минна после довольно продолжительного молчания.

Перечитав несколько раз записку, Клавдия опустила голову и глубоко задумалась, но голос вестовщицы пробудил ее от забытья.

— Когда к ней можно идти? — спросила она.

Лицо Минны радостно прояснилось.

— Если вашей милости угодно, я вас хоть сейчас могу туда провести, — с живостью предложила она. — Теперь самое удобное время. Пан Товий внизу помогает людям графа прислуживать. К ним сегодня понаехало гостей больше, чем ожидали. А у фрейлейн Лины голова болит, она заперлась в своей комнате и приказала себя не беспокоить до тех пор, пока ваша милость не позвонит; теперь самое удобное время, — повторила Минна.

Правда. К чему медлить! Клавдия и без того слишком долго медлила обратиться к Тому, Который Один может спасти от всякого зла.

Ей вспомнились слова отца: «Никому и ни за что не уступай твоего Бога», — и она, не раздумывая больше, стремительно сорвалась с места.

Она одна, всеми покинута, в полной зависимости от человека, который против нее замышляет что-то загадочное, погибель ее души, может быть! И в ту самую минуту, когда она всего яснее сознает беспомощность, благодетельная рука растворяет перед нею дверь ко спасению, таинственный голос, отвечая смутному душевному стремлению, зовет ее к Богу, — не грех ли медлить и колебаться?

— Пойдем, — повторила она, следуя за своей спутницей по узкой винтообразной лестнице наверх, где под крышей были комнаты для прислуги.

Для большей предосторожности они шли без свечки, ощупью и крепко держась за руки. Наконец Минна ввела ее в каморку, залитую лунным светом, проникающим сюда беспрепятственно через незавешанное окно, и, указывая на маленькую дверь у самого этого окна, шепотом вымолвила:

— Вот здесь. Если вашей милости угодно отдохнуть...

Но Клавдия, нетерпеливым движением отстранив стул, который ей почтительно подставляли, объявила, что она не устала и желает скорее идти туда, где ее ждут.

Минна поспешила растворить дверь, и, следуя за нею, Клавдия очутилась в темном проходе, где слышно было пение, сначала отдаленное, а потом, с каждым шагом вперед, все громче и явственнее. В конце этого коридора, очень длинного и с таким низким потолком, что стоило ей только поднять руку, чтоб дотронуться до него, они дошли до лестницы, по которой спустились в обширную полутемную залу с чем-то вроде алтаря в глубине, как в церкви.

Тут какие-то люди, мужчины и женщины, в длинных темных плащах, первые с непокрытыми головами, а вторые, повязанные белыми платками, пели хором и с таким страстным увлечением, что никто из них не оглянулся, когда дверь скрипнула, растворяясь перед новыми посетительницами.

Протяжный и величественный напев, прерываемый по временам восторженными возгласами, показался знакомым Клавдии и напомнил ей родину. Слезы умиления брызнули из ее глаз, и она, как подкошенная, упала на колени.

И на это никто не обратил внимания. Однако, когда плач ее стал переходить в рыдания, от толпы поющих отделилась женщина, величественной, медленной походкой подошла к ней, опустилась рядом с нею на колени и, нежно ее обняв, прошептала ей на ухо:

— Молись, ищи помощи у Него.

И у Клавдии под пристальным и властным взглядом этой женщины стало вдруг мирно и хорошо на сердце, так же хорошо, как тогда, когда она засыпала в своей колыбельке под монотонное баюшки-баю доброй няни Григорьевны.

Что произошло потом — этого она сказать не могла. В сладком забытии, навешанном на нее взглядом таинственной незнакомки, душа ее поднималась все выше и выше над землей и казалось ей, что она слышит голоса ангелов, восхваляющих славу Божию в небесных пространствах.

И сколько времени это продолжалось, Клавдия не помнила, но, должно быть, долго, потому что, очнувшись, она увидела себя со своей покровительницей вдвоем в молельне. Из толпы женщин и мужчин, молившихся здесь, когда она вошла, не осталось ни души.

— Мы были одни перед алтарем, освещенным восковой свечой. Кругом царили мрак и тишина. Она смотрела на меня своими чудными глазами... О эти глаза! Никогда я их не забуду! Она была ко мне очень милостива, утешала меня словами из Святого писания, повторяла, что Господь меня не оставит, что все несчастные и покинутые — Его дети, и называла меня сестрой по духу. «Ты с нами молилась и теперь ты наша, — сказала она, между прочим, но к этому она прибавила, что здесь, в этом городе, мы больше не увидимся. — Сам Господь сегодня тебя к нам привел на наше последнее собрание. Сейчас я должна бежать из этой страны. Мне грозит неволя, может быть, и смерть. Полиции уже дано приказание меня арестовать, и с рассве-

том она явится в наше убежище. Общество наше распадется. Как сказано в Писании: «Поражу пастыря, и разбредутся овцы». Но ты не сокрушайся, не для того Господь нас свел, чтоб разлучить навеки, мы еще увидимся на этой земле»...

Клавдия плакала и, целуя руки загадочного существа, умоляла не покидать ее и взять с собой. Но желания ее не исполнили,

А Минне, вероятно, дозволено было последовать за пророчицей. Клавдия не видела ее больше после того как, встретив ее у дверей молельни, она молча довела ее прежним путем до спальни.

Начинало светать, и Клавдия с ужасом себя спрашивала: успеет ли пророчица спастись бегством от преследования?

Ни на минуту не могла она сомкнуть глаз и с нетерпением ждала утра, чтоб повидать Минну и узнать от нее, что произошло у соседей. Но напрасно простаивала она подолгу в коридоре и заглядывала на лестницу, что вела в комнатки под крышей, ожидая ее появления, Минна не показывалась.

Так прошло все утро. Перед обедом она наконец не выдержала и с напускным равнодушием спросила у горничной, убравшей ей голову:

— Как зовут ту девушку, что нанята в подмогу прачке, Минной, кажется?

— Ее уж нет у нас, *meine gnädige*. Скрылась куда-то сегодня утром, ни с кем не простившись и даже не забрав жалованья за месяц. Догадалась, верно, что ею недовольны и хотят ее уволить. Последнее время она стала дурно себя вести, уходила куда-то по ночам, к любовнику, верно. Ну а так как граф особенно строго относится к поведению прислуги и разврата у себя не терпит, пан Октавиус решил дать этой девчонке дожить месяц, а там объявить ей, чтоб она искала себе другое место.

— Я приготовила графине белое атласное платье к вечеру, — продолжала она, помолчав немного, — но, может быть, ее сиятельству будет угодно надеть розовое броше?..

— А кто живет в доме рядом с нами? — спросила Клавдия, не отвечая на вопрос о нарядах.

— В доме рядом с нами?! — повторила с изумлением горничная. — Иезус Мария! Да этот дом уж лет двадцать как стоит пустой. В нем нельзя жить, он слишком ветх. Граф осматривал его с архитектором и паном Октавиусом сверху донизу перед тем как здесь поселиться, и они реши-

ли, что даже прислугу в нем невозможно поместить. Никто в нем не живет, *meine gnädige*.

— Однако мне сегодня ночью послышалось пение за стеной, и я подумала, не у соседей ли занимаются музыкой.

— Это вам померещилось, *meine gnädige*, кому там заниматься музыкой, разве только летучим мышам, крысам да паукам.

И снова вернувшись к вопросу относительно вечернего туалета своей госпожи, она заметила, что если графиня захочет надеть белое атласное платье, то надо будет приготовить парюр из брильянтов с рубинами, если же она предпочтет нарядиться в розовое броше, надо вынуть кольцо и эгретку из жемчуга.

— Брильянты, жемчуг! К чему такое великолепие? — с рассеянной улыбкой спросила Клавдия.

— А как же? Ведь сегодня графиня в первый раз выезжает в свет, — объявила Лина.

Тут только госпожа ее узнала, что вечером ее везут в придворный театр, в оперу.

Ложу прислал сам король.

XXVII

Вот тут-то она его в первый раз и увидела.

Но так как она до сих пор никогда еще в театре не бывала и слушала оперу на сцене тоже в первый раз, то ей и в голову не приходило озираться на ложу, богаче прочих разукрашенную, из которой старик в расшитом золотом кафтане и окруженный блестящей свитой не спускал с нее лорнета.

Да и не он один, а вся остальная публика смотрела на нее с большим любопытством, чем на сцену, и занималась ею больше, чем представлением. Поглощенная невиданным доселе зрелищем и чудной музыкой, Клавдия и этого не замечала.

Ложа была большая, с аванложей. Туда после первого действия придворные лакеи внесли огромный серебряный поднос с таким множеством всевозможных фруктов и лакомств, что хватило бы на угощение двадцати человек, тогда как в ложе, кроме Клавдии с мужем, горничной Лины, переодетой дуэньей, да пажа Товия никого не было.

В антракте между третьим и четвертым действиями кто-то постучался в дверь, и, когда Товий ее растворил, Клав-

дия увидела одного из офицеров, толпившихся в глубине королевской ложи. Узнала она его, разумеется, по блестящему мундиру, а не по лицу. Незнакомых лиц мелькало вокруг такое множество, что она ни за что не могла бы отличить их одно от другого. И все как мужчины, так и женщины, казались ей молодыми и красивыми при ярком свете свечей, сверкавших в золотых люстрах, переливаясь разноцветными искрами в хрустальных подвесках этих люстр, а также в драгоценных камнях, которыми осыпаны были костюмы дам и кавалеров.

При появлении посетителя граф поднялся со своего места и, почтительно ответив на его поклон, пригласил движением руки Клавдию тоже встать и приблизиться к аванложе.

Покидая свое место, она нечаянно оглянулась на публику и вспыхнула от смущения: весь театр с напряженным вниманием смотрел на нее. Все лорнеты были направлены на их ложу. Ей сделалось очень неловко. Что в ней такого странного? Чем возбуждает она всеобщее любопытство? Разве мало кругом молодых женщин и девиц красивее ее и одетых пышнее и богаче, чем она?

Вон та полная дама в крайней ложе, что так иронически усмехается, наставив на нее лорнет, какая красавица! И как эффектно одета! Волосы ее сверкают, как солнце, так много на них бриллиантов. А та, дальше, в бархате густого розового цвета, усыпанном жемчугом, с золотым корабликом на высоко взбитых локонах, а соседка ее в палевом атласе с гранатовым бархатом, с серебряной, чудной филигранной работы, башней на голове, несравненно интереснее Клавдии. Да куда ни повернись, хорошеньких и нарядных дам множество; глаза разбегаются, не знаешь, которой отдать преимущество, все молоды и красивы, все без исключения. Почему же на нее только и смотрят? — спрашивала она себя с недоумением, входя в аванложу и отвечая глубоким реверансом на низкий поклон посетителя.

Нагнувшись, как будто для того, чтоб поправить ей платье, в то время как она проходила мимо нее, Лина успела ей шепнуть, что это посланец от короля, и Клавдия с подобающим почтением, скромно опустив глаза, выслушала цветистый комплимент, которым приветствовали ее. После же слов: «его величество просит графиню Паланецкую пожаловать после представления ужинать во дворец», — она еще ниже и еще почтительнее присела, точно перед нею сам король.

Все это проделывала она машинально, не отдавая себе ни в чем отчета, и очень удивилась бы, если б ей сказали, что реверансами своими и всей своей манерой себя держать она выразила полнейшую готовность исполнить все, что от нее потребуют. Мысли у нее путались, в ушах звенело, и она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее. Обменявшись несколькими словами с графом, офицер, прежде чем окончательно раскланяться, снова обратился к ней с какой-то фразой, из которой она одно только поняла, что, исполнив свое поручение, он уходит и что надо опять ему сделать низкий реверанс. И она сделала этот реверанс по всем правилам искусства, почтительно и грациозно, как учил ее многоопытный танцмейстер. Теперь ее уже нельзя было уверить, что из нее готовят будущую королеву. Она знала, что короли женятся на принцессах крови, а не на чужеземках темного происхождения. К тому же этот король стар и у него, без сомнения, есть жена, дети и даже внуки. Нет, тут что-то такое кроется, какая-то тайна.

Но особенного страха Клавдия не ощущала. Повлияло ли на нее успокоительно новое знакомство, сделанное ночью в соседнем доме, или, может быть, чудное зрелище с восхитительной музыкой, под обаянием которого она находилась несколько часов кряду, вознесло ее так высоко над землею, что ей трудно было вернуться к действительности. Так или иначе, но все, что с нею делалось, казалось ей волшебным сном и таким восхитительным, что не хотелось просыпаться.

То, что граф говорил ей дорогой в королевский замок, она слышала, но настоящим смыслом его слов проникнуться никак не могла. Как будто все это касалось другого кого, а не ее. А с нею разве может случиться что-нибудь дурное, после того как таинственная женщина взяла ее под свое покровительство и назвала ее сестрой? Разумеется, нет.

И напрасно голос рассудка шептал ей, что новая покровительница ее теперь далеко, что она должна была бежать из страны, ничто не могло разрушить очарования, навешанного магической силой этой женщины. Она чувствовала на себе ее взгляд все так же сильно, как тогда, когда она на нее глядела в полутемной молебне чудными черными глазами, такими пронзительными, что они проникали в самую душу и, казалось, читали в ней чувства и мысли, как в открытой книге.

Понятно, после того, что Клавдия несколько не изумилась, когда глаза эти снова перед нею мелькнули. Карета остановилась у ярко освещенного подъезда, и один из лаке-

ев в придворной ливрее, ожидавших гостей у мраморной лестницы, взяв ее на руки, как ребенка, чтоб не дать маленьким ножкам в белых атласных башмачках коснуться ступеней, бережно донес ее до широкой площадки, разукрашенной цветущими растениями и разноцветными фонарями.

Повинуясь какой-то непонятной и невидимой силе, Клавдия подняла голову и в одном из окон верхнего этажа, под самой крышей, увидала бледное лицо своей названной сестры и чуть не вскрикнула от радости.

Предчувствие ее сбылось: она здесь, с нею. И, разумеется, чтоб охранить ее от зла, для чего же больше? И действительно с Клавдией ничего дурного не случилось в загородном замке короля.

За ужином граф не присутствовал. Он доехал с нею до замка, а тут куда-то скрылся, и в ту ночь Клавдия его больше не видела. В королевские апартаменты ее ввел не муж, а какой то господин в расшитом золотом кафтани, должно быть, близкий к королю человек, если судить по тому, как часто обращался к нему его господин, от которого он ни на минуту не отходил; во время ужина он стоял за его креслом, наливал как ему, так и Клавдии вина в хрустальные стаканы и вообще распоряжался тут как старший над всеми лакеями, которых было множество, особенно если взять в соображение, что король ужинал с Клавдией вдвоем и не в одной из тех великолепных зал, через которые ее сюда привели, а в небольшой круглой комнате с зеркалами во всех простенках между широкими окнами, завешанными штофными голубыми портьерами, с потолком, расписанным амурами, и с мозаичным полом.

Сервировка стола, кушанья и вина соответствовали обстановке.

О чем с нею говорили, о чем ее расспрашивали во время этого ужина, Клавдия сказать не могла, одно только помнила она ясно, это то, что после того как выпила глоток какого-то сладкого густого ликера, непонятная истома стала постепенно разливаться по всему ее телу, сковывая все члены такою слабостью, что она не могла ни пошевелиться, ни произнести ни слова, а все, что ее окружало, и люди, и предметы, все это стало отдаляться куда-то все дальше и дальше. Удалялись и голоса, среди которых ей слышался и голос таинственной женщины, но смутно, с переливами, мало-помалу переходившими в пение, не то в гимн, слышанный прошлую ночь в молельне, не то в мотивы оперы,

улаждавшей ее слух часа два тому назад. А сердце ее билось все медленнее и медленнее, глаза смыкались.

Что́ это — смерть?

Вопрос этот был последним проблеском угасающего в ней сознания. Что было дальше — она не знает. Время пролетело быстрее молнии. Ей казалось, что она только что заснула, а сквозь завешанное окно в спальне, когда она очнулась, пробивался солнечный свет.

От темного угла у двери отделилась незнакомая фигура какой-то женщины благообразной наружности, в одежде и с манерами служанки.

— Ее сиятельство изволили проснуться? — спросила она заискивающим тоном, с почтительною поспешностью подходя к кровати, на которой Клавдия, не поднимая головы с подушек, в недоумении спрашивала себя: что́ с нею было? Как очутилась она дома, после того как потеряла сознание за столом во дворце? Кто перенес ее сюда? И почему не очнулась она раньше? Неужели все, что произошло в эту ночь, было сном, и то, что она была в театре и слушала оперу, и приглашение во дворец, и разговор с королем за ужином в круглой комнате с зеркальными стенами? Неужели во сне, а не наяву явилась ей и она?

Нет, нет, Клавдия до сих пор чувствует на себе ее взгляд. Все остальное, может быть, и сон, а это действительность. Она была с нею и смотрела на нее, никто ее не разуверит в этом.

А между тем незнакомка, ожидавшая пробуждения Клавдии в спальне, помолчав немного, решила сама откомендоваться.

— Я новая горничная графини, и зовут меня Августой. Фрейлейн Лина уехала на родину, — прибавила она на недоумевающий взгляд ее новой госпожи.

И, немного спустя, в ожидании вопроса, которого не последовало — Клавдия все еще не в силах была произнести ни слова, — она продолжала:

— Его сиятельство приказали просить ее сиятельство, чтоб они изволили готовиться к отъезду. Через час почтовые лошади будут у крыльца. Вещи все уложены.

— Через час? Мы едем через час? Куда? — вскричала Клавдия вне себя от изумления.

Но на вопрос этот никто ей не мог ответить. Не успела она встать и одеться, как явился Октавиус с приказанием от графа торопиться. Лошадей уже запрягали в дорожные экипажи.

Ехать пришлось густыми лесами, в которых водились разбойники. Во избежание неприятных встреч надо было непременно добраться засветло до того местечка, где предстоял ночлег.

Что это было за местечко, Клавдия так и не узнала. Привезли ее туда, когда уже начало темнеть, а выехали они оттуда на рассвете.

Ехала Клавдия в закрытой карете с Октавиусом и новой горничной Августой. Граф же поместился в другом экипаже с Товием, может быть, для того, чтобы не отвечать на расспросы супруги.

Никто с нею не говорил, и она тоже молчала. Впрочем, ей было не до разговоров. Мысли ее начинали распутываться, воспоминания принимали все более и более определенную форму. Ей теперь было ясно, что она каким-то чудом избежала страшной опасности, это — во-первых, а во-вторых, что этим самым она навлекла на себя гнев графа.

Для чего ее привезли в загородный королевский замок и оставили там одну с королем и что именно против нее замыслили, этого она не знала, но что спасением своим она обязана своей новой покровительнице, в этом она не сомневалась.

Недаром же промелькнуло перед нею бледное лицо с черными глазами в окне под крышей и недаром почувствовала она на себе властный взгляд в ту минуту, когда ею стало овладевать непонятное оцепенение, предшествовавшее потере сознания.

И Клавдии была так отрадна эта мысль, что теперь уж ничто не могло ее ни огорчать, ни беспокоить.

XXVIII

Путешествие длилось долго, ехали куда-то далеко. А куда именно — не все ли равно! Везде сумеет «она» найти Клавдию и от всяких бед ее избавить, значит, надо только благодарить Бога за ниспосланную милость и уповать на Него во всем.

С часу на час воздух делался мягче, теплее и душистее, а на десятый день их путешествия мимо окон кареты, из которых она любовалась прелестными пейзажами, замелькали зеленые рощи с апельсиновыми, миндальными и вишневыми деревьями в полном цвету, первые даже с плодами.

А была зима, когда они пустились в путь, было холодно и шел снег. Ехали быстро, останавливались только для то-

го, чтоб перепрячь лошадей, и, пользуясь лунным светом, путешествовали и ночью.

Миновали они таким образом множество городов, больших и маленьких, деревень и местечек, густо заселенных народом в чужеземной одежде, с домами оригинальной архитектуры. Люди эти, кажется, говорили по-итальянски, если судить по отрывкам разговора, долетавшим иногда до ушей Клавдии во время остановок у постоянных дворов, между обитателями и прислугой путешественников.

Выходить из кареты Клавдии было запрещено, а на вопрос ее, скоро ли они приедут, Октавиус отвечал, что ему это неизвестно. Граф никому не сообщил о своих намерениях. Может быть, они останутся в Италии, а может быть, поедут дальше.

Наконец в одно прекрасное утро граф сам подошел к карете своей супруги, чтобы объявить ей, что к вечеру того же дня они приедут в монастырь, где ее ждут и где она должна будет прожить года два, чтобы окончить свое образование.

О приключении, повлекшем за собою их отъезд из Германии, он не сказал ни слова, и Клавдия, разумеется, не напомнила ему про этот эпизод, она сама была бы рада про него забыть.

В монастыре Клавдию продержали два года, в отдельном помещении, комфортабельно и даже роскошно устроенном.

Прислугу ей дали ловкую и внимательную, но девушка эта ни на каком другом языке, кроме английского, не говорила, и Клавдия должна была объясняться с нею знаками.

Воспитанием ее занялись две монахини, одна гречанка, другая итальянка, обе очень умные и разносторонне образованные. Хорошего старинного рода, они знали французский и английский языки, как свой собственный, выглядели истыми аристократками, много путешествовали, видели все достопримечательности Европы, прочитали все выдающееся в литературе, и не было такого предмета, о котором они не имели бы понятия, и такого вопроса, на который не сумели бы ответить.

Одна из них примерно год занималась с Клавдией и музыкой, а затем, когда голос ее ученицы окончательно развился, в монастырь стал ездить учитель — важный толстобрюхий итальянец в напудренном парике и нарядном, модном кафтане, в жабо и манжетах из дорогих кружев.

И, должно быть, приезжал сюда издалека этот франт и брал за уроки недешево. Являлся он в монастырь на почтовых лошадях, но в своем экипаже, всегда под вечер, и пускался в обратный путь рано утром, на рассвете, переночевав в павильоне, предназначенном для знатных посетителей мужского пола.

Однако надзор над Клавдией, в начале очень строгий, мало-помалу стал ослабляться. Прискучило ли монахиням обращаться с нею как с узницей и нарушать исключительно для нее одной порядок, установленный в обители, убедились ли они в том, что порученное их попечениям молодое существо неспособно злоупотребить их доверием, а может быть, им показалось опасным как для ее здоровья, так и для нравственного ее развития лишать ее общества подруг и развлечений, свойственных молодости, так или иначе, но настоятельница, с месяц спустя после ее поступления в обитель, познакомила ее со своими племянницами, девицами де Рошнуар, и редкий вечер не приглашала ее в комнаты этих девиц, которые, не готовясь поступить в монахини, занимались музыкой, чтением светских книг и разговорами о мирских интересах, как в любом салоне сен-жерменского предместья.

Антуанетта и Клара, маркизы де Рошнуар, обе молоденькие, хорошенькие, остроумные и любопытные болтушки, с первой встречи полюбили Клавдию и наслушаться не могли ее рассказов про родительский дом и дальнюю родину. Клавдии же не было больше наслаждения, как говорить про то, что было ей дороже всего на свете. Наговорившись про милых сердцу досыта, ей становилось легче на душе, точно она их всех повидала.

И у Антуанетты с Кларой было что порассказать. Их сюда привезли из-за смут во Франции. Воспитывались они в Париже, тоже в монастыре, но какая разница со здешним! Там все было на модную ногу: их учили танцевать, по приемным дням блестящая светская молодежь являлась с комплиментами и любовными признаниями в великолепную залу, предназначенную для свиданий юных затворниц с родственниками. Впрочем, степени родства тут плохо соблюдались. Достаточно было познакомиться с братом или кузеном какой-нибудь из пансионеров, чтоб проникнуть в монастырь. Тут завязывались любовные интриги, кончавшиеся нередко браками. Бывали примеры, что бедные девушки, которым в свете негде было бы и встретиться с богатыми женихами, прельщали красотой и любезностью посетителей знатного происхождения, и таким образом

судьба их устраивалась так прекрасно, как никогда бы не удалось им устроиться дома.

Но то было в Париже, здесь же, в обители, среди дикой гористой местности, вдали от города, нечего было и мечтать о чем-нибудь подобном. Кроме поселян да грубых фермеров, даже и на богослужениях из посторонних никто не присутствовал. Да и кому была охота без особой надобности заглядывать в мурье, к которому и дорога-то от города вела такая скверная, что, только рискуя на каждом шагу сломать себе шею, лавируя между утесами и обрывами, можно было сюда проникнуть. А если б даже в обитель и заехал какой-нибудь предприимчивый воздыхатель, то все равно его дальше церкви не пустили бы. Устав был суровый, и соблюдался он строго; кроме отцов и мужей затворниц, как, например, виконта де Монтелика (который запер сюда жену за какую-то провинность и время от времени навещал свою несчастную жертву, чтоб читать ей скучнейшую и длиннейшую мораль), затворницам по целым месяцам не удавалось видеть людей из общества. Впрочем, девицы Рошнуар не очень этим сокрушались. Они были уверены, что затворничество их долго продолжаться не может. Как только порядок во Франции восстановится, родители их сами приедут или пришлют за ними доверенных лиц, и они снова возобновят отношения с парижскими своими подругами и кавалерами.

Поклонников у каждой из сестер было так много, что Клавдия изумлялась объемистости их сердец. Они же смеялись над ее наивностью и уверяли, что у них в Париже семилетние дети опытнее ее.

— Да неужели вы в самом деле замужем? — допытывались новые приятельницы Клавдии. — Ни за что невозможно этому поверить! Расскажите-ка еще раз, как это случилось.

И Клавдия рассказывала, как она жила спокойно в родительском доме с отцом, который весь день молился и читал святые книги в маленькой, скромной, как монашеская келья, комнатке, в то время как мать наряжалась, принимала гостей и выезжала со старшими дочерьми. Клавдию все считали ребенком, да и она сама думала только о куклах да об играх с меньшим братом, как вдруг ей совершенно неожиданно объявили, что она взрослая девица и что ее везут на бал. А потом, точно так же внезапно и без всяких приготовлений, провозгласили ее невестой графа Паланецкого и стали поспешно готовиться к свадьбе. Граф ездил к ним каждый день, привозил ей богатые подарки, но

ни о чем с нею не разговаривал. Она его очень боялась. На ее сестер мать давно гневалась, и их обеих отвезли в монастырь. Маленькому брату взяли гувернера, который всюду за ним следовал по пятам; впрочем, Клавдии было строго внушено, что, как невесте, ей неприлично играть с мальчиком и что она должна держать себя серьезно и важно, как будущая графиня Паланецкая. В новом своем положении ей было так тоскливо и жутко, что ей уж и самой захотелось скорее выйти замуж. Все-таки перемена и, может быть, к лучшему. Может быть, граф окажется снисходительнее матери и дозволит ей хоть с сестрами повидаться. Но он в тот же день, тотчас после венчания, увез ее далеко из родного гнезда, сначала в Варшаву, потом за границу, и вот с тех пор она все одна среди чужих и о своих ничего не знает.

— И граф действительно сделался вашим мужем? — спрашивали с недоверчивой усмешкой ее слушательницы.

Клавдия, краснея до слез, просила не касаться этого щекотливого вопроса. Она инстинктивно чувствовала, что ей еще тяжелее будет переносить загадочное существование, на которое обрек ее муж, если посторонним будет известна ее тайна, и обе девушки, тронутые ее печалью и смущением, давали ей слово исполнить ее просьбу. Но это было очень трудно; любопытство их было так сильно возбуждено, что при первом удобном случае они не выдерживали и снова пугали и конфузили ее каким-нибудь неосторожным намеком на загадочность ее положения.

Клавдии это наконец прискучило; она стала отдаляться от своих новых приятельниц и, не прекращая с ними дружеских отношений, под предлогом занятий опять стала проводить большую часть времени в одиночестве.

Прошло около двух лет. За это время граф навестил ее два раза и, по-видимому, для того только, чтобы собственными глазами убедиться в ее успехах. Он внимательно просматривал ее тетради, рисунки, рукоделие, заставлял ее петь и играть на клавесине и на арфе, прислушивался к каждому ее слову и, убедившись, что она приобретает навык к приятному обращению и светским разговорам, не утрачивая ни своей милой простоты, ни достоинства молодой женщины хорошей фамилии, выражал ей свое удовольствие богатыми подарками и цветистыми комплиментами.

Должно быть, он одаривал и ее учительниц, потому что в монастыре ожидали с нетерпением его посещений и радовались им, превознося его любезность и щедрость.

Супруге его завидовали.

— На такого кавалера, как граф Паланецкий, не жаль трех молодых щеголей променять, настоящий вельможа, — говорили племянницы игумены.

Что же касается Клавдии, ей было жутко в его присутствии, и смутные опасения, одно другого ужаснее, приходили ей на ум, но после его отъезда она мало-помалу успокаивалась. В шестнадцать лет трудно жить одними мрачными предчувствиями, даже и в угрюмой обстановке, а среди мирной жизни, с приветливыми людьми, в чудной, живописной местности и мягком климате нельзя было не отдохнуть душой, нельзя было постоянно помнить о неприятных событиях, предшествовавших ее приезду сюда, и сокрушаться мыслями о будущем. Молодость брала свое. Клавдия начинала даже забывать про странную встречу с таинственной женщиной, назвавшей ее сестрой, как вдруг в одно прекрасное утро за обедней она услышала голос, от которого у нее сердце забилося и дух перехватило от волнения.

Точно невидимой рукой перебросило ее из настоящего на два года назад, в ту комнату с белыми голыми стенами и со сверкавшим огнями алтарем, где под звуки родного напева она лишилась сознания, чтоб очнуться в объятиях названной сестры.

Это она поет! Как она сюда попала? Известно ли ей, что Клавдия здесь? И как ей дать об этом знать, если она этого еще не подозревает?

Вопросы эти всю обедню не давали ей ни на секунду сосредоточиться в молитве и, как ни повторяла она себе, что, сколько ни терзайся, все равно до конца богослужения ничего не узнаешь, воображение ее продолжало работать все в том же направлении. Уж не для нее ли, не для того ли, чтоб спасти ее от какой-нибудь опасности, явилось сюда это странное существо?

О как ей хотелось ее видеть, послушать ее, исповедаться ей!

Но до конца обедни нечего было об этом и мечтать. Не говоря уж о том, что пансионеры присутствовали при богослужениях на хорах, окруженные со всех сторон монахи-нями, и что оглядываться им было строго запрещено, высокий орган, задернутый зеленой тафтой, скрывался от публики в углублении стены. К нему вела потайная дверь, так что проникнуть туда можно было, не попадаясь никому на глаза.

Этим потайным ходом пользовались те проезжие артисты и артистки, которые в благодарность за гостеприимст-

во, оказанное им обителью, предлагали пропеть обедню или вечерню.

Однако голос, заставивший затрепетать сердце Клавдии, заинтересовал и подруг ее.

— Кто это сегодня за органом? Новенькую привезли? Откуда? Надолго ли?

На вопросы эти, которыми отрывистым шепотом перекидывались украдкой пансионерки и молоденькие белицы, те, что стояли ближе к монастырскому начальству, в том числе и Антуанетта с Кларой, отвечали, что певица — близкая приятельница игуменьи, приехала сегодня ночью с горничной и лакеем и, должно быть, издалека. Но откуда и надолго ли — этого никто не знал. Прислуга ее объясняется с посторонними знаками, как немая, а между собою говорит на непонятном языке.

Можно себе представить, с каким нетерпением ожидала Клавдия окончания службы.

Желанная минута наконец настала; обедня кончилась, орган смолк, молящиеся начали расходиться через среднюю большую дверь, растворенную для мирян обоюго пола, а молодые затворницы в сопровождении надзирательниц спустились с хоров по темной винтовой лестнице в длинный коридор с кельями по сторонам, чтобы пройти в чинном порядке попарно в высокую со сводами комнату, служившую столовой для белиц и пансионеров.

Но некоторые из этих последних, в том числе графиня Паланецкая, кушали у себя, и благодаря этой привилегии Клавдия еще с час времени оставалась в неизвестности насчет приезжей. Знает ли она, что названная ее сестра здесь? Найдет ли она возможным с нею повидаться? О как жаждала Клавдия этого свидания!.. С замирающим сердцем прислушивалась она к шагам, раздававшимся по гулкому коридору, в трепетном ожидании, что вот сейчас дверь растворится и она увидит свою таинственную покровительницу.

Наконец прибежала одна из белиц, прислуживавших игуменье, и объявила, что настоятельница просит графиню к себе.

Клавдия поспешно поднялась с места и последовала за посланной. Но в молельне, куда ее провели, кроме игуменьи никого не было.

— Садитесь, графиня, — сказала настоятельница, когда дверь затворилась за Клавдией. — Я должна вам передать привет и подарок от особы, которая принимает горячее участие в вашей судьбе. В нашей обители провела

несколько часов леди Мери Филиппс... Она только что уехала, — поспешила она прибавить, заметив невольное движение Клавдии к двери в соседнюю комнату, — и, к величайшему ее сожалению, не повидавшись с вами, но на то были важные причины, и вот она просила вас передать, чтоб вы не сомневались в ее участии и дружбе. И то, и другое она вам еще докажет на деле, и не раз в течение вашей жизни, но теперь обстоятельства так сложились, что она должна скрываться и, для их же пользы, держать втайне свои сношения с друзьями. На свете много злых людей, дочь моя, и, к несчастью, могущество их превышает силу добра, — продолжала она со вздохом. — Добродетель преследуется яростнее порока, когда она является обличительницею греха. Правда колет глаза, и удел праведников во все времена — гонения и муки. Но блажен тот, кто избирает узкий и тернистый путь к достижению Царствия Небесного, и только претерпевший до конца спасен будет.

Долго говорила она все в том же восторженном духе, навешанном на нее, без сомнения, посещением загадочной личности, выдававшей себя то за русскую, то за англичанку. Клавдия слушала ее молча, понутив голову и с болью в сердце. Марья Филипповна уехала, не повидавшись с нею! Она не сумела отгадать ее душевное настроение, она не подозревает, как Клавдии нужно с нею посоветоваться, чтобы знать, как ей поступать, когда ее увезут отсюда и снова бросят, беспомощную и одинокую, в жизненный водоворот. Разумеется, муж ее не без цели тратил целых два года на ее образование и на развитие ее талантов. У нее мороз по коже при мысли об этой цели. Кому рассчитывает он уступить свои права на нее? Может быть, злодею какому-нибудь!? И что ей тогда делать, у кого искать защиты и убежища?

— Она поручила мне вам сказать, графиня, чтобы в трудные минуты вы рассчитывали на нее, как на сестру, — сказала игуменья, точно угадывая мысли, кружившиеся в голове ее слушательницы.

— Но где же я ее найду? — вырвалось у этой последней.

— Вооружитесь терпением и выслушайте меня до конца, дочь моя. Вот подарок, который она мне для вас оставила, вы, без сомнения, в нем найдете ответ и на ваш последний вопрос.

С этими словами она подала Клавдии маленький плоский футляр из черного дерева с серебряной отделкой вроде

игольника, и, пожелав ей найти утешение в молитве, вышла из комнаты.

Клавдия нажала на чуть заметную кнопку в верхней части футляра, он открылся, и перед ее глазами сверкнула золотая медалька с вырезанным на ней всевидящим оком в треугольнике и изображением каких-то странных предметов, похожих на орудия, употребляемые плотниками, кругом же шла надпись славянскими буквами: «Не вверяйся человеческому предстательству, а уповай на Бога».

Поцеловав благоговейно медальку, Клавдия надела ее на шелковый шнурок с ладанкой, в которой была зашита записка от Марьи Филипповны с изречением из Евангелия, золотой крестик, надетый на нее при крещении, а также другой, деревянный, которым благословил ее отец; и когда она почувствовала новый подарок своей покровительницы на груди, ей сделалось так спокойно и радостно на душе, точно ее обнадружили невесть какими прекрасными обещаниями, точно она обрела защиту от всех напастей. А между тем она все еще не знала, где ей найти свою покровительницу в случае надобности и увидится ли она с нею когда-нибудь. Но, рассматривая футляр, в котором лежала медалька, ей показалось, что на дне его что-то такое белеется; это был клочок бумажки с надписью: «Genève. Pré l'Évêque. 30», а дальше по-русски: «Запомни и уничтожь».

Не задумываясь, исполнила она это приказание...

— И что ж, обращались вы когда-нибудь к Мери Филиппс по этому адресу? — спросил принц Леонард.

— Обращалась, когда так заскучала по родине, что чуть не умерла от тоски, — отвечала она.

Это было в Париже, с полгода после того, как граф увез ее из монастыря. Прошло более трех лет с тех пор, как она покинула родину и не получала вестей из дому. Скучала она по близким и раньше, но в ту зиму тоска ее усилилась до такой степени, что она уж ничем не могла развлечься. Чтение, занятия музыкой, рисованием — все опротивело. Ночи напролет плакала она, а когда засыпала на рассвете, то таким тяжелым сном, что разбуженная ее стонами камеристка в испуге прибегала в спальню, чтобы узнать, что случилось с ее госпожой.

Все это отзывалось на ее здоровье, она бледнела и худела не по дням, а по часам, и приводила этим в бешенство своего супруга. Время шло, жизнь в Париже при роскошной обстановке, которой он считал необходимым окружить

красавицу жену, стояла графу ужасно дорого, а между тем невозможно было никуда с нею показаться. Раз как-то он решился вывезти ее в театр, но в ту самую минуту, когда в их ложу вошла та особа, которой он хотел ее показать, с Клавдией сделался такой сильный истерический припадок, что ее без чувств должны были вынести из театра.

Когда она очнулась, в спальне прохаживался взад и вперед ее властелин. Заметив, что она открыла глаза, он подошел к кровати, и, устремив на нее суровый взгляд, от которого ей стало так жутко, что она не в силах была пошевелиться, он объявил ей твердым, холодным тоном, что, если она не выздоровеет, он вынужден будет заключить ее в дальний монастырь или в дом умалишенных.

— О России и о вашем прошлом советую вам совершенно забыть. Вы слишком долго со мною жили и слишком много про меня знаете, чтобы я мог отпустить вас на родину. Никогда не вернетесь вы в Россию и никогда не услышите о ваших родных, пока я жив; помните это и смиритесь; вы в моей власти, зависите от меня одного, а у меня тысяча средств заставить вас мне повиноваться, — прибавил он с ударением на последнем слове.

И, по-видимому, он был прав, защиты ей было ждать неоткуда. Разве они не были формально обвенчаны? Кто же решится впутаться между мужем и женой, даже и в таком случае, если бы она пожаловалась кому-нибудь на свое положение, а ей и рассказать про свои страдания некому. Как везде, так и в Париже, она была окружена шпионами и вела более одинокую жизнь, чем в монастыре; там у нее были подруги, с которыми можно было делиться мыслями, а здесь ее ни с кем не оставляли одну, кроме русской княгини, с которой граф познакомил ее тотчас по приезде, но дама эта была так предана ее мужу, что Клавдия опасалась ее почти столько же, сколько его.

Что тут было делать?

Как всегда, в минуты отчаяния, она вспомнила про свою таинственную покровительницу и написала ей по указанному адресу длинное письмо с описанием всех своих бедствий и опасений, умоляя о совете и поддержке.

Письмо это она отправила по почте через приказчика, принесшего из магазина какие-то вещи, купленные графом.

Человек этот, должно быть, очень удивился, когда, отослав под первым попавшимся предлогом ливрейного лакея, который ввел его в комнату, богатая и знатная графиня, краснея и запинаясь от волнения, передала ему запечатанное письмо и золотое колечко с рубином, умоляя со слеза-

ми в голосе отправить письмо, а колечко оставить у себя за труды и издержки. Он, наверное, подумал, что письмо было к любовнику, но плату за услугу предлагали слишком щедрую, чтобы отказаться от поручения (кольцо стоило около двухсот франков), и он его исполнил. Письмо дошло по назначению, и вскоре Клавдия получила на него ответ.

Ответ этот, как все, что исходило от ее названной сестры, достиг ее очень странным и неожиданным образом, через цветочницу, явившуюся к ней с букетом от графа

Муж ее всегда заботился о том, чтобы у нее были живые цветы в гостиной, и нередко сам заходил в оранжерею заказывать их, но, каким образом попал ему в руки именно этот букет с запиской Марьи Филипповны, это так и осталось для Клавдии тайной. Содержание же записки было следующее: «Родные твои здоровы. Молитвами родителя, сестры твои обрели путь ко спасению. Крепись и уповай на Всевышнего, искус твой близится к концу, скоро и тебя озарит свет истины и любви».

Клавдия по-своему поняла таинственный смысл этих слов. Накануне она познакомилась у княгини Зборской с принцем Леонардом, который с первого же взгляда произвел на нее сильное впечатление, и вот не прошло и трех месяцев, а они уже так близки друг к другу, как брат и сестра по духу, как же после этого сомневаться в том, что пророчество сбылось? Свет любви и истины ее озарил, и наступил конец ее страданиям.

На это слушатель ее вне себя от восторга целовал ее руки и клялся всеми святыми, что посвятит ей всю свою жизнь.

XXIX

В блаженном упоении, они, как невинные младенцы, жили одним только настоящим, забывая о прошлом и не заглядывая в будущее. Свиданиям их никто не мешал; граф из своего путешествия не возвращался, а принцесса Тереза была слишком поглощена своим лечением и мечтами о предстоящей ей новой жизни, чтобы по-прежнему интересоваться любовными похождениями своего супруга.

Она совершенно переродилась как нравственно, так и физически с тех пор, как подружилась с княгиней Зборской. От разговоров с новой своей приятельницей да от лекарств, которыми эта последняя ее лечила в ожидании пресловутого жизненного эликсира, она настолько поправи-

лась, что могла мечтать о таких наслаждениях, о которых знала раньше только понаслышке и к которым относилась прежде с глубоким негодованием.

Наконец ингредиенты, необходимые для составления чудесного снадобья, были получены, и княгиня принялась за его изготовление.

Дело это хранилось в строжайшей тайне. Принцесса запиралась со своей приятельницей в молельне, чтоб толковать о своих надеждах и намерениях.

Прежде всего она, разумеется, поедет в Париж, и не с мужем, а с княгиней, которая посвятит ее во все прелести этого чудного города, где женщины нашли секрет оставаться всю жизнь красавицами и до преклонных лет прельщать мужчин и наслаждаться любовью.

Столько нового и интересного открыла ей княгиня Зборская, что ей было смешно вспомнить, какой она была дурой до сих пор. Муж изменял ей бесчисленное число раз, а ей даже и в голову не приходило платить ему той же монетой. Жизнь ее проходит среди выживших из ума стариков и старух, тогда как она могла бы быть окружена блестящей молодежью, веселиться, тешиться одержанными победами над красивыми и остроумными поклонниками, как другие принцессы, королевы и императрицы, которые отлично умеют пользоваться выгодами высокого положения для счастья.

Изумительно ловко и искусно сумела княгиня Зборская открыть глаза на жизнь супруге принца Леонарда, — потому, может быть, что эта последняя никогда не слыхивала таких речей и что пересыпались они хитрыми комплиментами насчет ее красоты и ума. Так или иначе, но эликсир был изготовлен вовремя, именно тогда, когда принцесса Тереза узнала как нельзя лучше, как воспользоваться здоровьем и силами, которые он должен был ей доставить.

Результаты вышли блистательные: после первых же трех капель, принятых в каком-то густом и необыкновенно вкусном вине, принцесса Тереза почувствовала необычайный подъем духа и прилив бодрости и сил. Сердце ее забило, как у здоровой пятнадцатилетней девочки; мысли, одна другой радостнее и веселее, зарождались в мозгу. Ей захотелось бегать и резвиться, петь, плясать. Нечаянно взглянув в зеркало, она себя не узнала в румяной, молодой женщине, смотревшей на нее сверкающими лихорадочным блеском глазами. Весело захлопала она в ладоши, посылая воздушные поцелуи своему изображению.

Ей все казалось теперь возможным и приличным, все, что только могло доставить ей удовольствие. Почему и ей тоже не путешествовать, не повидать свет и людей, как другие? Она богата, знатна, всюду ей будет оказан почетный прием, и теперь, когда болезнь, единственное препятствие, мешавшее ей наслаждаться жизнью, устранена, почему же не наверстать потерянного времени?

Про ребенка ей и вспоминать не хотелось; все такой же бледный и худой, как и прежде, с тупым выражением в выцветших, как у старика, глазах, он напоминал ей то время, когда она и сама была такая же.

Впрочем, княгиня обещала и им заняться после, когда здоровье его матери будет окончательно восстановлено, чего от одного приема эликсира нельзя было ждать.

Она предупредила свою пациентку, что действие ее снадобья непродолжительно.

По истечении известного времени должна наступить реакция.

— Но вы не пугайтесь, ваша светлость, — сказала она ей, — я уложу вас в постель, как только вы почувствуете утомление, и дам вам порошок, от которого вы заснете крепким сном, а утром я буду в вашей спальне раньше, чем вы успеете открыть глаза, и после нового приема эликсира вы опять будете себя чувствовать прекрасно.

Все вышло так, как она предсказывала; часа через три принцесса ощутила большую слабость и впала в тревожное состояние духа, но это длилось недолго; проглотив порошок, приготовленный княгиней, она заснула, как убитая, а на следующий день после приема эликсира снова почувствовала себя бодрой и здоровой.

Но на этот раз принцессе непременно захотелось показаться в своем новом виде домашним, и, как ни уговаривала ее княгиня подождать, чтоб действие лекарства окончательно укрепило ее организм, она настояла-таки на своем, позвала своих фрейлин, приказала им вынуть из кладовой, где хранились ее сокровища, драгоценные украшения и наряды, предназначенные для высокостепенных случаев, и причесать ее по последней моде, а пока ее убирали перед зеркалом, она со странною пристальностью всматривалась в свое лицо, болтая без умолку такой неприличный вздор, что и фрейлины, и старые ее тетки, Оттилия и Розалия, с испугом переглядывались в полной уверенности, что принцесса сходит с ума.

И они были правы: то, что происходило с принцессой Терезой, ничему иному, кроме острого умопомешательства, нельзя было приписать.

С каждой минутой речь ее становилась сбивчивее и неприличнее. Выражения, срывавшиеся с ее языка, были так циничны, идеи, высказываемые ею, так бесстыдны, что старые девы, окружавшие ее, бледнели от страха и стыда.

И вдруг, в самый разгар бешеного припадка, овладевшего ею, она вспомнила про мужа и стала кричать, чтоб его немедленно к ней позвали.

— Принц со вчерашнего вечера в замок не возвращался, — объявила одна из фрейлин.

Принцесса побагровела от гнева, затем дико вскрикнула, схватила за сердце и упала мертвая на руки окружающих.

Когда первая минута ужаса и замешательства миновала, когда прибежавший на зов старый доктор констатировал смерть от неизвестной причины, а капеллан с секретарем осторожно сообщили герцогу о постигшем его несчастье, вспомнили и про русскую княгиню, находившуюся последнее время неотлучно при покойнице.

Но ее в замке не оказалось. А между тем многие видели, как она в то утро пришла по обыкновению на половину принцессы. Вышла, верно, потайным ходом задолго до катастрофы; при туалете принцессы она не присутствовала.

Уж не от снадобьев ли, которыми она ее пользовала, приключилась беда?

Подозрение это, передаваемое из уст в уста сначала шепотом, а потом все громче и громче, достигло наконец и ушей старого герцога.

Как ни был этот последний удручен печалью по любимой внучке, он, однако, с негодованием вспомнил, что русскую княгиню не кто иной как сам супруг принцессы ввел в их замок, и после бурной с ним сцены приказал произвести тщательный обыск в жилище подозрительной иностранки, а ее арестовать и засадить под строжайший караул в городскую тюрьму.

Но приказание это оказалось невыполнимым; княгиня уже с неделю как покинула замок Ротапфель, со всем своим штатом и имуществом.

Из какого убежища продолжала она являться каждый день в герцогский замок и где проводила ночь после свидания с принцессой, — никто этого не знал.

От посещавших ее раньше эмигрантов тоже ничего нельзя было узнать; все они считали ее уехавшей за границу. Несколько дней тому назад она распростилась со своими друзьями, и многие видели, как ее дорожная карета выехала из замка Ротапфель. День клонился к вечеру, но ночи были лунные, и, если не жалеть лошадей, легко было доехать до границы к рассвету.

Все это рассказывалось с такими подробностями и так единогласно, что сомневаться в правдивости рассказчиков было трудно; скорее можно было предположить, что обитатели замка сделали жертвой мистификации и что не княгиня Зборская, а какая-нибудь другая ловкая авантюристка втерлась в доверие к несчастной принцессе Терезе.

Но какую же роль играл тут принц Леонард?

Стали всплывать наружу и его тайны.

Заговорили про знатную иностранку, поселившуюся месяца три тому назад в городе. Последнее время принц проводил у нее все ночи. Это могли подтвердить и сторож у городских ворот, пропускавший его в город каждый вечер после десяти часов, а также и те из обывателей, которые вставали рано и видели его выходящим из дома, занимаемого графом Паланецким, на рассвете каждого утра, не говоря уж про камердинера, от которого принцу трудно было бы скрыть свои шашни.

Давно уж подданные герцога Карла забавлялись романом его сиятельного зятя. Но знатная иностранка, пленившая его, была так прекрасна и так щедро помогала бедным, а принц так ласков и великодушен, что к любовным похождениям этой интересной парочки одни только брюзгливые старики относились сурово. Однако скоропостижная смерть несимпатичной принцессы заставила всех призадуматься, в том числе и приверженцев ее мужа и прекрасной иностранки. Подозрениям, поднятым против этой последней, трудно было найти отпор: смерть явилась так неожиданно, так внезапно и так кстати для влюбленных.

Что же касается Клавдии, она ничего не подозревала, и о катастрофе, обрушившейся на герцогский замок, узнала позже всех.

Ничего не предчувствовал и принц, расставаясь с нею, как всегда, рано утром после ночи, проведенной в мечтах о предстоящем им счастье. Он был весел, покоен и обещал прийти вечером раньше обыкновенного. Супруга его сделалась так снисходительна и так мало интересовалась им, что можно было уйти из замка, не простившись с

нею, она этого и не заметит. Характер ее совсем изменился с тех пор, как благодаря новому лечению здоровье ее стало улучшаться. Она иначе стала ко всему относиться; очень может быть, что она сама предложит супругу развод.

В уповании этом поддерживала их и княгиня Зборская, последнее время часто навещавшая Клавдию и все с хорошими вестями. Сочувствие ее к влюбленным не ослабевало; напротив, видеть их вполне счастливыми сделалось как будто целью ее жизни, так она за них хлопотала. Пользуясь влиянием своим на графа Паланецкого и дружественными сношениями с принцессой Терезой, она ловко пускала в ход как красноречие свое, так и знание человеческого сердца для достижения цели.

Понятно, что при этом и слабости представителей противного лагеря не были забыты; через нее у принца шли переговоры с франкфуртскими евреями насчет покупки принадлежащих ему лесных участков в Тироле; благодаря ее энергии дело это близилось к благополучному концу, и двести тысяч талеров, достаточных, по ее словам, для выкупа Клавдии, должны были быть доставлены графу Паланецкому на днях. Взамен этой суммы он обязывался дать письменное удостоверение в том, что отказывается от всех своих прав на девицу Клавдию Курлятьеву, русскую дворянку, которая, хотя и обвенчана с ним по обрядам русско-греческой церкви, но *de facto* женой его не сделалась.

Само собой разумеется, что все это производилось помимо Клавдии, которую в эти коммерческие сделки ни княгиня, ни принц не находили удобным посвящать; она знала только одно, что в скором времени будет жить неразлучно со своим милым, а где и как — об этом ей и в голову не приходило заботиться.

В тот день, как уж сказано выше, принц Леонард покинул ее в особенно радостном настроении духа, а потому и сама она была веселее и спокойнее обыкновенного. Проспав после его ухода крепким, безмятежным сном часа четыре, она проснулась, когда солнце было уже высоко, и, вспомнив последние слова принца, со счастливой улыбкой позвонила и спросила у горничной, вошедшей на ее зов: какова погода?

— Прелесть, графиня. Был дождь, но теперь небо ясно, солнышко светит, и в саду цветы чудесно пахнут, — отвечала с заискивающей поспешностью камеристка, средних лет худощавая дева желчного темперамента, но такая хит-

рая и ловкая, что у кого бы она ни служила, все ей были довольны.

Клавдия поспешно оделась и вышла на террасу. Ей сказали правду: теплый летний дождь освежил зелень и прибил пыль, а цветы пахли сильнее обыкновенного. До завтрака Клавдия любовалась ими и делала букеты для украшения террасы, на которой принимала своего возлюбленного. Входя в столовую и увидав одинокий прибор на роскошно сервированном столе, она вспомнила, что княгиня Зборская обещала завтракать с нею в этот день, и спросила у прислуживавшего ей лакея, не было ли для нее письма от княгини. Ей отвечали, что никто не приходил, и она преспокойно стала завтракать одна, не придавая особенного значения неаккуратности своей приятельницы. У нее столько дел, мало ли что могло ее задержать.

Однако наступили и сумерки, а княгини все не было. Клавдия села за клавесин и стала петь. Голос ее, очень сильный и звонкий, гулко раздаваясь по комнатам с высокими потолками, достигал через растворенные окна улицы. Но в этот вечер, не для того, чтоб восхищаться им, останавливались прохожие у запертых ворот. В доме с минуты на минуту суматоха усиливалась, прислуга толпилась по углам, чтобы таинственным шепотом передавать друг другу зловещие слухи о смерти принцессы и о подозрениях на их госпожу. Паника усилилась еще больше, когда стало известно, что домоправитель и секретарь графа, пан Октавиус, скрылся неизвестно куда. Утром приходил к нему какой-то незнакомец, с которым он довольно долго беседовал на непонятном языке, вероятно, по-польски, а потом он с ним вышел, захватив с собою маленькую шкатулку черного дерева с серебряной отделкой, что стояла всегда на бюро у графа; с тех пор прошло более пяти часов, но он не возвращался, и отсутствие его усиливало зловещие подозрения людей, привыкших во всем ему повиноваться и ничего не предпринимать без его приказаний.

Утром, когда он был еще дома, никто не предвидел ни катастрофы, случившейся в замке, ни ее последствий; весть об этом дошла сюда с улицы только к вечеру, и всеобщее смятение, усиливаясь с каждой на минутой, достигло накопец и виновницы переполоха.

Открыть глаза госпоже на предстоящую опасность вызвалась горничная Мальхен. Ее больше всех приводило в негодование невинное неведение Клавдии.

— Прилично ли ей распевать, как ни в чем не бывало, когда весь город в один голос галдит, что принцессу для того отравили, чтобы она не мешала ей амурничать с принцем! Да это просто срам, — повторяла она. А на замечание, что графине, без сомнения, ничего неизвестно, Мальхен объявила, что быть этого не может.

— Из-за нее человека отравляют, и чтобы она ничего не знала, да кто же этому может поверить? — решила она, пожимая плечами. И не колеблясь, отправилась в гостиную. Дверь она распахнула с такой силой, что Клавдия вздрогнула и оборвала пение на полуноте.

— Что тебе, Мальхен? — спросила она, невольно смущаясь под пристальным, вызывающим взглядом вошедшей.

— Принцесса Тереза умерла.

Клавдия побледнела. Но в волнении своем и испуге она не заметила, каким странным тоном ей было сообщено роковое известие, и, встав с места, стала осыпать вестовщицу расспросами. Когда это случилось? Каким образом? Ведь принцесса чувствовала себя прекрасно...

— Вам лучше знать, — грубо перебили ее.

— Мне?!

— Ну да, вам, весь город говорит, что из-за вас ее отравили...

На этом она остановилась, хотя ее и не прерывали, но на лице ее слушательницы выразилось такое изумление, глаза ее так широко раскрылись от ужаса, что сомневаться в ее невинности не было никакой возможности.

— Может быть, это и неправда, но все это говорят, — пробормотала Мальхен, понижая голос и отворачиваясь, чтобы не встречаться взглядом с госпожой.

Клавдия и на это не вымолвила ни слова. У нее перехватило дыхание, в глазах помутилось, и как ни силилась она собрать мысли, ей это не удавалось, беспорядочным вихрем проносились они в мозгу, одна другой ужаснее и безнадежнее.

Простояв с минуту неподвижно, точно в столбняке, она зашаталась, упала в кресло, случайно очутившееся за нею, и зарыдала.

Мальхен не ждала таких последствий от ее заявления, и чувство, похожее на раскаяние и жалость, зашевелилось в ее душе.

Постояв перед нею с минуту и не зная, что сказать, она вернулась в прихожую, где люди продолжали толковать об опасности, угрожавшей их госпоже, и, рассказав, как было

принято графиней известие о внезапной смерти принцессы, прибавила к этому: «Принц, может быть, и причастен к этому делу, но что наша госпожа тут ни при чем, я в этом готова поклясться на Евангелии...»

На нее со всех сторон посыпались возражения.

— А ты, прежде чем за нее распинаться, послушала бы, что народ толкует по всему городу. Ну-ка, сунься на улицу да повтори там во всеуслышание то, что ты здесь говоришь, да тебя в клочья разорвут, вся улица запружена народом, — объявил поваренок.

— Тут и смотреть нечего, отсюда слышно, как галдят, — заметил на это лакей.

Они были правы; шум голосов, с минуты на минуту усиливаясь, как рокот бушующих волн, разливался на далекое пространство.

— Не ворвались бы сюда, долго ли разнести ограду, — вымолвила, бледнея от ужаса, одна из женщин.

— Зачем ограду ломать, прикажут ворота отпереть, мы отворим, а то ведь, чего доброго, и нас с нею убьют...

— Понятно, чего ее жалеть, своя-то шкура ближе к телу...

— Это как есть. Распинаться нам из-за нее нечего, она нам не мать, не сестра...

— Не для нас она с принцем-то развратничала...

— Вот теперь и расхлебывай... Муж-то недаром заранее убрался...

— Да и Октавиус-то не промах, знал, верно, что никому тут из них несдобровать.

Кто-то напомнил, что и любимца своего, пажа Товия, граф вовремя укрыл от беды, взяв его с собой. Остались в доме одни только чужие, которым нет никакого дела до иностранки, явившейся сюда из неведомой земли, неизвестно с какими целями.

Что наружность у нее красивая и что она милостыню щедро раздавала, так это ровно ничего не значит; служители дьявола всякую личину на себя могут принять, чтобы соблазнять людей. Связать бы ее, ведьму, заковать в цепи да в тюрьму засадить, там под пыткой во всем сознается.

Однако, невзирая на эти злые намерения, все попятилось назад, а не кинулись отпирать ворота, когда народ с криками ярости стал колотить в них палками, кулаками и бросать грязью и камнями. Выдать ослепленной бешенством толпе беззащитную и невинную женщину никто первый не решался.

XXX

А тем временем вот что происходило в комнате, где Клавдия, наплакавшись после ухода Мальхен, пребывала в каком-то странном душевном оцепенении. Самые разнородные чувства боролись в ее сердце. После безумного страха, от которого она холодела с ног до головы и дрожала, как в лихорадке, преступная радость стала заползать ей в душу, рисуя в воображении картины счастья, одну соблазнительнее другой. Чего им бояться, когда они ни в чем не виноваты! Если принцесса умерла не своей смертью, то пусть казнят тех, кто ее отравил или другим каким-нибудь образом сократил ей жизнь, а они тут ни при чем. Завоевать себе свободу они надеялись не преступным способом, а либо путем развода, либо бегством в далекую страну, где они прожили бы всю жизнь под чужими именами. Разумеется, то, что случилось, развязывает им руки и самым простым, самым естественным образом приближает их к заветной цели, но они и пальцем не шевельнули для этого. Кто же может их обвинять, если они воспользуются тем, что предоставляется им судьбой?

Ничто не мешало Клавдии предаваться грезам. Гул толпы, неистовствовавшей у ворот, долетал сюда так слабо, что его можно было принять за шелест листьев, вздымаемых ветром.

Наступила ночь, теплая, душистая, озаренная серебристым светом луны, выплывающей из-за ветвистых деревьев.

Уголок этот своим неземным спокойствием и мирной красотой представлял странный контраст с бушующим народом, осыпавшим угрозами и проклятиями молодую беспомощную женщину, погруженную в думы, не имеющие ничего общего с поднятой против нее бурей. Здесь тишина нарушалась одним только монотонным плеском воды, падающей алмазной струей в мраморную чашу, поддерживаемую наядами, да легким шорохом насекомых в траве и листьях, но, когда ворота стали подаваться под напором сотен рук, пытающихся их выломать, в отдаленном конце сада, в том месте, где ограда особенно густо поросла вьющимися растениями, маленькая калитка, скрипя заржавленными петлями, растворилась и вошла женщина, закутанная с головой в длинный темный плащ с капюшоном, как у монахов.

Быстрой и уверенной походкой, но избегая залитых лунным блеском аллей, проскользнула она тенистыми тропинками к террасе, бесшумно, как тень, поднялась по ступ-

пеням и подошла к растворенной двери. Тут она остановилась и, отыскав глазами Клавдию, продолжавшую лежать неподвижно в кресле у клавесина, устремила на нее пристальный и властный взгляд своих больших черных глаз.

Тотчас же почувствовала Клавдия этот взгляд и без борьбы покорилась его силе.

Проникая ей все глубже и глубже в душу, он леденил ей кровь и сковывал ей члены. Ни единым мускулом не в силах она была шевельнуть, но сознание не покидало ее. Это был не обморок, а полнейшее подчинение всего ее существа чужой воле. В мозгу, точно от дуновения могучего духа, рассеивался туман сомнений и испарялись одно за другим колеблющиеся грезы и двусмысленные представления; место их занимали ясность и спокойствие.

Она пришла, значит, все будет так, как должно быть. Клавдии не о чем больше заботиться, ей остается только слепо предать себя ее воле, превратиться в живой труп.

Ни страха, ни удивления она не ощущала, и одного только страстно желала ее душа — еще сильнее, еще глубже проникнуться таинственной силой, охватывавшей ее со всех сторон могучей и, как воздух, невидимой, неуловимой струей. Хотелось утонуть в этих волнах, чтоб очнуться не здесь, а там, высоко над землею, в самом источнике света, из которого они исходили.

А между тем взгляд незнакомки становился все повелительнее и повелительнее. Резким движением головы откинулся назад капюшон. Продолговатое худощавое лицо с резкими чертами и сверкающими глазами производило впечатление призрака; оно было бледно, как полотно, и казалось еще бесцветнее от черных, как смоль, волос, окаймлявших его. Узкие губы судорожно сжимались; левая рука с длинными тонкими пальцами повисла, как плеть, правая же начала конвульсивно подергиваться, а затем ее вдруг точно невидимой силой приподняло вровень с лицом Клавдии; пальцы вытянулись, одеревенели в воздухе, и из них стал исходить серебристыми лучами бледный фосфорический свет.

Проникая все глубже и глубже в сердце Клавдии, свет этот гасил в ней постепенно и волю, и сознание. Она переставала ощущать свое «я» и расплывалась все больше и больше в чуждом и могущественном элементе, притягательной силе которого не было возможности противостоять.

— Смерть! — простила она чуть слышно.

— Не смерть, а возрождение, — вымолвила ее повелительница.

И, вынув из-под широкого плаща, окутывавшего ее с ног до головы, флакон из горного хрусталя, она пахучей жидкостью янтарного цвета, которой он был наполнен, потерла виски Клавдии. Лицо молодой женщины вытянулось и окаменело, как у мертвой; глаза сделались стеклянные, с остановившимся взглядом, а дыхание стало вылетать из груди с трудом, точно под давлением страшного кошмара.

— Гляди! — отрывисто произнесла незнакомка, не спуская со своей жертвы повелительного взгляда широко раскрытых огненных глаз.

Клавдия не шелохнулась, только мускулы на лбу и между бровями сдвинулись от напряжения воли, да бледные губы судорожно сжались.

Прошла минута в молчании.

— Видишь? — спросила незнакомка.

— Вижу! — вырвалось из сдавленного спазмом горла ее жертвы вместе с глухим болезненным стоном.

— Человек, который называет себя твоим мужем, в двух шагах отсюда, на мельнице Каспара. Он все время тут жил и руководил всеми действиями княгини...

— Да, — прошептала Клавдия.

— И она теперь с ним. Их связывает множество содеянных сообща преступлений. Она жена его брата, которого они свели с ума и держат в подвале на цепи, как злую собаку, в том самом замке, где он родился и вырос хозяином. Убить его они до сих пор не решаются, потому что Господь этого не допускает, но то, чему они его подвергают, хуже смерти. Теперь они сговариваются, как им поступить дальше, ждать ли здесь последствий смерти принцессы, или бежать за границу. Сейчас до них дойдет весть о возмущении в бурге и про то, что народ жаждет с ними и с тобой расправиться, и они убегут сначала во Францию, а оттуда в Америку. Цель их будет достигнута; в то время как она медленным ядом отравляла принцессу, он, по доверенности принца, получал деньги от франкфуртских жидов за лес в Богемии, и деньги эти теперь при нем, — продолжала ясновидящая пояснять видения, проносившиеся перед духовными очами несчастной Клавдии. — Деньги эти он получил за тебя, за твою проклятую красоту. И принцессу умертвили из-за тебя, чтоб мужу ее удобнее было с тобою развратничать. Вот какой ценой куплено грешное счастье, которым ты наслаждалась эти три недели! Душа вашей жертвы вопиет к небу о мщении, и всюду, куда бы вы ни бежали от людского правосудия, она за вами последует, везде ее бледная тень будет становиться между

вами, как бы крепко ты к нему ни прижималась, у кого бы ни искала защиты и пристанища, нигде ты от нее не спасешься, везде она тебя найдет, ибо она дух, а «дух, идеже хочет, веет». Одно у тебя теперь осталось убежище — Тот, Который помиловал разбойника на кресте.

— О Боже! Помилуй меня! — простонала Клавдия.

А повелительница ее между тем продолжала:

— Смотри, в каком душевном смятении твой сообщник. Карающая рука Всемогущего и на него опустилась. Он уже чувствует себя во власти князя тьмы, и тоскою отравлено его сердце и его любовь к тебе. Вот он стоит у гроба той, для которой он клялся перед алтарем быть верным мужем и которую умертвили, чтоб ему через ее труп перешагнуть к союзу с тобой, и как ни старается он отогнать черные подозрения, слетающие на него, подобно стае зловещих воронов, они с каждой минутой все сильнее и сильнее угнетают его. Вот он вспомнил свое первое свидание с тобой у вашего злого гения — княгини, как она искусно разжигала в нем страсть к тебе, как обнадеживала вас лживыми представлениями, как заглушала в вас совесть... Теперь перед трупом той, что служила вам помехой, он все вспоминает, и каждое твое слово, каждый взгляд, каждый поцелуй жгучей болью отзывается в его сердце. Видишь ли ты его? Слышишь ли ты его? Понимаешь ли, что близка минута, когда он проклянет тебя за смертный грех, в который ты его вовлекла? — спросила она, грозно возвышая голос.

— Все вижу, все слышу, спаси меня! — вымолвила Клавдия.

— Встань и иди искупать преступление, содеянное из-за тебя, — сказала незнакомка.

Клавдия автоматически, как нагальванизированный труп, поднялась с места и последовала за своей повелительницей в спальню.

— Возьми ключи, отопри ящики, где хранятся твои драгоценности, вынь их и передай мне, — продолжала повелевать незнакомка отрывистым голосом.

Когда и это было исполнено, она приказала ей сесть к столу и написать прощальное письмо принцу Леонарду, в котором заклинала его не разыскивать ее. В письме этом Клавдия отнимала у него всякую надежду увидеться с нею на земле.

И этому требованию графиня Паланецкая беспрекословно повиновалась.

— Теперь надень эту рясу, — скомандовала ее повелительница, указывая на монашеское платье, неизвестно ка-

ким образом очутившееся на постели. — Опусть на лицо капюшон, измени походку, тебя должны принять за монаха, и иди рядом со мной, не поднимая глаз от земли и не останавливаясь, что бы вокруг тебя ни происходило.

Минут через десять, в то самое время, когда толпа, вооруженная палками, топорами и ножами, врывается с улицы в разбитые ворота, по узкому переулку, тянувшемуся с противоположной стороны, вдоль изгороди, окружавшей тенистый сад, два монаха поспешно пробирались к городским воротам.

Останавливать их и допрашивать при господствующей в городе панике никому не приходило в голову, и они благополучно добрались до большой дороги, где их ждал закрытый экипаж, запряженный парой лошадей, который к рассвету довез их до границы герцогства.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Наступила зима 1801 года. Санный путь установился, и морозец, градусов в шесть, румянил щечки красавиц, прогуливающихся по Кузнецкому мосту и по Царской улице (теперешняя Тверская) в меховых шубках и модных шляпах колесами. Вокруг них увивались длинноволосые франты в бекешах и шинелях со множеством пелерин и стоячими воротниками, такими высокими, что в случае надобности в них можно было уйти с головой от холода или чтоб скрыться от любопытных взглядов. Вереницами тянулись по главным улицам раззолоченные возки, с выглядывавшими из отороченных мехом окошек веселыми детскими личиками, ползли допотопные колымаги со старыми и малыми, неслись щегольские санки иностранного фасона, ловко лавируя по скользким тропинкам между высокими сугробами, сверкавшими разноцветными блестками под лучами зимнего солнца.

День был такой ясный и радостный, что всем дышалось легко, и самые жгучие печали притуплялись. Даже из дома князя Дульского, в приходе Успения на Могильцах, выехал возок четверкой с семьей опального вельможи.

Это случилось в первый раз с тех пор как князя постигла царская немилость, и прохожие с любопытством останавливались, чтоб взглянуть на княгиню и на ее детей.

Княгиню Веру Васильевну Москва считала своей. Она здесь родилась и выросла, здесь и родители ее всю жизнь прожили, здесь умерли и похоронены в семейной усыпальнице при женском монастыре. Муж увез было ее в Петербург, да ненадолго; с кончиной царицы, при которой он занимал важный придворный пост, окончилась и его служебная карьера и, по всеобщему мнению, окончилась навсегда. Не прошло и полугода по воцарении нового императора, как в одну прескверную для князя Артемия ночь к дому, который он занимал с семьей на набережной Мойки, подкатил фельдъегерь, и старый дворецкий вошел

в спальню господ с таким испуганным лицом, что барин тотчас же догадался, в чем дело.

Впрочем, уже по тому, как мало потребовалось ему времени на сборы в дальний путь, нетрудно было понять, что князь ждал катастрофу и давно готовился к ней.

Не так отнеслась к ней княгиня. С нею сделался обморок, а когда она пришла в себя, отчаяние ее было так сильно, и она так рыдала, обнимая супруга, точно прощалась с ним навеки. А между тем сравнительно с несчастьями, которые обрушивались на других, постигшую их неприятность даже и бедой нельзя было назвать: князю приказано было жить безвыездно в имении, доставшемся ему от бабки, княгине же въезд был запрещен только в Петербург.

Первые два года супруги не разлучались, и только на третий, после поездки за границу для поправления здоровья, расстроенного последними потрясениями, княгиня поселилась на зиму с детьми в Москве, где зажила тихо и скромно, как подобает супруге впавшего в царскую немилость дворянина, посвящая себя всецело добрым делам, молитве и воспитанию детей.

Но потому ли, что своим стремлением к уединению и чересчур уж строгим выбором знакомств она оскорбила тех из прежних приятельниц, которых стала чуждаться, а может быть, потому, что действительно новые связи, приобретенные за границей, повлияли на ее ум и сердце, — так или иначе, но поведение ее находили странным, и шла про нее молва, будто она подпала под влияние общества мистиков, имеющих адептов всюду, между прочим, и в Москве. На чудаков этих правительство и раньше взирало косо, а теперь к ним относились еще строже. Теперь им волея неволей приходилось обставлять еще большею таинственностью свои сборища. Сходились они не иначе как ночью, в покоях, обращенных окнами в сад или во двор, с плотно закрытыми ставнями.

Княгиня навлекла на себя подозрение в дружбе с этими людьми благодаря тому, что один из них, считавшийся опасным и влиятельным, часто ее навещал. Редкий день карета его не простаивала по целым часам у подъезда ее дома, и тогда никого из посторонних не принимали.

Человека этого, темного происхождения (говорили, что он незаконный сын известного вельможи), звали Кузнецовым, и одно время, чтоб спастись от участи Новикова и других, он бежал за границу и только недавно снова появился в России, сначала на юге, у приятеля, неподалеку от

имения князя Дульского, а потом и в Москве, где вокруг него вскоре сформировался кружок любителей мистических наук.

Очень может быть, что он был рекомендован княгине ее мужем и что поэтому она считала себя обязанной относиться к нему, как к близкому человеку, а может быть, он и сам по себе сумел так ее заинтересовать, что она предпочитала его обществу всякому другому; так или иначе, но об отношениях его с княгиней Верой Васильевной много сплетничали по городу, и если не сочиняли про них любовного романа, то единственно потому только, что он был стар, безобразен собой и прихрамывал от подагры.

Княгиней так интересовались в городе, что, когда экипаж ее показался на Кузнецком мосту, все головы повернулись в его сторону и провожали его глазами до тех пор, пока он не свернул в переулок.

Из дам нашлись любопытные, которые командировали своих поклонников проследить за возком Дульских, чтоб узнать, где он остановится; но, как нарочно, ныряя из ухаба в ухаб, он переползал безостановочно из улицы в улицу, пока наконец не въехал в такие трущобы, где знакомых у княгини не могло быть. Но мимо этих трущоб путь лежал к монастырю, где похоронены были родители княгини, и уж туда, конечно, следовать за нею не стоило.

Посланцы вернулись к своим дамам с известием, что княгиня везет детей поклониться могилам дедушки с бабушкой, и все успокоились таким естественным разъяснением загадки.

А между тем, если б у любопытных хватило терпения проследить за возком дальше, хлопоты их увенчались бы неожиданным и блестящим успехом. Въехав в лабиринт крошечных деревянных строений, похожих больше на хижины, чем на дома, и окруженных со всех сторон огородами и садами, возок княгини Дульской остановился у забора такого высокого, что надо было бы на него влезть, чтоб увидеть жилище, хоронившееся за ним, а это было невозможно благодаря острым гвоздям, которыми он был утыкан. Тут ливрейный лакей соскочил с запяток, высадил боярыню, захлопнул дверцу, ловким прыжком вскочил на прежнее место и закричал: «Пошел!»

Возок двинулся дальше, а княгиня, оставшись одна среди безлюдного пустыря и оглянувшись внимательно по сторонам, чтоб убедиться, что кругом нет ни души, приподняла осторожно разукрашенную фалборами узкую юбку своего шелкового, цвета риса фуру, подошла к калит-

ке, прятанной под покрытыми иными ветвями липы, и особенным образом, с рассчитанными расстановками, три раза постучала в нее согнутым пальцем нежной ручки, обтянутой изящной перчаткой.

Долго на этот зов не откликались, но княгиня больше не стучала. Не проявляя ни удивления, ни раздражения, как человек, которому известны нравы и обычаи обитателей жилища, скрывавшегося за забором, она терпеливо ждала.

Любопытное зрелище представляла ее изящная фигура на фоне окружавшей ее пустынной и убогой местности. Всякий удивился бы, увидав тут нарядную даму в белой атласной шляпе, разукрашенной перьями и цветами, в бархатном полонезе, обшитом богатым мехом, в щегольских башмачках из светлого, золотистого сафьяна с высокими каблуками и в ажурных шелковых чулках на стройных ножках, выглядывавших из-под расшитых богатым узором нижних юбок, приподнятых вместе с платьем.

И не одно любопытство, а, может быть, и более преступные чувства возбудила бы она в душе обитателей этой трущобы, если б на ее беду кому-нибудь из них понадобилось пройти мимо нее: княгиня была одета очень просто, судя по светским понятиям о наряде важной дамы, но тем не менее в ушах ее сверкали солитеры, стоившие тысячи, на шее висела золотая цепочка с драгоценными часами, на пальцах были дорогие кольца, огромная шляпа придерживалась на напудренной головке шпильками из чистого золота. В таком наряде даже и на людной городской улице она не решилась бы пройти иначе как в сопровождении целой свиты компаньонов и гайдуков, а тут, в местности, кишавшей злоумышленниками, служившей притоном воров и разбойникам, она стояла одна, и если боялась чего-нибудь, то только того, чтоб не догадались, к кому она приехала, с кем жаждет свидания.

Прошло минут десять томительного ожидания. Тишина и молчание, царившие вокруг, ничем не нарушались, а также и во дворе, за забором, все точно вымерло: ни лая собак, ни людских голосов, ничего не было слышно, а между тем день близился к концу, и поднимавшийся с закатом солнца туман зловеще сгущал наступавшие сумерки. Наконец за забором снег заскрипел под чьими-то осторожными шагами и засов у калитки с лязгом отодвинулся.

— Мне надо видеть маркизу, — сказала княгиня приземистому сутуловатому старику в черном, не то плаще, не то рясе из грубого сукна. На голове у него была острокопечная скуфья с наушниками вроде тех шапок, что носят

алеуты, а за ременным поясом висели деревянные четки с крестом.

— Пожалуйте-с, — отвечал он.

И, не глядя на посетительницу, он запер за нею дверь и зашагал по узкой тропинке, протоптанной между сугробами, к черневшему в конце длинного двора строению.

Низкое и неказистое, оно было обращено к улице задней стороной без окон и дверей. Только под самой крышей вырублено было отверстие, из которого можно было видеть входящих во двор и выходящих из него, но надо было знать о существовании этого оконца, чтоб разглядеть его под широким навесом крыши.

Проводник княгини обогнул дом, и тут перед ними предстало скромное крылечко с пятью окнами по каждой стороне и с мезонином, тоже в пять окон.

Поднявшись на это крылечко, они очутились перед растворенной в темные сени дверью, на пороге которой ожидала их молодая девушка в темной одежде и в белом чепце с широкими откинутыми назад лопастями.

Не говоря ни слова, ввела она гостью в прихожую, сняла с нее верхнее платье и вытерла ей ноги сукном.

Последняя предосторожность оказалась не лишней: в большой комнате, в которую ввели посетительницу, царила такая чистота, пол был покрыт таким белоснежным половиком, что каждое пятнышко бросилось бы в глаза, нарушая неприятным образом общую гармонию этого странного и совершенно пустого покоя с зажженной лампадой, спускавшейся с потолка на железных цепях, с наглухо заколоченными ставнями у окон и голыми белыми стенами.

Из этой комнаты они прошли в другую, поменьше, и убранную так роскошно, что, судя по внешнему виду дома, трудно было предположить, что в нем заключались такие сокровища. Тут пол был покрыт великолепным ковром, потолок обтянут голубой шелковой тканью с золотыми звездами, мебель в восточном вкусе разукрашена инкрустацией из слоновой кости, золота и перламутра, античные сосуды и курильницы с драгоценными камнями, символические картины мистического содержания в массивных золотых рамах, изображающие крылатых людей с розой или пламенем вместо сердца, и т. п. На одной из этих картин, очень большой, представлена была какая-то сложная сцена, таинственный обряд, совершаемый толпой в длинных белых одеждах, с распущенными волосами и восторженными лицами. Люди эти окружали алтарь, на котором приносилась неизвестному богу человеческая жертва. Жрец, с сиянием

вокруг головы, в торжественной позе, воздевая глаза к небу, заносил нож над младенцем, а в отдалении процессия из венценосцев и священнослужителей в коронах, митрах и клобуках с выражением отчаяния и ужаса на лицах направлялась к зияющей пропасти, в ад, вероятно. Их гнали в обитель вечной скорби и скрежета зубовного семь смертных грехов в образе гигантских дьяволов.

Княгине, взволнованной предстоящим свиданием, было не до того, чтоб всматриваться в лица этих дьяволов, а то она узнала бы в них знакомые черты особ, к которым и она с мужем, и родители их привыкли относиться с благоговейным уважением, любовью и благодарностью.

Впрочем, ее не оставляли долго перед этой картиной; дверь растворилась, и на пороге появилась высокая, стройная красавица в фантастическом костюме из дорогой ткани, с длинной белой вуалью из блестящей прозрачной материи, спускавшейся позади с черной бархатной не то шапочки, не то тюрбана, из-под которого выбивались густые вьющиеся золотистые волосы. Глаза у нее были карие и такие пронзительные, что невозможно было долго выдерживать их взгляда. Черты лица правильные и неподвижные, как у статуи; губы, ярко-пурпурные, производили странное впечатление на продолговатом и бледном, без кровинки, лице. Движения ее были медленны и грациозны той особенной, рассчитанной грацией, которая свойственна личностям, привыкшим производить впечатление на публику.

Княгиня так растерялась под пристальным взглядом этого таинственного существа, что не в силах была произнести ни слова и, сделав машинально низкий реверанс, с опущенными глазами, краснея и бледнея от волнения, молча ждала, чтоб с нею заговорили. Это длилось с полминуты, наконец у нее отрывисто спросили:

— Вы княгиня Дульская?

— Да, — чуть слышно отвечала княгиня и, собравшись с силами, прибавила: — Павел Михайлович приказал мне искать у вас путь к истине.

При этом имени незнакомка смягчилась.

— Мы никого не отталкиваем, идите за мной, — сказала она, поворачиваясь назад туда, откуда вышла.

Княгиня последовала за нею и очутилась в покое, убранном еще чуднее двух первых. Тут все было обито черным, и пол, и потолок, а также большой стол с лампой, вставленной в человеческий череп, а по стенам, обтянутых черным сукном, резко выделялись белые линии каких-то знаков и надписей на непонятном языке.

В одном из углов этой мрачной комнаты чернел предмет, показавшийся княгине похожим на крышку гроба, обитого серебряным позументом; в другом — ей бросилось в глаза очертание скелета; ей стало жутко, и она перестала всматриваться в окружающую ее обстановку.

— Давно ли стремитесь вы к свету истины? — спросила таинственная хозяйка мрачной обители.

— Одиннадцать месяцев, — отвечала княгиня.

— Кто пробудил в вас сознание?

— Сестра Каллиста.

— Как жили вы с тех пор?

— По ее указаниям, насколько могла.

— Брат Павел находит вас достойной посвящения, но я требую большего, — продолжала маркиза, не переставая магнетизировать взглядом свою собеседницу. — Вы до сих пор не исполнили самого главного нашего предписания — не сблизиться с обществом, и этим даете пищу сплетням и рассказам самого опасного для нас свойства. Еще не вступив в наш союз, вы ему уже приносите вред, — прибавила она, строго возвышая голос.

— Мне трудно бывать в обществе, — чуть слышно проговорила княгиня.

— Чем труднее подвиг, тем выше награда, — возразили ей.

— Я именно об этом... Чтоб посоветоваться, и пришла к вам, — бессвязно и дрожащим голосом проговорила она.

— Вы боитесь встречи с Курлятьевым?

Как ни была подготовлена ко всевозможным чудесам княгиня, однако слова эти так ее изумили, что она вздрогнула и устремила полный испуга и недоумения взгляд на ясновидящую.

Как могла она узнать ее тайну?

А та, что называла себя маркизой, между тем продолжала:

— Врачевать больные души можно только тогда, когда они разверзаются перед духовным врачом без утайки. Мне этот дар дан свыше. Я могу вам рассказать всю вашу жизнь, день в день, с часу на час, с той минуты, как вы встретились с ним и отдались ему...

— Не надо, не надо! — вскричала княгиня, вне себя от ужаса и простирая вперед руки как бы для того, чтобы отогнать страшный призрак.

— Вы жалеете, что пришли сюда. Вам хотелось бы бежать назад, — вымолвила маркиза, пронизывая суровым взглядом свою трепещущую жертву. — Идите, никто вас

не держит. Нам нужны сердца, пылающие любовью к Предвечному, жаждущие обновления, ненавидящие мирские оковы и дьявольские утехи, сознающие свою греховность и ничтожность, а не гробы, раскрашенные снаружи, а внутри полные мертвечиной и нечистью.

И, помолчав немного, она продолжала, торжественно и резко отчеканивая слова:

— Зачем вы сюда пришли? Вы не подготовлены к восприятию света истины, дух на вас не сойдет. Сердце ваше пропитано суетностью, ложным самолюбием, греховным желанием казаться лучше, чем вы есть; вами руководит тщеславие, пристрастие к мирским почестям, в вас даже и на горчичное зерно нет веры, над вами властвует дьявол, и вы не чувствуете потребности свергнуть с себя его иго. Зачем вы пришли? Вы боитесь человека больше Бога, вам тьма любезнее света, — зачем вы пришли?

До сих пор княгиня слушала молча и потупившись, но тут она наконец собралась с силами:

— Правда, я мерзка, недостойна, я, может быть, хуже всех на свете, но Христос наш Спаситель приходил на землю не для праведников, а для грешных, — проговорила она дрожащими губами, — и я так несчастна!

Последние слова болезненным стоном вырвались у нее из груди.

— Да, вы несчастны.

— Вы это знаете?!

— Знаю, — спокойно отвечала ясновидящая, — я все знаю. Вы влюбились в него еще в Петербурге, когда занимали в обществе подобающее вашему рождению и состоянию место. И вы открыли ему тайну вашего мужа, а он в пьяном виде разболтал эту тайну товарищам, не подозревая, что среди них агент тайной полиции. Таким образом открылась близость князя Дульского к приверженцам прошлого царствования и его сослали.

Княгиня молчала. Переждав немного, ее обличительница все с той же неумолимою резкостью продолжала:

— Вы расстались с вашим любовником раньше, вы порвали с ним отношения, как только почувствовали себя беременной...

И это ей известно!

— Сознавая свою вину перед вами, он покорился вашему решению, но вчера вы узнали, что он здесь, и ненавистью к нему наполнилось ваше сердце.

— Да, я его ненавижу! — вскричала княгиня.

Прозорливость ясновидящей перестала ее изумлять. С той минуты, как она переступила порог этого странного жилища, все стало казаться ей возможным. Тут законы, управляющие видимым миром, не существуют, тут царит таинственная сила, которой нельзя не покориться, не предаться вполне. Потребность высказаться, излить до последней капли горечь сердца овладела ею так неудержимо, что слова потоком полились из ее груди в бессвязной, торопливой речи.

— Зачем он сюда явился? Чтоб меня мучить? Мало сделал он нам всем зла! Что такое моя жизнь после того, что случилось! Мой муж святой, он ничего не подозревает и любит меня по-прежнему... И в этой его любви самая ужасная для меня казнь! У меня нет ни минуты покоя... Я бледнею и холодею от ужаса, когда слышу его шаги... Когда он жалуется на то, что лучшие его годы пропадают даром, в тоске и скуке бездействия, когда он проклинает злодея, предавшего его и, перебирая бывших друзей, с озлоблением останавливается то на одном, то на другом, изливая свою горечь на невинных, я дрожу, у меня сердце замирает, ум мутится, невидимый голос шепчет на ухо: «Скорее во всем сознайся, скорее, каждая секунда промедления усиливает твою вину перед ним». И чтоб не уступить страшному искушению, не упасть в разверзнутую пропасть, в которую тянет меня злой дух, я кусаю губы до крови, зажимаю руками рот, срываюсь, как ужаленная, с места и бегу без оглядки, как помешанная, куда глаза глядят, лишь бы подальше, от всех дальше, чтоб никто не видел моих слез, не слышал моих стонов и проклятий! Раз я забрела так далеко, что заблудилась, и только на другой день вечером крестьяне принесли меня в обмороке домой. Сколько времени пролежала я без чувств одна в лесной чаще — не знаю. Почему не растерзали меня дикие звери, а орлы и вороны не выклевали у меня глаз — не знаю!

— Богу не было угодно, — вставила вполголоса ее слухательница.

— В другой раз, — продолжала княгиня, — меня потянуло к реке. Я хотела утопиться. Дети мне стали противны. Я не могла без раздражения слышать их невинный смех, видеть их веселые личики. Особенно ненавистен мне был его ребенок. Князь, как нарочно, чтобы усилить мои страдания, к нему особенно нежен и ласков. О какое для меня мучение, когда он берет его на руки и целует его! Мне тогда хочется их обоих убить, а потом себя. Я помню, был вечер, мы сидели за чайным столом. Вся семья: я, князь, старшие

дети, гувернантка. У меня был нож под рукой, длинный, острый, резать хлеб. Мне с утра было не по себе, все меня раздражало, и мне было так трудно сдерживаться, что я с нетерпением ждала той минуты, когда останусь одна. Порой, точно каким-то туманом заволакивался мозг, я переставала видеть кого бы то ни было в комнате, кроме мужа, и меня так толкало сделать ему роковое признание, сказать ему: «Это я тебя предала моему любовнику, Курлятьеву, отцу Кати», — что мне уже временами казалось, что слова эти произнесены, и я с изумлением себя спрашивала: почему не убил он меня до сих пор? Вдруг дверь отворилась, и вошла няня с Катей. Девочка раскапризничалась, стала проситься к маме и к папе; ее уже раздетую, в одной рубашонке, внесли в столовую. Князь взял ее на руки, посадил на колени, стал с нею играть. Девочка со смехом опрокинулась на спинку, вцепившись ручонками в его бакенбарды. Головенку она откинула назад, выставляя напоказ голую грудку и шейку. Мною овладел сатана. Как пить в жаркий и пыльный день, когда горло пересохло от жажды, захотелось мне вонзить нож в это горлышко! Глаза застилались кровью, рука протягивалась к ножу. Чего мне стоило остановиться, сорваться с места и выбежать из комнаты, — не выразить словами. Легче, кажется, подставить голову под секиру палача. Вышло так, что в первую минуту никто не обратил внимания на мое отсутствие, и я все шла и шла, как лунатик, повинаясь невидимой силе, сбежала с лестницы, миновала сени, никого не встретив, свернула со двора в сад, из сада — в парк, прямо по аллее, что ведет к реке, и чем ближе подходила я к ней, тем легче дышалось. Вот и цель, конец мучениям, конец всему. Надо только место разыскать подальше да поглубже. Я нашла такое место и бросилась в омут. И мне до сих пор памятно ощущение восторга, охватившего все мое существо в эту минуту. Сейчас смерть, конец мукам, вечный покой. Но умереть не так-то легко, как кажется. Меня хватились, муж первый кинулся меня искать. Мальчишка поваренок, дрожа от страха, сознался, что видел белую тень, проскользнувшую по аллее к пруду. На мне было белое платье. Догадались, кинулись туда, вытаскивали меня, откачали, вернули к жизни и стали лечить от меланхолии и расстройства нервов. Доктора советовали развлечения, поездку за границу. Меня отправили в Швейцарию. Без детей и среди чуждой обстановки, где ничто не напоминало о прошлом, я вздохнула свободнее, и жгучая боль, терзавшая меня день и ночь, стала затихать. Она сменилась тихой грустью. Все еще жаль было навеки погиб-

шего счастья, и жутко делалось при мысли о будущем, но я так намучилась, что и этому кратковременному отдыху была рада. По целым часам просиживала я на берегу озера, ни о чем не думая, наслаждаясь теплотой солнечных лучей и ароматом растений. Окружавшая меня обстановка была красива и роскошна. Я занимала с моими людьми целый дом с великолепным садом на берегу живописного озера, с чудным видом на горы. Для меня выписали из Милана лучшего в Европе доктора, пригласили искусную сестру милосердия из соседнего монастыря, и непонятный недуг, терзавший меня на родине, с первых же дней стал поддаваться влиянию воздуха и лечения; появился аппетит, силы, румянец показался на щеках, меня находили красивой, интересной и высказывали мне это. Я видела, что мне завидовали, и думала про себя: «Если б знали, в чем состоит мое счастье, никто не захотел бы поменяться со мною судьбой».

Между тем затихшая тоска снова стала меня грызть. Письма из России производили на меня впечатление грозных призраков, предвестников ожидавших меня на родине мук. Приближался день отъезда. Отсрочить его было невозможно. Муж скучал смертельно. В его письмах между строками я читала такую глубокую печаль и досаду на невозможность получить заграничный паспорт, чтоб самому за мною приехать, что я стала опасаться какой-нибудь рискованной выходки с его стороны. Вздумает, чего доброго, самовольно покинуть родину, эмигрировать, и тогда нас уж ждало полное разорение. Богатство наше состоит из имений и домов, все это конфискуют, дети останутся нищими, и этому новому несчастью опять я же буду причиной. Чтоб отрезать себе всякий путь к отступлению, я написала князю, что оставаться за границей мне больше не для чего, что я чувствую себя прекрасно и выезжаю вслед за этим письмом. Я принялась укладываться. Но когда все было готово, чемоданы увязаны, и почтовые лошади к следующему утру заказаны, на меня напала тоска и, как пьяницу перед бутылкой с вином, опять потянуло к старому. Никому не сказав ни слова, вышла я из дому и отправилась в горы со смутной надеждой найти там то, что мне было нужно. Разве трудно поскользнуться и упасть в пропасть? И чем дальше я шла, тем крепче вливалось мне в душу роковое намерение, тем страстнее хотелось разом всему положить предел. Опять давно не испытанное отвращение к жизни и страх перед борьбой овладели мною, заглушая все прочие чувства, мысли и желания. Наступали сумерки; я поднималась по узкой тропинке в гору, не оглядываясь ни вправо, ни влево,

опустив голову и ничего не видя, кроме травы и камней, по которым я шла. Кругом шумели водопады, стремившиеся с крутых вершин, издалека доносился звон колокольчиков, привязанных к козам и коровам, что паслись в ложбинах, а по временам и песнь пастуха; я ушла мыслями от земли так далеко, что ни к чему не было охоты прислушиваться, и тогда только, как вкопанная, остановилась, когда рядом с моею тенью на траве легла другая.

С испугом оглянулась я и увидела женщину в темном плаще и широкополой соломенной шляпе, с котомкой за плечами.

— Сестра Каллиста, — тихо, как бы про себя, вымолвила ее слушательница.

— Да, сестра Каллиста, — повторила княгиня.

С каждым словом точно камень сваливался с ее наболевшей груди, дышалось легче, ум прояснялся; перед глазами точно завеса раздиралась, и то, что начинала прозревать ее душа, было так светло и прекрасно, что от одного предвкушения новой жизни сердце билось радостно, и слезы восторга выступали на глаза.

Изменялось и лицо ее слушательницы, по мере того как исповедь ее новой духовной сестры близилась к концу. От прежней суровости не осталось и следа. Лаской и любовью дышал ее взгляд.

— В первую минуту, — продолжала княгиня, — я приняла ее за крестьянку, так бедна была ее одежда, так загорело и огрубело ее лицо, руки и ноги в деревянных башмаках. Но она заговорила о грехе, о любви и искуплении, о Боге, и я поняла, что передо мной существо превышавшее всех царей земных. Осторожно и нежно прикоснулась она к ранам моего сердца, с любовью и сочувствием, точно давно меня знает, точно я ей родная, и исцелила их. Долго оставались мы вдвоем на горе. Наступила ночь, звездная, теплая. Слушая ее и проникаясь ее словами, мне казалось, что я уже там, откуда на землю нет возврата. Тела своего я не чувствовала, а душа, просветленная, перерожденная, поднималась все выше и выше, туда, где нет ни плача, ни скорби, ни воздыханий, а жизнь бесконечная. Духовные очи мои разверзлись, и, увидав бездонную пучину, в которую меня толкали темные силы ада, я в ужасе отпрянула...

Голос ее прервался рыданиями.

— Не плачь, — сказала ясновидящая. — Разве Он не сказал: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вас». Ты к Нему пришла, и Он тебя успокоил, указал путь ко спасению.

— Я не вижу больше этого пути, — проговорила сквозь рыдания молодая женщина. — Опять я впадаю в уныние, душа моя опять во мраке.

— Потому что ты сбилась с Его стези.

— Я хотела остаться там, с нею, но она запретила мне и думать об этом.

— И я тебе это запрещаю. Твое место здесь, на родине. Там и без тебя просветленных много, здесь ты можешь больше приносить пользы.

— Но я еще так слаба в вере, так беспомощна против искушений... Мне нужна помощь, я боюсь погибнуть. Брат Павел добр ко мне и усерден, он часто меня навещает, знакомит меня с учением истины, но слова его не проникают мне в душу, не укрепляют меня в борьбе с врагом; я чувствую себя такой же беспомощной, как раньше, до встречи на горе с моей благодетельницей. Опять начинает меня мучить отвращение к жизни и ненависть к виновнику моих мук.

— Как смеет человек ненавидеть! — печально заметила ее слушательница и прибавила со вздохом: — «Мне отмщение, и Аз воздам». И ужасом охватит тебе сердце, когда час отмщения наступит.

Но княгиня была слишком возбуждена, чтобы слышать эти слова.

— Если я решилась провести здесь зиму, то единственно потому, что Курлятьев должен был ехать в деревню для устройства своих дел. Имение его в трех верстах от нашего. Услышав, что его там ждут, я поспешила с отъездом в Москву... И вот вчера узнала, что и он здесь и, Бог знает, для чего медлит с отъездом на юг. Каждую минуту мы можем встретиться. При одной этой мысли я холодею с ног до головы. Что мне делать, чтоб отогнать злые мысли, которые меня осаждают? Чтоб заглушить ненависть к несчастному ребенку, невинной причине моего несчастья? Научи меня, наставь, просвети и поддержи... О поддержи меня! Будь для меня тем, чем была Каллиста!

Последние слова воплем вырвались из ее наболевшей груди, и, умоляюще простирая руки к своей повелительнице, она простонала:

— Что мне делать? Куда мне бежать?

— Никуда не убежишь ты от дьявола, — прервала ее ясновидящая, снова строго возвышая голос.

— Что ж мне делать? — вскричала в отчаянии княгиня.

— Соединиться внутренне с Богом; не слегка перевязывать рану, но дойти до корня зла и начать с отречения от самой себя, с послушания.

— Сердце мое тебе отверзто, ничего я от тебя не скрываю, приказывай, все исполню.

— Исполнишь, не мудрствуя лукаво, со смирением и покорностью? — спросила ясновидящая, резко отчеканивая слова.

— Не мудрствуя, со смирением и покорностью, — повторила, как эхо, княгиня.

— Хорошо. На первый раз мы потребуем от тебя немногого. Поезжай домой. Вчера тебе принесли приглашение на бал. Ты поедешь на этот бал...

Княгиня не возражала. Слова не выговаривались. Мысли таким вихрем пронеслись в мозгу, что ни на одной из них нельзя было остановиться. Как былинка под напором бурного ветра, поникла беспомощно ее душа перед странным существом, повелевавшим ею. И чувствовала она, что не принадлежит себе больше. Чужая воля проникала все глубже и глубже ей в сердце, покоряя его своей власти. Бороться против этой воли она и не пыталась, только в покорности и самоотречении обрящет она покой, которого жаждет, — ни в чем больше.

— Ты поедешь на этот бал, — повторила ясновидящая, — и все силы приложишь к тому, чтоб быть, как другие. Будешь весела, любезна, разговорчива со всеми, кто к тебе подойдет.

— И с ним тоже? — вскричала в ужасе княгиня.

— С ним особенно. Он должен убедиться, что ты к нему так же равнодушна, как и он к тебе. Это нужно. Помни — нужно.

И с этими словами она нежно притронулась к ее лбу и провела рукой сначала по одной стороне ее лица, а потом — по другой.

От этой ласки у княгини точно ледяная глыба растаяла в сердце; сдвинутые озабоченно брови расправились, а глаза засветились радостным восторгом.

— Иди, и да хранит тебя Тот, Который все видит и без воли Которого ни один волос с головы не упадет, — торжественно вымолвила ясновидящая, протягивая к ней руку благословляющим жестом.

Княгиня порывистым движением схватила на лету эту руку и благоговейно прижалась к ней губами. А затем она вышла легкой поступью, в экстазе своем ничего не замечая по пути. Бессознательно последовала она за девушкой в белом чепце, которая, встретив ее у дверей, прошла в прихожую, надела на нее салоп и провела ее до сеней, где ждал тот человек в плаще с капюшоном, что отпер ей

калитку. Короткий зимний день сменился вечером, и при-
вратник маркизы с зажженным фонарем в руках повел
княгиню по черневшей между сугробами тропинке к воро-
там. А на улице, как два волчьи глаза, сверкали в темноте
фонари у кареты, поджидавшей княгиню, должно быть, уж
давно, если судить по тому, как озябли лошади и люди.
Первые нетерпеливо фыркали, постукивая подковами о
мерзлый снег, а лакей с кучером, ежась и похлопывая
руками в меховых варежках, чтоб согреться, вполголоса
вели промеж себя разговор насчет барских затей.

— И какой это леший указал ей на этих бедных, что
здесь живут! Точно мало нищих в городе, — говорил Степ-
ка, молодой парень в ливрее князей Дульских и в треуголь-
нике с кокардой на напудренном парике.

— Оно полезительнее для души, как потрудишься, —
солидным тоном возражал бородатый старик кучер.

— Эдакая трущоба! Тут и зарезать нипочем. Кричи,
сколько хочешь, никто не услышит, — снова начал, помол-
чав немного, Степан, всматриваясь в пустынный мрак, оку-
тывавший местность, с черневшими на белесоватом фоне
снежных сугробов низкими строениями за заборами, через
которые перевешивались покрытые инеем ветви деревьев.

— Да, вот бы где бутырей-то понасажать; без дела бы
не сидели, нет... И что это она там застряла, словно у
важных господ каких, право; остынешь тут совсем, ее
ждавши, — заметил кучер.

Лакей, прислушавшись, с испугом объявил, что кто-то
едет. Действительно скрип снега под полозьями и стук ло-
шадиных копыт со стороны города становился все явствен-
нее и явственнее, а через минуту в нескольких шагах от
кареты остановились санки. Из них выскочили какие-то
двое и подошли к калитке.

У прибывших был очень таинственный вид, они шли
молча, подозрительно косясь на карету и принимая всевоз-
можные меры, чтоб не быть узнанными, остановились в
таком месте, куда свет от фонарей достигнуть не мог; впро-
чем, лица их под глубоко надвинутыми на лоб шляпами
невозможно было бы различить даже и в таком случае,
если б было совсем светло. Один был выше другого ростом,
но насколько можно было судить по их походке и складкам
широких плащей, окутывавших их с ног до головы, оба
были молоды и стройны.

— Господа, — шепнул кучер, которому с козел удобнее
было наблюдать, чем его товарищу. Этот кивнул в знак
согласия и, указывая головой на экипаж прибывших, заме-

тил тоже шепотом: — Лошадь-то серая, а на козлах как будто курлятьевский Платон сидит.

— Уж ты скажешь!

— Ей-Богу, право!

Шум шагов на дворе, лязг отодвигаемого засова и появление княгини на пороге растворенной калитки в сопровождении провожатого с фонарем заставили их оборвать разговор на полуслове.

Кидаясь навстречу барыне и усаживая ее в карету, Степану было не до того, чтоб оглядываться на тех двух, что стояли, притаившись у забора, но кучер отлично видел, как они сначала шарахнулись назад, а потом, когда княгиня прошла к карете, юркнули в калитку, и как старик в капюшоне защелкнул ее за ними, а проезжая мимо их санок, он не забыл всмотреться в лицо сидевшего на козлах кучера.

«А ведь действительно парень этот на курлятьевского Платошку смахивает, — подумал он. — Роза такая же широкая».

Да и лошадь ему показалась знакомой. Как в Петербурге еще господа жили два года тому назад, частехонько лошадь эта завертывала к ним во двор.

II

Новых посетителей маркизы ввели в дом с точно такими же предосторожностями, как и княгиню Дульскую, с той только разницей, что их довольно долго заставили ждать в комнате, показавшейся княгине совсем пустой. Но потому ли, что в волнении своем она не разглядела соломенных стульев, обитых черной кожей, стоявших вдоль стены, или потому, что стулья эти были принесены после ее ухода, — так или иначе, но молодые люди нашли, на чем сидеть в ожидании хозяйки.

— Однако у «просветленной» убранство-то не нарочито изрядное, — поглядывая с усмешкой по сторонам, заметил тот, в котором люди княгини узнали курлятьевского барина.

Лет двадцати пяти, в наряде тогдашних франтов: на нем был темно-вишневый фрак с большими белыми отворотами, камзол и кюлот тоже из белого сукна с золотыми гладкими пуговицами, треуголка под мышкой, шелковые, белые чулки и башмаки с золотыми пряжками и высокими каблуками. Волосы по парижской моде, начинавшей уже проникать в Россию, носил он длинные, до плеч, и без пудры. Он был очень красив. Беззаботностью и удалством дышало его от-

крытое лицо с светло-кариими глазами, опущенными длинными темными ресницами.

— Но, может быть, это только вход в святилище, и простота тут рассчитана на эффект, — продолжал он, не дожидаясь возражений товарища, который как будто и не слышал его, так глубоко ушел в свои думы. — А знаешь, никогда я себе не прощу, что послушался тебя и не рассмотрел хорошенько ту даму, из-за которой нас так долго заставили дежурить у ворот. По походке и по наряду видно молоденькая и красавица, может быть... Уж не Рябинина ли? Она, говорят, с Щербинским махается, а он мистик известный, на поклонение к Калиостро ездил...

— Мы видели Рябинину на Кузнецком мосту, перед тем как сюда приехать, — нехотя и пожимая плечами, заметил Каморцев.

— Это ты ее видел, а я, как ты мог заметить, все время шел, потупив очи долу, чтоб, Боже сохрани, не встретиться как-нибудь взглядом с княгиней Дульской. Мне прямо сквозь землю захотелось провалиться, когда я услышал, что карета ее едет нам навстречу. Княгиня терпеть меня не может.

— За что? — рассеянно спросил Каморцев.

Курлятьев скорчил печальную мину:

— Уж это ее тайна. С мужем ее я приятель, а она меня ненавидит... Мне это очень прискорбно, но ничего не поделаешь. Есть такая пословица: насильно мил не будешь. Очень изрядная пословица, я на себе ее испытываю каждый раз, как судьбе угодно меня столкнуть с княгиней Верой Васильевной.

Он проговорил это с таким наивным сожалением, что и более внимательный слушатель был бы обманут его тоном, Каморцеву же в эту минуту было не до того, чтоб всматриваться в физиономию своего друга и подмечать лукавый огонек, сверкнувший в его глазах.

— Княгиня очень добродетельная особа, — заметил он.

— Кто же в этом сомневается! — подхватил Курлятьев. — Она ангел чистоты и непорочности. Все в этом убеждены, и супруг ее первый. Вот ей так уж не для чего сюда ездить за святостью. Ну, а Рябинина — дело другое! Болванчиков у нее менее трех зараз не бывает. А может быть, это была какая-нибудь кающаяся Омфала из секты «Смазливых теней»! Какая досада, что ты не дал мне разглядеть ее карету и порасспросить ее людей! Уж я сумел бы им развязать языки. Но ты все время толкал меня к забору, откуда ни зги не видно.

— Полно дурачиться, Федя, здесь не место вертопрашничать, — произнес с досадой его приятель.

Он тоже был молод и из хорошего общества, если судить по французскому выговору да по одежде, хотя и не такой элегантной, как у его товарища, но сшитой по моде и у хорошего портного.

— А тебе, я вижу, уже жутко, — усмехнулся Курлятьев. — Трус, чертей боится.

Приятель его промолчал. Его бледное длинное лицо с темными глазами и узкими губами, сосредоточенной серьезностью представляло курьезный контраст с жизнерадостной физиономией его друга. В то время как этот последний, проявляя нетерпение и жестами, и словами, поминутно срывался с места, чтоб подбежать то к одной двери, то к другой, пытаясь подслушать, что за ними происходит, то к окнам, в надежде разглядеть что-нибудь сквозь запертые ставни, — он сидел неподвижно и с закрытыми глазами, чтоб глубже сосредоточиться в мыслях.

— Дом точно вымер, сколько ни слушай — ни звука, — проворчал Курлятьев, снова усаживаясь рядом с приятелем после тщетных усилий проникнуть взглядом или ухом за стены комнаты.

Он вынул из кармана камзола золотые часы с эмалированным гербом на крышке и с трудом разглядел стрелки (лампада, спускавшаяся с потолка, плохо освещала), прибавив с раздражением:

— Вот уж двадцать минут, как нас заставляют дожидаться, точно на аудиенции у царского фаворита... Это становится несносно наконец... Не уйти ли нам подобру-поздорову, а? Как ты думаешь? Ну ее совсем, твою «просветленную»!

— Ты мне дал честное слово, что будешь вести себя прилично, — умоляюще вымолвил его приятель.

— Хорошо, будь по-твоему, подождем. А только, знаешь что? Она, должно быть, с нечистым в претесной находится связи, эта твоя маркиза де Руфамбре... Ну, не сердись, не сердись, — поспешил он прибавить, заметив гневное движение Каморцева. — Я ведь это только так, чтоб подразнить тебя, а в сущности мне ведь все равно, и клянусь тебе... Ну, чем бы мне поклясться? Хотя и не хочется думать, что в этом доме царствует дьявол, но имя Бога тоже здесь произносить как будто не совсем ловко.

— Это Божий дом, — со вздохом объявил Каморцев.

— Аминь, пусть будет по-твоему. А скажи, пожалуйста, каких она приблизительно лет, твоя «просветленная»?

— Не знаю, — отрывисто, точно отмахиваясь от докучливой мухи, вымолвил Каморцев.

— Ты прав. Я дурак, разве можно спрашивать о летах женщины! Это единственная тайна, которую они умеют хранить. Говорят, она очень хороша собой, — правда это?

— Увидишь, — отвечал резче прежнего его приятель, продолжая сидеть с закрытыми глазами, тихо шевеля губами, точно читая про себя молитву.

Курлятьев встал и прошелся по комнате, а затем, вернувшись к прежнему месту, опять стал выражать вслух мысли, вертевшиеся у него в мозгу.

— И для чего только ей понадобилось меня видеть, просто ума не приложу. Чем я ей сделался любопытен, не понимаю! Впрочем, — продолжал он, искоса посматривая на своего соседа, — если она находит нужным водить дружбу с «смазливymi тенями», то почему же ей и с вертопрахом не познакомиться? Она, верно, надеется обратить меня на путь истинный, уговорить меня постричься в монахи или удалиться в пустыню, чтоб я там отрастил себе бороду и ногти, надел бы власяницу и вериги и, питаясь акридами и диким медом, замаливал бы свои и чужие грехи? Слуга покорный, на все — свое время, и мне жизнь еще не надоела. Даже скажу тебе по секрету, милый друг, никогда еще не была мне жизнь так мила, как теперь...

Каморцев и на это не проронил ни слова. Такое равнодушие вывело наконец молодого щеголя из терпения.

— Что ж ты молчишь, как пень? Скажи хоть слово, чтоб вознаградить меня за несносную скуку, которую я здесь из-за тебя претерпеваю!

С этими словами он положил руку на плечо Каморцева и повернул к себе силой его бледное лицо.

Тот вздрогнул, точно его разбудили от сна, и произнес строго:

— Я тебе уж сказал: здесь не место предаваться грешным помыслам и непристойным шуткам. Обожди, пока выйдешь отсюда.

— Это не ответ на мой вопрос, я хочу знать: для чего именно ей понадобилось меня видеть?

— Она сказала: «Вы знаете Курлятьева, привезите его ко мне», — ни слова больше.

— Гм! И ты не спросил — для чего?

— Когда она говорит, мы слушаем и стараемся запомнить каждое ее слово, вот и все.

— Мы... Кто это мы? Вас, значит, много?

На вопрос этот ответа не последовало.

— Она, значит, говорила с тобой обо мне не с глазу на глаз? Тут был еще кто-нибудь? Какая-нибудь женщина? Да говори же, черт побери, не беси меня, ради Бога! Терпение мое лопнет наконец, и я начну бурлить и барабошить.

— Тише! — строго прервал его Каморцев. — Идут, — прибавил он взволнованным шепотом, срываясь с места и принимая почтительную позу.

— Что ж ты меня, братец, не предупредил, что твоя «просветленная» — мужчина, — шепнул ему на ухо Курлятьев, вглядываясь с любопытством в темную фигуру, появившуюся на пороге растворившейся двери.

— Господин Курлятьев! — произнес мужской голос.

— Здесь, — отвечал повеса, вытягиваясь в струнку, как солдат перед начальством.

— Идите, вас ждут, — объявили ему, не обращая внимания на его шутовскую выходку.

И повернувшись к ним спиной, посланец зашагал по длинному коридору, разделявшему дом на две половины.

— А ты тут еще подождешь, перед тем как за нами последовать, — шепнул своему приятелю Курлятьев. — Мне как наипорочнейшему предпочтение. О женщины, женщины, все-то вы скроены на один образец!

Последние слова он процедил сквозь зубы и про себя, торопясь догнать своего проводника в полутемном коридоре, который его заставили пройти до конца. Тут проводник его остановился, растворил перед ним дверь и, пригласив его движением руки войти, скрылся.

Молодой человек очутился в уютном кабинете, освещенном восковыми свечами в бронзовых канделябрах на камине. Тут стен не было видно за высокими шкафами с книгами; у окон, завешанных тяжелыми темными драпировками, стояло массивное бюро, заваленное бумагами, а в одном из углов помещался широкий турецкий диван со множеством подушек и двумя глубокими креслами по сторонам.

При появлении гостя на диване этом сидела та самая женщина, что разговаривала полчаса тому назад с княгиней Дульской в комнате с картинами таинственного содержания. Но теперь княгиня не узнала бы ее: так преобразилась она от наряда, в который она сочла нужным облечься для приема новых посетителей. Все на ней, начиная от прически и кончая цветными туфельками, было изящно, кокетливо и модно. От румян на щеках глаза сверкали, как брильянты, губы приветливо улыбались. На высоко взбитых локонах драгоценное венецианское кружево подколото было живой розой, аромат которой сливался с

тонкими духами, наполнявшими воздух. Живая и грациозная, с звучным молодым голосом, она производила впечатление женщины двадцати пяти лет, и в то же время величавым благородством веяло от ее фигуры, так что забыть перед нею, как перед простой смертной, не было никакой возможности. И Курлятьев это почувствовал при первом взгляде на нее. Как очарованный, остановился он у порога, отвесив глубокий поклон и в первый раз в жизни ощущая нечто вроде смущения и робости.

Много красивых женщин встречал он за последние десять лет, с тех пор как ухаживание за ними сделалось целью его жизни, но такую он никогда еще не видел, а между тем ему казалось, что лицо ее ему знакомо. Но где являлось оно ему? Во сне, без сомнения; такие явления наяву не забываются, и, встретившись с нею, не пожелать еще и еще ее видеть невозможно.

— Садитесь, месье Курлятьев, очень рада с вами лично познакомиться, — сказала она по-французски, указывая рукой на кресло рядом с диваном, на котором она продолжала сидеть, с улыбкой оглядывая с ног до головы вошедшего. — Говорю лично, — продолжала она с развязностью светской женщины, желающей легкой фамильярностью показать особенное внимание молодому человеку, — потому что заочно давно вас знаю... Да, да, — засмеялась она в ответ на его изумленный взгляд, — я очень много про вас слышала...

— Вы меня интригуете, маркиза. Кто же мог вам про меня говорить? Меня здесь никто не знает, я петербургский житель, в Москве проездом, и, насколько мне известно, если не считать Каморцева, общих знакомых у нас нет.

— Почем знать! — проронила она с загадочной усмешкой.

И, не дожидаясь возражения, спросила, давно ли виделся он с княгиней Дульской.

Молодой человек вспыхнул и сдвинул слегка брови, но смущение его длилось одно только мгновение, ироническая усмешка проскользнула по его губам, и он самым естественным тоном спросил:

— А разве княгиня в Москве?

— Она сейчас у меня была. Неужели вы с нею не встретились?

— Мы видели карету у ворот вашего дома и даму, которая села в эту карету и уехала, но мне и в голову не пришло подумать, что это княгиня Вера Васильевна. Очень жаль, что я пропустил случай засвидетельствовать ей мое почте-

ние, но, право же, я был очень далек от мысли ее встретить здесь; мне говорили, что она до сих пор в деревне.

— Она приехала в Москву уже с месяц...

— Вот как!

— И со всей семьей.

— С князем? — с живостью спросил он.

— Нет, ему въезд в столицу до сих пор запрещен.

— Знаю, и потому так удивился и обрадовался, когда вы сказали, что они здесь всей семьей, — возразил Курлятьев, с большим апломбом выдерживая испытующий взгляд своей собеседницы. — Я его очень люблю, это такой чудный человек, — прибавил он добродушно.

— А вам известно, почему он в опале? — спросила маркиза.

— Право, не знаю. Говорили тогда, что государь на него разгневался за его сношения с фаворитами прежнего царствования, что-то в этом роде, уж я теперь забыл, это было так давно, — прибавил он с наивной беззаботностью юности.

Но беззаботность эта была напускная. Его беспокоил исход разговора, и он спрашивал себя с досадой: «К чему это Вере понадобилось говорить про него этой чужеземке? Как все женщины опрометчивы и невоздержны! И какая у них пагубная страсть играть с огнем! Ну, хорошо, что он так отлично умеет собой владеть, что ничем его не смутить и не заставишь сказать то, чего говорить не нужно; другой на его месте, пойманный таким образом врасплох, чего доброго, выдал бы их тайну каким-нибудь неуместным словом или неловким движением, но он, слава Богу, не из таких-ских, и если женщины, кидающиеся, очертя голову, в его объятия, не могут рассчитывать на постоянство его чувств к ним, то по крайней мере они могут вполне полагаться на его скромность и честь. Ни разу еще не выдал он ни одной из своих любовных тайн, а между тем у него их множество, и кумиры, которым он одновременно поклоняется, раскиданы в таких разнородных слоях общества, что, право же, нельзя не ставить ему в заслугу изумительную ловкость, с которою он ухитряется вести свои сердечные дела.

Но таинственная маркиза не для того вызвала его к себе, чтоб слушать рассказы про его любовные похождения; ей другое нужно было от него узнать, и со свойственной ей смелостью она приступила к делу.

— А известно вам, месье Курлятьев, про то, в чем вас обвиняют относительно князя Дульского? — спросила она.

Он с шутливой развязностью подхватил этот вызов.

— Маркиза, — начал он, скорчив смиренную физиономию и с притворным смущением опуская глаза, — к вящему моему стыду, должен вам сознаться, что вас не обманули, перед вами величайший повеса в мире, негоднейший из сорванцов и ферлакуров, вся жизнь которого проходит в лазуканье за красавицами, в талалакании любовных романсов и тому подобных фривольных и недостойных серьезного человека утех. Но ведь молодость дается человеку один раз в жизни, маркиза!

— И это все? Вас совесть ни в чем больше не упрекает? — спросила она, помолчав немного и таким торжественным тоном, что дурачливое настроение внезапно с него слетело. Он поднял на свою собеседницу недоумевающий взгляд и не узнал ее: вместо прелестной светской женщины, очаровавшей его с первой минуты любезностью и добрым участием, он увидел существо с бледным лицом и пристальными, пронзительными глазами вдохновенной ясноты. Ему стало жутко и вместе с тем обидно. Она его в чем-то обвиняла, ему хотелось оправдаться. Больше того, он чувствовал, что он должен оправдаться перед нею, что он будет несчастлив, если этого не достигнет.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, маркиза, — произнес он с достоинством, — я русский дворянин и имел честь служить в гвардии ее величества блаженной памяти императрицы Екатерины Алексеевны.

Не будь он в эту минуту так возбужден, его, без сомнения, изумило бы выражение лица его собеседницы: жгучий блеск ее глаз смягчился нежностью, а губы тронула улыбка.

Но это длилось недолго.

— При той жизни, которую вы ведете, нет ничего легче, как сделать зло бессознательно, — объявила она сурово.

— Но что я такое сделал? Скажите мне, чтоб я мог исправить.

— То зло, которое вы сделали неумышленно и в такую минуту, когда ум ваш был отуманен, исправить нельзя.

— Чем отуманен, маркиза? Что вы хотите сказать? Если вам рекомендовали меня, как отчаянного пьяницу, то вас обманули... Клянусь вам честью, что меня оклеветали перед вами...

В волнении своем он забылся и так громко произнес последние слова, что испугался звука собственного голоса и смолк, не кончив фразы.

— Продолжайте, — сказала она.

— Я не знаю... Я не могу вам объяснить, что именно со мною происходит, — начал он, запинаясь, с трудом пе-

реводя дыхание и потирая лоб рукой, чтоб сбросить странную тяжесть, все сильнее и сильнее надавливавшую ему на мозг, — но с той минуты, как я сюда вошел... Как я вас увидел, услышал ваш голос, почувствовал на себе ваш взгляд, у меня одно только желание... Мне одно только нужно, чтоб вы не были обо мне дурного мнения... Мне хочется, чтоб вы меня всего узнали... Всю мою душу... Не то, что другие во мне видят и за что меня любят или ненавидят... Нет, нет, я не так выражаюсь! Не таким, каким я есть, желал бы я, чтоб вы меня знали, а таким, каким я должен сделаться, если... Если...

Неужели это он говорит? Неужели это его уста произносят такие странные, не соответствующие ни мыслям его, ни характеру слова? Новый дух какой-то в него вселился, и от прежнего человека, от всего, что раньше его одушевляло, не осталось и следа. Чувства, желания, помыслы — все в нем жаждет обновления, все стремится куда-то вдаль, в неизвестность... Куда? Она укажет.

Он поднял голову. Она стояла перед ним, выпрямившись во весь рост, властная, непобедимая, и как ни силился он смотреть ей в глаза, это было невозможно. Так же невозможно, как сбросить иго, которое она накладывала ему на душу, — освободиться от нравственных цепей, которыми она сковывала его ум и сердце. Невольно поднялся он с места и покорно опустил голову, как обвиняемый перед судьей, как раб перед господином.

— Если ты воспримешь дух истины, — медленно и торжественно отчеканивая слова, окончила она начатую им и прерванную в душевном смятении фразу.

Да, это именно то, что он хотел сказать, но у него еще нет слов для изъяснения новых чувств, нахлынувших так внезапно и неожиданно ему в душу.

А она между тем, устремив вдаль вдохновенный взор и точно прислушиваясь к таинственному голосу невидимого духа, продолжала:

— Надо хотеть, это главное. На тебя только издали повеял дух истины, и ты уж не тот, что был прежде. Нет в тебе больше воли на зло. Ты, как труп, из которого вынули душу, как слепец от рождения, перед которым на мгновение разверзлась завеса на свет солнца. Никогда не забыть тебе этой блаженной минуты просветления! Никогда не примириться с отсутствием духа! Всюду будешь ты Его искать, и не найдет жаждущая твоя душа ни в чем земном утехи, доколе не сделаешься ты достойным слиться с Ним, проникнуться Им до мозга костей, уничтожиться в

Нем всем твоим существом, чтоб каждый твой вздох, каждое помышление, каждое слово и движение исходило от Него. Много предстоит тебе труда, борьбы, слез и печали. Настанут для тебя дни, когда ты будешь так близок к гибели, что мраком отчаяния затемнится твой ум и наполнится твое сердце. И будешь ты изнемогать под бременем непосильной ноши, и сердце твое будет раздираться о тернии всех земных зол: клеветы, злобы, людской ненависти и ослепления. И помутится твой ум от бедствий, что низринутся на твою голову. И напрасно станешь ты искать утешения в тенях прошедшего и призраках будущего. Напрасно побежишь ты за ними и будешь умолять их о помощи и наставлении, они не поддержат тебя и не научат, а приведут тебя к бездне, на самый край пропасти. И тут только ты опомнишься и вознесешься к Духу Истины, тут только отверзнутся твои духовные очи, из слепца ты сделаешься зрячим и поймешь вечную справедливость, постигнешь закон возмездия, управляющий миром с тех пор, как мир существует, и для которого, чтоб им проникнуться, надо отрешиться от мира...

Лицо ясновидящей, постепенно бледнея, приняло оттенок мертвенности, голос звучал все громче и отрывистее, и наконец слова стали криком вылетать из ее груди, точно ей было мучительно их произносить и точно невидимая посторонняя сила понуждает ее говорить, а взгляд ее, впиваясь в Курлятьева, проникая до глубины его души, прожигал его насквозь.

Сколько времени это продолжалось, сколько минут или часов пробыл он под обаянием этого загадочного существа, Курлятьев не мог бы сказать. Не мог он также припомнить, как именно кончилась его аудиенция у «просветленной». При расставании с нею, с ним не было ни обморока, ни дурноты, голова его не кружилась, ноги не подкашивались, и он твердым шагом, вполне сознательно прошел через коридор в комнату, где ждал его Каморцев, а оттуда, одевшись в прихожей, они прошли в сопровождении привратника через двор на улицу, сели в сани и катят теперь по городу.

Темно. Поднялся холодный ветер, глаза залепляет хлопьями снега, и белесоватый туман кое-где тускло просвечивает сквозь красноватое пламя фонарей.

По фонарям этим Курлятьев догадывается, что они доехали до центра города и что он скоро будет дома. Спутник его несколько раз принимался с ним заговаривать, но он не

отвечает. Ему так тяжело пробудиться от оцепенения, которым сковано все его существо, что он и не пытается стряхнуть с себя душевную летаргию, навеянную на него взглядом и голосом странного существа, которое одни называют ясновидящей и просветленной, а другие — шарлатанкой. Для него она ни то, ни другое, она — его совесть. Существует ли она на самом деле, или ему только кажется, что он ее видел и говорил с нею, наяву или во сне произошло все испытанное им — он не знает. Да и не все ли равно! Ему и останавливаться на этом вопросе не хочется. Узнать, в каком именно преступлении она его упрекнула, вот за что он полжизни отдал бы, но она этого не хочет, и он останется в неведении. Должно быть, так надо. Надо, чтоб он пострадал за неизвестную ему вину... Она ему это предсказала, и все так случится непременно, иначе и быть не может. А потом будет хорошо.

Совсем маленьким и ничтожным чувствовал он себя перед нею. Таким маленьким, как двадцать лет тому назад перед няней Григорьевной, когда она, бывало, разбудит его тихонько ото всех и поведет с собой к заутреней. Все еще спят в доме; на улице свежо, но воздух такой чистый, душистый, звон колоколов так весело разносится на далекое пространство, и после темной душной детской с завешанными окнами, на соборной площади, залитой лучами восходящего солнца, дышится так радостно и легко! Птички на деревьях чирикают, коровы, выгоняемые на пастбище, мычат, и на каждом шагу попадаются такие люди, которых только в этот час и можно встретить на улицах, — мужики и бабы с деревенскими продуктами из соседних сел спешат на базар, с тем чтоб, распродавши свой товар, до поздней обедни вернуться домой; попадают также и старушки, как Григорьевна, с внучатками, которых тоже поднял с постели звон к заутреней. Но зевать по сторонам няня не дает Федюше, не выпуская его ручонку из своей широкой заскорузлой руки, она торопливо шагает с ним через площадь к собору, толкуя про Боженьку. Каким надо быть умницей, добрым, милостивым, кротким и смиренным, чтоб заслужить Его милость и чтоб Он к себе в светлый рай взял.

И, слушая ее, ему так хочется быть таким, каким Бог велит быть, что сердце его заливается умилением, слезы выступают на глаза, и всех хочется любить и ласкать.

Ни разу не испытал он ничего подобного с тех пор, как увезли его в Петербург и разлучили с няней Григорьевной. С тех пор прошло двадцать лет; из ребенка он уже давно

превратился в мужчину, со страстями, пороками, с мыслями и чувствами испорченного светской жизнью человека, и, если б несколько часов тому назад кто-нибудь ему сказал, что он испытает то, что заставила его испытать маркиза, он расхохотался бы в глаза такому пророку, а между тем чудо это с ним совершилось: он превратился в ребенка, у него ребяческие чувства и желания, ему всей душой хочется исправиться, начать другую жизнь, сделаться достойным ее одобрения.

Что за чувство влечет его к этой женщине? Никогда еще не испытывал он ничего подобного. Она очень хороша собой, но любви в том смысле, в котором он привык применять это слово, у него к ней и тени нет. Она скорее внушает ему благоговейный страх, но вместе с тем и нежность, как родное существо, с которым он был близок давно, много лет тому назад... Раньше, чем он явился на свет, может быть? В другом мире?.. Ему кажется, что он всегда ее знал, и только по независящим от него обстоятельствам, затемнившим ему память, забыл про нее. Но зато теперь он не может себе представить жизнь без надежды снова ее увидеть, слышать ее голос, чувствовать на себе ее взгляд...

О этот взгляд! С чем сравнить его силу, как объяснить то душевное состояние, которое он испытывал, когда она на него смотрела! Это было опьянение какое-то и до того сладкое, блаженное, что ничего подобного нельзя найти ни в любви, ни в вине, ни в музыке, ни в чем, где люди ищут забвение и радость.

Он ей все это высказал, расставаясь с нею, но в каких именно выражениях и что она ему отвечала, он не помнит. И чем больше усиливается он задержать убегающие впечатления, тем быстрее улечиваются они из его головы, как грезы, как легкие облачка, скользящие по ясному небу, принимая то один образ, то другой.

— До свидания, увидимся сегодня на бале, — сказал ему его спутник, когда лошади остановились перед подъездом курлятьевского дома.

— До свидания, — машинально повторил Курлятьев, выходя из саней.

Точно так же бессознательно, как во сне, поднялся он по лестнице и вошел в дверь, растворенную перед ним камердинером, а из прихожей, сбросив с себя шубу, в кабинет, где на письменном столе горели восковые свечи в бронзовых подсвечниках.

Тут только ощутил он непреодолимую истому во всем теле, ноги с трудом передвигались, и клонило ко сну так

неудержимо, что, дошедши до дивана, он не в силах уже был идти дальше, повалился на подушки, не раздеваясь, и тотчас же заснул крепким, как смерть, сном.

Разбудил его голос камердинера Прошки, уже с четверть часа стоявшего в двух шагах от дивана, без устали повторяя:

— Десятый час, сударь, пора вашей милости одеваться на бал.

Бал? Какой бал?

— На какой бал? — повторил он слово, заставившее его очнуться, с изумлением оглядываясь по сторонам.

Как очутился он на этом диване? Почему он не разделся и не лег в постель? Даже кружевное жабо не снял, и часы на нем. Что все это значит?

— Как вернулись домой в восьмом часу, так и заснули, не раздеваясь, — пояснил, почтительно сдерживая улыбку, Прошка. — Девять часов пробило, только-только успеете одеться. Карету закладывают, и все уж готово в уборной. Петрович дожидается с щипцами.

Петрович — это крепостной парикмахер Курлятьева, отданный в учение к французу еще покойной Анной Федоровной. Но что такое случилось? Отчего он так крепко проспал целых два часа кряду? Так крепко, что даже очнуться не может. У него нет привычки спать днем. Разве только после бессонной, проведенной в кутеже, ночи. Но он с тех пор, как приехал в Москву, ни разу не кутил, а сегодня и за обедом вина не пил. В том доме, за заставой, куда возил его Каморцев, ему тоже вина, кажется, не подносили... Но там как-то странно пахло... духами какими-то, очень тонкими и крепкими в то же время. Платье его так пропиталось этими духами, что когда, сбросив кафтан, он потряхнул кружевами жабо, ему вдруг все вспомнилось...

Нет, далеко не все. Как живая, встала перед ним обстановка, окружающая маркизу, но сама она ускользала от него, и, как ни силился он восстановить в памяти подробности его разговора с нею, ничего из этого, кроме раздражения, не выходило.

Замечательно красивая женщина, неопределенных лет... Иногда ему кажется, что больше двадцати ей нельзя дать, а иногда — тридцать, тридцать пять даже... Смотря по тому... Почему?

Ответа не находилось на этот вопрос. Не мог он также припомнить ни голоса ее, ни улыбки, ни взгляда. Да полно, одна ли она была с ним? Не было ли в той же комнате еще другой женщины, с мертвенно бледным лицом и с при-

стальным, страшным взглядом? Но в таком случае первая исчезла при появлении второй, потому что вместе он их не помнит и никак не может себе представить. Отдельно — да. Одна — милая, любезная, светская красавица, с очаровательной улыбкой. У него с нею завязался непринужденный разговор, который вдруг на полуслове оборвался, а потом началось то, другое, страшное, с бледнолицей и суровой пророчицей. До сих пор звучит у него в ушах резкий голос, которым она упрекала его и грозила ему. За что? И чем именно, какими бедами? Все это бесследно вылетело у него из памяти, осталось только смутное впечатление чего-то ужасного, до сих пор тоскливо щемившего ему сердце.

Помнил он также, что совсем в ином настроении ехал он домой после свидания с «просветленной». Радостным восторгом было тогда полно его сердце, и дух его парил высоко над землей.

Наваждение какое-то!

А вольтерьянцы еще уверяют, что в колдовство нельзя верить, что не существует ни ведьм, ни бесов, что всем управляют силы природы и что все, случающееся с человеком, все явления как в его внутреннем, так и внешнем мире можно объяснить очень просто, если изучить сочинения натуралистов. Посмотрел бы он, как эти самые натуралисты объяснили бы то, что с ним случилось сегодня! Жаль только, что на человеческом языке слов не хватает, чтоб передать подобные ощущения, а то он, пожалуй, отправился бы за советом к кому-нибудь из этих мудрецов.

Размышляя таким образом, Курлятьев покорно отдавал свою особу в распоряжение парикмахера и камердинера. Первый напудрил его и завил, второй обул в белые шелковые чулки и башмаки с золотыми пряжками, одел в щегольской бальный костюм и подал ему вместе с часами на массивной цепочке с кучей брелоков и кошельком с золотом перчатки.

Надевая их, Курлятьев вспомнил, что, чего доброго, ему предстоит сегодня вечером довольно щекоотливая встреча. Княгиня Дульская доводится близкой родственницей хозяйке того дома, в который он едет.

При этой мысли красивое лицо его исказилось гримасой досады, но на одно только мгновение. Беззаботно передернув плечами, он решил, что если избегать встреч со всеми женщинами, с которыми он был в любовной связи, то ему ни в Москве, ни в Петербурге ни в один дом нельзя показаться.

Самодовольно усмехнувшись, он прыгнул в двухместную карету, дожидавшуюся его у крыльца, и приказал ку-

черу гнать лошадей во всю прыть. Туалет занял у него много времени; прозвонило десять, когда он вышел в прихожую, и бал уже будет в полном разгаре, когда он войдет.

III

Часа за три перед тем вот что происходило в домике за заставой, из которого посетители выходили в таком странном, необъяснимом душевном настроении. Не успела затвориться дверь за Курлятьевым, как загадочная хозяйка этого таинственного жилища подошла к одному из шкафов с книгами в переплетах, видневшихся сквозь стекла дверец, и растворила его. Шкаф оказался фальшивым, и книг тут не было ни одной: это была потайная дверь в соседнюю комнату.

Маркиза ударила в ладоши и закричала:

— Товий!

На зов этот тотчас же откликнулись.

— Я здесь, госпожа. Давно жду, чтоб вы кончили беседу с этим франтом. Важные вести — посланец с Мясницкой, а также от Успенья, и, кроме того, приходили от Сынковых, — проговорил, входя в комнату, бледный и худой человек лет сорока пяти в одежде не то ксендза, не то семинариста, подавая своей госпоже два письма, запечатанных большими печатями. На нем был скюртук, напоминающий сутану, черный и длинный до пят, а волосы с проседью падали локонами до плеч. Черты его лица были замечательно тонки, глаза светлые и ясные, как у ребенка, но кожа покрыта сетью мелких морщин, и странная, неестественная усмешка, точно застывшая на его синеватых тонких губах, придавала его лишенному всякой растительности лицу что-то сардоническое и вместе с тем горькое. Во всяком случае, глядя на этого человека, нельзя было не подумать, что он стоит особняком от других людей и живет жизнью, ничего общего с жизнью ближних его не имеющей.

— От Сынковых? — переспросила с оживлением его госпожа. — Что там случилось?

— Попросят ясновельможную сегодня вечером непременно к ним пожаловать, — объявил Товий.

И, таинственно понизив голос, он прибавил:

— Приехала.

— Приехала? — радостно повторила маркиза.

— Приехала на одну только ночь, завтра чуть свет отправляется в Тверь. Там ее ждут. Замешкалась в Рязани.

Он произносил слова твердо и отрывисто, но с заметным чужеземным акцентом.

— Знаю, знаю, — с нетерпением прервала его госпожа, распечатывая поданные ей конверты. — Пришли ко мне Марьицу, надо переодеться, да распорядись насчет кареты. И никого не принимать, всем говорить, что я заперлась в молельне и до завтра не велела себя беспокоить, — закричала она ему вслед.

— Добже, пани, — отвечал из противоположного конца коридора Товий.

А она принялась поспешно просматривать письма, вынутые из конвертов.

Времени для этого потребовалось немного; горничная, та самая девушка, что вводила к маркизе посетителей, не успела войти в комнату, как уж оба письма были прочитаны и брошены в камин с тлевшими угольями, и маркиза принялась за свой туалет.

На этот раз она оделась в скромный костюм среднего сословия женщины, темного цвета, без всяких украшений, и сразу лета ее обозначились. Благодаря ли тому, что она позаботилась смыть с лица косметику, которой оно было покрыто, или потому, что возбужденное состояние духа, которое она в себе усилием воли поддерживала несколько часов кряду, внезапно спало и сменилось утомлением, так или иначе, но от прежней горделивой, сильной духом и экзальтированной красавицы не осталось и следа; взгляд ее огненных глаз затуманился, движения сделались медленны и вялы, углы губ опустились, усмешка, скользившая по ним, была полна задумчивой горечи, а голос, которым она отдавала приказания, провожавшим ее до кареты Товию и Марьице, звучал глухо. Она сгорбилась, с трудом передвигала ноги и опиралась на руки своих провожатых, как существо, обессиленное продолжительной болезнью или удрученное летами. В карете, очень простой, без позолоты и гербов, запряженной парой, с кучером и лакеем в темных ливреях, маркиза растянулась на мягких подушках, как в постели, благодаря особому приспособлению выдвигавшейся скамейки из-под переднего сиденья, а когда лошади тронулись, она со вздохом облегчения закрыла глаза и в полном изнеможении пролежала неподвижно в той же позе до тех пор, пока не въехала в лабиринт узких и тесно застроенных переулков, примыкавших с одной стороны к самому Кремлю, и остановилась перед запертыми воротами дома купца Сынкова. Сынков этот, невзирая на неказистость его дома и более чем скромный, отшельнический, можно сказать,

образ жизни, слыл одним из богатейших купцов в Москве. Уверяли, что он ворочает миллионными делами и держит в руках всю торговлю золотою и серебряною утварью не только здесь, но и по всей России. У него были свои прииски в Сибири, гурты овец в степях, рыбные ловли на море, и всюду дело у него шло без сучка, без задоринки, как у заколдованного. Руды не истощались, раз попавши в его руки, моровая язва обходила его скот, в приказчики нанимались люди верные и сметливые, и ни разу еще не покупал он землю, чтоб в этой земле, от которой прежние владельцы ничего кроме убытка себе не видели, не объявилось для него какой-нибудь нечаянной прибыли. Либо на руду нападет, либо на водяной ключ, и на глазах у всех, ничего не стоящая пустошь обращалась в доходное имение, за которое ему предлагали капитал вдесятеро больше того, что он затратил.

И во всем так. Не будь у него такой богобоязненной да добродетельной супруги, давно бы Сынков колдуном прослыл, но у такой хозяйки, как у него, нечистому в доме ужиться было бы невозможно. Вся в Боге, только о добрых делах у нее и помыслы, и заботы. Не было во всем городе такого нищего, который бы ее не знал, не благословлял бы ее имени и не желал бы ей долгие годы здравствовать. А сколько добра делала она, кроме того, тайно, через доверенных ей людей и под чужим именем!

К церкви православной уж такая радетельница, что сам митрополит считал своим долгом оказывать ей внимание, называл ее женщиной великого ума и высокой нравственности, ставил ее многим другим богачкам в пример и наконец в прошлом году, при свидании с императрицей, выставил ее заслуги в таком виде, что государыня благодарность ей прислала на пергаменте, с собственноручною подписью и царскою печатью.

Эта царская милость, вставленная под стекло в широкой золотой раме, висит у них в гостиной над диваном; каждый, кто войдет, может ее видеть.

Все тогда думали, что Сынковы хоть обедом или другим каким-нибудь празднеством ознаменуют такое радостное для них событие, но ничего подобного не случилось; они жили по-прежнему благочестиво и уединенно, ни с кем не ссорясь, но и не дружа, избегая сближаться с людьми, он — все больше в разъездах, по делам, которые заведены у него были по всему Российскому государству, а она с утра до вечера в церкви. Ни одной службы не пропустит, точно монашенка, а посты соблюдает строже всякой от-

шельницы. Лавки у них тут были в гостином дворе, а на Никольской контора, и все молодцы, как одна семья, во флигеле, рядом с хозяйским домом жили. Сынковы строго за нравственностью своих сподручных наблюдали, и такого баловства, как шатанье по кабакам да по трактирам, у них не допускалось. Хочешь жить — веди себя чинно, трезво и не ленись, а не хочешь — иди себе на все четыре стороны, никто тебя не держит. О харчах для сидельцев и приказчиков сама хозяйка заботилась и кормила их не то что сытно, а даже роскошно, мясом, овощами и рыбой, что целыми возами привозили из принадлежащих им хуторов в разных местностях, и квасы, и пиво, и мед варили у нее на славу; сама же, еще смолоду, верно, обет дала мясного не вкушать; никто никогда не видал, чтоб она даже курятинки отведала. Утром выкушает чашечку чая с просвиркой, что за обедней священник ей из алтаря вышлет, а там каши какой-нибудь за обедом ложечки две-три проглотит, в скоромные дни на молоке, а в постные на воде — вот и все, ничего ей больше и не надо.

— Праведница! — говорили про нее со вздохами умиления ближние богомолки, которым она неоскудевающей рукой благодетельствовала.

— И чьи только грехи замаливает, свои или родительские? — покачивая головой, шептали недоброжелатели.

А таких у Сынковых было немало. Особенно злобствовали на него. Клеветали на него из зависти за слепое счастье, валившее ему, как истому любимцу фортуны, а также за его необщительный и угрюмый нрав. Вечно молчит, нет у него потребности ни перед кем душу распахнуть и погулять в веселой компании; все особняком, все свои дела один вершит, и других советников, кроме старшего приказчика Вавилы, у него нет. И Вавила такой же, как и хозяин, бирюк нелюдимый. У обоих точно язва какая в душе сокрыта, жжет их день и ночь, ходят вечно насупившись, даже христосуясь с народом в праздник Светлого Христова Воскресения, не улыбнутся. Но тем не менее оба они, и хозяин, и приказчик, чистые купцы и по рождению, и по воспитанию, и по всем обычаям и сноровке, а потому хоть и осуждают их за угрюмый нрав, но все же считают за своих людей, настоящего купецкого покроя, ну а уж хозяйку их своей никто не признает. Ни по обращению, ни поговору, ни по мыслям не похожа она на женщину из купеческого сословия. Даже и одежду-то не умеет она носить, как другие. А между тем шьет на нее платья и душегрейки из тяжелой, добротной материи та же самая

портниха, что на всех замоскворецких, коренных купчих шьет, и по такому фасону, что у купчих в ходу, а все не то, все на дворянку смахивает. В чем именно состоит это сходство, в какой неуловимой черточке, никто бы сказать не мог, а замечают его все. Вид у нее степенный, ходит плавно, опустья глаза в землю и поджав слегка губы, движения медленны, каждое слово обдуманно, и роняет она их точно нехотя, так уж скупно да осторожно. Шляпок никогда не носила, даже и тогда, когда молода была; лет двадцать, как их все знают, и никогда никто ее иначе, как повязанной платочком, не видывал. Она это знает, что в купеческом быту считается непристойным мужней жене свои волосы чужим мужчинам показывать. Она все знает, все ихние обычаи, замечания, повадки и всему следует строго и неукоснительно, но и этим не достигает желаемой цели: схождения с людьми одного с нею сословия.

Мужа ее здесь много раньше знали, чем ее. Он наезжал сюда из Сибири, по делам отца, когда был еще холостым. Уж и тогда был он нрава угрюмого и молчаливого, но такой красавец, что все невесты Замоскворечья без ума влюблены были в него, и посватайся он только, любую богатейку бы за него отдали. Но хотя он здесь после смерти отца и обосновался на житье, купил дом, выстроил лавки, открыл контору, однако на здешней не женился, а привез себе супругу издалека, из неизвестной семьи и такую же Несмеяну-царевну да молчалиницу, как и он сам.

Первое время, как она здесь появилась, ею очень интересовались.

— Да из каких у вас хозяйка-то? — спрашивали у приказчика Вавилы.

— Купецкая дочь, — без запинки отвечал он.

— Из богатого дома? Сколько за нею приданого-то взяли?

— Сколько дали, столько и взяли.

И волей-неволей приходилось такими уклончивыми сведениями довольствоваться. К самому Сынкову с подобными расспросами никто бы не посмел сунуться. Запанибрата с ним якшаться не отваживались даже и такие старики почтенные, с которыми молодые иначе, как стоя, и без шапки, не разговаривали.

Одним словом, укрепился Сынков на особом от всех прочих положении, да так и пребывает в нем целых двадцать лет.

Детей у них нет. И шла про них молва, будто хоть и в законе они, честным браком повенчаны и друг дружку

уважают, а живут как брат с сестрой, а не как муж с женой.

Знали еще про них одну подробность, а именно, что она православной веры держится, он же, до женитьбы, к старой вере принадлежал и много на раскольников обители жертвовал, ну а теперь как он молится — этого никто не знал; одно только было известно, что он жене ни в чем не препятствует, а она, как уж сказано выше, даже и царице через митрополита как усердная радетельница православной церкви известна.

В тот вечер Сыноква сидела в отдаленнейшей комнате своего дома, служившей ей спальней, и беседовала с женщиной средних лет, в одеянии скитницы.

В комнате довольно обширной и с низким потолком находилось великое множество сундуков, обитых железом и с тяжелыми замками; у задней стены, с печкой, стояла скромная деревянная кровать с тощим соломенным тюфячком вместо перины и довольно плоской и жесткой подушкой, но зато в красном углу возвышался огромных размеров и великолепной работы резной киот из красного дерева, весь сверху донизу уставленный образами в дорогих окладах; перед ними теплилось несколько лампадок, переливаясь разноцветными огнями в самоцветных каменьях, золоте и серебре, обильно украшавших святые иконы. У стены подальше, за высоким шкафом, куда свет от лампадок достигал только узенькой полоской, сидела у стола с чайной посудой и остывшим самоваром хозяйка. Высокая стройная женщина с благообразным кротким лицом и печальными глазами, одетая в длинный шелковый шушун темного цвета, отороченный мехом, и с небрежно накинутым на голову белым тафтяным, с тяжелой бахромой платком, спустившимся на плечи с ее густых белокурых волос, собранных черепаховой гребенкой большим узлом на затылке. Широкие рукава, откиннутые небрежно назад, обнажали еще красивые белые руки. На гостье же ряса из грубой черной ткани ревниво охватывала тощее тело; из-под черного клобука, надвинутого на самые брови и плотно обрамлявшего ее высохшее, как у мумии, лицо, выступали сверкавшие неестественным блеском глаза с черными впадинами вокруг, удлиненный худобою нос, впалые щеки с зловещими алыми пятнами, бледные губы да заостренный подбородок. По временам она покашливала сухим, резким кашлем чахоточной.

Обе сидели на стульях, обитых черной кожей; Сыноква, облокотившись обеими руками на стол и подпирая ладонями подбородок, не спускала полных сострадательной нежности

глаз со своей посетительницы, в то время как эта последняя, опустив на колени бледные руки с длинными, худыми пальцами, ровным, беззвучным голосом и устремив взгляд в пространство, отвечала на предлагаемые ей вопросы.

— Так вот какова вышла наша богоданная сестричка, — раздумчиво произнесла Сынькова. — Но где же ты с нею встретила?

— В старом доме, у Андреича. Он с Варваркой до моего приезда только ее подаянием и жил.

Она говорила отрывисто, с придыханием, прерывая речь кашлем.

— Из ума выжил, перестал смерть понимать, про мертвых, как про живых говорит. Являются они ему, облеченные в плоть.

— Вот и Григорьевне тоже, — заметила Сынькова. — И это наша казнь с Алешей. Как зачнет старое перебирать, все ужасы, которые мы пережили, как живые перед нами воскресают. Что ж, видно, так Господу Богу угодно, — прибавила она со вздохом.

— Григорьевна призрена, а Андреича мы забыли, — возразила монахиня.

— Не то что забыли, а и тебе, мнится, так же как и нам, не безопасно в том краю проявляться, — заметила Сынькова. — За покойниц нас там ведь считают.

— Мне в те места послушание вышло, — объявила монахиня. — Ну а уж пройти мимо родного дома, не заглянув в него, да не помолиться на том месте, где мы все так много суетничали и грешили, как будто и не подобает.

— Еще бы! И я бы тоже, — вымолвила Сынькова. — Так ты там ее и застала?

— Там. В горенке нашего праведника. Она часто туда заходит.

— И что ее туда привлекло?

— Он привлек, Вездесущий, кто же больше! — резким тоном объявила монахиня.

Слушательница ее промолчала.

— «Дух идеже хочет веет», — произнесла вполголоса и как бы про себя монахиня.

И на это Сынькова не проронила ни слова, только красивые тонкие брови ее сдвинулись, точно от сдавленной боли.

— А известно ей, чья она дочь? — спросила она, помолчав немного.

— Известно. Господу угодно было ее поразить, чтоб она сердце свое скорее обрела.

— Как же это могло случиться? — продолжала допрашивать Сынкова.

— Судьбы Господни неисповедимы, — начала, постепенно оживляясь, монахиня. — И никогда человеку не остережся от того, что Всевышнему угодно допустить в своей мудрости. Хранили от нее тайну ее рождения так ревниво, что даже и в городе-то стали забывать про то, что она не родная дочь Бахтериных, а дитя неизвестных людей, найденное в лесу, около родителей, убитых разбойниками. Воспитывали ее по светскому, на славу, — с горькой усмешкой продолжала рассказчица, — гувернантка не гувернантка, учитель не учитель. Возили в Москву танцам да пению обучать. По-русски и говорить-то разучилась, даже и молилась по-французски, вот до чего люди ослепнуть могут! Но ведь дяденька Иван Васильевич всегда был вольтерьянец и безбожник, а тетенька во всем ему подчинялась, даже и веры своей не сумела отстоять.

— Правда, правда, — согласилась Сынкова со вздохом.

— Как подросла у них Магдалиночка, стали женихов ей искать. Тамошние и подступиться к ней не смели, повернулся петербургский. Хорошей фамилии молодой человек, по-светски образованный, красавец и, хоть не богат, но на такой блестящей дороге, что можно было ему и простить, что вотчин да крупного капитала за ним нет. К тому же и влюбились друг в друга, ну и просватали. В день обручения, чем бы в молитве да в благочестивых размышлениях провести вечер, у них бал затеяли!

И от негодования она опять закашляла.

— Ну, и что ж дальше?

— А вот что дальше. В самый разгар плясок, оттанцевавши мазурку с женихом и наслушавшись от него любовных речей всласть, невесте вздумалось уединиться, чтоб на просторе и наедине с самой собой снова пережить сладостные впечатления, повторять задыхающимся от страсти шепотом только что слышанные слова и млеть от восторга. Она убежала на балкон, не на тот, что у них из гостиной в сад выходит, а на узенький, помнишь, что на парадный двор, в проходной оранжереяке?

— Помню, помню, — подхватила Сынкова.

Обе женщины преобразились. Под наплывом воспоминаний юности прежняя жизнь, от которой они совсем оторвались и к которой даже мысленно боялись вернуться, охватила все их существо с такой силой, что все было забыто, и обеты их, и обстоятельства, заставившие их произнести эти страшные обеты. Настоящее перестало для них

существовать, всей душой погрузились они в прошлое. Глаза их загорались греховным любопытством, губы улыбались совсем не той условной улыбкой, которую все привыкли у них видеть, и голос у них сделался другой, звучный и гибкий, и выражения стали прорываться прежние, давно осужденные на забвение как греховные, бесстыдные и неприличные в устах женщин, посвятивших свою жизнь отысканию пути к истине. Монахиня забывала вставлять в свою речь изречения из Св. Писания и в забывчивости своей все чаще и чаще произносила вслух светские мысли, приходившие ей на ум, а Сыноква, нарушая обычную сдержанность, с несвойственным ей одушевлением прерывала ее рассказ восклицаниями, выражающими негодование, любопытство, жалость, досаду, одним словом, никто бы не узнал их в эту минуту из тех, кто не знаком был с ними раньше, двадцать лет тому назад, когда они были еще молодыми девушками и звали их барышнями Курлятьевыми.

С большими подробностями рассказывала Марья повесть, слышанную ей от очевидцев: как дочка дяденьки Ивана Васильевича и тетеньки Софьи Федоровны подслушала с балкона, на который она уединилась, чтоб помечтать о своем счастье, разговор челяди и узнала так тщательно скрываемую от нее тайну.

— Ночь была теплая, звездная, дело было весной. Помнишь, ведь у нас там зима короткая, до декабря тепло, а в марте уж весна.

— Черешни цветут, — встала Катерина.

— Да, а также и сирень, и ландыши. Помнится мне, в вербное воскресенье я в одном перкалевым платье с короткими рукавами в сад выбежала, и ничего, ни крошечки не было холодно. На бал к нашим съехался весь город; на дворе, значит, карет с кучерами и с форейторами набралось много. Ну, и гуторит народ между собой. А тут еще то пива, то меду, то браги им поднесут из людской, языки-то и развязались. И никому, разумеется, невдомек, чтобы кто-нибудь из господ мог их с балкона подслушать. Болтают себе без опаски и про свои, и про господские дела. Магдалине, понятно, не до них, она к голосу возлюбленного, что продолжал в душе у нее звучать, прислушивалась, но вдруг под самым балконом кто-то произнес ее имя, и она невольно насторожила уши.

— За богатого, поди, чай, просватали? — спрашивал кто-то.

— Нашто нам богатство, у нас и своо много, — отвечал другой голос.

— Правда, одна ведь она у вас, других детей нет, — заметил первый.

— Одна...

— Да и та чужая, — вмешался в разговор третий.

— Как так чужая?

— Очень просто, найденыш, от неизвестных родителей...

Дальше да больше, все и рассказал. А в залах да гостиных праздник шел своим чередом, танцевали, угощались, веселились, пока наконец не заметили отсутствия невесты. Кинулись ее искать, обошли весь дом и нашли наконец на балконе, лежит на полу в обмороке, как мертвая. Насилу привели в чувство. И как открыла глаза да увидела испуганных, с заплаканными глазами родителей, все ей вдруг вспомнилось, сорвалась с постели да бух им в ноги. А сама от иступления рыдает, ни слова не может выговорить.

— Бедная девочка! — прошептала Катерина.

— Да, наслал на нее Господь испытание. Не успела она от страшного открытия очнуться, не успели родители ее утешить и уверить, что она им милее родной дочери, как новый удар поразил ей сердце: жених стал ее избегать.

— Негодяй!

— Испугался, что состояние Бахтериных ей не достанется, потребовал гарантий, чтоб они при жизни ее выделили.

— Ну, и что ж?

— Дяденька с тетенькой уже соглашались, но она про это узнала и сама, не дожидаясь одобрения родителей, отказала жениху.

— Умница! — вскричала Катерина.

— Я тебе говорю, славная, интересная девушка, с чувствительным сердцем и с твердой волей. К самой себе неутомимо строга, к нравственному совершенству стремится. Такие Богу нужны. Много пользы может принести, если будет направлена по доброму пути.

— Пошли ей, Господи, хорошего человека в супруги, — вымолвила со вздохом Катерина.

— Магдалина замуж не выйдет, — отрывисто возразила Марья, — не таковская.

Сестра недоумевающе посмотрела на нее и, остановив вопрос, готовый сорваться с губ, заметила, что тетеньке Софье Федоровне, должно быть, трудно теперь живет без мужа. Ведь хозяин то он был, она ни во что не вмешивалась.

— У них, как и раньше, Петр Терентьевич всем управляет, — вставила Марья.

— Это раскольник-то?

— Да, из наших, — вызывающим тоном подхватила Марья. — Отец Симионий высоко его ставит.

На это Катерина ничего не возражала и, помолчав немного, объявила, что у нее есть вести про их брата.

Марья сдвинула сердито брови, однако не без любопытства спросила:

— Какие вести? Новые безобразия какие-нибудь? Хорошего-то от него ждать нечего.

— А вот узнаем сегодня. Он в Москве, и Клавдия хотела с ним повидаться.

— А ты все еще надеешься, что эта оглашенная сюда явится на свидание со мной? — с горькой улыбкой спросила Марья.

— Я в этом уверена. Ведь ты ее двадцать лет не видела, Маша, как же ты можешь судить о ней? — мягко заметила ей сестра.

— Шаралатанка! Черту предалась! Темными силами пользуется, чтоб людей морочить, — злобно процедила сквозь зубы монахиня.

— Не судите да не судимы будете, — возразила Катерина. — А ты мне лучше вот что скажи, кто ж теперь Магдалиночку наставляет и из чего ты заключила, что и она путь к спасению ищет?

— наших там много, — отрывисто отвечала ее сестра.

— Совсем, значит, от истинной веры отшатнулась?

— От дьявола отойти — к Богу пристать, — резко возразила монахиня.

И помолчав немного, она прибавила угрюмо:

— Пора бы и тебе опомниться, сестра, да вернуться к Нему.

— Оставь меня, Маша, — со вздохом возразила Катерина. — Точно ты меня не знаешь! Я уж, слава Богу, через все это прошла. Целых два года бродила, как слепая, по вашим трущобам и нигде успокоения души не находила до тех пор, пока к истинной вере не пристала.

— Истинная вера в Духе. Разве не сказано в Писании: «Бог есть Дух, и иже кланяется ему, духом и истинною достоин кланяться».

— И наша православная вера ложь за смертный грех почитает, — кротко заметила Катерина.

— У вас в храмах золото и серебро, идолопоклонство! — вскричала ее сестра.

— Если мне отрадно украшать то место, в котором я возношусь к Нему сердцем, что же тут предосудительно? — возразила ей сестра.

— Лучше эти деньги раздать нищим.

— Ты говоришь словами фарисеев, а я тебе отвечу Его словами: «Нищих всегда будете при себе иметь...»

— Превратно вы эти слова толкуете, — прервала ее Марья и еще хотела что-то прибавить, но, заметив, что собеседница ее прислушивается к шуму на улице, оборвала речь на полуслове и тоже повернулась к окну, сквозь которое, невзирая на то что в него была вставлена двойная рама, глухо доносился лошадиный топот и скрип растворяемой калитки.

— Это карета подъехала к нашим воротам! — вскричала Катерина, срываясь с места и кидаясь к двери. — Я говорила тебе, что Клавдия непременно придет!

В соседней комнате ей встретилась бегущая из кухни молодая девушка в крестьянской одежде.

— Беги к воротам, Аннушка, прими дорогую гостью и проводи ее осторожнее через двор, — сказала госпожа. — Темно и такие намело сугробы, что тропинки-то, поди, чай, и не видать,

— Бегу, сударыня, бегу, — отвечала девушка, накидывая на ходу теплый платок на растрепавшиеся волосы.

И почти тотчас же захлопнулась за нею дверь из сеней на крыльцо, а из светлого чуланчика под лестницей, опираясь одной рукой на клюку, а другую простирая вперед, чтоб ни на что не наткнуться, выползла слепая старуха.

— Кто-то к нам приехал? Хозяин, что ли? — спросила она, шамкая беззубым ртом.

Это она разбудила Аннушку и приказала ей бежать навстречу гостям. У Григорьевны с тех пор, как она ослепла, слух сделался такой тонкий, что всякий шум достигал до нее раньше всех.

— Нет, нянечка, это не Алеша, это сестрица Клавдия, — сказала Катерина, подходя к старухе. И, ласково взяв ее под руку, довела до ближайшего стула, на который посадила ее.

— Клавдинька? — недоумевая, спросила слепая.

— Да, Клавдинька. Ведь ты ее помнишь?

— Помню, как не помнить! Наша меньшая барышня. Да ведь она умерла.

— Нет, няня, она жива. Кто тебе сказал, что она умерла? — спросила Катерина, с волнением поглядывая то на

дверь, в которую выбежала Аннушка, то на ту, за которой осталась сестра ее Марья.

— Кто сказал?! — повторила старуха. — Да все тогда говорили, — раздумчиво продолжала она. — Я за упокой ее чистой, невинной душеньки панихиду служила, и в поминанье она у меня вместе с барином записана. Ведь за оборотня ее тогда замуж-то отдали... Горе-то какое, Господи! В ногах я тогда у барыни валялась, молила деточку нашу не погубить, где тебе! И договорить не дала, закричала, затопала и вон из горницы пошла. И барина не послушала. Соньку тогда с ней, с нашей голубушкой, отпустили. Да вот, — вспомнила она вдруг, — от Соньки-то мы все и узнали, как он, нехристь-то, нашу голубку непорочную погубил, ножом прямо в сердце, а там ручку ей отрубил, а ребеночку ничего не сделал, ребеночек жив остался, призрели ее бахтеринские господа, — продолжала выжившая из ума старуха, вспоминая впечатления из далекого прошлого, по мере того как они беспорядочными отрывками оживали в ее мозгу, чтоб через минуту снова потонуть в бездонном омуте забвения.

Впрочем, ее бессмысленного лепета никто не слушал. Катерина вышла в прихожую встретить младшую сестру.

Тут горела сальная свеча в широком оловянном подсвечнике. Сейчас войдет Клавдия. С каким нетерпением жаждала ее душа этой минуты, когда они наконец все три будут вместе, как бывало, в их комнатке наверху, в родительском доме. Как ныло ее сердце при мысли, что, может быть, минута эта никогда для нее не наступит! Но Господь услышал ее молитву. И он же, многомилостивый, вразумит ее, как действовать, как говорить, чтоб обеих их направить на путь истинный. То, что Он для нее сделал, сделает Он и для них, через нее многогрешную. Все к тому идет. Могла ли она предвидеть, чтоб обе ее сестры в одно время, точно сговорившись, съехались в Москву, одна с дальнего юга, другая из чужих краев. Обе тотчас же ее отыскиали, на любовь ее и ласку напрашиваясь, и обе такие же, как и она, несчастные. По всему сестры — и по рождению, и по злой судьбе. Ах, кабы привел им Господь, всем трем горемычным, и в духе слиться воедино!

Мысли эти вихрем проносились в ее голове, сердце так билось, точно выскочить хотело из груди, а ноги подкашивались. Чтоб не упасть, она оперлась о стену, но у крыльца уж хрустел снег под ногами ожидаемой посетительницы. Катерина не выдержала и выбежала навстречу к сестре.

Прошла ночь; в церкви ударили к заутреней, а сестры все еще не расставались.

Многое надо им было рассказать друг другу, о многом вспомнить и посоветоваться.

Появление Клавдии внесло столько нового и интересного в беседу, что даже Марья преобразилась и, забыв на время свою роль суровой сектантки, расспрашивала меньшую сестру о вещах, не имеющих ничего общего с целью, которую она так неуклонно преследовала.

Клавдия должна была им рассказать всю свою жизнь, столь богатую странными приключениями, что у слушательниц ее дух захватывало от страха, изумления и восторга. Но когда наконец, рассказав про свои столкновения сначала с масонами, потом с иллюминатами и как после подготовки, длившейся целых три года, ее стали постепенно знакомить с тайнами учения, распространенного по всему миру и от которого последователи его ждали великих благ всему человечеству, когда от этих подробностей она перешла к описанию чудес, совершаемых ею повсюду, и про то, какую власть она имеет над грешными душами, прибегающими к ней за наставлениями, поддержкой и утешением, Марья опять сделалась сурова, с недоверием отодвинулась от нее и, подозрительно окинув ее с ног до головы озлобленным взглядом, угрюмо спросила:

— Какой ценой приобрела ты такую власть над ближними? Не от сатаны ли исходит твоя сила?

Прежде чем ей ответить, Клавдия взглянула на старшую сестру. Катерина со слезами на глазах уставилась взглядом на образа, и губы ее беззвучно шептали молитву.

— Ну а ты, Катя, неужели тоже считаешь меня исчадием ада? — спросила, горько улынувшись, Клавдия.

— Мне кажется, что из нас трех ты самая несчастная, — со вздохом отвечала Катерина.

— О да, я очень несчастна! — согласилась Клавдия. — Не потому, что я раскаиваюсь в избранном мною пути... Да я и не выбирала этого пути, — поспешила она оговориться, — сама судьба натолкнула меня на него и при таких обстоятельствах, что сомневаться в промысле Божиим я не могла. Каждый раз, — продолжала она с возрастающим одушевлением, — когда враги толкали меня в пропасть, на погибель души и тела, они являлись и спасали меня. Спасали со словами любви и утешения, наставляя на путь веры и добродетели. Как могла я им не поверить? Они были

лучше всех остальных людей, чище жизнью, бескорыстнее, великодушнее, умом и сердцем витают они высоко над земной мерзостью и греховными помыслами. Все их побуждения святы и имеют целью не мелкое, личное счастье, а благо родины, торжество добра над злом, любовь, равенство и свободу; как могла я им не поверить, когда, указывая мне путь ко спасению, они говорили: он ведет к истине! Потом...

Голос ее оборвался, она на минуту смолкла, а затем, собравшись с силами, продолжала с долгими остановками между фразами точно для того, чтоб из самой глубины души извлечь ту истину, которой ей хотелось поделиться с сестрами.

— Потом я и сама начала убеждаться, что они во многом заблуждаются, но тогда я уже им вся принадлежала, и душой, и телом. Тысячи мелких и тонких, как паутина, но неразрывных нитей связывали мою душу с их душой. Они доверяют мне, считают меня своей, все их тайны мне известны, — мыслимо ли мне теперь отшатнуться от них, ведь это было бы предательство? И куда мне примкнуть? К кому? Более одинокого человека, чем я, нет на свете. Ни любить, ни ненавидеть мне некого. Что я такое? Сама не знаю. Вот она, — кивнула Клавдия на Марью, — видит во мне орудие дьявола, ты тоже молишься за меня, как за погибшую, а люди называют меня просветленной, преклоняются передо мной, считают за счастье прикоснуться губами к краю моего платья, благословляют меня, прославляют... Что это такое? Объясните, если можете. Уж не мните ли вы в сердце вашем, что от меня зависело остановиться на рубеже между злом и добром? О как жестоко ошибаетесь вы! Как найти этот рубеж между ложью и истиной! Да я до сих пор не могу себе уяснить, что происходит во мне, когда на меня находит то, что Марья и ей подобные называют дьявольским наваждением, а другие — небесным просветлением, когда я начинаю пророчествовать и влиять на людей взглядом, словами, мановением руки! Кто мне скажет, что это такое и откуда мне сие? Одно только сознаю я: какая-то сила из меня исходит. Слова срываются с языка сами собой, без участия воли и разума, взгляд бессознательно останавливается, рука тянется туда, куда нужно невидимой силе, овладевающей всем моим существом, и всякая попытка овладеть собой, своим «я», своей волей и разумом кажется смешна, до такой степени это невозможно. Да и чем овладевать, когда ничего нет, ни мыслей, ни чувств, ни сознания, когда все

существо сливается с невидимым духом и уничтожается в нем, расплываясь, как зернышко соли в морских волнах. А потом — полная прострация души и тела. Изнеможение, соответствующее силе и продолжительности кризиса, держит меня скованной по рукам и по ногам, в такой апатии, что мне и в голову бы не пришло пошевелиться, если б даже я видела, что потолок надо мной обрушивается или заносят надо мной кинжал. Случился однажды пожар в том доме, где я жила, именно в то время, когда я находилась в состоянии оцепенения, и я, наверное, погибла бы, если б меня не вынесли из комнаты, объятый пламенем. Когда туда вошли, подумали, что я уже задохнулась от дыма или в обмороке от страха. Ни то, ни другое, я видела пламя, врывавшееся в мое убежище, сознавала, что еще мгновение — я сгорю, но мне было все равно. В такие минуты меня могут колоть булавками, жечь, резать — я ничего не чувствую.

— В тебя вселился дьявол, — уверенным тоном объявила Марья. А Катерина с выражением тоскливого ужаса в глазах истово перекрестилась. Клавдия же продолжала, видимо, наслаждаясь возможностью излить всю душу перед сестрами.

— Были и такие случаи. Ехала я по южной Германии в Милан. Торопилась, меня там ждал один из наших, influentialный и добродетельный старец, которого я считаю отцом и наставником. Проезжать надо было через лес, в нем неистовствовали разбойники. Но я так привыкла рассчитывать на помощь свыше, что ничего не боюсь. Разбойники с атаманом во главе подстерегли нас в таком месте, откуда криков наших никто бы не мог услышать, и кинулись на нас с пистолетами и кинжалами. Их было человек десять, нас четверо — я, Марица, Товий и кучер. О сопротивлении не могло быть и речи. Спутники мои стали мысленно предавать дух свой воле Божией и молитвенно готовиться к смерти, но на меня в эту роковую минуту нашло то необъяснимое, что составляет в одно и то же время и слабость, и силу, и отчаяние, и радость моей жизни, и едва только глаза мои встретились с глазами злодея, кинувшегося на меня с кинжалом, как он побледнел, рука его опустилась, оружие выпало из его пальцев, и он отпрянул от меня в смертельном ужасе. Что было дальше, не знаю; когда я очнулась, от разбойников и след простыл, а люди мои обнимали со слезами мои колени, вознося Господу хвалу за чудесное спасение, орудием которого Он избрал меня. Они называли меня святой и повторяли, что я сделала чудо: разбойники от од-

ного моего взгляда разбежались, точно за ними гнался целый отряд жандармов. Как это случилось? Хоть убейте меня, сказать не могу. Когда сила, властвующая надо мной, проявляется на других, я ощущаю вторжение ее в мою душу прежде всего тем, что сама немедленно делаюсь ее послушной рабыней, устремляю взгляд туда, куда надо, чтоб я его устремила, при этом чувствую, что из моих глаз и от всего моего тела отделяется что-то такое невидимое, неосязаемое, но до того могучее, что ничто не может противиться этой силе. Так было и с тем несчастным, который готовился лишить меня жизни, чтоб завладеть моим имуществом; я совершенно бессознательно заставила его отказаться от его намерения; чужая воля моими глазами приказала ему бросить оружие, я же сама, кроме ужаса, при виде устремленного на грудь мою кинжала, ничего не чувствовала. Повторяю вам еще раз, — прибавила она таким чистосердечным тоном, что в искренности ее трудно было бы усомниться, — я ни что иное как слепое орудие в руках Провидения. А почему Оно избрало именно меня, а не другую, более достойную, тайна сия от меня сокрыта.

Люди называют меня просветленной, — продолжала она с усмешкой после небольшого молчания. — Какая же я просветленная, когда не умею читать в собственном сердце, брожу, как во тьме, и не знаю, от Бога или от дьявола дан мне дар покорять чужие сердца? Одно меня утешает — это то, что я никогда еще никого на зло не толкала.

— Змию искусителю ничего не стоит и ангелом прикинуться для достижения своих мерзких целей, — вымолвила вполголоса Марья.

— Ах, Маша, точно я и сама этого не знаю! Но что ж мне делать! Что ж мне делать? — продолжала она, обращаясь то к старшей сестре, то к младшей,

— Молись, — отвечала Катерина, — ищи защиты у церкви нашей православной.

— Иди лучше за мной, я укажу тебе путь к истине, и когда ты соединишься с духом, бес отступится от тебя, — объявила Марья.

Но Катерина обняла несчастную просветленную и, прижимая ее к своей груди, сказала, любовно заглядывая ей в лицо своими добрыми, кроткими глазами:

— Ищи там покоя, где любовь. «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вас». Вспомни, кто это сказал, к Нему и иди.

— «Мне отомщение и Аз воздам», — вымолвила Марья, сдвигая брови. — За грехи родительские мы терпим.

— Иди к Нему, — повторила Катерина, — а путь к Нему я тебе укажу, он лежит через нашу православную церковь. Верь мне, я это знаю по опыту. Ты знаешь мое горе, знаешь язву моего сердца, могла ли бы я быть спокойна без Него?!

А Марья между тем продолжала преследовать свою цель:

— Вся жизнь нашей матери была ни что иное как сплошной грех, бесы руководили каждым ее шагом. Нечистая сила свила себе гнездо в нашем доме.

— Ах, Маша! Маша! А папенька? Ты забываешь, какой он был праведник! — вскричала со слезами Катерина. — Не слушай ее, Клавдия, она сбилась с пути истинного, у нее только черти на уме, только ад да вечные муки, отчаяние да скрежет зубовый, а Бог есть любовь.

— Отец пытался замолить прародительские грехи, да не смог, — продолжала Марья с упорством фанатика. — Семья наша сотрется с лица земли бесследно, она проклята. Когда корни дерева сгнили, его срубают и бросают в огонь. Нет больше Курлятьевых.

— А брат наш Федор? — напомнила Клавдия.

При этом имени Катерина встрепенулась.

— Ты его видела? — с живостью спросила она.

— Видела. Душа у него добрая и честная, но он ее еще не обрел.

— И никогда не обретет, — решила отрывисто монахиня.

— Не пророчествуй, Маша, тебе этого дара свыше не дано, — заметила Катерина.

И, обращаясь к Клавдии:

— Я рада, что он тебе полюбился. Будем молиться за него, чтоб и он тоже нашел путь к истине.

— Кто знает! Пути Господни неисповедимы, захочет Всемогуший открыться ему, раньше нас Федор прозреет, — вымолвила Клавдия. — Бывали такие примеры, — прибавила она после небольшого раздумья.

— Святое Писание нам то же самое подтверждает, — вставила Катерина. — Ты ему открылась? Узнал он тебя? — спросила она.

— Нет, он не знает, что говорил с родной сестрой. Его привел ко мне приятель, молодой человек из наших, не посвященный еще, но уже на пути к истине. Узнать меня Федор не мог, он слишком еще поглощен мирскими помыслами и чувствами, чтоб видеть руку Божию во всем, что в нас и вне нас.

— Да он, я думаю, совсем и забыл про наше существование, — заметила Марья.

— А ты ему не напомнила? — подхватила Катерина.

— Нет, время еще не пришло. Да неужели же вы думаете, — продолжала она с одушевлением, — что я могу произвольно владеть моими словами и мыслями, когда ко мне приходят за советом и утешением как к просветленной? Повторяю вам, я делаюсь тогда рабой духа, игрушкой его, он говорит моими устами то, что хочет, а мысли мои и воля тут ни при чем.

— Слышали мы уже это, — с раздражением прервала ее Марья.

— Слышали, да не поняли, — запальчиво возразила Клавдия.

— Федор, значит, несчастлив, если ищет утешения и совета, — сказала Катерина, возвращаясь к занимавшему ее предмету.

— Кто же счастлив в сей юдоли скорби и плача? — возразила Клавдия. — Разница только в том, что один уже сознал свое несчастье, ничтожество и беспомощность, а другой еще нет, вот и все.

— А ты сознала? — сурово спросила Марья.

На вопрос этот Клавдия отвечала только вздохом.

— Почему же не стремишься ты прочь с пути дьявола? — продолжала свой допрос монахиня.

— Чтоб следовать твоему пути? — возразила с горькой усмешкой ее сестра. — Вот нас тут три и все мы дети одного отца и одной матери, выросли вместе, знаем друг друга и верим одна другой, а идем к истину каждая своим путем и так разны, что ни на чем уж сойтись не можем. А сколько других людей на свете, ищущих истины, и каждый по-своему, кто же может считать себя правее других? Знала я людей, разоряющих царства силой своего слова и верящих в святость своего призвания. Может быть, они и правы, о последствиях их деятельности будет судить потомство, они же иначе поступать не могли. На них нашел дух и овладел ими, их мыслями, стремлениями и чувствами, их сердцем и умом. Он поработил их, уничтожил в них волю, память, все, чем они могли бы ему противиться, и превратились они в трупы, оживотворенные Им, и повторяют они то, что Он им внушает, и верят тому, чему Он хочет, чтоб они верили, и действуют так, как Он заставляет их действовать. Чем они виноваты? Я знала человека, о котором теперь иначе как с содроганием, никто вспоминать не может, — продолжала она, все более и более воодушевля-

ясь, — теперь он умер и знает, сколько слез, сколько скорби и печали посеял он на земле во время своего кратковременного пребывания на ней, но раскаивается ли он в этом? И ответствен ли он пред Тем, без воли Которого волос с нашей головы не упадет, и про Которого сказано, что «пути Его неисповедимы»? Кто может ответить на этот вопрос?

— Это ужасно, что ты говоришь! — проговорила, бледнея, Катерина.

Марья же давно шептала заклинания против злого духа. Она отошла в дальний угол, опустила на колени, вынула ладанку с мощами, висевшую у нее на груди, и, крестясь, благоговейно прижимала ее к дрожащим от волнения губам, бросая исподлобья полные ужаса взгляды на ту, которую она в сердце своем давно уже считала одержимой нечистой силой.

Но Клавдия в возбуждении своем ничем не смущалась и продолжала говорить, не обращая внимания на чувства, возбуждаемые ее словами в душе ее слушательниц.

— Я встретила с другим человеком. Этот только что вступает на путь, предначертанный ему судьбой, а уж сколько крови он пролил! И он тоже бодро и смело, с ясным взглядом и спокойною совестью идет вперед, к новым победам над человеческими правами, попирая на своем пути все, что дорого людям, все, чем им мила жизнь. Он не считает себя злодеем, он гордится содеянными им преступлениями и принимает как должную дань восторженные клики, которыми приветствуют его народы, именем которых он творит зло.

— Как зовут этого человека? — спросила Марья, прерывая молитву, но не поднимаясь с колен.

— Наполеон Буонапарте, — отвечала Клавдия.

— Его у нас знают. О нем в Апокалипсисе сказано. Наши братья на Западе зорко за ним следят. Он орудие сатаны, бич, посланный свыше людям за их грехи, — резко отчеканивая слова, вымолвила Марья.

Клавдия горько усмехнулась.

— Вот вы как решили! Слепые вожди слепых! А он жизнерадостен и спокоен, и видит руку Божию там, где вам чудится дьявол. Он мнит себя искателем истины, как и тот кроткий и незлобивый, что томился в заключении за то, что печатал слова, внушенные ему духом, и как та могущественная женщина, что преследовала его во имя той же вечной истины. Правым считает себя и тот злополучный венценосец, что пятый год держит в страхе и недоумении нашу родину. Он тоже убежден, что следует указанию свы-

ше, ломая и коверкая все деяния своей матери, преследуя всех, кого он подозревает в преданности ее памяти. С точно такую же уверенность в своем праве действуют и те, что готовят ему гибель. Я укажу ему на эту гибель, — продолжала Клавдия, в исступлении возвышая голос и торжественно поднимая руку, как бы призывая Бога в свидетели искренности своих слов, — я заставлю его заглянуть в бездну, на краю которой он стоит, он все поймет и увидит, и убедится, что ему стоит только сделать шаг, чтобы спастись, но сделает ли он этот шаг? Внутренний голос твердит мне, что нет, напрасна моя попытка его спасти. То, что свыше предопределено, свершится...

— Государь? Ты предсказываешь ему смерть? — прошептала с ужасом Катерина.

— Он обречен, — проговорила «просветленная» так тихо, что сестра ее скорее угадала смысл этих слов, чем услышала их.

— Зачем же ты к нему спешишь на помощь, если наперед знаешь, что это бесполезно? — спросила Катерина.

— Да разве я могу не идти, когда меня посылают? Разве кинжал вопрошает руку, для чего направляет она его на эту грудь или на другую? И к чему бы повело колебание с моей стороны, ведь все равно я им до конца сопротивляться не могу, все равно они меня одолеют и заставят себе служить. Уйти от них мне некуда. А кто они, откуда и куда идут — это тоже одна из тех тайн, что откроются мне только после смерти.

— У тебя мало веры, — вымолвила Катерина. — Я уж не говорю тебе: следуй за мной, вернись в лоно нашей церкви, единой православной, я об одном тебя умоляю: укрепишься в вере и отгони от себя отчаяние. Вернуться к церкви никогда не поздно. Вспомни слугу, пришедшего в вертоград в последний час и получившего мзду одинаковую с теми, что трудились весь день.

Клавдия отвечала на это только вздохом.

Город пробуждался. Церковные колокола гудели все громче и громче. Сквозь запертые ставни проникал беловатый свет занимавшейся зари, слышался скрип растворяемых калиток, и снег хрустел под ногами редких пешеходов. Тишина, воцарившаяся в комнате, прерывалась только кашлем Марьи. Она продолжала молиться. Сестры же ее сидели обнявшись на кровати, каждая думая свою думу. И невеселые были эти думы. Крупные слезы скатывались по щекам Катерины, а в пристальном взгляде Клавдии, устремленном в пространство, застыла такая глубокая скорбь,

что тот, кто взглянул бы на них в эту минуту, не задумываясь, решил бы, что из трех сестер она была всех достойнее сожаления.

— Ты непременно сегодня должна покинуть Москву? — спросила Катерина.

Клавдия встрепелась и, высвободившись из объятий сестры, тревожно оглянулась на окно, за которым белело утро.

— Пора мне, сестрицы. Надо собираться в дальний путь. Времени остается мало, а дел и хлопот так еще много, что другая на моем месте ни за что бы и в неделю с ними не справилась.

С этими словами она поднялась с места и, взяв с комода кружевную мантилью, которую сняла с себя, входя в комнату, привычной рукой накинула ее грациозными складками на голову так искусно, что она могла при случае заменить ей и вуаль.

— Мы больше не увидимся? Ты навсегда покидаешь Москву? — печально повторила свой вопрос Сынкova.

— Ничего я не знаю, Катя. Не знаю даже, вырвусь ли я когда-нибудь оттуда, куда теперь стремлюсь. И не за такое дерзкое предприятие, как то, на которое я отваживаюсь, люди платили свободой и жизнью. Подумай только, на что я иду! Сказать прямо в глаза царю, венценосному самодержцу всей России, всемогущему представителю Бога на земле, что ему грозит смерть в такой-то день и час, ведь меня за это всемогущему подвергнуть — заточению, пыткам, казни.

— Но как же ты дойдешь до него? Тебя не допустят, — заметила задыхающимся от волнения голосом Катерина.

— Это уж не моя забота, все предусмотрено и приготовлено. Меня там ждут. Как приеду, так итальянский посланник представит меня сначала императрице, а через нее мне даст аудиенцию и государь. О препятствиях к исполнению моей миссии не представится! — прибавила она со вздохом. — За это я чем угодно могу поручиться, точно так же, как и за то, что мне поверят...

— А если поверят твоему предостережению, то и внемлют ему, — заметила Катерина.

— Случится то, что предопределено, — вымолвила, отрывисто и торжественно отчеканивая слова, ее сестра.

Я вижу смерть. Она уже встает над дворцом с густым садом. Едва стает иней, покрывающий ветви, и не успеют еще почки пробудиться к жизни, как старший в этом доме будет мертв. Я вижу проходную залу вроде галереи, где

тело его лежит на возвышении, и толпу бледных и трепещущих людей, подходящих один за другим с ним прощаться. Я вижу плиту в мрачном храме, окруженном морем, под которой стоит его гроб. Холодно, — продолжала она, вздрагивая. — Снег местами белеет на черной земле. Деревья стоят обнаженные, небо сумрачно, густой туман стелется над желтовато-серым городом, сливаясь с волнами реки. Катастрофа свершится скоро, через несколько недель. Надо торопиться.

Она смолкла и, закрыв глаза, провела рукою по лбу точно для того, чтоб отогнать видения, пронесившиеся перед нею, а затем, обернувшись к Марье, которая, крестясь и шепча молитву, поднималась с колен, спросила у нее, скоро ли собирается она назад в обитель.

— Завтра, — отвечала монахиня. — Мы больше не увидимся. До весны я еще, может быть, протяну, но уж дальше вряд ли, — прибавила она со спокойным равнодушием существа, для которого жизнь потеряла всякую цену.

— Кому пошлет Господь раньше смерть, тебе или нам, этого нельзя знать, — заметила Катерина.

— Истинно так, — вставила Клавдия. — Вот я уж, кажется, на верную погибель иду, а если Господу угодно будет меня и на сей раз спасти, надеюсь еще на родине побывать. Увидимся еще, может быть.

— Я давно готова, — продолжала стоять на своем Марья, не вслушиваясь в возражения сестры. — У меня и гроб с прошлого года в келье стоит, чтоб со смертного одра, как обмоют, так в него...

И улыбнувшись светлой, детской улыбкой, от которой исхудалое и потемневшее ее лицо просияло и помолодело, она прибавила: — Помните, как тогда, когда мы были совсем крошки и нас няня Григорьевна купала, а потом в мягкую, теплую постельку укладывала? Как хорошо было тогда! Спокойно, радостно, уютно! Так и в гробу нам будет.

— Правда, правда, Бог есть любовь, — подхватила восторженно Катерина.

Но монахиня уже раскаивалась в своем увлечении утешительными мыслями и образами, снова брови ее сдвинулись, глаза опустились, бледные губы зашептали молитву, а сердце сжалось мучительным предчувствием. Какой новой мукой угодно будет Господу покарать ее за то, что она поддалась искушению, на минуту забыла свои и родительские грехи и позволила себе мечтать о загробном блаженстве?! А все оттого, что она преступила устав обители, нарушила обет, данный Богу, навсегда отрешиться от всего

мирского, и согласилась свидетельствовать с сестрой, с которой была в разлуке двадцать лет. Какая она ей сестра теперь? Франкмасонка, колдунья, изрекающая прорицания силою дьявола! Даже одно то, что она провела с этой оглашенной целую ночь в одной комнате и дышала одним воздухом с нею, не составит ли незамолимый грех, за который придется заплатить вечными муками?!

От волнения она закашлялась, и кровь, показавшаяся у нее из горла, обогрела белый платок, который она поднесла к губам. Но выражение лица ее было так сурово, и она так упорно держала глаза опущенными, что сестры не смели к ней подойти, чтоб попытаться облегчить ее страдания, а обе, со слезами жалости на глазах, издали смотрели на нее, мысленно и каждая по-своему моля Бога успокоить ее и утешить.

Но шум, все явственнее и явственнее долетавший до них с улицы, по которой разносчики сносили начинали уже выкрикивать свой товар, напомнил Клавдии, что ей пора расстаться с сестрами, и она увлекла Катерину в соседнюю комнату.

Тут она у нее спросила: не может ли она чем-нибудь помочь ей и ее мужу? Бывали примеры, что величайших преступников миловали, когда они делались того достойны и когда было кому за них ходатайствовать.

И в подтверждение своих слов она назвала несколько известных по всей России людей, начавших свое житейское поприще страшными преступлениями. И все это теперь смыто и забыто, приписано несчастному течению обстоятельств, неопытности, гнусным примерам.

Ей не дали договорить.

— Нет, Клавдинька, наши грехи настоящего искупления ждут, — возразила с покорным вздохом Сынькова.

— Да разве твой Алексей Степанович не искупил стоицей невольные грехи юности? Сколько вы добра людям сделали, сколько храмов во славу Божию воздвигли! В храмах этих каждый день за вас молятся. А скольких вы на путь истины наставили! Про тебя я уж не говорю, вся Москва, молящаяся и о душе своей пекущаяся, тебя чтит и благословляет, но и его, твоего мужа, не меньше тебя уважают и любят. Я сама слышала, как про него говорят, и радовалась за тебя.

— То люди, Клавдия. Нам ли с тобой придавать значение тому, что люди толкуют!

— Я буду иметь случай говорить с высокопоставленными личностями, я на них так повлияю, что они за счастье

почтут доказать мне свою преданность. Позволь мне замолвить слово за Алексея Степановича, чтоб во имя настоящего и во имя моей любви к нему очистили его от прошлого! Ведь уже два раза десятилетняя давность миновала с тех пор, — продолжала Клавдия, не обращая внимания на протесты сестры, которой, видимо, был досаден этот разговор. — Нет такого преступления, которое нельзя было бы искупить в течение двадцати лет.

— Мы и искупим. А уж как, это наше дело, — вставила вполголоса Катерина.

— А тебе-то, что же искуплять? В чем твоя вина? — возразила ее сестра. — За грехи мужа, да еще содеянные до женитбы, жена ни в каком случае не ответчица.

— Как же не ответчица, когда я сама по себе не существую с тех пор, как полюбила его! — вскричала Катерина. — И разве не я причина всех содеянных им преступлений? Разве не за любовь ко мне его на невыносимую муку в солдаты отдали? И разве не слились мы душой так нераздельно, что никакой силе, ни земной, ни небесной, нас не разлучить? Ну, оторвут нас друг от друга, в цепи закуют, на тысячи верст разлучат, горы между нами воздвигнутся, моря разольются, но ведь сердцем-то, мыслями-то мы все будем вместе. Ведь я ему душу свою отдала. С нею он и муки терпел, и по пустыням бродил, и в лесах дремучих с лихими людьми встречался, с нею и на разбой ходил, одним только боля, об одном помышляя, одно моля у Бога — дал бы Он ему, хоть на минутку, хоть перед самой смертью, взглянуть на меня, сказать, как он любил меня! И у меня другой думушки не было, как шепнуть ему, что я верной ему осталась. Ты говоришь, не ответственна я за него! Да я больше чем ответственна, меня одну карать надо, потому что я всему причина. Нет, нет, грех наш общий, нераздельный, и с кого больше взыщется там, где всякий помысел сочтен и всякая слеза записана, это уж решит судья нелицеприятный, которому все открыто.

И долго бы она еще распространялась на ту же близкую ее сердцу тему, если б старческий голос, раздавшийся неожиданно в комнате, не заставил оборвать ее речь на полуслове, а Клавдию, слушавшую ее с поникшей головой, вздрогнуть и оглянуться на угол за дверью, где сидела Григорьевна до последней минуты так тихо, что Катерина забыла о ее присутствии.

— А Федичка-то наш где? Катенька, с кем это ты? Давно уж прислушиваюсь. Голос, как будто, знакомый. Кто это с тобой? Спроси, не знает ли, где мой красавчик ненаг-

лядный Федичка? — жалобным, умоляющим голосом, шамкая беззубым ртом, протянула старуха. — Спроси, чувствует мое сердце, что знает... А мне бы только перед смертью услышать, живо ли мое красное солнышко, здоров ли, послал ли ему Господь счастья?

— Сестра! — вскричала Клавдия, хватая Катерину за руку и бледнея от волнения, точно при появлении призрака с того света. — Да ведь это наша няня, Григорьевна?

— Она самая, — отвечала Катерина.

— Так она еще жива? Как же мне там сказали!

— Она жива, но ослепла и стала в уме мутиться. Как узнали мы, что папеньку увезли из дому, Алеша сам за нею поехал, привез ее к нам. Она уж и тогда заговаривалась. Разлука с нами, а главное с Федей, помнишь, как она его обожала? А потом этот ужас, которому она была свидетельницей, нашествие полиции в дом, обыск, арест папеньки. Он сопротивлялся, его ведь связанного повезли, обращались с ним, как с сумасшедшим, заключили в подвал с решеткой у окошечка. Алеша его там видел. Ему удалось подкупить сторожей и проникнуть к нему. Целый час он с ним беседовал и нашел его в полном разуме, но уже умирающим. И как он чудно говорил! У нас все его слова записаны. Перед кончиной просветление на него нашло, и он узрел путь ко спасению. Последние его слова Алеше были: «Бог есть любовь...» И вот почему мы верим, что каждый, кто ищет истину, ее найдет. И благодатнее, успокоительнее этой веры нет на свете, — восторженно говорила Катерина. А сестра ее, опустившись на колени перед старой няней, ласкала ее и целовала ее морщинистые щеки, по которым текли слезы умиления.

— Да, Бог есть любовь, — повторила Клавдия.

— Да ты, кто такая? Уж не Клавдинька ли? — спросила слепая дрожащим голосом и ощупывая трепещущими пальцами пригнувшееся к ней лицо.

— Ты узнала меня, няня! — прерывающимся от рыданий голосом сказала Клавдия, обнимая старуху.

— Пташка ты моя голосистая! Ясынька красная! Как это тебя Господь к нам отпустил! Из светлого рая ты к нам прилетела, к горемычным! От ангелов Божиих, от херувимов и серафимов, что денно и ночью хвалу Ему воспевают... Мученица ты моя многострадательная! Где у тебя венец-то? Где крылышки?

И напрасно пыталась Клавдия ей объяснить, что она не покидала еще этот мир и не превратилась еще в призрак, — старуха оставалась глуха к ее словам, а прислу-

шивалась только с восторгом к звуку ее голоса, продолжая видеть фантастические образы, возникавшие один за другим в ее расслабленном мозгу. Но вдруг ей напомнили про меньшего питомца, и бред ее тотчас же принял другое направление.

— Федю ты помнишь, няня? — спросила Клавдия.

— Федичка? Где он? Тоже здесь? Что ж он ко мне не бежит? Маменька, верно, не пускает? Так я сама к ней пойду, к барыне Анне Федоровне. Пустите меня. Катенька, прикажи, мне, голубка, лошадку запрячь да вели Машке меня проводить, одна-то я не найду дороги. Слепая ведь я, вот мое горе! Ты, Клавдинька, не знаешь, ведь они барина-то нашего, Николая Семеновича, как колодника из простых, в цепи заковали. Уж я молила, молила, чтоб не трогали его. Кому он, добродетельный барин, мешал? Кроме добра никто от него ничего не видел. Молится, бывало, святые книжки читает да хвалу Господу поет, вот и вся его вина. За что они его на муки мученические увезли, за что истерили до смерти?

И, понижая таинственно голос, она припала горячими устами к уху Клавдии и продолжала шепотом, боязливо поводя незрячими глазами по сторонам:

— Ты главное ее-то опасайся, маменьки. Сердце у нее жестокое, всех она загубила, и деток, и супруга, а уж холопов без счета.

С тяжелым чувством покинула Клавдия дом сестры. От той давно забытой старины, что пахнула на нее здесь, тоской и отчаянием сжималось ее сердце. Все тут было так бесприсветно, уныло и так далеко от тех интересов, которыми она сама жила, что ничем не может она им помочь. Обе ее сестры, как и Григорьевна, из ума выжили, живут только призраками. Одна, изувечив себе душу и ум вместе с телом, в трепетном ужасе перед неумолимым Богом мести, которому научили ее поклоняться ослепленные страхом и горем фанатики, другая погрузилась до потери самосознания в идею искупления того, что она называет ее общими с мужем грехами. Ни о чем живом нельзя с ними говорить, им столь же непонятны радости людей, как и их страдания, и делают они добро ближним не из любви, а с далекою, абстрактною целью, руководящею всеми их поступками, всеми мыслями и чувствами, — искания пути к истине.

Трудно решить, что болезненнее отозвалось в сердце Клавдии — слепая ли ненависть Марьи ко всему мирскому или тупое равнодушие Катерины. Нет у них на земле ни-

чего, что привязывало бы их к ней, кроме заботы о том, чтобы истязанием тела заслужить царство небесное.

А ее, невзирая на все испытания и на то, что она самой судьбой поставлена особняком от ближних, все еще продолжает тянуть к жизни и людям. Свидание с братом освежило ей душу, как глоток холодной воды в знойный день освежает пересохшее горло путника на пыльной дороге. Полжизни отдала бы она, чтоб обнять Федора и открыться ему, как родному. Каких душевных усилий ей стоило выдержать свою роль до конца в его присутствии, известно Одному только Тому, от Кого ничего нельзя скрыть. Невзирая на свою испорченность и на то, что между ними бездонная пропасть в понятиях, мыслях и стремлениях, он ей показался очень добрым и способным воспринять Божие слово. Не его вина, если это слово никогда еще не достигало его ушей. Не обязана ли она им заняться? Возбудить в нем жажду к познанию истины? Недаром же судьба их свела через Каморцева. Она всего только недели две как на родине, и ей уже удалось отыскать сестер и брата, то есть именно тех существ, что ближе всех людей ей по плоти. Не предопределение ли это свыше? Брату ей уже посчастливилось оказать услугу, над ним теперь не будет тяготеть болезненная страсть княгини Дульской, да и сам он вышел от «просветленной» не тем человеком, каким к ней вошел. Кто знает, к чему поведет толчок, данный его душе, во всяком случае не к худу и во всяком случае Клавдия уж не упустит его теперь из виду и будет заботиться о нем. Кто знает, может быть, Федору суждено сблизиться с нею, сделаться ее учеником и наследником духовных сокровищ, собранных ей на тернистом пути жизни. Она постарается удалить от него эти тернии и сделать так, чтобы, воспользовавшись ее опытом, он принес действительную пользу ближним, не подвергаясь при этом ни гонениям, ни клевете. Он молод, ему только двадцать пять лет, и под руководством такой наставницы, как она, он может завоевать мир не оружием и коварством, как тот молодой герой, имя которого начинает уже греметь в Европе и в Африке, но божественным словом. Уж если она, слабая женщина, опутанная со всех сторон сетями чужой воли, покоряет сердца людей, действуя неотразимо на их воображение одним только тем, что в минуты вдохновения умеет прикоснуться к сокровеннейшим их душевным струнам, то насколько обаятельнее и могущественнее будет он, при его молодости и красоте, когда вместо пустых и пошлых светских речей польются из его прекрасных уст божественные речи, а

взгляд, выражавший до сих пор низменные страсти, загорится небесным огнем вдохновения!

После свидания с сестрами Клавдия горячее прежнего прильнула душой к брату. Катерина и Марья для нее умерли. Она мечтала им открыть свою душу, но кроме внешней стороны ее жизни она ни о чем не могла с ними говорить. С первого же взгляда, с первых слов, которыми они обменялись, она убедилась, что ее внутреннего мира им не понять. Они отстали от нее так далеко, что в этой жизни им уж ее не догнать. В то время как она умственно развивалась под влиянием замечательнейших людей Европы, читала, путешествовала, совершенствовалась в таких науках, как философия, алхимия, история, их духовный горизонт все больше и больше сужался. Они забыли даже и то, что слышали в ранней молодости от начитанных людей, посещавших их дом, и погрузились так глубоко в суеверие и фанатизм, что и пытаться просветить их не стоит. Ничего не принесло ее сердцу это свидание, к которому она стремилась целых двадцать лет, кроме разочарования, горечи и жгучего болезненного сострадания к этим несчастным жертвам поисков истины.

Безгранично мрачной пустыней представлялось ей теперь отечество, о котором так тосковала она на чужбине, холодной, как тот снег, на котором останавливался ее взгляд, молчаливой, как могила, и только вдали смутно и трепетно мерцали, как звездочки в бурную ночь на заволакиваемом черными тучами небе, два молодые существа, близкие ей, один по крови, другая по воспоминаниям юности — Федор и Магдалина.

Неужели для них привел ее сюда Тот, Кто управляет миром?

V

Весной 1801 года в город Z. приехал отставной гвардии поручик Курлятьев вступать в права наследства, доставшего ему после матери, которая умерла с год тому назад. У него был дом и поблизости имение. В доме этом он родился и рос до семи лет и с той поры, как увезли его в Петербург, сюда не возвращался. Но здесь с незапамятных времен жили и родители его, и деды, и прадеды; здесь привыкли смотреть на Курлятьевых как на своих, и те двадцать лет, что в жизни молодого человека составляли целую эпоху,

для здешних старожилов казались таким коротким временем, что старый инвалид, обитавший в домике при заставе, где должен был прописаться Курлятьев, въезжая в город, с любопытством вглядываясь в лицо приезжего, нашел в чертах его ожидаемое сходство с отцом и дедом, и стал обращаться с ним, как с коротким знакомым.

— А где, ваша милость, изволите пристать? — спросил он у него, добродушно посмеиваясь. — В курлятьевском доме давно уж господа не жили. Печи-то, поди, чай, все развалились, а полы сгнили, — продолжал он, ободренный приветливой улыбкой приезжего.

— А ты мой дом знаешь?

— Вона! Не то, что дом твой — его всяк в городе знает, а я и родителя твоего, и дедушку знал. Господа были добрые. Никогда, бывало, не проедут, чтоб безногому солдатику гривны не пожаловать на табачок. Таких-то господ, как курлятьевские, уж таперича мало осталось, вот что я тебе скажу.

— И я тебе пожалуй гривну, а ты за это укажи моим холопам, где тут у вас можно приезжим людям пристать. Есть, что ли, у вас постоялые дворы или гостиницы, как в Москве и в Петербурге? — спросил Курлятьев.

— Гостиниц у нас нет. Завел было одну немец, Шванец, да прогорел, а на постоялом дворе вашей милости непокойно будет. А вы вот что, прямо к Стамиловским, Евграфу Никитичу с Варварой Петровной, езжайте. Они вам нарочито будут рады, ведь все их богатство от туренинских господ пошло. Езжайте к ним, без сумления, дорогими гостями вас примут.

Но тут вошел в сторожку камердинер с прописанной подорожной в руках и вмешался в разговор барина с безногим солдатом.

— Да ведь нас, сударь, у Грибковых ждут, — заметил он.

— Ты думаешь?

— Беспременно ждут-с, как же иначе? Сам я им по вашему приказанию отписал, что ваша милость по весне изволите сюда приехать, как же им нас не ждать? Прямо к ним во двор и въедем. Подьячего Грибкова дом, где тут у вас находится? — обратился он к инвалиду.

— Грибкова дом? Это Карпа Михалыча?

— Да, его Карпом Михалычем звать.

— Так, так. На Гусевой старшей падчерице женат, так, так. У Ильи Пророка у них дом.

На улице, в двух шагах от сторожки, раздался серебристый смех. Молодой барин обернулся и увидал молодень-

кую бабенку, повязанную алым платочком, которую бубенцы и колокольцы подъехавшего к заставе дорожного экипажа заставили прыгнуть с постели, накинуть на себя, что первое попало под руку и выскочить на крылечко, чтоб поглазеть на проезжих. Все время, что барин разговаривал с безногим солдатом у сторожки, она не спускала с него глаз, любуясь его пригожим лицом, статностью и щегольской дорожной бекешей из зеленого сукна с серебряными круглыми пуговками.

— Не слушай его, боярин, это они прежде у Ильи Пророка жили, как еще сына не женили, а таперича дом-то у Ильи Пророка молодым уступили, а сами во флигелек, к пешему базару переехали, — выпалила она скороговоркой, не спуская смеющихся глаз с молодого человека. — Всяк тебе там укажет, все у нас Грибковых знают, езжайте себе без сумления.

Подарив и бабе гривну на пряники за указание, Курлятьев сел в коляску, камердинер влез на широкие козлы рядом с кучером, повар взгромоздился в кибиточку на запятках, кучер закричал: «Пошел!», — фореитор взмахнул поводьями, и лошади понеслись вскачь по пыльным и пустым улицам, мимо домов с запертыми ставнями.

Однако город уже начинал просыпаться, кое-где со скрипом растворялись ворота, чтоб пропустить корову, которая присоединялась к стаду, выгоняемому на пастбище, и пока приезжих задерживали у заставы, несколько возов с живностью и овощами успели проехать на базарную площадь.

Утро было прелестное.

Там, откуда ехал Курлятьев, весна еще не наступала, шли дожди и дули холодные ветры, почки на деревьях не распустились, люди еще кутались в шубы, а в домах топили печи, — здесь же небо было синее и прозрачное, по нему скользили легкие облачка, окрашенные пурпуром заходящей зари, в деревьях, покрытых нежною зеленью и цветами черешен, яблонь и акаций, весело чирикали птицы, свивая себе гнезда. Пахло душистой травой и цветами, а лучи восходящего солнца грели, как летом.

В ту самую минуту, когда дорожный экипаж приезжих приближался к соборной площади, с колокольни раздался первый протяжный удар колокола, призывающего к ранней обедне. Все вдруг оживилось. Заскрипели калитки и ворота, высыпали на улицу водовозы с пустыми бочками, женщины с кулками и корзинами; распахнулись и окна под нетерпеливой рукой любопытных, спешивших высунуться на

улицу, чтоб поглазеть на дорожный экипаж, мчавшийся мимо них, и проводить его взглядом до следующего переулка, где ждали его та же встреча и проводы.

Наконец показалась и базарная площадь. Тут уж жизнь кипела вовсю. У возов с живностью и зеленью, перед кулдахтающими курами с цыплятами в решетках, связанными попарно индейками, гусями, утками и поросятами, толпились с визгливыми возгласами, хохотом и бранью запасливые хозяйки. Возбужденный гул человеческого говора сливался с визгом, хрюканьем, мычанием и лаем животных. Тут все так были заняты делом, что даже на приближающийся экипаж с незнакомыми путешественниками обратили внимание тогда только, когда он, врезавшись в толпу, остановился, и кучер стал спрашивать: «Где тут найти дом приказного Грибкова?»

Оказалось, что баба у заставы сказала правду: все здесь знали Грибковых, и среди гула голосов, повторявших имя, произнесенное кучером, несколько десятков рук вытянулось по направлению к флигелю, сверкавшему чисто промытыми стеклами пяти окон.

Сам хозяин этого дома, приказный Грибков, вышедший в домашнем дезабилье на базар раньше всех, чтоб из первых рук перехватить себе запас провизии на неделю, заметив еще издали дорожный дормез с выглядывавшим из-под поднятого кузова молодым барином, тотчас же догадался, кто этот барин, и, бросив бабе, у которой торговал индюшку, пригоршню медных денег, зажал подмышкой трепещущую птицу и со всех ног пустился бежать закоулками домой, подобрав одной рукой разлетающиеся полы халата, а другой поправляя на ходу ночной колпак, готовый слететь с его лысой головы.

И так быстро успел он добежать, что когда дормез завернул в ворота его дома, он уже стоял на крыльце, одетый в праздничный наряд, в то время как жена его накрывала стол чистою скатертью и уставляла его съестным, вынутым из кладовой и подвала.

— Это вашей милости правду сказали, что даже и одного дня в вашем доме невозможно прожить, — заметил приказный, когда гость передал ему свою беседу со сторожем у заставы. — Сколько раз отписывал я покойной Анне Федоровне про то, что дом их от запустения совсем разваливается и что поправка ему нужна, но матушка ваша, царство им небесное, только гневаться на меня за это изволили и тратиться на дом отнюдь не желали.

Разговор этот происходил в гостиной, чистенько обставленной тяжелой мебелью из красного дерева, приобретенной, вероятно, из барского дома от какого-нибудь из многочисленных клиентов Грибкова, а может быть, и в подарок полученной за какую-нибудь важную услугу

Приезжий успел уже привести себя в порядок после дороги, умыться, побриться, переодеться и закусить. Теперь он сидел в свежем, душистом белье и щегольском халате на почетном месте, на длинном диване с прямой деревянной спинкой, покрытом полотняным чехлом, и курил трубку с длинным бисерным чубуком. На овальном столе перед ним наставлены были всевозможные сласти на тарелочках, и лежал кисет с табаком. Кисет был вышит по розовому атласу синелью и шелками теми же самыми хорошенькими ручками, которые смастерили и бисерный чехол на трубку.

На кончике кресла справа от него в почтительной позе лепился хозяин дома, а поодаль на стульце скромно приютилась хозяйка, худошавая женщина лет под сорок, с острыми глазами и длинным носом, в шали, накинутой в честь приезжего на платье из синего домашнего холста, и в ярко-желтом шелковом платке на голове.

Еще кушая чай с домашним печеньем в маленьком зале, служившем столовой, Курлятьев спросил: нельзя ли отпустить его скорее отсюда? Дольше недели ему не хотелось бы здесь оставаться. Перед отъездом он должен еще заехать погостить к знакомому своему, князю Дульскому, и там его, наверное, задержат на несколько дней.

Грибков отвечал на это уклончиво. Все от него зависящее он сделает, разумеется. Боярам Курлятьевым не в первый раз испытывать его преданность. С младых ногтей был он им верный слуга, и если только дело не затормозят в палате да в губернском правлении...

— Смажьте там все колеса, чтоб катились без зацепки, денег я не пожалею, — прервал его молодой человек.

Хитрое лицо приказного прояснилось.

— Да уж без денежной молитвы нельзя-с, на том стоять-с. А все же, дерзну я вашей милости посоветовать, к господину председателю казенной палаты не мешает вашей милости самим съездить. Да и господину губернатору тоже следует внимание оказать, в них ведь вся сила-то. А к князю Артемию Владимировичу еще успеете. Они вас во всяком случае раньше дня их ангела не отпустят. У них завсегда в этот день весь уезд пирует, — продолжал Грибков с самодовольством старожилы, желающего поразить

приезжего своими познаниями относительно житья-бытья всех жителей края.

Курлятьев поморщился. Перспектива оставаться здесь более месяца была ему неприятна, и, мысленно дав себе слово употребить все силы, чтоб ускорить ход дела, он снова заговорил про старый дом.

— Никто, значит, в нем не живет? А я надеялся найти там кого-нибудь из стариков, — сказал он.

— Да кого же, помилуйте! Маменька ваша всех дворовых изволила на оброк отпустить. Через меня и приказание это им вышло. И все почти по губернии расползлись. Притеснение они здесь большое терпели после того, как с их старым боярином беда стряслась. Самого-то Николая Семеновича, как рассудка лишеного, допрашивать не стали, так за холопов схватились, — за кого же больше? Самые ближние к боярину люди, известное дело. Ну, и оробели, в бега пустились. Однако ж, вскорости опомнившись, за ум взялись и, обострожившись в чужих местах, стали в акурате оброк платить. Я и про это в свое время боярыне, вашей маменьке, не преминул отписать и такую резолюцию от них получил: «Блюсти главнейшим образом, чтоб оброк исправно платили». Так я по их приказу и поступал.

— А няня наша, Григорьевна, — спросил Курлятьев, — не нашлась?

Вскоре после катастрофы с отцом, когда то и дело отсюда приезжали к ним в Петербург гонцы со страшными вестями, о которых прислуга с испугом перешептывалась между собою, а мать запрещала ему и спрашивать, он тем не менее узнал, что со старой няней его что-то такое приключилось, — исчезла куда-то и с тех пор о ней ни слуху, ни духу.

Здесь тоже ничего про нее не знали.

— Умерла, верно, с холоду да с голоду в лесу либо в поле. Человек старый, много ли ему надо, — сказала Грибчиха.

А муж ее к этому прибавил, что в былое время беглые холопы находили себе приют в овраге, что у острога. Там они в землянках ютились с нищими и тому подобным сбродом. Принкулинской усадьбой это место звали. Но лет пять тому назад убежище это было вверх дном перевернуто солдатами, посланными на поимку разбойников. Разбойников там солдаты не нашли, повылезли все оттуда заблаговременно, но гнезда разорили и при этом, говорят, много доброго добра там нашли.

— Помещицы Хариной десять серебряных ложек, что еще у матери ейной девка ukrала, — напомнила Грибчи-

ха, — да табакерка золотая, да кувшин серебряный. Там и авва Симионий, говорят, скрывался, как на раскольников гонение поднялось...

Она оборвала свою речь на полуслове, взглянув на мужа, который кивал ей на гостя.

С минуту времени тишина, воцарившаяся в комнате, ничем не нарушалась. Курлятьев понял, что Грибков заставил молчать свою жену, потому что она, забывшись, коснулась человека, имевшего большое влияние на его отца и бывшего, может быть, причиной его гибели, и ему стало не по себе.

— При доме старик Андреич с внучкой живет, — высила вдруг голос жена Грибкова.

Курлятьев улыбнулся. Он отлично помнил этого Андреича. Уж и тогда старик лет семидесяти, он жил на покое у сына, садовника, кажется.

— Ему теперь около ста лет, должно быть?

— Как же, как же! Сын его давно умер и дочку оставил, ту самую Варварку, что теперь со стариком живет.

— Да и Варварка-то совсем уж старуха, — вставила Грибчиха.

— И в параличе, к тому же, — подхватил ее муж.

— Они в доме живут? — спросил Курлятьев.

— Нет, где там в доме! В баньке приютились. Люди древние, им нарочито тепло нужно, а в доме-то, я вашей милости докладывал, стекла повыбиты, печки потрескались, полы прогнили, а трубы-то, поди, чай, и не прочистить от гнезд, что в них воронами да галками свиты. В баньке им тепло и покойно. Живут себе да смерти ждут без забот. Добрые люди их не оставляют.

— Тетенька ваша, боярыня Софья Федоровна, им предлагали к ним в людскую перебраться, не захотели, — объявила Грибкова.

— А Бахтерины разве здесь живут? — спросил Курлятьев.

Прежде чем отвечать на этот вопрос, супруги Грибковы опять переглянулись, Они ждали его с большим нетерпением, если судить по тому, как засверкали их глаза и как они оба оживились, когда он наконец был произнесен.

— А то где же? Здесь. По летам в деревню уезжают, но в этом году запоздали что-то и, говорят, раньше как после Троицы не тронутся. Подолгу они там, в деревне-то, живут, с Пасхи до Рождества, да ведь и то сказать, имение у них — рай земной, уж так устроено, по-царски, можно сказать, — начал распространяться старик, видимо, напав на излюбленную тему. — Один лес чего стоит! Дерево к

дереву, ровный, мачтовый лес. Про бахтеринский лес, надо так полагать, что и в столице известно. Да, такого имения по всей губернии не найти. Луга заливные, река судоходная, пристань у самого господского сада. Хлеб и возить никуда не надо, с гумна прямо на судно сыпай. А постройки-то какие! Изрядный хозяин был ваш дяденька, покойный Иван Васильевич, на всю округу этим славился. Как скончался, не у кого стало молодым боярам учиться. Изда-лека, бывало, к нему за советом ездили, даже из-за Киева. Прямо мастак был помещьем править и благородной души боярин, у кого угодно спросите, всяк вам это скажет.

— Боярышня Магдалина Ивановна тоже хозяйка изрядная, — заметила Грибкова.

— Умственная девица, — подхватил ее муж, — а все же дело их женское, доколе по налаженной покойником дорожке идут, ну, и хорошо, а если, Боже храни, зацепка какая случится, беда тогда!

— Понятно, какое уж без мужчины в доме хозяйство, — подтвердила его жена.

Отнесись Курлятьев хоть крошечку повнимательнее к своим собеседникам, он понял бы затаенный смысл их слов, уж по одному любопытству, с которым они следили за выражением его лица, переглядываясь между собой и точно поощряя друг друга к дальнейшей болтовне. Но он был слишком поглощен возникавшими в его воображении представлениями, чтоб обращать на это внимание. Целый рой заглохших воспоминаний ожил в его мозгу. Захотелось скорее взглянуть на старый дом и собственными глазами убедиться, все ли там так, как было, когда он оттуда выехал. Захотелось одному, без посторонней помощи, все припомнить и снова пережить давно забытое.

Он объявил, что ему хочется пройтись по городу и чтоб его не ждали к обеду, потому что он, может быть, замешкается, а на предложение хозяина ему сопутствовать, отвечал таким решительным отказом, что тот и не настаивал.

Очутившись один на улице, Курлятьев обрадовался, как школьник, вырвавшийся на свободу. Все его забавляло, и любопытство прохожих, и то, что в первую минуту он не знал, куда ему повернуть — вправо или влево. Но вспомнив, что их сад спускался к реке, он сообразил, что надо перейти базарную площадь, найти берег и уж там искать старое гнездо.

И он нашел его, а когда проник в заросший сорными травами двор и поднялся по каменной лестнице с расшатавшимися ступенями, что вела от крыльца в барские покои,

воспоминания такой могучей и ласковой волной нахлынули ему в душу, что он со слезами умиления на глазах оставался то перед потертым рабочим столиком, у которого сживали его старшие сестры за рукоделием, то перед их простенькими деревянными кроватками, забытыми на прежнем месте, в горнице с низким потолком на антресолях и с оконцами, выходившими на пустырек, заросший высокой травой и одуванчиками.

Долго простоял он, погруженный в грезы о прошлом, перед клавирами на тоненьких ножках, вызывая из далекого прошлого грациозный образ двух стройных девушек в белых простеньких платьях, с милыми, кроткими личиками и грустными глазками, которых он называл сестрицами.

Третья сестра являлась ему в другом виде. Он иначе не мог ее себе представить, как либо резвящейся с ним в саду или в большой зале с хорами, либо обряжающейся к венцу, перед трюмо в спальне матери, празднично разубранной для торжества.

Когда он увидел это трюмо с зеркалом, затянутым, как флером, пылью и паутиной, сцена эта, как живая, всплыла в его памяти.

С меньшей сестрой он особенно был дружен и, невзирая на разницу лет, немного отстал от нее в умственном развитии. Веселая хохотушка и шалунья, она любила с ним резвиться. Он очень о ней скучал и от всей души ненавидел злого старика, похитившего ее из родного гнезда. Даже в Петербурге, куда его повезли очень скоро после ее отъезда, не мог он вспоминать про нее без слез. Первое время имя ее упоминалось в доме очень часто. Мать с особенным удовольствием рассказывала про богатство, знатность и красоту своей меньшей дочери, графини Паланецкой. Она уверяла, что получает от нее письма, и вначале этому верили, но мало-помалу начали догадываться, что она лжет, и, поняв по двусмысленным улыбкам, с которыми ее слушали, что дальше продолжать мистификацию трудно, она перестала говорить про Клавдию.

Что же касается старших сестер, брат их не сомневался в том, что обе они умерли вскоре после поступления в монастырь. Но когда мать его скончалась и он поехал на родину, чтоб принять доставшееся ему после нее наследство, он там узнал такие подробности об исчезнувших бесследно сестрах, что не мог ими не заинтересоваться и стал разыскивать старожилы из дворовых, которые могли бы навести его на их след. Прежде всего он, разумеется, обратился к дедке Андреичу, которого нашел с внучкой, тоже уже старухой, в

хибарке, приткнутой к барскому дому. Он был очень дряхл и давно выжил из ума. От неправдоподобных ужасов, которые он, в бессвязных выражениях, наболтал молодому барину, этот последний весь остальной день опомниться не мог, а ночью грезились ему разбойники, сумасшедшие с обритыми головами и в цепях, пытки, пожары, кровь и стоны. Если даже десятая часть из того, что говорил Андрей, правда, то было бы с чего затосковать до болезни при мысли о том, каким неистовствам подвергались такие близкие ему люди, как родной отец и сестры. Курлятьев решил, что старик бредит. Однако к Грибкову за пояснениями он не обратился, а в тот же день поехал в Воскресенский монастырь, чтоб помолиться на могиле сестер. Там настоятельница была новая, но старицы, помнившие боярышен Курлятьевых, сознались ему, что действительно девицы те покинули тайком обитель. Соблазнил их нечистый через черничек раскольничьего скита, отреклись они от истинной веры, и отшатнулся от них Господь. С тех пор о них ни слуху, ни духу. Погибли, верно, обе во время гонения, воздвигнутого на раскольников вскоре после их исчезновения из монастыря. Все леса тогда в окружности перешарили. Добрались и до того поселка, Чирками звать, что в горах ютился и где так богато вольные люди жили; весь он теперь дотла разрушен. Жгли там и резали христоролюбивые воины отступников от истинной веры без малого с неделю, пока ни души не осталось. Многих в реке потопили, многих, заковав в кандалы, повезли в город вместе с добром, найденным в сундуках и скрынях, запрятанных в подвалах и других тайниках.

И оказалось тут несомненным, что чирковцы не только укрывали разбойников, ютившихся в лесах, но также вместе с ними и на кровавый промысел хаживали.

Некоторым из них посчастливилось спастись, но эти ушли далеко отсюда, одни за Дон, к Каспийскому морю, а другие через границу, в чужие земли перевалили.

Переночевав в монастыре и оставив на поминавание усопших родственников крупную сумму, Курлятьев распростился с гостеприимными монахинями и вернулся в город, ничего в достоверности про сестер не узнав.

В одном только нельзя было сомневаться — это в том, что их уж давно нет в живых. Проявились бы как-нибудь, дали бы о себе весточку, если б было иначе. Ведь двадцать лет прошло с тех пор.

У Грибковых знали, куда он ездил. На постоялом дворе, где Федор Николаевич нанял тележку с ямщиком и парой

лошадей, всем рассказывали, что молодой курлятьевский барин не успел приехать в родной город, как уж отправился на богомолье в Воскресенский монастырь. Карп Михайлович с супругой ждали, что, как приедет назад их гость, начнет их расспрашивать про родителя и про сестер. Много порассказали бы они ему. Но расчет их оказался неверен. Курлятьеву претило опускаться глубже в кровавую грязь минувшего. Оно перешло в область преданий, и слава Богу! Ему здесь не жить, а если детям его вздумается поселиться в родовом гнезде, они построят новый дом и самое воспоминание о безумном фанатике деде и о его несчастных дочерях вместе со старыми стенами сотрется с лица земли.

С Грибковым кроме как о вступлении во владение да о том, как бы так сделать, чтоб это дело скорее кончить, он ни о чем не говорил, но к дедке Андреичу его потянуло тотчас по возвращении из монастыря.

Как ни жутко ему было совлекать с прошлого туманный покров, но речь старика чарующим образом действовала ему на душу. Любо ему было слушать, как Андреич толкует о покойниках.

Серьезным тоном старого дядьки спросил он у молодого боярина: оказал ли он почтение дяденьке Ивану Васильевичу, был ли у него с визитом?

— Да ведь дяденька Иван Васильевич давно умер, — возразил с улыбкой молодой человек.

Старик усмехнулся загадочной усмешкой и, понизив таинственно голос, объявил, что это неправда. Никто не умирал, все живы и сестры, боярышни Катерина Николаевна с Марьей Николаевной. Да и старый боярин, Николай Семенович, здравствует. Не надо только этого никому говорить, потому что злых людей много и опять, чего доброго, свяжут его да в Киев, в сумасшедший дом отправят. А здесь, в старом доме, выдать его некому.

— Видишь эти два окошечка над землей, что на пустырек-то глядят, — продолжал он шепотом, указывая по направлению к дому, темной молчаливой массой возвышавшемуся в двух шагах от крылечка старой баньки, на которое Андреич вышел провожать своего посетителя, — частехонько старый боярин из этих окошек выглядывает. Мы с Варваркой хоть и видим их, да виду не подаем. Никто им тут теперь не мешает Богу молиться да книжки божественные читать, не то что прежде, когда супруга их тиранила.

Невольно устремил Федор Николаевич глаза на окна, выглядывающие над пустырем вровень с изумрудной тра-

вой, усеянной одуванчиками, и заметив, что в них уцелели стекла, весело сверкавшие под лучами полдневного солнца, он захотел непременно осмотреть и эту часть дома. Лестница, что вела наверх, показалась ему так ветха, что он не решился по ней подняться при своем первом посещении, но теперь он непременно и туда пойдет. Очень может быть, что он найдет там вещи, принадлежавшие его отцу. Никакой ценности для посторонних эти вещи не представляют, может быть, их не тронули. И вспомнилась ему вдруг одна из последних сцен, разыгравшихся у них в доме, незадолго до отъезда из него, как папенька гневно грозил кому-то, благословляя сестрицу Клавдиньку перед венцом.

Как все перепугались тогда! Маменька побледнела, Клавдинька с воплем, как сноп, повалилась отцу в ноги. Его нянька увела поспешно из залы и посадила в карету, куда вскоре и невеста с матерью сели. После этого он отца почти вовсе не видел.

— А сестрица Клавдинька тоже, по-твоему, жива? — спросил он у старика с улыбкой.

Старик к нему пригнулся и, лукаво подмигивая, прошептал ему на ухо:

— Ты только никому не выдавай меня, боярин, я уж так и быть тебе скажу: позапрошлой зимой, в самый Николин день, в день ангела папеньки, сестрица твоя Марья Николаевна здесь была. По хоромам я ее водил, про тебя спрашивала и про обеих сестриц рассказывала, что живы. Червонец нам с Варваркой изволила пожаловать.

Разумеется, слова эти были не что иное как бред выжившего из ума старца, но он произносил их таким убежденным тоном, что слушателю его стало жутко и захотелось уйти подальше из смрадного угла, где смешивали мертвецов с живыми.

Но не успел он подняться с места, как из-за перегородки выползла Варварка и стала жаловаться на нужду и болезни.

— Что-то Господь нас не приберет! Давно бы с голоду да с холоду поколели, кабы не бахтеринская барышня, Магдалина Ивановна. Дай ей Бог здоровья и всякого благополучия, жениха хорошего, деток добрых.

Второй раз, с тех пор как он был здесь, слышал Курлятьев имя Магдалиночки, и оба раза странное впечатление производило на него это имя. Не хотелось как-то верить, что девушка эта действительно существует, а не есть плод одной только фантазии, как героини вымышленных романов.

Было время в ранней его юности, когда он страстно ею интересовался, этой приемной дочерью дяденьки и тетеньки Бахтериных. Слышал он про нее и от матери, которая иначе как со злобой про нее не упоминала, а также и от прислуги. Когда он был маленький, для него не было больше удовольствия, как слушать рассказ про то, как дяденька Иван Васильевич нашел в лесу маленькую девочку и взял ее себе в дочери. А в юношеские годы история эта стала занимать его еще больше. В его пылком воображении, развитом на романах Радклифа, Скюдери и тому подобных авторов, которыми тогда было в моде зачитываться, таинственная Магдалиночка занимала первое место рядом с самыми интересными героинями. Он гордился тем, что особа эта принадлежит к их семье. Все его товарищи сначала по пансиону, а потом по полку знали эту историю наизусть, так часто и так охотно рассказывал он ее. Но потом, по мере того как он погружался в настоящую жизнь, фантастические героини начали мало-помалу утрачивать в его глазах свою прелесть и он стал предпочитать им красавиц, доставлявших ему утеху более реального свойства. Взгляд его и на Магдалиночку изменился. Воспитанная в глухом русском городе, среди русских, в ней, вероятно, от иностранного происхождения не осталось и следа. Связей с родиной у нее никаких не сохранилось, это уже по тому видно, что в течение двадцати лет никто о ней не вспомнил в той стране, из которой приехали в Россию ее родители. Очень может быть, что там даже обрадовались исчезновению владельцев богатого имения. Наследники поспешили воспользоваться своими правами на него. Люди-то везде, должно быть, одинаковые.

С особенным удовольствием останавливался он на этом предположении.

Давно понял он причину ненависти матери к Магдалиночке. У Бахтериных своих детей не было, и все их состояние должно было бы достаться племяннику, то есть ему, если б они не взяли в дочери найденыша. Молодому человеку и досадно, и прискорбно было видеть, что алчность доводит его мать до гнусного пристрастия, и он невольно искал ей оправдание.

Вообще по мере того как он рос и входил в разум, отношения между ним и матерью день ото дня становились натянутее. Он подозревал в прошлом их семьи тайны, углубляться в которые ему было и жутко, и горько. Невольно припоминались подробности из далекого детства, от которых веяло преступлением, кровью, коварством, насилием. Об от-

це он старался не думать и успокоиться на мысли, что он под конец совсем спятил, и что иначе, как запереть его в дом для умалишенных, с ним нельзя было поступить.

Впрочем, про отца ему в Петербурге никто не напоминал, Николая Семеновича там не знали; это не то что дядю Бахтерина, у которого остались в столице друзья, помнившие его до сих пор, и когда к Курлятьеву обращались с расспросами про него, осыпая похвалами его ум и ученость, благородство мыслей и добродетель, молодому человеку становилось досадно на мать за то, что благодаря какой-то глупой ссоре с сестрой она лишила его нравственной поддержки такой светлой личности.

Как пригодились бы ему его советы при выборе карьеры! Да и вообще; не раз доводилось ему чувствовать себя одиноким и беспомощным в обществе и сознавать, что если и принимают его всюду любезно и ищут с ним знакомства, то потому только, что он богат, молод и красив. Не было ни одного дома во всей столице, где смотрели бы на него, как на своего человека, всюду был он только гостем. Тем не менее он понимал, что мать его хорошо сделала, переехав сюда на житье; в провинции, после катастрофы с сестрами и с отцом, неудобно было бы оставаться. Впрочем, с таким веселым нравом, каким одарила природа сына Николая Семеновича Курлятьева, долго хандрить и предаваться печальным размышлениям было бы трудно, и одиночество среди шумного и рассеянного общества не мешало ему наслаждаться удовольствиями жизни.

Года три тому назад узнал он случайно про смерть дяди Бахтерина, но куда делась его семья, он и не пытался разузнавать.

Ненависть его матери к сестре и ее приемной дочери с годами до того усилилась, что превратилась в манию: она слышать не могла про них равнодушно, и если б даже они жили на одной с ними улице, то и тогда ему нельзя было бы возобновить с ними знакомство.

Теперь мать его умерла, но захочет ли тетка отнестись по-родственному к сыну сестры, которая отравляла ей жизнь завистью и клеветой?

VI

Погода стояла чудесная, когда он вышел на улицу из тесного убежища старика Андреича, но на душе у него было смутно. Не то жалость, не то досада за нелепое зло,

творившееся в родном гнезде, когда он был еще так юн, что ничего не понимал и ничему не мог помешать, теснили ему, как клещами, грудь. Глаза застилались туманом, сквозь который представления из давно минувшего пробились беспорядочным хаосом и в таком множестве, что настоящее завлакивалось ими все больше и больше, пока наконец совсем не исчезло.

Он шел, как во сне, на каждом шагу открывая старых знакомых среди домов и людей, там, где уж давным-давно ни людей этих, ни домов не было. Андреич прав, никто не умирал и ничто не изменилось. Вон будочник на углу, тот самый, которым страшила его няня, когда он, вопреки ее увещаниям, норовил во время прогулки залезть в лужу или в сугроб. И толстая баба с кренделями на церковной паперти та самая, у которой ему покупали крендели. А вот и дом губернатора, куда его иногда возили играть с маленьким сыном начальника края, разодевши по-праздничному, в новый шелковый кафтанчик с галунами, и густо намаслив волосы душистой московской помадой. Как славно играла там музыка на хорах большой светлой залы! Дальше дом старой боярыни, — имя ее он забыл, но зато как хорошо помнил он ее обезьяну! А на той улице должна быть гауптвахта, где каждый вечер в девять часов бьют солдаты зорю в барабан и читают вслух молитву.

Он свернул в эту улицу и увидал гауптвахту. Она стояла на том же месте и ни крошечки не изменилась.

И сад перед нею, с липовыми аллеями, был тот же.

Сколько раз игрывал он под этими липами!

Ноги сами, без всякого участия воли, понесли его в этот сад, к деревьям, покрытым нежными липкими листочками, с гроздьями бледно-желтоватых завязей цветков. Как здесь хорошо!

Останавливаясь на каждом шагу, чтоб вдохнуть душистый весенний воздух, он медленными шагами перерезал наискось из конца в конец сад, прошел еще улицу и очутился перед каменной оградой с высокими чугунными воротами, за которыми виднелся белый дом с колоннами.

Он тотчас же узнал этот дом. Когда, гуляя пешком или катаясь в санках с няней, они проезжали мимо него, она никогда не забывала сказать: «А вот и тетеньки Софьи Федоровны дом». И всегда, бывало, глубоко вздохнет при этом и прошепчет: «Господи, милостив буди к нам грешным!»

Теперь он понимал значение этого вздоха и возгласа.

Что сказала бы ему старая няня, если б он еще застал ее в живых?

То же самое, что и старик Андреич, без сомнения. Она спросила бы у него: оказал ли он почтение единственной оставшейся у него в живых родне, тетеньке Софье Федоровне?

Все старики на один покрой. Потому ли, что, будучи ближе к разгадке вечной тайны, они прозревают то, чего молодые сознавать еще не могут, но то, что последним кажется важным и необходимым, они считают ненужными пустяками, а на что внуки их не обращают внимания, они с благоговением молятся, как святыне.

Размышляя таким образом, он с любопытством всматривался в залитый солнцем фасад дома с кое-где растворенными окнами.

В окна эти виднелись люстры, как в саваны, закутанные белой кисеей, спинки высоких резных стульев, да кое-где сверкали широкие рамы с темными картинами. И чем-то удивительно близким и знакомым веяло на Курлятьева от всех этих предметов. Воспоминания раннего детства, пробуждаясь одно за другим в его мозгу, бесконечной панорамой проходили перед его духовными очами, одно другого неожиданнее и любопытнее.

К воспоминаниям из дальних лет примешивались впечатления последних дней. Как настойчиво описывал ему старый приказный достоинства приемной дочери покойного деда! Точно ему заплатили за то, чтоб он превозносил ее ум, красоту, благоразумие, деловитость. Если даже половина этих похвал справедлива, то девушка эта феномен своего рода. Интересно с нею познакомиться. И почему же не сделать этого сегодня, сейчас? Ведь все равно неловко же выехать из города, не побывав у тетки. Еще подумают, пожалуй, что он ненавидит ее за то, что ему нельзя ждать от нее наследства.

Он вспыхнул от этой мысли. Неудержимо захотелось доказать, что он никогда не разделял чувств матери к родственникам, и он без малейшего колебания растворил калитку у ворот, перешагнул через порог и очутился на обширном дворе, обсаженном деревьями, с клумбой цветов посреди, против высокого крыльца с крутыми каменными ступенями.

Он здесь бывал, ему здесь все знакомо. Вот и чугунные львы по обеим сторонам крыльца, приводившие его в восхищение двадцать лет тому назад, да и не его одного. Украшение это, давно известное в обеих столицах, считалось здесь еще тогда диковинкой, и, когда Бахтерин выписал этих львов и поставил их у своего нового дома, весь город про это говорил, приезжали из уезда любоваться ими.

На крыльце стояла стройная женская фигура в белом платье и черном кружевном шарфе, небрежно накинутом на густые черные кудри. В одной руке она держала книгу в кожаном переплете, другую подняла к глазам, чтоб оградить их от солнечных лучей, заливавших весь двор, крыльцо и ее саму, а также молодого незнакомца, так дерзко проникнувшего в это мирное обиталище. В удивлении она остановилась на верхней ступеньке, чтоб разглядеть непрошенного посетителя, причем сдвинула брови.

Курлятьев со свойственною ему светскою развязностью снял шляпу, быстрыми шагами перешел пространство, отделявшее его от крыльца, и с низким поклоном представил ее кузине Магдалине Ивановне Бахтериной.

Она с улыбкой протянула ему руку, которую он поднес к губам, слегка смущенный и взволнованный пытливым взглядом ее глубоких черных глаз.

Вот она какая, эта девушка, увлекавшая его воображение с юных лет наравне с интереснейшими героинями перчитанных им романов.

Ее можно было сделать русской и умом, и сердцем, но весь склад ее стройной фигуры, продолговатое лицо с тонкой смугловатой кожей, прямой нос с подвижными ноздрями и огненные, южные глаза — этого уж переделать нельзя было, и все это осталось таким, каким было создано природой и унаследовано от предков.

И в движениях ее, в привычке щурить глаза, надменно выпячивать нижнюю губку и передергивать левым плечом в минуты сильного волнения проглядывало ее иноземное происхождение. А когда она заговорила, Курлятьева поразила ее выговор, без акцента разумеется, недаром первые слова, произнесенные ею, были русские, но со свойственным всем парижанам произношением буквы *p*.

Они встретились, как старые знакомые. Как он ее узнал, раньше никогда ее не видав, так и она его.

— Мы вас давно ждали, *mon cousin*, — говорила она, проходя через длинную прихожую в большую светлую залу с апельсиновыми и лимонными кадками и птицами в клетках у окон. — С тех пор как вы здесь, дня не проходит, чтоб татап у меня не спросила: «Отчего это Федя к нам не едет?»

— А вы, что на это отвечали, кузина? — полюбопытствовал он, любуясь ее грациозной головкой, казавшейся еще миниатюрнее от длинных вьющихся волос, беспорядочно закинутых назад и спускавшихся ниже пояса, ее гибким станом и легкой походкой.

Она остановилась и, повернув к нему бледное лицо, проговорила, смело глядя ему в глаза:

— Я была уверена, что вы не уедете отсюда, не побывав у нас.

— Почему? — продолжал он допрашивать, глядя на нее с улыбкой.

— У вас нет родственников ближе нас, — спокойно проговорила она.

— Правда, кузина, — с чувством произнес он.

Она опять протянула ему руку, а когда он поднес ее к губам, пригнулась к нему и поцеловала его в висок.

И никогда еще ни один женский поцелуй не доставил ему столько удовольствия, сколько этот.

С первого же взгляда девушка эта пришлась ему по душе, и чем больше он на нее смотрел, тем больше все в ней ему нравилось: и красота ее, и изящность, и умная живая речь.

Все ее интересовало, ко всему относилась она с восторженной любознательностью. С первого же часа их знакомства Курлятьев мог убедиться, как она хорошо воспитана, как много читала и как страстно стремится к приобретению новых познаний по всем отраслям науки и искусства. Беспреданно приводила она его в смущение вопросами, на которые он затруднялся отвечать, и, чтоб отвлечь ее от философии, политики и литературы, он начал распространяться про то, в чем был более сведущ, чем она, а именно про последние столичные новости. Он рассказал, таинственно понижая голос, про странности покойного императора, про неровность его характера и про возмущавшее в то время столичное общество недоверие его к супруге и к старшим сыновьям; про ангельскую кротость его преемника, с которой он при жизни отца разделял печальную участь многочисленных жертв строптивного царского нрава и переносил направленные на него самого нападки. Столичного гостя слушали с величайшим интересом. Софья Федоровна Бахтерина, добродушная и ласковая боярыня, до сих пор еще красивая, невзирая на то что ей уже было за пятьдесят, напоминала сестру только высоким ростом, статностью сложения да плавностью походки, во всем остальном она представляла с нею полнейший контраст. Насколько покойная мать Федора Курлятьева была надменна, чванна, зла и скупа, настолько сестра ее была добра, отзывчива на чужое горе, щедра и скромна. Милая душа ее сквозила и в улыбке ее, и в глазах, и в каждом слове. Не было человека между ее знакомыми, который не любил бы

ее. Ни в чем не могла она никому отказать; зло приводило ее в смущение; негодовать она не умела и все извиняла, не будучи в состоянии понять существование злой воли. Близко знавшие ее люди уверяли, что весь свой век она умела только слепо любить и покоряться, сначала родителям, потом мужу, а теперь приемной дочери.

При рассказе племянника у Софьи Федоровны несколько раз слезы жалости навертывались на глазах, и тяжелые вздохи вырывались из груди; дочь же ее упорно молчала, сдвинув брови и устремив пристальный взгляд в пространство с таким сосредоточенным вниманием, точно она там видит воочию совершающимся то, что описывал их гость.

И вдруг, очнувшись от грез, она проговорила вполголоса и как бы про себя:

— Однако покойный царь по собственному побуждению освободил Николая Ивановича Новикова из заточения.

Замечание, сорвавшееся помимо воли с ее губ, заставило ее вспыхнуть от смущения, а Курлятьев, прервав речь, с недоумением посмотрел на нее.

— Покойный Иван Васильевич очень любил и уважал Николая Ивановича, — поспешила пояснить Софья Федоровна.

— Это тот Новиков, который колдовством занимался? — спросил с иронической усмешкой Курлятьев.

У Магдалины гневом загорелись глаза.

— Никогда он колдовством не занимался! стыдно вам повторять клевету гонителей добродетели!

— Магдалиночка! — укоризненно покачивая головой, пыталась остановить ее мать. Но это было невозможно, волнение душило ее, ей надо было высказаться во что бы то ни стало, и речь ее полилась потоком.

— Могу ли я молчать, когда при мне клеветают на человека, которого я привыкла любить и уважать с тех пор, как себя помню, лучшего друга моего отца и благодетеля! Да это была бы низость с моей стороны! Хуже того — предательство! Это все равно, что бежать прочь, заткнув себе уши, когда несчастный, терзаемый злодеями, вызывает о помощи! На это я неспособна. Да и вы тоже, маменька, зачем же вы меня удерживаете? Дайте же мне высказать этому молодому человеку все, что у меня на душе! Мы по всей вероятности встречаемся с ним в первый и в последний раз в жизни, наши пути различны, дайте же мне попытаться открыть ему глаза на мрачную пропасть, к которой он идет быстрыми шагами, дайте мне попытаться его спасти, пока не поздно! Пусть он оглянет-

ся назад, пусть поищет путь, от которого отворачивался до сих пор.

«Кого она мне напоминает, кого?» — с тоскливой досадой спрашивал себя Курлятьев.

Он задал себе вопрос этот при первом взгляде на нее. Уже с этой минуты образ, неизгладимо запечатлевшийся в его душе, воскрес перед ним, и он уже не мог не напрягать память в мучительном усилии уловить видение, дразнившее его мутным, неуловимым сходством с Магдалиной.

А эта последняя между тем с возрастающей восторженностью, преследуя свою мысль, продолжала:

— Как дети в притче Христовой, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали»...

Туман, окутывавший призрак, упорно носившийся в воображении Курлятьева, рассеялся. Чтоб овладеть им, он напряг все силы памяти и закрыл глаза, но набежала новая туча и скрыла его еще глубже в бездне забвения. На мгновение мысли его спутались, а когда он очнулся, голос Магдалины доносился точно издалека, точно не она говорит, а улетающий все дальше и дальше призрак.

— Устами человека, которого вы обзываете именем колдуна, говорит сам Бог, а вы издеваетесь над ним. Вы глухи и слепы. Неужели вам не хочется прозреть? Узреть истину...

Он прозрел. Это слово «истина» разорвало завесу, застилавшую его духовные очи, и образ загадочной женщины, с которой судьба свела его четыре месяца тому назад в домике, занесенном снегом, в глухом московском предместье, властно стал перед Магдалиной и так тесно слился с нею, что он уже не в силах был отделить их одну от другой.

— О какое блаженство приблизиться к истине! Каким чудным пламенем согревает она душу, — говорила «просветленная» устами той, которую он называл кузиной. — Как ничтожны и мерзки кажутся все мирские утехы не только в сравнении с этим блаженством, но даже и с предвкушением его!

Лицо ее пылало, в глазах сверкали слезы умиления и восторга, голос звенел от душевного волнения, а Курлятьев чувствовал то, что ощущал в присутствии «просветленной», — бесконечное блаженство и стремление ближе и глубже проникнуть в мерцающую перед ним сквозь густой туман область света.

Но очарование рассеялось, как дым, от вмешательства Софьи Федоровны.

— Магдалиночка! — умоляюще вымолвила она, опуская руку на плечо дочери и тревожно заглядывая ей в лицо. — Успокойся, дитя мое, тебе вредно так волноваться, успокойся, ради Бога!

— Я не могу, маменька, не могу молчать! — вскричала с тоской Магдалина, прижимая руки матери к своей груди. — Николай Иванович был другом моего незабвенного благодетеля. Вспомните только, как он был опечален, когда узнал о постигшем его несчастье! Вспомните, разве он побоялся выражать свое горе и негодование? Разве он перестал превозносить добродетель друга, потому что друг подвергся опале, мукам и заточению? И вы требуете, чтоб я молчала, чтоб я не следовала примеру, завещанному мне отцом на смертном одре!

Курлятьеву было тяжело. Он молчал, не зная, какими словами успокоить своих родственников. Никогда еще не случалось ему вести разговоры на подобные темы. Ровно ничего не понимал он в них. Они, может быть, и правы, очень может быть, что человек, из-за которого волнуется его прекрасная кузина, действительно человек добродетельный и все, что на него возводят, не что иное как ложь и клевета. Легкомысленно повторять эту клевету, как он сейчас сделал, разумеется, не похвально, но стоит ли приходить из-за этого в такое иступление? Что такое этот масон для Магдалины? Во всяком случае не муж, не любовник и даже не брат.

Чувство, похожее на ревность, зашевелилось в его сердце. «Из-за меня она так волноваться бы не стала, — подумал он, — я ей кажусь глупым и пустым в сравнении с этим человеком».

И чтоб скрыть досаду, он извинился за нечаянно причиненную ей неприятность.

— Я, право, в отчаянии, кузина, но поймите, пожалуйста, что я не мог знать, как дорог вам этот господин.

— Она вообще не может слышать, когда про людей судят, не зная их, — поспешила вставить Софья Федоровна.

Ее с раздражением прервали.

— Ах, маменька, совсем не то! Мне прискорбно, я в отчаянии, что он, именно он, таким оказался дурным!

И, обернувшись к Курлятьеву, она отрывисто продолжала, пристально глядя ему в глаза:

— Я не хочу, чтоб вы были слепы! Пожалуйста, не отворачивайтесь от света истины! Дайте ему проникнуть вам в душу и осветить ее.

— Бесконечно был бы счастлив на все смотреть вашими глазами, кузина, но, к сожалению, вряд ли это возможно, — возразил он с улыбкой.

— Почему невозможно? — порывисто спросила она.

— О причин на то много! И самая главная из них та, что я вашего мирозерцания не знаю, а узнать его мне, увы, даже и времени не хватит, я скоро уезжаю отсюда.

— Но вам стоит только захотеть, и вы всюду найдете людей, которые могут указать вам путь ко спасению.

По привычке ко всему относиться легко он стал отшучиваться.

— О кузина! Путь этот соблазняет меня только с такой наставницей, как вы! — вскричал он.

— Да ведь я сама еще ученица, — объявила она серьезным тоном, представлявшим курьезный контраст с его попыткой свернуть разговор на волокитство. Но, попав раз в излюбленную колею, идти вспять ему было трудно и он продолжал, напуская на себя все больше и больше тон светского петиметра, которым приобрел себе лестную известность в салонах обеих столиц.

— Об этом позвольте уж другим судить, прелестная кузина. Правда, у вас есть зеркало, но разве оно в состоянии передать даже сотую долю тех прелестей, которыми вас так щедро одарила природа на радость чувствительных сердец, плененных вами!

Эффект от этого цветистого комплимента вышел совершенно неожиданный. Вместо того чтобы краснея и с улыбкой потупить глазки, странная девушка сдвинула брови и вымолвила сурово:

— Зачем вы со мною так говорите? Мне это больно и обидно. Неужели вы с первого взгляда на меня не поняли, что со мною нельзя обращаться так, как вы привыкли обращаться с другими? Я вас считала проницательнее и... лучше, чем вы есть, чище сердцем, выше умом.

Она запнулась перед последними словами, но на одно только мгновение и точно для того, чтоб наказать себя за колебание, произнесла их с особенною резкостью, а на вопрос его, чем заслужил он лестное мнение о себе, объявила задыхающимся от волнения голосом:

— Ваш отец был святой человек. Ваши сестры пошли по его стопам, а вы...

— Магдалина!

Восклицание это, тоскливым стоном вырвавшееся у ее матери, заставило ее опомниться наконец.

Не кончив фразы, она, точно ужаленная, сорвалась с места и выбежала из комнаты.

Софья Федоровна тихо заплакала.

— Вот, племянничек, наше горе! — заговорила она, вытирая со вздохом слезы, катившиеся по ее щекам. — Ты свой, от тебя таиться не стану, да и само собой так вышло, что тайна наша тебе открылась. Была девица здоровая, разумная, нрава хоть и не веселого, а спокойного и кроткого. Красавица, сам видишь какая, и хозяйка, и рукодельница, на клавикордах как играла! Романсы как пела! Знаменитые музыканты наслушаться не могли. И рисовала изрядно; ко всему талант, одним словом. Радовались мы на нее с покойником да Бога благодарили. И вдруг! Слава Богу, что хоть он-то, наш голубчик, не видит нашей печали! Сглазил ли ее кто, или уж так захотел Господь нас покарать, а только стала все задумываться да задумываться и наконец, совсем точно безумная сделалась. Как ты ее сегодня видел, это еще ничего, теперь она слава Богу, а что раньше было, даже вспомнить страшно!

Она всхлипнула, отерла слезы и продолжала:

— Началось это с нею с того дня, как узнала про то, что она нам не родная дочь.

— Это случилось недавно? — спросил Курлятьев.

Его очень занимал рассказ тетки; все, что касалось Магдалины, ему было интересно, такое сильное произвела она на него впечатление своей красотой и оригинальностью.

— Недавно, голубчик, недавно, всего только три года тому назад. Покойник Иван Васильевич был еще жив. Ну, да это долго рассказывать! Вышел такой случай, все узнала, и так это ее расстроило, что мы ее вояжировать повезли, чтоб развлечь. Да неужели никто тебе про это здесь не рассказывал? — спросила она, пытливо глядя ему в глаза.

— Никто. Да я здесь ни у кого и не был, — отвечал он.

— И чудесно, и не езди, какая нужда, — подхватила она, точно чему-то обрадовавшись. — Мы с Магдалиночкой тоже нигде не бываем и к себе никого не зовем. К чему? На сплетни да на пересуды? Нам и без них тошно.

И снова на глазах ее выступили слезы.

Кого оплакивает она так горько? Неужели мужа? Но ведь уже три года прошло с тех пор, как он умер. Скорее можно думать, что печалится она о дочери. Да разве Магдалина уж так больна, что нет надежды на ее выздоровление?

У него сжалось сердце при этой мысли.

— Не сокрушайтесь, тетенька, сестрица выздоровеет. Она так еще молода и на вид вовсе на больную не похожа, — проговорил он с участием.

— Конечно, конечно, никто, как Бог, — поспешила она согласиться. — Спасибо тебе, родной, за ласковое слово. Точно покойного братца Николая Семеновича слышу. Да ты и лицом-то весь в него уродился. Как вошел, я чуть не вскрикнула, ну стоит передо мной братец Николай Семенович, да и все тут! Красавец ведь был, как женился, и совсем молоденький, до двадцати-то лет трех месяцев не хватило. Тоже вот, как ты, всякого, бывало, лаской да советом утешит.

Она его обняла и нежно поцеловала. А затем вернулась к занимавшему ее предмету, то есть к дочери.

— Так ты в ней ничего особенного не заметил? Она здоровой тебе показалась?

— Красавица она у вас и большая умница, — отвечал он. А в то же время думал про себя: «Что за тайна здесь кроется? Что у них за скрытое горе такое?»

— А сердце-то у нее какое! Золотое! Ты думаешь, она за одного Николая Ивановича так стоит горой? Нет, мой милый, она за всякого распинаться готова. Да вот вчера из-за тебя, как она на меня накинулась! Я говорю: «Не заглянет к нам, верно. В маменьку, поди, чай, гордый да жестокий» (уж ты меня извини, так и сказала с досады, что третий день приехал, а к нам глаз не кажешь), а она как вспыхнет вся! «Не говорите про него так, маменька! Грех судить про человека, не зная его. Я уверена, братец не уедет, у нас не побывав». И ведь правду сказала, ты про нас вспомнил.

— Сестрица добрее вас, тетенька, — заметил он с улыбкой, целуя руку старушки.

— Что говорить! Доброты у нее хоть отбавляй. Вот и во мне злости нст, но это я спроста, легче ведь доброй-то быть, чем строгой да взыскательной; ни сердиться, ни ехидничать я не умею, и хотелось бы иногда, да не умею, а она ведь у нас разумница и насквозь человека видит, чего он стоит. Сколько книжек перечитала, страсть! И с кем угодно может разговаривать. Намедни даже с архиереем сцепилась, ей-Богу, право! И так она его изречениями из Священного писания загоняла, что он и спорить больше не стал, а все только улыбался и цветов ей из оранжереи своей прислал.

— И я бы то же самое сделал на его месте, — сказал Курлятьев.

Софья Федоровна просияла.

— Так нравится она тебе? — спросила она, ласково дотрагиваясь до его руки.

— Кому же может Магдалина Ивановна не нравиться!

— Нет, ты скажи, тебе-то, тебе-то нравится ли наша Магдалиночка? — настаивала она с таким странным оживлением, что он смутился немножко.

— Нравится! — вымолвил он, краснея.

«Уж не сватать ли она ее за меня хочет?» — мелькнуло у него в голове. И нельзя сказать, чтоб предположение это ему было противно. Но он ошибся, она только попросила его отложить отъезд хотя бы на несколько деньков, чтоб дать Магдалиночке время оправиться от неловкой вспышки и познакомиться с ним покороче.

— Уж я ее знаю, — продолжала она, понижая голос и боязливо оглядываясь по сторонам, точно опасаясь, чтоб ее не подслушали, — смерть будет каяться, что показала себя перед тобой для первого знакомства в таком неавантаже, а особенно потому, что мнится ей, что ей теперь и поправиться перед тобой нельзя. Она всегда так, к вящему своему настроению, набурлит в запальчивости, а потом и мучится, терзает себя сумлением: «Зачем я так! Не надо было! Бог знает что про меня подумают, за сумасбродку прослышу...». А вспышки эти у нее от болезни. И доктора, к которым мы ее возили, тоже говорят, что от болезни. Покой бы ей только да время, и совсем здоровая будет.

Чем дальше, тем любопытнее становилось Курлятьеву слушать тетку. Не столько слова ее, сколько душевное смятение, просвечивающее и в выражении ее лица, и в голосе, и в торопливости, с которой она спешила высказаться, укрепляло его в убеждении, что в доме этом что-то неладно. Какой-то таинственный гнет давит этих двух женщин, гнет, под которым они беспомощно стонут, не смея никому довериться.

VII

Что это за тайна?

Ему так страстно захотелось ее узнать, что он отложил свой отъезд и целый месяц посвятил знакомству с родственниками, проводя у них все дни с утра до вечера, но из этого вышло только то, что он окончательно подпал под обаяние Магдалиночки, то есть, попросту сказать, без ума в нее влюбился. Что же касается тайны, заинтриговавшей его при первом посещении, он и думать про нее перестал. Никакой

тайны нет, а есть только прелестная девушка, экзальтированная и впечатлительная до чрезвычайности; на нее пагубно влияет темная среда, в которой она вращается; ее безотчетно тянет к свету, к блестящему обществу, к той сфере, где она будет на своем месте и по красоте, и по уму, и по состоянию, — и это так естественно, что иначе и быть не может.

Вот и разгадка неровности ее характера, вспышек негодования из-за пустяков, а также смущения ее матери и страха, чтобы о любимой дочери посторонние не подумали чего-нибудь худого.

Разумеется, будь тетенька Софья Федоровна похитрее, она более разумно проявляла бы свою любовь и опасения, но умом она никогда не отличалась, нечего, стало быть, и винить ее.

Однако несколько дней спустя, благодаря случайности, заснувшие было сомнения с новой силой пробудились в его душе.

В этот день он тотчас после обеда вышел из дома тетки. Погода испортилась, лил дождь, небо заволокло тучами, и к довершению досады Магдалине так занедужилось, что она из комнаты своей даже к столу не вышла. А его в тот день особенно к ней тянуло. И на него тоже ненастье навело легкую меланхолию, хотелось ласки и участия, хотелось, может быть, большего... Тетку он нашел озабоченной и рассеянной, разговор с нею либо принимал неудобный для него оборот, либо совсем не клеился. Беспременно возвращалась она к исчислению богатства, которое должно было достаться Магдалиночке после ее смерти (по ее убеждению, очень близкой), да про то, как бы ей хотелось пристроить ее при жизни за известного и хорошего человека. Намеки эти сегодня как-то особенно волновали Курлятьева. Потому, может быть, что в них проглядывала решимость окончательно высказаться, а он этого пуще всего боялся.

Наконец, когда, прервав ее на полуслове, под предлогом, что ему непременно надо сейчас идти домой, молодой человек поднялся с места, она стала его просить непременно зайти вечером.

— Магдалиночка будет в отчаянии, если сегодня не увидит тебя; ей уж и теперь полегче стало, а через часочек она со всем оправится, пожалуйста, приди. Ведь уж недолго тебе с нами быть.

И с робкой улыбкой она прибавила, запинаясь от смущения:

— Не хотелось бы мне тебя отпускать, не открыв тебе всю мою душу, да вот робость одолела. Уж так-то мне

хочется, чтоб это случилось, так хочется, что даже страшно и помыслить о неудаче. Сжался ты надо мной, глупой старухой, сам догадайся.

Он уже давно догадался, про что она ему хочет сказать, и всю эту неделю думал об этом. Когда он был один, ему казалось, что нет ничего легче, как сказать те слова, которые от него ждут, но, когда наступала решительная минута, на него нападала такая трусость, что он готов был бежать на край света, лишь бы только не произнести рокового признания.

Вот и теперь, чем бы успокоить тетку, сказать ей, что его самое пламенное желание жениться на Магдалиночке, он притворился, что не понял ее последних слов и, обещав непременно зайти в тот же день вечером, удалился так поспешно, точно боялся погони. Мысленно он упрекал себя в недостойной мужчины трусости. Ну, чего ему еще надо? Счастье само лезет в руки, а он ломается, не пользуется течением обстоятельств, благодаря которым ему представляется возможность сделать блестящую партию, назвать женой такую прелестную девушку, равной которой он не знает на свете.

Ведь ни одна из тех женщин, которых он любил, не выдерживает с нею сравнения. С тех пор, как он знает Магдалину, и последняя его страсть, княгиня Дульская, утратила для него всякую прелесть. Ему неприятно про нее вспоминать, и кажется, что он никогда ее не любил.

Магдалине стоило бы только показаться в Москве или в Петербурге, чтоб привлечь женихов, но он понимает, почему Софье Федоровне желательно, чтоб сокровище это досталось именно ему. Ей хочется вознаградить его за потерянное наследство. Из намеков ее он мог себе уяснить, что это было желание покойного дяди, чтоб состояние, взятое им за женой, не выходило из рода Турениных, а он единственный представитель этого рода. Ему даже иногда кажется, что и Магдалина привыкла относиться с сочувствием к этой комбинации и тоже желает скорейшего ее осуществления. Но полюбит ли она его когда-нибудь — это уже другой вопрос, и отвечать на него не так-то легко.

О, если б он был в этом уверен, с каким легким сердцем кончил бы он это дело!

А кончить, так или иначе, его надо. И не дальше как сегодня вечером, чтоб либо сделаться ее женихом, либо скорее уехать отсюда, чтоб забыть про нее. Он старался уверить себя, что это возможно!

VIII

От экипажа, предложенного теткой, он отказался; не-взирая на дурную погоду, ему захотелось пройти пешком. Он шел по пустым улицам под проливным дождем, нахлобучив шляпу на лоб и высоко подняв воротник шинели, и так углубился в свои думы, что, сам не понимая каким образом, очутился в городском саду.

Правда, что он иногда проходил через этот сад из дома Грибкова в дом тетки в хорошую погоду и когда ему являлась фантазия щегольнуть модным костюмом столичного щеголя перед хорошенькими провинциалками, восхищавшимися им, но сегодня в саду не было ни одной живой души, все сидели по домам, и несравненно было бы благо-разумнее сократить путь переулками. Сообразил он все это тогда только, когда прошел всю аллею, увязая в мокром песке, и когда возвращаться назад было уже не для чего.

Однако дождь перестал. Кругом было тихо, пустынно и мрачно. Начинало темнеть от черных туч, сгущавших, особенно под деревьями, наступавшие сумерки. Небо не про-яснялось, и поднимался резкий, холодный ветер. Чтoб укрыться от него, Курлятьев свернул с главных широких аллей в боковые дорожки и вдруг услышал поблизости шорох, который он сначала принял за шелест вздымаемых ветром листьев, но, прислушавшись, понял, что это кто-то осторожно пробирается через кустарник. Он оглянулся и увидел две человеческие фигуры, мужчину и женщину, торопливо удалявшихся в противоположную от него сторону. Не давая себе ясного отчета в том, что делает, он повернул за ними и почти тотчас же нагнал их, подошел так близко, что в женщине узнал Магдалину.

Лицо ее на одно только мгновение мелькнуло перед его глазами, когда она обернулась к нему, но этого было достаточно, чтоб он ее узнал.

Он узнал и ее плащ с поднятым на голову капюшоном, темно-красный на белой атласной подкладке. Не дальше как накануне, закутывал он ее в этот плащ, чтоб предохранить от вечерней свежести на балконе.

С кем это она?

Увы! Когда вопрос этот мелькнул у него в уме, они были уж так далеко, что рассмотреть лицо ее спутника не было никакой возможности. Для этого надо было бы за ними бежать и остановить их, а он и подумать не смел об этом.

Не такая была девушка, чтоб допустить над собой какое бы то ни было насилие. Никогда не простила бы она ему

такое грубое вторжение в ее интимную жизнь. Но как же назвать ее своей супругой в таком случае? Должен же он знать все ее тайны, прежде чем связать с нею судьбу свою навеки.

Кто этот человек, ради которого она притворяется больной и всем лжет? Ведь и мать ее убеждена, что она лежит в своей комнате с головной болью, а у нее rendez-vous в публичном саду с каким-то...

К вящей своей досаде Курлятьев не знал даже, как и обозвать своего соперника. И в чем именно он ему соперник? У нее такие странные фантазии!

Вернувшись домой, в ту комнату, лучшую в доме, которую ему уступили Грибковы, и перечитывая деловые бумаги, ожидавшие его на столе, он не переставал думать все о том же и рассеянно выслушивал доклад Прошки о случившемся во время его отсутствия. Приходил писарь из палаты с готовым актом к Грибкову, заезжал вице-губернатор с приглашением назавтра откусать, присылали от помещицы Пустошкиной просить на чашку чая, принесли от прачки кружевное жабо; вычистила порядочно, но, разумеется, не так, как в Москве или в Петербурге. Являлся кузнец осматривать карету и нашел, что починки много, раньше, как в десять дней, не справить.

— А ты ему, каналье, сказал, что мы послезавтра едем? — вскричал Курлятьев.

— Никак невозможно, Федор Николаевич, — возразил Прошка, нimalo не смущаясь окриком барина, которого он знал с детства, когда еще казачком был к нему приставлен. — Нам раньше, как через неделю, не тронуться. Князь Артемий Владимирович сами изволили сегодня заезжать, просят вас непременно к ним пожаловать на именины.

При имени князя Дульского Курлятьев поморщился.

— Да разве князь здесь? — спросил он.

— Как же-с. Изволили приехать утром. Остановились в своем доме. Вечером уезжают. Приказали вашей милости напомнить, что вы изволили обещать непременно побывать у них в деревне, когда пожелаете сюда. Изволили сказать: «Скажи твоему барину, что он меня обидит, если не пожелует ко мне к 29-му».

— Да ведь 29-е послезавтра?

— Точно так-с. Я им про нашу карету доложил, что она у кузнеца, они сказали: «Это вздор, я за ним завтра экипаж пришлю». Они еще сказали, письмо из Петербурга от княгини ждут...

— Ну, хорошо, хорошо, ступай, — с раздражением прервал его барин, раздосадованный неожиданным приглашением и невозможностью отказаться от него.

Ни о чем так не претило ему вспоминать в эту минуту, как о семье князя Дульского. Много хотелось бы ему изгладить из своего прошлого, но особенно дорого дал бы он тому, кто уверил бы его, что связь его с княгиней Верой существовала только в его воображении, но, к несчастью, это было невозможно.

Разумеется, то, что он к ней чувствовал, нисколько не похоже на то, что он теперь чувствует к Магдалине; это была любовная интрига из таких, что заводят все молодые люди в его лета и в его положении. Княгиня Вера служила ему приятным времяпрепровождением, ничем больше. Не с нею, так с другою светской дамой сошелся бы он. Без метресс нельзя. Чувство это занимало так мало места в его сердце, что не мешало ему одновременно баловаться с красавицами и другого сорта, на которых он после смерти матери в один месяц спустил весь свой годовой доход да еще сделал крупный долг в придачу. Разве это можно назвать любовью? Вот то, что он чувствует к Магдалине, — дело другое.

Ему иногда кажется, что она начала властвовать над его сердцем раньше, чем он ее увидел. Душа его давно жаждала встречи с нею. Давно уж женщины перестали занимать выдающуюся роль в его жизни. Княгиня Вера была его последним серьезным увлечением. А уж после знакомства с «просветленной» в Москве он ни на одну красавицу даже хорошенько и не взглянул. Все ему как-то вдруг опротивело. Сердце точно готовилось и очищалось для нового чувства.

Он стал припоминать свою жизнь за последние четыре месяца и должен был сознаться, что, благодаря неизвестному влиянию, как во внутреннем его мире, так и во внешнем произошел важный переворот. Начать с последнего свидания с княгиней Верой, на бале, в ночь после того дня, как Каморцев познакомил его с «просветленной». О как ему памятен этот день и эта ночь! Да уж одна метаморфоза княгини Веры чего стоит! Из злобствующей, мнящей себя жестоко оскорбленной женщины, мечтающей только о мести, она превратилась вдруг в спокойную, любезную светскую даму, с приветливой улыбкой на исхудалом лице, с ясным взглядом больших впалых глаз. С ним она разговаривала, как со всеми, весело и беззаботно, о приезжей актрисе, приводившей весь Петербург в восторг, о новом

романе мадам Сталь и тому подобных пустяках. Если своим равнодушием она и напоминала ему о прошлом, то для того только, чтоб убедить его, что она считает это прошлое навсегда забытым. Как он был этому рад! Ни одна любовная интрига не тяготила его так, как эта. Князь Артемий такой почтенный и великодушный человек! Он так доверчив! И, как нарочно, всегда осыпал Курлятьева ласками и вниманием.

С легким сердцем уехал Федор Николаевич после этой последней встречи с бывшей возлюбленной в Петербург, где ожидали его новые удачи.

Не успел он выразить желание поступить на гражданскую службу (из полка, в котором он числился с детства, Курлятьев вместе со многими вышел вскоре после восшествия нового императора на престол), как за ним прислал один из важнейших в то время сановников и милостиво предложил ему озаботиться о его судьбе в министерстве иностранных дел. Изумленный таким неожиданным и незаслуженным вниманием, Курлятьев напрасно ломал себе голову над вопросом, кому он этим обязан. Но на все попытки это узнать новый покровитель отвечал только советом держать себя скромнее, предаваться больше благочестивым размышлениям, уповать на Бога и прилежанием, и степенностью оправдать доверие своих таинственных покровителей.

Кто эти покровители и за что они на него обратили внимание? Ему уже 25 лет, но до сих пор, если он отличался от других светских шалопаев, то одними только шалостями, на которые, надо было отдать ему справедливость, он был замечательно изобретателен, да искусством остроумнее прочих прожигать жизнь, — вот и все, а за такого рода заслуги, насколько ему было известно, не принято было награждать местами на государственной службе даже и в минувшее блестящее царствование, а уж в нынешнем!

Впрочем, ломать себе голову над этой загадкой помешало ему важное событие, перевернувшее судьбы множества людей в России.

Не успел он дать окончательного ответа на лестное предложение, которым его почтили, как разнеслась весть о скоропостижной смерти императора.

И в одно мгновение свершилась обычная при таких случаях перемена декораций: последние стали первыми, а первые — последними. Подвергся общей участи и покровитель его. Ждать от него больше нечего было, а у заместителя его свои найдутся *protégés*.

Особенно сокрушаться изменой фортуны Курлятьев не стал. Торопиться со службой он не видел для себя никакой надобности. У него еще дела после смерти матери не были приведены в порядок. Кредиторы надоедали. Надо было узнать, сколько ему можно тратить в год, прежде чем делать новые долги. Он решил все бросить и ехать в ту губернию, где у него были дом и имение, а там видно будет.

Выехал он из Петербурга с месяц тому назад, и вот уж шесть недель, как здесь проживает. Завтра он поедет к князю Артемию и, отпраздновав там дня три, вернется опять сюда за категорическим ответом на вопрос, который он предложит своей названной кузине сегодня, через час, непременно. Он был почему-то уверен, что на предложение его она ответит уклончиво. Мысль об отказе он настойчиво гнал от себя прочь и льстил себя надеждой тронуть ее своей любовью даже и в таком случае, если б она была к нему вполне равнодушна, а у него были данные предполагать противное. Правда, последние три-четыре дня она изменилась в обращении с ним и стала даже как будто избегать его, но, может быть, это потому, что она опасается выдать свое чувство?

Тем не менее ему было жутко, и, как ни уверял он себя, что лучше знать, чем не знать, и что нет ничего хуже, неприятнее, раздражительнее неизвестности, внутренний голос назойливо твердил другое, сердце болезненно сжималось при мысли, что, может быть, предстоящее свидание с Магдалиной будет последним, и слезы выступали у него на глазах при этой мысли.

Да, это будет для него страшное, непоправимое несчастье, такое несчастье, какого он никогда еще не испытывал, твердил этот голос тем громче, чем упорнее старался он его в себе заглушить.

Такого тоскливого настроения ему никогда еще не доводилось переносить. Хотелось скорее узнать решение судьбы, и вместе с тем так страшно было перед этим решением, что невольно откладывал он с часу на час роковую минуту. Но, когда, взглянув на часы, он увидел, что скоро восемь, ему вдруг пришло в голову, что, медля дальше, он рискует опоздать. Пожалуй, его не примут, придется до следующего дня откладывать объяснение, и мысль провести всю ночь в неизвестности так его испугала, что он, как ужаленный, сорвался с места и выбежал на улицу.

Но тревоги его были напрасны: у Бахтериных его ждали. Когда Магдалина сошла вниз из своей комнаты с полчаса после ухода Курлятьева, Софья Федоровна ска-

зала ей, что он обещал непременно прийти к ним вечером.

— Он был в отчаянии, что не видал тебя сегодня, и очень беспокоится о твоём здоровье, — прибавила она, робко заглядывая в лицо девушки, которая сидела к ней в пол-оборота, низко пригнувшись к работе. Она вышивала по атласу разноцветными шелками пелену в церковь.

— Тебе ведь теперь лучше? Ты с нами попьешь чаю? — продолжала госпожа Бахтерина, тревожась молчанием и сосредоточенным видом дочери, а также и тем, что она избегает встречаться с нею взглядом.

— Я останусь внизу до десяти часов, — отвечала девушка, еще ниже пригибаясь к работе.

— Федя предобрый молодой человек, — снова заговорила Софья Федоровна, помолчав немного и откинув в сторону свое вязание. — А лицом он вылитый отец...

— Лицом! — тихо вымолвила Магдалина, и саркастическая усмешка скривила ее губы.

— Мать он ничем не напоминает, — продолжала Софья Федоровна, не расслышав или притворяясь, что она не расслышала сорвавшегося с уст дочери слова. — Мне его очень жалко, так одинок...

— Это в свете-то он одинок, по-вашему? — резко возразила девушка. — В свете, для которого он создан и который существует только для таких, как он?! Полноте, маменька! Поберегите ваше сострадание для других. Истинно несчастных людей много! Мы нужны Федору Николаевичу только в данную минуту, на те несколько дней, что ему остается здесь прожить. Не успеет он отсюда отъехать на десять верст, как уж забудет про нас, — проговорила она с лихорадочной поспешностью, точно торопясь освободиться от душивших ее мыслей.

— Никогда он тебя не забудет, потому что всем сердцем тебя полюбил. Так полюбил, как любят один только раз в жизни, — вскричала с волнением Софья Федоровна.

Магдалина вспыхнула.

— Вам это кажется, — вымолвила она дрогнувшим голосом.

— Нет, не кажется. Ты меня умнее, начитаннее и способнее ко всему, но я тебя опытнее. Я знаю, что такое любовь, а ты не знаешь. Я многого не могу понять, но в том, что касается сердца, у меня чутье, которое никогда меня не обманывает. Он в свою семью уродился. Курлятьевы в любви верны. Когда Катенька полюбила Алешку выездного, я сказала твоему отцу: кончена ее жизнь, за

другого не выйдет. Так и случилось. И сестра ее тоже. Бочагов-то, с тех пор, как с ума по ней сходил, уж два раза успел жениться, детей куча, внуки, а Маша...

Она со вздохом смолкла, не кончив фразы. Магдалина тоже молчала, но сдвинутые брови и стиснутые губы выдавали глухую борьбу, происходившую в ее душе.

— И ведь первое время он тебе нравился, — продолжала через минуту Софья Федоровна. — Я радовалась, благодарила Бога. Вспомни, как этого желал папенька! Налюбоваться я на вас не могла. И вдруг, точно что на тебя нашло, ты стала избегать оставаться с ним вдвоем, злобно относиться к каждому его слову и движению, тяготиться его присутствием... Что такое случилось? Почему такая перемена? Он все тот же, с тою только разницей, что с каждым днем любит тебя все больше и больше... Наговорил тебе, что ли, на него кто-нибудь? Так ты мне скажи, я и сама за дурного человека тебя не отдам... А если ты ничего про него не слышала, то чем же он мог тебе опротиветь?

— Перестаньте, маменька, меня мучить!

Слова эти болезненным стоном вырвались из груди девушки, и, закрыв лицо руками, она поспешно вышла из комнаты. С тяжелым вздохом и полными слез глазами смотрела ей вслед мать.

Чем она терзается? Чем ее утешить? Как проникнуть в эту замкнутую душу, недоступную ни ласкам, ни просьбам, ни упрекам? — спрашивала себя с тоской Софья Федоровна.

Она стала припоминать события последних дней. Все было по-прежнему, и ничего нового не случилось, ничего такого, что можно было бы заметить и запомнить. Кроме Курлятьева, никто у них не был. Магдалина выходила только в сад да на террасу. Если она виделась с кем-нибудь из посторонних, то разве только через решетку, выходившую на глухой переулок. Но, может быть, она опять была у старика Андреича? Горничная Фрося, ровесница и доверенное лицо барыни, донесла ей третьего дня, что барышня чуть свет куда-то ходила и вернулась назад после ранней обедни. Вот они, последствия этой утренней прогулки, и сказались теперь! Перемену в ее обращении с Курлятьевым Софья Федоровна заметила со вчерашнего дня. Кого видела она в старом доме? Кто с нею там говорил? Кто смутил ей душу? Жизнь бы отдала с радостью Бахтерина, чтоб это узнать! Но как, через кого? Шпионить за дочерью, посылать следить за нею людей ей претило, и, когда, вот как

третьего дня, к ней являлись с доносом, первым ее движением было отвернуться от чересчур услужливых приспешников и приспешниц. Она знала, что у дочери ее какая-то своя жизнь, в которой она не допускает ее принимать участия, и это ей было так тяжело, что по временам она не выдерживала и обращалась к ней с расспросами, но ничего из этого не выходило. Магдалина либо, как сегодня, убежала в свою комнату и запиралась там, либо зажимала ей рот мольбой не предлагать ей вопросов, на которые она отвечать не может. А почему не может — это так и оставалось для Софьи Федоровны тайной. Молча и скрипя сердце, обречена она была на совместную жизнь с дорогим существом, физически и нравственно изнемогающим под каким-то страшным, тяжелым гнетом, не имея возможности ни в чем ему помочь. И чего только не передумала Софья Федоровна, сокрушаясь за дочь! Когда с год тому назад она узнала, что Магдалина иногда и по ночам куда-то выходит из дому, покрывшись платком, чтоб никто не узнал в бедно одетой женщине, торопливо пробирающейся глухими переулками, бахтеринскую боярышню, богатеишую невесту в губернии, первой ее мыслью было, что она ходит на свидание с каким-нибудь недостойным ее любви человеком. Как ни ужасна ей была эта мысль, но она слишком любила дочь, чтоб не пожертвовать самолюбием для ее счастья, и с целью облегчить ей признание рассказала злополучный роман племянницы Катерины Курлятьевой с крепостным Алешкой, торопясь прибавить к этому, что на месте сестры Анны Федоровны она совершенно иначе отнеслась бы к влюбленному. Лучше видеть дочь замужем за последним человеком на свете, чем в гробу.

— Я, маменька, ни в кого не влюблена, — заметила на это с улыбкой Магдалина.

У Софьи Федоровны на минуту отлегло от сердца. Дочь ее лгать не умеет, и, если она нашла нужным, не медля ни минуты, вывести ее из заблуждения, ей надо верить и не оскорблять ее несправедливыми подозрениями. Значит, тут что-нибудь другое. Но что такое? Какие мысли роятся у нее в мозгу и куда, в какие далекие пространства по временам улетает ее душа? Когда к ней обращаются, она вздрагивает, смотрит испуганным, недоумевающим взглядом, точно ее силой оторвали от невидимого мира, в котором она витала. Проходит иногда целая минута, прежде чем ей удастся совладать с собой, отрезвиться от опьяняющих видений, узнать, кто перед нею, и ответить на предложенный вопрос.

Такое состояние находит на нее периодически. Доктора называют это расположением к меланхолии и приписывают нравственному потрясению, испытанному ей, когда она внезапно узнала про тайну своего рождения. Но ведь потом она начала оправляться и как будто забывать. И вдруг опять на нее нашло, с тех пор как она стала ходить в старый курлятьевский дом. Понравилось ей там беседовать со стариком Андреичем и слушать его рассказы про старину. Одно время дня не проходило, чтоб она у него не побывала, и возвращалась домой такая странная, задумчивая. Софья Федоровна очень была рада, когда общество полоумного старика наконец прискучило ее дочери и она прекратила свои посещения его. Магдалина ожила и повеселела, с нею можно было обо всем разговаривать, румянец заиграл на ее щеках. Какое прелестное лето провели они тогда в деревне! Она занималась музыкой, увлекалась садоводством. Мистические книжки были заброшены; она не отходила от матери и даже поместилась в одной с нею комнате. Можно было думать, что она совсем оправилась от своего нравственного недуга. Все шло хорошо первое время и в городе, куда они вернулись поздней осенью. А зимой опять! В Николин день, после панихиды по дяде Николае Семеновиче, никому не говоря ни слова, Магдалина ушла в курлятьевский дом, пробыла там до самых сумерек и вернулась назад такая бледная и взволнованная, что Софья Федоровна похолодела от ужаса. Опять на нее нашло! Весь день пролежала она в постели, отвернувшись к стене и на все расспросы отвечая просьбой оставить ее в покое, а ночь провела в молитве. Раз десять подходила мать на цыпочках к ее двери и, приложившись к ней ухом, слышала ее вздохи и прерываемые рыданиями молитвенные возгласы. На этот раз припадок меланхолии длился с неделю, а затем очень долго не возобновлялся. Прошел январь, февраль, март, наступил апрель, и до прошлой недели все было благополучно. Первым признаком возвращения болезни было внезапное и ни на чем не основанное отчуждение, которое она выказала Курлятьеву. До сих пор ее матери казалось, что он ей нравится и что она согласится выйти за него замуж, ну а теперь...

Совсем стемнело. Лакей внес зажженные свечи и спросил, подавать ли самовар.

— Да разве уже так поздно? — вымолвила, не трогаясь с места, боярыня. И она хотела прибавить к этому, что Федор Николаевич обещал быть к чаю, но воздержалась.

Ей казалось, что всему дому известны ее надежды и опасения, а ей стыдно было их проявлять.

— Девятый час, — отвечал лакей и, с трудом сдерживая улыбку, позволил себе прибавить с почтительной фамильярностью старого слуги: — Боярышня уж с коиш пор на балконе сидят с Федором Николаевичем; Лизавета им туда шаль вынесла, посвежело к вечеру-то.

— Как? Федя здесь? — вскричала боярыня, вне себя от радостного изумления. — Что ж вы мне не доложите?

— Не велели-с. Вошли в залу и приказали одну только боярышню вызвать.

— И что ж она?

— Той же минутой изволили сбежать вниз и пошли с Федором Николаевичем на балкон. Там они и теперь разговаривают, — объяснил слуга, смеющимся взглядом следя за выражением лица боярыни. Из задумчивого и печального оно сделалось вдруг такое радостное, что весело было на нее смотреть.

— Ну, хорошо, оставьте их в покое, а с самоваром подождать. Когда придут в столовую, доложить мне.

С этими словами, забыв про ревматизм и одышку, на которую она постоянно жаловалась, старушка с живостью молоденькой девушки соскочила с глубокого вольтеровского кресла и легкой походкой направилась в свою спальню.

Тут она упала на колени перед киотом и со слезами сладостного умиления благодарила Бога и молила Его о благополучном исходе дорогого ее сердцу дела. При этом мелькали в ее уме самые утешительные предположения: не вызвал бы он ее, если б не считал себя вправе это сделать, и не сбежала бы она к нему так охотно, если б он не был ей мил и если б она хотела огорчить его отказом. Теперь все пойдет хорошо. Перед смертью Иван Васильевич несколько раз выражал желание, чтоб Магдалина вышла замуж за племянника. Его как будто мучила мысль, что он лишил его родового имени из-за чужого ребенка. Наследственным состоянием покойный Бахтерин считал себя вправе распоряжаться как неотъемлемой собственностью, и, будь только сестрица Анна Федоровна крошечку податливее, не так дерзка, заносчива и жестока, очень может быть, что Иван Васильевич не завещал бы всего состояния Магдалине, а отделил бы от него часть для Федора.

Все эти соображения стали мучить Софью Федоровну, особенно с тех пор как муж ее умер. Теперь она считала себя еще больше обязанной, чем раньше, исполнить его волю. Припоминались такие его слова: что ни за что не

позволит он выйти замуж Магдалиночке за иностранца, а также его расспросы про молодого Курлятьева. Он им интересовался, возобновил переписку со старыми друзьями в Петербурге, чтоб узнать, что за человек выходит из его племянника...

Прошло еще с полчаса, и тишина, продолжавшая царить в доме, начала удивлять Софью Федоровну. Неужели дочь ее с Федей до сих пор на балконе? Пора бы кончить беседу. Много ли надо времени, чтобы признаться друг другу в любви! Пора наконец и о ней подумать, обрадовать ее и успокоить.

Подождав еще немного, она решилась сама к ним пойти, но не успела переступить порог спальни, как увидала, что навстречу к ней идет Магдалина.

— Что же вы, маменька, не идете чай кушать? — сказала девушка.

Самые обыкновенные слова, но Софья Федоровна похолодела от них. Странно звучал голос дочери. Она не узнала бы его, если б услышала из другой комнаты. В проходной, где они встретились, было темно, и от света, проникавшегося сюда через полурастворенную дверь в соседнюю комнату, лица Магдалины нельзя было разглядеть, она видела только ее закутанную в шаль фигуру и протянутую неестественным движением руку.

Софья Федоровна взяла эту руку; она была холодна, как лед, и слегка дрожала.

— Что с тобой, дитя мое? Тебе нездоровится? — спросила старушка.

— Вовсе нет. Я долго сидела на балконе и немножко озябла, — возразила Магдалина, выдергивая руку из пальцев матери и поворачиваясь к двери.

Софья Федоровна последовала за нею в столовую. Тут никого не было; они вдвоем сели за стол с самоваром, и Магдалина принялась делать чай.

При свете восковых свечей, зажженных в бронзовом канделябре, Софья Федоровна украдкой взглянула на дочь. На Магдалине, как говорится, лица не было. Черты ее так заострились, глаза так впали, и она была так мертвенно бледна, точно вышла из застенка, где ее подвергали мучительной пытке. Вся она как-то съежилась, сделалась меньше и тоньше за эти два часа. Волосы беспорядочными прядями выбивались из-под кружевного черного шарфа; всегда стройный и прямой стан точно надломился; и она сидела сгорбившись, как старуха, с приподнятыми плечами и посинелыми губами, постаревшая лет на двадцать, неузнаваемая.

«Что с нею случилось? Господи! Что случилось?» — мысленно повторяла Софья Федоровна.

Ничего не могла она сообразить. Все, чем она радовалась и утешалась несколько минут перед тем, испарилось, как дым, из ее головы; мертвящим ужасом охватывало ей душу, спирая в груди дыхание и сжимая, как клещами, сердце.

— Вы чаю не хотите, маменька? — все тем же беззвучным, чужим голосом спросила Магдалина, указывая на налитую чашку, до которой мать ее не притрагивалась.

— Где Федя? — с усилием вымолвила Бахтерина, не отвечая на вопрос.

— Ушел домой. Извиняется, что не зашел с вами проститься.

И помолчав немножко, она продолжала все так же отрывисто, не поднимая глаз на мать:

— Не огорчайтесь, маменька, он мне сделал предложение...

— Ты ему отказала?

Девушка еще ниже опустила голову.

— Я никогда не выйду замуж, — вымолвила она с усилием.

Рушились мечты Софьи Федоровны, не захотел утешить ее Господь!

Но странное дело, потому ли, что она ждала худшего, или потому, что свершившаяся беда всегда на время успокаивает истерзанное злыми предчувствиями сердце, так или иначе, но печальное известие было ею принято с покорностью, и первой ее мыслью было: неужели это все?

— Я знаю, что огорчила вас, маменька, — снова начала, с усилием произнося слова, девушка, — и мне надо вам сказать, чтоб вы на меня не гневались, и простили бы меня, и любили по-прежнему... Мне теперь больше прежнего нужна ваша ласка и чтоб вы не считали меня ни злой, ни неблагодарной... Вот и с ним тоже я долго беседовала... старалась изо всех сил его утешить и... успокоить... не моя вина, если он... если я не преуспела в этом...

Голос ее оборвался на полуслове, щеки залило густым румянцем, и, закрыв лицо руками, она громко и болезненно зарыдала.

Софья Федоровна сорвалась с места, чтоб к ней кинуться и обнять ее.

— Дитя мое ненаглядное, сокровище мое! Доверься мне! Открой мне твою душу! Тебе легче будет... Никто так

тебя не любит, как я, скажи мне все, все, без утайки, — повторяла она, прижимая к себе трепещущую в истерическом припадке девушку.

— Я люблю его, — прерывающимся от рыданий голосом говорила Магдалина, пряча лицо на груди матери. — Люблю его, — повторила она с тоской, — больше жизни люблю... и никогда, никогда его больше не увижу! В последний раз смотрела я в его милые глаза, в последний раз слышала его голос! О как я страдаю! Я не могла себе представить, что можно так страдать! Как железными когтями, рвет мне сердце мысль о нем! Не могу я без него жить, не могу! Пошли мне смерть, Господи! Пошли скорее! А он-то, он-то, как мучится из-за меня! Он плакал, клялся, что жизнь потеряла для него всякий смысл, умолял, чтоб я оставила ему хоть искорку надежды, чтоб не впасть ему в полное отчаяние, не совершить незамолимого греха! Слова любви и утешения рвались у меня из души, сердце трепетало в мучительном к нему порыве... О каких усилий стоило сдержаться! Камень бы сжалился над его муками и мольбами, а я, я, для которой он дороже жизни, дороже всех людей на свете, я должна была его оттолкнуть, должна была нанести последний и решительный удар всем его мечтам и надеждам, убить то, чем жила его душа! О как мне больно! Как больно! Любите меня, маменька! У меня, кроме вас, никого нет!

Она была очень несчастна. И несчастье переродило ее. Если б Софье Федоровне кто-нибудь сказал, что Магдалина будет умолять ее о любви и сознаваться в своей беспомощности перед ударом судьбы, она не поверила бы этому, так горда и скрытна всегда была эта девушка, так отдалялась от сочувствия и презирала слабость во всех ее проявлениях. Как глубоко должно быть горе, сломившее в ней волю и силу к борьбе! Как могуче новое чувство, овладевшее всем ее существом!

Кто мог от нее требовать, чтоб она пожертвовала этим чувством? И ради чего?

— Кому обещалась ты не выходить замуж за Федю? — невольно сорвался у Софьи Федоровны вопрос.

— Маменька, родная моя! — вскричала Магдалина. — Не спрашивайте меня об этом! Никогда не спрашивайте! Я уйду от вас, если вы не пощадите меня, и вы никогда меня больше не увидите!

Она была точно в исступлении, глаза ее горели безумным блеском и, как затравленный зверь, оглядывалась она по сторонам, дрожа всем телом.

В ту печальную для него ночь Курлятьев заснул только к утру тяжелым сном, во время которого душа его не переставала страдать. Он так стонал во сне, что Прошка несколько раз подходил к его постели и подолгу стоял в раздумье, глядя на барина: будить его или нет?

И решив, что все-таки легче страдать во сне, чем наяву, с глубоким вздохом отходил на цыпочках прочь. Ему известно было, какое у барина горе. Весь город знал, что молодой Курлятьев ухаживает за бахтеринской боярышней, приемной дочерью и наследницей его покойного дяди, и не было дома, в котором не интересовались бы исходом этого события.

«Дело-то, видно, не сладилось; каприз напустила на себя боярышня, — размышлял Прошка, ворочаясь с боку на бок в несносной бессоннице, на тощей постилке у дверей своего господина. — А втюрился он в нее, по всему видать, здорово. Это не то, что с питерскими барыньками лазукать, нет! Эта себе цену знает, горда и неприступна, как принцесса какая, даром что неизвестных родителей дочь. Ну, да Бог даст, смилуется, и мы женихом отсюда уедем. Тоже ведь таких-то красавцев, как мы, на каждом шагу не найти. А если богатством своим чванится, так и мы не из бедных. Ну а насчет всего прочего, что покутить мы в веселой компании не прочь и от прелестниц, зажмутив глаза, не бежим, так ведь мы не монахи и быть молодцу не в укор. Тоже ведь, если послушать, и про нее поговаривают. Один-то жених уж отказался, а чтоб другие сватались — не слышать что-то. Болтают в народе, будто порченная. Может, и враки, а все-таки не гоже, когда про девицу такие гнилые слухи ходят. Ну, и живет не совсем так, как благородной боярышне подобает жить, — одна по улицам ходит, повадилась в наш старый дом, к Андреичу, и до поздней ночи там по пустым комнатам бродит. Видали ее чуть свет и по дороге к Принкулинской усадьбе. Может, ворожить туда ходила по женскому любопытству, а может, милостынку подать, но все ж такое поведение нельзя благородной девице в похвалу ставить, значит, очень-то ей уж кичиться перед нами нечего»...

Размышления Прошки были прерваны громким звоном лихой тройки, обвешанной колокольцами и бубенцами, лихо подкатившей к крыльцу. Мигом весь дом, за исключением курлятьевского барина, поднялся на ноги; высыпали на крыльцо и хозяева, и прислуга. Это была коляска из имения князя Артемия Владимировича, присланная за Курлятьевым. Кучер просил разбудить молодого барина.

Прохлаждаться было недосуг, до усадьбы князя насчитывалось от города верст двадцать пять, дорога больше чем на половину шла густым лесом, по которому скакать, сломя голову, не везде удобно, да еще надо захватить по пути другого гостя, стряпчего Алексея Ивановича Корниловича. Дай Бог, значит, к обеду поспеть, а дом полон гостей, и без господина Курлятьева за стол не сядут. Все это объяснил кучеру княжеский дворецкий, провожая его в путь, и строго-настрого наказывал раньше полудня вернуться.

Делать нечего, Прошка отправился будить барина. Но этот спал теперь так сладко и крепко, что, прежде чем к нему подойти, камердинер отдернул темную занавеску у окна и растворил его настежь. Утренний воздух, пропитанный ароматами весны, ворвался в душную комнату вместе с золотыми лучами восходящего солнца, с оживленным чириканьем птиц и позвякиванием бубенчиков остановившейся у крыльца тройки. С минуту поглядел Прошка на красивое, мужественное лицо барина с неупевшей еще засохнуть слезой на щеке, сдвинув сурово брови, покачал головой и принялся готовить одеваться и умываться, нарочно, с целью заставить его проснуться, гремя бесчисленными туалетными принадлежностями из фарфора, серебра и хрусталя, без которых щеголь того времени не мог обойтись.

Однако на улице застоявшихся лошадей все труднее и труднее было сдерживать на месте. Их покормили и дали им отдохнуть на постоялом дворе, прежде чем снова впрячь в коляску, и они рвались в путь.

Все это Прошка доложил барину, снова принимаясь его будить, и уж на этот раз так основательно, что молодой человек соскочил с постели и стал одеваться.

Не прошло и получаса, как отверженный Магдалиной жених уже мчался в коляске князя Дульского по пыльным улицам города и, захватив спутника, выезжал в поле, сверкавшее изумрудными переливами молодых всходов, под расплывающимися в голубой лазури золотыми лучами восходящего солнца.

Такое радостное, веселое было утро, что Курлятьев не мог всецело предаваться печали, не мог не прислушиваться к надеждам, навеваемым ему и душистым ветерком, и ласковым шелестом листьев в лесочках, через которые они проезжали, и далекой, таинственной далью, окружающей его со всех сторон, и легкими облачками, скользившими в бездонной синеве над его головой. Магдалина его любит.

Она ему в этом созналась, а там, где любовь, — отчаяния быть не может.

Не отчаиваться надо, не отказываться от надежды на счастье, а надо узнать, почему она так упорно утверждает, что не может сделаться его женой. Ни разу не сказала она: «Не хочу», — а сто раз повторила: «Не могу», — значит, тут действует чужая воля.

Как отраднa была ему эта мысль!

И, задумчиво улыбаясь утешительным мечтаниям, ре-явшим в его воображении, блуждая взглядом по зеленым полям с разбросанными там и сям группами кудрявых деревьев, он ощущал во всем своем существе новый прилив сил для борьбы с мрачной тайной, преграждавшей ему путь к счастью, и рассеяннo прислушивался к оживленной речи своего спутника, человека почти одних с ним лет и так же, как и он, полного сил и здоровья.

Они были знакомы. Во всех домах, куда ездил с визитами и по делам Курлятьев, встречал он стряпчего и с удовольствием беседовал с ним.

Корнилович, тип пробивавшегося в люди сына бедных, но благородных родителей, был отлично воспитан и чрезвычайно умен и остер. Начальство его не жаловало за чрезмерную и неуместную ретивость по службе, а в обществе он слыл забиякой, нахалом и злоязычным, но тем не менее он был всюду принят и обласкан, потому что все его боялись. Он так ловко сумел всех уверить, что за него в Петербурге стоит знатное родство, что никто не сомневался в том, что он пойдет далеко. Собой он был просто дурен: малого роста, несуразный и худой, как щепка, с огромной шапкой вьющихся черных волос, от которых узкое лицо с длинным, тонким носом и острыми глазами казалось еще бледнее и миниатюрнее; одевался он с претензиями на самую последнюю моду и носил такие огромные жабо и длинные, до пят, фраки, что не будь он так опасен, на него со смехом указывали бы пальцем.

И нельзя сказать, чтобы чувство, возбуждаемое им в городе, было лишено всякого основания. Он вел деятельную переписку с Петербургом, отправляя объемистые послания свои и по почте, и вместе с казенными конвертами, и сам получал много писем, из которых знал, что делается в столичных административных сферах, раньше самого губернатора. Малый был вообще не промах, во все вникал, ко всему прислушивался и присматривался; ничего не пролетит и не проползет мимо его носа, чтоб он не обнюхал, чем что пахнет, из чего вылезло и куда плывет.

С такими вкусами и способностями он выбрал себе карьеру вполне удачно и вскоре забрал в руки не только прокурора, добродушного толстяка, женатого на здешней помещице и интересующегося гораздо больше своим садом и бахчами, чем искоренением преступлений в губернии, но и всех прочих представителей государственной власти, начиная с начальника края, которому он особенно угодил мастерством читать стихи. Губернатор в юности был вхож в литературные общества, возникавшие тогда в столицах благодаря Державину, Ломоносову, Новикову и другим, наслушался стихов до опьянения, но сам их читать не умел и смотрел на искусство подносить каждую рифму как вылупленное яичко, которым обладал Корнилович, как на дар свыше.

К Курлятьеву любознательный стряпчий с первой встречи отнесся с превеликим любопытством. По свойственной ему привычке собирать и запоминать все слухи и сплетни, как бы ничтожны они ни казались другим, он давно узнал семейную хронику этого блестящего столичного слетка до малейших подробностей и с жадностью ищейки, чующей лакомую добычу, следил за каждым шагом молодого человека. С этой целью он сблизился с Грибковым, с которым, впрочем, и раньше имел столкновения. Всюду почти, в каждом пахнущем уголовщиной деле, сталкивался молодой, рьяный стряпчий со старым, опытным подьячим, и подставляли они друг другу западни, в которые, увы, первому доводилось попадать много чаще, чем второму. Но, узнав, что Курлятьев, сделавшись единственным наследником крупного состояния, состоящего из большого имения в здешнем уезде и дома с обширным местом в городе, возобновил доверенность, данную его покойной матерью Грибкову, стряпчий изменил свою тактику и оказал ему одну за другой несколько таких важных услуг, что Карп Михайлович попался на удочку, поверил расположению бывшего соперника, и между ними завязалось приятельское знакомство. Грибков угощал молодого человека жирными кулебяками, изготовлением которых жена его славилась, а стряпчий потчевал его у себя старым венгерским и расспрашивал его о том, что было в городе тридцать, сорок лет тому назад.

Грибкову как здешнему уроженцу да еще к тому же вращавшемуся с молодых ногтей в самом пекле уголовщины, все было известно, и припоминать старое он был охотник. Таким образом, узнал Корнилович и про обращение старика Курлятьева в секту, распространенную в здешней мест-

ности изгонителем бесов, расстригой попом Симионием, и про то, что обе старшие дочери его сбежали из монастыря, в который их заключила мать, чтоб сберечь все состояние сыну, одна в староверческую обитель, а другая к разбойничьему атаману, бывшему крепостному Курлятьевых, двадцать лет тому назад нагонявшему страх на здешнюю местность под прозвищем Сокола.

А также про судьбу меньшей курлятьевской боярышни узнал молодой стряпчий все, что здесь знали, но сведения эти были очень скудны, и, если б Корнилович не догадался обратиться за справками сначала в Киев, а затем в Варшаву, он так и не узнал бы, что граф Паланецкий авантюрист и преступник, на котором тяготеет подозрение в убийстве родного брата. Впрочем, и в Варшаве на этом обрывались сведения об этой загадочной личности. Обвенчавшись с курлятьевской боярышней, граф уехал с нею за границу, и ничего больше не стало о нем слышно. Уголовное дело, поднятое было против него, за давностью и за исчезновением главного виновного прекратилось.

И про историю приемной дочери Бахтериных Корниловичу все было известно. Таинственное происхождение этой черноокой гордой красавицы интересовало его страстно, и одно время он раскапывал все, что так или иначе ее касалось, и, хотя до сих пор ничего особенного ему открыть не удалось, он надежды не терял и продолжал за нею следить, долго без всякого успеха, но с год тому назад ему стало казаться, что на странности этой девушки, на ее отвращение от света и любовь к одиночеству влияет не одно только чтение мистических книг из библиотеки ее покойного приемного отца, а есть люди, которым выгодно поддерживать в ней это настроение. Из разговоров о ней с Грибковым ему стало известно о страстном желании г-жи Бахтериной выдать приемную дочь за племянника, а затем узнал он также один из первых, что желание это сделалось и желанием самого Курлятьева, а потому понятно, как заинтриговала его перемена в молодом человеке, его бледность, задумчивость, молчаливость. Не дальше как накануне утром, встретил он его на улице веселым и оживленным, с радостно сверкавшими глазами, и вдруг он точно постарел на несколько лет, осунулся, побледнел. «Что случилось? Неужели Магдалина ему отказала?» — спрашивал себя стряпчий, искоса поглядывая на своего спутника и не переставая при этом болтать про то, что не имело ни малейшего отношения к осаждавшим его мыслям, про свою деятельность и про затруднения, которые ему ставят на

каждом шагу те именно, кто должен был бы ему сочувствовать и помогать.

— Такие идеи, как справедливость и общественная безопасность, им непонятны. Да вот хотя бы про нашего Василия Дмитриевича сказать; знает, чертова кукла, что разбойники в его кладовую не полезут и хутора не подожгут, ну, ему ничего больше и не нужно, — жаловался он Курлятьеву на губернатора, — а до других ему и горя мало, была бы у него кожа да мощна целая. Я ему говорю намеренно: «Вы к вашему столу приспешников и укрывателей разбойников приглашаете, ваше превосходительство». Ничего, скушал и даже со смехом. Передо мной-то он, знаете, фордыбачиться не смеет, я воспитывался в доме графини З-вой, моей крестной матери, с ее детьми, а в люди наш губернатор через З-ва вышел; сколько раз я его там видел! С ним не церемонились, скажут, бывало, чтоб обедать пришел, а если кто невзначай поважнее подъедет, и с музыкантами посадят, не прогневайся. Принял он было меня здесь свысока, по-губернаторски, но я ему письмецо от графа Дмитрия подал, и как пробежал он эту цидулечку, так и размяк. Только благодаря петербургским протекциям и существую, и дело делаю. А дела здесь, я вам скажу...

Подозрительно глянув на сидевших на козлах княжеского кучера с курлятьевским Прошкой, он таинственно понизил голос:

— Про Принкулинскую усадьбу изволили, чай, слышать? Судя по донесениям здешних властей, в Петербурге думают, что разбойничьего притона в ней больше не существует, и за истребление злодеев здешнее начальство щедрыми наградами еще при покойнице императрице пожаловано, а я вам скажу, что все как было прежде, так и теперь осталось, подрывились только подальше, за овраг, там у них теперь притон...

— У кого? — рассеянно спросил Курлятьев.

— У разбойников, у кого же еще? Я давно за этим делом слежу, и на подозрение меня то обстоятельство навело, что кражи каждый день случаются, а похищенных вещей невозможно найти. Там их хоронят. А, кроме того, есть у меня и другие улики. Слыхали вы про помещика Петренкова, который уж десятый год в остроге здесь содержится? Нет? Курьезное дело, но прежде вам надо знать, как я попал на мысль, что в Принкулинской усадьбе все здешние разбойники и мошенники до сих пор находят себе приют. Еду это я недавно со следствия из Ханыковки ночью; луна всю светит, и, уж как подъезжать к городу,

вижу — идут каких-то двое с сетями к реке. Подозрительны мне показались эти люди, уж не могу вам сказать почему, а подозрительны, да и все тут. Чутье у меня, как у породистой гончей. Подозвал я этих рыбаков. — «Откуда, ребята?» — «Из Шумиловки». — «А из каких будете?» — «Дворовые боярыни Акулины Пахомовны». Отвечают без запинки и без страха, прямо в глаза глядят. И знаю я про эту Шумиловку, и что барыня там живет при полном дворе штате, а все не могу от мысли отделаться, что передо мной совсем иного сорта люди, чем те, за которых они себя выдают. Особенно подозрителен тот, что постарше, мне показался. Одет мужиком, на ногах лапти поверх онучей, грязная белая рубаха старым мочальным обрывком подпоясана, охабень в накидку, из облезлого меха шапка, но лицо белое, точно с год больным вылежал, и бородой обросло, а глаза... Вот глаза! Где видел я их раньше? Как глянул он на меня...

Стряпчий смолк на полуслове и стал всматриваться вдаль.

— Глядите-ка! А ведь это почту в город везут, — сказал он, наставляя над глазами руку козырьком от солнца, мешавшего ему разглядеть мчавшуюся им навстречу тройку. — Почта и есть, — прибавил он и, обращаясь к своему спутнику, спросил: — Вы писем из Петербурга не ждете?

— Нет.

— Ну а мне почта всегда интересна. Можно даже сказать, что я почтой здесь только и живу...

Тройка подкатывала все ближе и ближе. Стряпчий не ошибся, это действительно почту вез сопровождаемый двумя всадниками почтальон. По знаку приподнявшегося в коляске Корниловича они остановились. Стряпчий себя назвал и спросил, нет ли чего-нибудь для него.

Почтальон, который тотчас же узнал его, торопливо отпер сумку, висевшую у него через плечо, и стал в ней рыться.

— Ну а еще кому есть письма? — спросил Корнилович, запуская жадный взгляд в кучу запечатанных конвертов, которые перебирал почтальон.

— Господину губернатору, помещику Ливкову, князю Дульскому...

— Те, те, те! Давай сюда и то, что для князя Дульского! — вскричал стряпчий. — Мы к нему едем.

Почтальон взглянул на кучера, прежде чем выпустить из рук письмо, которое держал в руках.

— Вот и ладно, — тряхнул головой кучер князя, — не придется в другой раз за письмами в город посылать.

— А для господина Курлятьева ничего нет? — спросил Корнилович, принимая пачку конвертов, адресованных на его имя и на имя князя Дульского.

— Им тоже есть, — отвечал почтальон.

— Так давай сюда! Федор Николаевич, голубчик, что же вы молчите? Вам письмо из Москвы.

Курлятьев рассеянно протянул руку за конвертом, на который Корнилович не преминул взглянуть при передаче, причем заметил, что надписан он женским почерком. Не ускользнула также от его внимания и неприятная гримаса, исказившая на мгновение лицо Курлятьева, когда он глянул на письмо, и с какой поспешностью сунул он его, не распечатывая, в боковой карман.

«От постылой, верно, — подумал стряпчий, просматривая письма, оставленные ему почтальоном, который пока- тил дальше. — Знаем мы это чувство, когда в самый разгар новой страсти старая любовь о себе напомнит, приятности мало»...

И вдруг, надпись на одном из писем, адресованных князю, заставила его вздрогнуть от изумления, рука была та же самая, что на письме к Курлятьеву. Мало того, и конверт был такой же величины и цвета, без сомнения, из той же бумаги и та же печать. Кто такая эта таинственная корреспондентка? Неужели почтенный князь Дульский и этот вертопрах соперники в любви? Дорого бы дал стряпчий, чтоб убедиться в справедливости своих догадок, но об этом нечего было и думать. Курлятьев не выказывал ни малейшего расположения к откровенности; после встречи с почтальоном он сделался еще задумчивее и рассеяннее и совсем отвернулся от своего спутника, чтоб смотреть вдаль; по всему было видно, что ему не до разговоров.

Да оно так и было на самом деле. Письмо от княгини пробудило в душе молодого человека именно то, что ему всего больше хотелось забыть; оно являлось напоминанием скверной, распутной жизни, всего того, что воздвигало преграду между ним и Магдалиной. О это прошлое! Как дорого дал бы он, чтоб оно не существовало, чтоб начать жизнь сызнова. А оно, точно назло, точно для того, чтоб отнять у него всякую надежду на счастье, встает перед ним. Зачем она ему пишет, эта несчастная? Разве не решено, что между ними все кончено, что они должны забыть друг друга? Надо же было ему получить это письмо именно в то время, когда он едет к обманутому мужу. С этим осязательным

доказательством его преступности и коварства в кармане он будет жать его руку, целоваться с ним. Какая мерзость! Если б Магдалина это знала, с каким отвращением отвернулась бы от него! А имел ли он право от нее скрыть свои заблуждения, признаваясь ей в любви и умоляя ее стать его женой? Нет, не имел. Теперь он это видит совсем ясно, и ему непонятно, как мог он этого не сознавать раньше... Может быть, ей уж все это известно, и она поэтому отказывается связать свою судьбу с ним?

Но не успела мысль эта мелькнуть в его уме, как он отбросил ее, как невозможную. Нет, если б она это знала, не так говорила бы она с ним, не с нежностью, не с сожалением; она не дала бы ему понять, что он ей мил и что она страдает, расставаясь с ним, не умоляла бы его не расспрашивать ее, не выпытывать у нее чужой тайны, она прямо объявила бы ему, что презирает его за его гнусную жизнь и что между ними нет и никогда не будет ничего общего. Она такая прямая, так ненавидит недоразумения и фальшь. О как он ее теперь хорошо знает! И как он ее любит, как любит!

Ему уже теперь кажется, что он и без надежды на счастье обладать ею будет вечно любить ее. Он не может себе представить жизнь без любви к ней. Он ей все скажет, развернет перед нею без утайки всю свою жизнь и тогда только успокоится, когда она ему простит прошлое во имя будущего и пообещает ему свою дружбу. А в дружбе она ему отказать не может, особенно, когда узнает, как он несчастен...

— А князь-то, должно быть, волокита был в свое время, — снова приступил к разговору Корнилович, после довольно продолжительного молчания. — Красивый мужчина. Вы с ним давно знакомы, Федор Николаевич? — продолжал он, не дождавшись ответа на свое первое замечание.

— Давно, — неохотно ответил Курлятьев.

— Супруга-то с ним только первый год здесь пожила, а потом все больше по заграницам. Тоже, верно, с кем-нибудь сантименты разводит.

«Что это? Намек? Как он смеет!.. Проучить нахала!»...

Мысли эти вихрем пронеслись в уме Курлятьева, и он на них не остановился даже на мгновение, но они отразились во взгляде, которым он окинул своего спутника таким смущением и гневом, что у Корниловича блеснула в уме новая комбинация, за которую он со свойственной ему цепкостью ухватился.

— Болтают здесь, будто она с каким-то гвардейцем махалась до приезда их сюда, — продолжал он с напускным равнодушием. — Вы, чай, слышали?

— Ничего подобного про княгиню Веру никто не говорил ни в Петербурге, ни в Москве, — сдержанно возразил Курлятьев.

Слишком сдержанно. Ему очень трудно было скрывать волнение; это можно было заметить и по его изменившемуся внезапно голосу, и по тому, как он старательно отворачивался от пристального взгляда своего соседа.

«С каким удовольствием вытолкнул бы ты меня, голубчик, вон из коляски, а сам поскакал бы дальше один», — думал этот последний, внутренне наслаждаясь сделанным открытием, как страстный археолог, нечаянно наткнувшийся на драгоценную находку из отдаленной древности, или юноша-поэт, которому посчастливилось ухватить богатую рифму.

Но им оставалось проехать вместе еще с час времени, и, чтоб окончательно успокоить Курлятьева и заставить смолкнуть подозрения, зашевелившиеся в его мозгу, стряпчий вернулся к прерванному разговору о сношениях между принкулинскими обитателями и заключенными в остроге. Оказалось, что рыболов, встретившийся ему на днях у реки и поразивший его болезненной бледностью лица и знакомым выражением глаз, один из заключенных, тот самый помещик Петренков, посаженный в тюрьму по подозрению в убийстве, и дело которого благодаря денежным молитвам его жены тянется до сих пор и протянется, вероятно, до самой его смерти, потому что все-таки удобнее сидеть в остроге, чем быть на каторге.

— Устроился человек, как нельзя лучше. Камера у него просторная, кушанье ему приносят из домика, что жена его напротив острога выстроила. Платье носит свое, книги большими тюками из столицы получает. Мемуары, говорят, пишет. А в хорошую погоду ночью по полям да по лесам прогуливается. Каково житье! Смотритель давно уж подкуплен, без сомнения. А следствие под сукном лежит. Вот я сам его на свободе видел собственными глазами; стоит только в неуказанное время нагрянуть в острог, чтоб все эти безобразия накрыть. Вы скажете: чего же я зеваю? А я вам на это отвечу: руки короткие, око видит, да зуб неймет. Связаны мы, стряпчие, по рукам и по ногам прокурором, а прокурор в зависимости и от полицеймейстера, и от председателя палаты, и от губернатора. Иерархия! Чтоб пальцем шевельнуть, надо через все эти дистанции пройти, а

пока эта процедура будет проделываться, все скроют, замажут и концы в воду. Сумеют доказать, что мне все приснилось, так все подведут, что самому себе перестанешь верить и останешься в дураках. Вот что обидно, Федор Николаевич, — прибавил он со вздохом.

— Да, конечно, — рассеянно отвечал Курлятьев, не вслушиваясь в слова собеседника и продолжая думать свою думу.

Но тем не менее слова эти запечатлелись в его мозгу, и ему очень скоро пришлось вспомнить их. И если б он знал, при каких обстоятельствах это случится, неизвестно, хватило ли бы у него мужества идти навстречу роковому событию и не предпочел ли бы он выпрыгнуть из коляски в ту минуту, когда она вскачь неслась по просеке в лесу, и размозжить себе голову о торчавшие пни!

Но, к счастью, будущее от нас сокрыто.

К князю Дульскому гостей съехалось много — соседние помещики с семьями, представители власти из уездного города: исправник, городничий, судья, уездный врач.

За хозяйку была молодая вдова, родственница князя, завернувшая сюда по дороге в свое имение близ Одессы.

Корнилович заметил, что между этой дамой и Курлятьевым какие-то контры. Встретились они, как старые знакомые, но тотчас же начали язвить друг другу, шутливо, конечно, однако не без злобы, и стряпчий стал с нею искать сближения, в чем весьма скоро и преуспел.

У них оказалось много общего. Оба считали себя всех умнее, интереснее и оба в любопытстве на счет ближнего не знали предела.

После обеда, прогуливаясь со своей новой приятельницей по широким аллеям великолепного парка, Корнилович рассказал ей так много забавного про местное общество, что окончательно завоевал ее расположение. Однако к подходам его относительно семейных тайн гостеприимного хозяина барынька отнеслась очень сдержанно, и все, что он мог от нее узнать, это то, что Курлятьев уж лет семь как знаком с Дульскими и в бытность их в Петербурге был у них принят как свой человек.

Но Корниловичу и этого было довольно. Теперь он был уже уверен, что княгиня в переписке с Курлятьевым. Сам князь подкрепил в нем это убеждение. «А, от жены. Наконец-то!» — радостно вскричал он, принимая письмо, которое стряпчий поспешил по приезду ему передать. Пробежав его, он сказал окружающим, что княгиня все

жалуется на нездоровье, но за границу без него ехать не соглашается.

Впрочем, невзирая на неприятную вестъ, день прошел очень оживленно и весело; гости гуляли, катались в экипажах по парку и в лодках с песенниками по широкой красивой реке, близ которой возвышался княжеский дом. Любезный хозяин всех угощал на славу. Еще до ужина многие были пьяны, и дамы разошлись по своим комнатам тотчас после вечернего чая, чтоб не мешать кавалерам веселиться напропалую. После ужина, за исключением пяти-шести человек, нагостившихся посетителей пришлось разводить и даже разносить по комнатам с приготовленными постелями.

Стряпчий пил в меру, но от наблюдений своих за Курлятьевым должен был волей-неволей отказаться. Под конец вечера князь увел своего молодого приятеля в кабинет, где собрались почетнейшие из гостей, предводитель дворянства, вице-губернатор, и туда им подали кушать отдельно от остальной компании, в которой господин Корнилович, к величайшей своей обиде и досаде, очутился из порядочных людей совершенно один. Ни с кем из грубых безобразников, окружавших его, ему не хотелось разговаривать, все они ему были так противны, что он вышел из-за стола задолго до конца ужина и приказал лакею проводить себя до приготовленной для него комнаты на втором этаже.

Улегся он спать в самом скверном настроении и проклиная судьбу, одарившую его утонченными вкусами и страстью ко всему изящному, забыв при этом поставить его в условия, благоприятные для удовлетворения таких потребностей. Вот этот Курлятьев, например, ведь только собой красивее его, а умом и воспитанием куда ниже, а между тем благодаря тому, что он старого знатного рода и что у него около пяти тысяч душ крестьян, князь Дульский считает его себе равным... даже делится с ним женой... а на него, Корниловича, потому что он беден и пробивается в люди службой, эти тунеядцы бары смотрят свысока, почти как на лакея. Но, дай срок, будет и на его улице праздник; наступит минута, когда он будет в чине, в орденах, со значением в административном мире, и тогда он отомстит за все вынесенные унижения. Попадись ему только тогда в лапы такой барин, как этот Курлятьев, уж он над ним натешится, за все заплатит, голубчик, отзовутся на нем оскорбления и пренебрежение, которыми ему подобные позволяют себе осыпать человека только потому, что он сын бедного хуторянина, вылезшего в дворяне из однодворцев.

Мысли, роившиеся в голове стряпчего, были довольно мрачного свойства, и среди потерявшей всякий человеческий образ компании он вправе был считать себя вполне трезвым, тем не менее княжеское вино, даже выпитое в ничтожном количестве, произвело свое действие; он заснул, как убитый, и проспал бы долго, если б не шум, поднявшийся в доме часу в девятом утра. Его разбудил гул голосов, беготня по коридору, хлопанье дверями и сдержанные восклицания толпы, собравшейся во дворе, под окнами.

Спрыгнуть с постели, накинуть на себя халат и выглянуть за дверь было для стряпчего делом одной минуты.

— Что случилось? — спросил он у пробежавшего мимо казака, хватая его за плечо.

— Князь скончался, — выпалил мальчишка, вырываясь и улепетывая дальше.

Корнилович поспешил закончить свой туалет и выйти в большую залу, где гости, внезапно отрезвленные роковым известием, собравшись кучками, толковали о случившемся, таинственно понижая голос, со вздохами и горестными минами.

— Совсем был вчера здоров и вдруг!

— Апоплексия, говорят, удар.

— Несомненно. Человек был тучный.

— Сколько раз советовал я ему делать побольше моцион!

— Крепыш был; таким всегда кажется, что они два века проживут.

— Иван Николаевич хотел кровь пустить, да уже поздно было.

Прислушиваясь с живейшим интересом к этим разговорам, стряпчий вдруг вспомнил про Курлятьева. Как отнесся он к известию о катастрофе? При теперешнем его настроении вряд ли обрадуется он неожиданному освобождению старой возлюбленной от супружеского ига.

— А где господин Курлятьев? — спросил он.

— Да спит еще, верно. Ему отвели комнату рядом с бильярдной, в нижнем этаже, окнами в сад, там тихо.

Вошла заменявшая хозяйку дама, бледная, с распухшими глазами, без румян и без белил, в ночном чепце.

— Бедная Вера! Каково ей это будет узнать? — томно проговорила она, обращаясь к Корниловичу.

— А кто последний видел князя живым? — спросил стряпчий.

— Не знаю, я задолго до ужина с ним простилась. Он проводил меня до дверей моей комнаты, просил распоря-

жаться в доме, как у себя, благодарил меня, несколько раз поцеловал мою руку и вдруг! Бедный, бедный, как мне его жаль! Такой отличный был человек!

Она поднесла платок к глазам, но Корнилович продолжал свой допрос:

— Как же это камердинер не слышал, когда князю сделалось дурно?

— Князь не любил, чтоб камердинер спал от него близко. Когда утром Павел Григорьевич вошел, его барин давно уж был мертв. И нисколько не изменился. Я его видела. Хотите его посмотреть? Он совсем не страшный, точно спит.

Презрительно усмехнувшись над глупостью бабенки, допущавшей, что стряпчий по уголовным делам мог бояться мертвых, Корнилович последовал за нею на половину князя.

В длинном светлом коридоре, разделявшем дом на две неравные половины, их догнали: судья, доктор, городничий, исправник и писарь из княжеской канторы с пером за ухом и бумагой в руках.

— Алексей Иванович, мы только что хотели за вами посылать, протоколец надо составить.

— Разумеется, как же иначе, — согласился стряпчий. — Ведь тела не трогали с места, я надеюсь.

— Никто не трогал, — отвечал исправник, — я первый узнал о несчастье и, когда убедился, что помочь уж ничем нельзя, строго-настрого запретил дотрагиваться до тела.

Немного дальше к ним присоединился Курлятьев с таким расстроенным лицом и ввалившимся от душевного потрясения глазами, что сомневаться в его печали по скончавшемуся внезапно приятелю было бы трудно. Ему больших усилий стоило сдерживать рыдания, рвущиеся у него из груди, взгляд у него был блуждающий, и он никого не узнавал. Одним словом, так удручен был человек, что Корнилович воспользовался случаем подойти к нему поближе, фамильярно обнял его за талию и, скорчив печальную физиономию, стал нашептывать ему банальные утешения, вроде того что «все мы там будем, лучше умереть внезапно, чем долго мучиться», и тому подобное.

Курлятьев как будто ничего не слышал; побелевшие его губы судорожно сжимались под усами, и он продолжал блуждать взглядом по сторонам, ни на чем не останавливаясь.

Очень странно все это показалось стряпчему. Впоследствии Корнилович (любивший при случае предаваться психическим анализам) сознавался, что уже с этой минуты у него запало в голову подозрение, от которого он потом отказаться не мог.

Когда он вошел в большую спальню, обитую штофом и коврами, первым движением его было взглянуть на широкую кровать с откинутыми занавесками балдахина в полной уверенности увидеть на ней покойника, но, кроме приготовленной для сна постели с взбитыми подушками и свежим, несмятым бельем, он ничего на этой кровати не увидел.

— Разве князь не в постели умер? — спросил он, поворачиваясь к своим спутникам.

Ему молча указали на глубокое окно, с приподнятой наполовину шторой, выходившее в благоухающий цветник. На мягком кресле с полукруглой низкой спинкой и золочеными ножками, опустив голову на грудь, сидел мертвый князь в том самом праздничном наряде, в котором все его видели накануне, в светлом бархатном кафтане, атласном кюлите, шелковых чулках и башмаках с золотыми пряжками. Гладко выбритый подбородок его утопал в дорогих кружевах пышного жабо. Глаза были закрыты. Одна рука беспомощно свесилась с кресла, другой он опирался о золоченую ручку, точно собирался встать, да не мог. Густые, слегка напудренные волосы как вышли из искусных рук парикмахера, перед ужином, когда князь ушел в уборную, чтоб немножко отдохнуть и поправить свой туалет, так и остались с симметрично расположенными поперечными локонами в три ряда, Удар, по всему видно, хватил его прямо в мозг, и смерть была внезапная. Никто не слышал ни стука, ни стога. Когда утром в обычный час (князь проснулся рано) камердинер вошел в спальню, все уж давно было кончено, тело окончено в той самой позе, в которой оно находилось теперь.

Невольно, точно движимый посторонней силой, перевел стряпчий глаза с покойника на Курлятьева. Молодой человек как будто молился. Не обращая ни на что внимания, ничего не видя и не слыша из того, что происходит вокруг него, он весь ушел в самого себя и, сложив руки, закрыв глаза, беззвучно шевелил губами. В дверях толпа дворовых молча крестилась, не спуская испуганных глаз с мертвеца. Весенний ветерок дышал ароматами распускающихся цветов в полурастворенное окно, слегка надувая шелковую зеленую штору. Утро было ясное, солнечное и предвещало прекрасный день. Со двора сдержанный гул голосов прибывающей постепенно толпы каждую минуту усиливался и, как отдаленный рев бушующего моря, достигал сюда все явственнее и явственнее.

Курлятьев точно замер на том месте у стены, у которой он, как вкопанный, остановился, переступив порог спальни.

По временам он совсем терял сознание, и, как во сне, его уносило далеко отсюда, то в Петербург, в тот дом, где у него было свидание с княгиней Верой, то на террасу к Магдалине. Он слышал то горькие упреки первой, то умоляющий голос второй: «Я не могу быть ничьей женой, я себе не принадлежу... забудьте меня и не пытайтесь вырвать у меня мою тайну, я скорее умру, чем выдам ее»... Вставало перед ним бледное лицо с полными любви глазами, пристально устремленными на него. Ни на секунду не отрывала она от него взгляда, точно упиться хотела его образом, запечатлеть его навсегда в душе. Как ему было больно и сладко в одно и то же время! Все, что потом он видел и слышал, происходило точно вне времени и пространства, скользя по его нервам, не проникая ни в ум, ни в сердце. Поездка сюда, болтовня Корниловича во время пути, день, проведенный в шумном, оживленном обществе, все это казалось чем-то далеким и неясным, точно он не сам это испытывал, а кто-то другой. Даже принудить себя прочесть полученное вчера письмо он был не в силах. Оно лежало нераспечатанное в дорожном несессере. Странное нравственное оцепенение длится и до сих пор. Оно не рассеялось и сном с грезами, в тысячу раз реальнее действительности. Его разбудило известие о внезапной смерти князя, и он несколько не удивился. Все возможно, и самое неожиданное не страннее того, что происходит в его душе. Ему стало только грустно, что он никогда не увидит больше князя живым, не покается ему в содеянных против него преступлениях, не выпросит у него прощения. И мороз пробегал у него по коже от жуткого и тоскливого страха при мысли, что человек этот за несколько минут до смерти пожимал ему руку как другу, тогда как он должен был плюнуть ему в глаза как предателю и врагу... А там опять перед ним вставал образ Магдалины, все такой же грустной и с отчаянием во взгляде. И казалось ему, что есть какая-то связь между внезапной смертью князя и его надеждой преодолеть все препятствия, чтоб овладеть обожаемой девушкой; как будто вместе с князем умерла и надежда эта. Мертвящим холодом застывало у него сердце при этой мысли, но гнет, надавливающий на него, был слишком могуч, чтоб можно было даже пытаться его сбросить. Точно огромная скала нависла над ним, грозя каждое мгновение опуститься и раздавить его, как былинку, как невидимый простым глазом атом. Бежать некуда, надо покориться. И спасения ждать неоткуда... Уж скорее бы, скорее конец! Там, в другом мире, Магдалина будет к нему ближе, чем здесь...

Томительность ожидания, возрастая с ужасающей быстротой, превратилась наконец в такую нравственную пытку, перед которой все измышления инквизиции казались пустяками.

А между тем окружавшие его люди, от которых он был так же далек душой, как и они от него, продолжали дело, ради которого сюда пришли.

Кто-то заметил, что пора бы обрядить покойника и послать за попом. Сколько уж часов прошло с тех пор, как душа его отлетела, а над телом не произведено никаких христианских обрядов.

— Надо сначала протокол составить, — заметил исправник и кивнул писарю. Тот подошел к столу, заставленному туалетными принадлежностями, отодвинул банки и флаконы, положил на очищенное место чистую бумагу, поставил чернильницу, поданную ему одним из лакеев, уселся, вынул из-за уха перо и приготовился писать, что прикажут.

— Сейчас приступим, — сказал Корнилович, не спуская внимательного взгляда с покойника. — Но прежде мне бы хотелось задать несколько вопросов камердинеру.

Павел Григорьев, худощавый благообразный старик, с трясущейся от волнения и горя нижнею челюстью, в белоснежном жабо и напудренном парике, отделился от толпы в дверях.

— Разве князь имел привычку один раздеваться на ночь, что вы легли спать, не дождавшись его зова? — начал официальным тоном свой допрос стряпчий.

— Они изволили мне сказать, чтоб я их не дожидался, что они позовут Петрушку, когда надо будет, — отвечал камердинер.

— Петрушка тут?

— Тут-с. — отвечал дрожащим голосом молодой малый, в ливрейном фраке.

— Тебя князь не звал?

— Никак нет-с. Мне Павел Григорич ничего не сказали, я думал — они князя раздели.

Обстоятельство разъяснялось очень просто. Но стряпчий этим не удовольствовался.

— У князя была привычка сидеть на этом кресле перед сном или он это сделал сегодня в первый раз? — спросил он.

Оба, и старший камердинер, и младший, объявили, что это было любимое место князя, в кресле, перед окном. А окно он не приказал запирать, жалуясь на духоту.

— Прилив крови, причинивший смерть, дал себя, вероятно, чувствовать раньше, когда князь был еще на ногах, и потому он искал прохлады, — вставил доктор.

Предложив еще несколько вопросов, Корнилович приступил к составлению протокола. Но, диктуя писарю отрывистыми, короткими фразами, мозг его не переставал работать, а глаза впиваться в мертвеца, точно ожидая от него разъяснения мучившей его загадки. Не давала ему также покоя мысль о Курлятьеве. Все в молодом человеке казалось ему подозрительным, и неподвижность его, и сосредоточенная молчаливость. «Что он этим хочет доказать? Почему не держит себя, как все? — мелькал в уме вопрос, точно навеваемый посторонней силой. — Можно подумать, что от отчаяния он ума лишился, точно князь ему был отцом родным... Да и смерть отца не поразила бы его так, как это... Не все ли ему равно, жив или мертв муж его бывшей любовницы?»...

И вдруг, переводя взгляд с Курлятьева на мертвое тело, он заметил то, чего не было до тех пор: красное пятно на шее, под нижним напудренным локоном. Пятна этого не было за секунду перед тем, оно только что выступило и расплывалось все шире и шире, с поразительной быстротой.

— Князь убит, — объявил во всеуслышание стряпчий. — Требую безотлагательного вскрытия.

Заявление это заставило всех присутствующих с криком ужаса рвануться к трупу, — всех, за исключением Курлятьева, который, ни на кого не глядя, медленными шагами вышел из комнаты.

Никто на это не обратил внимания, кроме Корниловича.

Вскрытие обнаружило огнестрельную рану в затылке. Князь был застрелен в упор, вероятно, из окна. Пулю нашли в мозгу. Убийца целил метко, смерть произошла мгновенно. Обшарили весь дом, и, однако, такого пистолета, к которому подходила бы найденная пуля, не нашлось.

Но зато в саду, под самым окном, где скончался князь, наткнулись в кустах на пистолет, на который стряпчий накинулся с жадностью, как коршун на добычу, а при обыске комнат, где гости провели ночь, ему удалось сделать другую находку первостатейной важности: он напал у Курлятьева на запечатанное письмо, спрятанное в дорожном несессере, и, незаметно от всех, сунув его в карман, заперся в своей горенке, чтоб ознакомиться с его содержанием.

Минут через десять, стряпчий снова появился в кабинете, где уездные власти терялись в догадках относительно неожиданного открытия, и твердым, громким голосом объ-

явил, что имеет основание подозревать в убийстве князя Дульского господина Курлятьева и уже сделал распоряжение арестовать его.

IX

Губернатор так растерялся при известии о случившемся в имении князя Дульского, что первой его мыслью было: не засадить ли ретивого стряпчего в отделение умалишенных при городской больнице за неуместную распорядительность?

— Обвинить такую личность, как Курлятьев, в убийстве и обойтись с ним, как с последним мужиком, попавшим под подозрение! Хороши также и представители уездной власти, исправник, господин городничий! — горячился начальник края, в волнении прохаживаясь по кабинету. — У них на глазах производится такое гнусное самоуправство, какой-то чиновничка, мальчишка, позволяет себе по первому подозрению схватить дворянина, бесчестить его, не выслушав его оправданий, а они молчат, глазами хлопают! Это черт знает, что такое! Все эти господа поплатятся за свою трусость и ненаходчивость. Я им покажу! Узнают они меня!.. Вы, разумеется, приказали освободить господина Курлятьева? — спросил он отрывисто, останавливаясь перед прокурором, старичком с добродушной физиономией, который как сел на указанное ему кресло, так и не трогался с места, терпеливо выслушивая бурный поток негодования, которым встретили сообщенную им новость.

— Нет, ваше превосходительство, обвиняемый все еще в остроге, — спокойно отвечал он на заданный ему вопрос.

Не будь его собеседник так возбужден, спокойствие это навело бы его на подозрение: только человек, твердо проникнутый убеждением, что ему стоит сказать одно слово, чтоб оправдаться, может так благодушно выслушивать сыплющиеся на него упреки.

— В остроге? С арестантами? — вскричал губернатор.

— Где же быть убийце, как не в остроге, ваше превосходительство? Но с арестантами посадить его было бы опасно. Он заключен в секретную.

— Неужели и вы тоже думаете, что Курлятьев убил князя?

— Если вы хотите знать мое внутреннее убеждение, ваше превосходительство...

— Разумеется.

— В таком случае я вам скажу, что князя убил Курлятьев, больше некому, да и сам он сознался.

— Как это сознался?

— Да очень просто. На обвинение он ни единым словом не протестовал и отнесся к аресту спокойно.

Губернатор ничего не ответил и молча начал ходить взад и вперед по комнате, ероша волосы. Курлятьева привезли в город к полудню, но доклад стряпчего своему непосредственному начальству длился добрых два часа, и, когда Дмитрий Васильевич явился к губернатору, его превосходительство готовился к послеобеденному отдыху. Но прокурор так настаивал на необходимости немедленного свидания по делу службы, что его ввели в просторный кабинет с окнами в густой сад, а минут через пять явился и хозяин губернии в халате, без парика и с кислой физиономией человека, которого заставляют нарушить одну из самых сладких привычек... и, чтоб выслушать что-нибудь неприятное, без сомнения.

Но действительность превзошла всякие ожидания; страшная весть, привезенная прокурором, так поразила его превосходительство, что долго он не мог прийти в себя от ужаса и изумления.

Да и было чему ужасаться. Не дальше как дня три тому назад у него обедал этот самый блестящий столичный слеток, занимал мужчин рассказами про Петербург, любезничал с дамами, сыпал каламбурами, смешил остроумными анекдотами, и вдруг этот жизнерадостный юноша, для которого вся жизнь была до сих пор нескончаемым праздником любви и веселья, теперь в остроге, над ним тяготеет обвинение такое тяжелое, что даже полнейшее оправдание не смоет с него роковой печати подозрения. Чем больше думал об этом губернатор, тем сильнее кипела в нем злобная досада на стряпчего. Вот уж выказал ретивость-то нехстати!

— Во всяком случае, — начал он прерванную беседу с того самого слова, на котором оборвал ее, — если даже есть и улики, то это еще не доказательство... Да и улики-то какие! — продолжал он с возрастающим одушевлением. — Молчание этого несчастного! Да ведь это, сударь мой, можно всячески понимать, это зависит от нрава человека... Иной, если на него обрушивается такая гнусная клевета, остервенится от бешенства и в ярости плюх надает обвинителю, да-с, а другого так это поразит, что он ни слова не будет в состоянии вымолвить... Ведь ваш этот стряпчий, — продолжал с гримасой гадливости сановник, — разве он

может понимать чувства благородного человека? Он привык все с мужиками... которых и в рыло тычут, и на площадях плетью секут... Молчал! Да что ж ему было говорить? Он считал унижительным оправдываться, несчастный молодой человек! Это так понятно... но, разумеется, не такому лицу, как ваш Корнилович... Всегда мне он не нравился... выскочка... нахал... мнит себя всех умнее и желает вылезти в люди такими вот гнусными выходками, как сегодня с Курлятьевым... Ну, скажите, почему не направил он своих подозрений, своего песьего чутья на другого кого-нибудь? Точно кроме Курлятьева уж и некому было убить князя! Холопов полон двор, деревня в двух шагах, наконец, кто нам поручится, что все разбойники в уезде перевелись?.. Нет, этому шелкоперу понадобилось над барином потешить свою подлую душу!.. Я не понимаю, Дмитрий Васильевич, для чего держите вы у себя такого опасного сумасброда? Вот и дожили до беды! Вечно у него какие-то дурацкие прожекты в голове, всех-то он подозревает, вечно суется не в свое дело... Зачем такого держать, не понимаю!

— Да ведь не я выбираю себе стряпчих, ваше превосходительство, их мне назначают...

— Неужто ж не было возможности с самого начала его как-нибудь сплавить, — продолжал брюзжать губернатор, точно с умыслом отдаляясь от главного предмета беседы.

— Трудно, ваше превосходительство, такого сплавить, — отвечал прокурор, — умен бестия, на законах собаку съел, на работу так зол, что один справляется с тем, с чем и пятерым не справиться... А уж про юркость его да пронырство и говорить нечего, нет такого плута, которого бы он не обошел; нюх у него преступления открывать, как у хорошей гончей собаки на зайца.

— Уж и нюх! Просто отличиться желает. Метит в прокуроры скорее выскочить.

— И выскочит.

— Если шеи себе не сломит... Но, я вижу, он вас совсем очаровал, и вы, кажется, вполне разделяете его мнение...

— На счет Курлятьева? Вполне. Позвольте мне высказать вашему превосходительству все обстоятельства дела...

— С этого надо было начать, пожалуйста.

Прокурор усмехнулся. Но в волнении своем начальник края не заметил этой усмешки и, опустившись в кресло, прибавил деловым тоном:

— Я вас слушаю.

— Господин Курлятьев был довольно долго, год или два, в амурной связи с княгиней Дульской, — начал Ва-

сильей Дмитриевич, понюхав табаку из большой золотой табакерки.

— Так ведь это Бог знает когда было, а теперь... Какая ему была надобность убивать князя именно теперь, когда связь эта уж давно кончилась? — вскричал губернатор. — Вот и видно, что у вашего Корниловича ум за разум зашел!.. Выкопал какую-то старую историю, про которую все забыли, и выезжает на ней. Глупо. Курлятьев влюблен в Бахтерину и собирается на ней жениться, вот вам, если хотите знать.

— Точно так-с, ваше превосходительство. Нам с Корниловичем и про это известно. Он давно изучает это дело...

— С какою целью? Неужто ж этот ваш ясновидящий предвидел и то, что Курлятьев застрелит князя? Это интересно! Ха, ха, ха!

— Нет, ваше превосходительство, этого он предвидеть не мог, он по другому делу следил за ним и за девицей Бахтериной.

— За этой-то для чего было следить? Девица живет при матери, богатейшая невеста в губернии, воспитания отличного... Да еще красавица вдобавок!.. Я и сам бы на месте Курлятьева влюбился в нее и пожелал бы назвать ее своей женой.

— Она ему отказала.

— Когда? Откуда вы это знаете?

— Третьего дня вечером.

— Вот как! Но почему же? Ведь он ей, кажется, нравился?

— Нравился, ваше превосходительство, но ей запрещено выходить замуж.

— Запрещено?... Кем же?

Василий Дмитриевич опять прибег к табакерке, чтоб скрыть торжество, сверкнувшее в его глазах.

— Раскольничьим попом Симионом, — развязно произнес он, исподлобья поглядывая на своего собеседника и наслаждаясь его изумлением.

Губернатор даже подпрыгнул на своем кресле:

— Что вы говорите?!

— Сушью правду, ваше превосходительство. Корнилович надеется в скором времени настолько подготовить все данные по этому делу, чтоб можно было и следствие начать...

— Поздравляю! Из одного скандала в другой! Да он таким образом весь город оплетет, в каждом доме убийц и сектантов разыщет, ведь это же срам, поймите, срам! Ему

что? Если даже все и вздором окончится, в ответе я буду, начальник губернии, за то, что допустил такое безобразие, а ему, как с гуся вода.

— Он опрометчиво не поступает, ваше превосходительство, ни разу еще не ошибался до сих пор. Нюх у него на это, я вам говорю. Извольте припомнить дело Аносова, Мингалевой, Федюхина...

— Эка хватили! Аносов беглый солдат, Мингалева распутная девка, а Федюхин нищий! Такого сорта люди перед убийством из-за гроша не остановятся, а ведь тут дворянин, старинного рода, бывший гвардеец, богатый и пре-красной души молодой человек...

— Мы его душу не знаем, ваше превосходительство. Вчера, при обыске, у него найдено письмо, которое свидетельствует не в пользу его сердца, а еще менее о том, как он понимает честь.

— Какое письмо? Покажите.

— Оно при следствии. Документ первой важности. Я читал его уже пришитым к делу, которое Корнилович хранит у себя.

Губернатор усмехнулся.

— Боится, чтоб из палаты не выкрали?

— Ограждает себя на всякий случай, ваше превосходительство. Всего можно ждать. У Курлятьева и денег много, да и связи есть, здесь и в Петербурге...

— Да, да, все это крайне неприятно. Ну, случись это в прошлом году, когда покойный император был жив, но теперь...

— Князь Дульский попал в опалу при покойном царе, а не при нынешнем...

— Что же я говорю? Именно потому-то и неприятно... Теперешний царь знает князя как любимца своей бабки, великой Екатерины... и, без сомнения, в самом непродолжительном времени с него сняли бы запрещение жить в столице... Он сам мне это говорил. На доброжелательство к нему молодого государя он так рассчитывал, что говорил о своем отъезде в Москву как о решенном деле... Кто знает, ему, может быть, предложили бы снова поступить на службу, доверили бы ему важный пост, сделали бы его министром, чего доброго!

— Вот именно поэтому-то мы и решили действовать энергично, ваше превосходительство. Гнусное злодеяние, совершенное над ним, скрыть невозможно, оно дойдет до государя, и, если, как и вы полагаете, царь возлагал на князя надежды, весть о его смерти не может не огорчить

его величества. Он захочет узнать, нашли ли убийцу. Как же тут щадить Курлятьева, когда против него такие подавляющие улики?

— Но какие же еще у вас улики? Вы говорили про какое-то письмо... От кого оно?

— Письмо преинтересное, ваше превосходительство. Из него явствует как нельзя лучше, что причиной опалы князя три года тому назад был не кто иной, как Курлятьев. Он сделал донос покойному императору на мужа своей любовницы.

— Что?!

Прокурор повторил свое заявление. Наступило молчание. Начальник губернии был так поражен, что не знал, что сказать.

Подождав с минуту, Василий Дмитриевич продолжал:

— Письмо, которое у нас в руках, собственноручно написано княгиней Дульской. Она упрекает своего бывшего возлюбленного в том, что он ее совратил, заставил забыть честь и совесть, нарушить клятву, данную перед алтарем благороднейшему из супругов, и, наконец в довершении всего оклеветал его перед покойным государем. Письмо заканчивается такими словами: «Императору все это будет известно. Его благородное сердце содрогнется перед таким гнусным предательством, и невинной жертве вашего коварства дано будет удовлетворение. Клянусь вам, что я ни перед чем не отступлю, чтоб этого достигнуть, с радостью пожертвую моим добрым именем и подвергнусь позору, чтоб снять с души своей тяжкий гнет сознания моего сообщничества с вами».

— В письме так именно и сказано?

— Слово в слово, ваше превосходительство. Я нарочно запомнил, чтоб в точности вам передать.

Почтенный прокурор мог бы прибавить к этому, что у него в кармане записка, на которой рукой стряпчего написаны эти слова, точный перевод с французского подлинника. Корнилович передал эту записку своему начальнику, чтоб этот последний затвердил ее наизусть перед свиданием с губернатором.

О да, в недостатке предусмотрительности губернского стряпчего нельзя было упрекнуть!

Значение этого последнего удара было решительное, и сражение между вельможей, защитником дворянских привилегий, и выбивающимся в люди юным проходимцем было выиграно этим последним.

— Какой, однако, мерзавец этот Курлятьев, — вымолвил озадаченный начальник края.

— Ваше превосходительство, да с кого же ему было пример брать, у кого добродетели учиться? Фамилия эта достаточно здесь известна. Отец его, как уличенный масон и сектант, в доме для умалишенных окончил свою жизнь. Сестры, забыв девическую стыдливость, бежали, одна с разбойником, другая в раскольничью обитель, мать на всю губернию прославилась алчностью, жестокостью и самодурством...

— Правда, правда! Но княгиня-то Дульская! Кто бы мог подумать? Олицетворенная грация, кротость и чистота!

— Несчастливая она женщина, ваше превосходительство, вот что про нее можно сказать. И достойна скорее сожаления, чем осуждения. Надо так полагать, что ей случайно стало известно про гнусный поступок Курлятьева против ее мужа и что она именно с этой минуты и возненавидела его. От ужаса она даже как будто в уме рехнулась. Из письма ее можно заключить также и то, что она подпала под влияние какой-то шаралатанки из тех, что называют себя просветленными.

— Иллюминаты, — поправил губернатор.

— Именно так, иллюминаты, ваше превосходительство.

— Очень может быть, очень может быть, — сказал губернатор. — Секта эта из самых опасных и недаром преследуется во всех благоустроенных государствах... Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что иллюминаты окончательно сбили с толку эту несчастную и что намерение ее во всем открыться мужу, будь он только жив, не осталось бы пустой угрозой с ее стороны. Ну а тогда!..

— Да, конечно, князь не пощадил бы своего злодея. И, разумеется, если взглянуть на дело с этой стороны. Я ведь об этом и понятия не имел, — раздумчиво произнес губернатор.

— Я знал, что вы измените ваш взгляд на действия господина губернского стряпчего, когда поближе ознакомитесь с делом, ваше превосходительство. К следствию уже приступлено, — продолжал Василий Дмитриевич, поднимаясь с места, — сейчас, прямо от вашего превосходительства, еду в острог присутствовать при допросе обвиняемого. В новой обстановке, — прибавил он со вздохом, — авось добьемся от него полного признания.

Вздыхнул в свою очередь и губернатор.

— Дай-то Бог, дай-то Бог! Это будет признак раскаяния с его стороны и докажет, что сердце его не совсем испорчено.

— Во всяком случае песенка его уже спета, ваше превосходительство.

— Так-то так, а все же, знаете, утешительно думать, что если на этом свете ему ничего хорошего нельзя ждать, то хоть в будущей жизни ему все это зачтется.

— Правда, правда, ваше превосходительство.

На этом они и расстались. Прокурор поехал в острог, где уж давно ожидал его прибытия стряпчий, а начальник губернии поспешил на половину своей супруги, чтоб поделиться с нею впечатлениями и потолковать о животрепещущей новости, успевшей уже облететь весь город.

Не было такого дома, большого или маленького, в котором не толковали бы о князе Дульском и о его убийце.

Если Корнилович рассчитывал на суровость предоставленных ему законом прав над обвиняемым, чтоб сломить в этом последнем то, что он называл глупым и бессмысленным упорством, он ошибся. Курлятьев и здесь, в смрадной подземной келье, с крошечным решетчатым оконцем, скупо пропускающим дневной свет, пребывал все в том же состоянии нравственного столбняка, в котором он находился в момент своего ареста и после, во время пути.

Все то же окаменевшее в скорбном выражении лицо с задумчивым взглядом увидел перед собою и прокурор, когда заключенного, ввиду его исключительного общественного положения, ввели для допроса не в грязную канцелярию с засиженными мухами стенами и липкими от грязи столами и скамейками, а в квартиру смотрителя. Тут, в горнице с низким потолком и мебелью, обитой черной кожей, тоже было неказисто, но оконцы отворены были на площадь, густо поросшую травой, переливавшейся изумрудными оттенками в лучах заходящего солнца; сюда долетали, среди отдаленного гула раскинувшегося в полуверсте города, мычание коров, пасущихся неподалеку, протяжные крики перелетных птиц, виднелось синее бездонное небо со скользящими по нему легкими облачками, и в первый раз с той минуты, как Курлятьев очутился в заколдованном кругу чуждой силы, превратившей его в арестанта, ощутил он потребность отдать себе отчет в том, что так внезапно, точно по мановению волшебного жезла, перевернуло вверх дном его жизнь. Точно невидимый дух какой-то вынул из него волю, ум и сердце, все то, чем может страдать человек, сознавать страдание и бороться против него. До этой минуты он оставался равнодушен ко всему внешнему, и взгляды, полные ужаса и сожаления, которыми обдавали его со всех сторон те самые люди, которые за минуту перед

тем относились к нему с заискивающей любезностью и почтительным вниманием, не возбуждали в нем ни обиды, ни боли.

Оправдываться, заставить смолкнуть наглеца, бросившего ему прямо в лицо с самоуверенностью фанатика обвинение в убийстве, ему и в голову не приходило. Пусть говорит, что хочет, не все ли равно? То, что поднялось из глубины его души, при виде мертвого князя и с умопомрачительной быстротой овладело всем его существом, было так велико и могуче, что все остальное казалось ничтожно и смешно...

Проезжая арестантом по той же дороге, по которой он ехал накануне совсем другим человеком, с непонятными ему теперь печальями и надеждами, он спрашивал себя с недоумением: как мог он сокрушаться об отказе Магдалины сделаться его женой? Разве это так нужно? Разве без этого нельзя спастись, достигнуть цели... той конечной цели, к которой рвется его сердце и к которой он неуклонно будет идти, в какие бы обстоятельства ни поставила его судьба.

Он и теперь ее любит, эту чистую и милую девушку, но совсем иначе, чем прежде, осмысленнее, прочнее, глубже. Он любит ее душу. А душой они всегда будут вместе, как далеко друг от друга ни закинула бы их судьба. Думать один о другом, мечтать о соединении там, где нет ни плача, ни скорби, а жизнь бесконечная, никто помешать им не может...

Нет больше между ними ни тайн, ни недоразумений. Она, без сомнения, раньше его почувствовала в себе ту силу, которой он теперь только вполне отдался, и она повинуется ей. Это так понятно. Иначе и поступить нельзя. Противиться ей, этой силе, все равно что сказать смерти, когда она придет: иди прочь, я не хочу умирать, или грому, чтоб он перестал греметь.

В природе ничего не изменилось; погода была такая же прелестная, как и вчера, солнце так же ярко светило, пахло цветами и обдавало прохладой под сенью зеленой листвы в лесу. Все было по-прежнему, только люди изменились.

— Вы застрелили князя Дульского? — спросил прокурор. Обвиняемый поднял на своего судью недоумевающий взгляд.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — произнес он спокойно. — Я много причинил зла князю, и мне очень жаль, что он умер раньше, чем я покаялся перед ним.

— Не отпирайтесь! — вскричал стряпчий. — Теперь уже поздно, — прибавил он еще грознее, не обращая вни-

мания на недовольную гримасу своего начальника и на то, как, с досадой покачивая головой, он указывал ему взглядом на писаря, записывавшего допрос у другого окна в той же комнате.

Курлятьев пожал плечами.

— Узнать истину никогда не поздно, — заявил он, не меняя тона.

— Против вас очень тяжелые улики, — начал прокурор. — Это письмо...

— Я его не читал, — объявил Курлятьев, мельком взглянув на письмо, пришитое к делу, которое ему показывали.

— Потому что вам было известно его содержание, — подхватил стряпчий.

Обвиняемый молча на него взглянул и пожал плечами.

— Но почему же вы его не читали? — спросил прокурор.

И на это Курлятьев не ответил ни слова.

Раскрывать душу перед этими людьми! Говорить про свою любовь к Магдалине! Объяснять им, в каком настроении он находился, когда ему подали это письмо, да разве это возможно?! И кто же это поймет? Есть мгновения, за которые не жалко заплатить жизнью. Такие именно мгновения переживал он вчера, в ушах его еще звенел ее голос, перед глазами стоял ее образ, как живой, с полным беззаветной нежности к нему взглядом... Как ножом, резанул его по сердцу знакомый почерк на конверте, это вещественное доказательство его заблуждений, слепоты, безумной преступности... Будь он один, письмо это было бы разорвано в мелкие клочки и по ветру рассеяно... Он сунул его в карман, чтоб сжечь, не читая... А потом забыл. Но к чему все это говорить? Ни к чему, ни к чему, — твердил внутренний голос.

— Извольте выслушать это письмо, — объявил прокурор, не допускаящим возражений тоном.

И, наклонясь к синеватому с золотым обрезом мелко исписанному листку, он громко и внятно стал читать письмо княгини Веры, по временам прерывая чтение, чтоб взглянуть на Курлятьева, с которого стряпчий не спускал глаз.

Слушая первую половину письма, в котором княгиня описывала свое нравственное состояние и терзавшие ее угрызения совести, обвиняемый все ниже и ниже опускал голову, но, когда дошло до того места, где она упоминала о чудной женщине, вернувшей ей на некоторое время покой души, он встрепенулся, вспыхнул, и в его глазах заискрилась радость.

— Она!.. Она!.. Просветленная!.. — прошептал он в упоении.

Прокурор прервал чтение.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он.

— О читайте, читайте, Бога ради, дальше! — умоляюще протянул Курлятьев.

Но дальше княгиня обвиняла его в доносе.

— Неправда! — вскричал он, бледнея от негодования.

Прокурор со стряпчим переглянулись.

— Но почему же вы раньше не вывели ее из заблуждения? — спросил первый.

— Да я в первый раз об этом слышу, — возразил обвиняемый.

— Странно, — усмехнувшись, вставил стряпчий.

На замечание это Курлятьев не обратил внимания. Вспышка негодования, сорвавшая с его уст протест, угасла, как искра, задутая ветром. С прежним равнодушием отнесся он к вопросу о пистолете, который ему подали со словами:

— Признаете ли вы это оружие вашею собственностью?

— Да, это мой пистолет, — отвечал Курлятьев, мельком взглянув на него. — У меня таких пара.

— Для чего взяли вы его с собой?

— Это вы спросите у моего камердинера Прошки. Он укладывает мои вещи. Я в это не вмешиваюсь.

— Но вы приказали ему его уложить?

— Ничего я ему не приказывал. Человек этот служит при мне лет десять, он знает, что надо брать в дорогу.

— А вам известно, где найден этот пистолет?

— Нет. В чемодане, вероятно, а может быть, в дорожном несессере.

— Его нашли в кустах, под тем самым окном, в которое стреляли, чтоб убить князя.

Курлятьев поднял глаза на стряпчего, потом перевел их на прокурора и, помолчав в глубоком раздумье, произнес медленно, точно про себя, и устремив пристальный взгляд в пространство:

— Так вот почему! Ну да, не могли не подумать, что это его убил... понимаю теперь... все понимаю...

Он вымолвил это совсем спокойно как человек, удовлетворенный наконец разъяснением мучительной загадки.

— Значит вы сознаетесь? — подхватил стряпчий.

— В чем?

— Что вы застрелили князя?

— Нет, я в него не стрелял. Впрочем, — продолжал он с загадочной улыбкой, — не все ли равно! Значит, так

надо... Борются глупо, всеми нами управляет та же сила... Вот и Вера тоже... Как все это чудно!.. Какими путями доведет она нас до цели... это безразлично... Но я уж чувствую ее... этого пока достаточно...

Прокурора это бессвязное бормотание испугало. Почтенный Василий Дмитриевич пригнулся к уху стряпчего, чтоб ему шепнуть, кивая на Курлятьева:

— Он с ума сошел.

— Притворяется, — возразил Корнилович, с досадой пожимая плечами.

Однако допрашивать больше обвиняемого они не решились, и его увели в тюрьму, не добившись больше ни слова.

В ту ночь, первую, проведенную им в тюрьме, Курлятьев видел знаменательный сон. Вся его жизнь с того дня, как он стал себя помнить и отдавать себе отчет как в своих действиях, так и в действиях окружающих его и до последней минуты, когда его привели на допрос к прокурору, прошла перед ним панорамой, да так явственно и живо, что малейшая подробность неизгладимыми чертами запечатлелась в его мозгу. Он увидел своего отца, этого безмолвного мученика разлада между внутренним стремлением к самосовершенствованию, к свету и истине и внешним миром, переполненным ложью и мраком, понял душевные терзания этого искателя вечной правды и содрогнулся перед страданиями, безмолвно вынесенными этой чистой душой. Каждый день, каждый час приносили ему новые испытания, новую муку. Какой нестерпимою болью должно было отзываться в нем бесчеловечное обращение его жены с рабами, предоставленными слепым законом ее неограниченной власти! Каким живым упреком были для него их бледные, искаженные телесными и душевными муками лица! Каково было ему слышать стоны и крики истязуемых! А видеть печаль родных дочерей, их слезы, уныние и сознавать, что он ничем не может им помочь? Что может быть ужаснее этого!

Всплывали из далекого прошлого давно забытые сцены: сестра Катерина на коленях перед матерью, умоляющая за Марью... За себя она не осмелилась бы просить... Из поднятых глаз текут по бледному, скорбному лицу слезы... она так истомлена своим собственным горем, организм ее так потрясен грызущей ее день и ночь тоской по милому, что от каждого окрика матери она вздрагивает с ног до головы и лицо ее искажается от ужаса, но ради сестры она себя преодолевает и без надежды на успех идет навстречу оскорблениям, попрекам, горьким напоминаниям...

Он видел эту сцену наяву, а из детской, куда его поспешили увести, слышал гневный голос матери. От этого голоса, когда он раздавался в доме, челядь пряталась по углам, чтоб не попасться на глаза рассвирепевшей боярыне. Бывали примеры, что вместе с виновными и невинных посылали на расправу в конюшню за взгляд, за вздох, за слезу, подмеченную некстати. В доме на время воцарялась мертвая тишина, и длинные коридоры были пусты, но зато издали, через двор, доносились сюда раздирающие сердце стоны и визги. Няня Григорьевна, устремив скорбный взгляд на образ, шептала дрожащими губами молитву, а Феде делалось так жутко и грустно, так жалко тех, кого мучили, что он тихо всхлипывал, прижимаясь к ней и пряча головушку на ее груди...

Кошмары эти сменились другими, еще более тяжелыми. Сцены преследования, которым подвергся его отец по настоянию матери... (он это знал, недаром ездила она с жалобами к высокопоставленным личностям в Петербург, угощала обедами и одаривала чиновников, от которых зависела гибель ее мужа). Все это, как живое, вставало перед ним во всем своем гнусном безобразии. Он видел своего несчастного отца, изможденного постом, молитвой и нравственными муками, в ту минуту, когда полиция нагрянула к нему в дом для обыска, чтоб наложить святотатственную руку на его духовные сокровища, на книги и рукописи, к которым он иначе как с благоговейным трепетом не прикасался. Он видел его на допросе, потом в цепях на телеге, окруженной стражей, на пути в тот отдаленный город, где ждало его заключение с умалишенными. Он видел его одиноко умирающим на грязной койке, среди неистовых криков, воя и визгов его товарищей по заключению. Как он был кроток и спокоен среди искаженных от безумия и отчаяния лиц! Как был ясен его взгляд! Он и тут, как и всегда, постоянно молился за всех несчастных, за злодеев своих и за детей. Испуская свой чистый дух и переходя в вечность, его последняя мысль была о сыне...

«Просвети его, Господи, Царь Небесный! Направь на путь истины»... — взывал умирающий к разверзающемуся уже над ним небу...

Курлятьев проснулся.

С трудом проникая в крошечное решетчатое окно, белесоватый свет занимавшейся зари скупно освещал каморку, в которой он лежал на грубом холщовом мешке, набитом соломой. Он увидел позеленевшие от плесени стены, зем-

ляной пол с копошащимися насекомыми и глиняный кувшин с водой в углу.

Принимая это за продолжение грезы, Курлятьев протер глаза и приподнялся; но все пребывало в том же виде. Холодея от ужаса с ног до головы, он вспомнил о случившемся накануне, на него напало отчаяние, и холодный пот выступил на лбу.

Подушка его была еще мокра от пролитых слез во сне за других, а теперь сердце его содрогалось от ужаса за себя.

Вдруг как-то, точно наитием свыше, постиг он и измерил всю безвыходность своего положения, беспомощность и одиночество. Где был у него вчера разум? Почему дал он себя обвинить и опутать, ни знаком, ни словом не протестуя против чудовищной клеветы и насилия? Разумеется, его все теперь считают виновным. Иначе и быть не может, И сам бы он осудил, не задумываясь, кого угодно, по таким уликам... Что за роковая сила заставляла его молчать, когда надо было говорить, и говорить там, где следовало молчать?

Сила эта втолкнула его в пропасть, из которой нет выхода. Он погиб на всю жизнь. Когда он будет уверять на суде, что не он убил князя, никто ему не поверит. Чем объяснить это странное поведение перед трупом, отсутствие гнева и негодования при обвинении, как не удрученностью убийцы, терзаемого угрызениями совести? Кто же захочет поверить, что он иначе не мог поступать, что невидимая сила овладела его телом и душой до потери всякого самосознания, всякой воли, что он в течение целых суток даже и думать не мог, о чем хотел? Как чувствами его, так и помышлениями управляла все та же таинственная сила.

Она же и послала ему вещий сон, раскрывший ему глаза на то, чего он раньше не понимал. Эти злодеяния, эти слезы и кровь, которых он был безучастным свидетелем с раннего детства и которые лились для него, чтоб доставить ему больше денег, большую возможность предаваться дьявольским утехам, называемым светскими удовольствиями и земным счастьем, все эти мерзости вопиют против него к вечной истине и справедливости. Он должен все это искупить... За все и за всех пострадать — за сестер, за отца, за рабов, замученных его матерью. Да, это неизбежно. Чем больше углублялся он в эту мысль, тем яснее и неопровержимее она ему казалась.

И всего изумительнее то, что он уже давно это знает, а только забыл. Мирская суэта заглушила в нем предчувствие духа истины, но теперь, когда все случилось так, как ему было предсказано...

Он стал прислушиваться... Издалека раздавался голос. Сначала так глухо, что можно было принять его за шум ветра в дремучем лесу, но чем дальше, тем все явственнее и явственнее различал он слова, заглушаемые по временам, точно взрывами отдаленной бури.

— ...Ты был, как труп, из которого вынули душу... как слепец от рождения...

— О правда, правда! — прошептал он, падая на колени и простирая руки к невидимому духу.

— Но на тебя повеял дух истины...

— Верую, Господи! Помоги моему неверию! — вскричал он в восторге. — Никогда не забыть мне этой блаженной минуты просветления! Никогда не примириться с отсутствием духа! Всюду буду я искать его, и не найдет жаждущая моя душа ни в чем земном утехы, доколе не сделаюсь достойным слиться с Ним, проникнуться Им до мозга костей, уничтожиться в Нем всем моим существом, чтоб каждый мой вздох, каждое помышление, каждое слово и движение исходили от Него...

«Кто это говорит его устами? Чьи слова он повторяет?» — спрашивал он себя, с недоумением озираясь по сторонам.

Он поднялся с колен. Те же заплесневелые стены с ползающими гадами окружают его, ноги его стоят на том же земляном полу и у той же гнусной подстилки с грубой подушкой; сквозь железную решетку так же скупое, как и прежде, проникает свет, но как ему хорошо! Неземным блаженством полна его душа! Ни страха, ни сомнений нет больше в его сердце. Все ему теперь ясно, и он спокоен, как ребенок у груди матери. Он нашел путь к истине, и Тот, Кто его сюда привел, поведет его и дальше.

Он опустил на свою подстилку, оперся локтями на колени, опустил голову на ладони, закрыл глаза, и снова стали проходить перед ним призраки, но на этот раз из более близкого прошлого. Он видел себя с княгиней Верой и с другими женщинами, видел страдания, слезы, ложь и предательство, которых он был причиной, он увидел себя за злополучным ужином, за которым он в пьяном виде выболтал тайну князя Дульского, и все ему стало ясно...

Княгиня Вера не может не презирать его и не ненавидеть. А прочитав ее письмо, Корнилович не мог не заподозрить его в убийстве.

И тот, кто убил князя, должен был это знать. Недаром его же оружием совершено преступление.

Да, все так подстроено, что выпутаться ему из сетей нет никакой возможности. Не стоит и пытаться. Не стоит, да и не должно. Какое имеет он право бороться с судьбой, когда он сознает, что достоин кары? И чем же заслужить спасение, как не страданием?

«Настанет для тебя тот день, когда ты будешь так близок к гибели, что мраком отчаяния затемнится твой ум, и горечью наполнится сердце»... Это было с ним вчера и третьего дня, после отказа Магдалины сделаться его женой, и потом, после катастрофы у князя...

Но это еще не все... «И будешь ты изнемогать под бременем непосильной ноши, и будет раздираться твое сердце о терния земных зол»...

Неужели Магдалина поверит, что он убийца? Да, без сомнения, поверит...

«И помутится твой ум от бедствий, что низринутся на твою голову!» — прогремел над ним тот же таинственный голос в ответ на наивернувшийся вопрос. «И напрасно станешь ты искать утешение в тенях минувшего и в призраках будущего. Напрасно побежишь ты за ними и будешь умолять их о помощи и наставлении, они не поддержат тебя и не научат, а приведут тебя к бездне, на самый край пропасти... И тут только ты очнешься и вознесешься к Духу Истины»...

— О! Скорей, скорей бы наступила эта минута! Пошли мне муки еще лютее, пусть бы только в этих муках сошел на меня Дух Истины и осенил меня! Отверзи мне очи! Очисти меня! Приобщи к Твоим избранным!..

Никогда еще он так не молился. Никогда еще не желал так страстно отрешиться от всего земного и вознестись к источнику добра, света и истины!

Время перестало существовать для него. Сколько часов длился его экстаз, он не знал; тело его начинало уже изнемогать от усталости, а поднятые кверху руки сводило судорогой, но он того не замечал, чем больнее было телу, тем выше и радостнее возносился к небу его дух.

Х

После свидания с Курлятьевым в саду Магдалина так занемогла, что Софья Федоровна послала за старичком немцем, с незапамятных времен лечившим все их семейство. Может быть, лет пятьдесят тому назад он и в состоянии был отличить простуду от нервного потрясения, но уже

теперь от всего прописывал он потогонное и во всех симптомах видел только лихорадку. Магдалине это было известно, а потому она только улыбнулась при появлении старика в ее спальне и без колебания протянула ему руку для ощупывания пульса.

— Нишево, только сон и спокойствия, — объяснил он, поглядывая смеющимися глазами сквозь очки на Софью Федоровну. — Аппетита нет? Ну, карошо, карошо. Завтра пропишем микстурку, если не будет лучше.

Однако на другой день его к больной не пустили, она лежала с закрытыми глазами, спала, верно, и будить ее доктор не приказал.

Но Софье Федоровне сон этот казался подозрительным, особенно когда, подкравшись немного спустя к двери, она увидела, что Магдалина лежит, упершись пристальным взглядом в пространство, со слезами в широко раскрытых глазах. С ноющим сердцем ушла она в свою спальню, терпеливо выжидая, чтоб дочь сама позвала ее к себе. Ждать пришлось долго, только к вечеру прибежали ей сказать, что барышня встала, оделась и идет к ней.

Магдалина объявила, что хочет уехать в деревню. Она была уверена, что совсем поправится на свежем воздухе.

— Да и давно пора. Май на дворе. Сирень уже отцвела. Розы начинают распускаться, и соловьи поют. Никогда еще не заживались мы так долго в городе, — говорила она.

— Поедем, душенька, — сказала Софья Федоровна.

— Нельзя ли скорее, маменька? Завтра? Да? — умоляюще и с трудом сдерживая раздражение, настаивала Магдалина. — Это ничего, что вещи еще не уложены, можно ехать налегке, мы возьмем с собою самое необходимое, а без нас все уложат и привезут после... Хотите, маменька? Как это было бы хорошо!

— Как хочешь, так и сделаем, — поспешила согласиться мать.

А про себя она думала: «Бойтся с ним встретиться... Бедный Федя! Но, может быть, оно лучше так, скорее друг друга забудут».

Однако, как ни торопились, на следующее утро уехать им не удалось. Раньше чем к вечеру привести в порядок дорожную карету слесарь не взялся. Ночь, по уверению горничной, спавшей в соседней комнате, барышня опять провела без сна и жаловалась на озноб, что ничем согреться не может, но утром встала и, распоряжаясь укладкой вещей, так разгорелась, что, видя ее с румяными щеками

и блестящими глазами, Софья Федоровна немножко успокоилась. Скорей бы увезти ее отсюда!

Федя уехал на именины князя Дульского, но, вернувшись, не утерпит, верно, чтоб к ним не зайти, хотя бы под предлогом проститься перед отъездом. Не принять его нельзя, ведь родной сестры сын. Магдалиночка может из своей комнаты не выходить, если ей тяжело его видеть, но Софья Федоровна постарается его обласкать и утешить.

Не выдавая тайну дочери, она постарается ему показать, как ей грустно, что мечта ее — соединить с ним Магдалину — не состоялась, и намекнет ему на то, чтоб он не отчаивался. Мало ли что может случиться со временем! Оба они молоды, год-другой подождать ничего не значит. Магдалина может изменить свое намерение не выходить замуж, и, если только он останется ей верен, они могут еще быть счастливы вместе. Чему быть, тому не миновать. То ли еще в жизни случается?

Весь день прождала она с замирающим сердцем племянника, моля Бога внушить ей такие слова, которые нашли бы доступ в его сердце и чтоб уверить его в ее преданности и любви к нему. Ведь никого у него не осталось из близких на свете, кроме нее. Некому пожалеть его, приголубить. А как вздумал к ним пригреться, кроме горя ничего себе не нашел...

Вот о чем думала Софья Федоровна, когда ей доложили о напасти, обрушившейся на племянника, и она очень за него испугалась, но чувство к дочери взяло верх в ее сердце и над жалостью, и над страхом. Первым ее побуждением было перекреститься и мысленно поблагодарить Бога за то, что Магдалина отказалась сделаться его невестой.

Тотчас же представилось ей, как дочь ее будет поражена и растрожена таким ужасным известием, и она стала искать средство если не отвратить, что было невозможно, то по крайней мере смягчить удар, грозящий ее чувствительности. Ведь она его любит!..

— Барышня еще не знает? — тревожно спросила она.

— Ничего не знают-с. Они как изволили лечь отдохнуть после обеда, так с тех пор и не просыпались, — отвечала Ефимовна.

— Ну, и прекрасно, Христос с нею. Чем позже узнает, тем лучше. Может, все это враками окажется... Я сама ей скажу, как проснется, — продолжала Бахтерина, обеспокоенная молчанием старухи и выражением ее лица.

И вдруг ей пришло в голову, что, может быть, действительно не из-за чего волноваться.

— Да откуда у вас эти вести? — спросила она, все больше и больше раздражаясь таинственным видом Ефимовны.

— Да весь город уж про это знает, сударыня. Нешто я по пустякам осмелилась бы беспокоить вашу милость. У Грибковых-то, где Федор Николаевич изволили остановиться, полиция уж все перешарила, и у господ, и у людей все сундуки перерыли... Людей к допросу повели...

— А сам он, Федя-то, где? — спросила дрогнувшим голосом боярыня.

— В остроге-с. Наш Лаврентий видел, как провезли, — невольно понижая голос и опуская глаза, вымолвила Ефимовна.

Софья Федоровна всплеснула руками.

— Господи! Царь Небесный! Так значит... И в самом деле все думают, что это он убил князя?

— Да как же, сударыня, кабы не они, нешто смели бы говорить. Ведь это на мужика можно что угодно наплести, и в кандалы заковать, и засечь до смерти зря, а ведь Федор Николаевич барин...

— Ах, Боже мой! — простионала Бахтерина. — Да из чего же ему было такой ужас сделать?.. Убивать!..

Ефимовна молчала, но по выражению ее лица, по стиснутым губам госпожа ее не могла не догадаться, что ей есть что сказать, и она спросила: «Да что говорят-то?»

— Много говорят, сударыня, всего не пересказать. Известное дело, все теперь наружу выплыло. Людишкам рта не замажешь. О чем при барине и заикнуться не смели, таперича, с перепугу да с горя, все до крошечки вывалили.

— Да что ж они говорят-то? — вне себя от волнения повторила Бахтерина.

— Говорят: из ревности у них это вышло. Давно уж Федор Николаевич с княгиней был знаком.

— Как знаком?.. А неужто ж!

— Точно так-с, — медленно кивая седой головой, подтвердила Ефимовна. — Людям нельзя про это не знать. И княжеские, и курлятьевские все теперь рассказывают, как было дело.

Новое открытие поразило Софью Федоровну так же, если не больше первого. Она была так убеждена в любви племянника к Магдалине! Теперь она его и жалеть перестала. Поделом вору и мука. Не развязавшись с любовной интригой, да еще с замужней женщиной, осмелился прикидываться влюбленным в чистую, невинную девицу и делать ей предложение — вот нахальство-то! Хорош молодец, не-

чего сказать! Уж не потому ли и отказала ему Магдалина?... Но кто же ей сказал? И почему она это скрыла от матери?

Пребывать дольше в неизвестности Софья Федоровна была не в силах. Она приказала Ефимовне посмотреть, проснулась ли барышня...

— Если она не почивает, я сама к ней пойду.

Старушка вышла, а барыня стала ходить взад и вперед по комнате, прикидывая в уме, с чего начать разговор с дочерью и что ей объявить раньше — про убийство ли князя, или про интригу Курлятьева с княгиней. Во всяком случае как про то, так и про другое ей лучше узнать от матери, чем от посторонних. Софья Федоровна с нею запрется и до тех пор с нею пробудет наедине, пока не успокоит ее и, насколько можно, не утешит. А в деревню они уедут сегодня же, если нельзя будет вечером, то позже. Ночи лунные, дорога хорошая, к утру доедут, всего ведь 50 верст. Ну а там займется цветами, птицами, верхом станет ездить, читать, с деревенскими девушками по грибы да по ягоды ходить, и рассеется... А если нет, можно и в заграничный вояж пуститься. Слава Богу, средства на все есть: и половины доходов не проживают... Им и в Петербург никто не мешает переселиться. Может быть, там Магдалине скорее найдется партия, чем здесь...

Минут десять промечтала таким образом Софья Федоровна.

Ефимовна не возвращалась. Наконец по коридору раздались шаги, дверь растворилась, и старушка появилась на пороге с таким расстроенным лицом, что у барыни от предчувствия новой беды екнуло сердце.

— Что еще случилось? — вскричала она.

— Нигде не можем найти боярышню, — вымолвила дрожащими губами Ефимовна.

— Да где ж она? В саду, верно?

— Весь сад обошли, под каждый кустик заглядывали, нет их там... Петька-форейтор говорит, будто видел, как они, накрывшись платочком, через калитку в проулок вышли...

— В переулок? Зачем? Когда это было? Как смели мне не доложить?

— Да уж давно-с. Вы еще изволили почивать.

— Как же мне сказали, что она спит?

— Это точно-с. Часа так два тому назад позвонили — Лизавета вошла. «Я, говорит, спать хочу, не входите ко мне. А если маменька спросит, скажите, что я сплю». И дверь поплотнее приказали запереть. Откуда вышли — ни-

кто не видел. Все дивуемся. Дверь, как притворила ее Лизавета, так и осталась.

У Бахтериной ноги подкосились, она упала в кресло, стоявшее позади нее, и громко разрыдалась.

Ефимовна со слезами кинулась ее успокаивать.

— Барыня, голубушка, не извольте так убиваться, — говорила она, подавая ей воды и целуя ее руки, — барышня сейчас вернутся, вот увидите, что вернутся, не в первый раз. Они в старый дом, верно, пошли. Часто они туда ходят, вот так, как теперь, никому не сказавшись. И подолгу там сидят, когда час, когда два.

Но слова эти подливали только масло в огонь.

— Что ж ты молчала до сих пор? — вскричала Бахтерина, в отчаянии своем забывая, что сама же раньше ни от кого не принимала доносов на дочь. — И не грешно тебе, старая, меня обманывать?! Кого она там видит?

— Да никого там, окромя старика Андреича с Варварой, нет, — вымолвила, запинаясь, Ефимовна.

— Неправда! Она бы не скрывала от меня, что туда ходит, если б ни с кем там не встречалась!

Старуха, насупившись, молчала.

— Ты знаешь! Говори сейчас! — вспылила барыня.

— Да что говорить-то, сударыня? Вы лучше у них у самих спросите, — прошептала Ефимовна, еще ниже опускающая голову.

— Господи! Да что ж это такое? Сговорились вы, что ли, меня насмерть замучить? Все знают и молчат!

— Ничего мы не знаем, сударыня, болтают людишки... Да нешто можно всякую брехню до господ доводить?

— К кому она ходит? Господи! Господи! Что же мне всю дворню, что ли, к допросу призывать, чтоб про родную дочь узнать? Говори все! И что сама видела и что от других слышала, все, все! — прибавила Бахтерина, гневно топая ногой.

— Скитницы там, — проронила нехотя Ефимовна, которую гнев барыни не столько пугал, сколько печалил.

— Скитницы? Это что ж такое?

— Из раскольничьей обители в лесу, где настоятелем отец Симионий, — пояснила старуха.

У Бахтериной ум помутился от недоумения и испуга.

— Зачем они ей? — с трудом вымолвила она.

— Да что ж мы можем, сударыня, знать? Нешто они нам скажут? Вы лучше сами с ними поговорите, может, вашей милости и откроются, а мы что, мы только молиться Господу Богу можем, чтоб успокоил он вас за все ваши добродетели... Таких-то господ, как ваша милость...

Оборвав речь на полуслове, старуха всхлипнула и отерла катившиеся по морщинистым щекам слезы концом шейного платка.

— Молитесь, молитесь! Кроме как на Бога, надеяться нам не на кого! — тоже со слезами вскричала Софья Федоровна.

И махнув рукой Ефимовне, чтоб вышла, она опустилась на колени перед киотом с теплившейся перед образами лампадой и до тех пор взывала к Богу о помощи, пока не подуспокоилась.

Поднявшись с колен, она могла лучше обсудить дело. Вторжение раскольников в их семью было для нее не новостью. Разве они не погубили ее зятя, Николая Семеновича и его несчастных дочерей? Говорили тогда, что и из дворни курлятьевской только те и спаслись от заразы, которые при барыне состояли, остальные все к отцу Симионию бегали за благословением и за советом. Наверное, и старик Андреич раскольник, и внучка его. У них, без сомнения, Магдалина и встретилась с скитницами из монастыря Симиония, а может, и с ним самим? А Симионий человек не обыденный. Недаром даже и покойный Иван Васильевич был высокого мнения о его уме, начитанности и красноречии. Что же мудреного, если он повлиял на Магдалину, поразил ее воображение... Зерно упало на подготовленную почву. С детства Магдалина слышала разговоры об учении сектантов, масонов, мартинистах и т. п. Приемный отец ее страстно всем этим интересовался, был близок с Новиковым и со многими из его последователей. Сочинения мистического содержания сделались под конец жизни его любимым чтением. Магдалина читала ему вслух жизнеописание М-те Guyon и других ей подобных... Софья Федоровна не раз слышала от мужа, что между нашими искателями духа Истины и заграничными много общего если не в форме, то в принципе... Вот и разгадка недоумения, мучившего ее на- счет дочери уже давно, но в особенности последние два дня. Такая девушка без борьбы убеждениями своими не поступится, нелегко ей было терять веру, в которой ее воспитывали с младенчества. А отказаться от счастья соединиться с любимым человеком?.. Ну, за последнее — спасибо Симионию. Он раньше всех разгадал Курлятьева. Должно быть, действительно у него дар предвидения, и он умеет читать в сердцах людей. Откуда этот дар, от Бога или от дьявола, это уж другой вопрос, но так или иначе, а на этот раз нельзя не сознаться, что он спас Магдалину от страшной беды, потребовав от нее, чтоб она отказала Кур-

лятьеву. Надо за это благодарить Бога, Он, всемогущий и всемилостивый, знает, каким путем проявить Свою волю на пользу избранных Своих чад.

Погруженная в размышления, она не замечала, как летело время, и сделалось совсем темно, когда раздались шаги и на пороге соседней, освещенной комнаты появился дворецкий Лукьяныч с докладом о дорожной карете, что ее привезли от слесаря исправленную. Тут только вспомнила Бахтерина про свое решение непременно сегодня уехать в деревню. Давно ли, узнав о страшной катастрофе, обрушившейся на племянника, она в душевном смятении цеплялась за отъезд отсюда, как за якорь спасения, но теперь после того, что она узнала про Магдалину, она даже и представить себе не могла, что будет, когда дочь ее вернется. Ждала она этой минуты с нетерпением, и вместе с тем ей было жутко, и сердце раздиралось сомнениями. «Как начать с нею разговор? Ждать ли ее излияний или, объявив про то, что ей известно, умолять довериться ей вполне?» — спрашивала себя Софья Федоровна в тоскливом своем недоумении, забывая про дворецкого, ожидавшего приказаний у дверей.

— Прикажете укладываться, сударыня? — спросил этот последний, переждав в молчании с минуту.

— Не знаю еще, Лукьяныч. Мы, может быть, сегодня не поедem. Как барышня вернется, тогда и решим, — отвечала Софья Федоровна.

Старик, понутив голову, вышел. Его давно уж ждали в коридоре.

— Что ты там как долго, дедушка? — начала шепотом молодая румяная девушка Глаша, выдвигаясь из темного углубления между стеной и шкафом и загоразивая ему дорогу.

— Тише ты, услышат! — проворчал он, торопливо направляясь к буфетной.

Она поспешила за ним,

— Ну, говори, что там еще случилось? — спросил он отрывисто, после того как, оглянувшись по сторонам, убедился, что некому их подслушать. Пользуясь расстройством барыни, вся дворня скупилась в людской, один только дежурный казачок дремал на конике в прихожей, да две девчонки, забившись в уголок девичьей, хихикали между собой в ожидании барыниного звонка.

— Ефимовна в старый дом за барышней собралась, — объявила взволнованной скороговоркой Глашка.

— Ну, это она так, ночь ведь уж, побоится пойтить.

— Нет, деинька, она беспрерывно пойдет. Если, говорит, до чаю барышня не вернется, я, говорит, знаю, где ее найти.

— Это она кому же?

— Илюшке. А он говорит: я вас, кресненька, провожу. А она ему: не надо, говорит, я, говорит, и одна дорогу найду.

Старик озабоченно сдвинул брови и зашамкал беззубым ртом.

— Ну-ка, сбегай, посмотри, где она теперь, — приказал он, помолчав немного, — да скажи ей: дедка Лукьяныч тебя ищет. У барыни сейчас, скажи, был, спрашивал, едут, что ли, в деревню-то нонче ночью, как хотели.

— Сейчас!

Она побежала к лестнице наверх, где в мезонине с окнами на черный двор жили белошвейки под присмотром старой няни, а Лукьяныч стал ходить взад и вперед по коридору, ломая себе голову над мудреным вопросом: как сделать, чтоб Ефимовна вернулась из старого дома с носом и никого бы там не нашла. Кого бы повернее послать предупредить барышню? Кроме фореятора Степки некого, а пойти теперь в конюшню без благовидного предложения опасно, непременно навлечешь на себя подозрение. Дорожный экипаж он уже осматривал, как шел сюда с докладом о нем барыне, и с кучерами обо всем перетолковал, всем покажется странным его появление, пожалуй, со Степкой не удастся и словом перекинуться.

Но долго размышлять ему не дали, Глашка прибежала назад с известием, что Ефимовна уже ушла.

— Пока вы у барыни были, а я вас тут поджидала, она, не одевшись, вздернула только платок с шеи на голову, да и побежала. Теперь уж не догнать, поди, чай.

— Ах, она зелье проклятое! Кочерга дьявольская! Чертова приспешница! — заругался Лукьяныч.

Но это не помешало Ефимовне темными переулочками да задворками добежать до старого дома.

Да, пустилась она в путь с большою решимостью и бежала, как молоденькая, но мало-помалу прыткость ее стала остывать. Чем ближе она подходила, тем медленнее и осторожнее становилась ее поступь и тем чаще озиралась она по сторонам, усердно крестясь и шепча молитву при малейшем шорохе, хотя и знала, что шуметь в эту пору за высокими заборами, кроме листьев, нечему.

В этой пустынной местности жители запирали свои дома и ложились спать рано, так что в щели плотно затво-

ренных ставен иного света кроме еле мерцающего кое-где огонька лампы перед образами ничего не просвечивало. И дорога ей была известна. Было время, когда дом этот с запущенным садом считался у них своим и бегать бахтеринской дворне на тот двор, к родным и своякам, было самым обычным делом. Потом, как господа поссорились, и людям уж не так вольготно стало якшаться между собой, но сношения между ними не прерывались.

Ефимовна помнила, как вскоре после того как в лесу нашли маленькую барышню, у нее вышла потасовка с курлятьевской нянькой из-за их барышень, теперь, когда время погасило огонь разжигающих их обеих страстей, она судила об этой стычке со старой соперницей беспристрастно и сознавалась, что задрала она ее первая обидными намеками на ее питомиц. Скажи ей теперь кто-нибудь, что на ее барышню бесовское наваждение нашло, в глаза бы вцепилась она такому человеку.

Где-то теперь Григорьевна? Как в воду канула, после того как барина их в сумасшедший дом засадили. Пошли было про нее вести, года два спустя, будто в скиту у Симиония ее видели, болтали также люди, будто она с принкулинскими нищими к киевским угодникам босиком ходила, и с тех пор нет о ней ни слуху, ни духу. Умерла, верно. Лет на десять, если не больше, была она старше Ефимовны, а Ефимовне уж давно за семьдесят перевалило.

Дойдя до запертых ворот, она и не попыталась дотронуться до заржавевшего замка, висевшего на них, а, повернув вправо, прокралась мимо каменной ограды к калитке на задний двор, растворила ее и вошла в поросший густой травой двор с разваливающимися от ветхости надворными строениями.

И тут тоже было тихо, пусто и темно, как в могиле.

Она уставилась глазами на окна с выбитыми стеклами, мрачными впадинами черневшими на белесоватой стене, и долго-долго всматривалась в каждое из тех, что были над землей. Изнутри окна эти были чем-то завешаны, а снаружи кроме густого слоя пыли и паутины их защищала от нескромных взглядов высоко разросшаяся крапива, но тем не менее Ефимовна увидела-таки слабый свет, пробивающийся из самого крайнего, как раз под молельней покойного Николая Семеновича. Свет этот был очень тусклый, его можно было бы принять за отражение луны, но луны на небе не было, она должна была взойти через час, не раньше; значит, они либо тут, в подвале, либо в бывшей мо-

лельне боярина Курлятьева, память которого они чтут как святого и мученика за истинную веру.

Это не одной Ефимовне, а многим известно в городе. Раскольников-то здесь больше, чем правоверных, и с каждым годом число их возрастает. Нет дома, в который бы не вкралась проклятики. Ефимовна отлично знала, с каких пор барышня Магдалина Ивановна начала им поддаваться. Как захворала она, узнавши про тайну своего рождения да про отказ жениха, явилась к ним в людскую странница, благообразная такая да сладкоголосая, шельма; маслица от гроба Господня принесла для болящей. Выгнать надо было чернохвостницу, а заместо того сама же Ефимовна ее маслице барыне подала, а барыня барышне отнесла; а барышня, как узнала, что странница в Иерусалиме была, пожелала ее видеть да расспросить. Ну и повадилась к ним черничка ходить да с барышней беседовать, а там и сгинула, точно сквозь землю провалилась, никто ее с тех пор не видал, а барышня как оправилась, так в старый дом зачастила. И так ей там понравилось, что только тогда и довольна, когда вдосталь в запущенном саду да по пустым комнатам нагуляется. С тех пор дома, как чужая стала. И ничего ей кроме книжек, которыми в библиотеке шкафы набиты, не нужно. Понятно, старая нянька допытываться стала, чем ей опустелые курлятьевские хоромы так любопытны сделались, ну, и узнала, что там проклятики гнездо себе свили, после того как Принкулинскую усадьбу полиция разорила. В землянках-то, что дальше за оврагом прорыли, окромя нищих, калик перекожих да воров из мелких, никого теперь не найти, а вот заглянули бы в подвалы под курлятьевским домом, с потайными ходами прямо к реке, увидали бы тогда, где самые опасные люди хоронятся.

Осторожно пробираясь через бурьян и крапиву, которыми зарос двор, Ефимовна дошла наконец до входа в нижнее жильё дома. Когда-то тут была дверь, но теперь исчезла. В конце темного коридора, по которому она стала пробираться ощупью, опираясь обеими руками в холодные заплесневелые стены, выползала тонкая полоска света из-под двери и слышались голоса. Дошедши до этой двери, Ефимовна затаила дыхание и стала прислушиваться. Почти тотчас же узнала она голос своей барышни, но с кем она?

Удивительно знакомым показался ей голос беседующей с Магдалиной женщины. Но где и когда она его слышала, Ефимовна припомнить не могла. А между тем с каждым мгновением все глубже и глубже забирался он ей в душу, этот голос, пробуждая в уме давно заглохшие впечатления.

Убедившись, что разговаривают только две женщины, она тихонько толкнула дверь и увидала обширную с низким потолком горницу, почти пустую. Кроме двух-трех деревянных лавок, полки с книгами в черных кожаных переплетах да божницы с потемневшими образами в углу здесь ничего не было. Горница эта находилась под домом, тут раньше был подвал для съестных припасов и для вин: посреди, на выложенном кирпичом полу, виднелась подъемная каменная плита с железным кольцом. Это был спуск в погреб. Днем свет проникал сюда из оконца на уровне земли, заросшей крапивой, а теперь тут горела лампада перед образами. При ее слабом мерцании Ефимовна тотчас же узнала свою барышню в одной из двух женщин, беседовавших между собою.

Магдалина стояла посреди комнаты и, по-видимому, собираясь уходить, накидывала себе на голову темный шерстяной платок. Собеседница же ее, худая женщина болезненного вида в монашеском одеянии, с деревянными четками у пояса, сидела на одной из лавок; сторбившись, как дряхлая старуха, она говорила резким голосом, часто прерывая свою речь сухим кашлем. Лицо ее, с ввалившимися щеками, было бледно, как у мертвой, губы синие, глаза сверкали и казались огромными от черных пятен под ними. Она была так страшна, что первым побуждением Ефимовны было мысленно сотворить молитву и отступить на шаг от двери, но мало-помалу любопытство взяло верх над боязнью, она стала внимательно всматриваться и узнала в этом привидении курлятьевскую барышню Марью Николаевну. Узнала не по лицу, искаженному болезнью и временем, не по фигуре, некогда стройной, а по чему-то неуловимому в манере и голосе, напомнившему ей былое время еще раньше, чем она ее увидела. Откуда явилась она? С того света, может быть? Ефимовна стала с напряженным вниманием прислушиваться к разговору этого страшилища с ее барышней.

Магдалина как будто умоляла ее о чем-то.

— Не могу я сейчас!.. Поймите же наконец!.. Ведь это ее убьет, — говорила она со слезами в голосе. Наконец она разрыдалась.

Но монахиню не трогало ее отчаяние. Она возражала ей текстами из Священного писания, должно быть, потому что Ефимовна ничего не могла понять, кроме отдельных слов: «геенна огненная... дьяволы... князь тьмы... вечные муки». Слова эти она отчеканивала, как молотком, жестоко и бесстрастно. Мороз продирали по коже ее слушать.

И вдруг, обозленная упорством девушки, которая на все ее доводы продолжала плакать, отрицательно качая головой, она сорвалась, как ужаленная, с места, вытянула вперед грозющим жестом костлявую руку и повелительно вскричала:

— Покайся! Смирись! Придешь к нам, как на каторгу твоего дьявольского ублюдка сошлют, да уж поздно будет!.. Не примем.

Но угрозы ее не достигли цели; напротив, Магдалина перестала рыдать и в глазах ее сквозь слезы сверкнул гнев.

— Не говори так со мной, сестра Марья! Чем он будет несчастнее, тем больше я его буду любить...

— Это убийцу-то?!

— Не верю я, чтоб он убил, — возразила девушка.

— Как увидишь его у позорного столба с надписью на груди: «убийца», тогда поверишь, — злобно усмехнулась монахиня.

— И тогда не поверю, — повторила Магдалина. — Кто это сделал? Кому понадобилась его гибель? — продолжала она со слезами. — Вы потребовали, чтоб я принесла в жертву Богу мою любовь, мое счастье, я повиновалась. Как он плакал! Как он умолял меня над ним сжалиться! Но я была безжалостна, я оттолкнула его, я собственными руками задушила свое счастье, осудила себя на вечное одиночество и тоску, на душевный холод и пустоту... Хуже того, я нанесла смертельный удар всем надеждам того, которого люблю больше жизни, я и его обрекла на горе и отчаяние, поклялась ему, что не буду ничьей женой. Он ушел от меня с растерзанным сердцем, призывая смерть как избавление... А вы говорите, что он убил своего ближнего? Да могу ли я этому верить?! Скажите мне, что он помешался с горя, наложил на себя руки или взял на себя чужой грех, потому что ждать от жизни ему больше нечего, это возможно, но чтоб он сам свершил преступление... нет, нет, это ложь! Кто те злодеи, которым понадобилась его гибель? Если вам это известно, скажите мне! Умоляю вас, скажите! Ничего не пожалею я, чтоб его спасти!.. Пусть берут все, что у меня есть... пусть берут мою жизнь... с радостью отдам ее за него! За что преследуют они его?

— За то, что он препятствует твоему спасению, безумная! — вырвалось у монахини.

Магдалина с ужасом отшатнулась от нее.

— Так это вы? Вы?! Вы сознаетесь, что оклеветали невинного! О!

Она с глухим стоном закрыла лицо руками.

— А кто сказал: «Не бойтесь убивающих тело?»... — вскричала сестра Марья. — Кратковременными земными муками сын преступной матери искупит и свои, и ее грехи, удостоится царствия небесного... Если ты любишь его не греховной, плотской любовью, а во Христе, как подобает девственнице, ищущей света Истины, радоваться ты должна и благословлять твоих братьев и сестер по Духу... Авва Симионий тебя возлюбил недостойную, он хочет приобщить тебя к своему стаду, как пастырь добрый, пекущийся об овцах своих...

Ей не дали договорить.

— Не пойду я по вашему пути!.. — вскричала девушка. — Путь лжи и клеветы не может вести к истине!.. Оставьте меня... я все теперь поняла!.. Ненавижу я вас!..

И вне себя от волнения Магдалина выбежала из мрачной горницы, в которой ей так неожиданно открылась причина несчастья, обрушившегося на любимого человека.

Монахиня рванулась было за нею и, может быть, догнала бы ее, если б не наткнулась на препятствие.

— Марья Николаевна, матушка, не держите вы нашу барышню, тетенька Софья Федоровна изволят беспокоиться, — взмолилась Ефимовна, загораживая ей путь растопыренными руками, точно намереваясь силой ее задержать.

Впрочем, та, в которой старая бахтеринская нянька узнала вторую курлятьевскую барышню, и не думала сопротивляться. С широко раскрытыми от испуга глазами она попятилась назад, крестясь и шепча дрожащими губами заклинания.

Роли переменились; теперь уж Ефимовне приходилось убеждать монахиню, что перед нею не привидение, а человек с плотью и кровью.

— Не пугайтесь, матушка Марья Николаевна, это я, бахтеринская нянька, Ефимовна... Вот когда Господь привел свидеться! — вымолвила старушка, подходя к ней и почтительно целуя ее руку.

— Пусти меня!.. Догнать!.. Вернуть! — прохрипела монахиня, хватаясь за грудь, чтоб сдержать припадок кашля. Но кровь хлынула у нее из горла. Она зашаталась и упала бы, если б Ефимовна не кинулась к ней. Положив ее осторожно на пол, она начала искать глазами воды. В углу стояла глиняная кружка с остатками влаги. Подложив под голову умирающей платок, сдернутый со своих плеч, она поднесла кружку к губам. Слава Богу, вода, и, кажется, свежая! Но Марья была уже без чувств. Ефимовна опусти-

лась перед нею на колени и долго, долго терла ей виски водой без всякого результата.

По временам ей казалось, что она уже скончалась. Дыхания не было слышно, и тело холодело под ее руками.

Дрожащими пальцами, и не переставая творить молитву, растегнула она узкий подрясник, чтоб дать воздуху свободнее проникнуть в грудь, и, замирая от ужаса и жалости, нащупала власяницу, такую колючую, что она в кровь оцарапала о нее свои старые пальцы.

— Христова невеста! Мученица! — прошептала она со слезами умиления и благоговейно перекрестилась.

Марья тяжело вздохнула и открыла глаза.

— Святая! Страдалица! — зарыдала Ефимовна, припадая к ее ногам.

— Умираю, — с трудом вымолвила монахиня и, сделав усилие, прибавила, указывая рукой на плиту среди горницы, — постучи.

Ефимовна кинулась исполнять приказание; приподняла заржавленное кольцо и раза два ударила им по плите, к которой оно было привинчено, а затем, обернувшись, увидела, что умирающая подзывает ее к себе, и подбежала к ней.

— Сейчас придут... уйди скорее... Скажи Магдалине, я ухожу. Там буду за нее молиться... Федора ей не выкрутить... Искупит материнские грехи... Ему здесь света истины не узреть... Но Магдалина была близка... Опять дьявол хочет ею овладеть... пусть не поддается... пусть помнит... смерть родителей... без покаяния... Мучатся теперь в аду... ждут искупления... Скажи ей... Умираю... скажи — велела напомнить... последняя молитва за нее... Идут... беги... Никому ни слова... Молчи! Хотя бы ножами резали, огнем жгли, молчи!

Собравшись с силами, она громко выкрикнула последнее слово.

Под полом явственно раздавались шаги все ближе и ближе. Плита с кольцом стала приподниматься, но Ефимовна успела выбежать раньше, чем высокий старик с белой бородой в монашеской рясе вылез из подземелья.

Осмотревшись по сторонам привычными к темноте глазами, авва Симионий, кроме умирающей, никого не увидел.

Магдалина без оглядки бежала домой.

Ужас и отвращение к людям, державшим в кабале ее ум и душу целых два года, были так сильны, что если б ей сказали, что на пути ее ждет смерть, известие это ни на

мгновение не заставило бы ее остановиться. Куда бы то ни было, хотя бы в ад, только бы от них дальше!

Как пробежала она мимо Ефимовны, не заметив ее, так не заметила она маленькой толпы людей, пробирающихся через принкулинский овраг к старому курлятьевскому дому. В том душевном настроении, в котором она находилась, ничего не могла она ни слышать, ни видеть из того, что происходило вокруг нее; все ее чувства и помышления вертелись около одной цели: скорей спасти Федора, скорее перед целым светом провозгласить его невиновность и поведать всему миру тайну опутавшей его адской интриги.

Как поступить, чтоб этого достигнуть, она еще не знала, но в успехе не сомневалась. Это так же верно, как то, что она жива и дышит.

Бессознательно свернула она за город к пустырю, среди которого возвышался городской острог. Потянуло ее туда инстинктивное желание быть поближе к возлюбленному и хоть издали посмотреть на железную решетку, за которой он томился из-за нее.

Взошла луна, и при ее бледном свете она увидела часового, сладко спавшего, опершись на ружье, и многочисленные окна с решетками в три яруса.

«За которым из них мой милый?» — спрашивала она себя с тоской.

Если б он знал, что она от него так близко!

Жизнь, кажется, отдала бы она за то, чтоб дать ему почувствовать, как она его любит и как за него страдает!

«Милый, милый!», повторяла она страстным шепотом, не спуская взгляда с решетчатых окон и прижимая руки к бьющемуся сердцу.

Кто знает, может быть, именно в эту минуту их бесмертные и не знающие ни времени, ни пространства души и слились в чувстве взаимной любви. Может быть, тяготению к нему возлюбленной и обязан он был душевным успокоением и блаженством вознестись так высоко над землей, что гнусное место заточения превратилось для него на несколько мгновений в чертог райского счастья?

Когда Магдалина вернулась домой, первый ее вопрос был о матери:

— Не ложилась еще? Спрашивала обо мне?

Лукияныч, которого она встретила у калитки (ворота уж давно были заперты) и который как будто дожидался тут ее возвращения, чтоб первому ее видеть, отвечал, что боярыня в большой тревоге.

— Ефимовна за вами, боярышня, в старый дом побежала, — прибавил он, таинственно понижая голос, хотя во дворе кроме них двоих да цепной собаки никого не было. — Не встретилась она по дороге вашей милости?

Магдалина, отрицательно покачав головой, пошла дальше, а старик остался у калитки, понутив голову под гнетом предположений, одно тревожнее другого. Куда же делась Ефимовна? Уж не задержали ли ее те, в тайну которых она проникла? Не любят они, чтоб мирские за ними подсматривали, и не раз платились любопытные за свои сведения жизнью... А боярышня какая-то сегодня странная. Взгляд сверкает решимостью, и не заметно в ней того удрученного состояния, в котором последнее время она находилась после свидания с братьями и сестрами по духу. Уж не решила ли она совсем к ним уйти? В таком случае зачем было и возвращаться? Сам Лукьяныч давно уж принадлежал к секте аввы Симиония, а потому не мог не сочувствовать обращению боярышни на путь истинный.

Из бахтеринских людей у Магдалины единомышленников было только трое: дворецкий, конюх Степка да одна из прачек, мать девчонки, приставленной на подмогу горничной Лизавете, но и этого было достаточно, чтоб обеспечить ей полнейшее удобство спокойно предаваться изучению новой веры и беспрепятственно видаться с наставниками и наставницами из скита аввы Симиония. Благодаря ловкому содействию этих трех личностей, к ней в комнату незаметно проникали по ночам или рано утром, когда весь дом еще спал, не только чернички-раскольницы, но и сам основатель их обители. Таким образом узнала она раньше всех о катастрофе, обрушившейся на Курлятьева. Одновременно с этим известием сообщили ей, что сестра Марья хочет ее видеть.

Она поспешила на это свидание, чуя какую-то таинственную связь между ее любовью к Федору и несчастьем, поразившим его так неожиданно и так кстати для его врагов.

Как сказано выше, то, что она узнала, превзошло все ее ожидания и окончательно расшатало в ее душе уже колеблющуюся веру в святость учения, увлекшего ее своей новизной и страстностью фанатиков, проповедующих его.

До тех пор пока от нее требовали только личных жертв, она гнала от себя прочь сомнения как дьявольское искушение, как слабодушие, но когда она убедилась, что они ни перед чем не останавливаются для достижения цели: ни перед клеветой, ни перед ложью, когда любимого ей чело-

века не задумались принести в жертву, чтоб только отстранить преграду на ее пути к тому, что они считают спасением, она внезапно постигла всю глубину своего заблуждения и со свойственной ей страстностью рвалась теперь к искуплению содеянных из-за нее злодеяний.

Чтоб спасти Федора, она во всем сознается, все откроет. Пусть судят ее церковным и мирским судом за отступление от истинной веры и за невольное сообщничество с врагами этой веры, пусть заключат ее в монастырь на всю жизнь или сошлют в Сибирь, всему покорится она безропотно и со смирением, лишь бы только поправить зло.

Но прежде надо покаяться и вымолить прощение у тех, которые страдают из-за нее, у матери и у Федора.

Она вбежала в спальню Софьи Федоровны, упала на колени перед низким креслом, на котором сидела госпожа Бахтерина, и долго рыдала в ее объятиях, не будучи в силах произнести ни слова.

Плакала и Бахтерина в полной уверенности, что дочь ее сокрушается о злой судьбе возлюбленного, и, боясь словами усилить ее печаль, она молча прижимала ее к своей груди. Утешить ее было нечем. Федор погиб для нее безвозвратно. Если она не решалась сделаться его женой, когда он представлял из себя блестящую во всех отношениях партию, то уж теперь остается только благодарить Бога за то, что она ничем с ним не связана. Печаль ее мало-помалу поутихнет, и со временем она может еще быть счастлива с другим. «Но высказать ей эти надежды теперь, в самый разгар ее отчаяния, было бы жестоко и бесцельно», — думала Софья Федоровна, нежно лаская растрепавшиеся кудри плачущей у ее ног девушки.

— А я еще торопилась уехать отсюда! Хотела бежать от него! — проговорила Магдалина, поднимая мокрое от слез лицо с коленей матери и устремляя на нее сверкающий странным восторгом взгляд. — Какое счастье, что мы еще не в деревне!

— Можно уехать дальше, за границу, куда хочешь, — заметила Софья Федоровна.

Магдалина поднялась и отерла слезы.

— За границу?! — вскричала она с негодованием. — Когда он здесь? В остроге? Из-за меня!

— Из-за тебя?! С чего ты это взяла? Он сам виноват в своем несчастье, ты тут, слава Богу, ни при чем...

И она начала передавать ей слышанное от Ефимовны, напирая на то, что, по ее мнению, должно было всего большее оскорбить чувство ее дочери и вырвать его с кор-

нем из ее сердца, но при первом намеке на княгиню Дульскую речь ее прервали на полуслове.

— Все это я давным-давно знаю, раньше, чем увиделась с ним, — объявила Магдалина.

— От кого? — вырвалось у ее матери.

С минуту девушка колебалась, но потребность скорее сбросить с себя бремя мучительной тайны взяла верх над всеми остальными соображениями и она все рассказала матери с самого начала ее увлечения Симионом и монахиней Марьей и до последнего разочарования, заставившего ее отвернуться от них навсегда. Одно время она так подпала под влияние сестры Марьи, что если не бежала к ней в обитель, то это благодаря тому, что ее новым братьям и сестрам хотелось заполучить вместе с нею и состояние, завещанное ей приемным отцом.

Главной преградой к этому они считали Федора Курлятьева. Им известно было желание покойного Бахтерина вознаградить племянника за потерю наследства и мечта его отдать ему в супруги приемную дочь. Им было все известно, и они начали исподволь влиять на Магдалину, восстанавливать ее против Курлятьева, представляя его развратником, закоренелым негодяем и таким же ожесточенным эгоистом, каким была его мать.

Но тут они не достигли цели. Магдалина почувствовала влечение к Федору при первом взгляде на него. Старик Андреич, с которым она виделась за несколько дней до того утра, когда молодой человек пришел к ним, недаром уверял ее, что он вылитый отец, такой же добрый, ласковый и простой. Как ни присматривалась к нему Магдалина, не могла она найти в нем тех пороков, о которых ее предупреждали, и с каждым днем, с каждым часом становился он любезнее ее сердцу. Когда же она убедилась, что и он в нее влюблен, душа ее наполнилась таким счастьем, что ей страшно стало. Вот тут-то и надели на нее наставники и наставницы. Ни на минуту не оставляли ее в покое, по целым часам простаивали скитницы в глухом переулке или, притаившись где-нибудь в обширном дворе с многочисленными службами, закутками для домашней птицы, свиней и телят, за дровами или за старой баней, чтоб, выбрав минутку поудобнее, незаметно проскользнуть в комнату боярышни. Часто, прогуливаясь с Федором по тенистым аллеям сада или сидя с ним рядом на ступеньках облитой лунным светом террасы и радостно млея под его страстным взглядом, Магдалина вздрагивала при мысли о том, что ожидает ее, когда он уйдет и она останется одна.

Все-то они знали, обо всем догадывались; нельзя было не признать в них сверхъестественной силы, покровительствующей всем их начинаниям.

А сестра Мария обладала, кроме того, даром пророчества. Когда на нее нисходил Дух, все присутствующие падали перед нею ниц, содрогаясь до глубины души от ужасов, которые она в своем просветлении видела и оглашала во всеуслышание с такою уверенностью, что невозможно было не заразиться ее убеждением. Что же касается аввы Симиония, он мог вызывать, когда только ему вздумается, души усопших и беседовать с ними, о чем ему было угодно. Значение слов на клочке письма, забрызганном кровью убиенных и найденном близ их трупов, разъяснила Симионию покойная мать Магдалины, явившись ему в ту самую ночь, когда приемной дочери Бахтериных открылась тайна ее рождения...: *«Voeux de mon coeur vous conduira... but sacré... expiation suprême...»* «Заклинаю нашу дочь Магдалину обрести путь к Духу истины и искупить молитвой и служением правой веры наши грехи», — вот как переводил эти заветные для Магдалины слова авва Симионий. И она ему поверила. Она не могла ему не поверить.

— Да, они необыкновенные люди, сильные духом, но сила их не от Бога... Я это теперь вижу, чувствую и понимаю вполне ясно! Они довели меня до самого края пропасти и низвергли бы в нее, если б ангел хранитель не спас меня от гибели. Как я теперь счастлива и спокойна! — вскричала она с восторгом. — Всей моей жизни не хватит на то, чтоб достойно восхвалить Бога за Его милосердие ко мне. Я знаю, что вы думаете, маменька, — продолжала она, отвечая на тревожное недоумение, выразившееся на лице Софьи Федоровны, — мой милый, тот, которого Господь наметил мне в спутники жизни, в их власти, томится в заточении, опозорен, и все считают его погибшим, но смею ли я сомневаться в том, что Господь укажет мне, как его спасти? Да, это был бы непростительный грех с моей стороны! Нет, нет, не поддавайтесь дьявольскому искушению, дорогая маменька, уповайте на Бога и предайтесь Ему вполне! Цели Его неисповедимы, и Он доведет нас до блага и душевного спасения. Только бы мне увидеть Федора, хотя бы на минуту, чтоб ободрить его, сказать ему, чтоб он спокойно ждал конца испытания... Только бы мне увидеть его, и он будет так же счастлив, как и я.

Софья Федоровна молчала. Для чего стала бы она ей противоречить? Пусть хоть несколько дней и даже несколь-

ко часов будет счастлива, пусть наберется сил для новых печалей и разочарований.

А печалей и разочарований она предвидела так много, что ей жутко было заглядывать в будущее.

XI

Заснули они только под утро, или, лучше сказать, заснула одна Магдалина. Мать ее даже и на полчаса не могла забыться от осаждавших ее злых мыслей. Характер дочери ей хорошо был известен. Душа ее жаждет самоотвержения так же страстно, как измученный путник жаждет глотка свежей воды в знойной пустыне, под палящими лучами тропического солнца. Для ее пылкого, предприимчивого и отважного ума хлопотать о спасении любимого человека — блаженство, которому равного нет на свете. Она теперь вся предастся этой мечте, а куда заведет она их, один только Тот может знать, Кому все известно.

В седьмом часу утра Софья Федоровна, принимая всевозможные меры предосторожности, чтоб не разбудить Магдалину, поднялась с широкой кровати, на которой она лежала рядом с нею, перекрестила ее бледное лицо со следами слез на щеках, поправила на ней одеяло и, накинув на себя пудромантель, на цыпочках вышла в уборную, где увидела Ефимовну.

Старушка, сидевшая на стуле у двери, согнувшись и подремывая, сорвалась с места при появлении боярыни.

— Что тебе? — спросила Софья Федоровна.

— Давно уж вашу милость тут поджидаю-с... Такое дело, что надо бы разбудить, два раза в дверь заглядывала, извоили с закрытыми глазками лежать, жалко было тревожить...

В другое время слова эти привели бы Бахтерину в изумление и тревогу, но после того, что случилось накануне, ей уж ничего не могло казаться страшным.

— Грибков, Карп Михайлыч, пришел и...

— Грибков? У которого Федя остановился? — спросила Софья Федоровна.

— Тот самый-с. Дело у него до вашей милости. Неотложное, говорит. «Беспрременно, — говорит, — мне надо вашу барыню повидать». Я не хотела было пускать...

— Как можно не пускать! Всех пускать, только чтоб до барышни не дошло, а мне все, все надо говорить, и кто бы

ни пришел, к ней ли, ко мне ли, сейчас же доложить, — перебила ее с живостью боярыня.

И она поспешно стала одеваться, чтоб выйти к неожиданному посетителю.

Какое счастье, что Магдалиночка спит и не увидит Грибкова! Он, без сомнения, с дурными вестями... Ничего хорошего нельзя ждать.

— Где он? Куда ты его провела? — спросила Софья Федоровна, застегивая на ходу пуговицы широкого белого вышитого капота и направляясь к двери.

— Я его, сударыня, в кабинет провела, — отвечала Ефимовна. И, пригнувшись к госпоже, она прибавила таинственным шепотом: — С черного хода прокрался... чуть свет... На счастье, кроме меня, никого в сенях не было... Я его прямо коридором, в кабинет провела... там уж, думаю, никто не увидит...

— Хорошо, хорошо, — проговорила боярыня, ускоряя шаг и сворачивая в потайной проход, соединявший половину мужа с ее спальней и уборной.

Тут все сохранилось в том же виде, в каком было при покойном хозяине дома. В просторный кабинет с окнами в сад и в прилегающую к нему обширную комнату, служащую библиотекой, она приходила плакать и молиться, а Магдалина читать; из посторонних только Лукьянычу да Ефимовне сюда вход не был запрещен, и вряд ли в другое время позволила бы себе старая няня нарушить господское запрещение и ввести сюда чужого. Проводив барыню до дверей кабинета, она осталась караулить в коридоре, чтоб никто не узнал о свидании Софьи Федоровны с подьячим.

Пуше всех она опасалась Лукьяныча. Как он ее, старый хрен, вчера ночью допрашивал, когда она вернулась домой! У ворот ее дожидался. Где была? Да кого видела? Почему вместе с барышней не вернулась?

Разумеется, Ефимовна ничего ему не сказала. Ей давно известно, что он в раскольники перешел. Если и говееет у православного попа, то для виду только, значит, заодно он с теми, что в курлятьевском доме молельню себе устроил. Тоже, поди, чай, вместе с прочими на радения туда ходит.

Но мысли эти только мельком приходили ей на ум; встреча с боярышней, которая у нее в поминании уж давным-давно записана, до глубины души ее потрясла. До сих пор она опомниться не могла. То, чему она была свидетельницей, было так ужасно, так мало похоже на действительность, что Ефимовна не верила ни глазам своим, ни ушам. Уж не дьявольское ли это наваждение? Не видение ли,

напущенное на нее нечистым, чтоб сбить ее с пути истинного? Догадайся она перекреститься да молитву сотворить, может быть, все рассыпалось бы прахом, рассеялось бы, как дым, растаяло бы, как воск, перед лицом огня и ничего, кроме пустых стен подвала, не осталось бы.

Но Ефимовна с перепугу и про Бога забыла, вот как злой дух ее смутил. А теперь, хоть молись, хоть нет, стоит у нее перед глазами грозный призрак умирающей а в ушах звучит ее надтреснутый, прерываемый кашлем голос... Ничего не поделаешь. Скончалась уж теперь, поди, чай, совсем ведь уж отходила, как Ефимовна в последний раз на нее взглянула.

И кажется ей, что тогда только обретет она себе покой, когда исполнит волю новопреставленной боярышни Марии Курлятьевой, передаст Магдалине Ивановне ее предсмертный завет, скажет ей, что названная ее сестра скончалась, заклиная ее перед смертью предоставить любимого человека его злой судьбе, а самой уйти от мира, в лесные дебри, к последователям Симиония. Но как повернется у нее язык это сказать, ведь Симиония-то православная церковь анафеме предает вместе с прочими еретиками, а чудеса, что он делает, от дьявола, говорят.

Пока Ефимовна предавалась этим тяжелым размышлениям, Грибков успокаивал боярыню Бахтерину и умолял ее не верить клевете, взведенной на ее племянника.

— Наклепали на него лиходеи проклятые, поперек горла он им стал, вот и подвели его, чтоб от боярышни вашей отвести...

Старый подьячий был вне себя, глаза у него сверкали злобой, как у молодого, кулаки сами собой сжимались на невидимых врагов, а голос прерывался от негодования. Скрываться от него и не доверять ему было бы безрассудно; каждым своим словом доказывал он, что ему многое известно, и пренебрегать таким союзником Софья Федоровна не решилась бы даже и в таком случае, если б у нее с Магдалиной были защитники и советчики позначительнее этого, а у них никого не было. Всегда жили Бахтерины здесь особняком, со всеми в ладу и ни с кем не в дружбе; так повелось еще при покойном Иване Васильевиче, которого недаром считали хотя и умным, и добродетельным человеком, но большим гордецом. Вот она теперь, эта отчужденность-то, на них и отзывается. Софье Федоровне даже и в голову не могло прийти, чтоб кто-нибудь из чужих принял участие в постигшей их беде, и усердие Грибкова тронуло ее до глубины души.

— Ты насчет нашего расположения к Феде не сомневайся, — сказала она ему, — мы с Магдалиночкой слишком его любим и знаем, чтоб поверить тому, что про него говорят. Это клевета. Мы ни за что его не покинем, — прибавила она, с несвойственной ей твердостью.

От одной мысли, что Магдалина не одна будет действовать и что есть кому ее направить и советовать ей, она успокоилась и стала бодрее смотреть на ожидающие их мытарства.

Лицо подъячего просияло.

— Будем, значит, сообща орудовать, моя сударыня, и с помощью Божией одолеем сатану. Мне это дело вот как в сердце впилося, с душой только разве его из меня вырвут! Кровное это для меня дело, можно сказать. Скажи мне теперь — отдай все свое имущество, потом и кровью целой жизни скопленное, чтоб пострел этот столичный вверх тор-машками полетел, сейчас отдам, не задумаюсь, вот как мне это дело близко к сердцу...

— Так ты знаешь, через кого именно орудуют злодеи, чтоб погубить нашего Федю? — спросила Бахтерина.

Грибков в смущении прижал обе руки к груди.

— Сударыня вы моя! Боярыня премилостивейшая! Не спрашивайте теперь ничего. Придет час воли Божией, все узнаете и увидите: прав ли был Грибков, заверяя вашу милость, что живота своего для спасения благороднейшего из бояр Российского государства, Федора Николаевича Курлятьева, не пожалеет! А до тех пор дозвоьте мне великодушно о всем прочем, этого дела касающемся, умолчать.

— Но что же нам-то делать? — вскричала Бахтерина.

— Мне надо видеть Федора Николаевича, — раздался вдруг совершенно неожиданно голос Магдалины.

Она стояла на пороге растворенной двери кабинета в длинном белом пеньюаре, с распущенными волосами и бледным, как у мертвой, лицом, но взгляд ее черных глаз сверкал такою решимостью, что трудно было бы ей противоречить.

— Это устроить можно, сударыня, — отвечал, низко кланяясь, Грибков.

— Да как же это, Магдалиночка, ведь он в остроге? — заметила тревожно Софья Федоровна.

— Из-за меня! — вскричала девушка. — Маменька, милая, — продолжала она умоляющим голосом, — оставьте нас поговорить наедине с Карпом Михайловичем, ради Самого Господа, не мешайте нам!

— Оставьте со мной барышню, сударыня, — вмешался Грибков, — я им худого не присоветую.

Бахтерина с минуту колебалась, но дочь продолжала смотреть на нее умоляющим взглядом, и она не могла ей не уступить. Магдалина осталась со старым подьячим вдвоем.

— Я, собственно, к вашей милости пришел, боярышня, — начал этот последний, когда дверь за госпожой Бахтериной затворилась. — Боярыне сказать все у меня язык не повернулся бы. Лета ейные преклонные, долго ль на- смерть напугать.

— Спасибо. Со мной все можешь говорить без утайки, я вынесу, — отрывисто вымолвила девушка.

— Да уж иначе нельзя, как без утайки, вашей милости открыть. Сообща будем действовать, значит, что я знаю, то и вашей милости должно быть известно. А только попрошу я вас, боярышня, меня не выдать и все мои слова в тайне хранить. Ни на кого не извольте полагаться. Всюду у них соглядатаи да доносчики, у злодеев у наших, и уж такими крепкими тенетами удалось им нас оплести, что с величайшей опаской надлежит против их козней действовать, — прибавил он, понижая голос и подозрительно поглядывая на запертые двери и на окно, отворенное в пустой сад.

— Я знаю, — сказала Магдалина. — Но я знаю также и то, что Федор невиновен, и могу это доказать...

Она рассказала то, что случилось этой ночью, как ее уговаривали отказаться от Курлятьева и как наконец сестра Марья, раздраженная ее упорством, нечаянно обмолвилась о том, что его погубили с целью очистить Магдалине путь ко спасению.

— По их настоянию я отказалась выйти замуж, но я не могла, да и не хотела скрыть, что люблю его, и вот они испугались, не захотели довериться моему слову и вздумали силой, путем низкой интриги, лжи и клеветы, заставить меня вступить в их секту... Да не на такую напали. Добром можно все из меня сделать, но злом и неправдой — ничего.

Будь она менее взволнована, Магдалину, наверное, удивило бы спокойствие, с которым слушал ее Грибков. Точно ничего нового она ему не сообщала, точно он вперед знал, что именно она ему расскажет. По временам он самодовольно улыбался, точно радуясь подтверждению своих догадок.

— Я прямо ей сказала, что презираю их и ненавижу, а Федору останусь верна до самой смерти. Теперь уж и Авва Симионий это знает. Его ждали туда этой ночью. Сборыще у них должно было произойти.

— Так, так, — закивал Грибков. — Всегда думал я, что они в старом курлятьевском доме обострожатся, и вышло по-моему. Старик Андреич чуть ли не первый в здешнем городе расстригу попа Симиония Христом Спасителем признал. Еще при покойной барыне, как она здесь жила, они с барином, родителем Федора Николаевича, тайный приют скитским предоставляли. Это Карпу Грибкову еще задолго до следствия было известно... Да, — продолжал он все с той же загадочной усмешкой, в другое время испугавшей бы его собеседницу, так много в ней было злорадства и хитрости, — да, знай наш всезнайка, столичный слеток господин Корнилович сотую часть того, что я знаю, давно бы в прокуроры выскочил, — прибавил он с коротким смехом, отразившимся злобным блеском в маленьких бегающих глазках. — Да куда ему, чертовой мельнице, до настоящего человека, который так наторился в делах, что даже и спяна не прорвется у него того, о чем молчать надо. Ему бы только языком щелкать да за питерских благодетелей прятаться. Ну, увидим, увидим, как-то они его таперича вывезут, благодетели-то его, увидим! — повторил он, потирая руки.

— Ты думаешь, что тут и Корнилович причастен? — спросила Магдалина.

— Не думаю, а точно знаю, моя сударыня.

— Значит, он с ними в сговоре?

— И, матушка! Кто с таким вертопрахом в сговор пойдет! Да и не нужно вовсе. Будет с того, что он, как щенок слепой, в какую угодно тину полезет, чтоб отличиться, и, сам того не подозревая, им на руку сыграет, им и того довольно. Да и сам Федор Николаевич им с головой отдался... Посчастливилось проклятикам...

Магдалина побледнела.

— Как это с головой отдался? — спросила она дрогнувшим голосом.

— Да так же-с. Много они нам хлопот наделали. С испугу точно затмение на них нашло, — прибавил он, запинаясь.

— Говори мне все, все! — вскричала девушка, раздражаясь его нерешительностью. — Я сказала тебе, что ко всему готова, все вынесу...

Грибков передал ей подробно все, что произошло с Курлятьевым, начиная с его приезда к князю в одной коляске с губернским стряпчим и кончая допросом в остроге. Немудрено, что все это до мельчайших подробностей ему было известно — писарь, записывавший слова обвиняемого в

квартире смотрителя тюрьмы, был его вскормленник и крестник. Грибков и грамоте его выучил, и в люди вывел; благодаря Карпу Михайловичу малый этот так понаблоснился в сутяжничестве, что, помимо должности при остроге, писал прошения, сочинял ябеды и отписки темному люду и поддерживал деятельное сношение между заключенными и друзьями их, еще не изловленными.

— Мне надо видеть Федора Николаевича, — объявила Магдалина, выслушав повествование старого подьячего.

— Это устроить можно-с, — отвечал Грибков.

— И чем скорее, тем лучше, — продолжала девушка. — Я одна могу заставить его действовать так, как он должен действовать. Он мне поверит, когда я ему скажу, что если он сам не докажет своей невинности, то я ее докажу.

— Слушаюсь, — повторил Грибков, поднимаясь с места и низко кланяясь.

— И, пожалуйста, чтоб никто в мире, кроме нас двоих, про это не знал. Маменька будет беспокоиться.

— Я и сам хотел об этом просить, — сказал Карп Михайлович. — Можно, значит, прямо к вашей милости являться, когда нужно будет?

— Нет, здесь опасно. Кто знает! Может быть, и я на подозрении у господина Корниловича, — прибавила она с надменной усмешкой, — может быть, он найдет нужным за мной следить.

— Уж это как есть, всенепременно-с, — поспешил согласиться Грибков.

— Значит, тебе приходиться ко мне нельзя, надо нам видаться в другом месте... — Она задумалась на минуту. — Мне кажется, что всего безопаснее было бы нам встречаться в старом доме, — вымолвила она наконец, — у старика Андреича...

— А разве он не выдаст?

Магдалина усмехнулась.

— Это меня-то, чтоб он выдал? Меня? Ну, нет, меня он не выдаст!

— А они? Нет, уж, боярышня, бросьте вы эту мысль, послушайтесь старого человека, не кидайтесь из огня да в полымя, не ходите больше в старый дом; уж я измыслю, как нам с вами видаться и как вас к нему провести, чтоб никому и вдомек не было, доверьтесь только мне, каяться не станете, Христом Богом клянусь вам, что не станете. Ну а теперь мне пора. Слышите, к обедне звонят? Народ, значит, по улицам сейчас заснует, надо скорее домой прошмыгнуть.

Молча кивнув, она протянула ему руку, которую он почтительно поднес к губам и поспешно вышел.

Грибков сдержал слово.

Дня три спустя, входя в церковь к всенощной, Магдалина увидела благообразную, похожую на купчиху женщину средних лет, повязанную светло-синим шелковым платком, которая так настойчиво уставилась на нее своими серыми выразительными глазами, что она невольно замедлила шаги, приближаясь к ней.

У боярышни Бахтериной было свое место в этой церкви, их приходской, у левого клироса, перед местным образом Богородицы, у самого алтаря, обновленного лет десять тому назад усердием покойного боярина Бахтерина. Место это ей почтительно уступали даже и тогда, когда она опаздывала к службе и находила его занятым. Но в этот вечер незнакомка в синем платке повела глазами на пустое место рядом с собой, и Магдалина, повинуясь тайному предчувствию, дальше не пошла и встала рядом с нею.

Лакей, с ковриком в руках, тоже остановился в двух шагах от своей госпожи, недоумевая перед ее неожиданным капризом. Всегда у самого алтаря, впереди всех, становилась, а теперь вдруг у двери, чуть не с нищими встала.

Всенощная еще не начиналась. Народу набиралось с каждой минутой все больше и больше. Вдруг у самого уха боярышни Бахтериной чей-то голос отрывисто прошептал:

— Отдадите лакея.

Она обернулась. Соседка ее усердно крестилась, отвешивая поясные поклоны перед образом. Но Магдалина была уверена, что приказание исходило от нее, и, подозревая лакея, она велела ему поставить свечи перед образами, а также в алтарь. Когда он удалился, она снова повернула голову в ту сторону, где стояла незнакомка, но ее уже там не было; она торопливо пробиравась сквозь толпу к выходу. Синий шелковый платок мелькал на паперти, когда Магдалина ее догнала.

Заметив, что она настойчиво смотрит в ту сторону у ограды, где остановилась запряженная четверкой карета Бахтериных, Магдалина поспешно перешла пространство между церковью и оградой и приказала кучеру ехать домой.

— Я пешком вернусь, — прибавила она, продолжая бессознательно повиноваться чужой воле.

Женщина в синем платке, как будто только этого и ждала, чтоб юркнуть через узкий проход в каменной ограде

в уединенный переулок, тянувшийся за церковью. Магдалина последовала за нею.

Переходя из улицы в улицу, они очутились в глухом предместье, среди каких-то хижин, мусора и щебня. Вдали виднелся острог.

От волнения у Магдалины дух перехватило. Сейчас она увидит своего возлюбленного. Она была в этом точно так же уверена, как в том, что жива и дышит.

Через что надо пройти, каким опасностям подвергнуться, чтоб достигнуть цели, ей и в голову не приходило останавливаться на этих мыслях. Она так рвалась к нему душой, что не замедлила бы шага даже и в том случае, если б ей объявили, что ее ждет смерть после этого свидания.

Но женщина к острогу не свернула, а зашагала в противоположную сторону, к оврагу.

— Мы к принкулинским, — сказала она, и, оглянувшись на свою спутницу, прибавила: — Не извольте опасаться, тоже люди.

Магдалина поспешила ее успокоить. Одно только ей было страшно на свете — мысль, что ей не удастся повидаться с Федором.

— Не извольте беспокоиться на этот счет, уж если Илья Иванович за что-нибудь возьмется, значит, так и будет, — возразила ей спутница.

Илья Иванович это, без сомнения, тот писарь, крестник Грибкова, который записывал слова Федора на допросе и который живет под одной с ним кровлей, в здании острога. «А кто эта женщина?» — думала Магдалина. Но произнести вслух эти мысли ее что-то удерживало. Если б можно было, ей бы сказали, не дожидаясь расспросов. Да и опасно было тут говорить; у оврага как будто копошились люди между кустов.

За короткими южными сумерками наступила ночь, и на потемневшем почти внезапно небе выступили звезды, но сияние их было так слабо, что Магдалина узнала Грибкова в идущей к ним навстречу человеческой фигуре тогда только, когда он подошел к ним вплотную.

— Иди домой, я сам провожу отсюда боярышню, — сказал он шепотом спутнице Магдалины.

Женщина в синем платке немедленно повернула назад, а он предложил боярышне, опираясь на его плечо, спуститься по узенькой крутой тропинке в овраг, на дне которого кое-где торчали трубы на кровлях разваливающихся землянок.

В первую минуту кроме этих крыш и труб Магдалина ничего не могла разглядеть; тут было тихо, темно и спокойно, как в могиле; но мало-помалу и по мере того как глаза ее осваивались с темнотой, она стала отличать кусты от камней и заметила, что какие-то тени движутся между этих камней и кустов, и до ушей ее стали доходить шорох и шепот. Вдруг у самых ее ног, из оконца, выглянуло бледное лицо старухи; дальше, при их приближении, какой-то ставень захлопнулся в траве, причем она ясно различила руку, высунувшуюся из-под земли, чтоб потянуть к себе этот ставень.

И, вероятно, она невольно вздрогнула при виде этой руки, протягивающейся из-под земли, как рука мертвеца из могилы, потому что старый подьячий поспешил ее успокоить.

— Не извольте бояться, боярышня, никто вас здесь не тронет, — прошептал он. — Сейчас дойдем, — прибавил он, указывая на кусты в отдалении, сквозь которые проникал свет, такой слабый, что его можно было принять за гнилушку или за светящегося червяка, сверкавшего во тьме.

— Вздул-таки огонь, несуразный! На весь овраг напустил свету, леший, — заворчал старик, приближаясь к освещенным кустам.

И вдруг свет этот потух, кусты зашевелились, и человек выполз из-под земли им навстречу. При бледном мерцании звезд Магдалина различила высокую фигуру в чем-то сером, с пучком темных волос, спадавших на бледный лоб.

— Запоздал ты, крестный, сейчас зорю забьют, — тихо произнес незнакомец, глянув исподлобья на спутницу Грибкова.

— Где же сейчас, Илья Иванович, к «достойной» еще не звонили, — возразил подьячий. — И, обернувшись к Магдалине, он сказал: — Теперь, моя сударыня, извольте уж за этим пареньком идти, куда он вас поведет, а я здесь подожду.

— Идите за мною, боярышня, не бойтесь. Лесенка хоть и крутенька, но крепкая, десяток таких, как ваша милость, выдержит, — объявил Илья Иванович. — И стал постепенно проваливаться в узкую щель, в землю. Магдалина последовала за ним.

— Ну, вот мы и дома.

Они очутились в проходе чуть-чуть пошире того, что вел с поверхности в подземелье, со сводами и выложенным камнем полом, на котором стоял зажженный фонарь. Спутник Магдалины взял этот фонарь и зашагал по длинному

коридору, такому узкому, что двум людям рядом нельзя было по нему идти. Долго шли они молча, так долго, что на Магдалину отчаяние стало находить; ей казалось, что конца не будет этому подземному странствованию. При скудном свете сальной свечки, вставленной в грубый фонарь с зелеными закопченными стеклами, она ничего не могла различать, кроме несуразной фигуры своего спутника да трепещущих теней вокруг, казавшихся еще чернее и мрачнее от белизны ее платья, на которое они ложились фантастичными узорами. Воздух с каждой минутой становился душнее, пахло сыростью, плесенью, а ноги наступали все чаще и чаще на что-то скользкое и живое.

— Лягушки, — пояснил Илья Иванович. — Развелись от дождей. Своды-то трещины дали кое-где, ну, и протекают...

Он указал рукой по сторонам:

— Там уже все провалилось. Один только этот проход пока держится... На наше счастье, — прибавил он, оглядываясь с усмешкой на свою спутницу.

Уж, конечно, с тех пор как стоят эти стены, ни разу еще не проходила здесь такая красавица, как Магдалина. разве только разбойничьему атаману, Алешке Соколу, являлось в грезах видение, похожее на это, когда, скрываясь от полиции в Принкулинской усадьбе, он мечтал о своей ясной зореньке, боярышне Курлятьевой. Но это было давно...

Наконец тени перед ними стали как будто рассеиваться, что-то твердое и неподвижное зачернело сквозь них, все яснее и яснее. Это была железная дверь. Писарь ее растрогал. На них подуло свежестью, и они очутились в четырехугольном пространстве с каменной лестницей в глубине. Лестница эта, вдвое шире той, по которой они спускались в подземелье из оврага, вела во дворик внутри острога. Таким образом перешли они подземным ходом всю площадь, отделявшую городскую тюрьму от Принкулинской усадьбы. Немудрено, что путь показался Магдалине нестерпимо длинен.

Немногим в городе был известен этот подземный ход, но на счастье Курлятьева антагонист губернского стряпчего старый подьячий Грибков принадлежал к числу этих немногих. Однако без помощи крестника ему вряд ли удалось бы им воспользоваться; острог караулили не только снаружи, но также изнутри, особенно тот флигель с окнами во двор, в котором содержался Курлятьев. Но Илья Иванович был сам из здешних, ему были известны слабости каждого из осторожных обитателей, начиная от старшего смотрителя,

майора в отставке, безногого Ивана Ивановича, и кончая последним сторожем, красноносым Никитой, который за косушку водки кого угодно продаст и выдаст.

Штука эта — провести бахтеринскую боярышню к курлятьевскому боярину, превращенному в арестанта по милости злейшего врага Грибкова, Корниловича, штука эта стоила-таки почтенному Карпу Михайлычу не малую сумму, которую он, впрочем, без малейшего колебания пожертвовал, в полной уверенности, что деньги эти сторицей ему вернутся со временем.

Курлятьев не выразил ни малейшего удивления при появлении своей возлюбленной.

В этот день ему было как-то особенно легко на душе. Корнилович, надоедавший ему своими посещениями и вчера, и третьего дня, сегодня не приходил, и никто не мешал заключенному предаваться внутреннему мирозерцанию. Размышления свои он прерывал молитвой, после которой с обновленным духом снова погружался в бездонный океан мыслей, воспоминаний и сопоставлений. Сколько любопытных открытий делал он на новом пути! Как хорошо узнавал он самого себя и других! Каким ярким светом озарялось в его душе то темное и ничтожное, мимо которого он всю свою жизнь проходил с беззаботным равнодушием, как глухонемой и слепой от рождения, для которого не существует ни прелести красок, ни обаяния звуков.

Со слезами восторга и умиления благодарил он Бога за свершившееся над ним чудо. Когда наступила ночь, он думал о Магдалине, о соединявшей их любви, о том, как она обрадуется, когда узнает, что он теперь вполне ее понимает и разделяет все ее воззрения на жизнь. С какою тоскою на его вопрос: «Почему она отталкивает от себя счастье, если любит его?», — отвечала она: «Не спрашивай, ты не поймешь». Ну вот он теперь понял. Надо было для этого совершиться убийству, и оно совершилось. Но за это преступление он не ответит перед высшим Судией. Пути Господни неисповедимы. (Как понятно ему теперь это изречение!) Да, не он стрелял в князя, но он должен покориться судьбе, терпеливо сносить испытание, ничем не стараться облегчить возложенный на него крест. Так нужно, и все делается к лучшему. Разве отец его всю свою жизнь не страдал невинно? А сестры его? А великое множество других мучеников за Духа Истины? Ну, и его посетил Господь. Пора, давно пора.

Когда у двери послышался шорох, ему точно кто-то шепнул: «Это она пришла».

И он с улыбкой ждал ее появления.

— Через полчаса я за вами приду, боярышня, — шепнул Илья Иванович, впуская ее в камеру и запирая за нею на ключ дверь.

О чем говорили они эти полчаса? Да и можно ли назвать разговором бессвязные восклицания и слова, срывающиеся с их уст. Она плакала в его объятиях от счастья, что обрела его таким, каким душа ее жаждала его видеть с первой минуты встречи, а он благодарил Бога за ниспосланное ему блаженство. Наперебой сообщали они друг другу о внутреннем перевороте, свершившемся в их душах. Он пытался объяснить ей, как слеп и глух был он до сих пор к намекам совести, к проявлениям Духа Истины, она прерывала его исповедью о своих заблуждениях.

О том, как ему спастись от людских козней, очиститься от взведенной на него клеветы и вместе с нею наслаждаться земными благами, они и не вспоминали. А между тем ведь она только для этого и пришла сюда.

Уже перед разлукой, когда у запертых дверей слышались шаги писаря, Магдалина вдруг все вспомнила и, не договаривая слов, прерывающимся от волнения голосом сообщила своему возлюбленному о своем последнем свидании с сестрой Марьей и о том, что она от нее узнала.

— Это они тебя опутали, это они хотят тебя погубить, чтоб удержать меня в своей власти... Но они ошиблись в расчете, теперь, когда ты страдаешь из-за меня, могу ли я от тебя отвернуться, даже если б не любила тебя, а я тебя люблю больше жизни!.. Слушай, — продолжала она с возрастающим одушевлением и не замечая, с каким странным выражением он на нее смотрит, — слушай, я пойду к этому Корниловичу, и к прокурору, и к губернатору, ко всем, кто тебя считает виновным, и все открою. Мне известны все их тайны...

Лицо его исказилось таким ужасом, что она в испуге оборвала свою речь на полуслове.

— Ты этого не сделаешь!.. Я запрещаю тебе! Властью жениха, властью будущего мужа запрещаю тебе даже и думать об этом! — вымолвил он твердо, хватая ее руку и крепко, до боли, сжимая ее в своей. — Они мне дороги эти люди... Они мне близки... Отец мой их любил и принял за них муки... с ними родная моя сестра. Оставь их в покое... они скорее мне простят, когда увидят, что я им покоряюсь...

— Но ты ни в чем перед ними не виноват! Ты даже их не знаешь! — вскричала Магдалина.

— Ты сказала, — произнес он с печальной улыбкой.

— Но разве это твоя вина, что ты их не знаешь? — вымолвила она с усилием.

— Полно, милая, не поддавайся искушению, не повторяй слова, которые нашептывает тебе враг человечества, не рассуждай, а иди по стезе Духа Истины... Ты уже обрела эту стезю... благодаря им, — прибавил он чуть слышно и как бы про себя.

— Но я все-таки тебя спасу, — с убеждением сказала Магдалина после небольшого раздумья.

— Спасешь, если угодно будет Господу Богу, — спокойно возразил он.

Это были последние его слова, но они так запечатлелись в ее душе, что ничто, никакие горести, никакие неудачи не могли заглушить их. В самые тяжелые минуты отчаяния звенели они у нее в сердце как благовест к свету и к истине.

Но недели через две Магдалина уже не говорила себе с такою уверенностью, как в тот вечер: «Я его спасу!» — а с тоской спрашивала себя: «Как мне его спасти?» Месяц же спустя обстоятельства так осложнились и запутались, что по временам она падала духом, и Грибков, единственный человек, которому она поверяла свои душевные муки, должен был уверять ее в том, во что он уже и сам перестал верить, а именно: что все раскроется, убийца князя найдется, и общественное мнение, равно как и убеждения судей с господином Корниловичем во главе, внезапно изменятся, одним словом, чтоб спасти ее от отчаяния, он уверял, что свершится чудо. И под влиянием его слов Магдалина оживала на время и снова ей казалось невозможным, чтобы невинный человек погиб за чужой грех и чтоб, любя этого человека так страстно, как она его любит, она бы спасти его не могла.

Но иногда и на Грибкова находило отчаяние.

— Улики размножаются, как песок морской, — докладывал он ей, печально кивая головой. — Людишек его так замучили допросами да угрозами, что надо только дивиться, как еще держатся до сих пор. Однако, как засадят их в темную да зачнут селедками кормить, а воды не давать, обезумят от жажды и того наболтают, что никому и не снилось. Одного только теперь лиходеи наши боятся, чтоб особого ревизора по этому делу из столицы не прислали. Все их шашни тогда на свет Божий выплывут. Копнут только у них в палате, — такой пойдет дух! По всей губернии расползется да и соседние-то прихватит.

— Но тогда все откроется, и Федя будет оправдан, — заметила Магдалина, хватаясь за это предположение, как утопающий за соломинку. Но Грибков отвечал на это только вздохом.

— Ты думаешь, что и петербургский ревизор его не спасет? — спросила дрогнувшим голосом девушка.

— Эх, кабы нам уговорить их бежать отсюда! Да подалее, в чужие края. Вот тогда, действительно, им нечего было бы опасаться, — сказал старик, не отвечая на предложенный вопрос и в смущении отворачиваясь от пытливой взгляда, устремленного на него.

— Бежать! Да разве это возможно?

— Все возможно, моя сударыня.

— Так возьми же у меня денег! Сколько тебе? Мы можем дать, у нас много, — вскричала Магдалина.

— Дайте досказать, сударыня. Тут зацепка не в одних деньгах...

— А в чем же?

— Да в самом Федоре Николаевиче, если уж хотите знать, вот в ком. С опасностью жизни, можно сказать, я к нему проник намеренно, на коленях умолял их позволить нам их спасти, — не желают. «Я, — говорит, — пускать тебя к себе не велю, если ты меня этим будешь искушать». Все на том стоят, что за грех против покойного князя Господь их карает, ничем их с этой мысли не сбить.

— Мне надо его видеть, — объявила Магдалина.

— Напрасно только измучаетесь, не слушают они и вас. Нашло на них вроде как помешательство, — хотел он сказать, но, спохватившись, смолк, не выговорив страшного слова.

— Так что же, по-твоему, надо делать?

— По-моему, надо бы насильно их из острога извлечь, вот что по-моему. Уж толковали мы об этом с Ильей, да он говорит — повременить надо, пусть начальство поостынет маленько к этому делу. Протоколы, следствия, допросы и ответы подсудимого и свидетелей, — все это с эстафетой в Питер послали, к господину министру. Что-то будет!

— А когда же оттуда можно ждать ответ?

Грибков пожал плечами.

— Кто же может это знать, моя сударыня! Бывает и так, что в год и два такие дела кончаются, а случается, что десятки лет тянутся. Все от людей да от денежных молитв зависит. Кабы было кому хлопотать за нас в Питере, ну, тогда действительно...

— Надо туда ехать. Я поеду.

— Повремените до осени, тогда и я с вами, — сказал подъячий.

— До осени! А тем временем дело его кончится, и его приговорят к каторге, в Сибирь, и отправят туда!

Как ни был озабочен Грибков, но предположение это заставило его засмеяться. Чтоб в три месяца уголовное дело было решено, да с тех пор, как мир стоит, этого не бывало! Он объяснил боярышне, что раньше зимы и ответа из Питера нельзя ждать, стало быть, никаких перемен не произойдет. А до тех пор, может, и удастся увести заключенного за границу.

План этот, по-видимому, улыбался ему гораздо больше всяких упований на справедливость и проницательность высшего начальства, и уж по одному этому можно было судить, каким опасным представлялось ему положение несчастного Курлятьева. В глубине души он считал его помешанным и, по его мнению, обстоятельство это усложняло дело самым ужасным образом. Он, значит, не только постоять за себя не захочет, но сам в петлю полезет, как и отец его, который пел благодарственные гимны, когда его заковывали в цепи, отвечал текстами из Священного писания на все предлагаемые ему судьями вопросы, одним словом, так вел себя во время следствия по обвинению его в принадлежности к зловредной и противоправительственной секте, а также в укрывательстве беглых из острога и Сибири преступников, что его нельзя было не заключить в дом умалишенных. Вот что ожидает и сына его при самых благоприятных условиях, если в нем примет особое участие та личность, что пришлют из Петербурга, и решит, что убийство совершено в припадке сумасшествия, а это хуже Сибири. В Сибири покойный Николай Семенович, может быть, до сих пор был бы жив и здоров, а в сумасшедшем доме и двух лет не выдержал, совсем помешался, захирел и от скоротечной чахотки помер. А какой был крепыш! Цвел силой и здоровьем, вот как и сын теперь. И лет ему было немного. Семнадцати женился; старшей барышне двадцать два года минуло, как он скончался, значит за сорок еще не перевалило. Нет, нет, надо спасти молодого барина от такой беды и, не ожидая приезда петербургских ревизоров, насильно увести его в безопасное место.

Грибков намекал Магдалине на чужие края, но он знал и в России такие места на Дону, у казаков, где сыну боярина Курлятьева окажут радушный прием. Не выдадут его и в степях за Уралом, да и здесь, поблизости, найдутся

укромные местечки, где всю жизнь можно преспокойно прожить под чужим именем.

Жаль только, что состояние-то у Курлятьева как выморочное в казну отойдет. Ну да зато Бахтерины богаты.

Магдалину опытный старик понял как нельзя лучше. Она из тех, кто куда угодно, в самый мрачный вертеп пойдет, не задумываясь, за любимым человеком, и чем он несчастнее, тем сильнее и беззаветнее она его будет любить.

И ничего для него не пожалеет. Остороженько да умненько повести дело — можно господину Корниловичу вот какой нос натянуть! То-то обозлится, как добыча у него из цепких когтей выскользнет!

Но вдруг такое дело не оборудуешь. Надо и времечко подходящее выбрать, и верных приспешников отыскать, и надежное убежище найти.

Однако и от первого своего намерения: попытаться найти настоящего убийцу — Карп Михайлович не отказался. От заботы он и сна, и аппетита лишился. Еще солнышко не вставало, а он уж на ногах; умылся, оделся, Богу помолился, взял палку, надел картуз, да и в путь. Весь день, до позднего вечера бродит по окрестностям города, и где только не побывает! И на монастырской мельнице можно было его встретить у кумы мельничихи, и в лесу за Принкулинской усадьбой, и на реке с рыбаками, что рыбу тенетами ловят у островка, версты за три от города. Такой стал старичок проворный, и молодому за ним не угнаться.

XII

А в Москве тем временем вот что происходило.

Купчиха Сынкova сидела у окна и всматривалась в ту сторону, откуда должен был прийти ее муж.

Не успел он еще как следует побеседовать с нею после приезда, так и рвут его по Москве торговые люди. Отсутствие его длилось целых полгода; уехал — еще зима стояла, а вернулся после Петрова дня. Побывал он и у Каспийского моря, и у казаков на Дону, и на Черном море, вернулся в Астрахань, а оттуда, на судах, привез в Тверь транспорт соленой рыбы тысяч на сто, говорят.

Сколько он с этой рыбы наживет, страсть! Посылает же Господь человеку счастье! Все-то ему удастся, все-то у него спорится, что ни затеет. Рыба в цене; бурями множество судов поломало и вместе с людьми в море унесло, а его из всех бед и напастей, от которых другие сотнями гибнут,

завсегда целым и невредимым ангел хранитель выносит. Думали, уж не вернется на этот раз; целых два месяца вестей от него не было. Жена его, как тень, бродила, бледная да худая. Уж и слезы-то все выплакала по нем. Толковали кумушки, что ей уж и вещие сны про него снились, будто звал он ее к себе на дно морское полюбоваться, как раки тело его белое на клочья рвут, и будто она уж и сама собиралась в Астрахань ехать, чтобы хоть косточки супруга попытаться собрать, чтоб по-христиански отпеть да земле предать, и вдруг прискакал от него посол из города Саратова с хорошими вестями: все благополучно, Алексей Степанович жив и здоров, скоро сам будет, а писать не мог по недосугу да по той причине, что все по киргизским степям разъезжал, коней покупал да земли еще десятин тысячу или две приобрел; дешево продавалась, у самых царских солончаков. А за это время бури на море стихли, точно того только и ждали, чтоб он вернулся да, рыбой нагрузивши барки, в обратный путь пустился.

— Не успел и десяти верст отъехать, как на море опять закрутило, а при мне целый месяц вода стояла, как зеркало, — рассказывал по возвращении Алексей Степанович супруге.

— Уж и молилась же я за тебя, Алешенька! Чуяло ли твое сердечушко, как жена по тебе убивалась? — говорила Катерина, с радостными слезами обнимая мужа.

— Чуяло, Катерина, всегда ты у меня в сердце, — молвил Сынков, отвечая на ласки жены.

Но взгляд его был все такой же задумчивый, и улыбка такая же печальная, как и всегда.

Неужто никогда не увидит она его ясным и веселым? Неужто никогда не отпадет злая змея, что постоянно сосет ему сердце?

— Полегче ли тебе, дружок? — спросила она у него шепотом, прижимаясь к нему и любовно заглядывая ему в глаза. — Уж как я молилась-то за тебя!

— Молись, твоя молитва чистая, она не может не дойти до престола Всевышнего, — отвечал он.

— Да полегче ли тебе, ну хоть немножечко? — умоляюще протянула она, не спуская пристального взгляда с дорогого лица.

Он молча вздохнул.

О как понятен ей был смысл этого вздоха! Всегда отвечал он так на ее расспросы. И зачем только пристаёт она к нему, разве не видит она по его лицу, не чувствует по его голосу и даже по его ласкам, когда они остаются вдвоем

и когда никто, кроме Бога, их не может видеть, что рана его души не зажила и мучит его такой же жгучей болью и тоской, как и двадцать лет тому назад.

— Когда же ты сжалишься над нами, Господи! — простонала она, поднимая глаза к небу.

— Когда мы искупим, — произнес он вполголоса.

Она ничего не возражала. Ей было хорошо известно, что подразумевает ее муж под этим словом «искупить», и при одной этой мысли ей делалась так жутко, что она спешила отогнать от себя мрачное предчувствие.

Нет, нет, все, только не это! Всю жизнь, с тех пор как она себя помнит, жила она им, только им. Крошечной девочкой тянуло ее к нему, и она счастлива была только с ним, у него на руках. Потом наступило упоение страсти. Они признались друг другу в любви, и целых три месяца счастливее их не было на земном шаре. До сих пор, когда Катерина вспоминала про свои свидания с возлюбленным, ночью, под густыми липами, в саду, у нее сердце замирало от восторга. Страшными муками заплатили они оба за это блаженство, но если б дано им было начать жизнь снова, ни на секунду не задумалась бы она снова упасть в его объятия. Семь лет они не виделись, а там, каким-то чудом опять их Господь свел, но уже от прежнего осталась в них одна только любовь, остальное все изменилось. Она пошла за ним не на радость и не на счастье, а на вечную тоску и печаль. Он от нее ничего не скрыл, во всем покаялся. Столько на нем было тяжких грехов, что не к алтарю с любимой девушкой путь ему лежал, а на виселицу либо на плаху. Она знала, что, если не пойдет за ним, не прилепится к нему, он не выдержит угрызений совести и сам бросится навстречу казни. Они повенчались, и вот до сих пор помогает она ему влачить жизнь, нести крест. Порой они оба изнемогают под бременем, сокрушаются и ждут смерти как избавления. Но это только порой; тоска успокаивается, и Катерина повторяет себе, что она все-таки счастливее многих других. Ведь могло и так случиться, что она осталась бы в монастыре и была бы даже лишена утешения молиться на могиле своего милого. У казненных разбойников могил нет; их тела бросают на растерзание диким зверям. А теперь они вместе могут и молиться, и делать добро ближним. Кто знает, может быть, Господь и сжалится над ними со временем, пошлет им душевный покой на старости лет.

Утешаясь таким образом, она старалась себя уверить, что и муж ее разделяет эти чувства и что ему временами тоже дышится легче.

Так думала она и в тот день, глядя на него рано утром, когда он спал рядом с нею на широкой кровати. Тихонько спустившись с постели, она долго молилась перед образами, и молитва облегчила ей сердце. Весь день прошел в хлопотах и суете. Хозяин ходил по своим лавкам, выслушивал донесения приказчиков, просматривал в конторе счета, записи, условия, раздавал подарки, привезенные издалека. Он оживился при этом, и по двору разнеслось, что Алексей Степанович вернулся домой предовольный; за упущения ни с кого не взыскал и всех наградил, каждому ласковое слово сказал. С женой он в тот день сталкивался мимоходом и только улыбкой отвечал на любящий взгляд, которым она встречала и провожала его. К полудню весть о возвращении Сынкova облетела весь околоток; к нему спешили со всех сторон, кто за новостями, кто за письмами от близких из тех стран, где он побывал, кто затем, чтоб из первых рук купить у него товару, а как завечерело, он сам отправился по делу к приятелю купцу на Тверскую. Наступили сумерки, а его все нет. Ужинать, верно, в гостях упростили остаться.

Вернувшись от вечерни и не застав мужа дома, Сынкova присела к окну его ждать. Начало смеркаться. Отошла и всенощная. Мимо окна то и дело проходили знакомые и раскланивались с хозяйкой Алексея Степановича. Некоторые останавливались, чтоб перекинуться с нею словечком, но становилось все темнее и темнее, улица опустела, а хозяин не возвращался.

Сынкova вспомнила, что люди еще не ужинали, тоже ждут возвращения хозяина, чтоб сесть за стол. «Надо им сказать, чтоб не дожидались», — подумала она, поднимаясь с места. Но прежде чем отойти от окна, заглянула в него еще раз и увидала монашку, торопливо направлявшуюся к их дому. По одежде судя, не из здешних, из скитских как будто. Увидав Сынкову, она ей закивала и ускорила шаг, а Катерина, узнав в ней скитницу симионовской обители, пошла к ней навстречу, к воротам.

Симионовцы часто у них останавливались, когда являлись в Москву. Им было известно, что Сынкovy не пожалуют угостить на славу и без щедрого подаяния не отпустят пришельцев с родной стороны. Только от странников да от странниц и доходили до них вести о том крае. А в этой Сынкova узнала к тому же знакомую черничку; она приходила сюда лет пять тому назад и прожила у них с месяц.

— Мать Ненила! Какими судьбами ты опять к нам? — радушно приветствовала она ее, растворяя калитку.

— Спаси тя, Христос!

И подозрительно оглянувшись по сторонам, она прибавила, таинственно понижая голос:

— Никого у тебя чужих нет?

— Никого. Одна я дома. Алексей Степанович вернулся вчера, да к приятелю по делу зашел. Иди, без сумления, никого ты у нас не встретишь. Откуда ты? Давно ли из наших мест? — говорила Сынькова, вводя посетительницу в дом и проходя с нею, не останавливаясь, прямо в свою спальню.

— Все ли у тебя благополучно? Здоров ли хозяин твой? — спросила монашка, с любопытством осматриваясь по сторонам и останавливаясь взглядом на накрытом столе, уставленном яствами и чайным прибором.

— Слава Богу! Облегчи себя, разденься, чай будем пить, — отвечала Сынькова и, растворив дверь, приказала работнице нести самовар.

— Спаси тя, Христос, — повторила гостя. — За угощение спасибо, день-деньской по храмам Божиим ходила, ни минуточки не присела, макового зернышка во рту не было. Три раза в соборе была, обедню, вечерню да заутреню на паперти, с нищими, простояла.

Она повернулась к образам, перекрестилась, поднялась и подошла к столу. Работница, подав самовар, вышла, и Сынькова стала заваривать чай.

— Поешь балычка с белым хлебцем, пока чай-то настаивается, да Расскажи мне про ваших, как вас Господь милует, здоров ли авва Симионий? — спросила Катерина.

— Слава Богу, слава Богу.

— Да что это я угощаю тебя балыком-то после дороги, когда у нас баня горячая! — вспомнила Сынькова. — Сегодня утром для Алексея Степаныча топили.

Но скитница от бани отказалась.

— Ведь я уж вторую неделю здесь проживаю, и в бане парилась, и бельишко сменила.

Она принялась за еду.

— А я думала, ты прямо к нам.

— Нет, благодетельница, прислали меня сюда не по одному вашему делу, других еще поручений надавали, окромя этого. По нынешним временам без благодетелей не проживешь. Горька наша жизнь, благодетельница...

— Какое же у тебя до нас-то дело? — перебила Сынькова разглагольствования своей посетительницы. Знакомы ей были эти сетования людей старой веры на тяжкие времена. Вечно жалуются на угнетения, чтоб разжалобить и пощеднее подачку себе выманить.

Но на этот раз она ошиблась в своих предположениях; дело, с которым явилась к ней мать Ненила, очень близко ее касалось.

— Да перво-наперво должна я тебя известить, что сестрица твоя по крови, а наша сестра по духу, молитвенница наша любезная, девственница пречистая, Мария, приказала долго жить,

— Умерла? Маша? — вскричала Сынкova и залилась слезами.

А между тем нельзя было этого не ждать.

Ведь уж она на ладан дышала еще в прошлом году, когда вот здесь, в этой самой комнате, грозила адскими муками сестрам за то, что они не ищут по одному пути с нею Света Истины. Уже и тогда Катерина и Клавдия с ужасом себя спрашивали: добредет ли она до скита, не помрет ли где-нибудь дорогой, в лесу или в поле, одна и без помощи, так была она уже истощена болезнью. При каждом припадке кашля кровь шла у нее горлом; изнурительная лихорадка ни на минуту не покидала ее, и она еле держалась на ногах от слабости. Но дух был в ней бодр... Как страстно отстаивала она свои заблуждения! Как яростно нападала на их брата! Бедная ученица! Так и скончалась в поисках Истины, не узревши Света, не убедившись, что Бог есть любовь и милосердие, а не месть и ревность. Бедная страдалица, покинувшая жизнь, не зная ни единой радости, а одно только горе, скорбь и слезы... Упокой, Господи, ее грешную душу!

Катерина набожно перекрестилась.

Завтра, чуть свет, надо послать в церковь заказать заупокойную обедню.

— Которого числа Маша скончалась? — спросила она, когда первое впечатление удивления и печали миновало и можно было покойнее рассуждать о случившемся.

Мать Ненила так была занята, что не расслышала предложенного ей вопроса. Предоставляя хозяйку ее печали, она сама начала наливать себе чай и, опорожнив чашек шесть с вареньем, медом и сливочками, снова принялась за еду.

— Ты что спрашиваешь-то? — осведомилась она, упирая пирог с яйцами и рисом, за который она принялась, опорожнив целую тарелку жирного крупеника.

Катерина повторила свой вопрос.

— Под самый день мученика Тимофея и Мавры сподобил ее Господь, сам авва Симионий ее напутствовал.

— Где же она скончалась? В своей келье, в скиту?

— Нет, в старом доме.

— Да, вы там теперь обострожились, нам сказывали, — заметила Катерина.

— Обострожились было мы там, правда, ну а теперь опять разнесло нас злым вихрем по лесам да по оврагам.

— Что же так?

И вдруг, вспомнив про брата, что он этим летом должен был ехать родительское наследство принимать, она прибавила:

— Молодой барин, что ли, оттуда вас спугнул?

Мать Ненила усмехнулась:

— Это твой братец-то? Нет, благодетельница, никого он уж теперь спугивать не может, сам в заточении, за железной решеткой да за замком сидит. Буде ему колобродить да беса тешить, пробил и для него час воли Божьей.

— В остроге? — вскричала Сынкova. — За что?

— Убивец он, вот за что, — спокойно пояснила скитница и принялась за жареную рыбу.

На столе еще оставался кисель из ягод, и, уплетая рыбу, мать Ненила спрашивала себя, успеет ли она добраться до этого киселя. Совсем стемнело, того и гляди, вернется хозяин, может, при нем и неудобно будет так угощаться, как без него. И, помолчав немного (с рыбой-то во рту неудобно было разговаривать, того и гляди, подавишься), она прибавила:

— Князя-то, что в Бобриках, он из пистолета застрелил.

Катерина была так поражена, что не в силах была произнести ни слова. Она не видала брата с тех пор, как ее с Марьей увезли в монастырь, и то, что она впоследствии слышала о нем, не могло ее сблизить с ним сердцем, а между тем он ей был мил по воспоминаниям детства, и она завидовала Клавдии, которая в прошлом году его видела и говорила с ним; ей приятно было узнать, что он хорош собой, умен и образован и что, кажется, свет не успел испортить его вполне. И вдруг этот блестящий баловень судьбы, которого фортуна осыпала всеми благами жизни, отнятыми у его сестер, убийца!

Чем больше думала она об этом, тем невероятнее казалось ей известие, сообщенное монашкой. Народ этот, скитницы да странницы, вечно живут фантазией, всему верят и, не разузнавши ничего толком, спешат разносить по свету самые нелепые вести.

— Тебе кто же это сказал про Федора Николаевича? — спросила Сынкova.

— Да ты лучше спроси, милая, кто у нас этого не знает, — возразила мать Ненила. — Одно время только и речи в нашем краю было, что про это. Наши на убиенного боярина ходили смотреть, мать Агриппина, сестра Наталья и другие. На похоронах нищих кормили да милостыней оделяли. А про курлятьевского барина, как его стряпчий уличал да связанного по рукам и по ногам в острог его повезли, от очевидцев слышали. Все село было при этом деле, душ тысяча с лишним. А сколько господ-то понаехало! Именины свои, на мученика Артемия, князь-то справлял. Да уж правду тебе говорю, не сумлевайся, — продолжала она, оскорбленная недоверием своей слушательницы. — Пистолет-то, которым князь убит, курлятьевским оказался. Это и люди его признали. Да и сам он даже ни крошечки не отпирался, во всем повинился.

— Повинился! — вырвалось у Катерины глухим стоном. Теперь она верила. Федор недаром их брат, сын их отца.

— Повинился, — повторила монашка.

— Но для чего он это сделал? Господи!

— Захочет враг погубить, так уж от него, от проклятика, не спасешься, — наставительно объявила монашка. — С женой князя, говорят, блудил. Ох, спаси, Господи, и помилуй! Греха-то на миру не оберемся. Ну, опять и бахтеринскую боярышню чуть было не сомустил. Девица была добродетельная, целый год мы ее милостями питались. Сколько одними деньгами авве Симионию на скит жаловала...

— Про какую ты боярышню говоришь? — спросила Катерина, у которой уже в уме стало мутиться от изумительных вестей, сыпавшихся на нее одна за другой.

В горести своей и в испуге она не слышала, как дверь из соседней комнаты приотворилась, и не заметила, что на пороге, в темноте, остановился ее муж.

— Одна у нас бахтеринская барышня, приемная дочка бахтеринских господ, — объявила мать Ненила.

— Магдалина? — подсказала Сыноква.

— Магдалина, — повторила монашка. — Набожная была девица. Уж с год, как наши на путь истинный ее наставляют. Маменька ейная еще жива, а как помрет, все ей достанется. А ей на что, коль она от мира отказаться хочет? Ну, все свои богатства туда и отпишет, куда авва наш прикажет. Мы на нее уж как на свою взирали. И вот явился этот шалопут питерский и стал ее сомущать... а Господь-то и вступился, теперь уж Курлятьев ей не жених...

Она смолкла на полуслове; вошел хозяин и, молча отведив на низкий поклон, которым гостя поспешила его приветствовать, сел поодаль на сундук, у стены.

— Ужинал ты, Алексей Степаныч? — спросила его жена.

— Не сухотись обо мне, Катерина Николаевна, я сыт, — отрывисто отвечал он и, обратясь к монашке, спросил, давно ли она из скита.

— Да уж второй месяц, батюшка. По дороге-то к благодетелям заходила. Кому письменное, кому устное благословение авва Симионий приказал передать. Ох, нельзя нам без благодетелей, родимый! Дело наше сиротское, горемычное. Вот и за тебя с супругой мы кажинный день молитвы возносим к Всевышнему, чтоб здоровья вам послал да продлил вам дни живота. Проклятики-то опять на нас гонение воздвигли. Из Питера, слышь, с новыми строгостями бумага пришла. Обострожились было мы в старом курлятьевском доме.

— Сестра Марья скончалась, — объявила Катерина мужу и снова заплакала.

Алексей Степанович не шелохнулся. Он продолжал сидеть, молча понутив голову и не поднимая глаз на жену. С минуту длилось молчание, прерываемое только сдержанными рыданиями Сынковой да вздохами монахини, с грустью посматривавшей на кисель, про который все, кроме нее, забыли.

— А над братом-то Федором какая стряслась беда! Уж лучше бы мертвым его знать, — вымолвила сквозь слезы Катерина.

— Что вы, благодетельница! Пострадать ему вперед надоть. Великий он грешник! Господь, любя, послал на него испытание. Видно, отец его, праведник, замолил за него у престола Всевышнего, — наставительно встала монахиня.

Но ее не слушали. В тоске своей у Катерины появилась потребность высказывать вслух горькие мысли, пришедшие ей на ум.

— Вот мы его почти что за чужого считали... Отвернулась от него моя душа; годами не вспоминала я про него, что он есть на свете, — уныло причитала она прерывающимся от рыданий голосом, — а теперь и обнаружилась кровь-то... Пуще Машеньки мне его жалко... жизнь бы, кажется, дала, чтоб облегчить его скорбь... Сам, слышь, на себя донес... Голубчик! Родной! Во всем сознался, пострадать захотел... как папенька... за всех за нас...

И вдруг, опомнившись, она смолкла и вскинула испуганный взгляд на мужа. Что же это она помешалась, что ли? Сама про искупление заговорила... Целых двадцать лет только о том и заботится, чтоб вытравить у него эту мысль из сердца, а теперь вдруг сама точно в пример ему брата ставит, точно упрекает его за то, что он медлит поступить так, как требует совесть...

Но муж ее так погрузился в свои думы, что, кажется, не расслышал ее слов.

— Спать пора, — объявил он и, обращаясь к монашке, предложил ей, все также спокойно, переночевать у них.

Мать Ненила согласилась. Чем ей там, у рогожских-то, хлеб черный жевать, лучше здесь хоть утром поесть сладко, на день сил набраться.

Уложив гостью, Катерина вернулась в спальню. Муж ее сидел все на том же месте, упершись пристальным взглядом в образа.

При ее появлении он поднялся с места.

— Я, Катеринушка, пойду на сеновал спать, душно мне в комнате, — вымолвил он, продолжая отворачиваться от ее взгляда.

У нее недобрым предчувствием заныло сердце, но она сдержала вопросы, рвущиеся из груди, и, молча перекрестив его, пожелала ему доброй ночи.

И он тотчас же ушел торопливо, точно опасаясь, чтоб его не задержали.

Всю ночь металась Катерина в тоске на кровати, а когда стало светать, не вытерпела, сорвалась с постели, подошла к окну, чтоб растворить его. Но, потянув немного ставень, остановилась: она увидала мужа, прохаживающегося взад и вперед под высокими и тенистыми кленами, у изгороди. По-видимому, он не раздевался и не ложился со вчерашнего дня. Всю ночь тут, может быть, пробродил. Лицо его побледнело и осунулось, точно после жестокой болезни. Долго смотрела на него Катерина, все ждала, не обернется ли он в сторону дома и, увидав ее, не подойдет ли к ней со словами любви и утешения, но он продолжал шагать, понунив голову, все по той же дорожке, не чувствуя ее умоляющего взгляда.

И вдруг под чьими-то ногами, с противоположной стороны, захрустел песок, скрипнула калитка, скрытая в сиреневых кустах, в сад вошла мать Ненила и направилась прямо к дорожке у изгороди.

Вот кого он тут ждал! Условились, верно, встретиться чуть свет утром, еще вчера, когда она оставила их вдвоем,

чтоб распорядиться о приготовлении ей ночлега. «Расспрашивает ее, верно, про Федора, — думала Катерина, следя за ними взглядом. — При мне не хотел с нею говорить про это»...

Давно уж избегает он про многое с нею говорить. Ей даже иногда кажется, что он и поездки-то дальние предпринимает, чтоб не оставаться с нею наедине. А ведь любит ее, больше жизни любит.

Катерина со вздохом отошла от окна. Что пользы за ним подсматривать да воровским образом перехватить его тайну, когда он сам не хочет ей открыться! И не обманывает ли она себя, считая это тайной? Страшно взглянуть прямо в глаза правде, вот что.

В тот же день Сынков стал приводить свои дела в порядок, точно снова готовясь отбыть в дальний путь.

— И куда это наш хозяин опять собирается? — недоумевали приказчики, с которыми он беседовал о торговых сделках, долженствующих произойти не раньше зимы.

Иногда даже загадывал он дальше и толковал про то, что надо сделать в таком-то или в таком-то случае, через год и через два.

Пытались порасспросить хозяйку, не проговорится ли, но она ничего не знала. Говорить про будущее с мужем Катерина боялась. Ей казалось, что она потеряет его еще скорее, если станет к нему приставать; убежит, чего доброго, на край света, только бы не отвечать ей.

Так прошло с месяц. В начале августа он предложил ей съездить в Троицкую лавру и отговорить там с нею вместе.

Она с радостью согласилась. Всякому случаю побыть с ним вдвоем она была рада. Чутким сердцем предчувствуя разлуку, она на него наглядеться не могла.

Они уехали в тарантасе вдвоем, с одним только кучером. Из прислуги Катерина никого не взяла.

Как проживет он с нею целую неделю, с глазу на глаз, в посте и молитве, ничем не развлекаясь, может, и размякнет, откроет ей душу, как бывало раньше, в первые годы супружества, когда у него не было от нее тайн.

Но упованиям ее не суждено было сбыться; не развязался у него язык, и не прояснился взор после шести дней, проведенных с нею почти безвыходно в церкви. Ни одной службы не пропускали Сынковы, и оба молились усердно: она о нем, а он о ней, чтоб Господь над нею сжалился и утешил ее в предстоящей скорби.

Наступил, наконец, день исповеди. За всюнощной, когда жена его вернулась из исповедальни и шепнула ему, что батюшка его ждет, Алексей покачал головой и объявил, что исповедываться у отца Павла не будет.

— У кого же ты? — спросила она.

Он назвал схимника, святого старца, не покидавшего уж лет тридцать кельи в лесу. Говорили про него, что он делает чудеса, врачует телесные и душевные болезни.

— Да ведь он далеко отсюда живет, Алешенька, когда же ты успеешь, уже ночь на дворе, — заметила Катерина.

— Ничего, — отвечал он отрывисто и торопливо зашагал к тому дому, где они всегда останавливались, когда приезжали в Троицкую лавру. Дом этот принадлежал старушке, вдове одного из приказчиков Сынкова, поселившейся здесь, чтоб умереть поближе к мощам святого угодника.

В этот день Катерина так намучилась стоянием в церкви и смутными предчувствиями беды, что не успела опустить голову на подушку, как заснула словно убитая.

И приснился ей странный сон: будто они оба с Алексеем молоды и начинают жизнь сызнова. На душе у них так легко и радостно, как никогда не бывало. И будто в прошлом нет у них никаких ужасов. Все стерлось и по ветру развеялось, точно никогда и не бывало. И нечего им стыдиться и некого им бояться. И стоят они оба, взявшись за руки, как влюбленные, на краю беспредельного света, на который они налюбоваться не могут, так он прекрасен и таким блаженством наполняет им душу. А назад оглядываться не стоит, там уж ничего нет, все впереди. И Алексей ей как будто говорит: «Мы свое отстрадали, теперь нас ждет новая жизнь». «Но кругом нас все чужое», — подумала она. И не успела мысль эта мелькнуть в ее голове, как он уж угадал ее и ответил на нее: «Это путь к Истине. Всю жизнь мы искали его и вот наконец нашли».

От этих слов она проснулась.

Солнце, пробиваясь сквозь щели ставень длинными золотыми нитями, врывалось к ней из растворенного в садик окна вместе с веселым чириканьем птичек и ароматом цветов.

Но Алексея в комнате не было.

Кто же говорил с нею сейчас?

Звонкий удар колокола ответил на этот вопрос.

К обеду благовестили, надо скорее вставать, одеться и идти в церковь. Она сегодня причащается. Вчера вечером старичок монах отпустил ей ее грехи, вот почему, верно, ей так сегодня легко. И мужу ее будет так же хорошо,

когда он вернется от схимника. Она даже не спрашивала себя, почему его нет до сих пор.

Восторженный подъем духа, навеянный чудными грезами, не покидал ее и во время всей обедни. Только тогда и опомнилась она, когда священник, поздравив ее с принятием святых тайн, таинственным шепотом прибавил, что имеет ей передать поручение от супруга, а потому после обедни зайдет к ней.

Поручение от мужа!.. Значит, сам он не вернется... Значит, он уехал... Куда?

ХІІІ

Наступила осень.

Дело Курлятьева затягивалось. В Петербурге как будто с умыслом медлили дать ему настоящий ход. Пронесся было слух, что пришлют чиновника, чтоб исследовать его на месте, но слух этот оказался преждевременным; за дело это как будто еще и не принимались, никакого ответа на донесение о нем не приходило, но со стороны, из частных сведений, городские власти узнали, что к нему отнеслись в высших сферах очень странно: в виновность Курлятьева никто не верил. Кто там стоял за него — неизвестно, но что защитник его или защитница принадлежит к тем, что близко стояли к молодому царю, это было ясно, как день.

Может быть, сама вдова убиенного, княгиня Дульская? Но вскоре стало известно, что ее и в России нет; она уехала за границу с детьми, оставив доверенность на управление имением тому самому приказчику, который этим занимался при покойном ее муже. Губернатор, председатель уголовной палаты и прокурор терялись в догадках, а Корнилович просто с ума сходил от досады и нетерпения. Давно ускакал бы он в Петербург, чтоб все самолично разнюхать, если б не боялся, что без него Курлятьеву дадут возможность бежать, и дело, на котором он строил благополучие всей своей жизни, прекратится, как многие дела того времени. За примерами недалеко было ходить, судебные архивы изобиловали ими.

Бахтерины в этом году в деревню не ездили. Софья Федоровна целые дни проводила в саду, которым в этом году садовник занимался особенно тщательно. От цветов, расцветающих в куртинах под окнами барыниной спальни, да от розовой и белой акации вдоль каменной ограды аромат разносился по всему переулку.

Что происходило в душе Софьи Федоровны, отгадать было трудно; никому неверяла она своих дум, но на вид она была спокойна, и, глядя на нее, когда она спускалась с широких ступенек террасы, обсаженной старыми, тенистыми деревьями, в белом вышитом капоте и в кружевном чепце с цветными лентами на седеющих волосах, трудно было предполагать, что ее гложет печаль и забота: так тверда была ее поступь и спокоен взгляд. У нее вошло в привычку все утро, до обеда, сидеть под кудрявым вязом за вышиванием бисером и шелками в пяльцах. Никогда не спрашивала она, где дочь, и когда Магдалина опаздывала к обеду, не выказывала ни удивления, ни беспокойства. На доклад дворецкого, что уже третий час, пора подавать кушать, а боярышни все еще дома нет, она отвечала с невозмутимым спокойствием и не поднимая глаз с работы:

— Надо ее подождать, она скоро вернется.

Разыскав старинный узор, составленный по картине знаменитого художника ее покойным мужем и хранившийся в одном из потайных ящиков бюро из розового дерева с инкрустациями, подарок Ивана Васильевича, когда он был женихом, Софья Федоровна начала вышивать с этого узора большой ковер в комнату дочери. Тот, что она вышила мужу тридцать лет тому назад, выцвел от употребления и, как его ни берегли, местами проносился, а ей хотелось, чтоб у Магдалиночки остался ковер ее работы на память.

Вышивала она по тонкой канве, мелким швом, тщательно подбирая тени; работа была кропотливая и подвигалась медленно, но зато лица, цветы и деревья выходили, как живые.

— Успею ли я кончить? — говаривала она иногда со вздохом, в то время как Магдалина любовалась рыцарем на коне перед замком с красавицей, выглядывавшей из окна высокой башни.

— Разумеется, успеете, маменька, — спешила ответить Магдалина. — Почему же не успеть? Ведь вы папеньке ковер за год вышили.

Но при произнесении этих слов сердце ее тоскливо сжималось. Она догадывалась, на что намекала мать. Мысль о смерти теперь ни на минуту их не покидала. Обе они чувствовали, что долго прожить в том напряженном состоянии, в котором они находятся с того дня, как с Федором стряслась беда, невозможно и, разумеется, первая падет на скорбном пути та, чей организм уже подточен и летами, и раньше испытанными ударами судьбы. При этой мысли Магдалине становилось так горько, что она не знала, чего

ей больше желать: жить ли для борьбы с людьми и с судьбой, или умереть вместе с матерью и ждать соединения с возлюбленным на том свете, там, где разлуки с близкими душами нет.

Но минуты такого душевного изнеможения находили на нее редко и проходили быстро. Слишком много было в ней энергии и силы воли, чтоб не любить жизни во всех ее проявлениях, даже самых ужасных.

Каждое утро ходила она к ранней обедне в их приходскую церковь и там, на виду у всех, так усердно молилась, что заподозрить ее в отходе от православия было немыслимо.

Впрочем, обвинение стряпчего, не нашедши поддержки у начальства, волей-неволей должно было кануть в Лету; тем более что и розыски его в этом направлении ни к чему не привели. Убийство князя Дульского послужило как будто сигналом для исчезновения симионовцев из здешней местности; они все точно сквозь землю провалились.

Другого следователя, менее пристрастного, чем Корнилович, обстоятельство это навело бы на подозрение, и он стал бы искать в нем связь с преступлением, в котором так упорно обвинял Курлятьева, но он был из тех, которым легче лишить жизни, чем сознаться в ошибке.

Магдалина же, напротив того, с каждым часом все яснее и яснее сознавала свое заблуждение и с ужасом спрашивала себя, как могла она увлекаться таким наглым фанатиком, как Симионий, и не видеть, по какому ложному пути он ведет своих последователей.

А ее еще берегли и скрывали от нее мрачные стороны таинственного учения; ни на одном радении она не присутствовала; из сестер и братьев, составлявших общину Симиония, она знала только его самого, двух-трех скитниц из простых, ничего кроме беспредельной преданности учителю не умевших проповедовать, да сестру Марью Курлятьеву, очаровавшую ее с первой минуты не одним только восторженным фанатизмом и таинственностью обстановки, в которой она пребывала целых двадцать лет, но также и тем, что она одной с нею фамилии, одного с нею воспитания и что, с детства слыша про нее, она до мельчайших подробностей знала ее скорбный роман. Явилась она ей в ореоле мученицы за любовь, верной своему чувству до гроба.

Про ее смерть Магдалина узнала еще в мае месяце от Ефимовны. Старая няня нарочно ходила в курлятьевский дом, чтоб все разузнать, и из бессвязной речи Варварки убедилась, что в предположении своем не ошиблась — боярышня Марья Николаевна скончалась в ту ночь, как ста-

рая няня приходила сюда за Магдалиной. В подвале произошло великое собрание. Шли на радение, а попали на похороны. И Андреич туда ходил. Всех видел: покойника боярина Николая Семеныча и покойных боярышень Катерину Николаевну и Клавдию Николаевну. Марью Николаевну в гроб положили; все с нею прощались и плакали. Приложился к ее окоченевшей ручке и Андреич. Разубрана, как к венцу, в белом. Такая красавица, ну, точь-в-точь Клавдия Николаевна, как с оборотнем ее венчали.

— Христова невеста, молитвенница за нас, грешных. У престола Всевышнего таперича ее душа. Авва Симионий сказал: «Не нам за нее молиться, а ей за нас», — рассказывала, захлебываясь от умиления, Варварка.

«И обо мне она теперь молится, — думала Магдалина, слушая Ефимовну. — Ей теперь все ясно. Она обрела путь к Истине. Не там, где всю жизнь тщетно его искала; но ей все зачтется, все ее заблуждения, муки и слезы. И все ей простится за чистоту ее помыслов и самоотвержение. Богу угодно было оставить ее в ослеплении до конца, за это с нее не взыщется».

Невзирая на совет Грибкова не ходить в старый дом, Магдалину так потянуло туда после рассказа Ефимовны, что она не вытерпела и сама понесла Андреичу съестные припасы, которые она доставляла ему каждую неделю.

Старик повторил ей то, что она уже слышала от Ефимовны, с прибавлением некоторых подробностей, которые он скрыл от Варварки: ту, что превратилась теперь из монахини Марии снова в боярышню Курлятьеву, погребли рядом с родителем, под каменным крестом, в дремучем лесу, далеко отсюда, у самой границы Кесарского государства, в горах. Провезли ее той же ночью мимо Воскресенского монастыря, не встретив ни души. А и встретился бы кто, так не задержали бы поезда с солью, во главе которого сам авва Симионий, переодетый чумаком, сидел на подводе, покрытой кошмами и ковром, как истый богач торговец.

Кому же пришлось бы в голову, что под ним гроб с телом почившей девственницы?

— Так и покойного Николая Семеныча провезли, — рассказывал Андреич, — да только он и оттуда дорогу сюда, в старое гнездо, нашел...

— А с тех пор не собирались они сюда молиться? — спросила Магдалина, не дав ему досказать начатой фразы.

Не любила она, когда старик предавался своим бредням, жутко ей становилось его слушать.

— Никто здесь не был с тех пор, и надо так полагать, что долго теперь не придут, — отвечал он.

Из чего он это заключал, она не спрашивала, все равно не скажет. Невзирая на старческое слабоумие, тайны симионовцев он хранил свято, и недаром они ему доверяли.

То же самое повторил он ей и через месяц, и через два, каждый раз, когда Магдалина заходила к нему: не слышать ничего про симионовцев, в другом, верно, месте молельню себе устроили.

Он предлагал ей побродить по старому дому и, когда она соглашалась, торопливо брал связку ключей и бодро шагал через двор, поросший травой, к крыльцу, бормоча сквозь зубы все те же, давно известные ей слова:

— Как увезли старого барина, приказали мне все комнаты запереть и ключи у себя держать. А там барыня прислала из Питера Ивана, он все, что нужно было, вывез, и опять я все запер, и с тех пор так и стоит...

Сколько раз она это слышала!

Но ее тянуло сюда как к единственному месту, где ничто не напоминало ей о мучившем ее горе. Андреич так поглощен был прошлым, что настоящее для него не существовало. Однако в один прекрасный день он вдруг ни с того, ни с сего спросил у нее:

— Кому достанется старый дом, когда молодого барина в Сибирь сошлют?

У Магдалины захолонуло сердце. Все уж теперь, даже и старик этот, считают ее милого совсем погибшим! Неужели ей не удастся его спасти? Что-то он теперь? Что он теперь думает? Ждет ли ее? Расставаясь с ним, она обещала скоро опять его навестить, и сама была тогда уверена, что ей это удастся, но Грибков все твердит, что надо ждать, что торопливостью да нетерпением можно все погубить. И она покорилась, ждет... Вот уж скоро три месяца, как она живет одним только воспоминанием его последнего поцелуя да надеждой, что при первой возможности она опять увидит дорогое побледневшее лицо с восторженным взглядом, услышит милый сердцу голос и прижмется к сердцу, бьющемуся только для нее. Ему не нужно было ее уверять, что она его единственная любовь, — она это знает, чувствует всем своим существом.

Никогда не уставала она думать о нем, болела его страданиями и сокрушалась его лишениями больше, чем он сам. Все было для нее отравлено мыслию о его неволе. Глотка свежей, ключевой воды не могла она выпить, не вспомнив о глиняной грубой кружке, из которой он утолял

свою жажду; от аромата цветов в их саду, от свежего ветра, дувшего на нее с реки, от душистого запаха скошенного сена на лугах у нее навертывались слезы на глазах. С какою радостью подверглась бы она заточению вместо него! С каким восторгом, лежа на гнилой соломе в затхлой, полутемной келье, помышляла бы она о том, что он дышит полной грудью ароматами полей и лесов и смотрит на голубое, ясное небо со скользящими по нему легкими облачками. Да, мысль о нем не покидала ее ни на минуту, и можно сказать, что она жила гораздо больше его жизнью, чем своей собственной, а между тем всякое напоминание о нем, произнесенное чужими устами, было ей нестерпимо.

Мать ее это знала, и никогда имя заключенного не проносилось между ними, даже когда они оставались вдвоем. В прихожих и девичьих тоже остерегались говорить о Федоре Николаевиче вслух, и бахтеринская дворня, следуя примеру своих господ, отдалилась от общества прежних приятелей и знакомцев. Им тоже нестерпимо было слышать праздные толки о беде, обрушившейся на жениха их барышни.

С одним только Грибковым Магдалине нетяжело было говорить про своего возлюбленного. Сведения о нем она получала только от него. Иногда случалось так, что Карп Михайлович забегал поздно ночью или чуть свет утром, чтоб сообщить ей, что ему удалось повидать заключенного или что Федор Николаевич через Илью Ивановича прислал ей поклон. Ей таким образом было известно и про здоровье его, и про расположение духа, и что он не унывает и об одном только молит у Бога, чтоб она разделяла его покорность судьбе и надежду на милосердие Всевышнего. Узнала она также, что его перевели в лучшую камеру, приносят ему кушать от смотрителя и предлагали ему книги. Он спросил Евангелие, которое ему тотчас же принесли.

Раза два удалось ей доставить ему цветов.

О какой это был восторг для них обоих! Он не хотел расставаться с ее первым букетом даже и тогда, когда он совсем высох и когда получил свежий. В промежутках между чтением святой книги и молитвой он любовался этими цветами, целовал их, разговаривал с ними, как с одушевленными существами, способными его понимать.

Сколько живительного волнения вносили эти ничтожные события в их мрачную, томительную жизнь!

С ужасом спрашивала себя иногда Магдалина, что стало бы с ними обоими без Грибкова. Давно помешалась бы она от отчаяния без вестей о своем милом и наделала бы непоправимых бед.

С тревожной болью в сердце, точно ей грозит ужасное открытие, спросила она у Андреича, кто ему сказал, что Федора Николаевича в Сибирь сошлют.

— Да энтот, что вчера был в доме, другому сказывал. Вместе приходили. Я их по комнатам водил, — отвечал старик. — Федор-то Миколаич князя какого-то, говорит, из ружья застрелил, ну, за это...

— Кто такие? Ты их не знаешь? — прервала его ба-рышня.

Старик усмехнулся:

— Как не знать! Один-то старик древний, древнее меня будет. Давно уж помер, на старом кладбище его похоронили...

— А другой?

— Другой-то?

Он оглянулся по сторонам и продолжал, таинственно понижая голос:

— Другой-то еще молодой. Седой уж, а лет ему немно-го... Не впервой он суды завертывает. В позапрошлом году я тоже его по дому водил, с боярышней Марьей Миколаев-ной он здесь встретился...

«Из последователей аввы Симиония, верно, — подума-ла Магдалина, — тянет их сюда, как мух к меду».

А старик между тем продолжал:

— Два золотых он мне дал. Варварка под половицу запрятала.

— А как его зовут, ты не знаешь? — рассеянно спроси-ла девушка.

— Да кто его знает, как он теперь прозывается; купцом сделался. А только я с первого же разу признал в нем Алешку выездного. Лоб ему тогда забрили, как со старшей боярышней, Катериной Миколаевной, он спознался... Ну, а потом из солдат-то он в разбойники ушел, ворошовский ху-тор, слышь, сжег... Часовенку над горой знаешь?

Магдалина кивнула. Под этой часовней ее родители бы-ли похоронены. На плите вырезан был только крест, число и год; имени их так и не удалось узнать. Каждую зиму ездит она туда панихиду служить, с тех пор как узнала, что она не родная дочь Бахтериных.

И странные чувства волнуют ей душу, когда она стоит на коленях на этой плите: ей мучительно хочется предста-вить себе этих людей, ее отца и мать, но чем больше напрягает она свое воображение, тем дальше уходят от нее бледные, неясные призраки, которые она вызывает из та-инственной пучины смерти. Ужасно они от нее далеки, эти

мертвецы, и это ее сокрушает. Не может она им молиться, звать их на помощь в трудные минуты, как покойного Ивана Васильевича Бахтерина, с которым и после его смерти душа ее не прерывает сношений.

— Там убиенные похоронены, — вымолвил вдруг Андреич, точно угадывая ее мысли.

Ей захотелось пойти в эту часовню. Может быть, оттого и складывается так ужасно ее жизнь, что душа ее до сих пор не сумела найти доступ к этим мертвецам... Они, может быть, только и ждут случая ей проявиться... а она, поглощенная земными заботами, совсем о них забыла... «С какой стати Андреич вспомнил про часовню у горы?» — думала она, проходя к полю, через которое надо было перейти, чтоб дойти до леса. «Мысли бродят беспорядочными клочьями у него в голове... говорил про человека, напомнимшего ему возлюбленного Катерины... похож, верно, чем-нибудь на того, складом лица или голосом... И вдруг перескочил к часовне... Но это так только кажется, что связи между его мыслями нет, вздуматься — и связь найдется... родителей ее зарезали в лесу в тот самый год, как Алешка появился в здешних краях под именем атамана Сокола, может, он и верховодил шайкой злодеев, разгромивших поезд знатных путешественников»...

До вечера было еще далеко; солнце так пекло, что Магдалина поспешила свернуть с дороги в лес, и тут под сенью столетних деревьев прошла незаметно к горё, у подножия которой сверкал промеж густых ветвей золоченый крест над часовенкой. Тут постоянно находились две монашенки из соседнего монастыря, в хижинке, срубленной за часовней; жили они мирским подаванием да тем, что в лесу найдут: ягоды, грибы, травы и коренья. Оберегая часовню, они никогда вместе не отлучались от нее даже и на близкое расстояние, во всякое время можно было найти которую-нибудь из сторожих на своем месте. Привычным к лесному шуму ухом отличали они издали человеческие шаги от шороха ящериц, зайцев и других лесных обитателей в траве и листьях и всегда выходили навстречу посетителям. Но на этот раз Магдалина дошла до самой часовни, не встретив ни души. Ее это удивило немножко, тем более что дверь была растворена и свечи горели перед образами. Зашел, верно, кто-нибудь помолиться. Тут не одни родители Магдалины с их слугами были похоронены; часовню выстроила раньше одна боярыня над могилами мужа и брата, тоже поблизости убитых разбойниками. В былое время такие нападения случались часто. От них жители побогаче

огораживали свои усадьбы высоким тыном с пушками по углам; на разбойников шли скопом, с топорами, ножами и дрекольем, и завязывались настоящие сражения, кончавшиеся иногда страшными пожарами, грабежом и убийством всех обитателей усадьбы, от мала до велика.

Теперь, слава Богу, ничего подобного не слышать, но память об этих событиях была еще свежа у здешних жителей, люди нестарые знавали несчастных жертв свирепых злодеев и могли назвать по имени и отчеству тех, над которыми были воздвигнуты каменные кресты на перекрестках или часовенки, как та, к которой подходила Магдалина.

Уж тогда только, когда она стала подниматься на ступени, заприметила ее одна из монахинь и поспешила к ней навстречу.

Это была низенького роста живая старушонка с умными черными глазами и длинным сухим носом на продолговатом лице нерусского типа.

— Матушка, боярышня! Как это вы подкрались. Мы и не слышали! Встретить не удалось, — затараторила она, подобострастно кланяясь Магдалине. — И все-то у нас гости эти дни, все-то гостей Господь посылает, — продолжала она с волнением.

— Кто там теперь? — спросила Магдалина, замедляя шаг и кивая на растворенную дверь в часовню.

— От московских благодетелей посланец, подавание нам привез. Уж такие-то щедроты! Ничего для Царицы Небесной не жалеют. Ризу серебряную в позапрошлом году прислали, а теперь венчик золотой с камнями самоцветными. Сторожа приказали нам нанять, чтоб зимой нам в подмогу. И вклад деньгами на того сторожа в наш монастырь вложили, чтоб содержать его, значит, до скончания века, неукоснительно. А на хлебушко он нам особо пожаловал, уж от себя, значит, и прямо нам на руки, — прошептала сторожиха, пригибаясь к самому уху девушки.

Слова эти смутили Магдалину. Она привыкла одна молиться в часовне. Присутствие незнакомца ее стесняло. Несмотря и медленно поднялась она по ступенькам и, переступая порог, невольно стала искать глазами нежеланного посетителя. Он стоял у самой стены в углу. Лучи заходящего солнца, проникая сквозь ветви у окна, не достигали до него; высокая сгорбленная и худая фигура в темном кафтане была в тени, но лицо его Магдалина схватила взглядом в одно мгновение, и оно так запечатлелось в ее мозгу, что продолжало стоять перед нею, как живое,

даже и тогда, когда, ответив на его почтительный поклон, она прошла вперед и опустилась на колени на плиту, покрывавшую могилу ее родителей. Лицо это, худое и продолговатое, было бледно, как у мертвеца, борода седая и курчавая, волосы, вьющиеся по сторонам большой лысины, тоже седые. Но что всего замечательнее было у этого человека — это глаза. Таких глаз она никогда еще не видала; большие и светлые, они сверкали из глубоких темных орбит каким-то странным металлическим блеском, как у безумного. Этот пристальный, глубокий взгляд она ни на секунду не переставала чувствовать на себе; он не давал ей молиться, мучил ей разум, леденил кровь в жилах. Ей было жутко, хотелось бежать отсюда, но мысль опять встретиться лицом к лицу с незнакомцем так ее ужасала, что она не в силах была тронуться с места. Сколько времени длилось оцепенение, сковавшее ей тело и душу, она не могла бы сказать, но, должно быть, долго, потому что дневной свет, проникавший сюда из окна, давно погас и часовня ушла в тень. Сверкали только образа от красноватого пламени горевших перед ними восковых свечей, да в неугасаемой лампадке над могильной плитой теплился огонек.

Как ей отсюда уйти? Как добраться одной, ночью, до дому?

Вопросы эти только изредка и мельком пробегали в ее мозгу. Ни на чем не могла она остановиться мыслями, в трепетном ожидании того, что должно было свершиться над нею сейчас, сию минуту...

И вдруг она услышала за собой вздох и шепот: «Господи, помилуй мя, грешного!»

Она обернулась. Незнакомец, опустившись на колени, молился. Лицо его, выступая бледным пятном на темном фоне сгустившихся в том углу, до черноты, теней, поразило ее своею скорбностью. Из глаз, поднятых вверх, по впалым щекам катились крупные слезы, но в экстазе своем он их не замечал; губы его неустанно повторяли все те же слова: «Господи, помилуй мя, грешного!» — и каждый раз с усиливающимся отчаянием.

Он так страдал, что больно было на него смотреть. Несчастнее его нет человека на свете. Как могла она его чуждаться, досадовать на него и, тяготясь его присутствием, желать уйти от него? Теперь кроме жалости и желания облегчить его муку она ничего не ощущала и, сама не понимая, как это случилось, слилась с его душой в молитве, бессознательно повторяя: «Помилуй его, Господи!» — тоскуя его тоской и проливая за него слезы как за люби-

мого человека. И с каждой минутой становился он ей все ближе и ближе, ближе всех на свете. Никогда не чувствовала она ничего подобного ни к кому, даже к Федору. Она читала в его сердце, как в открытой книге. Он постепенно успокаивался, сердечная тоска его переходила в радость. То, чего жаждала его душа так страстно и с таким отчаянием, Магдалина ему дала.

Что именно, она не знала, но чувствовала, что он ей обязан своим успокоением, и сознание это разливалось невыразимой отрадой по всему ее существу.

Продолжая повиноваться все той же овладевшей ею непонятной силе, она поднялась с колен и обернулась к нему. Глаза их опять встретились, как тогда, когда она переступила порог часовни, но какая разница! Как они оба преобразились! Взгляд его светился умилением и признательностью, а она улыбнулась ему, как другу.

Они узнали друг друга и, движимые непобедимым влечением, подались вперед.

Но тут тонкая связь, подобно световой нити, протянувшейся было между их душами, внезапно порвалась.

Вошла в часовню сторожика. Ее пугали быстро надвигавшиеся сумерки. Боярышня пришла сюда одна. Днем в лесу опасаться нечего, но ночью мало ли что может случиться! Да и заблудиться недолго...

— Не тужите, матушка, я провожу боярышню, — объявил незнакомец.

Только тут, от этого голоса, Магдалина очнулась.

Что с нею было? Кто этот человек, и почему она так сокрушалась о нем и так молилась за него?

Она была не суеверна и не могла принять его за призрак. И галлюцинаций она до сих пор не знала.

Впрочем, то, что она испытывала от близости этого незнакомца, нельзя было назвать галлюцинацией; вполне сознательно болела она его печалью как бы своей собственной, и по мере того как ему становилось все легче и легче от ее молитвы и сочувствия, миром и благодатью наполнялось и ее сердце.

Да, он ей вдруг сделался очень близок, этот человек. Душа его обнажилась перед ее душой. И то, что они сообщали один другому, в недоступных человеческому языку выражениях, наполнило их сердца неземным блаженством.

Теперь, что бы ни случилось, она никогда его не забудет и всю жизнь будет за него молиться.

И он тоже до последнего вздоха, будет о ней думать и желать ей счастья.

Странная встреча! Кто он такой? Откуда взялась могучая связь, внезапно соединившая их души? И какое именно влияние будет она иметь на ее судьбу, эта связь? Но, что влияние это будет благотворно и очень скоро проявится, в этом она не сомневалась. Точно она нашла какую-то таинственную поддержку в жизни, точно она обрела утраченный талисман, который должен отворить ей все двери к удаче и счастью, так радостно и спокойно было у нее теперь на душе.

Долго шли они рядом и молча по тропинкам леса. Им светила луна, пробиваясь кое-где сквозь спутанные ветви. Где-то поблизости завывал волк, и кругом хрустели сухие ветви, и шуршала трава под быстроногими лесными зверюшками, а может быть, тут прокрадывались, пробираясь осторожно сквозь чащу, недобрые люди, но Магдалине не страшно было под охраной своего нового друга. Он сумеет защитить ее от всякого зла. Она в этом была точно так же уверена, как в том, что жива, дышит и что всем ее испытаниям скоро конец.

Время летело с изумительной быстротой. По временам она теряла сознание, и у нее было такое ощущение, точно она летит вниз с высокой, высокой горы, и ей хотелось задержаться хоть на мгновение в этом вихре, чтоб всмотреться, понять, спросить, но это было невозможно. Несколько раз, сделав над собою усилие, оборачивалась она к своему спутнику с готовым вопросом на устах, но слова не выговаривались. Она видела его таким, каким он явился ей в первую минуту их встречи, когда она переступила порог часовни: глубокая морщина прорезывала его бледный лоб, и брови в тяжелой думе сдвигались над ввалившимися глазами, но взгляд его при встрече с ее взглядом внезапно смягчался и так красноречиво сулил ей счастье, что она тотчас же успокаивалась и готова была идти, куда бы он ее ни повел. И снова сознание покидало ее, и душа, как бы отлетая от тела, взвивалась высоко над землей вместе с его душой. И там, в пространстве, они были ближе один к другому, чем на земле, но спрашивать друг друга им было не о чем, потому что там им было все известно.

Когда они вышли из леса, он повел ее дорогой, о существовании которой она не имела понятия; то спускались они в овраги, то снова поднимались и вдруг, в ту минуту, когда она меньше всего этого ожидала, очутились они перед решеткой бахтеринского сада.

— Как вас зовут? Как поминать вас в молитвах? — спросила она, испуганная мыслью, что он сейчас уйдет, и никогда она его больше не увидит.

— Поминайте раба Алексея, — тихо вымолвил незнакомец.

И не успела она опомниться, как он исчез.

Всю жизнь помнила Магдалина эту встречу, так неизгладимо врезалась она ей в сердце. Но никому она не рассказала про нее. Да и что было сказать? Как объяснить чувства, волновавшие ее? Она стояла как бы у преддверия тайны жизни, ясно предчувствуя то, что должно было свершиться, но, чтоб выразить то предчувствие, слов не находилось на человеческом языке. Загоревшимся в ней светом озарялись неземные горизонты, и с каждым шагом по новому пути чувствовала она себя все ближе и ближе к Непостижимому.

Теперь она уже понимала, что идти к истине проторенными тропинками не стоит, непременно заблудишься и отделишься от цели. Надо терпеливо и в одиночестве ожидать наития Духа. Тогда Он сойдет, но всегда оттуда, откуда Его не ждешь.

«Дух, идеже хошет, веет»...

Это их изречение, симионовцев, но они повторяют его, не вникая во внутренний его смысл. Им все хочется силой заставить людей верить и молиться по-своему, силой заставить видеть чудеса их веры, а между тем, пока она была с ними, она ничего не видела и не чувствовала, кроме тоски по неудовлетворенному стремлению к свету истины. А как сильно было то стремление! Из-за него она чуть было не отказалась от личного счастья и чуть было не пожертвовала тем, кого любила больше жизни, а чем заплатили они ей за это? Недоверием и изменой.

Когда она пришла к ним с истерзанным сердцем и жаждущей утешения душой, они ничего не захотели ей дать взамен разбитого счастья. Они не только не утешили ее, показав ей хоть луч того света, к которому она стремилась и которого они в ослеплении своем мнят себя обладателями, но еще омрачили перед нею этот свет, заронив ей в сердце сомнение в Его святости, — вот что они сделали. В чем же их заслуга перед Богом? Чем они лучше тех, от которых они с проклятием брезгливо отворачиваются?

Ни разу не испытывала она с ними того, что чувствовала сегодня в присутствии незнакомца, ожидавшего ее в часовне, такой душевной радости и удовлетворения, такой блаженной уверенности в милосердии Божиим, в премудрости Его и благодати. А человек этот ничему ее не поучал, ни молиться, ни проклинать, ни ненавидеть, он только плакал и сокрушался возле нее о своем горе. А что это за горе,

она и до сих пор не знает, да и не узнает, верно, никогда, но она сняла с души его это бремя, на радость себе и ему, и почувствовала в себе присутствие Духа в первый раз с тех пор, как ищет Его.

XIV

Магдалина прошла садом, через террасу в дом, никого не встретив.

Был одиннадцатый час ночи, но по коридорам еще сновали люди, в маленькой гостиной горели свечи, а попавшийся ей навстречу казачок объявил, что у боярыни уже давно сидит Карп Михайлович Грибков.

Пришел он к боярышне Магдалине Ивановне и, узнав, что она еще не вернулась домой, просил позволения подождать, а тут боярыня, услышав чужой голос, вышла к нему и позвала к себе.

Магдалина поспешила пройти в маленькую гостиную и застала Софью Федоровну в большом волнении. Да и Грибков показался ей чем-то расстроен. Оба, не спросив у нее, где она была и почему вернулась так поздно, принялись сообщать ей неприятные вести, и тут только Магдалина узнала, как хлопотал старик для Курлятьева и как близок он был к успеху.

— Представь себе, Карп Михайлович нашел убийцу князя! — объявила Софья Федоровна, когда дочь ее, ответив на низкий поклон подьячего, опустилась в кресло в углу, до которого не достигал свет лампы, зажженной на столе перед диваном.

— Не нашел еще, боярыня, хотя и мнил найти, — печально поправил г-жу Бахтерину Грибков.

— Но это новое доказательство невиновности нашего Феде! — вскричала она.

— Эх, сударыня, давно мы это знаем, да что толку-то! Надо было настоящего убийцу найти, вот главное, и я было нашел его. Вот уж где он у меня сидел, — прибавил старик, постукивая указательным пальцем правой руки по тому же пальцу у левой. — Да спорхнул, каналья!

Он обстоятельно повторил Магдалине то, что передавал перед ее приходом Софье Федоровне, как ему после долгих и тщетных поисков удалось добраться по народной молве, подбираемой отрывистыми клочками по базару и трактирам и от верных людишек, всюду, по его поручению, шныряющих, ко всему прислушиваясь и присматриваясь, как ему

удалось напасть на след одного малого по имени Григорий Горячий. Про этого человека шла молва, что он причастен к убийству, за которое понапрасну терпит Курлятьев. Этого Григория Горячего Грибков лично не знал, но много слышал про его мошеннические подвиги от его товарищей, переловленных и посаженных в острог, а также через его сожительницу Штукатуриху, ютившуюся в Принкулинской усадьбе с отцом своим, слепым нищим. Чтоб найти Горячего, надо было отыскать Штукатуриху.

Грибков с этого начал. Это было нелегко, но тем не менее удалось ему, точно так же, как и подбиться к этой бабе и овладеть ее доверием. Ну, разумеется, без денег не обошлось. Стало-таки ему в копеечку знакомство с этими милыми людьми. На одну водку, чтоб развязать язык ведьме, сколько рублей просадил! А еще дороже обошелся ему подкуп тех из бывших приятелей Горячего, которых ему удалось перетянуть на свою сторону щедрыми подачками и еще более щедрыми обещаниями.

Но зато и добился он множества драгоценных сведений. Открыл он, во-первых, что Горячий уж года два как перешел в симионовскую секту и что из-за этого чуть было навсегда не разошелся с Штукатурихой. Но потом, а именно месяца три тому назад, они помирились, и она хвасталась, что он ей лавочку с красным товаром обещался открыть в селе, на большой дороге к Киеву. Уже давно перестал он пить и с прежними приятелями возжаться, и лучше его работника трудно было по всей окрестности найти. Угрюмый, молчаливый и всегда трезвый, ничем нельзя было отвлечь его от работы. Специальностью его сделалось садоводство. Но, чтоб найти его, надо было обращаться к Штукатурихе, потому что постоянного жительства у него нигде не было. Нынешней весной, после приезда сюда Курлятьева, его видели на базаре, а также в губернаторском саду; тут он розы сажал да новые дорожки прокладывал и наконец нанялся в княжеское поместье аллеи пообचितить да фруктовые деревья обкопать. Работал он там также и в цветнике, под окнами княжеской спальни, а следовательно, мог, как нельзя лучше, ознакомиться и с особенностями местности, и с привычками князя. Вместе с другими торопился он разукрасить сад ко дню именин хозяина. И, наконец, перед тем как съехаться гостям, пришел в контору за расчетом. Но его не удовлетворили, приказали ждать под тем предлогом, что управителю не с руки расплачиваться с рабочими по одиночке. Горячий молча выслушал это решение и скрылся. С тех пор никто его там не видел.

Ни к праздничному именинному обеду с пирогами и вином, ни на следующий день, среди любопытных, прибежавших за много верст поглядеть на убитого князя, он не появился.

Можно себе представить, как ухватился Грибков за эту улику! И чем дальше, тем больше возникало таких улик! С тех пор Горячий и здесь не появлялся, но с Штукатурихой он, должно быть, где-нибудь да виделся и, без сомнения, сообщал ей о результате своих деяний. С месяц спустя после ареста Курлятьева, она спяна провралась, что, кабы проклятики их не надули, они купили бы лавку жида Блума, что продавалась за сходную цену наследниками этого самого жида, сосланного за добрые дела в Сибирь. Товар у нее давно закуплен и в надежном месте запрятан. На товар капиталу хватило, а на лавку обещали дать, да надули, окайнные, чтоб им пусто было, дьявольскому отродью.

Клевреты Грибкова уже за нею следили, и слова эти были в точности ему переданы. А с неделю спустя, один из обитателей Принкулинской усадьбы обмолвился, тоже спяна, конечно, что Гришка Горячий к убийству причастен.

Из сопоставления этих обстоятельств нетрудно было вывести, что стоит только поприжать этих двух: Штукатуриху и Горячего — и на дело Курлятьева прольется новый и совершенно неожиданный свет.

— Все это у меня было так чистенько подведено, комару и носу не подточить, — вздохнул Карп Михайлович, — надо же было такому несчастью случиться!

— Да что случилось-то? — спросила Магдалина задышающим от волнения голосом.

— Пронюхали откуда-то проклятики, что козни их уже почти что открыты и что от ответа им не спастись, если нам удастся на Горячего руку наложить, ну, и дали ему утечь. Им это ничего не стоит. Бывали примеры, что в день казни из рук палача своих вырывали, вот они какие молодцы! С ними тягаться умеючи надо. Третий день, высунув язык, бегая, разнюхивая, куда этот черт Горячий делся, и все понапрасну. И Штукатурихе неизвестно, куда он лыжи направил. Клянется и божится, что они за границу его сплавили. И сама в таком отчаянии, что нельзя ей не верить. Ведь я обещал ей ослобонить сына из солдатчины, если она нам убийцу князя найдет, и ей известно, что в нашей власти это сделать. В губернском-то правлении водятся еще у меня верные людишки, слава Богу, и не такое дело, как малого в рекрута негодным показать, для меня сварганят, — наивно сознался старый подьячий.

Но он мог сознаться в действиях еще более незаконных, слушательницам его было не до того, чтоб обращать на это внимание.

— Теперь другого спасения для Федора нет, как бежать за границу, — сказала со вздохом Софья Федоровна.

— Да, если он на это согласится, — заметила Магдалина.

— Надо его уговорить.

— Я вот и пришел затем, чтоб предложить боярышне с ними повидаться, — вставил Грибков.

— Когда? — спросила девушка, срываясь с кресла, чтобы немедленно идти туда, куда ей укажут. В волнении своем она давно уж перестала ощущать усталость от дальней прогулки по лесу, и впечатление от прошедшей там встречи притупилось в ее сердце.

Но Грибков объявил, что надо прежде с его крестником посоветоваться. Чтоб не подводить его под подозрение, он редко с ним виделся; а уж особенно стал избегать с ним встреч с тех пор, как дела его с Штукатурихой пошли на лад. Он был так уверен в торжестве своем над стряпчим, что даже и утешать Магдалину с Федором не заботился в последнее время. Перед великою радостью, которую он им готовил, ему казалось простительным оставлять их в тревоге.

Очень ему было горько разочароваться в своих ожиданиях, так горько, что он без надежды на успех принимался за последнее средство спасти Курлятьева. Если уж это оборвется, ну, тогда капут, и торжеству войско проклятый дух современности в лице столичного слетка, вертопраха Корниловича! Быть ему тогда прокурором, а Курлятьеву в Сибири, видно, уж сама судьба того хочет.

И как будто на самом деле судьба этого хотела; в ту самую минуту, когда он собрался идти к крестнику, этот последний сам к нему явился с известием, что его отставили от должности. Уж и другой на его месте. Сам стряпчий избрал ему заместителя и, объявив ему об отставке, приказал немедленно очистить квартиру для нового писаря.

— Из-за чего же он вдруг на тебя взбеленился? — вскричал Грибков.

— Из-за Курлятьева! Говорил я вам, что ваши шашни с ним до добра меня не доведут, так и вышло. Ревизор-то, которого по его делу из Петербурга ждали, уже едет.

— Что ты?!

— Верно вам говорю. Мне нельзя не знать.

— Бумага о нем пришла?

— Какая бумага! Это прежде бумагами-то загодя о ревизиях предупреждали, теперь похитрее стали, поняли, что так поступать не годится. Теперь исподтишка да нахрапом действуют. Молчат, молчат, да вдруг и нагрянет полномочный генерал. Частным образом чертушка наш, Корнилович, узнал про то, что послали кого-то из важных нашу губернию ревизовать. В Москве, должно быть, застрял, что до сих пор его нет. Перед Успением выехал. Во всяком случае каждую минуту надо ждать.

— И опять этот вертопрах проклятый выскочил! — простонал горестно Грибков.

— Опять он. Ничего не поделаешь, шустрый, бестия. Всех теперь в руки заберет, и прокурора, и председателя, полную волю ему дадут, так он их застрашает. Да чего! И в губернском-то правлении за уборку да за чистку принялись. Гусятникова-то, Петра Ивановича, тоже в отставку уволили. В остроге с меня начали, а там и другие полетят.

— Эх, и это дело у нас, значит, сорвалось! — почесывая в затылке, уныло проговорил Грибков.

— А что вы затеяли-то?

— Да вот...

Он рассказал ему про свою неудачу с Горячим.

— Уж мы с боярышней так решили: ничего больше не остается, как с твоею помощью бегство нашему боярину за границу устроить. Из острога бы его только вывести, а там есть у меня один человечек на примете, куда угодно доставит.

— Так. Ну а меня бы вы, чем тогда отблагодарили? — спросил после небольшого раздумья писарь.

Лицо старого подьячего прояснилось. Не такой человек был его крестник, чтоб праздные вопросы задавать.

— Тебе-то? Да уж не беспокойся, твоя судьба у нас изрядно была обдумана. Я о тебе о первом позаботился, чтоб, значит...

— Сколько же на мою долю было обещано? — перебил его писарь.

— Две тысячи, — бухнул, не задумываясь, Грибков.

— Ладно. Пусть еще тыщонку надбавят, и мы все оборуруем, — объявил Илья Иванович. — Ну, чего вы на меня уставились? — продолжал он с усмешкой. — Кажется, понять нетрудно, теперь мне вольготнее действовать, чем прежде. Руки у меня развязаны, ничем я не рискую...

— И то! Промахнулся, значит, господин стряпчий, отставив тебя от дела.

— Поняли теперь? Слава те, Господи! Идите же к боярышне, возьмите у нее деньги, и начнем орудовать. Такое дело, и мешкать нельзя, да и торопиться опасно, а между тем каждая минута дорога.

— Деньги я тебе свои дам, — объявил Грибков. — Смущать мне ее раньше времени не хочется. Обещал ей через тебя свидание с ним устроить.

— Теперь нельзя. Уж за границей увидятся, если она туда за ним поедет.

— А как ты его уговоришь бежать? Ведь он раньше не соглашался.

— Мало ли что раньше было! Раньше-то он, с перепугу, как бы ума лишился, все чуда ждал, что двери темницы сами собою разверзнутся перед ним и ангел небесный выведет его из нее, как святого Петра Апостола. Женщина ему какая-то светлая все являлась, вслух он с нею разговаривал, так занятно, что у сторожей сон пропадал, его слушая, ну а теперь, вот уж третью неделю, как смолк, и даже ни про что не спрашивает, как войдешь к нему. В уныние стал, значит, впадать и на все пойдет, чтоб хоть попытаться вырваться на волю.

— Ну, орудуй, с Богом, — сказал подьячий.

Прошло еще с неделю.

В ожидании вестей от Грибкова Магдалина из дому не отлучалась и все время проводила с матерью. Надежда, поддерживавшая ее все лето, вдруг погасла и заменилась жуткими предчувствиями, одно мрачнее другого.

Не утешало и Софью Федоровну новое предприятие Грибкова. Это бегство из острога, о котором он так развязно распространялся, она даже и представить себе не могла, как может оно осуществиться. А если б даже и удалось оно, что за жизнь ждет ее дочь с беглецом-мужем в чужой стране, среди иноземцев, в вечном страхе и в тоске по родине. Разумеется, она с ними не расстанется и умрет на чужбине без утешений православной церкви, которой она пребывала такой усердной дочерью всю свою жизнь, и похоронят ее вдали от мужа, в чужой земле...

Но обе, и мать и дочь, скрывали друг от друга свои опасения и, сидя долгими часами за одними пядьцами, не обмолвливались ни единым словом о предмете, волновавшем их души.

Погода испортилась, дождь лил безостановочно, и в саду работать было нельзя; пядьцы перенесли на крытую террасу. Тут так же, как и в саду, было тихо и уличного шума не слышно.

Работа подвигалась быстро.

— А вы отчаивались кончить, маменька, — сказала Магдалина, отшпиливая тонкую бумагу, которой была покрыта вышивка, и готовясь распустить шнурки, чтобы в последний раз переколоть канву.

— Как ты стала мне помогать, так быстро и пошло, — заметила Софья Федоровна.

— Давно ли я вам помогаю!

— Десятый день, — подхватила ее мать.

Десятый день! Неужели только одна неделя прошла с тех пор, как Грибков обещал ей свидание с Федором?

Магдалине время это казалось вечностью. Она состарилась за эту неделю; сердце ее изныло от томительного ожидания.

— Странно, что Карп Михайлович так давно у нас не был, — вымолвила она, помолчав немного.

— Хлопочет, верно, — заметила Софья Федоровна и после небольшого колебания продолжала: — Он рассчитывал на своего крестника, а человека этого отстранили от занимаемой им должности.

Магдалина побледнела. Сбылись ее предчувствия! О как безумно было предаваться надеждам! Кому о них заботиться? Кому их спасти? Кругом все враги. Недаром сестра Марья, умирая, прокляла их.

— Откуда вы это узнали, маменька? — спросила она дрогнувшим голосом от подступавших к горлу слез.

— Ефимовна мне еще вчера про это сказала, — отвечала Софья Федоровна с притворным спокойствием. — У них в девичьей раньше всех городские новости узнаются. Вот и про ревизора тоже откуда-то пронюхали, будто на днях его сюда ждут. И знаешь, что мне пришло в голову, — продолжала она, поглядывая исподлобья на дочь, которая что есть силы крепилась, чтоб не разрыдаться, — вдруг да ревизор этот окажется которым-нибудь из друзей покойного Ивана Васильевича, вот было бы хорошо! Мы бы тогда все ему объяснили... А ведь очень может быть, что так и случится, многие из любимцев покойной императрицы при новом царе в ход пошли...

Она смолкла, не dokonчив фразы.

По зале, со стеклянной дверью, растворенной на террасу, раздавались торопливые шаги.

— Кто бы это мог быть? Уж не Грибков ли с хорошими вестями?

Сердце ее забилося, и она взглянула на дочь. Магдалина тоже чего-то ждала. С широко раскрытыми глазами за-

мерла она, прислушиваясь к приближающимся шагам. И вдруг во взгляде ее сверкнула безумная радость, бледные щеки ее вспыхнули румянцем, она сорвалась с места и с глухим криком бросилась в залу.

Софья Федоровна последовала за нею и нашла ее без чувств в объятиях Федора.

Чудо, на которое друзья Курлятьева уж перестали рассчитывать, свершилось: убийца князя Дульского объявился.

В тот день доложили губернатору, что какой-то приезжий мещанин убедительно просит с ним свидания по весьма важному делу.

Губернатор приказал его впустить, и в кабинет ввели человека в длиннополом кафтане, лет сорока пяти, с седой бородой и большой лысиной. Черты его продолговатого лица были замечательно тонки и красивы; светлые большие глаза сверкали восторженным блеском в ввалившихся и почерневших от худобы орбитах. Руки его были белы, как у барина или у монаха. Сходство с аскетом дополнялось изнуренным видом всего его тела. Ему трудно было выпрямить свою впалую, изможденную грудь, и он стоял, сгорбившись, опустив низко голову и тщательно избегая встречаться взглядом с вопрошающими его.

Твердым и спокойным голосом объявил он, что пришел повиниться в убийстве князя Дульского.

Губернатор тотчас послал за прокурором, которому незнакомец повторил свое заявление.

Потом он обстоятельно изложил все подробности содеянного им преступления, как он весь этот день, давно уж им для этого намеченный, пользуясь сутолокой и многолюдством на селе, в господском доме и во дворе, хоронился в палисаднике под окнами княжеской спальни, с пистолетом, выкраденным из чемодана одного из гостей, выжидая удобного случая привести свой гнусный замысел в исполнение; как, свершивши его беспрепятственно, он бежал, никем не замеченный, из села и благополучно добрал до Киева. Он указал и на постоянный двор, где провел ночь, прежде чем пуститься дальше, в Варшаву. Три месяца странствовал он, отыскивая место, где бы обосноваться поспокойнее на житье, нигде такого не нашел и вернулся назад с повинной.

На вопрос, что побудило его на такое страшное преступление, он отвечал, что у него с покойным князем были старые счеты.

— И за себя, и за наших я ему отплатил.

Прокурор с губернатором переглянулись.

«Сектант!» — мелькнуло у них обоих в уме.

— А что заставило тебя сознаться? — спросили у него.

— Совесть замучила, — отрывисто вымолвил он.

Ничего больше не могли от него добиться, сколько ни ухищрялись и ни мучили его.

Так и пошел он на каторгу после торговой казни, не выдав своей тайны.

Губернский стряпчий Корнилович потерпел поражение, и подьячий Грибков не мог этому не радоваться, но в душе его не переставала кипеть злоба на проклятиков, вырвавших у него из рук настоящего убийцу князя Дульского.

Гришку Горячего так и не отыскали.

Правда, что и тому, который принял на себя его вину, было что искупить и за что пострадать. В народе прошла молва, будто он из тех, что нагоняли ужас на здешнюю местность двадцать лет тому назад. Как выставили его у позорного столба, старожилы узнали в нем будто того самого атамана Сокола, который ворошовский хутор сжег и курлятьевскую боярышню из монастыря выкрал, а у Грибкова были причины верить этой молве.

В то время много уголовных дел кончалось так, как это дело кончилось. Велик был тогда произвол и грубы страсти русских людей, но зато и могуче было владычество духовной силы на земле и избранным душам легче было приближаться к преддверию вечной Истины. Предки наши внимательнее нас прислушивались и отзывались на то, на что мы, в стремлении нашем к осязаемому и положительному, взираем с презрением как на ребяческие бредни, забывая, что «Господь утаил от умных и разумных то, что открыл младенцам».

СОДЕРЖАНИЕ

А. Гальдемар

РОБЕСПЬЕР

3

Н. Мердер

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

137

Анж Гальдемар
РОБЕСПЬЕР
Надежда Ивановна Мердер
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Редактор
И. Шурьгина
Художественный редактор
И. Лопатина
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 02.02.95. Уч.-изд. л. 34,6.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г.Долгопрудный,
ул.Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

В сборник вошли исторические романы, повествующие о событиях и людях конца XVIII — начала XIX века.

Роман Анжа Гальдемара рассказывает о Максимилиане Робеспьере (1758—1794) — деятеле Великой французской революции, одном из вождей якобинцев.

В романе представлена его личная жизнь, беспощадная борьба с политическими противниками, в том числе и со вчерашними друзьями, заговоры и, наконец, смерть на гильотине.

В романе русской писательницы XIX века Надежды Ивановны Мердер «В поисках истины» действие происходит почти в это же время, но на другом конце Европы — в России, погруженной, казалось бы, в провинциальную спячку. Читателя ждут встречи со скрывающимися в скитах старообрядцами, плетущими интриги масонами, обыкновенными российскими разбойниками и, конечно, многочисленные тайны, любовные истории и... счастливый конец.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах